90 коп.

Индекс 70327

В ЧЕТВЕРТОМ НОМЕРЕ ЧИТАЙТЕ:

Александр СОЛЖЕНИЦЫН.
Август Четырнадцатого.
Роман (продолжение).

Леонид ЛИХОДЕЕВ. Семейный календарь,
или Жизнь от конца до начала.
Роман (продолжение).

Стихи Глеба ГОРБОВСКОГО,
Вениамина БЛАЖЕННОГО.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ «ЗВЕЗДЫ»

Виктор ДОРОШЕНКО. Ленин против Сталина.

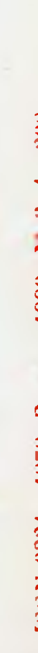
КРИТИКА

Сергей СТРАТАНОВСКИЙ.
Что же такое русофобия?

Яков ЛУРЬЕ. «Летит кирпич».

МЕМУАРЫ XX ВЕКА

Петро ГРИГОРЕНКО. Воспоминания.


ISSN 0321—1878. Звезда. 1990. № 3. 1—208.

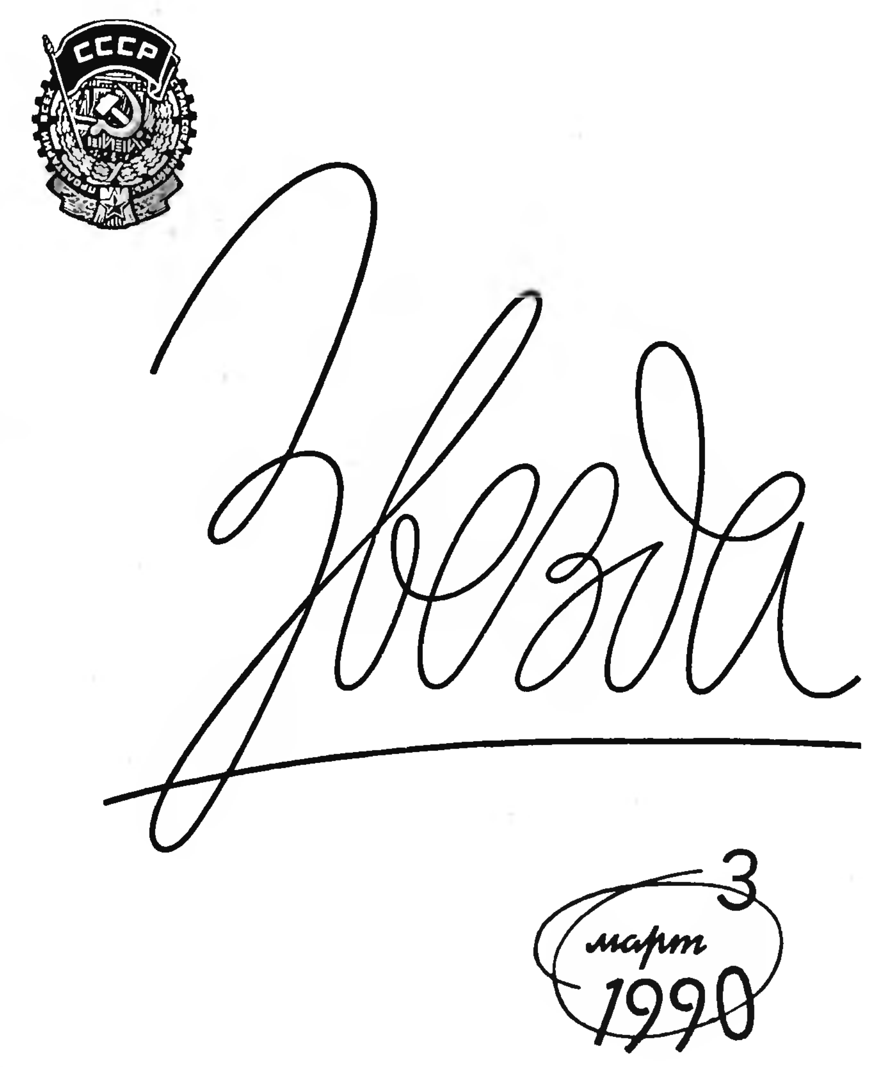
Звезда 3 1990

ISSN 0321—1878

3

1990

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ



■ ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1924 ГОДА

ЛЕНИНГРАД

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Адрес редакции: 191028, Ленинград, Моховая, 20

Телефоны: главный редактор — 272-89-48, первый заместитель главного редактора — 273-52-56, ответственный секретарь — 272-71-38, зав. редакцией — 273-37-24, отдел прозы — 272-18-15, отдел публицистики — 279-33-74, отдел критики — 273-74-91, отдел поэзии — 279-30-41

Издательство «Художественная литература»

Сдано в набор 21.11.89. Подписано к печати 10.01.90. М-28019. Формат $70 \times 108^1/_{16}$. Бумага кн.-журн. имп. Печать высокая. 18,2 усл. печ. л. 18,38 усл. кр.-отт. 24,16 уч.-изд. л. Тираж 360 000 экз. Заказ № 242. Цена 90 к.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

Андрей Сахаров

МИР ПРОГРЕСС ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

ОПАСНОСТЬ ТЕРМОЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ

Открытое письмо доктору Сиднею ДРЕЛЛУ [1]

Дорогой друг!

Я прочитал Ваши замечательные доклады «Речь о ядерном оружии»; заявление Слушаниям о последствиях ядерной войны для окружающей среды («Speech on Nuclear Weapons» at Grace Cathedral [2], October 23, 1982; Opening Statement to Hearings on the Consequences of Nuclear War before the Subcommittee on Investigations and Oversight [3]). То, что Вы говорите и пишете о чудовищной опасности ядерной войны, очень близко мне, глубоко волнует меня уже много лет. Я решил обратиться к Вам с открытым письмом, ощущая необходимость принять участие в дискуссиях по этому вопросу — одному из самых важных, стоящих перед человечеством. Будучи полностью согласен с Вашими общими тезисами, я высказываю некоторые соображения более конкретного характера, которые, как мне кажется, необходимо учитывать при принятии решений. Эти соображения частично противоречат некоторым Вашим высказываниям, а частично дополняют и, возможно, усиливают их. Мне кажется, что мое мнение, сообщаемое здесь в дискуссионном порядке, может представить интерес в силу моего научно-технического и психологического опыта, приобретенного в период участия в работе над термоядерным оружием, а также потому, что я являюсь одним из немногих в СССР независимых от властей и политических соображений участников этой дискуссии.

Я полностью согласен с Вашей оценкой опасности ядерной войны. Ввиду критической важности этого тезиса остановлюсь на нем подробнее, быть может, повторяя и хорошо известное.

Здесь и ниже я употребляю термины «ядерная война», «термоядерная война» как практические синонимы. Ядерное оружие — это атомное и термоядерное оружие; обычное оружие — любое, за исключением трех видов оружия массового уничтожения — ядерного, химического, бактериологического.

---

[1] Английский перевод опубликован в журнале «Foreign Affairs», 1983, т. 62, № 5. После этой публикации в «Foreign Affairs» в газете «Известия» выступили четыре академика — А. А. Дородницын, А. М. Прохоров, Г. К. Скрябин и А. Н. Тихонов — со статьей «Когда теряют честь и совесть», после которой была развязана самая возмутительная кампания клеветы об А. Д. Сахарове и обо мне. *(Прим. Елены Боннэр.)*

[2] В г. Сан-Франциско.

[3] 15.09.82; Слушания Подкомитета по расследованию и надзору Комиссии по науке и технологии Палаты представителей Конгресса США.

Окончание. См.: «Звезда», № 2, 1990.

Большая термоядерная война — бедствие неописуемого масштаба и совершенно непредсказуемых последствий, причем вся неопределенность в худшую сторону.

По данным экспертов комиссии ООН, к концу 1980 года общий запас ядерного оружия в мире составлял 50 тысяч ядерных зарядов. Суммарная мощность (в основном приходящаяся на термоядерные заряды мощностью от 0,04 мегатонн до 20 мегатонн) составляла, по оценке экспертов, 13 тысяч мегатонн. Приводимые Вами цифры не противоречат этим оценкам. При этом Вы напоминаете, что суммарная мощность всех ВВ, использованных во второй мировой войне, не превосходила 6-ти мегатонн (по известной мне оценке — 3-х мегатонн). Правда, при этом сравнении нужно учитывать большую относительную эффективность меньших зарядов при той же суммарной мощности, но это не меняет качественного вывода о колоссальной разрушительной силе накопленных ядерных зарядов. Вы приводите также данные, согласно которым СССР в настоящее время (1982 год) имеет в своем стратегическом арсенале 8 тысяч термоядерных зарядов, США — 9 тысяч термоядерных зарядов. Значительная часть этих зарядов — в головных частях ракет с разделяющимися боеголовками индивидуального наведения (MIRV, я буду писать РБИН). Необходимо пояснить, что у СССР основу арсенала (70 %, по данным одного из заявлений ТАСС) составляют гигантские ракеты наземного базирования (в шахтах, и несколько меньшие средней дальности — с подвижным стартом). У США 80 % составляют гораздо меньшие, но зато менее уязвимые, чем шахтные, ракетные заряды на подлодках, а также авиабомбы, среди них есть, по-видимому, очень мощные. Массовое проникновение самолетов в глубь территории СССР сомнительно — это последнее замечание должно быть уточнено с учетом возможностей крылатых ракет — они, вероятно, смогут преодолевать ПВО противника.

Крупнейшие ракеты США, существующие сейчас (я не говорю о планируемых MX), имеют в несколько раз меньшую грузоподъемность, чем основные советские ракеты, то есть несут меньше разделяющихся боеголовок, или мощность каждого заряда меньше. (Предполагается, что при разделении веса одного заряда между несколькими — скажем, десятью — боеголовками РБИН суммарная мощность уменьшается в несколько раз, но тактические возможности при атаке компактных целей резко возрастают; а разрушительная способность при стрельбе по площадям, то есть в основном по большим городам,— уменьшается незначительно, в основном за счет фактора теплового излучения; я остановился на этих подробностях, так как они, быть может, окажутся существенными при дальнейшем обсуждении.)

Вы приводите оценку из международного журнала Королевской шведской академии наук, согласно которой сброс на основные города Северного полушария 5-ти тысяч зарядов суммарной мощностью 2 тысячи мегатонн приведет к гибели 750 миллионов человек только от одного из факторов поражения — ударной волны [1].

К этой оценке я хочу добавить следующее:

1. Общее количество имеющихся сейчас у пяти ядерных стран термоядерных зарядов примерно в 5 раз больше использованной при оценке цифры, общая мощность больше в 6-7 раз. Принятое среднее число жертв, приходящееся на один заряд — 250 тысяч человек,— нельзя считать завышенным, если сравнить принятую мощность термоядерного заряда 400 килотонн с мощностью взрыва в Хиросиме 17 килотонн и числом жертв от ударной волны не менее 40 тысяч человек.

2. Чрезвычайно важным фактором поражающего действия ядерных взрывов является тепловое излучение. Пожары в Хиросиме были причиной значительной части (до 50 %) смертельных случаев. С увеличением мощности зарядов относительная роль теплового действия возрастает. Поэтому учет этого фактора должен значительно увеличить число непосредственных жертв.

3. При атаке на особо прочные компактные цели противника (такие, как стартовые шахтные позиции ракет противника, командные пункты, центры связи, правительственные учреждения и убежища, другие важнейшие объекты) следует предполагать, что значительная часть взрывов будет наземными или низкими. При этом неизбежно возникновение радиоактивных «следов» — полос выпадения поднятой взрывом с поверхности пыли, «напитавшейся» продуктами деления урана. Поэтому, хотя непосредственное радиоактивное воздействие термоядерного заряда имеет место в зоне, где все живое и так уничтожено ударной волной и огнем, но косвенное — через осадки — оказывается очень существенным. Площадь, зараженная осадками так, что суммарная доза облучения превысит на ней опасный предел 300 рентген, для типичного термоядерного заряда в 1 мегатонну составит тысячи квадратных километров!

При наземных испытаниях советского термоядерного заряда в августе 1953 года десятки тысяч людей были заранее эвакуированы из зоны возможного выпадения осадков. В поселок Кара-аул люди смогли вернуться лишь весной 1954 года! В условиях ядерной войны планомерная эвакуация невозможна. Будет происходить паническое бегство сотен миллионов людей, часто из одной зараженной зоны в другую. Сотни миллионов людей неизбежно станут жертвой радиоактивного облучения, массовые миграции людей будут способствовать усилению хаоса, нарушению санитарных условий, голоду. Генетические последствия облучения будут угрожать сохранению биологического вида человека и всех других обитателей Земли — животных и растений.

Я совершенно согласен с Вашей основной мыслью, что человечество *никогда* не сталкивалось ни с чем, даже отдаленно приближающимся к большой термоядерной войне по своему масштабу и ужасу.

Как бы ни были чудовищны непосредственные последствия термоядерных зарядов, мы не можем исключить того, что еще более существенными станут косвенные последствия. Для чрезвычайно сложного, поэтому очень уязвимого, современного общества косвенные последствия могут стать роковыми. Столь же опасны общеэкологические последствия. В силу сложного характера взаимосвязей прогнозы и оценки тут крайне затруднены. Упомяну некоторые из обсуждаемых в литературе (в частности, в Ваших докладах) проблем, не давая оценок их серьезности, хотя я и убежден, что многие из указанных опасностей вполне реальны.

1. Сплошные лесные пожары могут уничтожить большую часть лесов на планете. Дым при этом нарушит прозрачность атмосферы. На Земле наступит длящаяся много недель ночь, а потом — недостаток кислорода в атмосфере. В результате один этот фактор, если он реален, может погубить жизнь на планете. В менее выраженной форме этот фактор приведет к важным экологическим, экономическим и психологическим последствиям.

2. Высотные ядерные взрывы войны в космосе (в частности, термоядерные взрывы ракет ПРО и взрывы атакующих ракет с целью нарушения радиолокации), возможно, уничтожат или сильно разрушат озоновый слой, защищающий Землю от ультрафиолетового излучения Солнца. Оценки, относящиеся к этой опасности, весьма неопределенны — если верны максимальные оценки, то этого фактора тоже достаточно, чтобы уничтожить жизнь.

3. В современном сложном мире могут оказаться очень существенными нарушения работы транспорта и связи.

4. Несомненно нарушатся (целиком или частично) производство и доставка населению продуктов питания, водоснабжение и канализация, снабжение топливом и электроэнергией, снабжение медикаментами и одеждой—все это в масштабе целых континентов. Разрушится система здравоохранения, гигиенические условия жизни миллиардов людей вернутся к уровню средних веков, а может, и до много худших. Медицинская помощь сотням миллионов раненых, обожженных и облученных практически будет невозможной.

5. Голод и эпидемии в обстановке хаоса и разрухи могут унести много больше жизней, чем непосредственно ядерные взрывы. Нельзя также исключить, что наряду с «обычными» болезнями, которые неизбежно получат широкое распространение,— гриппом, холерой, дизентерией, сыпным тифом, сибирской язвой, чумой и другими,— могут в результате радиационных мутаций вирусов и бактерий возникнуть совершенно новые болезни и особо опасные формы старых болезней, против которых люди и животные не будут иметь иммунитета.

[1] См.: «Nuclear War: The Aftermath» (Ядерная война: последствия), спец. выпуск журнала «Ambio», т. 11, 1982, № 2—3: 96, 100.

6. Особенно трудно прогнозировать социальную устойчивость человечества в условиях всеобщего хаоса. Неизбежно появление многочисленных банд, которые будут убивать и терроризировать людей и будут вести борьбу между собой по законам уголовного мира: «Умри ты сегодня, а я умру завтра».

Но, с другой стороны, опыт социальных и военных потрясений прошлого показывает, что в человечестве есть большой «запас прочности», «живучесть» людей в экстремальных условиях превосходит все то, что можно вообразить a priori. Но даже если человечество сможет сохранить себя как некий социальный организм, что кажется маловероятным, важнейшие социальные институты, составляющие основу цивилизации, будут разрушены.

Резюмируя, следует сказать, что всеобщая термоядерная война явится гибелью современной цивилизации, отбросит человечество на столетия назад, приведет к физической гибели сотен миллионов или миллиардов людей и — с некоторой долей вероятности — приведет к уничтожению человечества как биологического вида, возможно, даже приведет к уничтожению жизни на Земле.

Ясно, что говорить о победе в большой термоядерной войне бессмысленно — это коллективное самоубийство.

Мне кажется, что эта моя точка зрения в основном совпадает с Вашей, так же как со мнением очень многих людей на Земле.

Я полностью согласен и с другими Вашими принципиальными тезисами. Я согласен, что если будет перейден «ядерный порог», то есть если какая-либо страна применит даже в ограниченном масштабе ядерное оружие, то дальнейшее развитие событий станет плохо контролируемым, и наиболее вероятна быстрая эскалация, приводящая первоначально ограниченную по масштабам или региональную ядерную войну во всеобщую термоядерную, то есть во всеобщее самоубийство.

Более или менее безразлично при этом, почему перейден «ядерный порог» — в результате ли превентивного ядерного нападения или в ходе уже ведущейся обычным оружием войны, например, при угрозе проигрыша или просто в результате той или иной случайности (технической или организационной).

В силу всего вышесказанного я убежден в истинности Вашего следующего основного тезиса: *ядерное оружие имеет смысл только как средство предупреждения ядерной же агрессии потенциального противника.* То есть нельзя планировать ядерную войну с целью ее выиграть. Нельзя рассматривать ядерное оружие как средство сдерживания агрессии, осуществляемой с применением обычного оружия.

Вы отдаете, конечно, себе отчет в том, что последнее утверждение находится в противоречии с реальной стратегий Запада последних десятилетий. Длительное время, начиная еще с конца сороковых годов, Запад не полагается полностью на свои «обычные» вооруженные силы как достаточное средство отражения потенциального агрессора и для сдерживания экспансии. Причин тут много — политическая, военная и экономическая разобщенность Запада, стремление избежать в мирное время экономической, социальной и научно-технической милитаризации, низкая численность национальных армий стран Запада. Все это — в то время, как СССР и другие страны социалистического лагеря имеют многочисленные армии и проводят их интенсивное перевооружение, не жалея на это средств. Возможно, в каких-то ограниченных временных рамках взаимное ядерное устрашение имело некоторое сдерживающее воздействие на ход мировых событий. Но в настоящее время ядерное устрашение — опасный пережиток! Нельзя с целью избежать агрессии с применением обычного оружия угрожать ядерным оружием, если его применения нельзя допустить. Один из выводов, который из этого следует,— и Вы его делаете — необходимо восстановление стратегического равновесия в области обычных вооружений. Вы говорите это другими словами и не очень акцентируете.

Между тем это очень важное и нетривиальное утверждение, на котором необходимо остановиться подробией.

Восстановление стратегического равновесия возможно только при вложении крупных средств, при существенном изменении психологической обстановки в странах Запада. Должна быть готовность к определенным экономическим жертвам, и самое главное — понимание серьезности ситуации, понимание необходимости некой перестройки. В конечном счете это нужно для предупреждения ядерной войны и войны вообще. Сумеют ли осуществить такую перестройку политики Запада, будут ли им помогать (а не мешать, как это сейчас часто наблюдается) пресса, общественность, наши с Вами коллеги-ученые, удастся ли убедить всех сомневающихся — от этого зависит очень многое: возможность для Запада вести такую политику в области ядерных вооружений, которая постепенно будет способствовать уменьшению опасности ядерной катастрофы.

Во всяком случае, я очень рад, что Вы (а в другом контексте раньше — профессор Пановский [1]) высказались в пользу необходимости стратегического равновесия обычных вооружений.

В заключение я должен особо подчеркнуть, что, конечно, перестройка стратегии может осуществляться только постепенно, очень осторожно, чтобы избежать потери равновесия на каких-то промежуточных этапах.

В области собственно ядерного оружия Ваши дальнейшие мысли, как я понял, сводятся к следующему.

Необходимо сбалансированное сокращение ядерных арсеналов, начальным этапом этого процесса ядерного разоружения может явиться взаимное замораживание ныне существующих ядерных арсеналов. Далее цитирую Вас: «Решения в области ядерного оружия должны быть основаны просто на критерии достижения надежного устрашения, а не на каких-то дополнительных требованиях, относящихся к ядерной войне, поскольку такие требования, вообще говоря, ничем не лимитированы и не реалистичны». Это один из Ваших центральных тезисов.

При переговорах по ядерному разоружению Вы предлагаете выработать один достаточно простой и по возможности справедливый критерий оценки ядерных сил; в качестве такого критерия Вы предлагаете взять сумму числа носителей термоядерных зарядов и общего числа зарядов, которые могут быть доставлены (вероятно, надо иметь в виду максимальное число неких стандартных или условных зарядов, которые могут быть доставлены данным типом носителей при соответствующем дроблении используемого веса).

Начну с обсуждения этого последнего Вашего предложения (сделанного совместно с Вашим студентом Кентом Визнером [2]). Оно кажется мне практичным. Ваш критерий с разным коэффициентом учитывает носители разной грузоподъемности; это очень важно (именно равновесомый учет малых американских ракет и больших советских ракет явился одним из пунктов, по которым я в свое время критиковал договор ОСВ-1 при общей положительной оценке самого факта переговоров и заключения договора). При этом, в отличие от критериев, использующих мощность заряда, обычно официально не объявляемую, число доставляемых зарядов легко определяется. Ваш критерий учитывает также и то, что, например, тактические возможности пяти ракет, несущих по одному заряду, существенно выше, чем у одной большой ракеты, несущей пять РБИН. Конечно, предложенный Вами критерий не охватывает таких параметров, как дальность, точность попадания, степень уязвимости, их надо будет учитывать дополнительно или в каких-то случаях не учитывать в целях облегчения условий соглашений.

Я надеюсь, что Ваш (или какой-либо аналогичный) критерий будет принят в качестве основы при переговорах как для межконтинентальных ракет, так и (независимо) для ракет средней дальности. В обоих случаях гораздо трудней будет, чем сейчас, настаивать на несправедливых условиях соглашений и быстрей можно будет переходить от слов к делу. Вероятно, само принятие Вашего (или аналогичного) критерия потребует дипломатической и пропагандистской борьбы, но дело стоит того.

От этого относительно частного вопроса перехожу к более общему и более сложному, спорному. Действительно ли можно при принятии решений в области ядерного оружия игнорировать все соображения и требования, относящиеся

[1] Wolfgang K. H. Panofsky of Physics, Stanford University, Director of the Stanford Linear Accelerator Center.

[2] См.: Sidney D. Drell and Kent F. Wisner, «A new Formula for Nuclear Arms Control», «International Security», Winter 1980/81, т. 5, № 3: 186—194.

к возможным сценариям ядерной войны, и ограничиться просто критерием достижения надежного устрашения — понимая этот критерий как наличие арсенала, достаточного для нанесения сокрушающего ответного удара? Вы отвечаете на этот вопрос,— может быть, чуть иначе его формулируя,— положительно и делаете далеко идущие выводы. Не подлежит сомнению, что уже сейчас США имеет большое количество неуязвимых для СССР ракет на подлодках и авиабомб на самолетах и, кроме этого, имеет еще ракеты шахтного базирования, хотя и меньшие, чем СССР,— все это в таком количестве, что при применении этих зарядов от СССР, грубо говоря, ничего не останется. Вы утверждаете, что это *уже* создало ситуацию надежного устрашения — вне зависимости от того, что еще есть и чего нет у СССР и США! Поэтому Вы считаете, в частности, излишним создание ракет MX и не относящимися к делу те аргументы, которые приводятся в поддержку развертывания,—наличие у СССР большого арсенала межконтинентальных ракет большой грузоподъемности, которых нет у США; тот факт, что советские ракеты и ракеты MX имеют много боеголовок, так что одна ракета может уничтожить несколько шахтных установок противника при ракетной дуэли. Поэтому же Вы считаете (с некоторыми оговорками) приемлемым для США замораживание ядерных арсеналов США и СССР на их существующем уровне.

Ваша аргументация представляется очень сильной и убедительной. Но я считаю, что изложенная концепция не учитывает всей сложной реальности противостояния двух мировых систем и что необходимо (вопреки тому, на чем настаиваете Вы) также более конкретное и разностороннее и непредвзятое рассмотрение, чем просто ориентация на «надежное устрашение» (в сформулированном выше смысле этого слова — наличие возможности нанесения сокрушающего ответного удара). Постараюсь пояснить свое утверждение.

Мы можем представить себе, что потенциальный агрессор — именно в силу того факта, что всеобщая термоядерная война является всеобщим самоубийством,— может рассчитывать на недостаток решимости подвергшейся нападению стороны пойти на это самоубийство, то есть может рассчитывать на капитуляцию жертвы ради спасения того, что можно спасти. При этом, если агрессор имеет военное преимущество в каких-то вариантах обычной войны или — что в принципе тоже возможно — в каких-то вариантах частичной (ограниченной) ядерной войны, он будет пытаться, используя страх дальнейшей эскалации, навязать противнику именно эти варианты. Мало радости, если надежды агрессора в конечном счете окажутся ложными и страна-агрессор погибнет вместе со всем человечеством.

Вы считаете необходимым добиваться восстановления стратегического равновесия в области обычных вооружений. Сделайте теперь следующий логический шаг — пока существует ядерное оружие, необходимо также стратегическое равновесие по отношению к тем вариантам ограниченной или региональной ядерной войны, которые потенциальный противник может пытаться навязать, то есть действительно *необходимо* конкретное рассмотрение различных сценариев как обычной, так и ядерной войны с анализом вариантов развертывания событий. В полном объеме это, конечно, невозможно — ни анализ всех вариантов, ни полное обеспечение безопасности. Но я пытаюсь предупредить от противоположной крайности — «зажмуривания глаз» и расчета на идеальное благоразумие потенциального противника. Как всегда в сложных проблемах жизни, необходим какой-то компромисс.

Я понимаю, конечно, что, пытаясь ни в чем не отстать от потенциального противника, мы обрекаем себя на гонку вооружений — трагичную в мире, где столь много жизненных, не терпящих отлагательства проблем. Но самая главная опасность — сползти к всеобщей термоядерной войне. *Если* вероятность такого исхода можно уменьшить ценой еще десяти или пятнадцати лет гонки вооружений — быть может, эту цену придется заплатить при одновременных дипломатических, экономических, идеологических, политических, культурных, социальных усилиях для предотвращения возможности возникновения войны.

Конечно, разумней было бы договориться уже сейчас о сокращении ядерных и обычных вооружений и полной ликвидации ядерного оружия. Но возможно ли это сейчас в мире, отравленном страхом и недоверием, мире, где Запад боится

агрессии СССР, СССР — агрессии Запада и Китая, и Китай — со стороны СССР, и никакие словесные заверения и договоры не могут полностью снять эти опасения?

Я знаю, что на Западе очень сильны пацифистские настроения. Я глубоко сочувствую стремлениям людей к миру, к разрешению мировых проблем мирными средствами, всецело разделяю эти стремления. Но в то же время я убежден, что совершенно необходимо учитывать конкретные политические и военно-стратегические реалии современности, причем объективно, не делая никаких скидок ни той, ни другой стороне, в том числе не следует a priori исходить из предполагаемого особого миролюбия социалистических стран только в силу их якобы прогрессивности или в силу пережитых ими ужасов и потерь войны. Объективная действительность гораздо сложней, далеко не столь однозначна. Субъективно люди и в социалистических, и в западных странах страстно стремятся к миру. Это чрезвычайно важный фактор. Но, повторяю, не исключающий сам по себе возможности трагического исхода.

Сейчас, как я считаю, необходима огромная разъяснительная, деловая работа, чтобы конкретная и точная, исторически и политически осмысленная объективная информация была доступна всем людям и пользовалась у них доверием, не заслонялась догмами и инспирированной пропагандой. Необходимо при этом учитывать, что просоветская пропаганда в странах Запада ведется давно, очень целенаправленно и умело, с проникновением просоветских элементов во многие ключевые узлы, в особенности в масс-медиа.

История пацифистских кампаний против размещения евроракет — очень показательна во многих отношениях. Ведь многие участники этих кампаний полностью игнорировали первопричину «двойного решения» НАТО — сдвиг в семидесятых годах стратегического равновесия в пользу СССР — и, протестуя против планов НАТО, не выдвигали никаких требований, обращенных к СССР. Другой пример: попытка бывшего президента Картера сделать минимальный шаг в направлении равновесия обычных вооружений, а именно: провести регистрацию военнообязанных, встретила значительное сопротивление. Между тем равновесие в области обычных вооружений — необходимая предпосылка снижения ядерных вооружений. Для правильной оценки общественностью Запада глобальных проблем, в частности проблем стратегического равновесия как обычных, так и ядерных вооружений, жизненно необходим более объективный подход, учитывающий реальное стратегическое положение в мире.

Вторая группа проблем в области ядерного оружия, по которой я должен здесь сделать несколько дополнительных замечаний,— переговоры о ядерном разоружении. Запад на этих переговорах должен иметь, что отдавать! Насколько трудно вести переговоры по разоружению, имея «слабину», показывает опять история с евроракетами. Лишь в самое последнее время СССР, по-видимому, перестал голословно настаивать на своем тезисе, что именно сейчас имеется примерное ядерное равновесие и поэтому все надо оставить, как есть. Теперь следующим прекрасным шагом было бы сокращение числа ракет, но обязательно со справедливым учетом *качества* ракет и других средств доставки (то есть числа зарядов, доставляемых каждым носителем, дальности, точности, степени уязвимости — большей у самолетов, меньшей у ракет; вероятно, целесообразно использование Вашего критерия или аналогичных). И обязательно речь должна идти не о перевозке за Урал, а об *уничтожении*. Ведь перебазирование слишком «обратимо». Нельзя также, конечно, считать равноценными советские мощные ракеты с подвижным стартом и несколькими боеголовками и существующие ныне «Першинг-1», английские и французские ракеты, авиабомбы на бомбардировщиках ближнего радиуса действия,— как это иногда в пропагандистских целях пытается делать советская сторона.

Не менее важна проблема мощных наземных ракет шахтного базирования. Сейчас СССР имеет тут большое преимущество. Быть может, переговоры об ограничении и сокращении этих самых разрушительных ракет могут стать легче, если США будут иметь ракеты MX (хотя бы потенциально, это бы было лучше всего). Несколько слов о военных возможностях мощных ракет. Они могут использоваться для доставки самых больших термоядерных зарядов для уничтожения городов и других крупных целей противника (при этом для истощения

25

средств ПРО противника, вероятно, одновременно будет использоваться «дождь» из более мелких ракет, ложных целей и т. п. В литературе много пишут о возможности разработки систем ПРО, использующих сверхмощные лазеры, пучки ускоренных частиц и т. п. Но создание на этих путях эффективной защиты от ракет кажется мне очень сомнительным). Для характеристики того, что представляет собой атака на город мощными ракетами, приведем следующие оценки. Предполагая, что максимальная мощность единичного заряда, переносимого большой ракетой, может составлять величину порядка 15—25 мегатонн, находим, что площадь полного разрушения жилых зданий составит 250—400 квадратных километров, площадь поражения тепловым излучением—300—500 квадратных километров, зона радиоактивного «следа» (при наземном взрыве) составит по длине до 500—1000 километров и по ширине до 50—100 километров!

Столь же существенно, что мощные ракеты могут использоваться для разрушения с помощью РБИН компактных целей противника, в частности, расположенных в шахтах аналогичных ракет противника. Вот примерный расчет такой атаки на стартовые позиции. Сто ракет типа МХ (количество, предложенное для плана первой очереди администрацией Рейгана) могут нести тысячу боеголовок по 0,6 мегатонны. Каждая из боеголовок, с учетом эллипса рассеяния при стрельбе и предполагаемой прочности советских стартовых позиций, разрушает, согласно опубликованным в американской прессе данным, одну стартовую позицию с вероятностью 60 процентов. При атаке на 500 советских стартовых позиций — по две боеголовки на каждую позицию — останется неповрежденными 16 процентов, то есть «только» 80 ракет.

Особая опасность, связанная с ракетами шахтного базирования, заключается в следующем. Они относительно легко могут быть разрушены в результате атаки противника, как я только что продемонстрировал. В то же время они могут быть применены для разрушения стартовых позиций противника (в количестве в 4—5 раз большем, чем число использованных для этого ракет). У страны, располагающей большими шахтными ракетами (в настоящее время это в первую очередь СССР, а если в США будет осуществлена программа МХ, то и США), может возникнуть «соблазн» применить такие ракеты первыми, пока их еще не уничтожил противник, то есть наличие ракет шахтного базирования в таких условиях является дестабилизирующим фактором.

Мне кажется, в силу всего вышесказанного, что при переговорах о ядерном разоружении очень важно добиваться уничтожения мощных ракет шахтного базирования. Пока СССР является в этой области лидером, очень мало шансов, что он легко от этого откажется. Если для изменения положения надо затратить несколько миллиардов долларов на ракеты МХ, может, придется Западу это сделать. Но при этом — если советская сторона действительно, а не на словах пойдет на крупные контролируемые мероприятия сокращения наземных ракет (точней, на их уничтожение), то и Запад должен уничтожить не только ракеты МХ (или не строить их!), но осуществить и другие значительные акции разоружения. В целом, я убежден, что переговоры о ядерном разоружении имеют огромное, приоритетное значение. Их надо вести непрерывно — и в более светлые периоды международных отношений, но и в периоды обострений,— настойчиво, предусмотрительно, твердо и одновременно гибко, инициативно. Политические деятели при этом, конечно, не должны думать об использовании этих переговоров, как и всей ядерной проблемы в целом, для своего сиюминутного политического авторитета, а лишь о долгосрочных интересах страны и мира. Планирование переговоров должно входить важнейшей составной частью в общую ядерную стратегию, в этом пункте я вновь согласен с Вами!

Третья группа проблем, которые следует тут обсудить, носит политический и социальный характер. Ядерная война может возникнуть из обычной, а обычная война, как известно, возникает из политики. Все мы знаем, что в мире неспокойно. Причины очень многообразны — в их числе национальные, экономические, социальные, тирания диктаторов. Многие из происходящих сейчас трагических событий уходят корнями в далекое прошлое. Было бы совершенно неправильно видеть всюду только «руку Москвы». И все же, рассматривая то, что происходит на Земле, в целом, укрупненно, нельзя отрицать происходящего, начиная с 1945 года, неотступного процесса расширения сферы советского определяющего

влияния — объективно это не что иное, как общемировая советская экспансия. По мере экономического, хотя и одностороннего, и научно-технического усиления СССР и его военного усиления этот процесс становится все более широким. Сегодня он приобрел масштабы, опасно нарушающие международное равновесие. Запад не без оснований опасается, что под ударом оказались мировые морские пути, нефть Арабского Востока, уран и алмазы и другие ресурсы юга Африки.

Одна из основных проблем современности — судьба развивающихся стран, бо́льшей части человечества. Но фактически для СССР — а в какой-то мере и для Запада — эта проблема стала разменной картой в борьбе за господство и стратегические интересы. Миллионы людей в мире ежегодно умирают от голода, сотни миллионов живут в условиях недоедания, безысходной нужды. Запад оказывает развивающимся странам экономическую и технологическую помощь, но все же совершенно недостаточно, в особенности в обстановке возросших цен на нефть. Помощь от СССР, социалистических стран меньше по объему и, в еще большей степени, чем помощь Запада, носит односторонний военный, блоковый характер. И что очень существенно — никак не увязана с общемировыми усилиями.

Не затухают, а разгораются очаги локальных конфликтов — угрожая перерасти в глобальные войны. Все это вызывает большую тревогу.

Наиболее острым негативным проявлением советской политики явилось вторжение в Афганистан, начавшееся в декабре 1979 года с убийства главы государства. Три года чудовищно-жестокой антипартизанской войны принесли неисчислимые страдания афганскому народу, свидетельством чему являются более четырех миллионов беженцев в Пакистане и Иране.

Именно общий поворот в мировом равновесии, вызванный вторжением в Афганистан и другими одновременно происходившими событиями, явился глубинной причиной того, что не был ратифицирован договор ОСВ-2. Я сожалею об этом вместе с Вами, но не могу не видеть тех причин, о которых только что написал.

Есть еще одна тема, которая тесно связана с проблемой мира,— открытость общества, права человека. Я употребляю термин «открытость общества» в том смысле, в котором более тридцати лет назад его ввел великий Нильс Бор.

В 1948 году государства-члены ООН приняли Всеобщую декларацию прав человека, подчеркнули их значение для поддержания мира. В 1975 году взаимосвязь прав человека и международной безопасности провозгласил Хельсинкский Акт, подписанный тридцатью пятью государствами, в том числе СССР и США. Среди этих прав: право на свободу убеждений, свободное получение и распространение информации внутри страны и за ее пределами, право на свободный выбор страны проживания и места проживания в пределах страны, свобода религии. Свобода от психиатрических репрессий. Право граждан контролировать принятие руководителями страны тех решений, от которых зависят судьбы мира. А ведь мы даже не знаем, как и кем было принято решение о вторжении в Афганистан! Люди в нашей стране не имеют и малой доли той информации о событиях в мире и в стране, которой располагают граждане Запада. Возможность же критиковать политику руководства своей страны в вопросах войны и мира так, как это свободно делаете Вы, в нашей стране полностью отсутствует. Не только критические, но и просто информационные выступления даже по гораздо менее острым вопросам часто влекут за собой аресты и осуждения на очень большие сроки заключения или психиатрическую тюрьму. В соответствии с общим характером этого письма я воздерживаюсь тут от многих конкретных примеров, но не могу не написать о судьбе Анатолия Щаранского, погибающего в Чистопольской тюрьме за право видеться с матерью и писать ей, и о Юрии Орлове, уже в третий раз помещенного на шесть месяцев в лагерную тюрьму в Пермском лагере после того, как он был избит в присутствии надзирателя.

В декабре 1982 года была объявлена амнистия в честь шестидесятилетия СССР, но, так же как в 1977 году и в предыдущих амнистиях, из нее *специально* были исключены статьи, по которым находятся в заключении узники совести. Так далеко от провозглашенных принципов в СССР — стране, несущей на себе столь большую ответственность за судьбу мира!

В заключение я еще раз подчеркиваю, насколько важно всеобщее понимание абсолютной недопустимости ядерной войны — коллективного самоубийства человечества. Ядерную войну невозможно выиграть. Необходимо планомерно — хотя и осторожно — стремиться к полному ядерному разоружению на основе стратегического равновесия обычных вооружений. Пока в мире существует ядерное оружие, необходимо такое стратегическое равновесие ядерных сил, при котором ни одна из сторон не может решиться на ограниченную или региональную ядерную войну. Подлинная безопасность возможна лишь на основе стабилизации международных отношений, отказа от политики экспансии, укрепления международного доверия, открытости и плюрализации социалистических обществ, соблюдения прав человека во всем мире, сближения — конвергенции — социалистической и капиталистической систем, общемировой согласованной работы по решению глобальных проблем.

Горький,
2 февраля 1983 г.

ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА

Генеральному секретарю ЦК КПСС
тов. Л. И. Брежневу

Прошу об обсуждении общих вопросов, частично ранее обсуждавшихся в письме Р. А. Медведева, В. Ф. Турчина и в моем письме 1968 года. Прошу также о рассмотрении ряда частных злободневных вопросов, которые глубоко волнуют меня.

Ниже в двух общих списках перечислены вопросы разного масштаба, разной степени бесспорности. Но между ними есть определенная внутренняя связь. Дискуссия и частичная аргументация по поднятым вопросам содержится в упомянутых письмах и в приложении к этой записке.

Я хочу также информировать Вас, что в ноябре 1970 года я вместе с В. Н. Чалидзе и А. Н. Твердохлебовым принял участие в учреждении Комитета прав человека в целях изучения проблемы обеспечения прав человека и содействия правовому просвещению. Некоторые документы Комитета я прилагаю. Мы надеемся быть полезными обществу, стремимся к диалогу с руководством, к откровенному, гласному обсуждению проблемы прав человека.

А. Некоторые неотложные вопросы

Перечисленные ниже вопросы представляются мне неотложными. Для краткости они сформулированы в виде предложений. Отдавая себе отчет в том, что некоторые из вопросов нуждаются в дополнительном изучении, и сознавая, что список по необходимости является неполным и поэтому в какой-то мере субъективным (некоторые не менее важные вопросы я пытался отметить во второй части Записки, а некоторые вообще не могли быть упомянуты), я все же считаю необходимым просить об обсуждении компетентными инстанциями нижеследующих предложений.

1. О политических преследованиях:

а) Я считаю давно назревшей проблемой проведение общей амнистии политических заключенных, включая лиц, осужденных по статьям 70, 72, 190-1, 2, 3 УК РСФСР и аналогичным статьям УК союзных республик, включая осужденных по религиозным мотивам, включая содержащихся в психиатрических учреждениях, включая лиц, осужденных за попытку перехода границы, включая политических заключенных, дополнительно осужденных за попытку побега из лагеря или пропаганду в лагере.

б) Принять меры по обеспечению широкой фактической гласности рассмотрения всех судебных дел, особенно политического характера. Считаю важным пересмотр всех судебных приговоров, постановленных с нарушением принципа гласности.

в) Я считаю недопустимым психиатрические репрессии по политическим, идеологическим и религиозным мотивам. По моему мнению, необходимо принять закон о защите прав лиц, подвергаемых принудительной психиатрической госпитализации; принять решения и необходимые законодательные уточнения для защиты прав лиц, предполагаемых психическими больными, при судебном преследовании по политическим обвинениям. В частности, в обоих случаях допустить практику психиатрических обследований комиссиями, не зависящими от властей.

г) Независимо от решения этих вопросов в общем порядке, я прошу о рассмотрении компетентными органами ряда конкретных срочных дел; некоторые из них перечислены в прилагаемой Записке.

2. О гласности, о свободе информационного обмена и убеждений:

а) Вынести на всенародное обсуждение проект закона о печати и средствах массовой информации.

б) Принять решение о более свободной публикации статистических и социологических данных.

3. О национальных проблемах, о проблеме выезда из нашей страны:

а) Принять решения и законы о полном восстановлении прав выселенных при Сталине народов.

б) Принять законы, обеспечивающие простое и беспрепятственное осуществление гражданами их права на выезд за пределы страны и на свободное возвращение. Отменить инструкции, содержащие ограничения этого права, противоречащие закону.

4. О международных проблемах:

а) Проявить инициативу и объявить (или подтвердить — сначала в одностороннем порядке) об отказе от применения первыми оружия массового уничтожения (ядерного оружия, химического, бактериологического и обжигающего). Допустить на свою территорию инспекционные группы для эффективного контроля за разоружением (в случае заключения соглашения о разоружении или частичном ограничении тех или иных типов вооружения).

б) Для укрепления результатов изменения отношений с ФРГ выработать более новую гибкую и реалистическую позицию по проблеме Западного Берлина.

в) Изменить свою политическую позицию на Ближнем Востоке и во Вьетнаме, активно добиваясь через ООН и по дипломатическим каналам скорейшего мирного урегулирования на условиях компромисса с отказом от одностороннего военного и политического прямого или косвенного вмешательства со стороны США или СССР, с выдвижением программы широкой экономической помощи на международной аполитичной основе (через ООН?) с предложением широкого использования войск ООН для обеспечения политической и военной стабильности в этих районах.

Б. Тезисы и предложения по общим проблемам

В порядке подготовки к обсуждению основных проблем развития и международной политики нашей страны я попытался сформулировать ряд тезисов. Некоторые из них носят дискуссионный характер. Я стремился к наиболее полному изложению своих мыслей, хотя и отдавал себе отчет в том, что некоторые из тезисов представятся неприемлемыми, а некоторые представятся неинтересными, малозначительными.

1. Начиная с 1956 года в нашей стране осуществлен ряд важных мероприятий, устраняющих наиболее опасные и уродливые черты предыдущего этапа развития советского общества и нашей государственной политики. Однако одновременно имеют место определенные негативные явления — отступления, непоследовательность и медлительность в осуществлении новой линии. Необходима выработка четкой и последовательной программы дальнейшей демократизации и либерализации и осуществление ряда неотложных первоочередных шагов. Этого требуют интересы технико-экономического прогресса, постепенного преодоления отставания и изоляции от передовых капиталистических стран, благосостояния широких слоев населения, внутренней стабильности и внешней безо-

пасности нашей страны. Развитие нашей страны идет в условиях существенных трудностей отношений с Китаем. Налицо серьезные внутренние трудности в области экономики и благосостояния населения, технико-экономического прогресса, культуры и идеологии.

Следует отметить обострение национальной проблемы, сложности взаимоотношений партийно-государственного аппарата и интеллигенции, взаимоотношений основной массы трудящихся, находящихся в относительно худшем положении в бытовом и экономическом отношениях, в отношении продвижения по работе и культурного роста, испытывающих в целом ряде случаев чувство разочарования в «громких словах», и привилегированной группы и «начальства», к которому более отсталые слои трудящихся нередко относят в силу традиционных предрассудков главным образом интеллигенцию. Внешняя политика нашей страны не всегда является достаточно реалистичной. Необходимы кардинальные решения для предупреждения возможных осложнений.

2. Я высказываю мнение, что было бы правильно следующим образом охарактеризовать общество, к осуществлению которого должны быть направлены неотложные государственные реформы и усилия граждан по развитию общественного сознания:

а) Основной своей целью государство ставит охрану и обеспечение основных прав своих граждан. Защита прав человека выше других целей.

б) Все действия государственных учреждений целиком основаны на законах (стабильных и известных гражданам). Соблюдение законов обязательно для всех граждан, учреждений и организаций.

в) Счастье людей, в частности, обеспечено их свободой в труде, в потреблении, в личной жизни, в образовании, в культурных и общественных проявлениях, свободой убеждений и совести, свободой информационного обмена и передвижения.

г) Гласность содействует контролю общественности за законностью, справедливостью, целесообразностью всех принимаемых решений, способствует эффективности всей системы, обусловливает научно-демократический характер системы управления, способствует прогрессу, благосостоянию и безопасности страны.

д) Соревновательность, гласность, отсутствие привилегий обеспечивают целесообразное и справедливое поощрение труда, способностей и инициативы всех граждан.

е) Имеется определенное расслоение общества по роду занятий, характеру способностей и отношений, но должно быть и стремление к сглаживанию этих различий.

ж) Основная энергия страны направлена на гармоничное внутреннее развитие с целесообразным использованием трудовых и природных ресурсов. В этом основа ее силы и благосостояния. Страна и ее народ всегда готовы к дружескому, обусловленному общечеловеческим братством, международному сотрудничеству и помощи, но общество не нуждается во внешней политике как средстве внутренней политической стабилизации или для расширения зоны влияния или экспорта своих идей; обществу чужды мессианство, заблуждения о единственности и исключительных достоинствах своего пути и отрицание пути других, органически чужды догматизм, авантюризм и агрессивность. В частности, в конкретных условиях нашей страны только концентрация ресурсов на внутренних проблемах позволит преодолеть трудности в области экономики и благосостояния населения, при ряде дополнительных условий (демократизация, ликвидация информационной изоляции нашего народа от остального мира, экономические мероприятия) обеспечит надежду на постепенное преодоление отставания от передовых капиталистических стран, обеспечит безопасность страны от возможных обострений с Китаем, обеспечит бóльшую возможность для помощи развивающимся странам.

3. Внешняя политика:

а) Основная внешнеполитическая проблема — взаимоотношения с Китаем. Предлагая китайскому народу альтернативу экономической, технической и культурной помощи, братского сотрудничества и совместного движения по демократическому пути, всегда оставляя возможность этого пути развития отношений,

проявить одновременно особую заботу для обеспечения безопасности нашей страны, избегать всех других возможных внешних и внутренних осложнений, осуществлять свои планы освоения Сибири с учетом указанного фактора.

б) Стремиться к невмешательству во внутренние дела других социалистических стран и к экономической взаимопомощи.

в) Выступить с инициативой создания (в рамках ООН?) нового международного консультативного органа — «Международного совета экспертов по вопросам мира, разоружения, экономической помощи нуждающимся странам, по защите прав человека, по охране природной среды» из авторитетных и беспристрастных лиц. Статут совета и процедура, определяющая его состав, должны обеспечивать максимальную независимость от интересов отдельных государств и групп государств. Вероятно, при определении состава совета и его статута необходимо учитывать пожелания основных международных организаций заключить международный пакт, обязывающий к рассмотрению законодательными и правительственными органами рекомендаций «Совета экспертов», которые должны носить гласный и обоснованный характер. Решения национальных органов по этим рекомендациям тоже должны быть гласными, вне зависимости от того, приняты или отвергнуты рекомендации.

4. Экономические проблемы, управление, кадры:

а) Углубление экономической реформы 1965 года, увеличение хозяйственной самостоятельности всех производственных единиц, пересмотр ряда ограничительных положений в отношении подбора кадров, зарплаты и поощрения, системы материального снабжения и фондов, планирования, кооперирования, выбора профиля продукции, финансирования.

б) В области кадров и управления. Принять решения по расширению гласности в работе государственных учреждений всех ступеней в пределах, допускаемых интересами государства. В особенности существен пересмотр традиции «кабинетности» в вопросах кадровой политики, расширение гласного общественного делового контроля над подбором кадров, выборности и фактической сменяемости при непригодности руководителей всех уровней. Я подразумеваю также обычное требование демократических программ о ликвидации системы выборов без избыточного числа кандидатов, то есть о ликвидации «выборов без выбора». Одновременно необходимы улучшение информированности, самостоятельность, право на эксперимент, перенос центра ответственности в сторону руководимого предприятия и его служащих. Улучшение методов специальной подготовки и делового обучения руководителей всех уровней. Ликвидация специальных привилегий, связанных со служебным и партийным положением, как очень вредных в социальном и деловом смысле. Публикация величины должностных окладов. Реорганизация отделов кадров, ликвидация номенклатурных списков и тому подобных пережитков предыдущей эпохи. Создание при руководящих органах научно-консультационных советов, включающих ученых разных специальностей и обладающих необходимой самостоятельностью.

в) Мероприятия, способствующие расширению сельскохозяйственного производства на приусадебных участках колхозников, рабочих совхозов и единоличников — изменение налоговой политики, расширение земельных угодий этого сектора, изменение системы снабжения этого сектора сельскохозяйственной современной и специально разработанной техникой, удобрениями и др. Мероприятия, улучшающие снабжение села строительными материалами, топливом, расширение всех форм кооперативного хозяйствования на селе с изменением налоговой политики, разрешение найма рабочих и их оплаты в соответствии с интересами дела, с изменением системы материального снабжения села.

г) Расширение возможностей и выгодности частной инициативы в среде обслуживания, в медицинском обслуживании, мелкой торговле, образовании и т. п.

5. Рассмотреть вопрос о постепенной отмене паспортного режима как серьезного тормоза в развитии производительных сил страны и как нарушения прав граждан, в особенности сельских жителей.

6. В области информационного обмена, культуры, науки и свободы убеждения:

а) Поощрять свободу убеждений, дух изучения, делового беспокойства.

б) Прекратить глушение иностранных радиопередач, расширить ввоз иностранной литературы, войти в международную систему охраны авторских прав, облегчить международный туризм — для преодоления пагубной для нашего развития изоляции.

в) Принять решения, обеспечивающие фактическое отделение церкви от государства, фактическую (то есть обеспеченную юридически, материально и административно) свободу совести и вероисповедания.

г) Пересмотреть те стороны взаимоотношений государственно-партийного аппарата и искусства, литературы, театра, органов образования и т. п., которые наносят ущерб развитию культуры в нашей стране, снижают смелость и разносторонность творческого поиска, приводят к казенщине, серости и ритуальности. В общественных и гуманитарных науках, роль которых в современной жизни непрерывно возрастает (в философии, истории, социологии, юриспруденции и т. п.),— обеспечить ликвидацию застоя,-расширение направлений творческого поиска, независимость от предвзятых точек зрения, использование всей гаммы зарубежного опыта.

7. В социальной области:

а) Рассмотреть вопрос о возможности отмены смертной казни. Отменить особый строгий режим лишения свободы как противоречащий гуманности. Принять меры по совершенствованию пенитенциарной системы, с использованием зарубежного опыта и рекомендаций ООН.

б) Рассмотреть возможность учреждения общественного наблюдательного органа, имеющего целью исключить возможность применения физических мер воздействия (избиения, голод и холод и т. п.) к задержанным, арестованным и осужденным.

в) Резкое улучшение качества образования. Повышение оплаты и самостоятельности учителей школ и преподавателей вузов. Уменьшить формальную роль дипломов и ученых степеней. Уменьшение унифицированности системы образования, более широкое профилирование в школах. Увеличение гарантии права на убеждения.

г) Расширение мер борьбы с алкоголизмом с привлечением возможностей общественного контроля над всеми аспектами проблемы.

д) Усилить мероприятия по борьбе с шумом, с отравлением воздуха и воды, борьбе с эрозией, засолением почвы и отравлением ее химикатами. Улучшить защиту лесов, диких и домашних животных, защиту животных от жестокостей.

е) Реформа системы медицинского обслуживания. Расширение сети поликлиник и больниц, увеличение роли частнопрактикующего врача, медсестры, сиделки. Увеличение зарплаты медработникам всех уровней. Реформа медицинской промышленности. Повсеместная доступность современных лекарств и средств. Внедрение рентгено-телевизионных установок.

8. В правовой области:

а) Ликвидация явных и скрытых форм дискриминации — по убеждениям, по национальному признаку и т. п.

б) Фактическая гласность судопроизводства во всех случаях, где она не противоречит основным правам граждан.

в) Рассмотреть вопрос о ратификации Верховным Советом СССР Пактов о правах человека, принятых 21-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН, и о присоединении к Факультативному протоколу к этим Пактам.

9. В области взаимоотношений с национальными республиками:

Наша страна провозгласила право нации на самоопределение вплоть до отделения. Реализация права на отделение в случае Финляндии была санкционирована Советским правительством. Право на отделение союзных республик провозглашено Конституцией СССР. Имеется, однако, неясность в отношении гарантий права и процедуры, обеспечивающей подготовку, необходимое обсуждение и фактическую реализацию права. Фактически даже обсуждение подобных вопросов нередко преследуется. По моему мнению, юридическая разработка проблемы и принятие закона о гарантиях права на отделение имели бы важное внутреннее и международное значение как подтверждение антиимпериалистического и антишовинистического характера нашей политики. По всей видимости, тенденции к выходу какой-либо республики из СССР не носят массового характера, и они, несомненно, еще более ослабнут со временем в результате дальнейшей демократизации в СССР. С другой стороны, не подлежит сомнению, что республика, вышедшая по тем или иным причинам из СССР мирным конституционным путем, полностью сохранит свои связи с социалистическим содружеством наций. Экономические интересы и обороноспособность социалистического лагеря в этом случае не пострадают, поскольку сотрудничество социалистических стран носит весьма совершенный и всеобъемлющий характер и, несомненно, будет еще более углубляться в условиях взаимного невмешательства социалистических стран во внутренние дела друг друга. По этим причинам обсуждение поставленного вопроса не представляется мне опасным.

Если изложение данной Записки носило кое-где излишне безапелляционный характер, это следует отнести за счет конспективности. Проблемы, стоящие перед нашей страной, находятся в глубокой взаимной связи с некоторыми сторонами общемирового кризиса XX века — кризиса международной безопасности, потери стабильности общественного развития, идеологического тупика и разочарованности в идеалах недавнего прошлого, национализма, опасности дегуманизации. Конструктивное разрешение наших проблем, осторожное, гибкое и одновременно решительное, в силу особого положения нашей страны в мире будет иметь важное значение для всего человечества.

5 марта 1971 года

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПАМЯТНОЙ ЗАПИСКЕ

Памятная записка была направлена на имя Генерального секретаря ЦК КПСС 5 марта 1971 года. Она осталась без ответа. Я не считаю себя вправе далее откладывать ее опубликование. Послесловие написано в июне 1972 года. Оно содержит некоторые дополнения и частично заменяет упомянутое в тексте Записки приложение «О преследованиях по политическим мотивам».

Я начал общественную деятельность около 10—12 лет назад, осознав преступный характер возможной термоядерной войны и воздушных испытаний термоядерного оружия. С тех пор я пересмотрел многое в своих взглядах, в особенности начиная с 1968 года (для меня лично начало этого года ознаменовалось работой над «Размышлениями о прогрессе», а конец, как и для всех, грохотом танков на улицах непокорившейся Праги).

Но основа моих взглядов все же осталась прежней.

Я по-прежнему не могу не ценить большие благотворные изменения (социальные, культурные, экономические), которые произошли в нашей стране за последние 50 лет, отдавая, однако, себе отчет в том, что аналогичные изменения имели место во многих странах и что они являются проявлением общемирового прогресса.

Я по-прежнему считаю, что преодоление трагических противоречий и опасностей нашей эпохи возможно только на пути сближения и встречной деформации капитализма и социалистического строя.

В капиталистических странах этот процесс должен сопровождаться дальнейшим усилением элементов социальной защиты прав трудящихся, ослаблением милитаризма и его влияния на политическую жизнь. В социалистических странах также необходимо ослабление милитаризации экономики и мессианской идеологии, жизненно необходимо ослабление крайних проявлений централизма и партийно-государственной бюрократической монополии как в экономической области производства и потребления, так и в области идеологии и культуры.

Я по-прежнему придаю решающее значение демократизации общества, развитию гласности, законности, обеспечению основных прав человека.

Я по-прежнему надеюсь на эволюцию общества в этих направлениях под воздействием технико-экономического прогресса, хотя мои прогнозы стали более сдержанными.

Сейчас мне в еще большей мере, чем раньше, кажется, что единственной истинной гарантией сохранения человеческих ценностей в хаосе неуправляемых изменений и трагических потрясений является свобода убеждений человека, его нравственная устремленность к добру.

Наше общество заражено апатией, лицемерием, мещанским эгоизмом, скрытой жестокостью. Большинство представителей его высшего слоя — партийно-государственного аппарата управления, высших преуспевающих слоев интеллигенции — цепко держатся за свои явные и тайные привилегии и глубоко безразличны к нарушениям прав человека, к интересам прогресса, к безопасности и будущему человечества. Другие, будучи в глубине души озабочены, не могут позволить себе никакого «свободомыслия» и обречены на мучительный разлад самих с собой. Размеры национального бедствия приобрело пьянство. Оно является одним из симптомов нравственной деградации общества, которое все больше погружается в состояние хронического алкогольного отравления.

Для духовного оздоровления страны необходима ликвидация условий, толкающих людей на лицемерие и приспособленчество, создающих у них чувство бессилия, неудовлетворенности и разочарования. Необходимо обеспечение для всех на деле, а не на словах равных возможностей в продвижении на работе, в образовании и культурном росте, необходима ликвидация системы привилегий во всех областях потребления. Необходима большая идеологическая свобода, полное прекращение всех форм преследования за убеждения. Необходима коренная реформа образования. Эти мысли лежат в основе многих предложений Памятной записки.

В Записке упомянута, в частности, проблема улучшения материального положения и самостоятельности двух наиболее многочисленных и социально весомых групп интеллигенции — учителей и медицинских работников. Плачевное состояние народного образования и здравоохранения тщательно скрывается от зарубежного глаза, но для всех желающих видеть не может являться секретом. Бесплатный характер здравоохранения и образования — не более чем экономическая иллюзия в обществе, где вся прибавочная стоимость экспроприируется и распределяется государством. В здравоохранении и образовании особенно пагубно отразилась иерархическая классовая структура нашего общества с его системой привилегий. Состояние образования и здравоохранения для народа — это нищета общедоступных больниц, бедность сельских школ, переполненные классы, бедность и придавленность народного учителя, казенное лицемерие в преподавании, распространяющее на подрастающее поколение дух равнодушия к нравственным, художественным и научным ценностям.

Особое место в числе условий оздоровления общества занимает прекращение преследований по политическим мотивам как в судебных и психиатрических формах, так и в любых других, на которые способна наша бюрократическая и косная система с ее тоталитарным вмешательством государства в жизнь граждан (увольнение с работы, исключение из вузов, отказ в прописке, ограничение в продвижении по работе и т. п.).

Ростки нравственного возрождения народа и интеллигенции, которые возникли после ограничения крайних проявлений слепой террористической системы сталинизма, не встретили должного понимания у правящих кругов. Основные классово-социальные и идеологические черты строя не претерпели существенных изменений. С болью и тревогой я вынужден отметить, что вслед за иллюзорным в значительной мере либерализмом вновь усиливаются ограничения идеологической свободы, стремление к пресечению не контролируемой государством информации, преследования по политическим и идеологическим мотивам, намеренное обострение национальных проблем. Пятнадцать месяцев, прошедших с момента подачи Записки, принесли новые тревожные свидетельства развития этих тенденций.

Особенно волнует волна политических арестов в первые месяцы 1972 года. Многочисленные аресты имели место на Украине. Аресты имели место также в Москве, в Ленинграде и в других районах страны.

Внимание общественности в эти же месяцы привлекли суды над Буковским в Москве, над Строкатой в Одессе и другие. Необычайно опасным по своим последствиям для общества и совершенно недопустимым нарушением прав человека является использование в политических целях психиатрии; известны многочисленные протесты и высказывания по этому вопросу, сейчас по-прежнему в тюремных психиатрических больницах находятся Григоренко, Гершуни и многие другие; неизвестна судьба Файнберга и Борисова; есть и новые факты психиатрической репрессии (например, дело поэта Лупыноса на Украине).

Преследование и разрушение религии, с упорством и жестокостью проводящееся на протяжении десятилетий,— несомненно, одно из самых серьезных по своим последствиям нарушений прав человека в нашей стране. Свобода религиозных убеждений и религиозной деятельности — неотъемлемая часть интеллектуальной свободы вообще. К сожалению, последние месяцы ознаменовались новыми фактами религиозных преследований, в частности, в Прибалтике и в других местах.

Я не останавливаюсь в этом послесловии на ряде важных проблем, получивших отражение в Памятной записке и в других документах, опубликованных мною,— в открытых письмах членам Президиума Верховного Совета СССР «О свободе выезда из страны» и министру МВД «О дискриминации в отношении крымских татар».

Не останавливаюсь также на большинстве получивших отражение в «Записке» международных проблем, выделю из их числа вопрос об ограничении гонки вооружений. Милитаризация экономики накладывает глубокий отпечаток на международную и внутреннюю политику, приводит к нарушениям демократии, гласности и законности, создает угрозу миру. Хорошо изучена роль военно-промышленного комплекса в политике США. Аналогичная роль тех же факторов в СССР и других социалистических странах менее изучена. Однако необходимо отметить, что ни в одной стране доля военных расходов, отнесенная к национальному доходу, не достигает таких размеров, как в СССР (более 40 процентов). В обстановке взаимного недоверия особую роль играет проблема контроля, отмеченная в Записке.

Я пишу это послесловие вскоре после подписания важных соглашений об ограничении ПРО и стратегических ракет. Хочется верить в чувство ответственности перед человечеством политических руководителей и деятелей военно-промышленного комплекса в США и СССР.

Хочется верить, что эти соглашения имеют не только символический смысл, но и приведут к реальному сокращению гонки вооружений и к дальнейшим шагам, смягчающим политический климат в нашем исстрадавшемся мире.

В заключение я считаю необходимым подчеркнуть то значение, которое я придаю предложению об организации международного консультативного органа — «Международного совета экспертов», обладающего правом рекомендаций с обязательным рассмотрением их национальными правительствами,— пункт Б.3 в Записке. Я считаю это предложение реальным,— при условии широкой международной поддержки, о которой я прошу, я обращаюсь не только к советским, но и к зарубежным читателям. Надеюсь также, что мой голос «изнутри» социалистического мира в какой-то мере поможет осмыслению исторического опыта последних десятилетий.

Июнь 1972 года

ВЫСТУПЛЕНИЯ НА МОСКОВСКОМ ФОРУМЕ

Я согласился принять участие в состоявшемся 14—16 февраля в Москве «Форуме за безъядерный мир, за выживание человечества» и выступал на трех заседаниях. Мое решение привлекло большое внимание, некоторые одобряли его, некоторые осуждали, многие характеризовали как сенсационное. Но для меня оно было самоочевидным.

Мои взгляды сформировались в годы участия в работе над ядерным оружием; в активных действиях против испытаний этого оружия в атмосфере, воде и космосе; в общественной и публицистической деятельности; участии в правозащитном движении и в горьковской изоляции. Основы позиции отражены в статье 1968 года «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе», но изменяющаяся жизнь требовала ответных изменений конкретного ее воплощения. В особенности это относится к последним переменам

во внутренней жизни и внешней политике СССР. Главными и постоянными составляющими (ingredients) в моей позиции являются: мысль о неразрывной связи сохранения мира с открытостью общества, с соблюдением прав человека так, как они сформулированы во Всеобщей декларации прав человека ООН; убеждение, что только конвергенция социалистической и капиталистической систем — кардинальное, окончательное решение проблемы мира и сохранения человечества.

Я понимал, что участие в Форуме неизбежно будет в той или иной степени использовано для чисто пропагандистских целей. Но я исходил из того, что положительное значение публичного выступления после того, как многие годы мой рот был полностью зажат,— гораздо существенней.

Мысли, высказанные мной, отличаются во многом от официальной советской позиции, во многом же совпадают с ней. В обоих случаях это мои мысли, мои убеждения. На Форуме советские участники академик Велихов и заместитель директора Института США и Канады Кокошин выступили с развернутыми возражениями против некоторых из моих утверждений. Я считаю это показателем важности и нетривиальности моих высказываний.

Первое выступление состоялось на заседании, посвященном сокращению стратегических вооружений, второе — на заседании по противоракетной обороне и программе СОИ, третье — на заседании по проблеме запрещения подземных испытаний. Особенное значение я придаю второму выступлению, в котором высказываюсь за отмену принципа «пакета», то есть за отказ СССР от жесткой обусловленности соглашений по сокращению термоядерного оружия заключением соглашения по СОИ, а также соображениям по безопасности ядерной энергетики в третьем выступлении. Я бы хотел широкой общественной дискуссии по этим вопросам.

В материалах о Форуме, опубликованных советской прессой, сообщается о моем участии, но указанные основные тезисы не упоминаются. Вот что напечатано в «Правде»: «Академик А. Д. Сахаров отметил несостоятельность позиции сторонников СОИ. Он также отметил, что неправильным является утверждение, что наличие программы СОИ побудило СССР к переговорам о разоружении. Программа СОИ мешает переговорам. Ученый предложил также свой вариант решения вопроса о 50-процентных сокращениях ядерных вооружений». В сообщениях западных радиостанций, которые мне довелось услышать в эти дни, моя точка зрения излагалась также неточно и неполно. Это только подтвердило ранее принятое мной решение опубликовать полные тексты моих выступлений на Форуме.

18.02.87

ВЫСТУПЛЕНИЕ 14 ФЕВРАЛЯ 1987 ГОДА

У меня есть соображения технического характера о сокращении стратегических вооружений. Я выскажу их в конце выступления. Но прежде я хочу остановиться на некоторых общих вопросах.

Как гражданин СССР я в особенности обращаюсь со своими призывами к руководству нашей страны, наряду с другими великими державами несущей особую ответственность за положение в мире.

Международная безопасность и реальное разоружение невозможны без бóльшего доверия между странами Запада и СССР, другими социалистическими странами.

Необходимо разрешение региональных конфликтов на основе компромисса, восстановление стабильности всюду в мире, где она нарушена; прекращение поддержки дестабилизирующих и экстремистских сил, всех террористических группировок, не должно быть попыток расширения зоны влияния одной стороны за счет другой; необходима совместная работа всех стран для решения экономических, социальных и экологических проблем. Необходима бóльшая открытость и демократизация нашего общества — свобода распространения и получения информации, безусловное и полное освобождение узников совести, реальная свобода выбора страны проживания и поездок, свобода выбора места проживания

внутри страны; реальный контроль граждан над формированием внутренней и внешней политики.

Несмотря на происходящие в стране прогрессивные процессы демократизации и расширения гласности, положение остается противоречивым и неопределенным, а в чем-то наблюдается попятное движение (например, в законодательстве о свободе эмиграции и поездок).

Без решения политических и гуманитарных проблем прогресс в области разоружения и международной безопасности будет крайне затруднен или вовсе невозможен.

Но есть и обратная зависимость — демократизация и либерализация в СССР и тесно связанный с ними экономический и социальный прогресс будет затруднен без ослабления пресса гонки вооружений. Горбачев и его сторонники, ведущие трудную борьбу против косных, догматических и своекорыстных сил, заинтересованы в разоружении, в том, чтобы гигантские материальные и интеллектуальные ресурсы не отвлекались на вооружение и перевооружение на новом технологическом уровне. Но в успехе преобразований в СССР заинтересован и Запад, весь мир. Экономически сильный, демократизированный и открытый Советский Союз явится важнейшим гарантом международной стабильности, хорошим и надежным партнером для других стран в совместном решении глобальных проблем. И наоборот. Если на Западе возобладает политика изматывания СССР при помощи гонки вооружений — ход мировых событий будет крайне мрачным. Загнанный в угол противник всегда опасен. Нет никаких шансов, что гонка вооружений может истощить советские материальные и интеллектуальные резервы и СССР политически и экономически развалится — весь исторический опыт свидетельствует об обратном. Но процесс демократизации и либерализации прекратится, научно-техническая революция будет иметь одностороннюю военно-промышленную направленность, во внешней политике, как можно опасаться, получат преобладание экспансионистские тенденции, блокирование с деструктивными силами.

Теперь о специальных вопросах ограничения стратегических вооружений. В Рейкьявике обсуждалась схема одновременного пятидесятипроцентного сокращения всех видов стратегического оружия США и СССР, с сохранением тем самым для каждой стороны сложившихся пропорций различных видов вооружений (я опираюсь на имеющиеся публикации; возможно, что какие-то детали мне неизвестны). «Пропорциональная» схема наиболее проста, и вполне оправданно, что продвижение началось именно с нее. Но она не оптимальна, так как не решает проблемы стратегической стабильности.

Большая часть ракетно-термоядерного потенциала СССР — мощные шахтные ракеты с разделяющимися боеголовками. Такие ракеты уязвимы по отношению к предупредительному удару современных высокоточных ракет потенциального противника. Принципиально важно, что одна ракета противника с разделяющимися боеголовками уничтожает несколько шахтных ракет. То есть уничтожение всех шахтных ракет при примерном равенстве сторон (СССР и США) возможно с использованием противником лишь части его ракет. Стратегическое значение «первого удара» колоссально возрастает. Страна, опирающаяся в основном на шахтные ракеты, может оказаться *вынужденной* в критической ситуации к нанесению «первого удара». Это объективная военно-стратегическая реальность, которую не может не учитывать противоположная сторона. Я хочу подчеркнуть, что такое положение никем не планировалось при развертывании шахтных ракет в шестидесятых и семидесятых годах. Оно возникло в результате разработки и принятия на вооружение разделяющихся боеголовок и повышения точности стрельбы. Но сегодня шахтные ракеты, вообще любые ракеты с уязвимыми стартовыми позициями, являются важнейшим фактором военно-стратегической нестабильности. Поэтому я считаю чрезвычайно важным при сокращении ракетно-стратегических вооружений принять принцип преимущественного сокращения ракет с уязвимыми стартовыми позициями, то есть тех ракет, которые принципиально являются оружием первого удара. Особенно важно преимущественное сокращение советских шахтных ракет, так как они составляют основу советских ракетно-термоядерных сил, а также американских ракет MX. Возможно, целесообразно часть советских шахтных ракет одновременно с общим

сокращением заменить на менее уязвимые ракеты эквивалентной ударной силы (ракеты с подвижным замаскированным стартом, крылатые ракеты различного базирования, ракеты на подводных лодках и т. д.). Для американских ракет MX проблемы замены, как я думаю, не стоит, так как они составляют менее существенную часть в общем балансе, и их можно безболезненно уничтожить в процессе двустороннего сокращения.

Выработка соглашения о непропорциональном сокращении более сложна для экспертов и дипломатов, чем подписание соглашения о пропорциональном сокращении. Но я убежден, что это крайне желательно. Дополнительные расходы на перевооружение советских стратегических сил представляются мне вполне оправданными. Они будут тем меньше, чем глубже одновременное общее сокращение стратегических сил.

Перехожу к этому последнему вопросу, уже обсуждавшемуся сегодня. Определение порога сокращения стратегических сил из условия сохранения стратегической стабильности — задача очень трудная, включающая множество неизвестных и даже не определенных корректно факторов.

Приведу два соображения, иллюстрирующие эти трудности.

При расчете наносимого ущерба можно исходить из различных сценариев войны. В частности, можно производить оценку для случая первого удара или удара возмездия. Эти оценки могут существенно отличаться. Как мне кажется, страна, идущая на опасное обострение, при этом может принять одновременно решение о первом ударе; в этом случае она оценивает свои возможные потери по более низкому уровню удара возмездия.

Гораздо более сложен вопрос о предельно допустимом ущербе. То есть — какой максимальный ущерб для населения своей страны, для ее экономического и военного потенциала может допустить решающееся на ядерное обострение правительство в качестве платы за победу. Предполагается, что речь идет об уровнях стратегического ядерного вооружения, при которых нет взаимного гарантированного уничтожения. Этот вопрос нельзя решать, исходя из психологии мирного времени. Я вспоминаю о решениях, принимавшихся в острых ситуациях руководителями недавнего прошлого,— а ведь ситуация, о которой идет речь, вообще не имеет прецедента. Поэтому я бы затруднился сегодня назвать конкретный уровень. Он может быть близок или равен уровню гарантированного взаимного уничтожения! Вернуться к этому вопросу целесообразно после осуществления пятидесятипроцентного сокращения.

Безъядерный мир — желанная цель. Он возможен только в будущем, в результате многих радикальных изменений в мире. Условиями мирного развития сейчас и в будущем являются: разрешение региональных конфликтов; равновесие обычных вооружений; либерализация и демократизация, большая открытость советского общества, соблюдение гражданских и политических прав человека; компромиссное решение проблемы противоракетной обороны без объединения ее в «пакете» с другими вопросвми стратегического оружия. Эту последнюю тему я надеюсь обсудить завтра.

Кардинальным, окончательным решением проблемы международной безопасности является конвергенция, сближение мировых систем социализма и капитализма.

ПЕРВОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 15 ФЕВРАЛЯ 1987 ГОДА

В Рейкьявике наметилась возможность достигнуть соглашения по ряду важнейших проблем разоружения. Но переговоры наткнулись на проблему СОИ. Точнее:

1. на нежелание Рейгана — или невозможность этого для него — заключить компромиссное соглашение по СОИ, предусматривающее мораторий на развертывание в космосе элементов ПРО (непременный элемент соглашения) и определенные ограничения на испытания элементов СОИ с выводом в космос и с использованием подземных ядерных взрывов. В наиболее приемлемом для СССР варианте соглашение должно предусматривать ограничение работ по СОИ только лабораторными исследованиями. По-видимому, предлагаемое советской стороной компромиссное соглашение оказалось неприемлемым для американской стороны, так как оно лишало ее перспективы свободной работы по СОИ;

2. при такой позиции Рейгана (которую можно было предвидеть) решающее значение приобрел принятый советской стороной принцип «пакета», согласно которому заключение соглашения по СОИ является необходимым условием заключения других соглашений по разоружению, в особенности соглашения о сокращении числа баллистических межконтинентальных ракет с термоядерными зарядами.

Возникла тупиковая ситуация. Я считаю, что принцип «пакета» может и должен быть пересмотрен.

Соглашения о разоружении, в частности о значительном сокращении баллистических межконтинентальных ракет, и о ракетах средней дальности и поля боя должны быть заключены как можно скорей независимо от СОИ в соответствии с линиями договоренности, наметившимися в Рейкьявике.

Компромиссное соглашение по СОИ может быть, по моему мнению, заключено во вторую очередь. Таким образом опасный тупик в переговорах был бы преодолен.

Я постараюсь проанализировать соображения, приведшие к принципу «пакета», и показать их несостоятельность. Я также попытаюсь показать несостоятельность доводов сторонников СОИ. Начну с последнего.

Я убежден, что система СОИ неэффективна для той цели, для которой она, по утверждению ее сторонников, предназначена.

Объекты ПРО, размещенные в космосе, могут быть выведены из строя еще на неядерной стадии войны, и особенно в момент перехода к ядерной стадии, с помощью противоспутникового оружия, космических мин и других средств. Так же будут разрушены многие ключевые объекты ПРО наземного базирования. Использование твердотопливных баллистических ракет и ракет с облегченной головной частью, имеющих уменьшенное время прохождения активного участка, потребует непомерного увеличения числа космических станций СОИ. Системы ПРО обладают особенно малой эффективностью в отношении крылатых ракет и ракет, запускаемых с близкого расстояния. Результативным способом преодоления любой системы ПРО, в том числе СОИ, является простое увеличение числа ложных и боевых головок, использование помех и различных способов маскировки. Все это и многое другое заставляет считать СОИ своего рода «космической линией Мажино» — дорогой и неэффективной. Противники СОИ утверждают, что СОИ, будучи неэффективной в качестве оборонительного оружия, является щитом, под прикрытием которого наносится «первый удар», так как может быть эффективной для отражения ослабленного удара возмездия. Мне это кажется неправильным. Во-первых, удар возмездия необязательно будет сильно ослаблен. Во-вторых, почти все приведенные выше соображения о неэффективности СОИ относятся и к удару возмездия.

Тем не менее в настоящее время ни одна из сторон, по-видимому, не может отказаться от поисковых работ в области СОИ, поскольку нельзя исключить возможности неожиданных успехов и — что существенней и реальней — поскольку концентрация сил на новейшей технологии может принести важные побочные результаты в мирной и военной областях, например в области компьютерной науки. Я все же считаю все эти соображения и возможности второстепенными в масштабе огромной, непомерной стоимости работ по СОИ и при сопоставлении с негативным влиянием СОИ на военно-стратегическую стабильность и на переговоры о разоружении. Сторонники СОИ в США, возможно, рассчитывают с помощью усиления гонки вооружений, связанной с СОИ, экономически измотать и развалить СССР. Я уже говорил вчера, что подобная политика неэффективна и крайне опасна для международной стабильности. В случае СОИ «асимметричный» ответ (то есть преимущественное развитие сил нападения и средств уничтожения СОИ) делает такие расчеты особенно беспочвенными. Неправильно также утверждение, что наличие программы СОИ побудило СССР к переговорам о разоружении. Программа СОИ, наоборот, затрудняет эти переговоры.

Перейду к центральному вопросу — о принципе «пакета». В защиту принципа «пакета» приводится такой, на первый взгляд очень серьезный, аргумент.

Представим себе, что СССР отказался от «пакета», произошло существенное сокращение стратегических ракет с термоядерными зарядами, а США сохранили свободу рук в развертывании СОИ и в некоторый момент начинают выводить в космос объекты СОИ, например в варианте, предложенном Уайнбергером. Этот проект предусматривает создание в космосе за несколько лет сети станций, на каждой из которых находится несколько десятков противоракет для поражения советских МБР на активном участке траектории. Кроме того, создается сеть станций наблюдения и управления огнем. Возникает опасность, что такая система, которая была бы неэффективна против первоначального количества советских ракет, после их сокращения окажется уже достаточно действенной и СССР фактически станет безоружным. Кроме того, на сотнях станций можно будет спрятать ядерные ракеты типа «космос — земля», лазерное оружие «космос — земля» для создания пожаров. Начну с последнего опасения. Оружие «космос — земля» не кажется мне очень перспективным. Ракеты, размещенные на космических станциях, будут иметь гораздо более легкую боеголовку, чем баллистические ракеты за те же деньги. Станции и спускаемые с них аппараты очень уязвимы. Лазеры для поджога на расстоянии в 100 и более километров непомерно мощные и вряд ли очень эффективны.

Главный аргумент защитников принципа «пакета» — возможная эффективность СОИ против сокращенных сил МБР СССР. Я считаю, что *с большой долей вероятности* США просто не решатся на развертывание СОИ в условиях сокращения вооружений, учитывая крайне отрицательные последствия этого шага в политическом, экономическом и военно-стратегическом смысле для стабильности положения в мире. Как полагают видные политические деятели США, «конгресс этого не допустит». Если начнется разоружение, программа СОИ в США потеряет свою популярность. Но если все же в США возобладают силы, настаивающие на развертывании СОИ в космосе, СССР не окажется в безвыходном положении. Он прекратит сокращение своих стратегических сил и начнет ускоренное строительство мобильных стратегических ракет и крылатых ракет, которые, таким образом, заменят уязвимые шахтные ракеты. Как я говорил вчера, такая замена крайне желательна по независимым соображениям. Одновременно СССР начнет ускоренное развитие противоспутникового оружия и космических мин, что даст ему возможность уничтожить или парализовать американскую систему СОИ. Особенно легко уничтожить сравнительно немногочисленные станции наблюдения. Расходы СССР в этом случае возрастут, но не превзойдут приемлемые пределы. Они, вероятно, будут близки к тем, которые требуются от СССР при сохранении принципа «пакета» и существующего уровня гонки вооружений. Конечно, второй путь развития событий менее благоприятен для СССР, чем первый. Но он менее благоприятен и для США и для всего мира. Поэтому можно надеяться, что США не решатся на развертывание СОИ и ограничатся поисковыми работами, которые при отсутствии запрещения получат полное развитие и, может, даже принесут плоды в мирной области.

Итак, альтернатива такова. Или сохранение принципа «пакета» и продолжение гонки вооружений на существующем и возрастающем уровне и неизбежное развертывание СОИ. Или отказ от принципа «пакета»; это дает выход из тупика, возникшего в Рейкьявике. Правда, в худшем случае (вероятность которого, по-моему, невелика) — новый виток гонки вооружений, с заменой у СССР шахтных ракет на мобильные. В целом военно-стратегическое положение СССР и стабильность положения в мире даже в худшем случае, по моему мнению, не будут отличаться от положения при сохранении «пакета», а политическое положение будет много лучше.

Я всецело за отмену принципа «пакета».

ВТОРОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 15 ФЕВРАЛЯ 1987 ГОДА

О проблеме ядерных испытаний. Я утверждаю, что боеспособность многих новых вариантов ядерного (как атомного, так и термоядерного) оружия может быть надежно установлена без проведения ядерных испытаний. Исключение, быть может, составят виды оружия, основанные на новых физических и конструктивных принципах, если таковые будут выдвинуты. Однако уже известные физико-конструктивные принципы вполне достаточны для эффективного решения всех военных задач ядерного оружия. Не требует, в частности, новых ядерных испытаний проверка вариантов, отличающихся от ранее испытанных габаритами, весом, компоновкой и другими чисто конструктивными параметрами. Тем более не требует ядерных испытаний проверка надежности оружия при его длительном хранении, а также проверка устойчивости оружия по отношению к механическим, тепловым и радиационным воздействиям, которые могут иметь место при боевом применении.

Условно можно выделить в каждом ядерном заряде «сектора» (не следует придавать этому слову геометрического или конструктивного смысла) — электротехнический, баллистический, атомный и (для термоядерного заряда) термоядерный сектор.

Надежность первых трех секторов может быть подтверждена лабораторными испытаниями, дополненными «индикаторным» взрывным испытанием (то есть испытанием, при котором в результате маломощной реакции деления или ядерного синтеза образуется малое количество нейтронов, достаточное для регистрации расположенным вблизи испытываемого заряда счетчиком).

Четвертый (термоядерный) сектор не требует в большинстве случаев испытаний, так как его надежность может быть установлена *по аналогии* с ранее испытанными зарядами, основанными на тех же физико-конструктивных принципах. При этом также очень полезны расчеты процесса термоядерного взрыва на ЭВМ (вполне надежны расчеты процессов, обладающих сферической симметрией или симметрией наличия оси вращения; надежность и точность расчетных методик устанавливается применением их к ранее испытанным зарядам, основанным на тех же принципах).

В силу сказанного продолжение или прекращение ядерных испытаний не имеет принципиального критического значения для проблемы сдерживания гонки ядерных вооружений. Вопрос о ядерных испытаниях, по моему мнению, имеет второстепенное, вторичное значение по отношению к другим военно-техническим, политическим и дипломатическим аспектам предупреждения термоядерной катастрофы.

Важно, что подземные испытания при достаточной глубине залегания взрывной камеры и соблюдении других мер безопасности не наносят никакого экологического ущерба ни в стране, производящей испытания, ни тем более за ее пределами.

Пока существует и не запрещено ядерное оружие, решение о его подземных испытаниях является внутренним суверенным делом каждой из ядерных держав.

Я считаю, что исключение вопроса о полном запрещении ядерных испытаний из числа первоочередных облегчит и упростит переговоры о более актуальных и неотложных проблемах разоружения.

Я намеренно не касался пропагандистских и психологических аспектов проблемы. Ядерное оружие разделяет человечество, угрожает ему. Но есть мирное использование ядерной энергии, которое должно способствовать объединению человечества. Разрешите мне сказать несколько слов по этой теме, связанной с основной целью форума.

В эти дни в выступлениях участников много раз упоминалась катастрофа в Чернобыле, явившаяся примером трагического взаимодействия техники и человеческих ошибок.

Нельзя тем не менее переносить на мирное использование ядерной энергии то неприятие, которое люди вправе иметь к ее военным применениям. Человечество не может обойтись без ядерной энергетики. Мы обязаны поэтому найти такое решение проблемы безопасности, которое полностью исключило бы возможность повторения чего-либо подобного Чернобыльской катастрофе в результате ошибок, нарушения инструкций, конструктивных дефектов и технических неполадок.

Такое кардинальное решение — размещение ядерных реакторов под землей на глубине, исключающей выделение радиоактивных продуктов в атмосферу при любой мыслимой аварии. При этом будет также обеспечена ядерная безопасность в случае войны, ведущейся без использования ядерного оружия. Особенно суще-

ственно иметь полную безопасность для теплофикационных станций, располагаемых вблизи больших городов. Идея подземного размещения ядерных реакторов не нова, против нее выдвигаются соображения экономического характера. На самом деле с использованием современной землеройной техники цена будет, как я убежден, приемлемой. Жалеть же деньги на предотвращение радиационных катастроф нельзя. Я считаю, что мировая общественность, обеспокоенная возможными последствиями мирного использования ядерной энергии, должна сосредоточить свои усилия не на попытках вовсе запретить ядерную энергетику, а на требовании обеспечить ее полную безопасность.

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В СССР И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ — ЦЕЛИ, ЗНАЧЕНИЕ, ТРУДНОСТИ

Поставленное в заголовке этой статьи слово «движение» не должно наводить на мысль о какой-либо организации, или ассоциации, или, тем более, партии. Речь идет просто о людях, объединенных некоторой общей точкой зрения и способом действий. Являясь одним из этих людей («инакомыслящих», или «диссидентов»), я ни в коем случае не выступаю в роли идеолога или руководителя; каждое мое публичное выступление, в том числе данная статья, отражает исключительно мое личное мнение по волнующим меня вопросам.

Общественно-политическая идеология, выдвигающая на первое место права человека, представляется мне во многих отношениях наиболее разумной в рамках тех относительно узких задач, которые она себе ставит. Я убежден, что никакие идеологии, основанные на догмах или метафизических построениях или слишком существенно опирающиеся на современную им структуру общества, не могут соответствовать сложности, быстрой изменчивости и непредсказуемости развития человечества. Императивные и догматические концепции всевозможных преобразователей мира так же, как иррациональные миражи национализма и национал-социализма, на деле до сих пор оборачивались насилием над внутренней свободой людей и прямым физическим насилием, воплощенным в двадцатом веке ужасами геноцида, революций, межнациональных и гражданских войн, анархическим и государственным террором, адом Колымы и Освенцима.

Коммунистическая идеология, с ее обещанием общемирового общества социальной гармонии, труда, материального процветания и свободы в будущем, на деле в государствах, называющих себя социалистическими, трансформировалась в идеологию партийно-бюрократического тоталитаризма, заводящую, по моему убеждению, в глубочайший исторический тупик.

Сейчас уже нигде не существует также в чистом виде капиталистическая прагматическая философия разумного индивидуализма. Потрясения двадцатого века — великий мировой экономический кризис, разрушительные войны, призрак экологической и демографической катастрофы — показали ее недостаточность.

Я считаю технико-экономический прогресс, в значительной мере снимающий остроту проблемы распределения материальных благ, важнейшим положительным фактором социальной жизни; но я также остро чувствую связанные с ним опасности и сознаю недостаточность технократической идеологии в решении всего многогранного комплекса проблем жизни.

В противовес императивности большинства политических философий идеология прав человека является по своему существу плюралистической, допускающей свободу разных форм общественной организации и сосуществование разных форм и предоставляющей человеку максимальную свободу личного выбора. Я убежден, что именно такая свобода, а не давление догм, авторитета, традиции или власти государства или общественного мнения может обеспечить разумное и справедливое решение тех бесконечно сложных и противоречивых проблем, которые непредсказуемо возникают в личных, социальных, культурных и многих других явлениях жизни; только такая свобода дает людям непосредственное

личное счастье, составляющее первичный смысл человеческого существования. Я убежден также, что общемировая защита прав человека является необходимым фундаментом международного доверия и безопасности, условием, предупреждающим разрушительные военные конфликты, вплоть до глобального ракетно-термоядерного, угрожающего самому существованию человечества.

В послевоенное время идеология прав человека нашла наиболее последовательное выражение во Всеобщей декларации прав человека ООН, в движениях в защиту прав человека, во всемирной кампании «Эмнести Интернейшнл» за амнистию узников совести.

Идеология защиты прав человека заняла особое место в общественных движениях в СССР и в странах Восточной Европы. Это связано с историческим опытом народов этих стран, переживших на протяжении жизни одного поколения сначала бурный и краткий период опьянения коммунистическим максимализмом (это относится главным образом к СССР), с сопровождавшими его нетерпимостью и догматизмом, всеобщей разрухой и страданиями, преступлениями белых и красных во имя того, что они считали великой целью, затем кровавый кошмар сталинского фашизма, унесшего десятки миллионов жизней и постепенно перешедшего в нынешнюю стабильную фазу партийно-государственного тоталитаризма. С таким опытом за плечами мы особенно естественно принимаем идеологию, ставящую на первый план защиту конкретных людей и конкретных прав принципиально ненасильственными, неразрушительными методами, опирающуюся на законы, на подписанные их правительствами международные документы. Близость идейной позиции инакомыслящих и даже форм борьбы за права человека позволяет говорить о Едином движении защиты прав человека в СССР и странах Восточной Европы, несмотря на отсутствие организационной связи между движениями в СССР и в странах Восточной Европы и практическую невозможность коммуникаций — переписки, телефонной связи, взаимных поездок, полностью блокируемых властями.

Замечу, что одной из форм реакции властей этих стран на такую абсолютно законную и конструктивную позицию явилось нарушение именно властями их собственных законов, в особенности при судебных процессах, все более широкое использование подпольных методов провокаций и даже методов индивидуального террора внутри и вне страны. В свою очередь антиправовые действия властей усиливали правовую ориентацию инакомыслящих.

В ЧССР защита прав человека составляла существенный элемент «Пражской весны», а в последние годы легла в основу знаменитой Хартии-77, которая по всей своей направленности и пафосу очень близка ко многим документам движения инакомыслящих в СССР и других странах Восточной Европы. В Польше возник Комитет защиты рабочих и другие ассоциации. В СССР 10 лет назад в качестве реакции на несправедливые судебные процессы и другие нарушения прав человека возникли Инициативная группа защиты прав человека, Комитет прав человека, в последние годы — Группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений. Важнейшим этапом формирования движения за права человека в СССР было создание замечательного самиздатского информационного журнала «Хроника текущих событий», который регулярно — несмотря на многочисленные репрессии и неописуемые трудности — выходит вот уже 10 лет с традиционным эпиграфом: текст статьи 19 Всеобщей декларации прав человека. Я считаю, что именно этот журнал полней всего отражает самый дух движения — его беспристрастность и внеполитичность, плюрализм, стремление к точности и достоверности, преимущественный интерес к конкретным нарушениям прав человека, к конкретным судьбам людей, ставших жертвой несправедливости.

Движение за права человека в СССР и в странах Восточной Европы принципиально выдвигает на первое место гражданские и политические права, в противовес официальной государственной пропаганде этих стран, умышленно (в противоречии даже с высказываниями основателей марксистской теории) смещающей акцент в сторону экономических и социальных прав. Я убежден, что в современных условиях именно гражданские и политические права — право на свободу убеждений и распространение информации, право на свободный выбор страны проживания и места проживания внутри страны, свобода вероисповеда-

ния, право на забастовки, право образования ассоциаций, отсутствие принудительного труда — являются гарантией свободы личности, осуществления социальных и экономических прав человека, международного доверия и безопасности. Гражданские и политические права наиболее систематически и откровенно нарушаются в тоталитарных странах.

Нарушается ключевое право на свободный выбор страны проживания, в особенности грубые формы эти нарушения имеют в СССР и ГДР с ее «берлинской стеной».

Роль свободного выбора страны проживания не только в том, что он обеспечивает воссоединение разрозненных семей (я не преуменьшаю значение этого), но также в том, что это право дает в принципе возможность покидать страну, не обеспечивающую своим гражданам их национальных, экономических, религиозных, политических, гражданских и социальных прав, и возвращаться в нее при изменении личной или общей ситуации, что неизбежно должно приводить к общему социальному прогрессу.

В СССР только наличие вызова от близких родственников дает право на подачу заявления на выезд, это ограничение находится в прямом противоречии с имеющим силу международного закона Пактом о гражданских и политических правах. Так с ходу отметается большое число лиц, желающих эмигрировать или временно выехать из страны по экономическим, религиозным, национальным, политическим, культурным, медицинским и иным личным причинам. Но и эмиграция имеющих вызовы, в частности немцев, евреев, литовцев, эстонцев, латышей, армян, украинцев, встречает то и дело колоссальные трудности, недаром существует слово «отказник». Мне кажется несомненным, что постоянно происходящие аресты и несправедливые осуждения стремящихся к эмиграции людей — это попытка сломить движение за эмиграцию, запугать и остановить на полпути потенциальных эмигрантов. В уголовных кодексах РСФСР и других республик в статье «Измена Родине» наряду с общепринятыми признаками этого преступления названо «бегство за границу или отказ возвратиться из-за границы в СССР». По этому признаку сотни людей были присуждены к жесточайшим наказаниям, многие помещены в тюремные психиатрические больницы. В последнее время широкую известность приобрела судьба осужденных еврейских отказников Щаранского, Слепака, Иды Нудель, Гольдштейна, Бегуна, ранее — участников Ленинградского «самолетного дела». Особенно много отказов и всевозможных преследований среди желающих эмигрировать немцев (в тридцатые—пятидесятые годы сотни тысяч немцев погибли от сталинских депортаций и репрессий). Трагична судьба трех поколений крестьянской семьи Петра Бергмана, безуспешно добивающейся выезда в Германию более пятидесяти лет.

В СССР — в противоречии с общепринятой нормой свободы передвижения внутри страны (статья 13 Декларации прав человека и соответствующая статья Пакта о правах) — существует паспортная система с обязательной так называемой «пропиской» (выдачей права на жительство в органах МВД). Особенно сильно ограничена свобода передвижения у колхозников. Колхозный Устав не предусматривает гарантий свободного выхода из колхоза, фактически превращая десятки миллионов людей в крепостных. То, что часть из них теми или иными способами все же добивается разрешения на выход из колхоза, не меняет нетерпимости общего положения.

Особая группа нарушений прав человека в СССР связана с национальными проблемами. Крымские татары, в 1944 году ставшие жертвой сталинского геноцида вместе со многими другими народами (при выселении из Крыма стариков, женщин и детей — мужчины были на фронте — погибла почти половина всех крымских татар), до сих пор подвергаются дискриминационному запрету вернуться на родную землю. Издевательства и жестокости, которым подвергаются решившиеся вернуться в Крым семьи, не поддаются описанию. Отказы в «прописке» и заключение в тюрьму за нарушение правил о «прописке» (об обязательном разрешении органов МВД на жительство), отказ в оформлении покупки домов и разрушение уже купленных, оставляющее семьи с детьми и стариками на улице, насильственные выселения, отказ в приеме на работу — все это части последовательной дискриминационной политики.

Летом этого года крымский татарин Муса Мамут совершил акт самосожжения, желая привлечь внимание к трагическому положению крымских татар. Когда его, уже умирающего, везли в больницу, он сказал: «Должен же был кто-то это сделать».

Острота национальных проблем в СССР подчеркивается жестокостью политических репрессий в национальных республиках — на Украине, в Прибалтике, в Армении и других. Приговоры в национальных республиках особенно суровы, а поводы к ним еще менее обоснованы.

Конституция СССР формально провозглашает свободу совести и отделение Церкви от государства. Но фактически официально признанные Церкви находятся в унизительном положении тотальной зависимости от государства в административном и в материальном отношении; они лишены права религиозной проповеди, права церковной благотворительности, их священники и старосты назначаются советскими органами.

В этих условиях необходимо отдать должное скрытому нонконформизму многих рядовых священников и верующих этих Церквей.

Восстающие против зависимости от властей Церкви подвергаются особо жестоким преследованиям — вплоть до отбирания детей от родителей, помещения верующих в психиатрические больницы, арестов, осуждений, конфискаций и даже террористических актов, которые никогда не расследуются.

Недавно мы все были потрясены арестом восьмидесятитрехлетнего духовного руководителя Церкви Адвентистов Седьмого Дня Владимира Шелкова, ранее проведшего более двадцати пяти лет в заключении. Приверженцы этой Церкви подвергаются особенно безжалостным репрессиям за религиозную деятельность и вынуждены зачастую жить на нелегальном положении.

Не менее трудным является положение независимого крыла Баптистской Церкви, униатов, пятидесятников, так называемой Истинно Православной Церкви и некоторых других.

В республиках Прибалтики и в западных областях Украины преследования религии часто носят антинациональный характер. Так, в Литве большим ограничениям подвергается Католическая Церковь и жестоко преследуется анонимный журнал «Хроника Литовской Католической Церкви», его издатели и распространители.

Я говорил выше о положении в СССР, являющемся особенно нетерпимым. Как известно, в некоторых странах Восточной Европы героические усилия верующих и руководителей Церкви, таких как Миндсенти в Венгрии и Вышинский в Польше, способствовали установлению гораздо более нормального положения. Авторитет, которым пользуется Церковь в этих странах, явился одним из факторов, способствовавших уменьшению тоталитарного давления на человека.

Особая проблема — эмиграция по религиозным мотивам. Сейчас в американском консульстве в Москве уже несколько месяцев находятся в добровольном заточении члены двух семей пятидесятников — Ващенко и Чмыхаловы, уже более шестнадцати лет добивающиеся выезда из СССР, прошедшие все формы преследований, вплоть до тюремного заключения. Теперь советские газеты, издающиеся по месту их постоянного жительства, объявляют их «шпионами» иностранных государств; кто знает, не готовят ли им участь Щаранского, если они решатся покинуть территорию консульства, около которого день и ночь дежурят машины КГБ. Выезда безуспешно добиваются очень многие их единоверцы (некоторые общины почти в полном составе), многие баптисты и другие верующие.

Наравне с правом свободного выбора страны проживания облик общества сильней всего определяется правом на свободу убеждений и распространение информации. Этому праву противоречат имеющиеся в уголовных кодексах республик СССР статьи, дающие возможность преследовать именно за эти ненасильственные и законные в любом демократическом государстве действия (статьи 70 и 190-1 УК РСФСР). Сотни узников совести — в том числе один из редакторов «Хроники текущих событий», крупный ученый-биолог, мой близкий друг Сергей Ковалев — находятся в заключении по этим статьям. Политические суды по обвинениям этого рода в СССР и странах Восточной Европы происходят с грубейшими нарушениями права обвиняемых на рассмотрение их дела по существу, на защиту от инспирированной клеветы, с нарушениями гласности. Никого, кроме

самых близких родственников обвиняемых, не пускают на формально открытые процессы, а на многих последних судах не могли присутствовать даже жены и матери обвиняемых — воистину есть что скрывать (так же, как в лагерях и тюрьмах, но об этом ниже).

Недавно внимание всего мира было привлечено к подобным беззаконным судам над членами групп содействия выполнению Хельсинкских соглашений, которых судили по этим же статьям,— над Орловым, Гинзбургом, Щаранским, Пяткусом, Лукьяненко, Костава, до этого — Руденко, Тихим, Мариновичем, Матусевичем, Гаяускасом и др.

Московская группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений в последние месяцы выпустила ряд важных документов. К некоторым из них я присоединился, в том числе к заявлению группы от 30 октября 1978 года, требующему отмены статей 70 и 190-1 УК РСФСР и той части статьи об измене Родине (статья 64), которая позволяет трактовать-как измену Родине попытку покинуть страну.

Недопустимым нарушением прав человека, несомненно, являются те условия, в которых отбывают свои сроки в советских лагерях и тюрьмах полтора миллиона заключенных (цифра приблизительная, точная цифра неизвестна) и в их числе — сотни политзаключенных. Подневольный труд в тяжких условиях, причем за невыполнение непосильных норм выработки следуют репрессии, чаще всего карцерная пытка голодом и холодом, отсутствие сколько-нибудь приличной медицинской помощи, провокации и придирки администрации — вот их быт. На состоявшейся 30 октября 1978 года пресс-конференции, посвященной традиционному — с 1974 года — «Дню политзаключенного», я передал иностранным корреспондентам письмо из лагеря особого режима в Сосновке, в котором эти условия описаны с впечатляющей конкретностью и достоверностью.

Чрезвычайно важные для нормально функционирующего общества права, не реализованные в СССР и странах Восточной Европы,— это право на забастовки и право на создание независимых от властей ассоциаций. На примере этих прав особенно ясно проявляется, что без осуществления политических и гражданских прав не может быть эффективного решения социальных и экономических проблем.

Советская пропаганда объявляет нашу страну развитым социалистическим государством с максимальной заботой о человеке. Действительность далека от этих рекламных заявлений. Существует огромное социальное неравенство между основной массой трудящихся (в особенности работников массовых интеллигентных профессий — младших служащих, врачей и учителей) и так называемым начальством, которое обладает множеством привилегий. Это неравенство особенно болезненно воспринимается при крайне низком для относительно развитой в экономическом отношении страны уровне жизни. Приведу несколько цифр — средняя зарплата составляет около 150 рублей в месяц, но существует зарплата 80, даже 70 рублей — это в Москве, где зарплата выше, чем в провинции. Максимальная пенсия — 120 рублей (но существует множество видов персональных пенсий), а минимальная — около 40 рублей. Пособие материодиночке — 5 рублей в месяц, но если в семье на члена семьи меньше 50 рублей в месяц, то пособие на ребенка дается — только до восьмилетнего возраста — 12 рублей в месяц.

В большинстве городов отсутствуют важнейшие продукты питания (в частности — мясо), медикаменты и многие необходимые промышленные товары. Люди приезжают в Москву со всех концов страны, тратя деньги, время и силы, чтобы приобрести самое необходимое.

Человечество стоит перед рядом сложнейших проблем, угрожающих нормальной жизни и счастью будущих поколений, угрожающих самому существованию цивилизации. Наиболее коварной и трудно предотвратимой опасностью прогрессивному и свободному развитию человечества является распространение тоталитаризма. Именно этой опасности непосредственно противостоит борьба за права человека. Все более широкое понимание этого отразилось в таких исторических событиях последних лет, как Хельсинкский Заключительный Акт, в котором подписями тридцати пяти глав государств зафиксирована неразрывная связь

международной безопасности и соблюдения основных прав человека. Эти же сдвиги общественного мнения нашли отражение в провозглашенной в январе 1977 года президентом США принципиальной линии защиты прав человека во всем мире как моральной основы политики США. В этой концепции особенно важен ее глобальный характер, стремление применять одинаковые правовые и нравственные критерии к нарушениям прав человека в любой стране мира — в Латинской Америке, в Африке, в Азии, в социалистических странах и в своей собственной стране. Я знаю о важных и плодотворных последствиях этой позиции в Южной и Центральной Америке и в других местах. Я совершенно не склонен недооценивать важности борьбы за права человека всюду, где они нарушаются, или стремиться ограничить эту борьбу рамками СССР и Восточной Европы. Устранить страдания, происходящие сегодня, важней всего, и совершенно неважно, далеко они или близко в географическом или национальном смысле. Но я также подчеркиваю в то же время, что угроза распространения тоталитаризма своим эпицентром имеет СССР, и это также необходимо учитывать.

Я считаю, что занятая президентом США Картером принципиальная позиция соответствует требованиям времени и демократическим традициям американского народа; она способствует объединению всех демократических сил во всем мире; она имеет историческое значение, которое не может быть перечеркнуто отдельными неточностями конкретного осуществления этой политики. Я считаю очень важным еще более широкую поддержку принципиальной позиции администрации США в защите прав человека, а также в тех начинаниях, которые предназначены для укрепления позиций США, необходимых для успешного выполнения роли лидера западного мира в противовес наступлению тоталитаризма. Я имею тут в виду даже такие сугубо внутренние дела, как энергетическую программу и борьбу с инфляцией; мне кажется, что обсуждение ключевых проблем в современной напряженной ситуации должно проводиться с отвлечением от всех межпартийных и иных внутренних расхождений. В поддержке нуждаются и такие ключевые события международной жизни, как мирное урегулирование между Египтом и Израилем, которое отвечает интересам всех народов Ближнего Востока и всего мира, и более скромные на вид, но важные для экономической и политической независимости Запада усилия в области мирной ядерной энергетики (недавно мы с огорчением узнали о негативном исходе референдума в Австрии по этому вопросу).

Американский народ — свободолюбивый, щедрый, деятельный и энергичный (так мне рисуется его образ) — несомненно окажется на высоте стоящих перед ним — и перед всем миром — задач.

Особенно важным отражением сдвигов в общественном мнении явились политические амнистии во многих, часто далеко не демократических, странах. Амнистия прошла в Югославии, Индонезии, Польше, Чили. Назначена амнистия в Иране и на Филиппинах и намечается в некоторых странах Латинской Америки. Борьба в защиту прав человека в СССР и странах Восточной Европы явилась одним из факторов, которые способствовали этим событиям — освобождению тысяч людей.

Сейчас та маленькая горстка инакомыслящих, которых я знаю лично, переживает трудный период. Арестованы многие прекрасные, мужественные люди. Усиливается кампания клеветы и провокаций, частично непосредственно исходящая из КГБ, а частично использующая или отражающая расслоение, брожение и разочарование среди некоторых диссидентов и им близких кругов. Жизнь сложна. И в этих условиях обиды и амбиция толкают некоторых на весьма сомнительные действия и высказывания. По-видимому, число активных участников движения и в Москве и в провинции заметно уменьшилось.

И все же я считаю, что нет никаких оснований говорить о поражении движения в защиту прав человека. Это тот вопрос, где арифметика имеет очень мало отношения к делу. За последние годы борьба за права человека в СССР и Восточной Европе кардинально изменила нравственный и политический климат во всем мире. Мир не только получил богатейшую информацию, но и поверил в нее. И это такой факт, который никакие репрессии и провокации КГБ уже не в силах изменить. Это историческая заслуга движения за права человека. Сейчас, как

и раньше, единственное оружие этого движения — гласность, свободная точная и объективная информация. Это оружие остается действенным. Совершенно очевидно также, что, пока не изменились условия и не отпали задачи борьбы за права человека, новые люди силою обстоятельств и душевных стремлений будут вливаться на место выбывших. Этого репрессии властей тоже не могут предотвратить. Наоборот, прекращение репрессий было бы важным фактором улучшения положения с точки зрения властей.

Что я жду от людей Запада, сочувствующих борьбе за права человека? Несомненно, что их помощь очень нужна. И в связи с этим я хочу остановиться на некоторых вопросах, дебатируемых в настоящее время. Большое внимание к проблемам прав человека в СССР и странах Восточной Европы, в особенности усилившееся весной и летом 1978 года после полосы судебных процессов, является чрезвычайно важным фактором, на который я возлагаю большие надежды. Но расширившиеся возможности требуют одновременно чрезвычайной четкости и разумности действий с всесторонним учетом всех возможных последствий.

В западной печати иногда высказывалась мысль, что переговоры по ограничению стратегических вооружений, в успехе которых заинтересован Советский Союз (как и весь мир), открывают возможности давления на СССР в вопросе прав человека. Мне такое мнение кажется неправильным, я считаю, что задача уменьшения опасности уничтожения человечества в термоядерной войне имеет абсолютный приоритет над всеми остальными. Я считаю совершенно правильным сформулированный администрацией США принцип практического отделения вопроса о разоружении от других вопросов. Поэтому, например, договор об ограничении стратегических вооружений должен рассматриваться сам по себе, с той единственной точки зрения, уменьшает ли он опасность и разрушительность термоядерной войны, увеличивает ли он международную стабильность, не создает ли он односторонних преимуществ для СССР или не фиксирует ли уже существующие преимущества. Такой раздельный практический подход не отменяет, конечно, того несомненного факта, что прочная международная безопасность и международное доверие невозможны без соблюдения основных прав человека, в частности политических и гражданских прав. Замечу также, что Запад не должен рассматривать в качестве основной цели сокращения вооружений уменьшение военных расходов — основными целями могут быть только международная стабильность и предотвращение возможности термоядерной войны.

Другая обсуждавшаяся в западной прессе проблема — о бойкотах (научных, культурных, экономических и т. д.) как средстве давления на СССР в целях добиться освобождения хотя бы некоторых политзаключенных. После судов над Орловым, Щаранским и Гинзбургом многие западные ученые отказались участвовать в научных семинарах и конференциях, происходящих в СССР. Некоторые научные ассоциации стали вообще отказываться от сотрудничества с советскими научными учреждениями. Я приветствую все подобные формы бойкота как выражение протеста мировой общественности против нарушений прав человека в СССР. То же относится к экономическому бойкоту, например, к отказу в продаже компьютерной техники или нефтебурового оборудования. СССР и другие тоталитарные страны должны знать, что политика защиты прав человека — это не просто красивая фраза западных политиков, а выражение общенародной воли в странах Запада, и что продолжение нарушений прав человека несовместимо с продолжением и углублением разрядки. Эту же мысль могут внушать руководителям тоталитарных стран имеющие с ними дело западные бизнесмены, политические и спортивные деятели, юристы и многие другие.

Однако проблема бойкотов — сложная и противоречивая. Несомненно, что соображения внешнеполитического престижа, соображения борьбы за власть и ее удержание в обстановке закулисной борьбы и просто традиции сильной власти не позволяют руководителям тоталитарных государств непосредственно реагировать на оказываемое на них давление. Несомненно также, что бойкоты попутно ослабляют реально полезные контакты и уменьшают число рычагов давления в будущем. Однозначного, пригодного на все случаи жизни ответа в таком сложном деле дать нельзя. Я могу лишь высказать некоторые общие соображения. Мне кажется, что следует, за небольшим числом исключительных случаев, избегать ультимативных бойкотов, то есть не ставить в явном виде прекращение бойкота в зависимость от каких-то конкретных шагов властей. В этом случае бойкот продемонстрирует заинтересованность в том или ином конкретном деле и в то же время не создаст «тупиковой» ситуации, из которой нельзя выйти без потери лица. Я убежден также в необходимости сочетания разнообразных и внушительных публичных кампаний с энергичной и разумно планируемой тихой дипломатией. Важным полем тихой дипломатии могут явиться обмены политзаключенных. Я уже писал, что не понимаю и не принимаю прозвучавших на Западе возражений против обменов. Мне кажется, что в некоторых случаях это почти единственный реальный способ помочь людям вырваться из ада лагерей и тюрем, пусть даже немногим, но он все же прорыв, брешь и, безусловно, ничем не вредит оставшимся, и никак не подрывает авторитета правозащитных организаций, например таких, как «Эмнести Интернейшнл», которая ставит своей целью всемирную политическую амнистию.

Особая проблема — отношение к предстоящей Московской олимпиаде. Моя точная позиция соответствует документу Московской хельсинкской группы — письму Международному олимпийскому комитету и его Президенту лорду М. Килланину, к которому я присоединился. Авторы письма отмечают имеющиеся в СССР нарушения прав человека и предупреждают, что власти намерены на предстоящей Олимпиаде ограничить контакты между людьми в полном пренебрежении олимпийскими принципами; авторы призывают не допустить этого, призывают потребовать прекращения преследований за ненасильственные действия в защиту прав человека, за религиозную деятельность и попытку добиться осуществления права на свободный выбор страны проживания и места проживания внутри страны; призывают освободить всех узников совести. Авторы письма пишут, что они придают большое значение предстоящей Олимпиаде и просят довести письмо до сведения Национальных олимпийских комитетов и спортивных обществ разных стран с тем, чтобы каждый участник будущей Олимпиады мог высказать свое отношение к поставленным вопросам. К сожалению, нам неизвестна реакция Олимпийского комитета на этот документ.

Идеология защиты прав человека — по-видимому, единственная, которая может сочетаться с такими различными идеологиями, как коммунистическая, социал-демократическая, религиозная, технократическая, национально-«почвенная»; она может составить также основу позиции тех людей, которые не хотят связывать себя теоретическими тонкостями и догмами, устав от изобилия идеологий, не принесших людям простого человеческого счастья.

Защита прав человека — это ясный путь к объединению людей в нашем смятенном мире, путь к облегчению страданий.

8 ноября 1978 года
Москва

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ПЕРВОМ СЪЕЗДЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР

Уважаемые народные депутаты!

Я должен объяснить, почему я голосовал против утверждения итогового документа Съезда. В этом документе содержится много правильных и очень важных положений, много принципиально новых прогрессивных идей. Но я считаю, что Съезд не решил стоящей перед ним ключевой политической задачи, воплощенной в лозунге «Вся власть Советам!». Съезд отказался даже от обсуждения «Декрета о власти».

До того как будет решена эта политическая задача, фактически невозможно реальное решение всего комплекса неотложных экономических, социальных, национальных и экологических проблем.

Съезд народных депутатов СССР избрал Председателя Верховного Совета СССР в первый же день без широкой политической дискуссии и хотя бы символической альтернативности. По моему мнению, Съезд совершил серьезную ошибку, уменьшив в значительной степени свои возможности влиять на формирование политики страны, оказав тем самым плохую услугу и избранному Председателю.

По действующей Конституции Председатель Верховного Совета СССР обладает абсолютной, практически ничем не ограниченной личной властью. Сосредоточение такой власти в руках одного человека крайне опасно, даже если этот человек — инициатор перестройки. В частности, возможно закулисное давление. А если когда-нибудь это будет кто-то другой?

Постройка государственного дома началась с крыши, что явно не лучший способ действий. То же самое повторилось при выборах Верховного Совета. По большинству делегаций происходило просто назначение, а затем формальное утверждение Съездом людей, из которых многие не готовы к законодательной деятельности. Члены Верховного Совета должны оставить свою прежнюю работу «как правило» — нарочито расплывчатая формулировка, при которой в Верховном Совете оказываются «свадебные генералы». Такой Верховный Совет будет — как можно опасаться — просто ширмой для реальной власти Председателя Верховного Совета и партийно-государственного аппарата.

В стране, в условиях надвигающейся экономической катастрофы и трагического обострения межнациональных отношений, происходят мощные и опасные процессы, одним из проявлений которых является всеобщий кризис доверия народа к руководству страны. Если мы будем плыть по течению, убаюкивая себя надеждой постепенных перемен к лучшему в далеком будущем, нарастающее напряжение может взорвать наше общество с самыми трагическими последствиями.

Товарищи депутаты, на вас сейчас — именно сейчас! — ложится огромная историческая ответственность. Необходимы политические решения, без которых невозможно укрепление власти советских органов на местах и решение экономических, социальных, экологических, национальных проблем. Если Съезд народных депутатов СССР не может взять власть в свои руки здесь, то нет ни малейшей надежды, что ее смогут взять Советы в республиках, областях, районах, селах. Но без сильных Советов на местах невозможна земельная реформа и вообще какая-либо эффективная аграрная политика, отличающаяся от бессмысленных реанимационных вливаний нерентабельным колхозам. Без сильного Съезда и сильных, независимых Советов невозможны преодоление диктата ведомств, выработка и осуществление законов о предприятии, борьба с экологическим безумием. Съезд призван защитить демократические принципы народовластия и тем самым — необратимость перестройки и гармоническое развитие страны. Я вновь обращаюсь к Съезду с призывом принять «Декрет о власти».

ДЕКРЕТ О ВЛАСТИ

Исходя из принципов народовластия, Съезд народных депутатов заявляет:

I. Статья 6 Конституции СССР отменяется.

II. Принятие Законов СССР является исключительным правом Съезда народных депутатов СССР. На территории союзной республики законы СССР приобретают юридическую силу после утверждения высшим законодательным органом союзной республики.

III. Верховный Совет является рабочим органом Съезда.

IV. Комиссии и Комитеты для подготовки законов о государственном бюджете, других законов и для постоянного контроля за деятельностью государственных органов, над экономическим, социальным и экологическим положением в стране — создаются Съездом и Верховным Советом на паритетных началах и подотчетны Съезду.

V. Избрание и отзыв высших должностных лиц СССР, а именно:

1. Председателя Верховного Совета СССР,
2. Заместителя Председателя Верховного Совета СССР,
3. Председателя Совета Министров СССР,

4. Председателя и членов Комитета конституционного надзора,
5. Председателя Верховного суда СССР,
6. Генерального прокурора СССР,
7. Верховного арбитра СССР,
8. Председателя Центрального банка,

а также:

1. Председателя КГБ СССР,
2. Председателя Государственного комитета по телевидению и радиовещанию,
3. Главного редактора газеты «Известия»

— исключительное право Съезда.

Поименованные выше должностные лица подотчетны Съезду и независимы от решений КПСС.

VI. Кандидатуры на пост Заместителя Председателя Верховного Совета и Председателя Совета Министров СССР предлагаются Председателем Верховного Совета СССР и, альтернативно, народными депутвтами. Право предложения кандидатур на остальные поименованные посты принадлежит народным депутатам.

VII. Функции КГБ ограничиваются задачами защиты международной безопасности СССР.

Примечание. В будущем необходимо предусмотреть прямые общенародные выборы Председателя Верховного Совета СССР и его заместителя на альтернативной основе.

Я прошу депутатов внимательно изучить текст Декрета и поставить его на голосование на чрезвычайном заседании Съезда. Я прошу создать редакционную комиссию из лиц, разделяющих основную идею Декрета. Я обращаюсь к гражданам СССР с просьбой поддержать Декрет в индивидуальном и коллективном порядке, подобно тому как они это сделали при попытке скомпрометировать меня и отвлечь внимание от вопроса об ответственности за афганскую войну.

Я хотел бы возразить тем, кто пугает невозможностью обсуждать законы двумя тысячами человек. Комиссии и Комитеты подготовят формулировки, на заседаниях Верховного Совета обсудят их в первом и втором чтении, и все стенограммы будут доступны Съезду. В случае необходимости дискуссия продолжится на Съезде. Но что действительно неприемлемо — если мы, депутаты, имея мандат от народа на власть, передадим наши права и ответственность своей одной пятой, а фактически — партийно-государственному аппарату и Председателю Верховного Совета.

Продолжаю. Уже давно нет опасности военного нападения на СССР. У нас самая большая армия в мире, больше чем у США и Китая, вместе взятых. Я предлагаю создать комиссию для подготовки решения о сокращении срока службы в армии (ориентировочно в два раза для рядового и сержантского состава, с соответствующим сокращением всех видов вооружения, но со значительно меньшим сокращением офицерского корпуса), с перспективой перехода к профессиональной армии. Такое решение имело бы огромное международное значение для укрепления доверия и разоружения, включая полное запрещение ядерного оружия, а также огромное экономическое и социальное значение. Частное замечание: надо демобилизовать к началу учебного года всех студентов, взятых в армию год назад.

Национальные проблемы. Мы получили в наследство от сталинизма национально-конституционную структуру, несущую на себе печать имперского мышления и имперской политики «разделяй и властвуй». Жертвой этого наследия являются малые союзные республики и малые национальные образования, входящие в состав союзных республик по принципу административного подчинения. Они на протяжении десятилетий подвергались национальному угнетению. Сейчас эти проблемы драматически выплеснулись на поверхность. Но не в меньшей степени жертвой явились большие народы, в том числе русский народ, на плечи которых лег основной груз имперских амбиций и последствий авантюризма и догматизма во внешней и внутренней политике. В нынешней острой

межнациональной ситуации необходимы срочные меры. Я предлагаю переход к федеративной (горизонтальной) системе национально-конституционного устройства. Эта система предусматривает предоставление всем существующим национально-территориальным образованиям, вне зависимости от их размера и нынешнего статуса, равных политических, юридических и экономических прав, с сохранением теперешних границ (со временем возможны и, вероятно, будут необходимы уточнения границ образований и состава федерации, что и должно стать важнейшим содержанием работы Совета Национальностей). Это будет Союз равноправных Республик, объединенных Союзным договором, с добровольным ограничением суверенитета каждой Республики в минимально необходимых пределах (в вопросах обороны, внешней политики и некоторых других). Различия в размерах и численности населения Республик и отсутствие внешних границ не должны смущать. Проживающие в пределах одной Республики люди разных национальностей должны юридически и практически иметь равные политические, культурные и социальные права. Надзор за этим должен быть возложен на Совет Национальностей. Важной проблемой национальной политики является судьба насильственно переселенных народов. Крымские татары, немцы Поволжья, турки-месхи, ингуши и другие должны получить возможность вернуться к родным местам. Работа комиссии Президиума Верховного Совета по проблеме крымских татар была явно неудовлетворительной.

К национальным проблемам примыкают религиозные. Недопустимы любые ущемления свободы совести. Совершенно недопустимо, что до сих пор не получила официального статуса Украинская Католическая Церковь.

Важнейшим политическим вопросом является утверждение роли советских органов всех уровней истинно демократическим путем. В избирательный закон должны быть внесены уточнения, учитывающие опыт выборов народных депутатов СССР. Институт окружных собраний должен быть уничтожен и всем кандидатам должны быть предоставлены равные возможности доступа к средствам массовой информации.

Съезд должен, по моему мнению, принять постановление, содержащее принципы правового государства. К этим принципам относятся: свобода слова и информации, возможность судебного оспаривания гражданами и общественными организациями действий и решений всех органов власти и должностных лиц в ходе независимого разбирательства; демократизация судебной и следственной процедур (допуск адвоката с начала следствия, суд присяжных; следствие должно быть выведено из ведения прокуратуры: ее единственная задача — следить эа исполнением Закона). Я призываю пересмотреть законы о митингах и демонстрациях, о применении внутренних войск и не утверждать Указ от 8 апреля.

Съезд не может сразу накормить страну. Не может сразу разрешить национальные проблемы. Не может сразу ликвидировать бюджетный дефицит. Не может сразу вернуть нам чистый воздух, воду и леса. Но создание политических гарантий решения этих проблем — это то, что он обязан сделать. Именно этого от нас ждет страна! Вся власть Советам!

Сегодня внимание всего мира обращено к Китаю. Мы должны занять политическую и нравственную позицию, соответствующую принципам интернационализма и демократии. В принятой Съездом резолюции нет такой четкой позиции. Участники мирного демократического движения и те, кто осуществляет над ними кровавую расправу, ставятся в один ряд. Группа депутатов составила и подписала обращение, призывающее правительство Китая прекратить кровопролитие.

Присутствие в Пекине посла СССР сейчас может рассматриваться как неявная поддержка действий правительства Китая правительством и народом СССР. В этих условиях необходим отзыв посла СССР из Китая! Я требую отзыва посла СССР из Китая!

2 июня 1989 г.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Президиуму Верховного Совета СССР
Председателю Президиума Верховного Совета СССР
Леониду Ильичу БРЕЖНЕВУ

Копии этого письма я адресую
Генеральному Секретарю ООН и
главам государств — постоянных
членов Совета Безопасности

Я обращаюсь к Вам по вопросу чрезвычайной важности — об Афганистане. Как гражданин СССР и в силу своего положения в мире, я чувствую ответственность за происходящие трагические события. Я отдаю себе отчет в том, что Ваша точка зрения уже сложилась на основании имеющейся у Вас информации (которая должна быть несравненно более широкой, чем у меня) и в соответствии с Вашим положением. И тем не менее вопрос настолько серьезен, что я прошу Вас внимательно отнестись к этому письму и выраженному в нем мнению.

Военные действия в Афганистане продолжаются уже семь месяцев. Погибли и искалечены тысячи советских людей и десятки тысяч афганцев — не только партизан, но главным образом мирных жителей: стариков, женщин, детей — крестьян и горожан. Более миллиона афганцев стали беженцами. Особенно зловещи сообщения о бомбежках деревень, оказывающих помощь партизанам, о минировании горных дорог, что создает угрозу голода для целых районов. Есть сведения о применении напалма, мин-ловушек и новых типов оружия. Крайнюю тревогу вызывают (непроверенные) сообщения о случаях применения нервно-паралитических газов. Некоторые из этих сообщений, возможно, недостоверны, но общая мрачная картина не подлежит сомнению. Ожесточение борьбы, жестокости с обеих сторон возрастают, и конца этой эскалации не видно.

Также не подлежит сомнению, что афганские события кардинально изменили политическое положение в мире. Они поставили под удар разрядку, создали прямую угрозу миру не только в этом районе, но и везде. Они затруднили (а может, сделали вообще невозможной) ратификацию договора ОСВ-2, жизненно важного для всего мира, в особенности как предпосылка дальнейших этапов процесса разоружения. Советские действия способствовали (и не могли не способствовать!) увеличению военных бюджетов и принятию новых военно-технических программ во всех крупнейших странах, что будет сказываться еще долгие годы, усиливая опасности гонки вооружений. На Генеральной Ассамблее ООН советские действия в Афганистане осудили 104 государства, в том числе многие ранее безоговорочно поддерживавшие любые действия СССР.

Внутри СССР усиливается разорительная сверхмилитаризация страны (особенно губительная в условиях экономических трудностей), не осуществляются жизненно важные реформы в хозяйственно-экономических и социальных областях, усиливается опасная роль репрессивных органов, которые могут выйти из-под контроля.

Я не буду в этом письме анализировать причины ввода советских войск в Афганистан — вызван ли он законными оборонительными интересами или это часть каких-то других планов; было ли это проявление бескорыстной помощи земельной реформе и другим социальным преобразованиям или это вмешательство во внутренние дела суверенной страны. Быть может, доля истины есть в каждом из этих предположений. Я лично считаю советские действия несомненной экспансией и нарушением суверенитета Афганистана. Но и стоящие на другой позиции, как мне кажется, должны согласиться, что эти действия — ужасная ошибка, которую необходимо исправить как можно быстрей, тем более что сделать это с каждым днем все трудней. По моему убеждению, необходимо политическое урегулирование, включающее следующие действия.

1. СССР и партизаны прекращают военные действия — заключается перемирие.

2. СССР заявляет, что готов полностью вывести свои войска по мере замены

их войсками ООН. Это будет важнейшим действием ООН, соответствующим ее целям, провозглашенным при ее создании, и резолюции 104-х ее членов.

3. Нейтралитет, мир и независимость Афганистана гарантируются Советом Безопасности ООН в лице его постоянных членов, а также, возможно, соседних с Афганистаном стран.

4. Страны-члены ООН, в том числе СССР, предоставляют политическое убежище всем гражданам Афганистана, желающим покинуть страну. Свобода выезда всем желающим — одно из условий урегулирования.

5. Афганистану предоставляется экономическая помощь на международной основе, исключающей его зависимость от какой-либо страны; СССР принимает на себя определенную долю этой помощи.

6. Правительство Бабрака Кармаля до проведения выборов передает свои полномочия Временному совету, сформированному на нейтральной основе с участием представителей партизан и представителей правительства Кармаля.

7. Проводятся выборы под международным контролем; члены правительства Кармаля и партизаны принимают участие в них на общих основаниях.

Мои мысли, конечно, не более чем возможная основа для обсуждения. Я понимаю трудность проведения этой или аналогичной программы. Однако какой-то политический выход из возникшего тупика должен быть найден. Продолжение и, тем более, дальнейшее усиление военных действий приведут, по моему убеждению, к катастрофическим последствиям. Быть может, мир именно сейчас находится на перепутье, и от того, как будет разрешен афганский кризис, зависит весь ход событий ближайших лет и даже десятилетий.

Я также считаю необходимым обратиться к Вам по другому наболевшему для страны вопросу. В СССР за без малого 63 года никогда не было политической амнистии. Освободите узников совести, осужденных и арестованных за убеждения и ненасильственные действия, за попытку осуществить свое право получать и распространять информацию, право на свободу религии, на свободный выбор страны проживания и места проживания внутри страны, право на ассоциации. В их числе — участники информационных, правозащитных и дискуссионных журналов, члены Хельсинкских групп, участники религиозных и эмиграционных движений. Такой гуманный акт властей СССР способствовал бы авторитету страны, оздоровил внутреннюю обстановку, способствовал международному доверию и вернул бы счастье во многие обездоленные семьи.

Я прошу Вас известить меня о получении и рассмотрении этого письма по адресу: Горький 137, проспект Гагарина, 214, кв. 3. Я силой вывезен в Горький в январе 1980 г. и считаю это абсолютно незаконным. Я до сих пор не знаю даже, какая инстанция или кто персонально приняли решение об этом. Вот уже много лет каждое мое общественное выступление приводит к репрессиям против моих близких, оказывающихся таким образом заложниками. Сейчас в этом положении Елизавета Алексеева — невеста сына, вынужденного эмигрировать два с половиной года назад. Она не получает разрешения на выезд к любимому, подвергается угрозам и шантажу, клевете в прессе. Личная драма двух молодых людей используется с целью давления на меня. За мои действия и выступления ответственность должен нести только я (в том числе и за это письмо). Практика заложничества — недопустимая для любой группировки или отдельных лиц, тем более недопустима и недостойна для государства. Я повторяю здесь свою просьбу помочь выезду Елизаветы Алексеевой.

*Андрей **САХАРОВ**, академик,*
*лауреат **Нобелевской премии мира***

Горький,
27 июля 1980 года

Проект

КОНСТИТУЦИЯ СОЮЗА СОВЕТСКИХ РЕСПУБЛИК ЕВРОПЫ И АЗИИ

1. Союз Советских Республик Европы и Азии (сокращенно — Европейско-Азиатский Союз, Советский Союз) — добровольное объединение суверенных республик (государств) Европы и Азии.

2. Цель народа Союза Советских Республик Европы и Азии — счастливая, полная смысла жизнь, свобода материальная и духовная, благосостояние, мир и безопасность для граждан страны, для всех людей на Земле независимо от их расы, национальности, пола, возраста и социального положения.

3. Европейско-Азиатский Союз опирается в своем развитии на нравственные и культурные традиции Европы и Азии и всего человечества, всех рас и народов.

4. Союз в лице его органов власти и граждан стремится к сохранению мира во всем мире, к сохранению среды обитания, к сохранению внешних и внутренних условий существования человечества и жизни на Земле в целом, к гармонизации экономического, социального и политического развития во всем мире. Глобальные цели выживания человечества имеют приоритет перед любыми региональными, государственными, национальными, классовыми, партийными, групповыми и личными целями. В долгосрочной перспективе Союз в лице органов власти и граждан стремится к встречному плюралистическому сближению (конвергенции) социалистической и капиталистической систем как к единственному кардинальному решению глобальных и внутренних проблем. Политическим выражением такого сближения должно стать создание в будущем Мирового правительства.

5. Все люди имеют право на жизнь, свободу и счастье. Целью и обязанностью граждан и государства являются обеспечение социальных, экономических и гражданских прав личности. Осуществление прав личности не должно противоречить правам других людей, интересам общества в целом. Граждане и учреждения обязаны действовать в соответствии с Конституцией и законами Союза и республик и принципами Всеобщей декларации прав человека ООН. Международные законы и соглашения, подписанные СССР и Союзом, в том числе Пакты о правах человека ООН и Конституция Союза, имеют на территории Союза прямое действие и приоритет перед законами Союза и республик.

6. Конституция Союза гарантирует гражданские права человека — свободу убеждений, свободу слова и информационного обмена, свободу религии, свободу ассоциаций, митингов и демонстраций, свободу эмиграции и возвращения в свою страну, свободу поездок за рубеж, свободу передвижения, выбора места проживания, работы и учебы в пределах страны, неприкосновенность жилища, свободу от произвольного ареста и необоснованной медицинской необходимостью психиатрической госпитализации. Никто не может быть подвергнут уголовному или административному наказанию за действия, связанные с убеждениями, если в них нет насилия, призывов к насилию, иного ущемления прав других людей или государственной измены.

Конституция гарантирует отделение церкви от государства и невмешательство государства во внутрицерковную жизнь.

7. В основе политической, культурной и идеологической жизни общества лежат принципы плюрализма и терпимости.

8. Никто не может быть подвергнут пыткам и жестокому обращению. На территории Союза в мирное время запрещена смертная казнь. Запрещены медицинские и психологические опыты над людьми без согласия испытуемых.

9. Принцип презумпции невиновности является основополагающим при судебном рассмотрении любых обвинений каждого гражданина. Никто не может быть лишен какого-либо звания и членства в какой-либо организации или публично объявлен виновным в совершении преступления до вступления в законную силу приговора суда.

10. На территории Союза запрещена дискриминация в вопросах оплаты труда и трудоустройства, поступления в учебные заведения и получения образо-

вания по признакам национальности, религиозных и политических убеждений, а также (при отсутствии прямых противопоказаний, оговоренных в законе) по признакам пола, возраста, состояния здоровья, наличия в прошлом судимости.

На территории Союза запрещена дискриминация в вопросах предоставления жилья, медицинской помощи и в других социальных вопросах по признакам пола, национальности, религиозных и политических убеждений, возраста и состояния здоровья, наличия в прошлом судимости.

11. Никто не должен жить в нищете. Пенсии по старости для лиц, достигших пенсионного возраста, пенсии для инвалидов войны, труда и детства не могут быть ниже прожиточного уровня. Пособия и другие виды социальной помощи должны гарантировать уровень жизни всех членов общества не ниже прожиточного минимума. Медицинское обслуживание граждан и система образования строятся на основе принципов социальной справедливости, доступности минимально-достаточного медицинского обслуживания (бесплатного и платного), отдыха и образования для каждого вне зависимости от имущественного положения, места проживания и работы.

Вместе с тем должны существовать платные системы повышенного типа медицинского обслуживания и конкурсные системы образования.

12. Союз не имеет никаких целей экспансии, агрессии и мессионизма. Вооруженные силы строятся в соответствии с принципом оборонительной достаточности.

13. Союз подтверждает принципиальный отказ от применения первым ядерного оружия. Ядерное оружие любого типа и назначения может быть применено лишь с санкции Главнокомандующего Вооруженными силами страны при наличии достоверных данных об умышленном применении ядерного оружия противником и при исчерпании иных способов разрешения конфликта. Главнокомандующий имеет право отменить ядерную атаку, предпринятую по ошибке, в частности, уничтожить находящиеся в полете запущенные по ошибке межконтинентальные ракеты и другие средства ядерной атаки.

Ядерное оружие является лишь средством предотвращения ядерного нападения противника. Долгосрочной целью политики Союза является полная ликвидация и запрещение ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения, при условии равновесия в обычных вооружениях при разрешении региональных конфликтов и при общем смягчении всех факторов, вызывающих недоверие и напряженность.

14. В Союзе не допускаются действия каких-либо тайных служб охраны общественного и государственного порядка. Тайная деятельность за пределами страны ограничивается задачами разведки и контрразведки. Тайная политическая, подрывная и дезинформационная деятельность запрещаются. Государственные службы Союза участвуют в международной борьбе с терроризмом и торговлей наркотиками.

15. Основополагающим и приоритетным правом каждой нации и республики является право на самоопределение.

16. Вступление республики в Союз Советских Республик Европы и Азии осуществляется на основе Союзного договора в соответствии с волей населения республики по решению высшего законодательного органа республики.

Дополнительные условия вхождения в Союз данной республики оформляются Специальным протоколом в соответствии с волей населения республики. Никаких других национально-территориальных единиц, кроме республик, Конституция Союза не предусматривает, но республика может быть разделена на отдельные административно-экономические районы.

Решение о вхождении республики в Союз принимается на Учредительном съезде Союза или на Съезде народных депутатов Союза.

17. Республика имеет право выхода из Союза. Решение о выходе республики из Союза должно быть принято высшим законодательным органом республики в соответствии с референдумом на территории республики не ранее чем через год после вступления республики в Союз.

18. Республика может быть исключена из Союза. Исключение республики из Союза осуществляется решением съезда народных депутатов Союза большинством не менее 2/3 голосов, в соответствии с волей населения Союза, не ранее чем через три года после вступления республики в Союз.

19. Входящие в Союз республики принимают Конституцию Союза в качестве Основного закона, действующего на территории республики, наряду с Конституциями республик. Республики передают Центральному правительству осуществление основных задач внешней политики и обороны страны. На всей территории Союза действует единая денежная система. Республики передают в ведение Центральному Правительству другие функции, а также полностью или частично объединять органы управления с другими республиками. Эти дополнительные условия членства в Союзе данной республики должны быть зафиксированы в протоколе к Союзному договору и основываться на референдуме на территории республики.

Наряду с гражданством Союза республика может устанавливать гражданство республики.

20. Оборона страны от внешнего нападения возлагается на Вооруженные силы, которые формируются на основе Союзного закона. В соответствии со специальным протоколом республика может иметь республиканские Вооруженные силы или отдельные рода войск, которые формируются из населения республики и дислоцируются на территории республики. Республиканские Вооруженные силы и подразделения входят в Союзные Вооруженные силы и подчиняются единому командованию. Все снабжение Вооруженных сил вооружением, обмундированием и продовольствием осуществляется централизованно на средства союзного бюджета.

21. Республика может иметь республиканскую денежную систему наряду с союзной денежной системой. В этом случае республиканские денежные знаки обязательны к приему повсеместно на территории республики. Союзные денежные знаки обязательны во всех учреждениях союзного подчинения и допускаются во всех остальных учреждениях. Только Центральный банк Союза имеет право выпуска и аннулирования союзных и республиканских денежных знаков.

22. Республика, если противное не оговорено в Специальном протоколе, обладает полной экономической самостоятельностью. Все решения, относящиеся к хозяйственной деятельности и строительству, за исключением деятельности и строительства, имеющих отношение к функциям, переданным Центральному Правительству, принимаются соответствующими органами республики. Никакое строительство Союзного значения не может быть предпринято без решения республиканских органов управления. Все налоги и другие денежные поступления от предприятий и населения на территории республики поступают в бюджет республики. Из этого бюджета для поддержания функций, переданных Центральному Правительству, в Союзный бюджет вносится сумма, определяемая бюджетным комитетом Союза на условиях, указанных в Специальном протоколе.

Остальная часть денежных поступлений в бюджет находится в полном распоряжении Правительства республики.

Республика обладает правом прямых международных экономических контактов, включая прямые торговые отношения и организацию совместных предприятий с зарубежными партнерами. Таможенные правила являются общесоюзными.

23. Республика имеет собственную, независимую от Центрального Правительства систему правоохранительных органов (милиция, Министерство внутренних дел, пенитенциарная система, Прокуратура, судебная система). Приговоры по уголовным делам могут быть отменены в порядке помилования Президентом Союза. На территории республики действуют союзные законы при условии утверждения их Верховным законодательным органом республики и республиканские законы.

24. На территории республики государственным является язык национальности, указанной в наименовании республики. Если в наименовании республики указаны две или более национальности, то в республике действуют два или более государственных языка. Во всех республиках Союза официальным языком межреспубликанских отношений является русский язык. Русский язык является равноправным с государственным языком республики во всех учреждениях и предприятиях союзного подчинения. Язык межнационального общения не

определяется конституционно. В республике Россия русский язык является одновременно республиканским государственным языком и языком межреспубликанских отношений.

25. Первоначально структурными составными частями Союза Советских Республик Европы и Азии являются Союзные и Автономные республики, Национальные автономные области и Национальные округа бывшего Союза Советских Социалистических республик. Национально-конституционный процесс начинается с провозглашения независимости всех национально-территориальных структурных частей СССР, образующих суверенные республики (государства). На основе референдума некоторые из этих частей могут объединяться друг с другом. Разделение республики на административно-экономические районы определяется Конституцией республики.

26. Границы между республиками являются незыблемыми первые 10 лет после Учредительного Съезда. В дальнейшем изменение границ между республиками, объединение республик, разделение республик на меньшие части осуществляется в соответствии с волей населения республик и принципом самоопределения наций в ходе мирных переговоров с участием Центрального Правительства.

27. Центральное Правительство Союза располагается в столице (главном городе) Союза. Столица какой-либо республики, в том числе столица России, не может быть одновременно столицей Союза.

28. Центральное Правительство Союза включает:

1) Съезд народных депутатов Союза;
2) Совет Министроа Союза;
3) Верховный суд Союза.

Глава Центрального Правительства Союза — Президент Союза Советских Республик Европы и Азии. Центральное Правительство обладает всей полнотой высшей власти в стране, не разделяя ее с руководящими органами какой-либо партии.

29. Съезд народных депутатов Союза имеет две палаты.

1-я Палата, или Палата Республик (400 депутатов), избирается по территориальному принципу — по одному депутату от избирательного территориального округа с приблизительно равным числом избирателей. 2-я Палата, или Палата Национальностей, избирается по национальному признаку. Избиратели каждой национальности, имеющей свой язык, избирают определенное число депутатов, а именно: по одному депутату от 2,0 (полных) миллионов избирателей данной национальности и дополнительно еще два депутата данной национальности. Эта общая квота распределена по укрупненным многомандатным округам. Выборы в обе палаты — всеобщие и прямые на альтернативной основе сроком на пять лет.

Обе палаты заседают совместно, но по ряду вопросов, определенных регламентом Съезда, голосуют отдельно. В этом случае для принятия закона или постановления требуется решение обеих палат.

30. Съезд народных депутатов Союза Советских Республик Европы и Азии обладает высшей законодательной властью в стране. Законы Союза, не затрагивающие положений Конституции, принимаются простым большинством голосов от списочного состава каждой из палат и имеют приоритет по отношению ко всем законодательным актам союзного значения, кроме Конституции.

Законы Союза, затрагивающие положения Конституции Союза Советских Республик Европы и Азии, а также прочие изменения текста статей Конституции, принимаются при наличии квалифицированного большинства не менее 2/3 голосов от списочного состава каждой из Палат Съезда. Принятые таким образом решения имеют приоритет по отношению ко всем законодательным актам союзного значения.

31. Съезд обсуждает бюджет Союза и поправки к нему, используя доклад Комитета Съезда по бюджету. Съезд избирает Председателя Совета Министров Союза, министров иностранных дел и обороны и других высших должностных лиц Союза. Съезд назначает Комиссии для выполнения одноразовых поручений, в частности, для подготовки законопроектов и рассмотрения конфликтных ситуаций. Съезд назначает постоянные Комитеты для разработки перспективных планов развития страны, для разработки бюджета, для постоянного контроля над

работой органов исполнительной власти. Съезд контролирует работу Центрального банка. Только с санкции Съезда возможны несбалансированные эмиссия и изъятие из обращения союзных и республиканских денежных знаков.

32. Съезд избирает из своего состава Президиум. Члены Президиума Съезда председательствуют на Съезде, осуществляют организационные функции по обеспечению работы Съезда, его Комиссий и Комитетов. Члены Президиума не имеют других функций и не занимают никаких руководящих постов в Правительстве Союза и республик и в партиях. Президиум обладает правом помилования.

33. Совет Министров Союза включает Министерство иностранных дел, Министерство обороны, Министерство оборонной промышленности, Министерство финансов, Министерство транспорта Союзного значения, Министерство связи Союзного значения, а также другие министерства для исполнения функций, переданных Центральному Правительству отдельными республиками в соответствии со Специальными протоколами к Союзному договору. Совет Министров включает также Комитеты при Совете Министров Союза.

Кандидатуры всех министров, кроме министра иностранных дел и министра обороны, предлагает Председатель Совета Министров и утверждает Съезд. В том же порядке назначаются Председатели Комитетов при Совете Министров.

34. Верховный суд Союза имеет четыре палаты:

1) палата по уголовным делам;
2) палата по гражданским делам;
3) палата арбитража;
4) Конституционный суд.

Председателей каждой из палат избирает на альтернативной основе Съезд народных депутатов Союза.

В компетенцию Верховного суда входит рассмотрение проблем и дел союзного и межреспубликанского характера.

35. Президент Союза Советских Республик Европы и Азии избирается сроком на пять лет в ходе прямых всеобщих выборов на альтернативной основе. До выборов каждый кандидат в Президенты называет своего Заместителя, который баллотируется одновременно с ним.

Президент не может совмещать свой пост с руководящей должностью в какой-либо партии. Президент может быть отстранен от своей должности в соответствии с референдумом на территории Союза, решение о котором должен принять Съезд народных депутатов Союза большинством не менее 2/3 голосов от списочного состава. Голосование по вопросу о проведении референдума производится по требованию не менее 60 депутатов. В случае смерти Президента, отстранения от должности или невозможности исполнения им обязанностей по болезни и другим причинам его полномочия переходят к Заместителю.

36. Президент представляет Союз в международных переговорах и церемониях. Президент является Главнокомандующим Вооруженными силами Союза. Президент обладает правом законодательной инициативы в отношении союзных законов и правом вето в отношении любых законов и решений Съезда народных депутатов, принятых менее чем 55 процентами от списочного состава депутатов. Съезд может ставить на повторное голосование подвергшийся вето закон, но не более двух раз.

37. Экономическая структура Союза основана на плюралистическом сочетании государственной (республиканской, межреспубликанской и союзной), кооперативной, акционерной и частной (личной) собственности на орудия и средства производства, на все виды промышленной и сельскохозяйственной техники, на производственные помещения, дороги и средства транспорта, на средства связи и информационного обмена, включая средства масс-медиа, собственности на предметы потребления, включая жилье, а также интеллектуальной собственности, включая авторское и избирательское право. Государственные предприятия могут быть переданы в срочную или бессрочную аренду коллективам или частным лицам.

38. Земля, ее недра и водные ресурсы являются собственностью республики и проживающих на ее территории наций (народов). Земля может быть непосредственно без посредников передана во владение на неограниченный срок частным

лицам, государственным, кооперативным и акционерным организациям с выплатой земельного налога в бюджет республики. Для частных лиц гарантируется право наследования владения землей детьми и близкими родственниками. Находящаяся во владении земля может быть возвращена республике лишь по желанию владельца или при нарушении им правил землепользования и при необходимости использования земли государством по решению законодательного органа республики с выплатой компенсации.

39. Земля может быть продана в собственность частному лицу и трудовому коллективу. Ограничения перепродажи и другие условия пользования землей, являющейся частной собственностью, определяются законом республики.

40. Количество принадлежащей одному лицу частной собственности, изготовленной, приобретенной или унаследованной без нарушения закона, ничем не ограничивается (за исключением земли). Гарантируется неограниченное право наследования являющихся частной собственностью домов и квартир с неограниченным правом поселения в них наследников, а также всех орудий и средств производства, предметов потребления, денежных знаков и акций. Право наследования интеллектуальной собственности определяется законами республики.

41. Каждый имеет право распоряжаться по своему усмотрению своими физическими и интеллектуальными трудовыми способностями.

42. Частные лица, кооперативные, акционерные и государственные предприятия имеют право неограниченного найма работников в соответствии с трудовым законодательством.

43. Использование водных ресурсов, а также других возобновляемых ресурсов государственными, кооперативными, арендными и частными предприятиями и частными лицами облагается налогом в бюджет республики. Использование невозобновляемых ресурсов облагается выплатой в бюджет республики.

44. Предприятия с любой формой собственности находятся в равных экономических, социальных и правовых условиях, пользуются равной и полной самостоятельностью в распределении и использовании своих доходов за вычетом налогов, а также в планировании производства, номенклатуры и сбыта продукции, в снабжении сырьем, заготовками, полуфабрикатами и комплектующими изделиями, в кадровых вопросах, в тарифных ставках, облагаются едиными налогами, которые не должны превышать в сумме 30 процентов фактической прибыли, в равной мере несут материальную ответственность за экологические и социальные последствия своей деятельности.

45. Система управления снабжения и сбыта продукции в промышленности и сельском хозяйстве, за исключением предприятий и учреждений союзного подчинения, строится в интересах непосредственных производителей на основе их органов управления снабжения и сбыта продукции.

46. Основой экономического регулирования в Союзе являются принципы рынка и конкуренции. Государственное регулирование экономики осуществляется через экономическую деятельность государственных предприятий и посредством законодательной поддержки принципов рынка, плюралистической конкуренции и социальной справедливости.

Август — ноябрь 1989 г.

Проект подготовлен
А. Д. САХАРОВЫМ

Даниил Гранин

НРАВСТВЕННЫЙ ПРИМЕР

Впервые советский читатель может прочесть собранные воедино статьи и выступления А. Д. Сахарова, первого советского лауреата Нобелевской премии мира. На Западе книги Сахарова читают давно, сейчас там выходит объемистая его автобиография. Уже одно это придает особый интерес этой первой советской публикации. Наконец-то мы можем хотя бы частично ознакомиться из первых рук со взглядами, воззрениями, идеями, которые преподносились нам в цитатах, большей частью искаженно-перетолкованные, снабженные комментариями клеветническими, ничего общего не имеющими с подлинными идеями Сахарова. Читая его работы, начиная с Памятной записки Л. И. Брежневу, отправленной в июне 1972 года, его Нобелевскую лекцию 1975 года, невольно то и дело вспоминаешь, как все это было оболгано. Его предложения и мысли были объявлены идеологически вредными, затем враждебной пропагандой, затем самого Сахарова объявили наймитом западных реакционеров, пособником милитаристов, агентом, продажным... Невозможно и стыдно повторять сегодня все то, что печатали о нем центральные наши газеты, сафроновский «Огонек», наши «маститые» журналисты, тот же Ю. Жуков или К. Батманов, Н. Яковлев, не говоря уж о других журналистах, которые соревновались в бесстыдной ругани, почти что нецензурной. И это была не кампания, не взрыв; травля А. Д. Сахарова продолжалась из года в год вплоть до декабря 1986 года, до дня возвращения его из горьковской ссылки в Москву, до первого, если не ошибаюсь, публичного его выступления, которое произошло 6 февраля 1987 на международном московском форуме «За безъядерный мир, за выживание человечества». Я присутствовал на этом форуме, но на выступление Сахарова попасть не мог. Не пустили. Сахаров выступал на секции ученых, и нас, «гуманитариев» и участников других секций, приказано было не допускать. Специальную охрану поставили, чтобы никто не услышал, что говорит Сахаров. Ни священнослужителей, ни военных, ни иностранных деятелей, никого не допускали. Это было не указание «сверху», а, что интересно, самодеятельность руководителей секции, уважаемых наших академиков. Страх перед сахаровской крамолой, перед его личностью настолько въелся за эти годы, что даже дозволенность не могла заглушить этот страх. Не верили самим себе, что можно слушать, слышать его речь.

Конечно, А. Д. Сахаров говорил «не то». Не поддержав официальные предложения нашего советского военно-промышленного комплекса, он выдвинул свои нетривиальные соображения по термоядерному вооружению.

Сахаров всегда говорит «не то». В этом особенность его статей, его речей, его мышления. И в этом особенность его дара. В сущности, смысл гения, определение гения в том и состоит, что он «не то». Не то, что обычное мнение, обычное виденье. Способность видеть мир не так, как его видят другие, видеть по-своему присуща именно великим художникам, ученым, философам. Благодаря этому иному, «неправильному» взгляду нам открывается многообразие и объемность мира. Начав свою самостоятельную научную работу по проблемам управляемой термоядерной реакции, Андрей Дмитриевич Сахаров проявил это самое умение увидеть проблему «чуть» иначе, чем все другие. Конечно, слово «умение» не точно. Этому нельзя научиться. Для таланта многое значит способность природная плюс умение добросовестно и много работать. Тут слово «умение» уместно. Великие же ученые, так же, как и великие художники, осуществляли себя через какие-то иные качества. Скорее это—озарение, это иное устройство хрусталика, иная оптика души, никому больше не присущая.

Андрей Дмитриевич Сахаров взошел в нашей отечественной физике как звезда первой величины. По своим задаткам, по зачину, по результатам он сразу зачислен был в разряд физиков мирового класса. Конечно, секретность, вернее, сверхсекретность работ над термоядерным оружием мешала нормальному научному общению, мешала публикациям. Сахаров не мог бывать на международных симпозиумах, его не знали, о нем не могли узнать. Секретность губительна для науки, эта же сверхсекретность приковывала ученого цепью, и остается поражаться, как, несмотря на все это, могло взмыть творчество ученого, поднять его так высоко, а главное, сохранить в нем независимость ума и духа.

Семья, происхождение, затем личность его руководителя, человека исключительной чести и порядочности, Игоря Евгеньевича Тамма, многое определили в нравственной стойкости Андрея Дмитриевича.

Ряд работ Сахарова не ограничивался только военными темами, ему удавалось вырваться за служебную территорию.

Из автобиографической статьи, которая предваряет публикацию, трудно представить значение научных работ Сахарова как физика-теоретика, масштаб его деятельности. Надо заметить, что со времен Д. И. Менделеева и И. П. Павлова мы можем гордиться совсем счи-

танными именами подобного калибра. Среди физиков это, по-видимому, в первую очередь П. Л. Капица и А. Д. Сахаров. Я это к тому, чтобы представить себе уникальность такого дарования. Недаром даже при нашей весьма произвольной системе награждений Сахаров к 1962 году получает третью звезду Героя Социалистического Труда.

Исключительно удачно складывалась его научная карьера. Обласканный, преуспевающий, казалось бы, что ему еще нужно, сиди и занимайся любимым делом, следуй своему счастливому призванию. Ему с основанием приписывали решающие заслуги в создании ядерной мощи державы. И мирной, и особенно военной мощи. Все это надо представить себе, чтобы оценить переход от такого признания и благополучия, я бы сказал, от наивысшего признания к наибольшей отверженности, от вершины к бездне. За каких-нибудь шесть, семь лет одна за другой акции, столкновения приведут его к 1968 году, к написанию книги «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Крамолой было то, что она пошла самиздатом, еще хуже, что ее стали широко издавать за границей. С этого, собственно, и пошли репрессии. Терпение властей кончилось. Сахарова отстраняют от секретных работ. Это никак не остановило его. Процесс продолжался и в конце концов закончился в 1980 году ссылкой в Горький.

Из «отца водородной бомбы» он стал «диверсантом», «предателем», «провокатором», «отщепенцем», «антисоветчиком». В чем только его не обвиняли, какую только брань не вешали на него. Вся пропагандистская машина огромной страны с 1973 года обрабатывала общественное мнение, всех граждан страны, все было пущено в ход — радио, телевидение, газеты и журналы, книги, лекторы, фотоматериалы, чтобы заклеймить Сахарова, сделать его чуть ли не врагом номер один. На Рейгана, на профессионалов-антисоветчиков не затрачивали столько усилий, как на этого кабинетного ученого, человека с тихим голосом, не имеющего в своем распоряжении ничего, кроме мысли. В течение четырнадцати лет, вплоть до того декабрьского дня 1986 года, когда М. С. Горбачев позвонил Сахарову в Горький и сказал, что принято решение о том, что можно вернуться в Москву, никому нигде в пределах страны не разрешалось ничего сказать в защиту Сахарова.

Пропаганда, конечно, делала свое дело. Пропаганда и привычный страх. Это было летом, в августе 1973 года, в Дубултах. На пляж кто-то пришел с номером «Известий» и вслух прочитал письмо группы академиков против Сахарова. Не помню, что они там требовали, то ли исключить его из Академии наук, то ли судить. Помню другое, как один из слушавших, известный физик, тоже академик, вдруг всполошился: «Почему ж они меня не включили в число подписавших, они же знают, что я здесь!» Он всерьез был обеспокоен тем, что его «забыли», нет ли за этим чего-то, угрожающего ему. Причем это был настоящий ученый, который отлично знал цену А. Д. Сахарову, гордости нашей академии.

Вот какие царили нравы. И надо отдать должное и А. П. Александрову, и П. Л. Капице, и не знаю кому еще в академии — воспрепятствовали, не допустили такого позора, не допустили исключения.

О чем же писал Сахаров, что вызвало ярость наших идеологов и особенно властей? Читая его статьи сегодня, при самом внимательном рассмотрении невозможно найти ни антисоветской пропаганды, ни клеветы, ни диверсии, ни призывов к агрессии против нас, ничего из того, в чем его обвиняли. Вот они, работы тех лет, давайте сравним их с выступлениями наших руководителей — Брежнева, Суслова, Гришина, Громыко, идейных и прочих начальников, которые высылали Сахарова, напускали на него наших теоретиков и публицистов. У кого вернее анализ? Кто больше заботился о мире, о стране, о людях?

В памятной записке 1971 года Сахаров поднимает вопрос о гласности, о законе, обеспечивающем беспрепятственное право на выезд за границу и возвращение. Он разбирает проблему прав человека. Он бесстрашно вскрывает психологию высшего слоя партийно-государственного аппарата, который цепко держится за свои явные и тайные привилегии. Он выдвигает конкретные меры для духовного оздоровления страны. Почти все предложения Сахарова вошли спустя пятнадцать с лишним лет в программу перестройки — стали или становятся реальностью.

«Бесплатный характер здравоохранения и образования — не более чем экономические иллюзии в обществе, где вся прибавочная стоимость экспроприируется и распределяется государством».

Так раскрывает Сахаров механизм *бесплатности*, которым до сих пор манипулирует наша пропаганда. Его даже ранние работы семидесятых годов имеют не просто исторический интерес, вызывают не только удивление — «Ах, какой провидческий ум, какая дальновидность!», нет, это актуальный анализ противоречий нынешнего развития и проблем нового мышления.

Почему так ополчились на Сахарова? Если бы он выступал с разоблачением прошлого, преступлений сталинизма, политики репрессий — все это не могло вызвать такой ярости, как его, казалось бы, простые демократические предложения. Они обнажали перед всеми мертвящее доктринерство брежневского правления, его фальшь и демагогию, бесправие человека, беззаконие всей жизни народной. Сахаров с неумолимой логикой научного метода раскрывал бесплодные наши подходы к проблемам разоружения. Он показывал лживость наших разговоров о правах человека. Короче говоря, он вмешивался! Он позво-

лял себе указывать правителям, что надо делать, и показывал, как плохо и глупо (!) они управляют и экономикой, и внешней политикой, и внутренней. И это оказывалось убедительно, и доказательно, и куда прогрессивней и конструктивней, чем речи и планы профессиональных наших вождей. В прямую полемику вступать с ним избегали, пытались пренебрежительно высмеять — куда, мол, суется этот физик, что он понимает, он невежда, профан в политике и т. п. Но Сахаров не умолкал. Это, конечно, было нестерпимо. Тем более что мировая общественность жадно прислушивалась к одинокому спокойному голосу этого человека.

«Что касается Советского Союза, то реформы, которые собирается осуществить цезарь Сахаров, добравшись до власти, означают, по существу, установление капиталистических порядков:

„Частичная денационализация всех видов деятельности, может быть, исключая тяжелую промышленность, главные виды транспорта и связи... Частичная деколлективизация... Ограничение монополии внешней торговли...“».

Так написано в книге Н. Яковлева «ЦРУ против СССР».

Поскольку политическое разоблачение Сахарова как-то не получалось, и чем дальше, тем менее убеждало, то пустились на самые примитивные, низменные способы — много денег получает, жена — сионистка, и вообще он связан с сионистами, может, он их агент. Дальше еще гаже, уже шли намеки подлейшие — и на Сахарова, и на его жену. Не случайно Андрей Дмитриевич, человек в частной жизни кроткий, терпеливый, гуманнейший, встретив Н. Н. Яковлева, автора одной из мерзейших книг (а потом и статей), подошел к нему и сказал примерно так: «Извините, я вам должен дать пощечину»,— и дал. Как мне показалось, когда А. Д. рассказывал об этом, не за себя дал, а защищая честь своей жены, участницы войны, человека мужественного и сердечного.

Семь лет они вдвоем провели в ссылке в Горьком, лишенные права с кем-либо общаться. Не было телефона. Запрещено было куда-либо выезжать. У дверей квартиры круглосуточно дежурили милиционеры. Если Сахаровы выходили гулять, за ними ехали на машине. Горьковский поэт Федор Сухов рассказал мне, как одна приезжая знакомая студентка попросила его показать дом, где живут Сахаровы. Он провел ее к этому дому, они вошли во двор, присели на скамеечке. Вскоре перед ними очутились «мальчики», спросили, чего это они сидят, потребовали предъявить документы, затем попросили удалиться. Когда девушка вернулась в свой город, ее исключили из института.

У Сахарова трижды украли и трижды изъяли на обысках его рукописи.

Сахаров не имел возможности собирать пресс-конференции, встречаться с журналистами. Вести из Горького доносились случайные, больше через зарубежное радио. Но, странное дело, личность Сахарова, физически выключенная, лишенная голоса, все это время ощущалась в гражданской жизни. Незримое его присутствие активизировало инакомыслие или свободомыслие, как угодно называйте.

Однако я не собираюсь излагать здесь ни биографию Сахарова, ни систему его взглядов, ни их развитие. Мне хотелось бы коснуться лишь одной стороны его деятельности — чисто нравственной. И все, о чем я писал до сих пор, имело для меня целью только эту, может быть, не главную для самого А. Д. Сахарова, но решающую для меня роль — нравственного человека.

Выяснилось, в последнее время явственно, что личная и государственная морали, которые накапливались в течение двух последних веков, начали падать. Международный терроризм поощряется отдельными правительствами, наркомания, в которой участвуют государства не только капиталистические, циничная торговля оружием — занимаются ею правительства, которые ратуют за мир и разоружение,— все это освобождает и личную мораль от ответственности. В мире становится все меньше святых и все более ощущается потребность нравственного примера. Нравственный человек в дефиците. Не хватает примера людей, которых можно чтить, которым хочется подражать, людей высокой чести, порядочности, интеллекта.

В своей Нобелевской речи, в этот момент торжества своей борьбы, А. Д. Сахаров настойчиво, не считаясь ни с какими традициями, перечисляет десятки имен советских политзаключенных, узников совести, просит считать, что все они «разделяют со мною честь Нобелевской премии мира». И далее идет огромный список: «За каждым названным и не названным именем — трудные и героические судьбы, годы страданий, годы борьбы за человеческое достоинство». Для него это не просто список, за свободу многих он боролся как мог. Он являлся на судебные заседания, если его пускали, если не пускали, выстаивал часами, днями перед зданием суда. Он ходатайствовал, обращался в разные инстанции, взывал к международным организациям и Верховному Совету, помогал заключенным чем только мог. В своей автобиографии Сахаров отчасти рассказывает об этой своей работе. Она выглядела безнадежной и безрезультатной. Людей продолжали сажать, ссылать. Приговоры не смягчали, суды не внимали параграфам законов и Конституции. Арестовывали тех, кто помогал ему, высылали его близких. Старались опустошить его окружение, оставить его в вакууме. Угрожали ему расправой... Автобиография его кончается 1973 годом. Дальше было еще тяжелее, и новые беззаконные расправы, голодовка, издеватель-

ства... Наказание без приговора, без срока — тяжелое испытание. Трудно понять, откуда этот человек черпал силы для своей стойкости, а чем состояла его вера. Когда 15 декабря 1986 года М. С. Горбачев позвонил Сахарову в Горький, первое, что сказал ему А. Д. Сахаров после благодарности, что его беспокоит участь узников совести, продолжающих томиться в лагерях, и что радость от выслушанного решения омрачена вестью о гибели в тюрьме правозащитника Анатолия Марченко.

Вот какова его первая реакция на долгожданную весть о свободе.

На Первом съезде народных депутатов я наблюдал, как А. Д. Сахаров терпеливо и упорно выстаивал свою очередь к трибуне, к микрофону. Его не смущали враждебные выкрики в его адрес. Известна обструкция, которую устроили ему после выступления одного из воинов-афганцев. Сахарову свистели, не давали говорить. Так убеждены были многие в зале. Они забыли, а большей частью и не знали, что Сахаров был первым в нашей стране, кто осмелился подать свой голос против войны в Афганистане. За это его выслали в Горький, это окончательно взъярило брежневское Политбюро. Все же дезинформация тоже немалая сила.

Обструкция произвела удручающее впечатление своей несправедливостью. На следующий день в кулуарах Съезда можно было заметить смущение, люди как бы опомнились, многие чувствовали себя виноватыми. Сахаров продолжал выступать как ни в чем не бывало. Похоже, что на него нисколько не подействовала та обструкция, я почти уверен в этом, потому как виделся с ним тогда же в перерыве. Словно бы ничто не расстроило его, не могло остановить. Это даже не упорство, не стойкость, не мужество, это выше, это глубочайшее сознание своей правоты, вера в то, что люди в зале поймут, не могут не понять, куда ж они денутся от разумных вещей? Во всяком случае, он обязан произнести, высказать свои доводы. Так было с Сахаровым во времена брежневщины, так было позже, ныне то же самое непреклонное чувство ведет его через любые тернии к трибуне. Его ничего не может устрашить. В нем нет фанатичности. Раньше мне виделось в этом некоторое мессианство, но по мере того, как я узнавал А. Д. Сахарова все больше, я убеждался, что им движет более всего нравственная ответственность. Как политик он не свободен от ошибок, его предложения бывают наивны, спорны. Как моралист он не занимается рассуждениями об этике, о вечных ценностях, не выступает с проповедями. Да он и не претендует ни на звание политика, ни на моралиста. Он отказался от членства в Верховном Совете.

«Я не родился для общественной деятельности»,— сказал А. Д. Сахаров в одном из своих интервью. Что же в таком случае является внутренним стимулом для его гражданской, политической активности? Он так ответил на это: «...судьба моя оказалась необычной: она поставила меня в условия, когда я почувствовал свою большую ответственность перед обществом,— это участие в работе над ядерным оружием, в создании термоядерного оружия. Затем я почувствовал себя ответственным за более широкий круг общественных проблем, в частности гуманитарных. Большую роль в гуманизации моей общественной деятельности сыграла моя жена — человек очень конкретный. Ее влияние способствовало тому, что я стал больше думать о конкретных человеческих судьбах. Ну а когда я вступил на этот путь, наверное, уже главным внутренним стимулом было стремление оставаться верным самому себе, своему положению, которое возникло в результате чисто внешних обстоятельств».

И, как всегда, возникает вопрос: почему именно он, Андрей Дмитриевич Сахаров, почувствовал такую ответственность, почему другие ученые такой ответственности не чувствовали? Когда-то я занимался историей создания советской атомной бомбы. Я спрашивал многих соратников И. В. Курчатова, начиная с академика Г. Флерова, человека, благодаря которому развернулась эта работа. Я допытывался: существовали ли у наших ученых какие-либо сомнения в необходимости создания атомного оружия, в нравственной оправданности этих страшных разрушительных сил, мучился ли кто из атомщиков над своей ответственностью перед демонами всеобщей гибели человечества, которых вызвали из небытия они, ученые?

Вроде бы никто из наших не мучился. Так получалось из ответов самых разных физиков. На Западе, там известны покаянные заявления, протестующие выступления Нильса Бора, Сциларда и других. У нас же все глухо, и, как считали многие, не потому глухо, что нельзя было ничего сказать, но и потому, что ничего такого не возникало, то ли действия наших физиков были оправданы необходимостью создавать бомбу в «ответ», то ли потому, что нравственное мышление в те сороковые-пятидесятые еще не очнулось, усыпленное, завороженное идеей классовой морали, когда классовое выше общечеловеческого и все, что делается для могущества нашей страны, все оправдано и т. п. А Нильс Бор, Эйнштейн, Сциллард, Рассел и прочие — это абстрактный гуманизм, буржуазный либерализм, прогрессивное движение... Чего другого, а ярлыков, словесных завес у нас изготавливали вволю.

Сахаров в этом смысле защитил честь советских физиков. Грех атомного капкана, в который попало человечество, он искупил как мог, не пожалев ни себя, ни своего дарования. Он вышел на борьбу не потому, что был обижен или обозлен, не для того, чтобы мстить за свои обиды. К нему-то, наверное, больше всех приложимо понятие «абстрактный гуманизм». Хотя его гуманизм конкретен уже потому, что связан был с его личной судьбой. Конец 60-х годов был плодотворнейшим временем его научной работы. Она была прервана потому, что в эти годы он вынужден был выступить на защиту инакомыслящих, писать письма в ЦК, в правительство. Вынужден потому, что не мог позволить себе отмалчиваться. Таинственный, необъяснимый диктат совести. Это, наверное, как талант, священный дар — одних посещает, к другим не достучаться.

Набрасывая эскиз общественного устройства жизни в 2024 году, Сахаров размышляет как ученый. В этом его отличие от обычных футурологических проектов. В истории утопизма (или утопий?) проект будущего, кажется, впервые создается крупнейшим ученым. Дело это рискованное, но оно оправдано нашим неубывающим желанием рассмотреть прекрасное далеко. Научная система мышления, научный подход Сахарова сохраняются и в общественной жизни, в политике, в этике. Это всегда отличает его работы и выступления, придает им своеобычие.

Сахаров беспартийный, он, как мне кажется, и по натуре своей беспартиен. Он общечеловечен. Любая подчиненность мешала бы ему.

Удивительно, непонятно и то, как могла прорасти такая совесть, такая личность в условиях, когда все выдающееся, неординарное аккуратно выстригалось. Механизм осреднения действовал неукоснительно — все подравнивалось под посредственность. От личной нравственности мало что оставалось. Не случайно ведь даже к концу восьмидесятых, после стольких разоблачений, когда открылась вся чудовищная система преступлений, массовое доносительство, лагерные бесчинства, издевательства, действия следователей, неправых судов,— никто не кается. Никто не просит прощения, никто не требует суда над собой и сам себя не судит. Тем более прощают себе и «малые грехи» — молчание, соглашательства, тихие сделки со своей совестью.

Вот почему феномен Сахарова разителен. Нравственная требовательность его оказывала и оказывает очищающее влияние: все же есть с кого брать пример. Такие люди, как бы ни было их мало, какой бы ни были они редкостью, помогают нам в каждодневной нелегкости нашей жизни, они восстанавливают веру в красоту человеческой души, ту самую красоту, которая может спасти мир.

От редакции: *Работа над послесловием к этой книге была завершена Даниилом Граниным еще при жизни Андрея Дмитриевича Сахарова.*

* * *

Лучше Дельфта в этом мире только Дельфт на полотне.
Я присматривался к желтой, синей, розовой стене.
Ах, за что такой подарок драгоценный сделан мне?

Как ценил шероховатость мой любимый романист!
Он герою смерть как радость преподнес, как чистый лист.
Влажность эта, сыроватость, глянец лилий и батист.

На тарелочках зеленых мелко плавают они.
Им в каналах полусонных хорошо цвести в тени.
Об утратах и уронах думать — боже сохрани!

Вспоминать их неуместно и преступно, как в раю.
От себя я здесь чудесно отодвинул жизнь свою,
Власть Советов, бурю съезда, жаркий спор в родном краю.

Ездить на велосипеде, да посиживать в кафе,
Да просматривать в газете, что там пишут о Москве?
Почему одна на свете жизнь дается, а не две?

Водяною паутиной город маленький накрыт.
Умереть перед картиной — слишком легкий, что ли, вид
Смерти быстрой, воробьиной — гордость наша не велит.

Я скажу сейчас, что понял, наконец, к чему пришел,
Смысл лежит, как на ладони, откровенен и тяжел:
Бог задумал — я исполнил, в мире горя, в море зол.

Бродит маленькая птичка под ногами у меня.
С романистом перекличка, и художник мне родня.
Жизнь — горячая привычка, золотая западня.

* * *

Да, накупили мы тряпок, прямо скажу, чемодан.
Нам мерседес подавали, а может быть, и роллс-ройс.
Синие рододендроны, крупные, как обман.
Жаль, не сказал никто нам, что в Цюрихе умер Джойс.

Александр Семенович Кушнер (р. 1936) — советский поэт. Печатается с 1957 года. Первая книга — «Первое впечатление» — вышла в 1962 году. Автор многих книг, в том числе однотомника «Стихотворения» — 1986. Живет в Ленинграде.

Я бы совсем иначе на город тогда смотрел.
Ах, все равно живые изгороди хороши!
Денежных, знать, швейцарцам мало прилежных дел,
Русская литература им нужна для души.

Красным квадратным флагом с белым крестом большим,
Кажется, при желанье можно накрыть страну.
Русская литература и модернизм... Бог с ним,
Что-нибудь вставлю к месту, присочиню, вверну.

Что до любовниц, с диким можно сравнить цветком
Каждую, выбрав синий или лиловый цвет,—
Так он писал, живя здесь особняком, тайком.
Мистеру Блуму — самый нежный от нас привет.

Здравствуй, поток сознанья,— вброд перешел тебя
Яснополянский, в блузе, не замочив штанин,
Первопроходец, время комкая, теребя...
Что это было, помнишь: чертополох, люпин?

Вспомнится эта поза, через мгновенье — та,
Господи, так и этак нежничал с дамой, льнул,
В самые раскаленные руку тянул места,
Через страницу — падал лифчик на венский стул.

Где-то году в тридцатом был подведен итог
Новому направленью, подведена черта,
Вышел на сцену ужас, маску отбросил рок,
Только не здесь... Цветочки тянутся к нам с куста.

* * *

Замерзли яблони и голые стоят,
Одна-две веточки листвой покрыты редкой —
Убогий, призрачный наряд.
Как Баратынского прикован был бы взгляд
К их жалкой участи, какою скорбью едкой
Обуглен был бы стих! Ну что ж, переживу
Легко крушение надежд — на что? На годы
Плодоносящие. Где преклонить главу?
И не такие назову,
Молчи, не спрашивай, убытки и расходы.

А тот, с кем я сажал их лет тому назад
Пятнадцать, новости печальной не узнает,
И если есть тот свет, то значит, есть там сад,
Где он задумывает ряд
Нововведений, торф под яблони сгружает,
Приствольный круг рыхлит — и, вспомнив обо мне,
Кого-то просит там бесхитростно за сына
И улыбается, и страх, что на войне
Томил и мучил в мирном сне,
Забыт, и к колышкам привязана малина.

* * *

Пол не безлик, хотя и наг.
Кто говорит, что пол угрюм,
Забыл, как весел может мрак
Быть! Ах, тюльпан не то что мак.
Ленор не то что Улялюм.

Душа не то, что нам твердят
В течение двух тысяч лет
О ней. От головы до пят

Вся — дрожь, вся — жар она, вся — бред!
Ее целуют, с нею спят.

Она на пальцах у меня,
На животе, на языке,
И ангелы мне не родня!
И там, где влажного огня
Мне не сдержать, и на щеке.

* * *

Как хорошо жить,
Помнить, любить, спать,
Вкрадчивую нить
Дергать, во тьме ронять!

Как ты свежа, явь,
Как ты глубок, сон!
Шагом. Бегом. Вплавь.
Словно Тезей, Язон.

Комната. Потолок.
Влажный гранит скал.
Ты мне дала клубок
Или я сам взял?

Сквозь слепоту бед
И черноту гнезд
Льется в окно свет
Однопартийных звезд.

Сходит и наш век
С треском со всех сцен.
Ближе к нам скиф, грек,
Чем Ренуар, Гоген.

Словно в других мирах
Жили они. Нас
Делал людьми страх,
Нет, как овец, нас.

Нет, как траву, мял.
Нет, как тростник, гнул.
Радость — вина бокал,
Просто диван, стул.

Словно дельфин на пляж
Выброшен или кит,—
Мертв Минотавр наш
Или устал, спит?

Или, наоборот,
Всем существом своим
Он к хозрасчету льнет
К ценам договорным?

Как ветерок в степи:
To be or not to be?
Ладно, ту би, ту би...
Милая, спи, спи.

* * *

Льется свет. Вода бредет во мраке.
И звезда с звездою говорит.
Как непрочны слов дневные браки!
Вот оно, рыданье аонид.

И душа с другим, ночным глаголом
В непроглядной тьме обручена,
Словно с богом, ласковым и голым,
Юным, захмелевшим от вина.

Ничего-то он не обещает
И бессмертье дать не может ей.

Речь струится. Время? Время тает.
Дом глядит на нас из-за ветвей.

Странно жить, в виду имея темный
Край, конец, уступчатый обрыв.
Что ты хочешь там услышать: волны,
Жаркий шепот, вкрадчивый мотив?

Настежь смерть нестрашная открыта,
Смысл сидит у вечности в гостях,
Обсуждая с нею деловито
Все, что мы не поняли впотьмах.

* * *

Ты не прихлопнешь луч: он на руку взберется
И волоски позолотит,
Как счастье, в руки не дается,
Но им бессонный мрак сочувственно пронзит.

И улыбается ему душа, страдая,
И жизнь ей кажется приемлемой опять,
Лучом подсвеченная с края.
Под ним и черная как бы рыжеет прядь.

И, вспыхнув, рюмочка в себе воспоминанье —
О чем? — не спрашивай — рискует оживить.
Как будто в лабиринт страданья
Вдруг Ариаднина к нам протянулась нить.

Я был царем уже, и был уже героем,
Рабом, учителем, стихи писать — не труд,
А удовольствие. Мы лавочку закроем,
Свернем палатку в пять минут.

Вы мне про выборы,— и я про выбор тоже
Меж вечным мраком и лучом,
Узор рисующим на коже.
Лет тридцать эту тьму я подпирал плечом.

В любви к метафорам есть варварское что-то,
И все ж многозернистый мрак
Бренчит в коробочке сухой, гремит дремота:
Ночь держит мак в руке... Раскинь диван, приляг.

Золотоносные пылинки
Сверкают, вот они, частички бытия!
Купались в золоте, гуляли по тропинке...
Кто впал в отчаянье, кто здесь роптал?
Не я!

Любили выставки, встречались на ступенях,
Смиренно шли с толпой взглянуть на полотно,
Качали Саскию на сдвинутых коленях
И пили скользкое вино!

Александр Солженицын

АВГУСТ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО

Роман

18

Часов около четырёх пополудни генерал-майор Нечволодов подводил свой отряд к Бишофсбургу с юга, по каменистому шоссе. Сам Нечволодов ехал верхом (несколько конных близ него), крупным шагом, саженей на триста впереди отряда.

Отряд его был — стыдно сказать что, неизвестно что.

Вообще назначен был Нечволодов в 6-й корпус командовать пехотной бригадой. Такая должность по разным дивизиям была за ним уже шесть лет. Эту ненужную должность — над двумя командирами полков, между ними и начальником дивизии, Нечволодов всегда считал для того только созданной, чтоб отучать генерал-майоров от строевого дела,— с тем и служил. Но в 6-м корпусе Нечволодова сильно удивили: ещё за день до начала войны, в Белостоке, не снимая с бригады, его назначили также и «начальником резерва» корпуса. Такое понятие — начальник резерва — существовало, в боевой обстановке и для отдельной операции могли создать резерв для прикрытия остальных частей в тяжёлую минуту,— но не встречал Нечволодов, чтоб назначался резерв как постоянный ещё в день всеобщей мобилизации. То ли не знал генерал Благовещенский, куда ему девать столько генералов в корпусе, то ли ещё до начала войны готовился к худому концу. (Да наверно так, ибо хороший драгунский полк держал всего лишь на охране штаба корпуса.)

И странен был состав резерва: к двум полкам Нечволодова — Шлиссельбургскому и Ладожскому, просто присоединили разные особые части — мортирный дивизион, понтонный батальон, сапёрную роту, телеграфную роту да семь сотен донцов (средь них и ту отдельную сотню, которая охраняла штаб корпуса, и от него ни на шаг),— и вот это стал нечволодовский резерв. Как будто все эти части были в корпусе не разветвлённым пособием, а помехой, и только путали Благовещенскому простую пехотную классификацию: четыре роты — батальон, четыре батальона — полк, четыре полка — дивизия, две дивизии — корпус. А ещё привалило 6-му такое счастье, какое редкому корпусу достаётся: артиллерийский тяжёлый дивизион, с калибрами, мало известными в русской армии,— с шестидюймовыми гаубицами. Уж этот-то ни на что не похожий подарок и совсем не знал Благовещенский, куда пристроить, и тоже определил в «резерв». (Он служака был понимающий: за редкое вооружение и ответ большой, если потеряешь. Он и пулемёты, во их драгоценности, старался не выдвигать на передовые позиции, а держал их больше при штабе или в санитарном обозе.)

Но даже и такой резерв Нечволодову ни разу не дали собрать вместе (да это было и невозможно, и ни к чему), даже коренной его Шлиссельбургский полк

Продолжение. См.: «Звезда», 1990, № 1, 2.

отняли и вызвали вперёд, так что и бригады его не стало существовать, самого Нечволодова задержали по укреплению тылов,— и тот отряд, с которым он теперь, приставной болван, нагонял главные силы, состоял из Ладожского его полка (и то без батальона), да сапёров, понтонцев и телеграфистов, а не было при нём ни конницы, ни артиллерии.

Впрочем, прикидывал Нечволодов, что и обе дивизии впереди него раздёрганы так же, каждая из них растеряла четверть сил по пути: одна была целиком без полка, и из другой рассорили дюжину рот.

В Нечволодове не было генеральского величия — раздавшейся груди, разъеденного лица, самодостоинства. Худощавый, длинноногий (даже на крупном жеребце низко спущены стремена), всегда молчаливо серьёзный, а сейчас и сильно хмурый, он походил скорей на офицера-переростка, застоявшегося в низких должностях.

Все эти дни он был хмур от одной идиотской комендантской работы по тылам и от отнятия шлиссельбуржцев. Сегодня добавочно хмур от того, что всегда благоразумный штаб корпуса — и тот оказался впереди Нечволодова, утром проскочил в Бишофсбург, а вскоре затем впереди густо загудело, выказывая плотный бой. И ещё хмурей — последние два часа, когда стали навстречу попадаться то порожние телеги с перепуганными обозниками, то двуколки с ранеными, то табунок лошадей с ногами и копытами, раздробленными от повозок. Дальше встречались раненые гуще, уже и пешие, из Олонецкого полка, из Белозерского, а несколько — из оторванных ладожских рот, среди них — пожилой сверхсрочный унтер, хорошо известный Нечволодову. Провезли и офицеров несколько. Нечволодов задерживал встречных, коротко опрашивал — и по возбуждённым отрывистым сообщениям хотел составить картину утреннего, ещё и сейчас не оконченного боя.

Как всегда по горячим следам, от участников разных мест и ещё друг другу не рассказавших, история выступала полностью противоречивая. Одни говорили, что ночевали сегодня совсем рядом с немцами, только не знали, и немцы тоже не догадывались. Другие: что шли утром, ничего не подозревая, и в походном порядке столкнулись, попали под гиблый огонь, нисколько не готовые и не окопанные (да сбоку, сбоку немец стрелял, не спереди!). Третьи: что развёрнуты были к бою заранее и даже по пояс окопались. Из офицеров считали одни, что шли на север и наткнулись на боковую колонну отступающих немцев, что мы их ещё сильней напугали, чем они нас,— но потом уж очень много артиллерии у них развернулось, жаркий дали огонь. А мы их с востока ждали, на восток приказано было выдвигать охранение. Нет, исправляли другие: Олонецкий даже на запад был развёрнут. Но уж как только немцы из многих орудий ударили («пятьдесят орудий», «нет, сто!», «двести!»), да шрапнелью, да над гущей колонн, сразу рвало и дырявило наших десятками,— так и побежали, так всё и перепуталось, там — тысячи легли, из батальона по дюжине оставалось; нет — стояли хорошо, наша рота белозерцев сама в атаку ходила; где в атаку, когда нас к озеру прижали, деться некуда, орудия побросали, даже винтовки — и вплынь.

Но несомненно сходилось, что потери велики, что несколько батальонов нацело разгромлены (а каждый батальон кругло тысяча человек). Несомненно сходилось, что за две недели привыкли не встречать, не видеть и не слышать противника, и гонко, беспечно продвигались по чужой земле без разведки, а где и без сторожевого охранения. И так отшагали вчера за Бишофсбург больше пяти вёрст, перевалили важнейшую для немцев железную дорогу — как бы горизонтальную ось Восточной Пруссии, и дальше маршировали с той же безоглядкой, как у себя в Смоленской губернии, вперемешку со строевыми частями обозы,— и меньше всего ожидали в этой германской стране повстречать ещё какие-нибудь войска, кроме русских. И когда внезапно бой начался — не было ни плана заранього, ни приказаний. А это сразу чувствует войсковая масса — и разваливается сразу.

Только не попался Нечволодову ни один раненый из своего Шлиссельбургского полка — и ничего нельзя было о полке понять, где он и что.

Плохо, что за спиною Нечволодова солдаты его отряда встречали тех же раненых и даже на ходу успевали узнать для себя достаточно.

На севере погремливало и сейчас.

При таких порядках впору было Нечволодову, хотя двигался он позади штаба корпуса, выслать своё сторожевое охранение.

Зной как будто ещё не умерялся, но солнце заметно обходило левое плечо и палило в левое ухо.

Уже открывался просвет и на город — уцелевший, без пожаров, с сероватыми и красными шпилями и башенками,— как слева, по пересекающей грунтовой дороге, Нечволодов увидел походную пыль и определил колонну больше батальона пехоты и с батареей. Она тащилась медленно и тоже без предосторожностей.

Хотя слева как будто не было противника, но ведь и вообще никого слева не должно было быть. Вот так и наскакивают, а потом удивляйся оплошности других.

Однако в бинокль тут же убедился Нечволодов, что это — наши. Впереди той колонны тоже ехал верхом офицер, с одним просветом без звёздочек, только конь под ним шёл неспокойно, избочивался, вывёртывался, мотал оскаленной головой, а всадник понуждал его повиноваться. Ещё увидел Нечволодов по обочине бегущую приметную чёрно-рыжую собачку с крупными крыльчатыми ушами. По той собачке, всегда при своей роте, уже многие знали, что это—рихтеровская дивизия.

По темпу движения как раз предстояло всадникам сойтись на перекрестке. Заметив генерала и за ним колонну, тот офицер повернул коня — конь занёс больше, чем надо, был осажен,— и звонко крикнул своим:

— Хэ-ге-ей, суздальцы! Перекур десять минут, ла-жись!

Он весело, ничуть не устало крикнул это, а солдаты его были очень утомлены: они еле сбредали с дороги и, даже скаток с плеч не стянув, лишь винтовки малыми пирамидками составив, на первой же пыльной траве прилегали, хотя сто шагов было до лесной тени и чистой травы.

Офицер подъехал на беспокойном гнедом коне и с лихим изворотом руки доложил:

— Капитан Райцев-Ярцев, ваше псходительство! Полковой адъютант 62-го Суздальского!

Между дерзкими его губами раскрывался один передний золотой зуб. А конь тревожно косил глазом и дёргал головой.

Нечволодов кивнул:

— Не свой?

— Два часа, как взят, ваше псходительство, ещё привыкает.

— А вы — кавалерист.

— Был, ваше псходительство, да спéшил Бог за грехи.

Та знакомая неунывность была в капитане, тот лихой огонь, который красит истого кадрового офицера: для войны родились, на войне только и живём! Горело то и в Нечволодове, да притухло с годами.

— Где ж взяли?

— А вот тут поместье брошено, конюшни славные! Советую заглянуть! Около озера, как его...

Сама рука Нечволодова уже тянула с бока и раскрывала полевую сумку.

— Ох, карта у вас хороша! Вот: озеро Дидей, купать ...дей!—доримфовал неприлично шёпотом.

Нечволодов приоткрылся в улыбке:

— А как вы там очутились? Зачем?

— А нашей дивизии семь вёрст не крюк! Мы — гуляли, потом передумали — и назад.

Вился в душу этот весельчак. Но и конь под ним танцевал, нельзя было вместе карту смотреть. Да и солнце пекло.

— А пойдемте-ка в тень,— предложил Нечволодов.

Золотозубый капитан охотно кивнул.

Они отдали лошадей.

— Миша! — скомандовал Нечволодов своему адъютанту — пухлощекому, розовому (юная кровь так и просилась под кожу) поручику Рошко,— пока колонна будет идти, а ты быстро вперёд, посмотри, нет ли какой дороги обойти Бишофсбург. Если нет — выбери улицы, чтоб не мимо штаба корпуса.

Круглолицый хитросметливый Рошко всё понял, его группа поскакала.

Под прохладным увеем леса Нечволодов и Райцев-Ярцев сели по-турецки, генерал вытащил и просторнее развернул свою карту. Поджав пальцы, и безымянный с золотым кольцом, Райцев-Ярцев мизинцем с удлиненным заостренным ногтем как указкой показывал и бегло осведомлял.

Их дивизия, три полка без отставшего, вчера занимала весь фронт лицом на восток, и такие были разговоры, что противник там зажат в клин и будет оттуда пробиваться. Однако ни выстрела не произвели. Потом велено было стягиваться к Бишофсбургу. Сегодня утром топтались в нём. Перед полуднем командующий корпусом распорядился их дивизии идти на запад, огибать с юга озеро Дидей и дальше идти на Алленштейн, вёрст почти сорок. Так, не успев пообедать, они пошли, никого не встречая, и не стреляя, и морясь от жары,— но вёрст через десять, когда уже озеро обогнули, примчался ординарец от штаба корпуса с новым приказом Благовещенского: тотчас возвращаться к Бишофсбургу и даже стать *восточнее* его. Суздальский полк был последним в дивизионной колонне, первый повернул и вот возвращается. Но за это время прискакал с офицером и третий приказ: только Суздальскому полку с двумя батареями идти сюда и стать под Бишофсбургом в распоряжение командующего корпусом. Остальная дивизия должна повернуть на север по тому берегу озера Дидей — и наступать, дабы после озера соединиться с комароаской дивизией, этого бока озера. И ещё так удачно, что Суздальский полк оказался в хвосте, а сказали бы Углицкому — и он продирался бы сюда, через два полка, а Суздальский — продирался бы туда.

Райцев-Ярцев взялся всё это весело рассказывать, будто ему удовольствие доставляла такая путаница,— но перед мёртво-серьёзным Нечволодовым перестал сверкать золотым зубом и лишь постукивал длинным ногтем о пряжку.

О, какой отчаянный оказался у них корпусной командир! — да просто смелей Наполеона! Не устроенный заседать в тыловом благотворительном комитете, он тут смело гуляет по чужой стране, он просто крестит её движеньями своих полков. Ему разгромили четверть корпуса спереди — он отправляет полкорпуса налево! Он ничего не боится, ну да! — ведь он ещё до войны сформировал резерв — и теперь Нечволодов пусть ему всё выручит.

Отряд Нечволодова уже шёл мимо них к Бишофсбургу. Батальон Райцева-Ярцева лежал на траве, пушки стояли на дороге, остальные суздальцы ещё не показывались.

Надо было ехать скорее вперёд, искать своих шлиссельбуржцев, искать начальника дивизии,— но не так легко сворачивается карта, если тебе над ней сказали что-то новое: уже известный, десятки раз рассмотренный рисунок завораживает, выявляет и угрожает всё новым и новым.

Кого только могли — оторвали от своих частей, кого только могли — переподчинили, вот и суздальцев — самому командующему корпусом. Безнадёжно запуталось подчинение и вéдение командиров. А Рихтер, если даже пробьётся мимо озера Дидей,— с кем же он там соединится, там же наших разнесли? Где тут справа кавалерийская дивизия Толпыги? Её уланский полк раздёргали как корпусную конницу, самой дивизии то и дело меняют направление и задачи. Где тут справа немцы? — они, конечно, ушли давно. Где тут справа Ренненкампф? Зачем ему торопиться, он обсасывает победу, а впереди риск. Пустая земля—ни звука, ни выстрела. Где же слева 13-й корпус?

Немота. Пустой воздух.

— Ну, спасибо, капитан! — жёсткой ладонью Нечволодов пожал руку Райцеву-Ярцеву, вскочил в седло и на рысях с ординарцем погнал к Бишофсбургу мимо своего отряда.

Здесь немцы, видно, готовились к обороне: последних саженей двести перед городом были кряду срезаны обоесторонние кусты вдоль дороги — для обзора и обстрела; и в первом у дороги городском здании — большом кирпичном складе, был проделан десяток бойниц.

Но ничто не понадобилось.

Выходила из города навстречу большая пешая колонна ходячих раненых. Нечволодов уже не расспрашивал, только крикнул:

— Ребята! Шлиссельбуржцев тут нет?

Не оказалось.

У склада ждал его круглолицый спокойный Рошко. Он доложил, что объездной дороги нет, но такие улицы он нашёл и расставил маяков.

Нечволодов поехал искать штаб корпуса — по узким прохладным улицам между утеснёнными домами.

Первое впечатление было, что город населён русскими ранеными, — так много белело бинтов на улицах и из окон. Но были и жители. Одного мирного немца, не старика, и ещё потом двух вели куда-то под конвоем. На углу несколько немок окружило уланского офицера, и все сразу что-то горячо говорили ему, и одна за другой показывали то на его шашку, то себе на грудь. Ещё дальше две немки вынесли эмалированные вёдра и поили солдат водой, а те шутили с ними.

Нечволодов признал штаб по синему автомобилю Благовещенского и по казакам конвойной сотни. Рошко и другие остались снаружи, сам он крупно взошёл по гранитным ступеням, через арочный вестибюль и стал искать командование.

В штабе всё было в ящиках и на ходу: то ли от недавнего приезда, то ли от скорого отъезда. Ни до Благовещенского, ни до начальника штаба он не добрался, а встретил полковника Ниппенстрёма из генерал-квартирмейстерской части.

— Вы почему здесь? — испугался Ниппенстрём. — Вы ещё не дошли до Комарова? Вас давно уже ждёт Комаров!

— Я быстрей не мог, — даже медленнее обычного, даже холодней обычного отвечал Нечволодов. — Я хотел у командующего...

Ниппенстрём замахал руками:

— Да если корпусной вас увидит — он вам голову оторвёт! Езжайте скорей!..

— Но — куда? Я же не знаю своего задания.

— Как? Вы ничего не знаете? Вам приказано собрать свой резерв и прикрывать отход корпуса. У Сербиновича всё получите...

— Но где мой резерв? Где моя артиллерия?

— Там-там, все на месте, ждут только вас.

— Со мной сапёры, понтонцы, телеграфисты...

— Этих всех оставьте здесь.

— А где мой Шлиссельбургский полк?

— Это должен знать Сербинович. Поезжайте к Сербиновичу! Мы тоже уезжаем! Мы слишком выскочили вперёд...

— А какие немецкие части против нас?

— Мы сами не знаем!

Ниппенстрём спешил: ему надо было второй раз посылать искровку 13-му корпусу о том, что 6-й атакован крупными силами неприятеля и не пойдёт на выручку 13-му в Алленштейн. Уже послали один раз, и 13-й подтвердил приём, но никак не отозвался.

Это движение в сторону Алленштейна выполнять не было сил, но чтоб не иметь неприятностей и отмены своего отказа — докладывать в штаб армии генерал Благовещенский пока не велел, а только сообщить соседу.

В простенке между готическими окнами, в густой тени, Нечволодов постоял, длинный, худой и неподвижный, как забытая рыцарская статуя. Пристучал пальцами по каменной стене.

Чины штаба упаковывали и перетаскивали большой ящик, вроде лежачего шкафа.

И никого больше Нечволодов не искал и не спрашивал. Вышел наружу. Поднялся в седло. Чуть отъехал, выслушивая Рошко, что отряд уже вытягивается на север, а шлиссельбуржцев так нигде и нет.

Тут от штаба услышался шум. Нечволодов оглянулся. Заводили автомобиль. Генерал Благовещенский поспешно спускался наискосок по широким гранитным ступеням, не видя Нечволодова или другого кого на площади. Начальник штаба и ещё кто-то с трубками карт подбегали за ним.

Сели, защёлкнули дверцы. Автомобиль стал разворачиваться на маленькой площади, чтоб ехать назад. Благовещенский снял фуражку и перекрестился открытым полным крестом.

От подпрыгивания или от ветерка растрепалась его седина на бабьей голове, какой и с горшками в печи не управиться.

Нечволодов на рысях повёл свою сотню из города.

19

— Ваше благородие! Ха! Ваше благородие! — весело крикнули.

От колодезной очереди Ярослав обернулся к дороге.

Тянулась полубатарея, четыре пушки, и кричал Ярославу тот шароголовый фельдфебель, знакомец по дорожному случаю: позавчера (не месяц назад?) взвод Харитонова вот эти самые, значит, пушки и подмогал вытаскивать из песка.

— О-о! — обрадовался Ярослав и вскинул обе руки, приветствуя не по-офицерски, по-мальчишески. — Водицы не хотите?

— А кака́ водица? На хлебе не перегнана? — спросил коренастый сбитый фельдфебель, грудь колесом, опять весёлый, как и прошлый раз.

— Соло-одкая, схлебаете! — отозвался ему из очереди чужой пехотинец. — Сверху мусорок, снизу песочек.

Уже солнце сильно сдало на левое плечо, но ещё было жарко.

— Представьте, был колодец досками закидан, но мы разобрали! — криком объяснял Ярослав, однако стыдясь мальчишеской звонкости голоса, никак не умел он огрубить его. — И вода очень сносная, вот все набирают!

Фельдфебель снял фуражку и замахал своим остановиться. У него была маловолосая, вся круглая, вся жёлтая голова, как головка сыра, только крупней. И приделаны были к ней спереди пшеничные усы — толстенькие, а потом с остриями.

Колодец был у начала раскинутого хутора из нескольких домов на широкой поляне. Пушки приняли в сторону. Ездовые несли вёдра для лошадей, а орудийная прислуга волокла бидон с винтовой крышкой, да наверно уже немецкий.

Вызывала зависть артиллерия, что на колёсах везёт себе лишнее необходимое. Но и другую зависть, Ярослав пожаловался фельдфебелю:

— У вас солдаты как солдаты, чес-слово! А у меня — от сохи да сразу в Германию, что с ними делать?

Фельдфебель улыбался довольно:

— У нас — наука. Сохатых нельзя.

Фельдфебель такой был важный, плотный, и заметно старше Ярослава, что юному подпоручику неловко было перед ним за свои звёздочки, неловко быть чином выше да, при тонкости фигуры, и ростом. Всю эту неловкость Ярослав старался искупить вежливым невоенным обращением:

— Как мне вас называть, простите?

— Фельдфебель, как! — улыбался тот, вытирая пот с загорелого лица.

— Ну что вы! По имени-отчеству!

— По имени-отчеству в армии не зовут, — шевельнул усами сыр.

— В человечестве — зовут.

— Меня и в человечестве всю жизнь только Терентием.

— А фамилия?

— Черне́га. — И спросил, как не спросил: — А вас? — потому что мимо Ярослава и колодца, туда, на хутор, насторожились его глаза и маленькие уши. И тут же он скомандовал фейерверкеру, почти не ища и не оборачиваясь: — Коломыка! А як бы не куры там кудахчут! Сходыть с двумя хлопцами. Чувал визмить, та палками их!

Ярослав огорчился: такие хорошие артиллеристы, такой хороший фельдфебель — и туда же? кто ж тогда устоит? Предупредил:

— А хутор уже почистили. Жителей нет, петуху последнему голову оторвали. В саду, правда, яблоки.

По саду слонялись солдаты, видно было отсюда. И ещё другие сочились туда, непрошенно, недосмотренно. Впрочем, кажется, не из харитоновского взвода, эти рады были, безногие, посидеть, пока не гонят.

Но Чернега не поддался:

— Ни, там, за посадкой, подале, я ж чую. Та визмить ще два ведра, довида́йтесь по закромам. Як що овёс — то кликайте, будемо завертать.

Распоряжался Чернега уверенно, не спросясь своих офицеров. Но видя огорчение услужливого веснушчатого подпоручика, пояснил:

— Без чего артиллерия буты не може? Без овса та без мясца. Кони пушек не

тянут, руки снарядов не подымают. А як в кобуре ще и гусь жареный — о то война!

Это он нараспев добавил, и обмаслилось его лицо, представя гуся жареного, и ничего греховного как будто и правда не было в этом выражении и в этом желании. А с другой стороны, если подумать... Мучило это Ярослава.

— Солдат — добрый человек, да шинель его хапун,— ещё успокаивал Чернега.— Мы только по прозвищу *лёгкая*. А пушка наша в походном положении — 125 пудов. А снаряд едва не полпуда, вот и покидайся.

На большом лежачем брусе сидел Козеко, поджав ноги, и на коленях записывал в свою неизменную книжку полевых донесений. В постоянном насмотре и наслухе он чутко поглядывал и на Чернегу. Неодобрительно.

Тут ротный крикнул издали:

— Поручик Харитонов! Остаётесь за меня, я — скоро! — и с двумя солдатами наддал мимо хутора и с заворотом за посадку, куда уже послал своих хлопцев Чернега.

Козеко остро посмотрел ему вслед. И опять в книжку донесений. Записывал и грыз яблоко — то ли кислое, то ли от всей неприятности морщась.

Колодец был обетонирован и с шеломком наверху, от него уже длинная тень. С гульным грохотом в бетонной трубе одно и то же прицепленное ведро быстро спускали и поднимали сильные солдатские руки, крутя валик и выбирая цепь. Тут же переливали в котелки, в другие вёдра, торопя друг друга, браня расхлебаями и безрукими, подталкивая и наплескивая грязи вокруг, а уже опорожненные выпитые котелки снова со звяком совались, ища себе струи. Наполненные артиллерийские вёдра бегом, но без росплеска, относились разнузданным крупным нежным лошадиным губам. Рычали на артиллеристов, что по таким бидонам никакого колодца не хватит, впрок не наливать! Эй, впрок не наливать, пей здесь, сколько брюхо терпит! И на головы не лить, э, вы, охломоны — вон, в озеро беги, суйся по шею!

За своим гомоном, бранью и звяканьем все уже привыкли и как будто даже не слышали непрерывного общего гула слева, на подсолнечной стороне, гула боя. И вёрст до того боя не было много, но много было озёр. Весь день сегодня, сколько они шли, всё были слева озёра, большие и маленькие, вплотную и отдаля,— и так не одною волею начальства, но и этими озёрами отклонялся их путь на север, безопасно отгораживался от смежного боя.

Озёра были и справа. А час назад протащились они по узкому, трёхсотсаженному лесному перешейку между двумя большими озёрами Плауцигер и Ланскер — простой глаз лишь смутно видел другие берега. И так загнались они в длинный лесной безлюдный коридор между этими озёрами, хотя и отступившими, и теперь только то могло касаться их дивизии, что было в этом коридоре,— а не было тут ничего, никого.

Поднесли Терентию напиться. Холодна была вода, схватывала горло, и с мутью — а нутро требовало, ещё и ещё.

Сел Чернега на тот же брус, приглашая рядом Ярослава. Достал кисет с махровыми завязками, распустил.

— В трубочку табачку всё горе закручу. Не курите, ваше благородие?

По чёрному шёлку кисета малиновыми нитками вычурно, терпеливо, с отросстками было вышито: Т. Ч.

— Скажи, аж земля гуркотит,— посматривал Чернега на подсолнечную сторону.— А мы тут идём, лесов не обшариваем, а небось на соснах сидят, в бинокли смотрят на нас — и названивают, и названивают. Вот прям' счас там сидят — и в немецкий штаб про нас звонют, как мы тут воду пьём,— уверенно говорил Терентий, глядя на обступивший лес. Но, в противоречие с тревожным смыслом, не порывался бежать туда и даже нисколько не волновался — то ль от лени, то ль от упитанности силою.

Зато подпоручик Козеко встревоженно поднял голову, отозвался:

— А сторожевое охранение! Так быстро гоним, что боковые дозоры идут положительно рядом с ротами! А передние дозоры мы иногда своей колонной обгоняем. Да нас ничего не стоит из пулемёта перестрелять.

— Главное,— тревожился и Харитонов,— ничего не понятно. Уже пятнадцать вёрст и сегодня отмахали. И ещё, говорят, надо десять до вечера. Самые

свежие новости — от денщика полкового командира. Сегодня утром пустили слух, что к нам на помощь идёт японская дивизия!

— Таку балачку и я слыхав,— кивал Чернега, благодушно дымя. Так и пышело от него могутой, к делу даже излишней.

— Ну что за вздор? Откуда японская? То ли наша из-под Японии?..

— А то говорят: сам Вильгельм в Восточной Пруссии войсками командует,— ещё поддавал Чернега, так же, впрочем, мало озабоченный и Вильгельмом.

Старшее, доброе и верное чувствовал Харитонов в Чернеге. И хотя не полагалось бы офицеру жаловаться фельдфебелю на дурость начальства:

— А позавчера? Туда и обратно тридцать вёрст без толку прогоняли! Ну, туда на помощь шли, ладно, не понадобилось. А обратно — можно было догадаться наискосок нас пустить? Зачем же опять назад в Омулефоффен? Мы ж без Омулефоффена могли! И тоже бы днёвку имели, как та дивизия.

Курил Чернега, понимал, спокойно кивал. Вот это спокойствие его, всё принимающее, особенно хотелось бы Ярославу перенять.

— И сзади час назад ружейную стрельбу вы слышали? — вёл своё Козеко.— Вполне свободно, что немцы в тыл прорвались.

Чернега боком закусил трубку:

— А про шо он там пишет? Он нас там не записывает?

Смеялся Ярослав.

— Вы — кадровый?

— Ни, дуракив нэма.

На его шаровой голове фуражка сидела лихо набекрень — а держалась прочно.

Не знал Ярослав, как и спросить то, что ему надо: что за человек этот фельдфебель? как его в понимание уложить?

— А... житель вы — городской? или деревенский?

— Та так... по уездам...— затруднился Чернега, без удовольствия отвечая.

— А губернии?

— Та вроде Курской... Чи Харьковской.— Хмурился.

Ярославу отставать было жалко от этого сочного богатырька, но не знал, как разговор с ним вести:

— Женаты, дети есть? — благоприязненно спрашивал он, как бы даже сам за Чернегу отвечая вперёд утвердительно.

Посмотрел Чернега на подпоручика глазами-шариками перекатными:

— Та зачем жениться, як сосед женат?

Тут — лётом, полным бéгом подбежал посланный фейерверкер и доложил своему фельдфебелю негромко, чтоб чужие не перехватили:

— И овёс! И окороки копчёные! И — пасека. Помещика нет, утром уехали. Сторож один, поляк, говорит — берите! Я пока часовых там поставил! Скорей надо! Пехота уже лошадей хватает, птицу бьёт.

Вмиг оживился, поделовел, вскочил Чернега на сильных коротких ногах, только и ждал, закричал:

— Хло-опцы! Живо по коням! Тро-гай! — и Коломыке: — Веди колонну, а я капитану доложу.

Головка сыра, всё ещё в поту, под сбекренной фуражкой глядела щелковидно, уверенно.

И дружно потянули пушки к завороту, стали там, а зарядные ящики завернули за посадку.

Навстречу же им из-за посадки бойко выкатили две двуконных брички и рессорный тарантас.

Настороженный Козеко ничего не упустил, издали разглядел, определил — и объяснил тотчас:

— Ну вот, то батальонный в бричке покатил, а теперь и ротные на бричках, а батюшка в тарантасе. Нижних чинов — за кучеров, скоро некому будет воевать.

— Ладно! — рассердился Ярослав.— А вы яблок зачем набрали?

— Да чёрт попутал,— без сожаления отбросил Козеко недоеденное яблоко.— Не нужно мне от Германии ничего, живым бы только...

— Вы — останетесь! Вы — наверняка останетесь!

— Почему вы так думаете? — с надеждой смотрел Козеко от своего блокнотика.— Конечно, прямое попадание мало вероятно, но шрапнель...

— Бережёного Бог бережёт! Вас пошлют на закупку скота! Убирайте дневник, стройте своих!

Не высоко уже солнце стояло, и даже без боя было им сегодня тянуться до темноты и в темноте. Подошёл к колодцу другой батальон, а передние роты их батальона уже строились, тронулись. Стал Ярослав скликать и строить свой взвод.

Сзади, обгоняя и раздвигая спотыкливую бредущую пехоту, ехало верхами несколько штаб- и обер-офицеров в сопровождении шестёрки казачьей конной стражи, двое всадников со свежими бинтовыми повязками. Передний полковник, мрачный, небритый, приостановил лошадь, посмотрел на Харитонова. Тоненький готовный Харитонов подбежал, выровнялся, отрапортовал.

Тут как раз из-за посадки донесся отчётливый, далеко слышный свиной визг.

— Это ваши солдаты грабят, подпоручик?

— Никак нет, господин полковник! Мои — здесь.

— А почему не маршируете? Где командир роты?

Харитонов мотнул головой, но бричка с ротным куда-то пропала.

— Я — за него! — вспомнил он.

— Будете наказаны! — говорил полковник, но без зла, рассеянно.— Известно ли вам, что был приказ на форсированный марш? Сегодня вам надо выйти на железнодорожную линию и ещё по линии направо пять вёрст. А вы у колодца расхлюпались. Где командир батальона?

— Впереди.

Ещё меньше понимал Ярослав: немцы слева, а мы поворачивать направо?

Всадники тронули. Если б сами они понимали что-нибудь в этом лесном межозёрном блуждании!

То были офицеры штаба 13-го корпуса. Час назад они едва минули смерть: приняв за немцев, их густо обстреляла своя пехота. Такое они и предполагали (вчера таким же своим обстрелом испорчен был штабной автомобиль), для того и взяли шесть казаков сопровождения, чтоб их отличали по пикам,—и всё равно, в двухстах шагах своя пехота приняла их за первых, наконец, немцев и накинулась.

Они ехали с новейшим приказом штаба армии: ускорить движение их корпуса на Алленштейн! А от 6-го корпуса, потерянного далеко справа, пришла неожиданная искровка, видимо важная, ибо передана была раз за разом, дважды. Однако никто в штабе 13-го корпуса не сумел той искровки расшифровать: почему-то не сходился код. И в штабе не знали, что думать.

Верховые постояли у пушек, нагнали одного командира батальона в бричке, другого,—и всем полковник грозил, внушал, как форсированно надо двигаться.

Обогнав полк, ещё через три лесных версты они достигли выложенных у дороги двоих немцев, гражданских, исколотых пиками, изуродованных ударами.

— Ваших станичников работа, не сомневаюсь,— сказал полковник старшему уряднику, раненому, когда останавливал стрельбу пехоты.

Урядник пожал плечом, ничего не ответив, челюсть его была подвязана.

А в стороне из одинокого дома валил густой чёрный дым, предвестник ярого огня.

20

В пять часов вечера, только и дождавшись Нечволодова, чтоб отдать ему приказание занять позиции и удерживать, а о дальнейшем будут распоряжения письменные, начальник дивизии генерал Комаров со штабом отбыл вослед за штабом корпуса. Задание дал он не по карте, а кружа кистью в воздухе, что «крайне неожиданным» было сегодняшнее наступление немцев с севера, он даже не уверен, что это — их истинное направление, может быть загнули крыло, но во всяком случае с севера Белозерский полк держит оборонительную линию, где и надо его сменить. При этом просит он Нечволодова не принять за немцев и не

обстрелять половину дивизии Рихтера, которая уже идёт вокруг озера Дидей с запада и вот-вот подойдёт сюда на помощь. Начальник штаба дивизии полковник Сербинович не мог объяснить Нечволодову не только расположения и сил противника, но и расположения и состояния оставшихся на позиции наших частей. Тяжёлый и мортирный дивизионы он обещал ему там, дальше, впереди, а один батальон ладожцев для какой-то цели отобрал. Пока не мог он ничего точно сказать о Шлиссельбургском полке, прошлой ночью выдвинутом в сторону, на восток, и не мог точно назвать, где будет теперь штаб дивизии, но обещал регулярно присылать ординарцев.

И тут же скрылись они так быстро, что Нечволодов не управился даже заметить их отъезд. Попался ему подпоручик из Белозерского полка и доложил, что сам видел, как командир их полка только что сел в автомобиль с Комаровым, и они уехали в Бишофсбург. А их полк? А Белозерский полк понёс утром большие потери и сейчас получил приказ полностью отходить. Но батальона два ещё там, впереди, на позициях.

И так, оставшись с двумя батальонами ладожцев, Нечволодов продвигался дальше, ища свою артиллерию. Он осторожно, с дозорами, двигался вдоль железнодорожной целёхонькой линии к станции Ротфлис, от которой дуга полотна плавно переходила и в поперечную магистраль. И тут, позади рощицы, действительно увидел на огневых позициях одну батарею 42-линейных пушек, дальше одну батарею тяжёлых гаубиц, где-то и остальные должны были быть.

Заложенную грудь генерала — откладывало.

Едва достиг Нечволодов каменной будки на станции Ротфлис, к нему явились туда и командир мортирного дивизиона с трубчатыми чёрными усами и командир тяжёлого дивизиона полковник Смысловский — невысокий, лысый вкруговую до сверкания, но с длинной, как у волшебника, серо-жёлтой бородой и очень уверенным видом.

За минувшие недели Нечволодов раза по два видел обоих, но сейчас особенно заметил радостно-горящие глаза полковника, будто он только и ждал стрелебной работы, просто сиял, что дорвался до неё. (Да уже в том была радость, что не бросать оборудованных позиций.)

— Дивизион — весь? — спросил Нечволодов, пожимая руку.

— Все двенадцать! — тряхнул Смысловский.

— Снаряды?

— По шестьдесят на ствол! В Бишофсбурге — ещё, можно подвезти.

— Все на позициях?

— Все. И связаны телефонами.

Это была новинка последних лет: связывать проводами наблюдателей и закрытые позиции батарей, ещё не все умели хорошо.

— И хватило проводов?

— И сюда притяну. Вот, мортирцы помогли.

Дальше не спрашивал Нечволодов, некогда, хотя б и украли, да и видел, как мортирный полковник довольно провёл себя по трубчатым усам.

— А у вас?

— По семьдесят.

Всё остальное здесь не выговаривалось, само было ясно: что будут стрелять, что без приказанья не побегут. Удача! — такие орудия, такие командиры и проводная связь!

И всё сошлось на остриё, на одну-три-пять минут: надо понять местность; отделить, где враг, где мы; выбрать оборонительные линии; отправить туда ладожские батальоны; выбрать с артиллеристами общий наблюдательный пункт; тянуть связь; пристреливать репера. И если за эти одну-три-пять минут будет огляжено, выбрано, послано, скомандовано не в том порядке или неверно,— то за следующие полчаса не будет верно сделано, и если именно в эти полчаса немцы повалят или начнут бить — ничего не стоят наши сияющие глаза, наша связь проводная и шестьдесят снарядов на ствол: мы побежим.

Был тот военный момент, когда время сжимается до взрыва: всё сейчас, ничего потом!

— Тут есть водокачка! — объявил Смысловский.— А дальние репера у нас пристреляны, только продвинулся *он*.

Нечволодов молча нагнул голову под низкую будку и вышел.

И артиллеристы за ним.

Бегом пробежали они через нагретое, в масляном жарком запахе, рельсовое полотно.

Нечволодов поманил одного батальонного командира (полкового у него тоже не осталось, да и лишнее) — и велел тотчас идти сменять батальон белозерцев, а если плохо линия выбрана — и её сменить, да вкопаться хоть немного, если жить хотят.

За дальним лесом раздался негромкий пук, звук парос — и жёлтое облачко немецкой шрапнели рвануло впереди, левей и выше водокачки.

— Они уже сюда сегодня бросали,— одобрительно сказал Смысловский.— Но мы молчим — перестали.

Поднялись по внутренней деревянной лестнице, Нечволодов на ходу выправлял бинокль из-под ремней. Выше лестницы оказалось помещение с обзором на запад и север. Уже сидели тут телефонисты при двух зуммерных телефонах. Западное окно было остеклено и низким жёлтым солнцем ослеплено, туда сейчас не смотрелось. А северное — с хорошим видом, рама вышиблена, и не отсвечивал немцам бинокль.

В простенке на ларе, около телефонов, развернули и карту.

Из обстановки знали они только то, что своими глазами видели, да по собственному соображению.

Бросили немцы один фугасный снаряд, другой. Тоже репера, наверно. За магистральной железной дорогой в Гросс-Бессау было скопление, шевеление. И по опушке леса. Но ни колонны, ни цепи сюда не продвигалось.

Могли, однако, всякую минуту пойти.

— А там, под Гросс-Бессау, наших не осталось? Мы по своим не лупанём?

— Наверняка нет, я уже заключил.

— Осталось — и много,— сказал серьёзный мортирный усач.— Именно там — слишком много.

В самом деле: до Ротфлиса не было трупов. Все трупы — впереди. Но уже под вопрос «наши?» — они не вполне подходили...

— Солнце слева, на север хорошо стрелять! — объявил Смысловский.— У них вон тригонометрическая вышка — ах бы сшибить!

Слева же, от озера, постреливала немецкая батарея. Значит, и пехота какая-то там. Значит, и Рихтера не ждать.

И распорядился Нечволодов другой батальон ладожцев поставить лицом на запад. И полковую пулемётную команду разделить на два фланга.

А больше у него не осталось никого. Ещё был целый полукруг направо, на северо-восток и восток,— но ставить там было некого. Зачем-то забрал Сербинович батальон ладожцев — и Нечволодов отдал молча.

Когда-то в молодости он горячился всё оспаривать. Но за долгую службу свело кислотою скулы, и он молчал: и когда можно смолчать, и когда надо перемолчать.

Впрочем, справа вот-вот могли показаться пики кавалеристов Ренненкампфа.

Впрочем, как и на японской войне, кавалерией в основном не воюют: кавалерию на войне в основном берегут. По сохранению кавалерии хвалят командующих.

Замер, умер, онемел Ренненкампф.

И, стало быть, верно делал Благовещенский, что отходил? с кем же ему смыкаться?

Если Вторая армия входила в Пруссию, как голова быка, то они тут сейчас, на станции Ротфлис, были остриём правого рога. Рог вошёл в тело Восточной Пруссии уже на две пятых глубины. Держа станцию Ротфлис, они пересекали главную и предпоследнюю железную дорогу, по которой немцы могли перебрасываться вдоль Пруссии. Ясно, что немцы без этой станции жить не захотят. И разумно было всему 6-му корпусу именно сюда.

Но и за то уже спасибо судьбе, что над ними не осталось суетливых дураков, того положения нет страшней. Хрупкая кучка их составляла кончик рога — но от них зависело хоть не делать глупостей.

Пришли два командира батареи, начали кричать команды.

До темноты бы можно продержаться — лишь было бы кого поставить направо с заворотом.

Сверху видно было движение отходящих белозерцев — шла пехота и гнали двуколки стороной от станции, под лесом. Немцы били грозней — и уходящие радовались убраться из невозможного места.

Нечволодов спустился с водокачки.

К нему крупными шагами бежал, как прыгал, рослый офицер с дородным, чистым и отчаянным лицом. Из последнего шага-прыжка он остановился перед генералом враз, честь приложил с размаху едва ли не сзади уха и доложился близким басом:

— Ваше превосходительство! Подполковник Косачевский, командир батальона Белозерского полка! Считаем низостью вас покинуть! Разрешите нам не отступать!

Но сказалась нехватка равновесия, он пошатнулся, чуть не навалившись на генерала. Всё то же отчаяние было в его смелых глазах под писаными бровями.

Нечволодов смотрел, как не понимал.

Потом жестокой гримасой повело его губы вбок. Ответил недовольно:

— Ну-у... ну, что ж...

И длинными руками обнял Косачевского, как тот и валился.

А вереница поодаль отступала. Катились двуколки, ковыляли, хромали и шли люди.

Могли ли они так хотеть — остаться? Или их офицеры только? Или один Косачевский?

— Сколько ж вас?

— Да выбило. Да две с половиной роты есть.

— Заворачивайте. Станете вот где, покажу, направо...

Уже радостно завывали по одному наши снаряды, улетая на пристрелку.

И из разных мест подлетали немецкие фугасы — стальным бичом — и в чёрный фонтан.

И вот уже очередями.

А вот — и наши погнали очереди. По четыре, это Смысловский. По шесть, это мортирцы.

И лысый бородатый, потирая руки и притопывая, и приплясывая, встретил Нечволодова вверху на водокачке:

— Сшибли, ваше превосходительство! Тригонометрическую — мы им сшибли!!!

Но — не успел Нечволодов поздравить: шорох гигантского падающего дерева — и свист жестокий! сюда!!!

Сотряслась и пылью задымилась водокачка.

21

Когда бьёт артиллерия — и без разведки ясно, что противник не бежит, что противник силён. Когда бьёт артиллерия, то на силу и мощь этого грохота возрастает воображаемая сила врага. Чудятся там, за лесами и пригорками, такие же грозные наземные массы — дивизия, корпус.

А их, может быть, и нет. А их может быть два батальона некомплектных да один потрёпанный, и только первые удары сапёрных лопаток долбят одиночные ячейки.

Но надо для этого, чтоб артиллерия била не дуро́во — толково. И чтоб снаряды её не пресеклись. И чтоб стояла она хорошо, не давая себя засечь ни по дымам, ни по вспышкам — ни при солнце, ни, с упадом его, в сумерках.

Именно так всё и было у Смысловского и мортирного полковника. Именно этого и ожидал от них Нечволодов, с первого взгляда признавши в них природных командиров. А если командир природный — то успех военного события зависит от него больше, чем на половину. Не просто храбрый командир, но хладнокровный и берегущий своих от потерь. Только такому и верят: если скомандует в атаку — значит край, значит не избежать. Таким природным командиром ощущал Нечволодов и сам себя, едва не от рождения. Это и дало ему в 17 лет

добровольно покинуть военное училище, избрать действительную службу, на ней дойти до подпоручика не позже своих оранжерейных сверстников, ученье начать сразу с академии генерального штаба, и в 25 лет окончить её не только по первому разряду, но через чин перескочив за выдающиеся отличия в военных науках.

Сегодня сошлось их счастливо трое, да нанёс Бог Косачевского, и жалкой своей горстью они выполнили невозможное: в узком месте у станции Ротфлис на всё предвечернее время остановили какие-то крупные, всё растущие, с густой артиллерией силы врага.

Сперва, в начале седьмого, после короткого огня, немцы пошли с севера даже не цепью, а колонной, так уверенные от дневного успеха.

Но тут два дивизиона, с пяти утаённых огневых позиций, в двадцать четыре орудия, довернувши от реперов, накрыли наступающих косым дождём шрапнели, затолкли их чёрными столпами фугасов и загнали назад, в невидимость рельефа и леса.

А наши батальоны спешили вкапываться.

Немцы замялись, замерли.

А солнце медленно сползало.

Готовность тут и остаться, никуда не отступать, этот бой принять как главный бой своей жизни и последний бой, завершающий всю военную карьеру,— естественное ощущение природного командира.

Так и стояли они сегодня, вынужденные противником, расположением, обстановкой. Но не худо было бы им всё же иметь приказ: как надолго поставлены они здесь? будет ли подсоба? и что делать дальше?

Однако, ничего не приходило им. Не приезжал обещанный связной — ни с указаньем, ни с объясненьем, ни даже посмотреть — живы ли тут. Отъехав поспешно, штаб корпуса и штаб дивизии как бы забыли о своём оставленном резерве — либо уж сами перестали существовать.

В 18.20 Нечволодов послал записку начальнику дивизии, испрашивая дальнейших распоряжений. Ехать с этой запиской предстояло ординарцу неизвестно куда.

Немцы потратили сколько-то времени на наблюдение, на перестройку Вздули и стали поднимать привязной аэростат — с него б засекли наверное все наши батареи — но что-то не сладилось, он не поднялся. Тогда открыли тройной огонь, разнесли до конца водокачку, разрушили всю станцию (штаб резерва перебежал в надёжный каменный погреб),— наконец стали продвигаться, но цепями, осторожно, по рубежам. Не обнаруженные и не подавленные, тут снова сказались русские батареи и накрывали те рубежи, мортирным крутым огнём захватывали накопления за укрытиями.

А солнце зашло за озером. И сразу за ним, у кого зрение острое, можно было различить, как туда же клонился молодой месяц. Кто увидел его из русских — увидел через левое плечо. А немцы — через правое.

Смеркалось. Сильно холодало, переходя в звездистую ночь. От холодка быстро рассеивалась, уходила вверх гарь стрельбы, запахи разрушения. Все надевали шинели.

Около восьми часов немцы замолчали: то ли по общей человеческой склонности принимать вечер за конец дневных усилий, то ли не всё было у них ещё готово.

Распорядясь тотчас же всех кормить уже сваренным, соединённым обедом и ужином, а батальонам выдвинуть полевые караулы, Нечволодов поднялся на стену разбитой станции, оттуда последние серые минуты изглядывал местность. Пока виден был циферблат карманных часов, он удивился в восемь и удивился в четверть девятого: прошло три часа, но никто не ехал из штаба дивизии.

Тогда, осторожно спустясь по разваленной стене, а потом и в погреб, на весь арочный спуск бросая длинную тень за собою вверх, Нечволодов доступил до нижней свечи, присел на корточки и на коленях написал начальнику дивизии:

«20.20, станция Ротфлис.

Бой стих. Тщетно отыскивал ваше расположение. (Как ещё написать снизу вверх: «вы бежали?».) Занимаю позиции с двумя батальонами Ладожского полка у ст. Ротфлис. (О батальоне Косачевского писать нельзя: ведь это дисциплинарное нарушение, что он не отступил...) Ищу связи с 13-м, 14-м и 15-м полками. (То есть: со всей остальной дивизией, как ещё крикнуть?) Жду ваших распоряжений».

Выйдя из погреба, отправил нарочного.

И различил почти в темноте, как быстрыми шагами шёл к нему невысокий бородатый Смысловский.

Обнялись. Фуражка того ткнулась Нечволодову в подбородок.

И прихлопывали по спине друг друга.

— Весёлого мало,— сказал Смысловский радостным голосом.— Снарядов осталось десятка два, у мортирного тоже. Я послал, но не уверен, привезут ли,— что там в Бишофсбурге делается?

Перевести батареи в походный порядок? Это уже отступление.

Но вот что было успехом: по обоим дивизионам всего несколько раненых, и то легко. Собрались донесенья из батальона — совсем немного и у них, несравнимо с утренним.

Кто упирается — тот не падает. Падает тот, кто бежит.

— Я осколки подобрал,— радовался Смысловский.— Они тут кидали из мортирок, видимо, двадцать одного сантиметра — нич-чего!! Этот погреб — тоже развалит.

Приходили раненые из батальонов. Перевязочный пункт с занавешенными окнами отправлял их в Бишофсбург.

Лёгкий стук повозок выдавал шоссе.

На станции перебегали штабные, связные, переговаривались телефонисты, санитары — сдержанно, но довольный был гулок отовсюду. Долгой дневной дорогой столько повстречав сегодня раненых и перепуганных, все нечволодовцы теперь ощущали себя победителями.

Холодела безветренная тишина. Ни звука от немцев. В темноте не было видно разрушений, простирался куполом мирный звёздный вечер.

— В девять будет — четыре часа,— сказал Нечволодов, сидя на гнутом и покатом своде погреба.— Скоро ли девять?

Присевший рядом Смысловский задрал голову в небо, поводил:

— Да вот-вот, уже подходит.

— Откуда вы...?

— По звёздам.

— И так точно?

— Привык. До четверти часа всегда можно.

— Специально занимались астрономией?

— Порядочный артиллерист обязан.

Знал Нечволодов: пятеро их было братьев, Смысловских, и все пятеро — артиллерийские офицеры, и все деловые, даже учёные. Которого-то из них Нечволодов уже встречал.

— Вас как зовут?

— Алексей Констиныч.

— А где братья?

— Один — тут, в первом корпусе.

Нащупал Нечволодов в кармане шинели забытый электрический фонарик — немецкий ладный фонарик, где-то найденный сегодня и ему подаренный унтером. Засветил на часы.

Было без трёх минут девять.

И, не сходя с погреба, распорядясь негромко, чтобы приготовили конного, стал подсвечивать себе на полевую сумку и, водя световое пятно, писал химическим карандашом:

«Генералу Благовещенскому. 21.00, станция Ротфлис.

С двумя батальонами ладожцев, мортирами и тяжёлым дивизионом составляю общий резерв корпуса. Ввёл ладожские батальоны в бой. С 17.00 не имею распоряжений начальника дивизии. Нечволодов».

Кому было ещё писать? И как было ещё на военном языке объяснить им: уже четыре часа, как все вы бежали, шкуры! Отзовитесь же! Тут — можно держаться, но где вы все??

Прочёл Смысловскому. Рошко отнёс нарочному. Нарочный поскакал. Ещё приказал Нечволодов: усилить сторожевое охранение батальонов.

И молчали. На косой крыше погреба, подтянув колени, приобняв их руками, Нечволодов молчал.

Разговориться с ним было нелегко. Хотя знал Смысловский, что это генерал не такой простой, на свободе он книги пишет.

— Я вам мешаю? Я пойду?

— Нет, останьтесь,— попросил Нечволодов.

А зачем — непонятно. Молчал, и голову опустил.

Время тянулось. Неизвестное что-то могло меняться, шевелиться, передвигаться в темноте.

Отдельно высказать это страшно: потерять жизнь, умереть. Но вот так сидеть двум тысячам человек в затаённо-гиблой, мирной темноте брошенными, забытыми,— как будто пока и не страшно.

До чего было тихо! Поверить нельзя, как только что гремело здесь. Да вообще в войну поверить. Военные таились, скрывали свои движения и звуки, а обычных мирных — не было, и огней не было, вымерло всё. Густо-чёрная неразличимая мёртвая земля лежала под живым, переливчатым небом, где всё было на месте, всё знало себе предел и закон.

Смысловский откинулся спиной, на наклонном погребе это было удобно, поглаживал длинную бороду и смотрел на небо. Как лежал он — как раз перед ним протянулась ожерельная цепь Андромеды к пяти раскинутым ярким звёздам Пегаса.

И постепенно этот вечный чистый блеск умирил в командире дивизиона тот порыв, с которым он сюда пришёл: что нельзя его отличным тяжёлым батареям оставаться на огневых позициях без снарядов и почти без прикрытия. Были какие-то и незримые законы.

Он полежал ещё и сказал:

— Действительно. Дерёмся за какую-то станцию Ротфлис. А вся Земля наша...

У него был живой, подвижный, богатый ум, не могущий минуты ничего не втягивать, ничего не выдавать.

— ...Блудный сын царственного светила. Только и живёт подаянием отцовского света и тепла. Но с каждым годом его всё меньше, атмосфера беднеет кислородом. Придёт час — наше тёплое одеяло износится, и всякая жизнь на Земле погибнет... Если б это непрерывно все помнили — что б нам тогда Восточная Пруссия?.. Сербия?..

Нечволодов молчал.

— А внутри?.. Раскалённая масса так и просится наружу. Толщина земной коры — полсотни вёрст, это тонкая кожица мессинского апельсина, или пенка на кипящем молоке. И всё благополучие человечества — на этой пенке...

Нечволодов не возражал.

— Уже однажды, десять тысяч лет назад, почти всё живое было похоронено. Но это ничему нас не научило.

Нечволодов покоился.

Возник и длился между ними заговор умолчания. Смысловский не мог не знать нечволодовские «Сказания о русской земле» для народного восприятия, а, принадлежа кругу образованному, очевидно не мог их одобрять. Но как вся война, действительно, ничтожнела перед величием неба, так и рознь их отступала в этот вечер.

Отступала, но не вовсе терялась. Вот упомянул он Сербию. Сербия была давима хищным и сильным, и защита её не могла умалиться даже перед звёздами. Нечволодов не мог тут не возразить:

— Но где же был бы предел миролюбию Государя? Неужели оставить Сербию в таком унижении?

Эх, мог бы, мог бы Смысловский ответить. Слишком много дурной экзальтации в этой славянской идее — и откуда придумали? зачем натащили? И всех этих балканских ходов не разочтёшь.

Но сейчас — душа не лежала так мелко спорить.

— Да вообще: откуда жизнь на Земле? Когда Землю считали центром

Вселенной — естественно было и считать, что все зародыши вложены в земное существо. Но на эту маленькую случайную планету? Все учёные остановились перед загадкой... Жизнь принесена к нам неведомой силой. Неведомо откуда. И неведомо зачем...

Это уже нравилось Нечволодову больше. Военная жизнь, состоящая из однопонятных команд, не допускала двойственного толкования. Но в размышлениях досужных он верил в двойное бытие, откуда и производились чудеса русской истории. Только говорить об этом было труднее, чем писать, говорить почти невозможно.

Отозвался Нечволодов:

— Да... Вы широко всё... А я шире России не умею.

То и плохо. Ещё хуже, что хороший генерал писал плохие книги и видел в этом призвание. Православие у него всегда право против католичества, московский трон против Новгорода, русские нравы мягче и чище западных. Гораздо свободнее было разговаривать с ним о космологии.

Но уже и он двинулся:

— Ведь у нас и России не понимают. *Отечества*—у нас девятнадцать из двадцати не понимают. Солдаты воюют только за веру и царя, на этом и держится армия.

Да что солдаты, когда и офицерам запрещено разговаривать на политические темы. Таков приказ всеармейский, и не дело Нечволодова этот приказ осуждать, раз он высочайше одобрен. Однако приняв под командование 16-й пехотный Ладожский полк, и не мог бы он на минуту забыть, что именно этот полк, вместе с Семёновским и с 1-й Гренадерской бригадой, только и были опорою трона в Москве в мятеж Пятого года.

— Тем более важно, чтобы понятие Отечества было всеобщим сердечным чувством.

Всё-таки подводил он как бы к своей книге, а разговаривать о ней серьёзно было неудобно. Сам-то Алексей Смысловский по развитию перешагнул и царя, и веру, но как раз отечество он очень понимал, он понимал!

Однако поплетись их разговор туда — по незвучавшим тропкам — должен был бы и Смысловский признать, что очень уважал он своего покойного тестя генерала Малахова, а именно тот, генерал-губернатор Москвы, и подавил восстание Пятого года.

— Александр Дмитриевич! А правда, я слышал, вы ещё в прошлое царствование предлагали реформу офицерского корпуса? гвардии, порядка службы?

— Предлагал,— безрадостно, бесчувственно выразил Нечволодов.

— И — что ж?

Уходя в безголос, вполслуха:

— Плыви течением. Как все плывут...

Посветил фонариком на часы.

Легли ли немцы спать? Или медленно просачиваются, не замеченные сторожевым охранением? Или обходят другой дорогой, а завтра отрежут?

Надо было решать? Действовать? Или покорно ждать? Что надо было делать?

Нечволодов не двигался.

Вдруг услышался близкий шумок, переговоры, бранный выговор — и Рошко подвёл к погребу фигуру:

— Ваше превосходительство! Вот этот олух ищет нас пятый час. Если не спал и не врёт — он чуть к немцам не попал.

И подал пакет.

Вскрыли. При фонарике прочли вдвоём:

«Генерал-майору Нечволодову.

13 августа, 5 ч. 30 м. дня».

Ещё раз перечли, Нечволодов даже цифру протёр: да, 5.30 пополудни!..

«Начальник дивизии приказал вам с вверенным вам общим резервом прикрыть отступление частей 4-й пехотной дивизии, ведущих бой к северу от Гросс-Бессау...»

— К северу от Гросс-Бессау,— повторил Смысловский Нечволодову ровным скучным голосом.

К северу от Гросс-Бессау. Позади не только пехоты немецкой, но и тех пушек,

что вели огонь минувшие часы, позади их привязного аэростата. Там, где только трупы русские пролежали жаркий день после утреннего смятения. Какие же бредовые тени должны закачаться в голове, чтоб написать «к северу от Гросс-Бессау»?

Ушедший лучик Нечволодов снова направил на бумагу: а что надо было делать после Гросс-Бессау?

Но — нечего было далее читать. Далее стояло:

«За начальника штаба дивизии капитан Кузнецов».

Не начальник дивизии, даже не начальник штаба — они только крикнули что-то, прыгая в автомобиль или в шарабан, уже отъезжая,— но за всех за них капитан Кузнецов, который, впрочем, тоже погнал вослед, а с пакетом послать не мог бы вестового недотёпистей.

Нечволодов осветил часы, написал на полученной бумаге: 13 августа, 21 ч. 55 м.

Четыре с половиной часа шло распоряжение. Но могло бы и вовсе не писаться: почти это самое в 5 часов вечера Нечволодов ушами слышал от Комарова.

А за пять часов — недосуг им было рассудить о дальнейшей судьбе резерва.

Начальник вскинул голову, будто прислушался.

Не к чему. Тишина.

Тихо сказал:

— Алексей Констиныч. Оставьте две гаубицы на позиции, а остальные пусть принимают походный порядок, головой на юг. И мортирному так же сделать.

Громче:

— Миша! Галопом в Бишофсбург, точно выясни сам, какие там части, с какими приказаниями? Кто старший? Везут ли снаряды под наши орудия? Где шлиссельбуржцы? И возвращайся быстрей.

Рошко повторил все вопросы — сочно, точно, без пропуска, метнулся, кликнул сопровождающих, пробежали в несколько ног — и глухо, по мягкому, застучали и стихли копытные удары.

Полтора часа назад с тем и пришёл Смысловский: что ж держать орудия на огневых без снарядов, они погибнут. Но вот он получил разрешение, а самому жалко было сниматься.

Совсем наоборот: довольно было этой тихой ночи, чтобы весь корпус пришёл бы сюда и развернулся рядом с ними.

Уходить — значит, впустую была вся его стрельба, все снаряды полетели впустую, и раненые зря.

А ночь казалась такая тихая, такая безопасная.

Через полчаса или больше Смысловский возвратился к штабу резерва — и нашёл Нечволодова всё на том же погребе. Он прислонился рядом, к своду:

— Александр Дмитрич! А батальоны?

— Не знаю. Не могу,— выдавил Нечволодов.

Это потом всё бывает легко рассудить: конечно, надо было уходить — и быстрей! конечно, надо было остаться — и твёрже! Может быть, именно в эти минуты их отрезают. Может быть, именно в эти минуты на последней версте к ним подходит помощь. Но сейчас, покинутый всеми, кто только сверху, ничего не зная ни об армии, ни о корпусе, ни о соседях, ни о противнике, в тишине, в темноте, в глуби чужой земли,— принимай решение и только безошибочное!

Не мешая принять, не смея влиять, Смысловский молча стоял, плечом подпирая свод погреба, поглаживая бороду.

Вдруг — изменилось всё! Ожила безлюдная тьма! — хотя и без звука: млечный, белесый, толстый, бесконечно длинный, откуда-то с высоты возник немецкий прожекторный луч!

И враждебной, смертоносной тупой рукой стал медленно ощупывать местность нечволодовского резерва.

Сразу всё изменилось в мире, как если бы в двенадцать тяжёлых орудий дали огневой налёт!

Нечволодов упруго вскочил на ноги и взбежал на верхнюю точку погреба. И Смысловский в несколько прыжков нагнал его там.

Луч — искал. Он медленно-медленно шёл, нехотя покидая освещённую, вырванную полосу. Он начал слева, от озера, и сюда ещё было ему не близко.

Нечволодов подозвал и крикнул распоряжение, передать в батальоны: под лучом ни в коем случае не двигаться, укрыться.

Побежали телефонировать.

Один этот луч — а всё менял. Ясно: только ночь держала немцев. К исходу её или утром они пойдут вперёд.

И если ждать до утра — то стоять здесь и завтрашний весь день.

А если не ждать, то уходить сейчас.

И — засветился второй луч! — в отстоянии от первого и под углом к нему, но не вперекрест, а враспах: второй луч пошёл по правому флангу Нечволодова, по белозерскому батальону.

За молчаливыми этими дубинами света — сколько силы надо было предполагать?

Но и немцы, значит, думали, что нас тут — силища.

Снова подозвал Нечволодов и передал, вытягивая длинную руку:

— Подполковнику Косачевскому: как только луч от них уйдёт — снять батальон с боевого порядка и выводить сюда на дорогу.

Этих — он во всяком случае не мог держать далее.

— Полезли на станцию! — предложил Смысловский.

Обидно было время упустить, не посмотреть тоже. Они сбежали с погреба, подбежали к развалинам станции и, с фонариком, пошли по груде кирпичей к той наклонной балке, по которой можно было выйти на стену.

Но сзади — шум копыт задержал их. Нечволодов узнал голос Рошко.

Вернулись.

Хотя и запыхавшись, однако всё тем же здоровым голосом парубка, выражавшим молодую силу тела и розовость щёк, Рошко доложил:

— В Бишофсбурге ни одного высшего командира. Головного эшелона артиллерийского парка не нашёл. Все части перемешаны, в домах — раненые. Никто не знает, куда идти. У одних есть приказание отступать, у других нет. Шлиссельбургский полк нашёлся! — они только что пришли в Бишофсбург с востока. У них есть приказ Комарова отступать ещё дальше, чем мы утром были. А ещё втягивается в город кавалерийская дивизия Толпыго, и приказ ей — идти на запад. А с запада отступает рихтеровская дивизия, обозы. Перемешались, на улицах не протолпиться. Там и к утру не разобраться. Всё.

Прожекторы медленно брали и глубину. Потом перемещались вбок.

Они сходились.

Было четверть двенадцатого ночи. В календарный день 13-го августа резерв Нечволодова задержал противника южнее Гросс-Бессау. Приказа на 14-е августа — не было, самому Нечволодову предстояло его составить.

И, стоя на груде битых кирпичей в развалинах станции, косясь на подходящий прожекторный луч, Нечволодов вымолвил тихо и даже лениво:

— Мы уходим, Алексей Константинович. Снимайте последние орудия. Обоими дивизионами двигайтесь на северную окраину Бишофсбурга. Там на всякий случай приглядите позиции и ждите меня.

— Есть,— ответил Смысловский.— Feci quod potui, faciant meliora potentes.*

Ушёл.

— Рошко! Ладожским батальонам передай: без звука покинуть линии обороны, смотать связь — и сюда.

На станции всё замерло: пришло сюда мёртво-бледное пятно, свет неживой. Стояли, сидели за домами, за деревьями. Лошади в укрытиях заволновались, ржали, рвали поводья. Приказано было держать их крепко.

Унизительно-беспомощно было замереть в неподвижном свете: луч не сдвинется — и ночь так просидеть.

Но ещё хуже было переползание прожектора — угроза.

Луч ушёл.

Сворачивались. Нечволодов спустился в погреб. Записал своё последнее приказание. Перед тем как свечу гасить, ещё, ещё смотрел на карту.

6-й корпус откатывался, как свободный биллиардный шар,— ни к кому не припутанный, гладкий, круглый, беспечный.

Открывал самсоновскую армию беспрепятственному удару справа.

* Сделал, что мог, кто может — пусть сделает лучше. (лат.)

* * *

БЫЛ РОГ, ДА СБИЛ БОГ

* * *

22

Да, да, да, да! это — порок, эта жила азарта, этот напор, когда увлечённый одной линией, вдруг слепнешь и глохнешь к окружающему и простейшей детской опасности не видишь рядом! Как с Юлей Мартовым когда-то (да когда! — едва отмучивши трёхлетнюю ссылку, едва соберясь за границу!) с корзинкой нелегальщины, с химическим письмом о плане «Искры» — перемудрили, переконспирировали: полагается в пути менять поезда, не подумали, что тот пойдёт через Царское,— и в нём заподозрены, взяты жандармами, и только по спасительной российской неповоротливости полиция дала им время сбыть корзину, а письмо прочла по наружному тексту, не удосужившись подержать над огнём — и тем была спасена «Искра»!

Или как потом: в напряжённой годовой внутрипартийной войне большинства из двадцати одного против меньшинства из двадцати двух — пропустили, почти не заметили всю японскую войну.

Так — и эту (и не думал о ней, и не писал, и на убийство Жореса не откликнулся). Да потому что: расползлась всеобщая зараза *объединительства,* за последние годы охватила всю русскую социал-демократию,— огульное объединительство, самое опасное и вредное для пролетариата! примиренчество и объединенчество — идиотизм, гибель партии! И перехватили инициативу вожди слюнтявого Интернационала — о н и нас будут мирить! о н и нас будут объединять! зовут на пошлейшее объединительное совещание в Брюссель,— как вырваться?? как избежать?? Всё вниманье, всё напряженье ушло туда — и почти не слышал выстрела в эрцгерцога!.. А тут подкатывал в августе конгресс Интернационала в Вене — и никогда ещё так не схватывало напряженье борьбы против меньшевиков! и архи-архи-важно было в эти немногие недели успеть сколотить делегацию изнутри России, как бы от большой действующей реальной партии,— собственно, вот тут, в деревушке Поронино и оформить такую партию! — и мощно явиться на конгресс! А пока изобретал, пока стягивал делегатов (прямым ходом через границу) — объявила войну Австрия Сербии,— как не заметил. И даже Германия объявила России! — как нипочём... Да, да, вот так затягивает, когда хорошо разгонишься в борьбе, трудно остановиться. Пустили известие, будто немецкие с-д проголосовали за военные кредиты,— так они себя погубили? так Интернационал лопнул? — нет, как машинально разогнанный продолжал собирать свой съезд.

Вообще — конечно, должна была разразиться империалистическая война! — теоретически предсказана, неуклонно предвидена. Но — не именно конкретно же сейчас, в этом году. И — пропустил. И — вляпался...

Да, да, да, было десять дней — сообразить своё двусмысленное положение возле самой русской границы и повернуть делегатов обратно, и убираться поскорей из этого чёртова Поронина, уже теперь никому не нужного, и изо всей этой захлопнутой Австро-Венгрии: в воюющей стране какая работа? Сразу нужно было мотнуться в благословенную Швейцарию — нейтральную, надёжную, беспрепятственную страну, умная полиция, ответственный порядок! — так нет, даже не пошевельнулся, в угаре съездовской подготовки,— а тут грянула и австро-русская война — и сразу интернировали всех приехавших делегатов: русские, призывного возраста, как попали, зачем тут?..

Ах, какой просчёт!.. Ах, какие нервные три недели с тех пор!..

Сейчас-то — уже позади. По перрону Нового Тарга — до паровоза и назад. До паровоза — и назад. С Ганецким.

Гладко-выбритое, приятное, даже нежное лицо Ганецкого — сейчас такое спокойное, а как исступлённо кричал на новотаргских чиновников! — не бросил в беде. (Ну, да он в Новом Тарге — свой, папа тут богач.)

Новый Тарг — не Поронино, здесь уже не так опасно, но могут ещё какие-нибудь поронинские фанатики появиться, ещё всё может случиться. Хотя тут, на станции, надёжно расхаживает жандарм, никто не кинется.

Диалектика: жандарм — вообще плохо, а в данный момент — хорошо.

Большое красное колесо у паровоза, почти в рост.

Как бы ты ни был насторожен, предусмотрителен, недоверчив — убаюкивает проклятая безмятежность быта, мещанская в сути своей, семь лет подряд. И в тени чего-то большого, не рассмотрев, ты, как к стенке, прислоняешься к массивной чугунной опоре — а она вдруг сдвигается, а она оказывается большим красным колесом паровоза, его проворачивает открытый длинный шток,— и уже тебе закручивает спину — туда! под колесо!! И, барахтаясь головой у рельсов, ты поздно успеваешь сообразить, как по-новому подкралась глупая опасность.

Самому-то Ленину от властей не грозило: законный паспорт, законное положение политического эмигранта, врага царизма, и возраст 44 года, интернированию не подлежит — перед австрийской полицией он непорочен. Но — провалить такое мероприятие? Но — дать схватить свои скудные кадры? Кольцо глупости! Стена глупости! Глупейший, простейший, слепейший просчёт! — как с Царским Селом тогда. (Да как и в 95-м году — газету готовили, ни одного номера не выпустили, сразу и провалились...) Да, да, да, да! — сесть в тюрьму революционер всегда должен быть готов (впрочем, умнее избежать) — но не так же глупо! но не так же позорно! но не так же не вовремя дать себе спутать руки!! Только-только собрал начатки партии — и дал её посадить? И даже хуже: делегатов арестовали, а организатор на воле? Как же это будет истолковано??

И слали с Ганецким телеграммы — в политический отдел краковской полиции, социалистическим друзьям в Вене,— телеграммы, потому что так просто не вырвешься из Поронина и сам, на каждый билет от дня войны нужно разрешение тупого старосты, а он не даёт, и даже дружественный полицейский вахмистр не может его склонить легко. А и добравшись до Нового Тарга — нужно новое разрешение, нужно новое доверие, а его не шлют,— и одиннадцать дней ты бегаешь по плитчатому полу комнатёнки старостваот стенки до стенки, не отлежишься на их визгливой кроватной сетке, а жжёт и палит: могло не быть! — могло не быть!! — сам наделал! — сам влопался!

Никакая внешняя неудача, поражение, подлость и низость врагов — никогда ничто так не травит сердце, как собственный даже малый просчёт, днём и ночью сжигает. *Своего* просчёта нельзя объяснить объективно, потому нельзя загладить, забыть, а только: могло не быть! могло не быть!! могло не быть!!! — а он был, по собственной оплошности.

А каков был Куба (партийная кличка Ганецкого) в эти дни! Не смяк, не сдался. Фонтаном взвил имена — социал-демократов! депутатов парламента! общественных деятелей! — кому сейчас же писать, объяснять, теребить! добиваться вмешательства! И — десяток писем во все концы! Не было поезда вечером — гнал в Новый Тарг на арбе. И бросился в Краков, и встречался там с сочувствующими влиятельными людьми (да он и любому чиновнику сплетёт историю в одну минуту!), и снова телеграфировал в Вену. Любой бы славянин на его месте устал, отстал, бросил, но Ганецкий с неиссякаемой настойчивостью — не отставал.

От телеграфных толчков Ганецкого с-д депутаты Виктор Адлер и Диаманд обратились к канцлеру и в министерство внутренних дел, дали письменные ручательства за русского социал-демократа Ульянова, что он не только лоялен к Австро-Венгерской империи, но враг русского правительства злейший, чем сам канцлер. И в краковскую полицию пришло указание: «Ульянов смог бы оказать Австро-Венгрии большие услуги при настоящих условиях». И так — открылся путь для дальнейших переговоров, действий и выручки интернированных товарищей.

Товарищей освободят — а как же Ленин? А почему же он не сидел?.. И с Кубой — чудесное понимание: вот эта комнатёнка старостваво все изводящие дни,— вот это и была его камера! Он — тоже сидел, конечно!

А между тем — опять промах: упустили другую опасность. Что можно было втолковать австрийскому канцлеру и слабоумным австрийским чиновникам — того не могли понять галицийские мужики, тупые, как все мужики в мире,—

в Европе ли, в Азии, в Алакаевке. Живёшь — сам себя со стороны не наблюдаешь, не понимаешь. А в глазах поронинских дремучих жителей: странные люди, не похожи на остальных дачников — каждый день почта мешками, пакеты, и пишут, и пишут, и немалые денежные переводы из России, и прихожие люди через кордон без паспортов, а тут война,— так вот и есть шпион!? То-то всё ходили по горам — так значит планы снимали? Тут всех и власти предупреждают: задерживайте подозрительных, делают снимки дорог, отравляют колодцы. Шпион?!.

Поразительно. Непостижимо! Шли из костёла крестьянки и, сами ли по себе или увидя Надю и для неё, расшумелись на всю улицу, что они *сами выколют ему глаза! сами вырежут ему язык!*.. Надя пришла домой бледная, вся тряслась. И испуг её — передавался, захватывал: а что? — и выколют, ничего удивительного. А что? — и вырежут, ничего невозможного! Очень просто: придут с вилами и ножами...— и к чертям вся партия! И — к чертям всемирная социалистическая революция!.. Т а к о й колоссальной опасности не подвергался Ленин никогда за всю жизнь. Никогда ещё ни от кого ему такое не... Да мало ли знает история вспышек простонародной безобразной ярости! От неё нет гарантии даже в цивилизованном государстве, даже в тюрьме безопаснее, чем от тёмной толпы...

Тревожно настраиваться при угрозах — это не паника, это мобилизация.

Так были затемнены и задёрганы последние надины дни и часы в Поронине — а Ленин туда уже и не возвращался. Два года такой безопасный, мирный, посёлок как насторожился к прыжку. Уже и из дому не выходили, плохо спали, плохо ели, нервно укладывались, и, конечно, Надежда наделала массу новых ошибок, не взяла, бросила секретнейшие бумаги, да не владела собой, вникнуть не могла, да и набралось там за два дачных сезона бумажного пудов шестьдесят.

Да как вообще можно медлить, оставаться рядом с русской границей?! Тут и казаки налетят — захватят в один момент.

Только сейчас, перед зелёненьким аккуратным поездом, на платформе, где при жандарме и станционных чиновниках уже никак не могло быть бесконтрольной расправы,— сваливалась тяжесть, наконец. Уже дали первый звонок, до отхода поезда оставалось 23 минуты. И все веселели. Стояло и утро весёлое, солнечное, без облаков. Не грузили военных грузов, не ехали мобилизованные, перрон и поезд выглядели как в обычное дачное летнее время. Но ехать поездом — требовалось разрешение полиции, оттого вагоны были полупустые. Надя и тёща сидели уже там, выглядывали из окна. А Владимир Ильич, взявши Якова Кубу под руку, снова и снова шли вдоль платформы, оба точно равного невысокого роста, оба широкие, только Ильич от кости, а Куба от жирка.

Яков держался очень самоуверенно, коммерсантская манера, изобретательно-шнуровая полоска усов, и глаза настойчивые, спокойно выкаченные, не могут не восхитить.

Когда видишь способность человека на такие дела, следует внимательней прислушиваться и к его словам, какими бы мечтательными они ни казались. Знал Якова давно, со II съезда, но по польским делам, а только этим летом он развернулся с новой стороны и стал самым важным человеком. Он вообще был золото: исключительно исполнителен — и обо всём серьёзном замкнут, слова не вытянет никто чужой. В июне и в июле в окрестностях Поронина они всё ходили с ним на прогулки по нагорью и обсуждали его увлекательные финансовые проекты, целый фейерверк. Может быть из-за своего буржуазного происхождения, Ганецкий имел к денежным делам поразительный нюх и хватку — редкое и выгоднейшее качество революционера. Он правильно ставил вопрос: деньги — это ноги и руки партии, без денег любая партия беспомощна, одно болтунство. Даже парламентская партия нуждается в больших деньгах — для избирательных кампаний, что же сказать тогда о партии революционной, подпольной, которой надо организовать укрытия, явки, транспорт, литературу, оружие и готовить бойцов, и содержать кадры, и в нужный момент совершить переворот?

Да что убеждать! Всем большевикам это было понятно от самого II съезда, от первых шагов самостоятельности: без денег — ни на шаг, деньги решают всё. Первый путь был — выжимать пожертвования из русских толстосумов, из Мамонтова, из «пряника» Коновалова, да Савва Морозов гнал по тысяче в месяц, как раз на содержание петербургского комитета, но другие отваливали нерегулярно, от купеческого расположения, от интеллигентского сочувствия (Гарин-Михайловский дал десять тысяч один раз),— а там снова ходи проси. Верней был путь — брать самим. Где — наследство вымотать, как у фабриканта Шмидта, членам партии жениться на наследницах, то в уральских горах обмануть банду Лбова — деньги взять у них, а оружия не привезти. То более систематически — развивать *военно-технические* средства: в Финляндии готовились печатать фальшивые деньги, уже Красин водяную бумагу доставал, и для *эксов* готовил бомбы. Эксы пошли исключительно удачно: но на V-м съезде чистоплюйством Плеханова и Мартова запретили их, да остановиться не было сил, и в Тифлисе Камо и Коба триумфально захватили ещё 340 тысяч из казны. Но — забылись, голова закружилась, стали хрустящие царские пятисотки менять в Берлине, в Париже, в Стокгольме, надо бы поумеренней, а царское министерство разослало номера, и Литвинов попался, и Равич попалась в Мюнхене, да неудачно записку послала из тюрьмы, перехватили. Стали искать среди женевских большевиков, взяли тринадцать, а Карпинского и Семашко упекли бы на срок, если б либералы из парламента не помогли. Но хуже всех, но гаже всех с фальшивой лицемерной подлой своей *принципиальностью* раскудахтался Каутский, какая низменная затея: устраивать «социалистический суд» над русскими большевиками и скудоумно велеть *сжигать* полутысячные всесильные банкноты! (Только при одном виде его портрета, святенького седенького старичка в вылупленных очках,— челюсть поводит брезгливостью, как взял лягушку в рот.) Вам хорошо, немецкие рабочие богатые, взносы большие, партия легальная, а — нам?? (Да не всё сожгли, конечно, не такие дураки.) И еще потом сглупили, сделали злобного старика денежным арбитром между большевиками и меньшевиками (не избежать было манёвра объединения, значит и деньги, вроде, объединять, а меньшевики-то голенькие; всего шмидтовского наследства скрыть было нельзя, часть дали Каутскому на арбитраж — так потом, при новом расколе, не хотел большевикам возвращать).

И вот этим летом Ганецкий захватил Ленина проектом: создать в Европе своё коммерческое предприятие или войти партнёром в уже действующий трест — и пакет прибыли ежемесячно гарантированно передавать партии. И это не было русской маниловщиной, каждый предлагаемый шаг поражал точным расчётом. Не Куба сам придумал, это шло из бегемотской гениальной головы Парвуса, от его письма были Кубе из Константинополя. Когда-то нищий, как все социал-демократы, и поехавши в Турцию стачки устраивать, он откровенно теперь писал, что богат, сколько ему надо (по доходившим слухам — сказочно), пришло время обогатиться и партии. Он хорошо писал: для того чтобы верней всего свергнуть капитализм, надо самим стать капиталистами. Социалисты должны прежде стать капиталистами! Социалисты смеялись. Роза, Клара и Либкнехт выразили Парвусу своё презрение. Но может быть поторопились. Против реальной денежной силы Парвуса насмешки вяли.

Отчасти за этими проектами Ганецкого и прохлопали начало войны.

Их же обсуждали и сейчас, в последние минуты. И как связь держать. Да увидятся скоро: вот Зиновьев поедет за Лениным вслед, а там и Ганецкий, как только отпишется от австрийской воинской повинности.

Тут дали второй звонок. Ильич вскочил на подножку шустро — без шляпы, почти совсем лысый, в поношенном костюме, с заострелым лицом, с неотпустившей его беспокойной оглядкой, отросшая бородка, неаккуратная,— и правда, чем-то похож на шпиона, хотел пошутить Ганецкий, но знал, что Ленин обижается на шутки, и удержался.

Он и сам, с нечальными осмотрительными глазами, с лицом коммерсанта, а в затёртом костюме, на кого ж и был похож, если не на шпиона?..

Строго стоял дежурный по станции в высокой красно-чёрной фуражке. Ударили в колокол три раза. Начальник поезда затрубил в рожок и побежал.

И помахивали отъезжающим. И помахивали те в открытое окно.

А всё-таки тут жили неплохо. Покойно, размеренно, не то что Париж суматошный. Сколько по Европе ни мытарился Ленин — а европейцем не стал. Условия жизни должны быть узкими, это лучшее состояние для действия.

И сколько прошло здесь волнений. Радостей.

Разочарований.

Малиновский...

Вместе с платформой, со станцией — оторвало оставшихся. И даже Ганецкий, какой он ни был достойный надёжный партийный товарищ, сейчас пока он отлично свое дело сделал,— а из следующего этапа жизни мог бы и выпасть. Но очень может быть, что на каком-то из следующих он снова окажется самым главным нужным человеком, и к нему архисрочно понесутся бессонные письма с двойным и тройным подчёркиванием.

Никогда никем не сформулированный, существовал непреложный закон революционной борьбы или, может быть, всякого человеческого развития, много раз наблюдал его Ленин: в каждый период выступают, приближаются один-два человека, наиболее единомыслящих именно в данную минуту, наиболее интересных, важных, полезных именно сейчас, вызывающих именно сегодня к наибольшей откровенности, беседам и совместным действиям. Но почти никто из них не способен удержаться в этой позиции, потому что ситуации меняются всякий день, и мы должны диалектически меняться вместе с ними — и даже мгновенно, и даже опережая их, и в этом политический гений! Естественно, что тот, и другой, и третий, попадая в вихрь Ленина, тотчас вовлекаются в его действия, выполняют их в указанный момент с указанной скоростью, всеми средствами, и жертвуя своим личным,— естественно, ибо это делается не для Владимира Ильича, но для властной силы, проявляемой через него, а он — только безошибочный её указатель, всегда точно знающий, что верно лишь сегодня, и даже к вечеру не всегда то, что утром. Но как только эти промежуточные люди упрямились, переставали понимать нужность и срочность своего долга, начинали указывать на противоречивость своих чувств или на особенности своей личной судьбы — так же естественно было отвести их с главной дороги, устранить, забыть, а то изругать и проклясть, если требовалось,— но и в этом устранении или проклятии Ленин действовал волей влекущей его силы.

В такой позиции близости-единомыслия затяжно держались енисейские ссыльные, но лишь потому, что территориально не было никого ближе. В такой позиции рисовался издали Плеханов, но каким холодным жестоким уроком отрубил он это в несколько встреч. В такой позиции, и даже в опасной недопустимой близости находился годами Мартов. Но сдал и он. (От Мартова горько вошло в опыт навсегда: в человечестве вообще не может быть такого типа отношений — «дружба», вне отношений политических, классовых и материальных.) Был близок Богданов, пока добывал для партии финансы, но это отпало, а он, не поняв крутизны, ещё претендовал направлять — и сорвался. Некоторые удерживались довольно постоянно, как Красин, всегда незаменимый в добывании денег. А тем временем в вихрь втягивались новые верные — Каменев, Зиновьев... Малиновский...

Держался и двигался рядом лишь тот, кто понимал партийное дело правильно, и лишь — пока понимал. А миновалась частная срочная задача, и обычно миновалось понимание, и все эти недавние сотрудники оставались безнадёжно вроппенными в тупую неподвижную землю, как придорожные столбики, и отставали, и отрывались, и забывались, а иногда на новом повороте неслись навстречу остро, как уже враги. А были единомышленники, близкие на неделю, на день, на час, на один разговор, одно сообщение, одно поручение,— и Ленин искренне отдавал им всю горячность, натиск необходимого дела,— каждому из них как самому важному человеку в мире,— а через час они уже и отваливались, и забывалось начисто, кто они и зачем. Так показался близким Валентинов, когда приехал первый раз из России, хотя сразу смутил своей тупостью, что какая-то им сделанная слесарная деталь ему, рабочему, даже важней политической борьбы. И это быстро сказалось: не хватило у него стойкости против Мартова, а значит стал всё равно как и меньшевик.

Поезд катил под уклон, сильно огибая горки,— а по ним тропинки и дороги колёсные бежали по склонам и вверх, мимо хуторов, стогов и неубранного, и, пока ещё видна горная дорожка, по ней успеваешь глазами взбежать, как ногами. Много было похожено вокруг Поронина, а здесь не был.

И — сел на скамью. Думать ли, заниматься — но не размазывать сантиментов. И семейные, по взгляду, по движению всё поняв, не лезли с мелким бытовым, и не возились лишнего, смирно сидели на своей скамье.

Все эти изнурительные годы, с Девятьсот Восьмого, после поражения революции, все и были: отход и отброс людей. Ушли впередисты, отзовисты, ультиматисты, махисты, богостроители... Луначарский, Базаров, Алексинский, Бриллиант, Рожков, Лядов, Лозовский, Мануильский, Горький... Вся старая гвардия, сколоченная в расколе с меньшевиками. И так уже казалось минутами, что никого не останется, что вся партия большевиков — он один с двумя женщинами да десяток третьестепенных стёртых, кто ещё приходил на большевистские собрания в Париже, а вылезешь на собрании общем — своих нет и с трибуны столкнут. Уходили — все подряд, и какая сила уверенности нужна была — не усумниться, не закачаться, не побежать за ними мириться, но, провидя будущее, стоять и знать: сами возвратятся, сами очнутся, а кто не вернётся — и пропади.

Шестой и Седьмой годы — ещё было совсем не поражение, ещё всё общество кипело, вертелось, втягивалось в воронку, Ленин сидел в Куоккале и ждал, и ждал второй волны. Но вот с Восьмого, когда всю страну захватила реакционная свора, а подполье как будто отсыхало, рабочая жизнь уходила в открытое копошенье, в профсоюзы, в страховые кассы, а вслед за подпольем как будто отживала, становилась тепличной и эмиграция... Т а м — Дума, легальная печать,— и каждый эмигрант старался печататься там...

Вот почему — замечательно, что началась война! Это радость, что началась!! Т а м их сейчас всех зажмут, ликвидаторов, значение легальности резко упадёт, а значение и сила эмиграции, напротив, увеличатся! Центр тяжести русской общественной жизни снова переносится в эмиграцию!!

Это всё Ленин оценил в первые нервные дни сиденья в Новом Тарге, не давая личной неудаче заслонить великую всеобщую удачу. Он принял в себя и втянул в проработку — всеевропейскую войну. А из всякой проработки в ленинском мозгу рождались готовые лозунги — в создании лозунга для момента и был конечный смысл всякого обдумывания. И ещё — в переводе своих доводов на общеупотребительный марксистский язык: на другом не могли его понять сторонники и последователи.

И что отсюда выносилось — первому открыл Ганецкому: надо понять, что раз война началась, то не отмахиваться от неё, но — использовать! Надо переступить через поповское представление, иногда зароненное и в пролетарские головы, что война — несчастье или грех. Лозунг «мир во что бы то ни стало» — поповский лозунг! Какую линию в создавшейся обстановке должны повести революционные демократы всего мира? Прежде всего: необходимо опровергнуть басню, что в поджоге войны виноваты Центральные державы! Антанта будет сейчас прикрываться, что «на нас, невинных, напали». Они даже придумывают, что «для дела демократии» нужно защищать республику рантье. Смять, раздавить это оправдание! Какая разница — кто на кого первый напал? Следует пропагандировать, что виноваты *все правительства* в равной мере. (И даже: немецкие — меньше других.) Важно — не «кто виноват?», а — как нам выгоднее использовать эту войну. «Все виноваты» — без этого невозможно вести работу на подрыв царского правительства.

Да это счастливая война! — она принесёт великую пользу международному социализму: одним толчком очистит рабочее движение от навоза мирной эпохи! Вместо прежнего разделения социалистов на оппортунистов и революционеров, деления неясного, оставляющего лазейки врагам, она переводит международный раскол в полную ясность: на патриотов и антипатриотов. Мы — антипатриоты!

И — кончилась эта лавочка Интернационала с «объединением» большевиков и меньшевиков! и уже никакого венского конгресса не будет. Уж теперь не заикнутся. Теперь зазияла трещина так трещина, уже не помиришь! А в июле как прихватили, прямо клещами за горло: не видим разногласий, достаточных для раскола! присылайте делегацию — мириться! С меньшевистской сволочью мириться! А теперь за военные кредиты проголосовали — так уже вам не подняться, мёртвое тело! Ещё долго будете корчить из себя живых, но надо вслух объявить: мертвы! На этой инессиной поездке к вам в Брюссель — последняя наша с вами встреча, хватит!

Тут спохватилась тёща, что один чемодан забыли! Бросились переглядывать, пересчитывать, под лавками и на верхних сетчатых полках,— нет! Что за позор! Как с пожара. А ещё — какие бумаги забыли, какие бумаги, даже списки адре-

сов! Владимир Ильич расстроился. Без порядка в семье и в доме — невозможно работать. Смешно выразиться, но и домашний порядок есть часть общепартийного дела. Не смея выговаривать Елизавете Васильевне — она ответить умела, и они друг друга уважали, даже мелкими подарками задабривал её,— строго высказал Наде. Какой уж от неё порядок, если она пуговицы пришить хорошо не может, пятна вывести, он сам — лучше. Носового платка ему, не скажешь — не сменит.

Ошибок он вообще не прощал. Ничьей ошибки он не мог забыть никогда, до смерти.

Отвернулся в окно.

Изгибался поезд и скатывался постепенно с гор. То серым, то белым паровозным дымом проносило иногда мимо окошек. Надоели уже и горы эти за эмиграцию.

А в Надю всё уходило, как в подушку: ну, забыли, ну, не возвращаться в такой обстановке. Из Кракова напишем, перешлют чемодан почтой.

Надя прочно знала, много раз уже применяла: если брать на себя, не упрекать, что и он виноват,— Володя успокоится и отойдёт. Больней всего ему, если окажется, что он — тоже виноват.

Постаревший, насупленный, с наросшей неподстриженной усо-бородой, с обострёнными рыжими бровями, темнолобый, он смотрел в окно, но косо, ничего там не различая. Все выраженья на его лице Надя хорошо знала. Сейчас не только нельзя было перечить, но и вообще: ни обратиться к нему ни с чем, ни отвлечь его ни словом, даже сказанным с матерью. Надо было дать ему вот так посидеть, углубиться в себя, от всех страданий очиститься молчанием — и от новотаргского бешенства, и от поронинских угроз, и от чемодана. В такие часы уходил ли он один гулять или молча сидел и думал — от думотни, в полчаса, и в полчаса, лоб его — перевёрнутый котёл, и окруженье глаз переглаживались от мелких сердитых складок — к большим и крупным.

Международный раскол социалистов давно назрел, но только война проявила его и сделала необратимым. И — архивеликолепно! Хотя от массовой измены социалистов как будто ослабляется пролетарский фронт, а нет: и *хорошо*, что они изменили! Тем легче теперь настаивать на своей отдельной линии.

А что было говорить месяц назад? как выкручиваться? Догадка: послать в Брюссель — Инессу вместо себя! Вы ждали меня самого, так просто? — утритесь, господа Каутский, Плеханов и Вандервельде! Главой делегации — Инессу! С её прекрасным французским языком! С её несравненной манерой держаться! — холодно, спокойно, немного презрительно. (Французы в президиуме будут сразу покорены. А немцы будут плохо тебя понимать — и очень хорошо! А ты от немцев требуй после каждой речи — перевод!) Вот это ход! Вот растеряются, ультрасоциалистические ослы!.. И — захват: скорей! писать! узнать: поедет ли? может ли? На Адриатике отдыхает с детьми? — чепуха, для детей кого-то найти, расходы оплатим из партийной кассы. Занята статьёй о свободной любви? — не говоря обидного (стопроцентной партийкой женщина никогда не может быть, обязательно какие-нибудь штучки): эта рукопись подождёт. Я уверен, что ты — из тех людей, которые сильней, смелей, когда одни на ответственном... Вздор, вздор, пессимистам не верю!.. Превосходно ты сладишь!.. Я уверен, ты сможешь быть достаточно нахальна!.. Все будут злиться (я очень рад!), что я отсутствую, и, вероятно, захотят отомстить тебе, но я уверен: ты покажешь свои ноготки наилучшим образом!.. А назовём тебя... Петрова. Зачем открывать твоё имя ликвидаторам? («Петров» — и я, никто не помнит, но ты-то помнишь. И так, через псевдонимы, мы выйдем на люди слитно — открыто и не открыто. Ты действительно будешь — я.) Дорогой друг! Я бы просил тебя согласиться! Ты едешь?.. Ты едешь!.. Ты едешь!! Да, конечно, надо спеться детальнее. И архиспешить. Ликвидаторам надо просто врать: обещай, что *может быть* мы потом примем общую резолюцию. (А на деле мы конечно никогда ничего не примем! *ни одного* их предложения!) И: о болезни детей, ври о болезни детей, что из-за них не можешь задерживаться. Европейских социалистов, эту сволочь обывательскую, надо убедить, что большевики — наиболее реальная партия из русских. Подпусти им там профсоюзов, страховых касс — на них это архивлияет. Задающих вопросы — сразу отсекай, отклоняй, отбивай! Всё время — наступательная позиция! Розу — тяни за язык, докажи, что у неё в Польше нет реальной партии, а реальна — оппозиция Ганецкого. Ты всё поняла! Ты едешь!.. Крепко жму руку! Very truly... Твой...

Тут подпортил Ганецкий — поставил ультиматум (вообще-то справедливый): 250 крон на поездку в Брюссель, иначе не едет. А партийную кассу надо беречь. (Да один ли Ганецкий! — есть много людей, кого можно бы утилизировать, но нельзя разбрасывать денег...) А без Ганецкого паршивая польская оппозиция изменила, пошла на гнилое идиотское примиренчество с Розой и Плехановым.

...Всё равно, ты провела дело лучше, чем мог бы я. Помимо того, что языка не знаю, я ещё непременно бы взорвался! не стерпел бы комедиантства! обозвал бы их подлецами! А у тебя вышло спокойно, твёрдо, ты отпарировала все выходки. Ты оказала большую услугу партии! Посылаю тебе 150 франков. (Вероятно, слишком мало? Дай знать, насколько больше израсходовала. Вышлю.) Пиши: очень ли устала? очень ли зла? Почему тебе «крайне неприятно» писать об этой конференции?.. Или ты заболела? Что у тебя за болезнь? Отвечай, иначе я не могу быть спокойным.

Инесса — единственный человек, чьё настроение передаётся, потягивает, даже издали. Даже — издали больше.

А вот что: с военной цензурой теперь покинуть надо это «ты». Можно дать повод для шантажа. Социалист должен быть предусмотрителен.

Нарушилась переписка с начала войны, придут теперь письма в Поронино. Но, по всему, отправив детей в Россию, должна Инесса вернуться в Швейцарию. Может быть — там уже.

Женщины тихо разговаривали, как обойтись в Кракове. Надя предложила, чтобы мама с Володей посидели с вещами, а она — к той хозяйке, у которой останавливалась Инесса: удобно было бы там и стать сегодня.

Сказала — а сама смотрела как бы мимо володиной щеки в окно. Он не изменился, не повернулся, не отозвался, а всё-таки, по движениям жилок и век, Надя убедилась, что — слышал, и — одобряет.

Удобно, быстро, не искать — да. Но и необходимости останавливаться именно в инессиной комнате — не было. Только то ещё, что Володя не любил привыкать к новому, да на короткий срок. Только то и было оправданием перед матерью.

Перед матерью — было всегда унизительно. Прежде — больше, теперь — меньше. Но и теперь.

Однако Надя воспитывала в себе последовательность: не отклонять с пути Володю ни на волосок — так ни на волосок. Всегда облегчать его жизнь — и никогда не стеснять. Всегда присутствовать — и в каждую минуту как нет её, если не нужно.

Однажды выбрав, надо держаться. Запрягшись — уже тянуть. О сопернице — не разрешить себе дурного слова, когда и есть, что сказать. Встречать её радостно, как подругу,— чтобы не повредить ни настроению Володи, ни его положению среди товарищей. На прогулки брести и усаживаться читать — втроём...

Когда это всё началось, даже раньше, когда студентка Сорбонны с красным пером на шляпе (как никогда не осмелилась бы ни одна русская революционерка), хотя и с двумя мужьями и пятью детьми за спиной, Инесса первый раз вошла в их парижскую квартиру, а Володя только ещё привстал от стола,— как от удара ветра открылось Наде всё, что будет, всё, как будет. И своя беспомощность помешать. И свой долг не мешать.

Надя первая сама и предложила: устраниться. Не могла она взять на себя быть препятствием в жизни такому человеку, довольно было препятствий у него всех других. И не один раз она порывалась — расстаться. Но Володя, обдумав, сказал: «Оставайся». Решил. И — навсегда.

Значит — нужна. Да и правда, лучше её никто бы с ним не жил. Смириться помогало сознание, что на такого человека и не может женщина претендовать одна. Уже то призвание, что она полезна ему среди других. Рядом с другой. И даже — во многом ближе её.

А оставшись — осталась никогда не мешать. Не выказывать боли. Даже приучиться не ощущать её. А чтоб эта боль выжглась и отмерла — последова-

тельно не щадить её, колоть, жечь. И вот если практически удобно было остановиться в недавней инессиной комнате, то в ней и надо было остановиться, и не перетравливать, когда, сколько, как Володя пробыл в ней.

Только вот на глазах матери...

Скоро и Краков. Володя светлел. Значит, мысли его хорошо продвинулись.

Нет, замечательно ты съездила в Брюссель, не жалей. Единственное жаль — не успела затеять переписки с Каутским, как я тебе... (Ты бы переписывалась от своего имени, а письма тебе приватно готовил бы я.) Какая он подлая личность! Ненавижу и презираю его — хуже всех! Какое поганенькое дряненькое лицемерие!.. Жаль, жаль, не начали эту игру, мы б его разыграли!

Повеселел, даже посвистел Володя чуть-чуть. И, чемодана больше не вспоминая: поедим? И — перочинный нож вынул, всегда с собой.

Простелили салфетку, достали цыплёнка, крутых яиц, бутылку с молоком, галицийского хлеба, масло в пергаментной бумаге, соль в коробочке.

И Володя даже расшутился, что тёща у него — капиталист и пятнает его революционную биографию.

А действительно, надо было денежные дела решать, и проворно. В краковском банке лежали большие деньги — кто ж мог ждать эту войну! — на имя Елизаветы Васильевны, больше 4 000 рублей. И теперь должны были секвестровать как имущество враждебных иностранцев, вот маху дали! Надо было вырвать деньги во что бы то ни стало, найти нужного ловкого человека. И перевести их в надёжное — в золото, можно часть в швейцарские франки. И увозить с собой.

И сразу — в Вену, не задерживаясь. И кончать с визами и поручительствами в Швейцарию, надо скорей туда, Австро-Венгрия — воюющая страна, мало ли что случится.

В чём всё-таки этот оппортунистический Интернационал себя оправдывал — никогда не отказывал в личной помощи. И в каждой стране у них — чуть не свои министры. Сейчас вот, настаивал Куба, надо нанести визиты Адлеру и Диаманду (хотя уже телеграфировал сердечную благодарность), и ещё лично благодарить за освобождение и ни в коем случае не дерзить. Улыбался Володя криво, в крошках желтка и белка: да, вот такой деликатный поворот: трухлявые ревизионисты, сволочь обывательская, а надо ехать любезничать. И в конце концов это справедливо: не способны на принципиальную линию, так пусть хоть в жизни помогают. Конкретная реальная платформа для временного тактического соглашения с ними. И дальше, в Швейцарии, не обойтись без этой своры: без поручительства не впустят, а кто ж другой поручится? Роберт Гримм — мальчишка, в прошлом году познакомились в Берне, когда ты в больнице лежала.

Не царапали Ленина насмешки, не гнули унижения, ничего он не стыдился — а всё-таки тяжело в сорок четыре года кланяться молодым, ото всех зависеть, не иметь собственной силы.

Не уехали б в 908-м из Женевы в Париж — не надо б сейчас и в Швейцарию добиваться, уж как бы там сидели прочно и безопасно — и со своей типографией, и со связями, и со всем. Скажи, кой чёрт нас тогда потянул в Париж?

(Не поехали бы в Париж — не узнал бы Инессы.)

Да даже в прошлом году, когда лечили твою базедку у Кохера и узнали, что такое настоящая медицина (Володя и сам тогда книги по базедовой читал, проверял),— вот бы нам сообразить и остаться сразу в Берне. А что? Если нужно пережить царизм, а возраст — уже не двадцать пять, то здоровье революционера становится тоже его оружием. И партийным имуществом. И надо поддерживать его всеми партийными финансами, не жалея. Надо жить при отличных врачах, и даже ближе к первоклассным знаменитостям,— где ж, как не в Швейцарии? Не у Семашко же лечиться, смешно!.. Наши революционные товарищи как врачи — ослы, неужели им доверить своё тело ковырять?

А ты — и сейчас не выздоровела. Надо тебе ближе к Кохеру.

Но, Володя, но в Швейцарии ужасен мещанский дух, ты вспомни, как нам там было затхло! Ты вспомни, как от нас шарахались после тифлисского экса! — у них, видите ли, *право* стоит так непорочно, они не могут потерпеть преступлений против собственности!.. И это — социал-демократы?!

Всё правильно, но в Швейцарии вот так не попадёшь, как мы в Поронине попали. А Семашко и Карпинского мы освободили шутя.

И какие библиотеки там, как заниматься хорошо! — и прежде, а сейчас-то, во время войны! Исключительная культивированность и удобства жизни.

Чистая вымытая страна, приятные горы, приветливые пансионы, прозрачные озёра с плавающей птицей.

Отстойник русской революции.

И при нейтральности страны только оттуда и можно будет держать международные связи.

Обдумывать, обдумывать: что же за радость — невиданная всеевропейская война! Такой войны и ждали, да не дожили Маркс и Энгельс. Такая война — наилучший путь к мировой революции! То, что не разожглось, не раздулось в Пятом году,— само теперь раздуется! Благоприятнейший момент!

Раскручивалось и предчувствие: вот оно, то событие, для которого ты жил, чтоб его разгадать! Двадцать семь лет политического самообразования, книги, брошюры, партийная перебранка, холодное неудачное наблюдение первой революции, для всех в Интернационале — нарушитель порядка, зарвавшийся сектант, слабая маленькая тающая группка, называемая партией,— а ты ждал, сам не зная, вот э т о г о момента, и момент пришёл! Крутится тяжёлое разгонистое колесо — как красное колесо паровоза,— и надо не потерять его могучего кручения. Ещё ни разу не стоявший перед толпой, ещё ни разу не показавший рукой движения массам,— какими ремнями от этого колеса, от своего крутящегося сердца, их всех завертеть, но — не как увлекает их сейчас, а — в обратную сторону?

Краков.

Одевались, собирались.

В рассеянности собирался, не вполне понимая, что вот — Краков, и что́ делать надо.

Понесли вещи сами, без носильщика.

Оглушенье от многолюдья, отвыкли, а тут ещё — особенное, военное. Людей на перроне — впятеро больше, чем может быть в будни, и впятеро озабоченнее, и спешат. Монахини, которым бы тут делать нечего,— толкаются, всем суют образки и печатные молитвы. Ленин отдёрнул руку как от гадости. У пассажирской платформы, не на месте — товарный вагон, и в него несут, несут какие-то большие ящики; написано: порошок от блох. Толкаются военные, штатские, железнодорожники, пассажиры. Через густоту перрона — медленно, трудно, чуть не локтями. А по стене вокзала — крупный плакат, жёлтая ткань и красными буквами:

Jedem Russ — ein Schuss! *

Совсем это не к ним относилось, а нельзя вовсе не вздрогнуть.

В зданьи вокзала — набито и душно. Нашли местечко — в тени, на возвышеньи, у боковой стены, углом на площадь. Тут ещё больше густела толпа и много женщин. Посадили тёщу на скамейку, вокруг неё все вещи. Надя поехала к инессиной хозяйке. Владимир Ильич побежал купить газет и шёл назад, читая их по дороге, обталкиваясь со встречными, тут присел на твёрдый чемодан, зажимая газетный ворох между локтями и коленями.

В газетах не было особенно радостно: и о галицийской битве и о Восточной Пруссии писалось уклончиво, значит русские были не без успеха. Но — бои во Франции! но — война в Сербии! — кто это мог мечтать из прежнего поколения социалистов?

А — растеряются. Выше «мира! мира!» не поднимутся. Кто не «защитники отечества», те в лучшем случае будут вякать и тявкать «прекратить войну!».

Как будто это возможно. Как будто кому-то посильно — схватиться руками за разогнанное паровозное колесо.

Помойные слюнявые социалистики с мелкобуржуазной червоточинкой, чтобы захватить массы, станут болтать *за мир* и даже *против аннексий*. И всем покажется, что это натурально: против войны — так значит «за мир»?.. По ним-то первым и придётся ударить.

* В каждого русского — стреляй!

Кто из них имеет зрение увидеть, имеет волю переступить в это великое решение: *не останавливать* войну — но *разгонять* её! но — переносить её! — *в свою собственную страну!*

Не будем прямо говорить «мы за войну» — но мы з а неё.

Тупоумный предательский лозунг «мира»! Для чего же пустышка никому не нужного «мира», если не превращать его тотчас в г р а ж д а н с к у ю в о й н у и притом б е с п о щ а д н у ю?! Да как *предателя* надо клеймить всякого, кто н е выступит за гражданскую войну!

Самое главное — трезво схватить расстановку сил, трезво понять — *кто теперь кому союзник?* Не с поповской глупостью вздымать рукава между фронтов. Но увидеть в Германии с самого начала — не равно-империалистическую страну, а — могучего союзника. Чтобы делать революцию, нужны ружья, нужны полки́, нужны деньги, и надо искать, к т о заинтересован дать их нам? И надо искать пути переговоров, тайно удостовериться: если в России возникнут трудности и она станет просить о мире — есть ли гарантия, что Германия не пойдёт на переговоры, не покинет русских революционеров на произвол судьбы?

Германия! Что за сила! Какое оружие! И какая решительность — решительность удара через Бельгию! Не опасаются, кто и как заскулит. Только так и бить, если начал бить! И решительность комендантских приказов — вот уж, не пахнет русской размазнёй. (И даже та решительность, с какой хватают русских социал-демократов. Тем более — с которой освобождают их.)

Германия — безусловно выиграет эту войну. Итак — она лучший и естественный союзник против царя.

А-а, попался хищный стервятник с герба! — схвачена лапа, не выдернешь! Сам ты выбрал эту войну! Об-корнать теперь тебя — до Киева! до Харькова! до Риги! Вышибить дух великодержавный, чтоб ты подох! Только и способен давить других, ни на что больше! Ампутировать Россию кругом. Польше, Финляндии — отделение! Прибалтийскому краю — отделение! Украине — отделение! Кавказу — отделение! Чтоб ты подох!..

Площадь загудела, нахлынула сюда, к перронной решётке, дальше не пускала полиция. Что это? Подошёл поезд. Поезд раненых. Может быть, первый поезд, из первой крупной битвы. Толпу раздвигали — для вереницы ожидающих санитарных карет и автомобилей, чтобы где развернуться им. Здоровенные нахмуренные санитары быстро выдавали от поезда к каретам носилки за носилками. А женщины напирали, продирались со всех сторон, и между головами и через плечи смотрели с жадным страхом на кусочки серых лиц между бинтами и простынями, ужасаясь угадать своего. Иногда раздавались вопли — узнавания или ошибки, и толпа сильней сжималась и пульсировала как одно.

С возвышения, где сидели Ульяновы, было видно хоть издали, но хорошо. И ещё из этого положения Ленин встал и пошёл к парапету ближе.

С каретами и носилками была нехватка, а тем временем, поддерживаемые сёстрами милосердия, выходили с перрона и на своих ногах — фигуры белые, в серых халатах и в синих шинелях, перебинтованные толсто по головам, по шеям, по плечам и рукам, и двигались, кто осторожнее, кто смелей,— и вот уже к ним, теперь к ним уже! бросались встречающие, теснилась толпа, и тоже кричали, режуще и радостно, и обнимали, и целовали, то ли своих, то ли чужих, отбирали от сестёр, подносили их мешочки,— а ещё выше, над всеми головами, плыли к раненым из вокзального ресторана на поднятых мужских руках — кружки пива под белыми шапками и в белых тарелках жаркое.

У парапета стоял освежённый, возбуждённый, в чёрном котелке, с неподстриженной рыжей бородкой, с бровями, изломанными в наблюдении, с острыми щупкими глазами, и одна рука тоже выставлялась с пальцами, скрюченными вверх, как поддерживая большую кружку, а на горле его глоталось и дрожало, будто иссох он в окопах без этой кружки. Глаза его смотрели колко, то чуть сжимаясь, то разжимаясь, выхватывая из этой сцены всё, что имело развитие.

Просветлялась в динамичном уме радостная догадка — из самых сильных, стремительных и безошибочных решений за всю жизнь! Воспаряется типографский запах от газетных страниц, воспаряется кровяной и лекарственный запах от площади — и как с орлиного полёта вдруг углеживаешь эту маленькую единственную золотистую ящерку истины, и заколачивается сердце, и орлино руха-

ешься за ней, выхватываешь её за дрожащий хвост у последней каменной щели — и назад, и назад, назад и вверх разворачиваешь её как ленту, как полотнище с лозунгом: ...ПРЕВРАТИТЬ В ГРАЖДАНСКУЮ!..— и на этой войне, и на этой войне — погибнут все правительства Европы!!!

Он стоял у парапета, возвышенный над площадью, с поднятою рукою — как уже место для речи заняв, да не решаясь её начать.

Ежедневно, ежечасно, в каждом месте — гневно, бескомпромиссно *протестовать* против этой войны! Но! —

(имманентная диалектика:) желать ей — продолжаться! помогать ей — не прекращаться! затягиваться и *превращаться*! Т а к у ю войну — не сротозейничать, не пропустить!

Это — подарок истории, такая война!

23

(Обзор по 13 августа)

На что не простягало воронье смельство генерала Жилинского — охватывать в Пруссии больше, чем угол Мазурских озёр,— то, глянув на карту, мог бы понять германский гимназист: уязвимость русскому удару целиком всего восточно-прусского рукавчика, выставленного к востоку и под мышкой подхваченного Царством Польским. Сам собою предвиделся русский замысел: Пруссию будут ампутировать. С востока, от Немана, куда германская армия всё равно не решилась бы наступать, удлинять свою уязвимую руку,— русские выставят слабый заслон, отвлекающие силы. А главные подожмут под мышку, от Нарева, и ударят на север.

Если б это была не своя земля, далеко от Германии, при таком невыгодном расположении её можно было бы уступить пока. Но — корень Тевтонского ордена и колыбель прусских королей — она должна была быть удержана при любых невыгодностях.

Во время ежегодных военных игр будущая ситуация уже не раз проверялась германским командованием, и был отработан энергичный контрманёвр: по множеству шоссейных и железных дорог, для того благовременно сгущённых, в двое-трое суток ускользнуть из мешка и успеть сильно ударить по флангу главной вражеской группировки, ошеломив её, смяв, а иногда и окружив.

Правда, после японской войны уже не опасались так, и в инструкциях стояло: «Не следует ожидать от русского командования ни быстрого использования благоприятной обстановки, ни быстрого точного выполнения манёвра. Передвижения русских войск крайне медленны, велики препятствия при издании, передаче и выполнении приказов. На русском фронте можно разрешить себе манёвры, каких нельзя с другим противником».

Но даже и при такой оценке русские действия в августе 1914 изумили! С востока двинулся никак не отвлекающий заслон — до восьми пехотных дивизий и пять кавалерийских, средь них — гвардейские, цвет Петербурга. А с юга в эти самые дни русские вообще границы не перешли.

Коварная загадка! Почему русские армии действовали разновременно? почему южная не спешила опередить восточную в темпе и нанести охватывающий удар? Надо ли было истолковать это как стратегическую новинку русских: вместо модных теорий охвата — простое выталкивание, вышибание, что очевидно выражает собой бесхитростный русский национальный характер (das russische Gemüt)?

Ну что ж, ударить пока по неманской армии Ренненкампфа! И как можно быстрей, затяжные действия могут оказаться губительными. Командующий прусской армией генерал Притвиц бросил почти все свои силы в восточную оконечность Пруссии. И была бы верная победа: Ренненкампф, при всей своей бездействующей кавалерии, настолько не ведал о сближении с противником, что на день наступившего боя, 7 августа, назначил всей армии *дневку*, и кавалерия его не дралась, а каждая пехотная дивизия — сама по себе. И всё же в тот день наказаны были германцы за пренебрежение к врагу: инструкция их, перечисляя пороки русского командования, упустила напомнить стойкость русской пехоты и отличный стрелковый огонь,— японская война не впустую была проиграна. Армия Притвица под Гумбиненом, несмотря на двойное превосходство в артиллерии, была рассечена, а бой потерян.

В вечер того тяжёлого дня доложили Притвицу, что авиаторами замечены и с юга большие колонны русских. Даже бы и выиграв бой под Гумбиненом, теперь требовалось мгновенно откатиться, оторваться от Ренненкампфа. Проиграв же Гумбинен, склонялся Притвиц и вовсе уйти за Вислу, уступить Восточную Пруссию.

Но отрыв прошёл очень гладко, германцы маневрировали так, будто восточной русской

армии вообще не было: тем же вечером отошли в тыл, за ночь разрыв уже равнялся дневному переходу, затем без глаза русской авиации погружались и уезжали в другой конец Пруссии. Для наблюдения за армией Ренненкампфа оставили всего одну кавалерийскую дивизию и слабую ландверную пехоту. Весь следующий за боем день 8-го августа, и 9-го, и даже утром 10-го Ренненкампф — вторая поразительная русская загадка! — не стремился догонять, топтать и уничтожать противника, захватывать пространство, дороги и города,— но с т о я л, давая создаться разрыву в 60 километров, после чего двинулся с величайшей осторожностью.

Удачно уведя от Ренненкампфа за сутки три своих корпуса, Притвиц решил не уходить за Вислу, а перегруппироваться назад направо и ударить по левому флангу подходящей с юга самсоновской армии. Ибо — третья русская загадка! — южная русская армия, ежедневно подробно наблюдаемая с воздуха, не старалась ни расщупать противостоящий ей корпус Шольца, загородивший Пруссию как бы косо поставленным щитом, ни охватить его, ни даже ударить в лоб,— а уверенно двигалась наискосок в пустое пространство м и м о Шольца, подставляя ему свой бок.

Однако самим же Притвицем накануне посланное наверх предположение и волна тревоги в Берлине от беженских потоков из Пруссии раскачивали своё. 9 августа в германской Ставке решили: Притвица сместить. Новым начальником штаба прусской армии был назначен свеже прославленный в Бельгии 49-летний Людендорф: «Быть может, вы ещё спасёте наше положение, предотвратите самое худшее». Вечером 9-го он уже принят Вильгельмом, получил орден за взятие Льежа, в ночь на 10-е в экстренном поезде из Кобленца на восток уже сошёлся с новым командующим армией Гинденбургом, 67-летним ворчливым отставным генералом, на манёврах бывало критиковавшим распоряжения императора Вильгельма, а теперь взятым из отставки. Но из поезда вперёд посланный их приказ перегруппировывает армию так, как без них делает уже и Притвиц. (Единая техника военной мысли, поголовно воспитанная в немецких военачальниках по завету Мольтке-старшего: гениальный полководец есть случайность, участь народа не может зависеть от такой случайности; посредством же военной науки победоносная стратегия должна осуществляться и средними людьми.)

Хотя миру извне вырисовывалось поражение немцев в Пруссии, но в Париже, под неотвратимым прорывом немецкой мощи с севера, французское министерство иностранных дел, поддаваясь то ли собственной панической выдумке, то ли чьей-то мистификации, 11-го августа дало истерическую телеграмму своему послу в Петербурге, что «по сведениям из самого верного источника» немцы сняли два действующих корпуса из Пруссии во Францию — а потому снова настаивать на неотложном наступлении русских на Берлин. На самом же деле германская Ставка 11-го августа действительно сняла два действующих корпуса — резервный гвардейский и 11-й армейский — но именно с Марнской битвы, с заходящего на Париж правого крыла,— и в Пруссию. Это тяжёлое решение генерал граф Мольтке-младший принял после известия о вчерашнем поражении под Орлау. К поражению под Гумбиненом это был уже нестерпимый довесок, Германия не могла отдавать Пруссию ни даже на время. А по великому плану Шлиффена именно в правом крыле и была вся сила битвы за Париж, чтобы разделаться с французами за первые 40 дней войны. (После «чуда на Марне» уволен и Мольтке.) Так затерявшимся в истории боем никем не прославленного корпусного генерала Мартоса был сорван захват Парижа немцами — а тем самым и вся война.

Тем временем русские закинули немцам и четвёртую загадку: незашифрованные радиограммы! То и дело подносили приехавшему Людендорфу и даже в пути нагоняли его автомобиль другим автомобилем и передавали — перехваченные русские радиограммы: между штабом Второй армии и штабами корпусов, и от Первой армии тоже десяток радиограмм за 11 августа, с указанием точного расположения русских корпусов, их задач и намерений и степени их тёмного незнания о противнике, а утром 12-го и полную радиограмму обо всей дислокации Второй армии! И уже ясно стало, что Первая не помешает бить Вторую.

Да не для обмана ли всё это выставлялось? Нет, стекались в одно и донесения авиаторов, оставленных лазутчиков, добровольных военных обществ, телефонные звонки жителей. Во всей военной истории — бывала ли такая открытая карта? такая ясность о противнике? Сложная война по озёрной стране, загороженной лесами двадцатиметровых сосен, стала для германцев проста, как занятия на учебном полигоне.

И все четыре загадки разгадывались едино: русские не умеют согласовывать движения больших масс. А потому: можно рискнуть охват фланга заменить *о к р у ж е н и е м*! Карта стонала, карта просила, карта сама показывала, как можно прочертить Канны XX века.

Был соблазн охватить всю самсоновскую армию, да слишком она разбросалась, не могло достать германских сил. Решено было поэтому лишь оттолкнуть крайние корпуса от Уздау и от Бишофсбурга и так открыть проходы для вставки клешней. Для того уже пятый день перестраивались германские войска. Корпус генерала Франсуа поездами перебрасывался через всю Пруссию по диагонали. А корпуса Макензена и фон-Бёлова (о которых донёс Ренненкампф, что они разгромлены и остатки их укрылись в Кёнигсберге) нормальными переходами покрыли 80 километров, спокойной днёвкой привели себя в порядок и утром 13-го августа ошеломили беспечно выдвинутую комаровскую дивизию.

Это был тот день 13-го августа, когда Самсонов перевозил наконец свой штаб в Найденбург и пились там тосты за взятие Берлина под остриём уже прорезанной стрелки-клешни и под близкий грохот семикратно превосходной немецкой артиллерии под Мюленом против дивизии Мингина. Тот день, когда корпус Мартоса, гонимый мимо Шольца, но всё более цепляясь за него, всё более поворачивался на него и отважно и с большим успехом его теснил. Тот самый день, когда корпус Клюева, ни о каком противнике не зная-не ведая, гнал по пескам на пустой север — в ловушку, в волчью яму, невозвратные вёрсты гнал, за каждую из которых придётся платить батальонами. Тот самый день 13 августа, когда русская Ставка уже разрабатывала план, как забирать Ренненкампфа из завоёванной Восточной Пруссии, а Жилинский давал Ренненкампфу телеграмму: считать главной целью обложение крепости Кёнигсберг (где укрылись ландштурмисты-старички) и прижатие немцев (где не было их) к морю, чтобы не допустить до Вислы (куда они не шли).

И всё же прусскому командованию не показался этот день успешным. Уже то было неудачно, что за сутки не перехватилось ни одной новой открытой русской радиограммы, и расположения русских, недавно такие ясные, стали взмучиваться и смешиваться от многих неизвестных движений.

Хотя и разгромив комаровскую дивизию, корпуса Макензена и фон-Бёлова наступали близ озера Дидей с осторожностью, приобретенной под Гумбиненом, и эта осторожность оправдала себя: у станции Ротфлис вечером 13-го русские оказали стойкое сопротивление, видимо немалыми силами. (Нужно было наступить утру 14-го, чтобы германские авиаторы обнаружили корпус Благовещенского в таком отходе и расстройстве, каких невозможно было предположить накануне.) А стоянье насмерть двух русских полков южнее Мюлена затемнило Гинденбургу, что на этом участке уже сквозит нужная щель, и написал он в приказе, что там у русских небольшие корпуса. Не видя этой готовой щели, пробивали её под Уздау.

Концы толстых охватывающих стрелок изнывали перед рывком.

Ложилась ещё и тень Провидения (Vorsehung) на ту самую мюленскую укреплённую линию, на те самые озёрные скалы и полутысячелетние ели хранящей и хранимой родной земли, где оголтело, обнажённо наступала сейчас русская Вторая армия: именно сюда в 1410 году пришли соединённые славянские силы и под деревушкою Танненберг, между Хохенштейном и Уздау, нанесли разгром Тевтонскому ордену.

Через полтысячи лет роково сложилось так, что могла Германия исполнить суд возмездия (das Strafgericht).

24

И никакой прирождённый нам дар не приносит радостей сплошь, непременно и огорчения. Но мучительно быть из ряду талантливым — офицеру. Восторженно служит армия блещущему таланту, но когда уже схватит он маршальский жезл. А прежде, пока он к этому жезлу тянется, она бьёт и бьёт его по рукам. Дисциплина, основа армии, всегда против восходящего таланта, и всё, что роится в нём и разрывает его,— должно быть сковано, согласовано, подчинено. Всем, кто пока поставлен выше него, невыносимо иметь такого своевольного подчинённого. И оттого продвигается он не быстрее посредственностей, а медленнее.

В 1903 году приезжал генерал фон-Франсуа в Восточную Пруссию начальником штаба корпуса. И через десять лет, сам уже под шестьдесят, назначен был сюда же — всего лишь командиром корпуса, правда — лучшего в германской армии.

В 1903 году граф фон-Шлиффен проводил здесь штабную поездку-игру, и Франсуа был назначен командующим одной из «русских» армий. Как раз на нём и показал Шлиффен свой двусторонний охват. В отчёте записали: «русская армия под угрозой окружения с фланга и тыла сложила оружие». Франсуа возразил задиристо: «Exzellenz! До тех пор, пока армией командую я,— она оружия не сложит!!» Шлиффен усмехнулся и приписал: «Осознав безвыходность положения своей армии, *её командующий искал смерти на передовой и нашёл её там*».

Как на подлинной войне, собственно, не бывает.

Как, впрочем, генерал Герман фон-Франсуа был готов бы, при позоре. Гугенотский род Франсуа в стране, приютившей его, не видел случайного крова. Род Франсуа привык знать одну родину и служить ей одной — и прадед Франсуа

заслужил германское дворянство ещё когда во Франции на дворян не завели гильотины. Отец Франсуа, тоже генерал, смертельно раненный французами в 1870 году, воскликнул: «Я рад умереть в такую минуту — кажется, Германия побеждает!»

В 1913 году Франсуа застал войска Восточной Пруссии с задачею «уступающей обороны»: перед превосходящим противником отступать с боями. Но это был неправильно понятый план покойного Шлиффена! Оборона на Восточном фронте в общем, пока не освободятся немецкие войска с Запада, совсем не означала отступления как тактики на каждом участке. Сравнивая немецкий и русский характеры, Франсуа находил, что наступление и быстрота — в духе немецкого солдата и его военного воспитания, отличия же русского характера: отвращение к любой методичной работе; отсутствие чувства долга; боязнь ответственности; и полная неспособность ценить и плотно использовать время. Отсюда для русских генералов вытекали: вялость, склонность действовать по схеме, тяга к покою и удобству. Поэтому Франсуа избрал для себя в Пруссии — вести оборону наступательным образом: где бы ни появлялись русские, нападать на них первому.

Когда началась Великая война (великая — для Германии, и великая, долгожданная для Франсуа, ибо теперь-то и выпадала ему единственная возможность показать себя первым полководцем страны, а может быть и Европы), Франсуа рассчитывал использовать быстроту немецкой мобилизации и, как только его корпус будет боеспособным, — пересечь границу и атаковать скопление частей Ренненкампфа на их медлительной формировке. Но тут-то и сказалось, что даже германская армия не может принять и признать слишком динамичный талант. Притвиц запретил план Франсуа: «Надо примириться и пожертвовать частью этой провинции» (Пруссии). Франсуа согласиться не мог: самовольно дал бой под Сталупененом, ход которого считал успешным, но в разгаре подъехал автомобиль с приказом Притвица: прекратить бой и отступать к Гумбинену. У армии могли быть свои планы, но у корпусного командира были свои! — и Франсуа ответил курьеру громко, при офицерах: «Доложите генералу фон-Притвицу, что генерал фон-Франсуа прекратит бой тогда, когда русские будут разбиты!» Увы, разбиты не были они, и свой же начальник штаба донёс на него в штаб армии. Вечером Франсуа давал объяснения, Притвиц доложил непосредственно императору о непослушании Франсуа, а Франсуа — непосредственно же императору, что с *этим* начальником штаба корпуса он воевать не будет! То был риск, кайзеру был повод разгневаться и самого Франсуа снять с корпуса, по многим жалобам он и без того считал генерала «слишком самостоятельной натурой», — однако и терпеть неприязненного начальника штаба не было бы чертой выдающегося полководца!

Как ни глуши и ни отрекайся, а сидел-таки в нём, наверно, неугомонный француз.

Но при сепаратности от высшего командования нельзя было отказать себе в равновесии справедливости: каждый шаг свой и каждый конфликт необходимо было тут же объяснять Истории и потомкам, вряд ли кто это выполнит за тебя, если не позаботишься. И вот, не по возрасту вёрткий и лёгкий, воюя подвижно, со вкусом, взлезая и на колокольни для наблюдения, распоряжаясь и разгрузкою снарядов под картечью (может и без него б разгрузили), успевая в каждое место боя на автомобиле, чтоб обстановка не расходилась с приказом, иногда проглотив за день лишь чашку какао (это — для мемуаров, бывал и бифштекс) и спя по два-три часа в ночь, — Франсуа не упускал следить, чтобы каждое его решение фиксировалось и объяснялось трижды: приказом вниз; донесеньем наверх; и подробным изложением для военного архива (а если будет жив — то в собственную книгу), изложением не только действий, но и намерений, не всегда разрешённых, как генерал хотел. До боёв такое изложение он сам писал, а с начала боёв, в одном из двух своих автомобилей постоянно возил при себе специальным адъютантом своего сына, лейтенанта, и тот вёл дневник генерала, на месте мгновенно запечатлевая все его соображения.

И всю линию своего поведения генерал тоже должен был сформулировать сам, этого никто не сделает за него лучшим слогом: просто ли следовать приказам, как это легче всего? Или ощутить в себе долг ответственности выше долга

прямого повиновения, не дать в себе подняться страху перед промахами, а против всех отговоров робких духом следовать инстинктивной угадке успеха?

В гумбиненском бою опять получился с Притвицем разрез. С первых же часов Франсуа считал этот бой крупной победой (так доносил Притвицу, и тот в Ставку), усиленно атаковал, обойдя фланг Ренненкампфа (критики утверждают, что атаковал в лоб, неправильно представляя группировку русских), захватил много пленных, вечером отдал приказ атаковать и на следующий день — и тут же получил приказ Притвица отступать в ночь беззвучно, всем корпусом, — и даже за Вислу.

Невыносимый случай: враз потерять всё сегодняшнее, достигнутое твоим талантом, из-за того, что рядом Макензен бился неудачно, покинуть и завтрашний успех, чуемый ноздрями, в распале правоты отменить свой правильный приказ и подчиниться неправильному!

Но в этом — армия. И ещё весь в музыкально-воинственном состоянии, с поля *своей* победы — он начал корпусом железнодорожную длинную рокировку через Кёнигсберг.

В этом — армия, но немецкая ещё и в другом: на следующий день комендатура телефонных линий, составляя звенья, ища Франсуа, соединила его малую точку с Кобленцем, и Его Величество император осведомился у генерала, как он рассматривает положение и считает ли правильной переброску своего корпуса?

То была высокая честь корпусному командиру (и явная отставка командующего армией). Но подвижный ум Франсуа не настаивал на своей чести и вчерашней упущенной правоте: правильное вчера, уже не было правильно сегодня. Как сказал Наполеон, не может быть полководцем генерал, рисующий перед собой картины. Уже начав отход, надо было продолжать его до конца. Отдав поле неманской армии, свою исключительность теперь доказывать уже против наревской.

И где-то тут неухватимо, между телефонными разговорами, курьерскими поездами, встречею в новом штабе с новыми командующими (все старые знакомые, в корпусе Гинденбурга и был Франсуа когда-то начальником штаба, а Людендорф, моложе Франсуа на 9 лет, был когда-то в генеральном штабе его подчинённым, а вот уже вознёсся), — где-то тут назревала идея: «наревской армии — двойной охват!» — и каждый из троих чувствовал себя автором её (и ещё предстоит потом доказать Истории, что автор и исполнитель — ты).

Вечером 11 августа (как раз когда Воротынцев появился в дремлющем остроленском штабе) — генерал Франсуа уже близ места разгрузки первых приходящих своих поездов против левого фланга Самсонова, сидел в отеле «Кронпринц» и писал приказ по корпусу:

«...Блистательные победы, которые одержал наш корпус под Сталупененом и Гумбиненом, побудили Верховное командование перебросить вас, солдаты 1-го армейского корпуса, по железной дороге сюда, чтобы вы своей непобедимой храбростью сразили бы и этого нового врага, пришедшего из русской Польши. Когда мы уничтожим этого противника, мы вернёмся в прежнее наше расположение и рассчитаемся с русскими ордами, сжигающими там, вопреки законам международного права, наши родные города...»

Предвидя точно этот неумолимый возврат, Франсуа писал в западном нижнем углу Пруссии — а ещё грузились его части в восточном верхнем углу под Кёнигсбергом, и черезо всю Пруссию с края до края гремели частые поезда. За полусуточную заминкой это было из немецких чудес: каждые полчаса, днём и ночью, шёл воинский поезд, и даже немецкие железнодорожные правила утратили свою обязательность: воинские поезда на открытых перегонах подходили вплотную друг ко другу; они занимали пути, пренебрегая красными семафорами, и разгружались на специальных военных платформах вместо двух часов за двадцать пять минут. По запросу Франсуа поезда подходили к самому полю предстоящего боя, и батальонам оставалось только размяться километров пять.

Но и этого чуда не могли оценить тяжелолицые — Гинденбург и Людендорф. Они приехали на командный пункт Франсуа, когда почти вся его артиллерия ещё была в пути — и потребовали начать жадно ожидаемое наступление.

Глаза Франсуа (он сам этого не знал и не хотел) были постоянно уставлены насмешисто:

— Если будет приказ, я начну. Но солдатам придётся сражаться... неудобно сказать... штыком.

Это русским простительно твердить: штык молодец, пуля дура и, очевидно, тем более дурак снаряд. Ученикам же Шлиффена полагалось бы понимать, что наступила война орудийная, и успех будет за тем, у кого перевес артиллерийского огня. В приказах солдатам можно писать о непобедимой храбрости, самим же — подсчитывать батареи и снаряды.

О, почему подчинённость всегда идёт обратно степени таланта?! Франсуа изнывал, вынужденный созерцать в метре от себя и выше себя эти два *волевых* раздавшихся лица, поставленные посредством толстых негибких шей на плотные туловища. Людендорф ещё не так отвердел челюстью и не так омертвел взглядом, но уже сильно напоминал своего командующего. А лицо Гинденбурга было точно прямоугольно, тяжелы и грубы все черты, грузны подглазные мешки, нос без высоты, как под тяжестью прогнулись усы, уши срослись с защечьями. Этим двум пинцгауэрам — разве доступны или хотя бы ведомы были импульсы интуиции и риска?

(Упуская мысленно с ними перемениться, забывал Франсуа посмотреть от них на себя: что за курц-рост — не по генеральскому чину? что за быстроглазие не по возрасту? и главное — дурная привычка выскакивать, обскакивать, перепрыгивать?)

Вот и сейчас: г д е наступать? Франсуа не слушает, где ему указывают, он предлагает своё: в один котёл со всей самсоновской армией валить и русский 1-й корпус. И спорит! — проспорили час. Запрещено. Велят ему русский 1-й корпус — отталкивать, а охватывать ядро армии без него. А к о г д а наступать? — еле выторговал Франсуа полдня отсрочки с рассвета до полудня 13 августа.

Не там и не тогда, как хотел, он начал в первый день вяло, больше для отчёта, потеснил передовые русские заставы — и стали русские полки на хорошо видимые позиции по возвышенностям: от мельничного холма — через Уздау — и вдоль железнодорожной насыпи. Через Уздау и предстояло 14 августа открыть дорогу на Найденбург.

С заходом солнца предварительный бой смолк. За ночь вся остальная артиллерия должна была подойти и стать на позиции — такие калибры и такая густота снарядов, какой русские ещё не испытывали никогда. Завтра в четыре утра он, генерал Франсуа, начнёт большое армейское сражение.

— А если русские начнут ночью первые, мой генерал? — спросил сын, ещё записывая при ночном фонарике.

Это — на сеннике было, генерал брезговал спать в доме, где похозяйничали русские. Спрятав заведенный будильник под изголовье, он до предела вытянул короткие ноги без сапог, хрустнул костями и с улыбкой зевоты ответил:

— Запомни, мальчик: русские никогда не могут сами двинуться раньше обеда.

* * * * * *

Con moto

Запевала: *Немец белены объелся,*
Драться в кулаки полез!

Хор: *Фу ты, ну ты, фу ты, ну ты,*
Драться в кулаки полез.

Запевала: *А ведёт их войско важно*
К нам усатый Васька-кот!

Хор: *Фу ты, ну ты, фу ты, ну ты,*
К нам усатый Васька-кот!

(«Русская солдатская песня 1914 года», почтовая открытка с нотами, марш наших героев с барабаном и жалкий кот Вильгельм.)

Продолжение следует

Надежда Полякова

ДЕКАБРЬСКАЯ ТЕТРАДЬ

АРМЕНИЯ. 7 декабря 1988 года

Небо разверзлось. Земля распласталась.
Сбился кустарник в летящую стаю.
Господи, что мне на свете осталось?
Нитку дороги в клубок замотаю.
Руки подставлю под ливень осколков
И, черепок к черепку подбирая,
То бормоча, то крича, то умолкнув,
Склею сосуд для грядущего рая.
Как тебе спится в земле ереванской,
В знойном сухом перевернутом крае?
Не потревожу ни словом, ни лаской,
Оберегу от вороньего грая,
Воя собачьего, крика безумья,
В столпотворенье с мечтою о быте
Бережно черные звенья связуя
Длинной разорванной цепи событий.
Александрополь — записано было
В метрике мальчика. Ехал в столицу
С грузом негрузным душевного пыла.
Шел на Голгофу. А думал — учиться.
Александрополь — обломки, осколки.
Как размолола твой город стихия!
Блюдце, упавшее с узенькой полки,
Не разобьется на крошки такие!
Ты не узнал. Не увидел. Не дожил.
Смерть это смерть. А безумье кромешно.
Что это? Что это? Слезы иль дождик?
Блестки колючие осыпи млечной.

* * *

Манна с небес — да и та во скитаньях наскучит.
Обетованной земли не найдешь на кровавой планете.
Зной ли пустынный, полярный ли холод трескучий,
Блеск ли Содома с Гоморрой в неоновом свете —
Голову где приклоню и за чьею спиною
Скорбь за улыбкою прятать учусь принужденной?
Грех мой великий до гроба пребудет со мною.
Я отойду. Он окрепнет — не мною рожденный.
Горьким питьем угощала бездушная стража
Сына, которому голени не перебила.
От обгорелого мира — липучая сажа...
Помню, я здесь молодая была и любила
Крепкое тело, и клевер медовый, и воду —
Воду живую в прозрачных ладонях держала.
— Я искупаю грехи,— он поведал народу.
Тот не услышал. Толпа исступленная ржала.
Не искупил. И на долю мою оказалось
Больше, чем можно снести до последнего края...

Надежда Михайловна Полякова — советский поэт. Печатается с 1940 года. Первая книга стихов — «Право на счастье» — вышла в 1955 году. За ней в разные годы последовали многие другие. Том «Избранного» увидел свет в 1989-м. Живет в Ленинграде.

Пять лепестков обнажили упругую завязь —
Будущий плод, как причину изгнанья из рая.
Рай — это если пчела в золотистой утробе,
В плоти цветочной, что ждет продолжения вида.
Ловкой подделкой была плащаница во гробе.
Мельче обман — значит, меньшая будет обида.
С верой слепой заучили святые каноны.
Странники жизни сбиваются в серые стаи.
Высохших сосен я слышу земные поклоны,
Будто у странников стонут ночами суставы.

* * *

Век на пепле и поте замешен,
На кровях и на горечи слез.
«Бросьте камень в нее, кто не грешен»,—
Тихо вымолвил людям Христос.
Кто не грешен? — забыли вопрос.
Но бросающий камень утешен
Однодневной своей праютой.

Жизнь одна и не будет второй.
Ложь и правда слились меж собою.
Счастлив гордый своей правотою,
Слепо шедший «за дело святое»,
Упоенный своей слепотой.

Время камни разбрасывать. Время
Собирать их. Бросать во врага.
Как Давид, выходить перед всеми
На четыре гигантских шага.
Как прекрасно открытое тело,
Для которого прах и тщета —
Налокотники, кожа щита,
Что от крови людской затвердела.

Жизнь одна и не будет второй.

А дороги неисповедимы.
А грехи наши неизмеримы.
А грехи наши неискупимы
Перед ставшими пылью земной.

* * *

Играть всю жизнь? Устала от игры.
От слов и смысла, что лежит под ними.
От яркой карнавальной мишуры,
Меняющей название и имя.
Открой лицо. Откинь тяжелый плащ.
Дорогу может одолеть идущий.
Кричит мой век: Спасите наши души!
И ревом рока забивает плач.

Не до игры, мой друг. Не до игры.
Не до интриг. Не до дворцовых сплетен.
Раскидывают бары и дворы
Своих соблазнов золотые сети.

И библию толкуют чудаки,
Как будто ищут истину спасенья.
Но общего не будет воскресенья,
И коршуны не станут есть с руки.

* * *

Когда и друг предаст, и отвернется бог,
И плоская земля начнет волчком крутиться
Затем, чтобы в одно слились чужие лица
И все пути слились в один тугой клубок,

В какой узор вплетешь оборванную нить
И чем продлишь ее, каким окрасишь цветом?
И, может, не мирясь с оборванным сюжетом,
Надумаешь еще хоть чем-то одарить?

Так обращаемся к обманчивой судьбе,
Сюжеты сочинять великой мастерице,
Попробовавшей нас на роль десятой спицы
В том, третьем, колесе, прикрученном к арбе.

«И я бы мог, как тут...» А может быть, «как шут...»
Могли и мы сказать, взглянув в иное время,
Дамокловым мечом висевшее над всеми,
Решавшее судьбу за несколько минут.

* * *

Дождем и ветром внахлест
Простор истерзан, время стерто.
Пейзажа или натюрморта
Ждет на мольберте грубый холст?

Где кисть твоя, авангардист?
Гордись! Неповторимость дали
Потребует тяжелой дани,
И ты, как проклятый, трудись!

И кто б тебя ни привечал,
Не клюй на легкую приманку.
Как с мыльной пеною лоханку,
Шторм нынче море раскачал!

Что? Низкий слог? Помилуй бог!
Прощай, свободная стихия!
Дай губы освежить сухие,—
Скажу и рухну на порог.

А где художник? Кто же он?
Свидетель тьмы? Даритель света?
Не докопаться до ответа
Пришельцу из других времен.

Как призрак мертвых площадей,
Концы связуя и начала,
Мир оглушив, всю ночь кричала
Мать, потерявшая детей.

* * *

И берег пуст, и вода мертва
В реке, омывавшей мои слова,
В реке, освежавшей мои уста,
Когда в ней влага была чиста.

Там скит стоит, колыбель стихов,
Во искупленье моих грехов:
Не я ли убила реку, траву,
Птиц на лету, рыб на плаву?

Не я ли сгубила сосновый лес?
Не я ль задымила простор небес?
Не я ль взяла над землею власть —
Земля болотами заволоклась?

Не моей ли волей туманы густы,
Мосты обвалились, избы пусты?
И молча мой обветшалый скит
Подслеповато на мир глядит.

Я здесь живу и молюсь за всех.
Прости безрассудства тяжелый грех,
Дай смелость рабам, дай покой гробам.
Поцелуй воды подари губам.

Рождается слов колокольная медь
Затем, чтоб не все погибало впредь,
Чтоб душа сохранилась и разум не гас
У тех, кто останется после нас.

* * *

По теплому полу хожу по утрам босиком.
Здесь светлые стены и ярче зари занавески.
Пора отчужденья, когда поздороваться не с кем
Не то чтобы за руку — легким и беглым кивком.

Мы замкнуты в сотах тщеславных забот, и глядит
Собрат на собрата, как враг на врага, исподлобья.
Все знают друг друга давно и довольно подробно,
Но каждый свою нераскрытую тайну таит.

Строчит от руки, на прокатной машинке стучит,
Берет из метели, из серого неба сюжеты.
И щурится Муза от яркого резкого света.
У Музы без грима усталый измученный вид.

Как ей удается утешить вниманьем своим
Собратьев моих, кто теряет последние силы.
А я нерабьюсь, я долги свои все заплатила.
— Пожалуйста, Муза, идите, идите к другим!

У них то простой, то затор, то житья не дают
Капризные жены, то слишком прожорливы дети.
То кажется им, что без них не вертеться планете
То строчечный панцирь они для сраженья куют.

Она убирает со лба серебристую прядь,
Подходит к столу, придвигает тяжелое кресло,
Движеньем руки предлагает привычное место,
На чистой странице мою раскрывает тетрадь.

Галина Гампер

* * *

Мое детство — стеклянный зверинец,
Боксы детских больниц напросвет.
Шоколадка, печенье — гостинец,
От домашних посильный привет.
Мать с бабулей — свекровь и невестка,
Два колодника, скованных мной.
Постоянные — месть и отместка
За всевидящей детской спиной.
Вот она, сквозь все детство забота
И любовь на разрыв — до конца,
И беспомощно зрячее фото
Не пришедшего с фронта отца.
Детство смутно, как утро спросонок,
Вечно длящейся полузимой.
Я, обритый больничный волчонок,
Никогда не хотела домой.

* * *

Две тетки мои, две блокадных вдовы,—
Святые, при полном неверии в Бога.
Стальные солдатики, только увы...
И благо, что вы не дождались итога,
Точнее сказать, сей кровааой межи
Меж временем вашей и нашей печали...
Вы, так не терпевшие всяческой лжи,
За правду тотальную ложь почитали.
Цинизм мой гасил своей кровью отец,
Мой ранний цинизм, полыхавший сверх
меры.
Я трудно взрослела, ваш дерзкий птенец,
Предатель и узник стальной вашей веры.

* * *

Вот и я прожила уж полвека при власти советской,
(Кстати, нас с ней роднит день рожденья и место рожденья) —
Ирреальная власть горемык, полоса отчужденья.
Мы, привыкшие к «без» —
без всего, а не то что без детской
Или спальной... нигде ни жиринки, нигде ни заначки —
Вот в чем нищая гордость родителей, нас воспитавших.
Нам ли в райские кущи из этих ноябрьских, опавших?
Аскетический шик не приемлет господней подачки.
Ну, а впрочем, и это лишь миф, мы, приаыкшие к мифам,
Обживааемся в них, как в бреду заболевшие тифом.
О Господь, как же долго и как терпеливо больны мы.
Генетический сдвиг к новой формуле крови едва ли
Поправим. Хоть теперь и отменишь Ты вечные зимы,
Мерзлота в наших клетках навечно, как в добром подвале.

Галина Сергеевна Гампер — советский поэт. Начала печататься с 1952 года. Первая книга стихов — «Крыши» — вышла в 1965-м. За ней последовали другие. Живет в Ленинграде.

* * *

Я свиньям жизнь свою стравила,
псу под хвост
Она пошла, теперь пора поплакать.
Как желтый лист пошел сегодня в рост
В октябрьскую суглинистую слякоть.
Как упростилась жизнь ваиду конца,
А помню, в затянуашемся начале,
От напряженья будто спав с лица,
И неопрятно, словно на вокзале,
Мы всё толкались и чего-то ждали.
Не дождались. И на исходе дня,
Где, будто ангел, желтый лист витает,
Я вижу: старость около меня
Пустеющим пространством нарастает.
Пустеет холм, пустеет дальний лес,
И пересох ручей до дна, до хруста...
Уехал, умер, изменил, исчез —
И свято место остается пусто.

* * *

Мы, привыкшие фигу в кармане держать,
И подтекст, будто камень, за пазухой
прятать.
О, как страшно, как странно нам губы
разжать.
И на старенькой «Оптиме» все напечатать.
Все как было, как есть, чтобы речью
прямой
Наша речь, наконец, называлась по праву.
Нам, отвыкшим от дома, аернуться домой,
Нам к любви возвратиться,
а не на расправу.

* * *

Я внутренней свободой ожила,
И солнце площадь моего стола
Облюбовало вдруг, невесть откуда
Проникшее в полуподвальный мрак,
Под кистью старых мастеров вот так —
Из общей тьмы всплывающее чудо
Лица и рук, их ирреальный свет...
Коль радость в бедах не сошла на нет,
А выжила, что может с ней сравниться —
К гнездовью возвратившаяся птица
И гордый разум, выдюживший бред!

* * *

Интриганы, интриганки,
Как мы все дружны по пьянке,
По общественным пенатам,
По кладбищенским квадратам.
Кто тут левый, кто тут правый.
— Господи, сочтемся славой.
Босиком пройдем по лугу.
Проплывем в струях нирваны.
Как подогнаны друг к другу
Совершенства и изъяны.

I

Корабль, с которого... вот родина моя,
Мне с ней тонуть, я к мысли привыкаю.
Не верую, но Богу потакаю,
Готовясь в безымянные края,
На пиршество гиен и мерзких щук;
А все-таки, а вдруг, на всякий случай —
Крещусь и плачу, и грехами мучусь,
И слышу «амен», и шепчу «каюк».
А все-таки, на всякий случай, вдруг...

II

Свершилось чудо, и, смертельный крен
Выравниаая, Родина всплывает...
Я знала, что такого не быает.
Откуда бы созвездье Перемен,
Которого на звездной карте нет,
Которого и не должно быть, ибо...
Но вдруг вздохнула мертвенная глыба
Отечества... И нам забрезжил свет
Звезды сверхновой над колодцем стен,
И засмердел разворошенный тлен.

Леонид Лиходеев

Семейный календарь, или Жизнь от конца до начала

Роман

39

В Зомбковицах, просматривая паспорта, угрюмый пожилой чиновник спросил Павла Кордина, почему он не возвращается в губернский город, а следует в Петербург. Юлия немедленно вступилась:

— Я полагаю, мой жених может сопровождать меня по маршруту, который мне удобен!

— Сударыня,— вяло сказал чиновник,— ваш жених может сопровождать вас по всем железным дорогам Российской империи. Но в Санкт-Петербурге сейчас двадцать градусов Реомюра. Ваш жених замерзнет.

— Мы позаботились об этом!

— Как вам угодно...

Они ехали из Кракова — молчали. Шутовство Адамского оберегало их от размышлений о предстоящем. Кто они? Молодожены? Жених и невеста? Бурная радость Юлии, когда Павел Кордин появился на Босацкой, была нереалической, чрезмерной. Что произошло? Она называет его то мужем, то женихом, как будто защищается от чего-то. Но он сопровождает ее в Петербург. Значит, он привезет ее в дом. В качестве кого он ее привезет? Нет, лучше бы эта дорога никогда не кончалась.

Вагон Варшавско-Венской железной дороги, в который они пересели, был русским — диван снизу, диван сверху, поперек. Они вошли тихо, напуганно, а темную тишину купе, как дети входят в чулан, в котором живут привидения. Плюшевая реальность была опасной, она сковывала и отчуждала.

— Ты боишься? — шепотом спросил Павел Кордин и не узнал своего шепота.

— Боюсь... Нет, не боюсь... Не знаю...

Все, что было прежде, не шло в счет — будто все, что было прежде, происходило не с ними, будто какие-то иные молодые люди создавали друг друга в воображении, немного рисовались, серьезничали, умничали. Даже то, что она бросилась к нему со слезами, даже то, что назвала его мужем, не шло сейчас в счет.

Поезд дернулся, поехал, а они все молчали, как будто все слова, какие бывают, оказались вдруг неуместными. Она смотрела в окно, а он стоял за нею, опасаясь прикоснуться или даже приблизиться.

— Смотри! — вдруг закричала Юлия.— Какая смешная птица!

Он не увидел никакой птицы, он почувствовал легкость, даже блаженство избавления.

— Ю,— сказал он ей в затылок,— я здесь...

Она задернула шторы.

— Ты здесь, ты здесь, ты здесь! — повернулась она и порывисто обняла его. Он неловко подхватил ее на руки, но поезд дернулся, ударив Павла Кордина верхним диваном. Они рассмеялись. Теперь все слова были уместны.

— Это наше свадебное путешествие,— беззаботно сказала Юлия,— садись, мы сейчас все обсудим.

— Мне кажется, обсуждать это нужно с Наталией Александровной и Семеном Аркадьевичем...

Продолжение. См.: «Звезда», 1990, № 2.

Журнальный вариант. Нумерация глав сохранена авторская.

— Ты ужасно старомоден! И — глуп! Возле Варшавского вокзала есть маленькая церковь. Мы там обвенчаемся и заимся на Васильевский. Что они нам скажут?

— Они нам скажут — здрасте.

— Вот видишь! Как ты стремительно поумнел! И они дадут за мною приданое.

— Ю, но мне не нужно твоего приданого.

— И мне не нужно!

Уголки ее губ приподняли щеки, глаза при этом сузились. Холодное, даже надменное лицо ее обладало пленительным свойством разогреваться амиг. Она смотрела на Павла Кордина, восхищенная счастливой мыслью: зачем, к чему этот глупый фиктивный брак с каким-то неведомым товарищем, когда вот он — Павел, которого она любит! Она выйдет за Павла! И Павел распорядится ее капиталом!

— А ты сможешь распорядиться моим капиталом?

— Разумеется! Прежде всего я оплачу грехи своей молодости, а остальное, если что-нибудь останется,— проиграю в карты!

— А у тебя много грехов молодости? — глухо, ревниво спросила она.

— Ю, может быть, я выдумываю, но мне кажется, я любил тебя всегда... Даже когда ты была еще маленькой...

— А ты был смешной,— сказала она также глухо и ревниво,— и у тебя торчали уши. Сначала мне было смешно, что у тебя торчат уши, а потом — жалко.

Он прижал ничуть не торчавшие уши пальцами.

— Но ты меня не так часто видела...

— Достаточно один раз увидеть твои уши, чтобы запомнить их навсегда... Поцелуй меня...

Вагон, постукивая по стыкам, катился небыстро, будто отдаляя что-то важное, катился не торопясь. Послышался за дверью ленивый голос кондуктора:

— Господа — буфет... Господа — буфет...

Приближался Ченстохов.

— Подожди,— глухо, сквозь зубы сказала Юлия, и побелевшее было лицо ее порозовело решимостью.

Она стала раздеваться, не стесняясь, не смущаясь, как будто была в купе одна. Поезд остановился словно для того, чтобы не мешать ей. Она бросала на кресло снятое, обнажаясь. Солнце лучилось в щели штор, пылинки вертелись в лучах, а Юлия светилась, не соприкасаясь с тем, что было вокруг нее. Она была вне всего.

— Господа — буфет... Господа, буфет...

— Пардон, здесь — новобрачные...

— Ну! Буфет им не понадобится до Санкт-Петербурга!..

Она амиг схватила простыню, накинула на себя, испуганно вернувшись в реальность. Испуг этот придал Павлу Кордину решимости. Он вскочил, обнял ее, усадил на диван и, отнимая простыню, которую она зачем-то придерживала, стал целовать самозабвенно, не отличая губами ни груди, ни шеи, ни лица. Она откинулась на спину, изнемогая от чего-то грозного, непреодолимого, а он не решался оторваться от нее. И тогда она застонала и непопадающей рукой сильно дернула его галстук, оторвав пуговицу...

40

Павел Кордин не принадлежал к числу тех людей, которые способны не верить своим глазам. Он видел ее лицо, знал, что это лицо его жены, и понимал, что жизнь его стала совершенно иной — небывалой, счастливой, немыслимой еще вчера. Но только сейчас, когда она дремала, прикрыв глаза заплетенной наспех косою (чтоб утреннее солнце не било в глаза), только сейчас, сидя в кресле и упиваясь тем, что она есть, что она — вот она,— он подумал о завтрашнем дне, когда они приедут в Петербург. Он никогда не был на Васильевском, никогда не считался женихом, никогда не воспринимался Бергами иначе, чем сын управляющего, если воспринимался ими вообще. Он любил ее, не задумываясь о браке, не предвидя его. Как же теперь будет на Васильевском?

— Павел,— позвала Юлия, снимая косу с глаз,— ты здесь?

Он привалился на колени и стал гладить ее лицом по животу, как точат бритву на оселке.

— Ю, Ю... Ай лав ю... Ю, Ю... Ай лав ю...

— Я тоже подумала о Мари...

Он приподнял голову, посмотрел ей в глаза.

— Я еще подумал о господине советнике и госпоже советнице...

— Не называй их так... Какое им дело?

— Я думаю, какое-то дело им все-таки есть...

Она тихо засмеялась.

— Ты знаешь... Я хочу есть...
— Должен тебя огорчить, Ю, но я тебя покидал сегодня ночью.
— Как?! Уже?
— Увы! И вот результат моего набега на какую-то станцию: бутылка вина и цыпленок. Она весело поднялась было, но он не дал ей встать.
— Павел... Но мне же... Павел, но я же лопну... Ты что? Бегал на станцию раздетым?
— Ю! Я тебя люблю! Поднимайся, если ты лопнешь, это будет ужасно...
Вагон стучал быстро, бодро, поезд катился к Петербургу, где возле Варшавского вокзала стоит маленькая церковь, в которой они обвенчаются и явятся на Васильевский мужем и женой. Но чем меньше верст оставалось до этой церкви, тем настороженнее становилась новобрачная.
— Ты не должен появляться на Васильевском,— вдруг сказала она,— я хочу приехать одна...
— Ю, послушай меня внимательно... Я могу сносить твои приказы, когда они касаются только меня одного, потому что я тебя люблю. Но все, что касается твоей чести, я буду делать, сообразуясь со своими понятиями.
— Ты говоришь, как папа! Чести, чести! При чем здесь честь?
— Ю, честь при всем... Я не знаю, что скажут господин советник и госпожа советница... Я догадываюсь, что они не будут в восторге от нашего брака... Но я еду просить твоей руки. А вот когда они откажут и если ты не разлюбишь меня, я подумаю, как действовать дальше...
— В таком случае можешь считать, что я тебя разлюбила! Мне нужно время, чтобы подумать! В конце концов, я еще молода для замужества!
— Добавь, что я не устроен и не смогу содержать жену...
— Папа даст тебе место!
— Но зачем, если ты меня не любишь?
— Ах да! Я забыла...
Они все-таки прибыли на Васильевский вдвоем. Церковь в переулке возле вокзала стояла настороженно. Был Великий пост, и их все равно не обвенчали бы. Но на Васильевском их ждала неожиданность. Берги находились на заводе. Поселок Марьино, выстроенный в знак трехсотлетия династии, был готов, Берги отбыли освящать его.
Просить руки было не у кого. Было решено, что Павел Кордин возвращается завтра же, а летом, когда он будет выпущен из своей Школы Политехничной,— они предстанут перед родительским благословением.

41

Павел Кордин уснул в маленьком нумере «Европейской» к утру, измаявшись от своих счастливых мечтаний. Через три, нет, два месяца Юдифь приедет в Австро-Венгрию. А как же Берг? Отдаст он руку своей наследницы инженеру, которому даже не предложил место на своем заводе? Павел Кордин вообразил некоторое смятение хладнокровного, высокомерного господина советника. Забавно! А Наталия Александровна? Должно быть, скажет, что Юдифь еще слишком молода. А может быть, не скажет?
Он проснулся от стука в дверь. Сейчас! Натянул штаны, накинул сюртучок, открыл. На пороге стоял китаец с деревянным неподвижным лицом и держал в руках волчий малахай.
Павел Кордин не успел удивиться китайцу, потому что китаец удивил его еще больше тем, что назвал по имени.
— Павла Михайловича шибко быстро нада... Хозяйна кушать будем «Астория»,— сказал китаец хрипловатым, но приятным голосом.
— Какой хозяин? Какая «Астория»? Что-то ты, братец, напутал.
— Сани садись, «Астория» едем, хозяйна Коршунова ожидай. Евграфа Люкичай.
— Коршунов? Какой Евграф Лукичай?
— Не знай Люкичай — шибко плохо,— сказал китаец,— знай — шибко харашо...
Павлу Кордину стало весело — он знал о чудачествах миллионщика Коршунова. Но зачем понадобился Коршунову он, Павел Кордин?
— Чего же он хочет, твой Лю-ки-чай?
— Разговор... Шибко быстро нада!..
Павел Кордин недоумевал. Он никогда не видел чудаковатого миллионщика — как-то не удавалось посмотреть. И вот — пожалуйста!
Китаец закутал его полостью — обернул, как предмет,— сел рядом с кучером, сани понеслись по просыпающемуся синему Невскому проспекту...
Седобородый (из-под бороды — медали) сановный швейцар, увидев китайца, поклонился Павлу Кордину:
— Пожалуйте-с...
Мальчик в каскетке открыл тяжелую, окованную металлическими цветами и листьями

дверь лифта, впустил, закрыл дверь, повел рычагом важно, будто паровозом управлял. Вез строго, горделиво. На китайца старался не смотреть. Но, выпуская на третьем этаже своих пассажиров, не удержался, спросил китайца полуголосом:
— Ходя! Соли надо?
— Маленький дурака,— ответил китаец,— большой будешь — шибка большой дурака будешь...
Дверь в апартаменты Коршунова была приоткрыта.
— Хозяйна велела ожидай,— сказал китаец, сбросил тулупчик, малахай, отступил спиною к стене, дал пройти, указал кивком головы, где снять калоши, принял пальто, шапку. Черная с проседью коса его поблескивала вдоль спины, как текла. Гостиная освещена была синеющим утром, стояли в ней какие-то пуфики, козетки, а поближе к окну — небольшой круглый стол. И еще у окна уперся ножками в тяжелый ковер белый маленький рояль. «Музицирует, что ли?» — подумал Павел Кордин, вообразив за роялем Юлию.
Коршунов явился из боковой двери. Был он в темно-лиловом стеганом халате и колпаке тюрбаном.
— Эк ты, братец, длинный какой. Садись, не маячь!
Он не подал руки, но в голосе его, высоковатом и простецки веселом, заучало и купецкое чудачество, и небрежная независимость богача, и приятельское расположение. Павел Кордин опустился в кресло возле рояля. Коршунов присел на козетку.
— Пей-фу, кушать нам пора или не пора?
Китаец не ответил.
— Похож ты, братец, на батюшку вашего, похож. Ничего не скажу. Тоже не улыбался, а человек был — золото... А ты — золото?
— Пока без пробы,— попытался улыбнуться Павел Кордин.
— Пробу мы поставим,— хлопнул ладошкой по коленке Коршунов,— эка невидаль! Вы когда изволите на волю?
Павел Кордин понял, что речь идет о дипломе.
— К лету, Евграф Лукич... Если выдержу экзамен...
Китаец акатил лоток, стал расставлять на столе завтрак.
— А отчего его не выдержать? Яичницу с беконом будешь? Американцы едят каждое утро. Оттого — богатые.
— Теперь я понимаю, откуда ваше богатство,— в тон поддержал Павел Кордин.
— Нет, не понимаешь,— сказал Коршунов, садясь к столу.— Пей-фу! Сельдерею мало! Сельдерей, брат, тоже американская трава... Пожуешь — поумнеешь...
— Да не такие уж они умные, Евграф Лукич,— улыбнулся Павел Кордин.
Коршунов заинтересованно посмотрел на него. Посмотрел, подумал, не отводя глаз, сказал:
— Правильно... И мы не глупее... Ну — ладно, это все присказки. Ешь! Постой, может, ты водку пьешь с утра?
Павел Кордин наклонился было с вилкой над горячей сковородкой, но выпрямился.
— Ее лучше — после дела...
— И я так думаю...
Ели молча. Китаец служил неслышно, тенью. Коршунов ел быстро, толково, не погнушался собрать со сковороды сало краюшкой филипповской булочки. Пей-фу разливал крутой чай, пахучий. Зачем же он позвал, в чем дело?
— Южный завод мой знаешь? — небрежно спросил Коршунов.
— Слышал... Новый завод...
— Новый... Балки буду тянуть... Рельсы... Два стана куплено... К августу поставят...
Пей-фу угадал, когда подать остриженную сигару. Коршунов взял, приложил к щеке, принял губами. Китаец поднес свечу — как фокус сделал. Павел Кордин удивился: откуда взялась?
— Куришь? — спросил Коршунов, раскуривая сигару. Пей-фу раскрыл перед Павлом Кординым ларец, а в нем — торчком сигары и толстые папиросы. И глядя, как Павел Кордин прикуривает от свечи папиросу, Коршунов сказал как бы между прочим:
— Хочу я, Павел Михайлович, чтобы при немцах, которые собирать станы явятся, находился с самого начала свой инженер. Заводской, значит, кому на тех станах работать. Так вот, ежели не погнушаетесь... Пей-фу!
Китаец вмиг подал кожаный складень, портфель, раскрывающийся надвое.
Предложение было настолько неожиданное, что Павел Кордин сперва усомнился, к нему ли оно относится. Но Коршунов дымил, говоря как о деле сделанном:
— Возьми-ка портфель, там книжечки разные, разберешься на досуге... И аванс там же, в конверте... Две тысячи для начала хватит? Вернешься и, милости просим, прямо на Южный завод...
Павел Кордин понял вмиг — будто ударили в лицо: Берги отделываются! Гнев, стыд, беспомощная обида ввергли Павла Кордина в растерянность. Уйти! Немедленно уйти!
— Павел Михайлович,— сказал Коршунов участливо,— меня Юлия Семеновна попросила. Вчерась к ним заехал, а она ко мне: дай место Павлу Михайловичу... Я думал —

вздор ребяческий, а потом прикинул: а ведь дело! Батюшку твоего я знал, инженер мне нужен. Так что вздор — и не вздор... Баба бабой, а видишь, как? Еще не известно, что тебе господин советник скажет, ежели ты свататься станешь... А от меня — сватайся за кого хочешь! На ногах стоишь! Господин советник тебя звал к себе?

— Нет...

— Ну и шабаш! На ноги станем, а там и женимся! Эка невидаль!

Коршунов сразу понял, почему старшая барышня так хлопочет, сразу понял, что Павлу Кордину надо предстать перед будущим тестем самостоятельным и независимым, и это как бы душевное понимание придавало благородства его прямой выгоде — свежий молодой инженер будет служить у него, а не у Берга, на чьем заводе вырос. Дружба дружбою, а дело не дремлет.

Коршунов обезоруживал. Павел Кордин даже испытал какую-то странную неосознаваемую благодарность. Женимся! Колеса вагона стучали в висках.

— Можно я выкурю еще одну папиросу?

— А хоть десять... Ты, как я понимаю, взад-вперед? Это хорошо по молодости. А в остальном — положись на Бога. Умнее Бога только дураки бывают...

Но теперь — тем более — надо на Васильевский! Теперь он служит у Коршунова! Теперь он не зависит от Берга!

Но ехать на Васильевский не пришлось. В «Европейской» посыльный подал ему конверт: «Павел, дорогой мой! Это счастье, что К. был у нас. Я уверена, что все устроится. Теперь мы самостоятельны! Дорогой мой, поезжай, ни о чем не думай. Ты мне очень нужен, понимаешь? Всегда, везде, всюду. Скоро мы увидимся. Ю.».

Слова «самостоятельны», «нужен» и «скоро» были трижды подчеркнуты. Павел Кордин почувствовал, как сердце его оплавляется...

42

Берг постучал в ее комнату и подождал, пока она отопрет дверь.

— Ты запираешься? — спросил он.— Зачем?

— Я полагаю, что могу распоряжаться в своей комнате,— ответила Юлия, стоя в дверях.

— Разумеется,— пожал плечами Берг.— Смешно, что ты запираешься...Прислуга не ворует, жандармов в доме нет... Зачем ты играешь в эту странную унизительную игру? Мне кажется, ты постоянно настраиваешь себя против нас.

Не глядя по сторонам, Берг сел в креслице, стоящее возле белой кафельной печи. Юдифь не садилась.

— Юлия,— тихо сказал Берг,— не нужно большого ума, чтобы разобраться в этой комедии... Тебе ведь приказали вернуться в дом и устроить здесь что-то вроде притона. Люди есть то, что они есть, а не то, что они изображают... Ваш главный революционер, наверно, этого не знает... Я вовсе не запрещаю тебе видеться с кем тебе нужно и принимать визиты... Я просто хочу тебе сказать, что твои визитеры очень смешны. Они все время оглядываются, как будто что-то украли. Но, поскольку я не думаю, что они что-нибудь украли,— мне тем более смешно... Они приносят тебе запрещенные листовки, и вы их распространяете. Пусть так. Я читал их... Меня совсем не тревожат ваши безумные идеи... Меня тревожит другое... Как бы тебе сказать...— Берг покраснел и развел руками.— Как бы тебе сказать... Меня тревожит твое постоянное ожесточение... Впрочем, я не это хотел сказать...

— Что же ты хотел сказать, папа?

Берг посмотрел на нее.

— Я читаю ваши листовки... И ты знаешь, что меня в них смущает?

— То они тебя не тревожат, то смущают... Нелогично!

Берг расплылся в улыбке. Птичка его усов взмахнула крылышками.

— По законам конспирации, насколько я понимаю, ты должна прежде всего заявить, что не знаешь ни о каких листовках...

— У тебя есть возможность донести на меня.

Он продолжал улыбаться.

— Зачем ты лжешь? Зачем? Зачем ты лжешь самой себе, подозревая во мне фискала? С тех пор, как ты приняла свое странное вероисповедание, ты стала лгать. Ты солгала, когда порвала с домом, и солгала, когда вернулась. Ты лжешь, ожесточая свое сердце против нас! Ты ведь знаешь, что тебе нечего опасаться нас. Что это за неумное вероисповедание, которое заставляет лгать самим себе?

— Ты этого не поймешь, папа,— дернула плечом Юлия.

— Допустим... Пожалуйста, лги, если это — условие вашей религии... Но я тебе все-таки скажу, что меня смущает... Меня смущают не ваши безумные идеи. Бог с ними, это все пройдет... Меня смущает то, что ты совершенно не интересуешься делом, которое унаследуешь... Вы требуете равноправия женщин? Чего проще, Юдифь? Ты молода, образованна, умна! Покажи своим примером, что женщина способна управлять производством!.. А ты ведь даже толком не знаешь, что делается на моих, то есть на твоих заводах!

— Я знаю, что там делается! Там делают рабов! Выкачивают из человека все силы и швыряют за ворота!

— Ну, допустим,— вздохнул Берг.— Ко мне приходят люди, я делаю из них калек и выбрасываю их за ворота? Это же вздор! Я делаю стальные рельсы, швеллерное железо для мостов!.. Или ты не знаешь и этого?!

Он постепенно распалялся и вдруг сник, опустив голову.

— Две недели я жду, как милости, твоих поздравлений... Я шел к тебе, чтоб спросить... Слобода Марьино готова... Меня поздравил министр, меня поздравил губернатор... Меня поздравили в клубе... Об этом событии нашего дома пишут газеты!..

— С чем я должна тебя поздравить? — медленно заговорила Юлия.— С фальшивой благотворительностью?

— Боже мой! — всплеснул руками Берг.— Восемьдесят рабочих семейств будут жить в европейских условиях! Таких поселков не так уж много даже в Европе! Даже в Англии и Германии. Юдифь! И ты утверждаешь, что компания вложила в эти коттеджи огромные средства в целях эксплуатации?!

— Конечно! — оборвала Юлия.— Теперь ты захочешь их компенсировать!

Берг тяжело встал, подошел к окну и, не оборачиваясь, сказал совсем тихо:

— Грустно, дочь... Ты ничего ни о чем не знаешь... И знать не хочешь... К чему ты готовишься?.. Какая-то странная игра...

— Это — не игра, папа! — жестко сказала Юлия.— Мы готовимся прийти к власти!

Он резко обернулся. Рот его задрожал.

— Это будет ужасно, Юдифь! Даже если допустить невероятное — это будет чудовищно.

Она увидела испуг на его лице, и это вызвало в ней какое-то забытое детское чувство.

— Это было бы чудовищно,— бормотал Берг,— это... это... Вы же поразительно ничего не хотите знать! Вы же ничего не умеете! Слава Богу, этого не будет!

43

Максим Горький весьма резко протестовал против намеренья Московского Художественного театра показать на своей сцене сочинение Достоевского «Бесы». Достоевский, по утверждению Горького, изумительно глубоко почувствовал, понял и с наслаждением изобразил две болезни, воспитанные в русском человеке уродливой его историей и тяжкой обидной жизнью,— садистскую жестокость разочарованного во всем нигилиста и — противоположность этой жестокости — мазохизм существа забитого, запуганного, способного наслаждаться своим страданием со злорадством, рисуясь перед всеми и перед собою, и даже хвастать тем, что бит. Максим Горький не желал, чтобы беспощадный в своей методе Художественный театр показывал русского человека по Достоевскому — злому гению нашему.

Евграф Лукич Коршунов всегда удивлялся способности образованных людей яростно сатаниться от книг, будто книги для русского человека — сама жизнь, а не изображение оной на всякий вкус и манер. Максим Горький втолковывал: очевидно, господин Немирович знает, что есть публика, которой забавно будет и приятно посмотреть на таких дьяволов революции, каков Петр Верховенский, или таких мерзавцев своей жизни, каковы Липутины и Лебядкины. Ведь глядя на них, очень удобно забыть, что были и есть люди честные, бескорыстные. И вот Художественный театр послужит этой нужде — поможет дремлющей совести уснуть покрепче. Но тотчас откликнулись защитники морозовского театра: по Максиму-де Горькому выходит, что задача искусства упрощается до простого средства успокоить, укротить мятежный дух и навеять человечеству сон золотой.

И тот — про дремлющую совесть, и эти — про сон золотой. Евграф Лукич понимал — валом повалит публика в Камергерский. Ну, разыграют они Достоевского, ну, покажут, каков русский человек. Первым делом — не все в живой жизни, как у Достоевского. Евграф Лукич читал этого литератора, жалел про себя лиц, им описанных. Может быть, и прав Максим Горький — не надо висельнику веревку под нос. А может быть, наоборот, неправ? Чего можно, чего не можно — эка их в урядники тянет...

Максима Горького секли вовсю, секли так же истово, как прежде истово преклонялись перед ним.

По первому снежку прибыл в первопрестольную бесподобный вундеркинд, восьмилетний дирижер Вилли Ферреро. Москва тотчас переключилась на музыку, ринулась на Никитскую, в консерваторию. Но тут же вундеркинда оттеснил великий синема-артист, сам Макс Линдер. Прибыл он одновременно со славным поэтом Эмилем Верхарном, однако поэт обитал в Москве незаметно, почти невидимо; Макс же Линдер потряс московское воображение. Москва ринулась в цирк смотреть на него.

Макса Линдера носили на руках, с него сдирали пуговицы на память, а он радостно гоготал, как бы озвучая Великого Немого, королем которого был. Его сравнивали со Львом Толстым, и разумные люди удручались: что же будет с публикой, с духом ее в следующих за нами поколениях? Ибо ни Эмиль Верхарн в уютных салонах, ни Вилли Ферреро в консерватории, ни Федор Достоевский в Камергерском никак не могли состязаться с этим небольшим усатым молодцом в полосатой визитке и лимонных перчатках, в которых, кажется, даже спал.

Вот этот-то бедовый молодец и толкнул Евграфа Лукича поразмыслить о синематографе. Вложить капитал в такое дело. Торговать странным товаром — ни руками потрогать, ни съесть, ни надеть. Кто его знает, может быть, в будущем, когда все будут одеты и сыты (Евграф Лукич весьма сомневался в такой небылице),— синема сделается наиважнейшим поставщиком дутого товара. Гляди, как носят на руках этого Макса, покуда он еще молодой, покуда прыгает и гогочет. И останется он на ленте молодым навеки. Как бесконечный процент на вложенный в него капитал. А два таких Макса? А — десять? А — пятьдесят?

Однако есть в этом синема что-то дьявольское, будто посмеивается он над людскими страстями и над самой жизнью. Останавливает он жизнь, да не как портрет, недвижимо, а во всем движении. Человека, может быть, и нет давно на свете, а все бродит по простыне, все стрекочет из прибора над головою. Вложить в него капитал — вроде бы душу дьяволу продать. Но все же Евграф Лукич сказал своему адвокату Кербелю: подумать...

Из Питера пожаловала Наталия Александровна с обеими дочерьми смотреть в Художественном театре Достоевского. В Камергерском перекричали Максима Горького. Пьеса называлась «Николай Ставрогин», и играли в ней самые знаменитые артисты.

В отличие от Евграфа Лукича, Юлия знала, что Горький впал в модное богоискательство и, что весьма существенно, манкирует своими финансовыми обязанностями перед партией. Сокрушение кумиров, которому учили на Любомирской, коснулось и Горького. Слава его уже надоела. Немирович как бы оправдывался перед Горьким: что такое Николай Ставрогин, как не идея отрицания, опустошающая душу? Что такое Петр Верховенский, как не идея разрушения?

Юлия возмущалась: почему идея отрицания опустошает душу? Что за вздор? И почему идея разрушения так плоха, что этот благообразный Немирович вкупе со своим Достоевским называет разрушителей бесами?

Она была против Горького потому, что он не хотел видеть на сцене Достоевского. Но она была и против Достоевского потому, что не любила его. Однако в глубине души она хотела увидеть этого мрачного писателя, разыгранного славными актерами. Отрицание и разрушение были свойственны ей настолько, что она лишь ожесточалась, когда кто-нибудь пытался их разоблачать...

44

— «Только гордый буревестник реет смело и свободно!» — декламировал Коршунов.— То кричит пророк победы!

— Чему же вы радуетесь? — спросила Юлия.

Коршунов круто повернулся к ней на каблуках.

— Как это — чему? Правильно изложил! Я не большой его любитель, а за это — хвалю! В памяти остается! Как гвозди вбивает!

— Евграф Лукич, эти стихи были написаны много лет назад,— улыбнулась Юлия,— долго они до вас доходили.

— Ну-к штож! — согласился Коршунов.— Золото не стареет! Я, грешный, теперь только понял, зачем его — в тюрьму, Пешкова-то...

Юлия скучала без Коршунова, и всякий раз, когда он появлялся, в ней вспыхивала потребность куражиться, злить его, будто от того она и скучала.

— Ну и зачем же? — спросила Юлия.

Он округлил глаза.

— За нас, голубушка, за купцов! За промышленников и негоциантов-с! Вот зачем!

Это заявление было настолько неожиданным, что Юлия рассмеялась:

— А вы при чем?

— Как это — при чем? — обидчиво возразил Коршунов.— Буревестники — кто? Кто в России гордо и свободно реет? А? Над ревущим морем, голубушка моя, над ревущим морем!

— Боже мой! Это вы-то — буревестники?

— Мы-с! — притопнул Коршунов.— Мы-с!

— Сказать бы об этом господину Пешкову! — смеялась Юлия.

Но Коршунов погасил ее смех серьезными глазами.

— И говорить незачем! Нечего напоминать о грехах юности... Он уже получил свое от гагар да от пингвинов.

Теперь она смотрела на него удивленно. Она уже привыкла к его неожиданностям, но всякий раз эти неожиданности застигали ее врасплох.

— Евграф Лукич! Кто же, по-вашему, гагары и пингвины?

— А ты будто не зна-а-аешь,— дразнящим тоном протянул Коршунов,— гагары они и есть гагары! Гагарины! Как сказано? «Им, гагарам, недоступно наслажденье жаждой битвы! Гром ударов их пугает!» Кого пугает гром ударов? Государственный совет,— выкинул он короткий перст,— Государственный совет, мать моя! Старцы в регалиях! А пингвины? Ты погляди, это же вицмундиры, фраки, только владимирская лента поперек брюха не описана! Да разве мы ленту не домыслим? «Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах»! А? Отчего не прятать? Не сегодня-завтра гордый буревестник вытолкает их оттедова! Купец, а по-вашему, по-марксическому,— капиталист! Вот он — прямой буревестник!

Юлия даже растерялась.

— Евграф Лукич! Бог с вами! Буревестник — это пролетарий...

— Какой еще пролетарий? — осерчал Коршунов.— Чего им его бояться-то, пролетария вашего? Ему полтинник накинь — он и крылья сложил! Буревестник! А полтинник кто даст? Купец даст! Кто заводы ставит? Купец! Кто дороги тянет? Купец! Сидел бы твой пролетарий с Государственным советом да с министерией без сибирской дороги до сего дня, каб не купец!

— Но строил-то пролетарий! — возмутилась Юлия.

— Я строил! — закричал Коршунов.— Я! Я твоего пролетария делаю! Из мужика его делаю! А мужика у меня — непочатый край, вся Россия! Пожелаем — вся Россия в пролетарии пойдет!

Вся Россия — в пролетарии, это она знала наизусть! Милый Евграф Лукич, он даже не подозревает, что исповедует! Марксистские воззрения прогрессиста — как это смешно. Ульянов непременно всплеснул бы сейчас ладошками, закинул бы назад голову и разразился бы стреляющим высоким хохотом! Капитализм ежечасно, ежеминутно создает армию пролетариев — это уже не философия, это — будничное дело, которым занимается не отвлеченный капитализм, а вот он — милейший Евграф Лукич Коршунов, буржуа, предприниматель, богач, эксплуататор, неугомонный поставщик своих собственных могильщиков!

Юлия зашлась смехом, охватив голову руками. Коршунов опешил:

— Что ты, мать моя, здорова ли...

— Ну — пожелайте! — вскрикивала Юлия.— Пожелайте!

— Первым делом — сельтерской выпей,— испуганно пробормотал Коршунов.

Юлия глотнула из поднесенного стакана и сказала, отдышавшись:

— Нам с вами по пути, Евграф Лукич! Только поскорее пожелайте всю Россию — в пролетарии...

И тогда Коршунов, убедившись, что она успокоилась, сказал тихо, даже печально:

— Пожелать-то можно...

— Что же мешает? — подзадорила Юлия.

— Государственный совет! Министерия! Власть! — вдруг закричал Коршунов.— Вот они с нами как!

И схватил себя обеими руками за короткую крепкую шею.

— Значит,— впилась в него взглядом Юлия,— долой самодержавие?

Коршунов посмотрел на нее как на малое дитя.

— Напугала, матушка... Долой самодержавие! Без царя России не жить... А вот самодержавие — действительно... Каб твои пролетарии не мешались, давно бы мы уже это «долой» спроворили... Сказано — только гордый буревестник! Стало быть — купец!

45

Двадцать восьмого октября тринадцатого года вердиктом присяжных заседателей в Киевском окружном суде был оправдан Бейлис, приказчик кирпичного завода.

Бейлиса арестовали еще в одиннадцатом году, в августе. Дело было так, что весною на Лукьяновке, в пещере, в ста пятидесяти саженях от кирпичного завода, принадлежащего еврейской хирургической больнице, был обнаружен обезображенный сорока пятью ранами труп отрока Андрюши — единственного сыночка Шурки Приходьки — Ющинской. Поначалу власти подумали на саму Шурку и ее сожителя Феодосия Чиркова, взяли их, но потом разобрались, выпустили и прислушались, что говорят люди и что пишут в газетах: убийство-то произошло противу еврейской пасхи! И в смерти этой молва винила еврея Бейлиса!

Бейлиса заперли в тюрьму, как вдруг не прошло и месяца, как здесь же, в Киеве, еврей Богров выстрелил в председателя Совета министров Столыпина. Выстрелил в театре на глазах государя. Зачем убил? Кто подослал? Разбирались тайно, как и полагается в государственном случае.

Убийцу судили в три счета и поспешно повесили. В газете даже описали, как хотел он перед петлей шепнуть что-то приведенному к виселице казенному раввину. Шепнуть хотел, конечно, по-еврейски... Но не позволили: мало ли чего шепнет...

А дело Бейлиса шло своим путем, как будто кто-то заслонял им темное убийство в Оперном театре.

Двадцать пять месяцев шло следствие, и наконец вынесено было обвинение в том, что мещанин местечка Василькова Менахем-Мендель Тевьев Бейлис по предварительному соглашению с другими, не обнаруженными следствием лицами, с обдуманным заранее намереньем, из побуждений религиозного изуверства, для обрядовых целей лишил жизни мальчика Андрея Ющинского тринадцати лет.

Тут все соападало — и тринадцать лет, в которые Авраам обрезал Агариного сына, и следы каменных ножей, коими обрезание — брис — совершается, и кровь невинных младенцев, потребная для мацы...

Два года дело сие будоражило страну, наполняло газеты, перехлестнуло за границу, напомнило о французском Дрейфусе. Даже стали искать название для защитников Бейлиса, подобное дрейфуссарам, бейлиссары, что ли...

Два года день за днем отдаляли Россию от загадочной смерти Петра Аркадьевича Столыпина, не стирая, впрочем, с памяти того, что стрелял в русского преобразователя еврей.

Приехал было сенатор Трусевич расследовать дело об убийстве председателя Совета министров, да вдруг недели через две отозван был назад в столицу по высочайшему повелению.

Немногие русские люди догадывались: не для того ли раздувают дело приказчика, чтобы подзабылось убийство премьер-министра? Но чем дольше шло следствие, чем больше суетились власти, тем больше и больше русских людей всех сословий, всех состояний понимали: ложь, очередная беда. Разумеется, власть достигла своего: до Столыпина уже мало кому было дело. А было дело до этого щуплого сорокалетнего кормильца пятерых детишек, сидящего под присмотром полиции в зале окружного суда.

Со временем выяснялось, что парнишку зарезали приятели Верки Чебиряк, бандерши, и что были у Верки с Шуркой свои нелады, и власти напрасно потревожили ученых людей, заставляя их листать перед запуганным приказчиком Тору и Талмуд, выбирая места, по коим можно и отпустить его с Богом, и — повесить.

И только знающие люди знали, что за всей этой музыкой стоят Ванька Каин — то есть министр юстиции Щегловитов, и ленивый оболтус — то есть министр внутренних дел и шеф жандармов Маклаков.

Гремел проклятьями семени израилеву член Государственной думы Замысловский, ругался присяжный Шмаков, поверенные истицы Шурки Приходько; доказывал государственный интерес товарищ прокурора Санкт-Петербургской судебной палаты Виппер, прибывший по ордеру министра юстиции, метался из Питера в Киев, из Киева в Питер сам прокурор Чаплинский; и как-то само по себе выходило, что не с истиною заодно государственная власть, а с бандершей Веркой и с воровкой Шуркой. Жалко было мальчишку по-христиански, а мамашу и по-христиански — не жаль.

Защищал еврея другой Маклаков — родной брат министра внутренних дел, речистый, умный, веселый, злой на слово. И то, что брат пошел на брата, и не простого, а генерала, с жандармами, с тюрьмами, не страшась ни по-семейному, ни по-людскому,— подчеркнуло догадку: с кем же власть-то в России, Боже Праведный? Почему же как добро, как сострадание, как умность какая, так непременно против власти? Карабчевский, Зарудный, Григорович-Барский, Маклаков — что им до сирого сего еврея, который и заплатить-то не сможет? А ведь встали грудью!

На базарах хлопчики распевали:

> Вера Чебырячка,
> какая ты босячка!
> Ющинского убила,
> на Бейлиса свалила!

Старшина присяжных губернский секретарь Мельников уже в особой комнате уговаривал присяжных:

— Не слушайте витий: подкуплены всемирными евреями. Даром что Мендель бедняк — за ним еврейские миллионы на христианской крови.

Присяжные заседатели — два господина из почтово-телеграфной конторы, два мещанина-домовладельца, извозчик с биржи и шестеро крестьян — всего числом одиннадцать — сопели, думали над словами двенадцатого, то есть старшины.

Половые из трактира ходили увальнями, а присмотреться — выправкою урядники. Принесли чай-сахар, подкрепить господ присяжных заседателей. Не полагалось, конечно, никому входить в помещение, в святая святых, ни мухе влететь. Но — с другой стороны — половые вроде бы и не люди. Да и служили бессловесно. Один только, выходя, вздохнул как бы про себя:

— Одно слово — жиды-с...

Намечалось семь против пяти — виновен, стало быть, еврей. И вдруг крестьянин, в новой по случаю суконной поддевке, встал, перекрестился на пустой угол размашисто, истово:

— Господи! Не могу взять грех на душу! Не виноватый!..

Ибо нельзя судить второпях, а надо ждать, пока Господь осенит чистую душу и вразумит,— не кровавиться грехом.

И никогда еще Киевский окружной суд не видел вокруг себя такого ликования, как в день двадцать восьмого октября...

Четырнадцатый год

46

В начале четырнадцатого года на Васильевском появился благообразный господин в хорошей шубе и бобровой шапке пирожком. Он спросил мадемуазель Юлию Семеновну.

Швейцар, похожий, как и все швейцары хороших домов, на царя Александра Второго, раздел гостя, проводил в покои. Швейцар привык к посетителям старшей барышни. Будто в доме теперь главенствовала она, а не господин советник.

Гость был вальяжен, воспитан. Бергу показалось, что это и есть главный заводила, приказавший дочери вернуться в отчий дом. Звали гостя Лев Борисович. Берг не знал, о чем говорил этот гость с Юдифью. А между тем особняку на Васильевском предназначалось отныне быть вне подозрений. Откладывалось также и замужество, к которому склонял Зиновьев.

— Вы должны отойти от движения,— сказал Юлии Лев Борисович,— так нужно.

— Может быть, мне уехать в Ниццу?

— Нет, этого делать не следует. Оставайтесь под каким-нибудь предлогом. Даже лучше, если все уедут. А вы займитесь чем-нибудь. Ну, скажем, изучайте математику. Или энтомологию. Вы любите жуков или бабочек?

— Терпеть не могу.

— Ну — ботаникой. И — никаких листовок.

Берг пытался завести разговор. Гость охотно говорил о Верхарне, Сезанне и Ван-Гоге. Он пророчил Ван-Гогу великое будущее. Но Берг все толкал его на разговор о социализме, которым увлеклась дочь. Гость вздохнул, давая понять, что не желает беседовать на эту тему. Но все же сказал:

— Я не могу принять это учение, оно мне представляется утопическим. Я покуда лишь размышляю над ним... Очень хорошо говорит господин Шеффле в своем сочинении «Квинтэссенция Социализма». Социализму приписывают постоянные разделы имуществ, в то время как он имеет в виду лишь собственность, имеющую значение орудия или средства производства. Социализму приписывают вещи, которых он сам чуждается. Возможно, это — плоское невежество, но весьма возможно, что это умышленное искажение, рассчитанное на возбуждение страстей. Такое отношение к вопросу грустно и опасно. Оно предает социализм в руки тех, кого прельщает не столько производство продукта, сколько распределение его. А между тем именно производство есть наиболее привлекательный аспект социализма.

Лев Борисович говорил кругло, ровно, как профессор, у кого на лекциях не спят.

Но Юлия слушала его, пряча улыбку и стараясь смотреть широкими глазами восторженной курсистки. Кто такой этот Шеффле? Наверно, какой-то вялый филистер — сколько их теперь!

— К счастью,— продолжал гость,— пропаганда карикатурным социализмом многих антикультурных учений, как, например, установление социалистического строя разом, во всем его объеме и при любых социальных условиях, пренебрежение к искусству, отвлеченной науке — суть только бессвязные пристройки к научному социализму. Социализм не отвечает за нелепости той или другой фракции социал-демократии, и самая целесообразная борьба с этими нелепостями — это распространение доктрин научного социализма...

Берг был в восторге. Может быть, это — действительно теория. Кстати, где теперь этот юноша Кордин?

— Ты ничего не знаешь о Павле Михайловиче? — спросил Берг, когда гость ушел.

— Он служит на Южном заводе у Евграфа Лукича.

— Да-да, это я знаю... Вы переписываетесь?

— Редко. А почему ты вдруг спросил? — Юлия покраснела до слез. Она вообразила вагон. Чувство, которое испытала она, было неясным, таинственным, незавершенным, она ощутила и сейчас отдаленную тоску. Берг сделал вид, что не замечает ее состояния.

— Он мне показался серьезным молодым человеком...

— Что же ты его не взял на службу? — вмиг пришла в себя Юлия.

— Возможно, это была моя ошибка.

47

Мари в ночной сорочке, заплаканная, уставшая от бессонницы, вошла тихо, виновато.

— Что с тобой? — поднялась на локте старшая сестра и отложила книгу.

— Можно я полежу?.. Обними меня, Ю... Я не могу уснуть... Я мучаюсь...

— Ну ложись, глупенькая. С чего это ты — в слезы?

Мари сунулась под одеяло и, обхватив сестру сильно, отчаянно, затряслась плачем. Юлия прижала ее, чувствуя сквозь сорочку горячую влагу.

— Ю,— тяжко, по-детски вздохнула Мари,— мы никогда больше не увидимся...

— С чего ты взяла?

— Я не взяла... Я — знаю... Я думала, думала и вдруг поняла... Никогда, Ю... Никогда...

— Но мы ведь и прежде расставались,— сказала Юлия, проникаясь страхом сестры.

— Нет, Ю... Мы не расставались... А теперь — расстаемся... До самой могилы мы не увидим друг друга...

— Ну, о могиле еще рано говорить,— превозмогала страх Юлии.— Летом я к вам приеду...

— Нет, Ю, не приедешь... И мы никогда не вернемся домой...

— Ну, знаешь, это уже — мистика.

— Не сердись, Ю, не сердись... Пожалей меня... Я тебя так люблю...

— И я тебя люблю, глупенькая!

— Люби... Всегда люби... Я не уговариваю тебя ехать с нами, потому что... Потому что — я не знаю, почему. Потому что мы должны расстаться, а зачем — я не знаю. Ничего мне не обещай, ничего мне не говори, пожалей меня...

Юлия почувствовала, что сама сейчас зарыдает. Как будто младшая сестра приоткрыла завесу будущего, за которой — холод и мрак.

Завтра Мари с мамой уезжают в Ниццу. Папа проводит их до Парижа, ему нужно в Лондон. У него там дела. А она останется здесь. Как они согласились оставить ее одну? Это нельзя было объяснить. Может быть, Мари задумалась над тем, чего нельзя объяснить? Впрочем, Юлия ведь уже оставалась одна и даже ездила одна за границу. Она — взрослая, самостоятельная дама, черт побери!

— Ю,— шепнула Мари,— ты любишь Павла Михайловича? Люби его... Я хочу, чтобы с тобою был кто-нибудь из наших.

— А он — наш?

— Наш... Он высокий, красивый и умный... Никогда не бросай его, Ю...

— Ну, хорошо. Ты меня расстроила своими слезами.

— Я уже не плачу. Если ты выйдешь замуж за Павла Михайловича — я буду спокойна.

48

— Ну-с, молодая барыня,— потер руки Коршунов,— сплетни не слыхала?

— Какие сплетни?

— Так уж весь Питер гудит — не нарадуется... Социал-демократы-то твои, а?

Юлия насторожилась.

— Евграф Лукич, нельзя ли без загадок?

— Можно-с!.. Приходит к Михал Владимировичу и — прошение на стол — слагаю-де с себя депутатство.

— Кто приходит?

— Малиновский! — объявил Коршунов, как бичом щелкнул. Щелкнул и — попал! След резко защемил внутри, она даже закусила губу, мгновенно вспомнив, как от Малиновского пахло вежеталем и кислым молоком.

Коршунов ликовал, он не заметил ее смущения.

— Малиновский! В охранке служил! Родзянко, конечно, заквохтал — как так? А его и след простыл!.. Агент — твой социал-демократ! Агент! Вроде Азефа или, скажем, Богрова — сами уж разбирайтесь, вроде кого.

Память вспыхивала в Юлии, как в темном синематографе: удивленные, неверящие глаза Крупской, высокий непререкаемый голос Ульянова, монокль на новогодней вечеринке и — вежеталь с кислым молоком — противная рожа над ее лицом! Прохаост!

И вдруг — совсем иное — печальное лицо — храни тебя Бог, милая племянница... Скажи Старику, что я тебя отослал по неизвестной тебе причине.

Юлия подавила волнение.

— Откуда же у вас такие сведенья?

— А оттуда, мать моя, что Родзянке сам Джунковский сказал — позор, мерзость! В депутатах Государственной думы — тайный агент полиции! Шуму поднимать не надо: стыдно за Россию.

— Что же вы шум-то поднимаете?

— Мой шум — не шум, погоди, что еще в Думе будет! Тут иной вопрос — почему это, как шпик, как филер — так непременно из ваших? И выходит, мать моя, что бунтуете вы на казенные денежки!

Память донесла обрывки фраз, услышанных там, в Кракове, на Любомирской. «Если охранке так уж необходимо расколоть русскую социал-демократию — пусть начинает с меньшевиков!» Смех Ульянова и голос Малиновского: «Мы их заставим работать на себя». Ах, как он наивен — Евграф Лукич Коршунов — вместе со своим распрекрасным жандармом Джунковским и похожим на индюка Родзянкой!

— Глупости! — облегченно выдохнула Юлия.— Сами-то вы понимаете, что говорите?

Коршунов озлился.

— Столыпина кто убил? Вы... И как-то интересно убили — на глазах государя-императора... Уж не сговорились ли?

— Да бог с вами, Евграф Лукич! Как это мы могли сговориться с царем?! Бог с вами...

— Занятно!.. Малиновский какие речи разводил? Буржуазная власть! Буржуазная власть!

— Неправда! — веселилась Юлия.— Мы пишем — буржуазно-помещичья власть!

Коршунов аж взвизгнул:

— Буржуазно-помещичья?! Да подумали вы, что городите?! Это все равно что сказать — конико-собачья власть!

Коршунов навещал Бергов, когда бывал в Питере, посылал цветы Наталии Александровне. Теперь же, когда Берги уехали (весьма легкомысленно, как полагал Евграф Лукич), он почитал себя непазванным опекуном своенравной этой девчонки. У него были основания беспокоиться о ней: приближалась война. Берг поехал в Лондон к Гармониусу насчет подводных лодок. Коршунов получил срочный заказ на снарядные стаканы. Война с разлюбезной Германией накатывалась неотвратимо.

Кайзер Вильгельм отправился тайно к австрийскому принцу Францу Фердинанду — должно быть, не пиво пить. В Санкт-Петербурге ожидался воинственный президент Французской республики.

Евграф Лукич нервничал: война — вот она, не до разговоров в России, не до партий. Неужели не видно? Неужели даже перед страшным оскалом войны не угомонятся ловцы и ловимые?

50

Казаки собственного его величества конвоя в красных черкесках, бородатые до глаз, на высоченных буланых конях дробно гарцевали по торцам Дворцовой набережной, сопровождая экипажи французского президента.

Густая толпа жалась к парапету вдоль Невы (у Зимнего находиться не полагалось), пялилась на кортеж, отделяемая белыми городовыми. Городовые посматривали, чтобы какой-нибудь озорник не выкинул штуку, не соскочил на мостовую с высокого тротуара. Посматривали со страхом в выпученных глазах, приговаривали негромко, по-хорошему: «Осади... Господа... Папрашу... Честью прошу — осади...» И еще протискивались сквозь спины и животы чисто одетые люди с кокардами — трехцветными розетками — в петлицах: «Господа... Господа... Слава союзникам!» И первыми орали «ура». Толпа подхватывала охотно, от души. Люди эти с трехцветными (белый, синий, красный) кокардами пробивались вровень с президентом, не отставая, а слегка обгоняя экипаж, и бодрили толпу, отчего «ура» это ползло вдоль кавалькады.

Но — за всеми не углядишь — поближе к Троицкому мосту звонкий гимназический голос закричал:

— Да здравствует республика! Ура!

Толпа подхватила это «ура». Ближний городовой нутром почуял, кто кричал, обернулся и сразу нанал глазами на светлолицего гимназиста:

— Господин, не велено... Честью прошу...

Но тому только того и надо было. Взвизгнул детским злорадством:

— То есть как это — не велено? Мы приветствуем президента Французской Республики! — И победно задрал едва проклюнувшуюся бороденку.

Городовой вздохнул тяжело:

— Господин, вы не умничайте... Не велено...

И вдруг — высокий женский глас:

— Что не велено? Приветствовать доблестных союзников!?

Городовой обернулся и обомлел. Перед ним, светясь веселым, язвительным гневом, стиснута была толпою молодая прекрасная барышня, сразу видать, из господ, и немалых. Рядом вынырнул с кокардой:

— Сударыня... Попрошу вас...

— Убирайся прочь, филер! Да здравствует республика!

Городовой робел чернявых, чуял нутром — политические. Он перетаскал в часть немало народу, кого за непотребность виду, кого за драку, кого по пьяному делу. Попадались ему и карманники, и мошенники — много перевидал он за двадцатилетнюю службу в столице. И все это были людишки понятные, ясные до дна. Пьяные трезвели, драчуны стихали, карманники каялись, мошенники дурили, но и дурость их была необидной, занятной даже. Рукоприкладство они сносили как бы по-семейному — терпя и не возражая. Словесами не бросались, жалобами не грозили. Зла к ним не было никакого. Иного — особенно из посадских почище — доведешь до дому, еще и на чай-сахар даст, почесывая битый затылок. Людишки эти понимали городовую службу. Иной верзила — медведь — не то что затрещину — смотреть страшно, а — терпит, только буркалами хлопает, понимает — власть, надо терпеть. И — без разговоров, без умничанья, без этих словес, от которых в бесхитростном сердце происходит одно огорчение.

Политические терзали душу простого человека как немыслимое божье наказание. Были они из господ, вроде начальства — то есть ни-ни, руки прочь, и помыслить не смей. Но, с другой стороны, начальство велело выискивать их, а доставишь в часть — разговаривают как ровня: «вы», «сударыня» и все такое. И тайная мысль теплилась в душе городового, как лампадка перед темным образом: уж не сговорились ли господа мучать верных слуг своих бессовестной господской игрою? Должно быть, так, потому что обыкновенного арестанта и лупи, и в карцер — будто так и надо. А вокруг этих — непременно шум. Содержать особо, книжки давать, свидания допускать. И — терпеть от непонятных словес, от ехидных улыбочек, от глумления, от барской недотрожливости.

Вот и эта — смотрит ясно. Дитятя, видать, изголяется, забавляясь господской своей забавою.

— Вив ля репюблик!

А рядом — жидкобородые студенты, курсисточки в птичьих шляпках, и все ликуют, как ребятишки перед пряником.

— Вив ля репюблик! Да здравствует республика!

И — мало того — как по знаку, как сговорились, песню! Ту самую, крамольную, которую никак не дозволено, но которую уже второй день, по повелению того же начальства, дуют все гарнизонные трубачи:

— Алонз анфан де ля патри!

Слава Богу, хоть не по-русски.

Ах, господа...

Казаки за такую песню — шашкой плашмя, и царапнет — не беда, а тут гарцуют казаки, будто не слышат, будто медведь ухо отдавил. А из засыпанной цветами кареты, как из катафалка (прости, Господи), черненький небольшой человечек, лысенький, бороденка-усики, вздымает новую шляпу, машет ручкой, отзывается улыбкою, слушает с приятностью на розовом лице.

— Вив ля репюблик! Форме во батайон! Лежур деглюар эт арриве!

И не выговорить барскую несказаль!..

При памятнике генералиссимусу князю Суворову, возле которого тоже — и алонзанфан и вивлярепюблик,— кавалькада свернула на Троицкий мост. Красные черкески приплясывали вдоль набитых цветами экипажей, сопровождали гостей прямой дорогою через Неву в Петропавловскую крепость, как политических...

Вечером того же дня на Русском Рено, на Путиловском, на Брянском — полиция разгоняла мастеровых: ходили с красным флагом, пели все ту же песню, но уже понятно, по-русски:

> Отречемся от старого мира!
> Отряхнем его прах с наших ног!

51

Двадцатого июля Анюта, горничная Юлии, сподобилась: видела государя на балконе Зимнего дворца.

По Невскому ходили толпы — разряженные, веселые, запружали проспект, загораживали дорогу трамваям. Вожатые звонили настойчиво, однако не зло, а все с тем же ликующим пониманием, с которым шумела, кричала, бодрилась толпа.

Какая-то объединительная благость сближала народ с властью. Вчера — было дело — простые люди ломали немецкое посольство против Исаакия. Звенели стекла, катились отбитые мраморные головы, люди горячили себя ревом, свистом, добирались до самого Фридриха фон Пурталеса, вероломного тевтонского посла. Полиция не разгоняла, уговаривала терпеливо, братски, отечески. Да и посол, сказывали, уже ищи-свищи, успел сбежать из Питера.

Митинги заваривались на ходу. Справно одетые люди с бантами (белый, голубой, красный цвета) вскакивали на что попало — на выступы витрин, на тумбы старинных коновязей, на ящики, вынесенные из лавок, махали руками:

— Смерть вероломному тевтону!

— Победы православному воинству!

Городовые в белых кителях стояли тут же, в толпе, осклабясь, удивленно, радостно вздыхая, иные утирали нечаянную слезу, крестились, когда крестилась толпа.

Какой-то мастеровой обнимал городового братски:

— Васильич! Поверь! Вот он я весь — душою и телом!..

Городовой поддавался объятиям, ворчал умиротворенно:

— Кто старое помянет — глаз вон... Эка, народ-то, а?.. А вы — бунтовали...

— Дьявол путал, Васильич, поверь...

Посредине Невского, от Знаменской и далее, шел крестный ход. Шел неторопливо, не шел — двигался, плыл, уверенно, железно. Городовой мягко отстранил мастерового, вытянулся, ладонь к виску. И не было в крестном ходу никакого начальства, а один народ, и выходило, городовые козырнли народу.

Мальчишки кричали, бегали, отдавали честь, подражая городовым. Васильич даже шлепнул одного по загривку — ласково, отечески,— проворчал добродушно:

— Шельмец... К пустой башке руку не прикладывают...

А крестный ход тек, тек, набираясь народу. Впереди — хоругви, лики святых, а меж ними в рамах лики Государя Императора и Наследника Цесаревича. Мальчишки смотрели на портрет сверстника выпученно, страстно: военный морской костюмчик, чистое личико. Иные даже вихры приглаживали, степенясь.

Трамваи и звонить перестали. Публика выходила из них, люди всяких званий пробирались сквозь толпу а толпу же, увеличивая ширину крестного хода.

Тянули не в лад, но со всем сердечным откровением: кто — «Боже, Царя храни», кто — «Коль славен наш Господь в Сионе», и чудно́ — разнопенье не мешало, сливаясь в единый народный глас.

Возле нечаянных митингов крестный ход не останавливался, а вбирал в себя малые толпы, увлекая вместе с ораторами вперед к Адмиралтейству. И только городовые оставались на местах, отдавая честь плывущему людскому потоку.

Анюта шла бездумно, держась не ногами, а какой-то неведомой силой, и сила эта сама по себе распоряжалась, велела плакать одними глазами, замирать сердцем и петь слова, которые прежде и не попадались на язык. Но неведомая сила внушала ей эти слова, и она тянула их самозабвенно. Она плыла среди незнакомых людей, разных, всяких, и, не думая ни о чем, чувствовала свою причастность к каждому из этих безусых гимназистов, простых баб, чистых барышень, усатых мастеровых, господ в дорогих костюмах, посадских и мужиков.

Неподалеку от почтамта само по себе, ниоткуда не взявшись, разнеслось по толпе: «Государь!»

Слово это вмиг вернуло понятие. Толпа бросила петь, задышала, затеснилась и, увлекаемая все той же неведомой силой, хлынула сама на себя, сама себя подгоняя, сама себя задерживая, сама себя стискивая до потери дыхания.

Она хлынула, будто заранее знала куда, будто спасаясь сама от себя, от своей смертельной тесноты,— направо, в арку Главного штаба.

Там, за аркой, широко, просторно, безлюдно, как-то даже удивительно по нынешней тесноте, разлеглась чистая Дворцовая площадь, обозначенная единым молчаливым столпом с ангелом, перед далекими хоромами Зимнего дворца. И была эта арка как тесная дверь в Небесное царствие, дверь, за которой ждет простор и покой и блаженство всякого, кто протиснется.

Толпа уже не плыла, не пела, она втискивалась в тесную арку и разливалась, разливалась бегом, выхукивая освободившимся дыханием «ура!».

Площадь была непомерна, бесконечна. Толпа лилась и лилась, а площадь разжижала ее, притишала ее дыхание, ее клики.

Там, за цоколем столпа — еще далеко от глаз, на огороженном выступе между двойных белых колонн — находился плохо различимый небольшой человек — Царь Всея Великия и Малыя и Белыя Руси.

Добегавшие до хором люди стали половиниться — падать на колени. Нагоняющие упирались в спины и подрубленно падали же.

Анюта рухнула возле цоколя и, уже не надеясь разглядеть сквозь слезы небольшого человека, крестилась, широко, вольготно, набирая воздуха открытым ртом...

— Ты появляешься тогда, когда я не знаю, что мне делать,— сказала Юлия.

— Я вынужден создавать обстоятельства, при которых могу тебе пригодиться...

— Теперь я понимаю, почему началась война.

Они говорили вокруг да около, стоя друг перед другом и дождавшись друг друга. Юлия

любила Павла Кордина, но было что-то такое, что отдаляло ее от него. Когда он был рядом, это «что-то» не имело силы. Но когда его не было рядом, она чувствовала, что там, в Кракове, Павел Кордин не был бы принят в качестве своего. И это оказывалось сильнее любви. Но сейчас он стоял перед нею, смущенный, обрадованный и сдерживающий себя от порыва, которого она ждала. И вновь она первая, как тогда в вагоне, метнулась к нему и прижалась благодарно и безотчетно.

Анюта, соучастливо шмыгая носом, прибирала комнату барышни. Повенчать бы их, повенчать, и — конец безобразию. Павел Кордин нравился ей давно — положительный, солидный, веселый, добрый; иного барина себе она и не желала. Ну и что, что он — не миллионщик? Господа сами не ведают, чего им надо, какого рожна.

Два дня пребывания Павла Михайловича на Васильевском принесли Анюте успокоение: может быть, наконец-то соединятся они законным браком? Анюта даже жалела про себя Павла Михайловича, зная барышнину вздорную натуру. Но ведь — муж всему голова, обойдется. Не век же быть войне. Возвратятся господа, увидят мир и согласие, да еще спасибо скажут зятю за то, что дочка при нем перебесилась.

Анюта испытывала полное счастье, когда исхудавшие от любви (не расставались же, слава Богу, ни днем ни ночью) молодые прощались весело, открыто. Павел Михайлович, если бы на войну шел, был бы, конечно, героем. Но ведь и снаряды кому-нибудь надо делать. А он по снарядам, почитай, теперь человек не последний.

55

Во вторник пятого августа воспаленная Москва ринулась к Кремлю. Белые городовые, как тяжелые гуси, тянулись от Иверской часовни до Спасских ворот, разделяя толпу, заполонившую Красную площадь. Но раздел этот не тяготил народ, а как бы придавал ему истовости.

Благовест, время от времени слетавший с колоколен, был легок, легок и невесом, будто возникал от ангельского прикосновения к священной меди. Благовест этот вплывал не в уши — в сердце, и люди размашисто осеняли себя крестным знамением, честно обращали лица к синему небу, налагая персты на чело, и смиренно кланялись, перенося руку на живот и на плечи.

Евграф Лукич крестился со всеми, чувствуя сладкую слезу облегчения.

Курсистки, гимназисты, студенты, приказчики, мастеровые, охотнорядские увальни, замоскворецкие старухи, подмосковные мужики, замшелые бородачи...

Лобное место островом, ладьею, на которой вместо парусов — хоругви со Спасом, возвышалось над темной колыхающейся толпой, которая двигалась то к Василию Блаженному, то назад, к Иверской, то к торговым рядам, то к Кремлевской стене.

А с колоколен плыл и плыл благовест...

В самом Кремле было теснее.

Плечи, спины, животы прижимались плотно, люди крестились мелко, не отводя локтей в тесноте.

И вдруг ударил Иван Великий гулко, победно. Толпа отозвалась судорогой, вздохом, рокотом, сжалась до потери дыхания и выдохнула «ура». А Иван Великий, будто набравшись громовой неземной силы, гудел тревожным гулом, взбадривая колокола-подголоски, и уже не благовест, а бранный набат взрывал душу, морозил кожу на обнаженных головах, звал к бесстрашию, к восторгу, к слезам. Стиснуто закричали бабы, закликали, заголосили, давимые беспощадным сжатием.

«Неужто — Ходынка? — сверкнуло в Евграфе Лукиче.— Сохрани, Господи, сохрани, не лишай разума...»

Толпа молилась сдавленным плачем, ревела, превозмогая колокольный набат, а Евграф Лукич молил Бога всей глубиною встревоженной души, молил, как никогда в жизни: «Не дай Ходынки, Боже Праведный! Не дай того, чем поразил начало пасмурного сего царствования... Не дай, Господи!..»

Молитва была услышана, толпа будто поредела, дала дышать, слышать, видеть.

— Вот та революция, которую нам предсказывали в Берлине!

Евграф Лукич обернулся. Среди простых московских лиц, залитых ясными слезами, увидел он холодное барское лицо над расшитым мундирным воротом. Глаза генерала сверкали, в складке под веками искрились на солнце капли.

Генерал узнал Коршунова.

— Зачем вы в толпе, Евграф Лукич?.. Скромность ваша известна, однако...

— Да и вы скромны, ваше превосходительство.

— Пойдемте, пойдемте...

Человек нерусского виду, тот, которому генерал только что сказал про революцию, поклонился Евграфу Лукичу, и — чудо! — оказалось место, где кланяться.

— Наш крупнейший промышленник,— пояснил ему генерал...

— Мы переживаем исторический момент,— чисто проговорил по-русски этот человек,— историческое будущее подготовляется именно здесь и именно в эту минуту...

Коршунов застеснялся складных слов. Слова эти как бы вмиг остудили сердце, просушили слезы...

— Точно так,— подтвердил Евграф Лукич и пошел за генералом сквозь почтительно расступающуюся толпу.

Они пробирались к Большому дворцу, и чем ближе, тем свободнее было пробираться. Евграф Лукич узнавал Рябушинских, Коновааловых, гласных Московской думы, губернаторских чиновников, артистов, адвокатов. Евграф Лукич прищурился прикидкою: не было здесь чинов ниже четвертого-пятого класса. И суетная, никак не торжественная мысль посетила Евграфа Лукича: как это народ чует — брюхом, боками, спинами,— кого пропускать, перед кем расступаться? Чует по духу, чует истово, даже горделиво.

Толпа пропускала сквозь себя, процеживала сквозь частое сито частицу самой себя, покорно освященную молчаливым согласием. Малую толику, предназначенную благодарным послушанием предстать перед государем от имени всего народа...

Евграф Лукич стоял в Георгиевской зале, отгороженный спинами, эполетами, плечами, не пытаясь пробраться сквозь них, и только по благоговейному гулу и по приличной внезапной тишине понимал, что происходит в центре. С неожиданным трепетом, похожим на тот, который пережил он на площади, когда ударил набат, Евграф Лукич услышал негромкий, но твердый голос императора:

— По обычаю наших предков, мы пришли искать в Москве поддержки своим нравственным силам в молитве перед святынями Кремля...

Царь говорил ровно, чисто, в зале старались не дышать — это Евграф Лукич чувствовал по себе: истовая слеза мешала дыханию, он сглотнул, ища облегчения.

— Прекрасный порыв охватил всю Россию, без различия племен и национальностей... Отсюда, из сердца русской земли, мы посылаем нашим храбрым войскам и нашим доблестным союзникам горячее наше приветствие. С нами Бог!..

Евграфу Лукичу казалось, что государь и сам искал облегчения душе своей и нашел его в краткости речи. И едва он сказал — выдохом вырвалось «ура», но «ура» это было не солдатское, складное и совместное, как на параде, а — неумелое, какое пришлось, несоразмеренное, ни громкое, ни тихое, а истинно ровно такое, чтоб облегчить душу. Евграф Лукич и сам вскрикнул «ура» и удивился, что вскрикнул тише, чем хотел.

Спины, плечи, эполеты заколыхались и потянулись через Владимирскую залу по священным сеням на Красное крыльцо и оттуда, уже снаружи донесся до Евграфа Лукича радостный отчаянный неуемный рев народа.

Евграф Лукич ступил на крыльцо. Он двигался общим ходом, не смея ни отстать, ни упредить. Там, впереди, шел император, шел приложиться к кресту царя Михаила. А за ним плыл сонм лучших людей государства, и Евграф Лукич верил, что причислен к сонму сему, и сердце его рвалось счастием готовности.

В четырехугольном Успенском соборе перед золотым — во всю высоту — иконостасом, в желтом радужном трепете свечей, в расплавленном злате храма, в драгоценном мерцании, служили три митрополита и двенадцать архиепископов. Облачения их сверкали не земным богатством бесценных самоцветов, а как сокровища, явившиеся вдруг из недоступных сфер, где ангелы, архангелы и начала, где силы господства и власти, где серафимы, херувимы и престоли. Над смиренным причтем архиереев, архимандритов, игуменов, у левого амвона, певчие в одеждах времен царя Ивана неземными голосами просветляли душу, очищали разум, томили истиной.

Там, впереди, молился государь с августейшим семейством. Царица и четыре царевны стояли согбенно, покорно. А на руках здоровенного матроса притих царевич. Матрос торчал несуразно, бездуховно, как идол среди ангелов, чернобородый, на татарский манер. Но не он терзал просветленную душу Евграфа Лукича. А терзал ее Божьим попреком этот болезненный отрок, будто в нем, в безгрешном дитяти, не виноватом ни в чем, теплилась какая-то грозная расплата за какой-то необъятный грех.

Евграф Лукич слушал о даровании победы, смотрел на сникшее дитя, и сердце его рвалось угрюмым, беспощадным, необъяснимым предчувствием...

А восьмого августа явился России знак беды: затмение Солнца.

Конечно, природная эта страсть была предсказана в календарях, объяснена доподлинно учеными людьми. Однако грянула она как Божье предостережение. В иное время кто бы слово сказал?

Но в этот час, в самом начале войны, да еще в пятницу, да еще на Успенский пост, да еще, говорили, темнее всего было как раз над южным театром военных действий, который уж будто оттеснял австрияков и мадьяр,— предостережение Господне воспринято было весьма и весьма тревожно.

56

Павел Кордин не выходил из токарного третьи сутки — тут же и дремал на ящике с ветошью.

Трансмиссионные валы шлепали пасами, и каждый шлепок был похож на звук разрыва. Токари стачивали стружку с шестидюймовых стаканов, небритые, мрачные, будто вскочили не отоспавшись, спохватились и — сразу — к резцам. Стружка тяжелая, вороненая, завиаалась рваными спиралями, заваливала торцовый пол цеха, торчала из ящиков.

На тяжелой ручной тележке по малым рельсам катили в цех заготовки из литейного, из разливки.

В цех вошел новенький подпоручик — приемщик Глввного артиллерийского управления.

Павел Кордин узнал в подпоручике тамбовского помещика товарища Мишеля, однако виду не подал, ждал.

Но ждать пришлось недолго.

Приемщик артиллерийского управления товарищ Мишель бросился к нему, едва увидел:

— Вы здесь, коллега! Боже мой! Вы — здесь...

— А где же мне быть? — улыбнулся Павел.

— Да-да-да... Разумеется... Как вы тогда были правы!

— Рад вас видеть, Михаил Александрович,— Кордин одобрительно осмотрел его новую гимнастерку, чистенькие погоны,— позвольте спросить — довелось ли вам встретиться с Плехановым?

— К черту! — вдруг закричал товарищ Мишель.— К черту! Мы расстались с братом еще в Вене!.. А где актер? Ну да — конечно, он теперь — враг... Он теперь — там... Может быть, и он повинен в этой страшной развязке...

— Не думаю,— улыбался Павел Кордин,— Адамский ведь — поляк, славянин.

— Оставьте, мой друг! Поляки ненадежны! Они готовы служить цезарю, кайзеру, но только — не царю!

Подпоручик товарищ Мишель, несмотря на свою новенькую гимнастерку, кавалерийские галифе и вычищенные, как маслины, сапоги, остался все-таки все тем же нервным, издерганным юношей, каким был даа года назад, когда, обуреваемый высоким долгом революционера, ринулся вместе со саоим братом товарищем Вольдемаром в Европу искать великого Плеханова.

— А где Владимир Александрович? — спросил Павел Кордин, не желая углубляться в польскую проблему.

— Не спрашивайте меня о нем! — доверительно округлил голубые глаза товарищ Мишель.— У меня нет больше брата! Он — умер!

Павел Кордин безошибочно определил по тону, что товарищ Вольдемар жив и невредим.

— Он — что же,— осторожно спросил Кордин,— остался там? Он — интернирован?

— Хуже! Он перешел на сторону тевтонов! О, позор!.. Павел Михайлович, разумеется, это — антр ну, пермэтэ муа... Шестьсот лет дворянства! Шестьсот лет! О, позор! Какое счастье, что отца нет в живых!.. Вы знаете, я только теперь понял причину смерти матушки нашей,— товарищ Мишель широко перекрестился,— она ведь умерла... О, провидение!

— Будет вам,— прикоснулся к локтю подпоручика Павел Кордин.— Откуда вам известно, что Владимир Александрович перешел к германцам? Полагаю — это ваше воображение...

— Он — в Женеве! — воскликнул подпоручик.— Мне доподлинно известно: он — интернационалист! Они требовали поражения русской армии!

— Ну и пусть их,— примирительно улыбнулся Павел Кордин.— Чего же вы испугались?

— Всего! — воскликнул подпоручик.— Теперь все против России! Все! Я не верю французам, они — легкомысленны, я не верю британцам, они — коварны! Против нас теперь весь мир! Американцы сидят и ждут, когда начнется дележка шкуры русского медведя!..

— Ну, я думаю, до шкуры еще далеко...

— Нет, не далеко... Простите меня, вы слишком увлечены всем этим,— товарищ Мишель неопределенно показал руками на цех, на штабель снарядных стаканов,— вы слишком, как бы вам сказать, увлечены мелочами...

Павел Кордин тоже посмотрел на снарядный штабель. Стаканы были помечены мелом — риской, минусом — некондиционны.

На штабеле, прикрывая верхний ряд, лежала ветошь — куча ситцевых обрезков, синих в горошек, но подпачканных маслянистой грязцою. Павел Кордин выдернул тряпицу, зачем-то протер схваченный первыми пятнами ржавчины бок стакана и сказал:

— Некондиционные... Мы были бы вам признательны, Михаил Александрович, если бы вы, со своей стороны, подтвердили нашу нужду в оборудовании... Евграф Лукич снесся с генералом Чаплиным... И если вы, как теперь говорят, подтолкнете...

— Что вам нужно? — с детской высокомерной неохотою спросил подпоручик.

Павел Кордин оживился.

— Пойдемте-ка...

Подпоручик тоже выдернул из кучи обрезок ситца и тоже протер стакан, посмотрел на тряпицу и вдруг улыбнулся язвительной беспомощной улыбкой:

— Вы верите в манифест к полякам?

— В какой манифест?! — не понял Павел Кордин.

— Вы даже не знаете об этом манифесте? — с желчным ликованием вскричал подпоручик.

— Признаться, не знаю... То есть я не вижу газет... Вы понимаете, Михаил Александрович, инструментальный цех оказался совершенно неподготовленным к этому заказу... Я ломаю голову над способом заточки резцоа... Бабки в станках оказались...

— Оставьте этот вздор! — бросил тряпицу на штабель подпоручик.— Вот вам прямое доказательство: вы, даже вы, образованный, мыслящий человек,— не задумыаались над этим манифестом! Вы даже не знаете о нем! Почему его подписал Великий князь, а не государь?!

— Ну и почему?

Подпоручик потянулся к уху Павла Кордина, для чего ему пришлось приподняться на носки. Павел Кордин опустил голову, приблизив ухо.

— Это — пробный шар,— зашептал подпоручик,— это в самом начале неверие в поляков! Утренняя заря... Знамение креста... Символ страданий и воскрешения народов... Поляки изменят! Поляки не могут не изменить! Потому-то государь и не подписал! Великий князь может ошибиться в своих надеждах, государь — никогда!

— Погодите,— выпрямился Павел Кордин и стал вытирать руки ветошью,— кому изменят поляки? Мне кажется, они изменят тому, кто станет их держать силой. Если Великий князь обещал им независимую Жечь Посполиту, они, пожалуй...

— Оставьте! — отшатнулся подпоручик.— Как можно это обещать?

— А! — рассмеялся Павел Кордин.— Стало быть, им некому изменять! Однако мы заболтались, Михаил Александрович. Пойдемте-ка лучше. Мы покрываем стаканы по методу инженера Яглинга. Его состав предохраняет мелинит от соприкосновения с металлом не хуже известных лаков, но он, представьте себе, значительно дешевле!

— Вы что? — нехотя спросил подпоручик.— Опробовали этот состав?

— Разумеется.

— А ГАУ знает об этом?

— Но вы же знаете, сколько времени потребуется на переписку! Достаточно, если ГАУ обратит внимание на наше оборудование...

— Я высоко ценю вашу увлеченность процессом изготовления шестидюймовых снарядов,— медленно сказал подпоручик, как чужому.

— Вы оказываете мне честь,— учтиво ответил Павел Кордин, чувствуя, как трудно товарищу Мишелю быть официальным и как ему хочется говорить о чем угодно, только не о снарядах, принимать которые он, собственно, прибыл на завод. Товарищ Мишель был снедаем желанием рисовать всеобщую картину битвы, воображать ее перспективы и искать в истории предсказания ошибок и промахов Великого князя и его генералов.

— А Артамонов! — вскричал подпоручик.— Хорош! Как он мог оголить левый фланг! — И снова потянулся к уху Павла Кордина: — Молодые офицеры Главного артиллерийского управления убеждены: Ренненкампф — изменник!

Павел Кордин усмехнулся.

— Вы докладывали об этом генералу Кузьмину-Караваеву?

— Шутить изволите? — мрачно спросил товарищ Мишель.— Напрасно. Разве вы не знаете, что генерал Сухомлинов принадлежит к немецкой партии?

— Мало ли кто к какой партии принадлежит? — насторожился Павел Кордин.— Мы ведь с вами — социал-демократы, и это не мешает нам...

— Оставьте наши юношеские увлечения! — торопливо перебил подпоручик.— Как вы можете сравнивать! Мы листали Маркса и увлекались Плехановым! А госпожа Сухомлинова — распутинка! Вы знаете, о чем говорят в управлении? О том, что война пошла плохо из-за того, что в Питере не было этого проклятого старца!

— Кто же это так говорит?

Подпоручик не ответил. Он присел на скамеечку (доска на двух стоящих стаканах, шкворни вбиты с краев в запальные отверстия, чтоб доска не сползала), отстегнул левый кармашек гимнастерки и потащил из него серебряный портсигар. Портсигары теперь носили в левом кармашке, как бы оберегая сердце. Павел Кордин и сам теперь совал свое курево в левую пазуху блузы, хотя до пуль отсюда было далековато.

В тяжелом портсигаре подпоручика оказалась книжечка рисовой бумаги и крупно резаный филич.

— Не хотите ли «Иру»? — спросил Павел Кордин.
— Откуда у вас «Ира»? — недовольно спросил подпоручик.— Впрочем, ясно — тыл...
— Курите,— дружелюбно протянул свой золоченый портсигар Павел Кордин.
Товарищ Мишель взял толстую папиросу, понюхал ее и вдруг сказал:
— При Танненберге, в сорока верстах от Сольдау король Владислав Пятый разбил тевтонов... В одна тысяча четыреста десятом году... Теперь тевтоны взяли реванш над славянами... Вот она — судьба... Роано пятьсот четыре года...
Товарищ Мишель раскуривал папиросу от тяжелой бензиновой зажигалки в виде снаряда. Зажигалка была светлой латуни, с красномедным изящным направляющим пояском. Павел Кордин смотрел на товарища Мишеля, соображая, как увязать давнюю победу польского короля, который, как ему помнилось, был не Владиславом, с нынешним чувством товарища Мишеля к полякам. И почему пятьсот четыре года—такой уж ровный срок.
— Будет вам,— сказал он примирительно и сам взял папиросу.— Я не думаю, что Самсонов разбит в отместку за польского короля...
— Извините,— сухо возразил подпоручик и выпустил дым вниз, к сапогам,— история славянства вам не близка... Я не смею вас упрекать этим, Боже упаси...
— Будет вам,— повторил Павел Кордин,— а если и упрекнете — что это изменит? Мне кажется, Михаил Александрович, вы ищете в истории каламбуров. Меня они не занимают. Меня занимает другое — сорок даа стакана из ста некондиционны. А у этих самых тевтонов — всего одиннадцать. Вот вам и весь польский король...
— Но Владислав победил! — вскочил подпоручик.
— Топорами! — спокойно сквзал Павел Кордин.— Топорами и мы победим, если навалимся впятером на одного...
— Значит, аы верите в победу?
Павел Кордин вздохнул:
— Как инженер я могу лишь свидетельствовать, что изготовить топор значительно легче, чем снаряд...

57

Грузный, как слон, Родзянко сидел в кресле мешком, необъятные полы расстегнутого сюртука его довисали до паркета. Он дышал не быстро, по-бычьи, и маленькие глаза председателя Государственной думы зло налились краснотою. Глядел он на Коршунова исподлобья, будто в этом шустром непоседливом купце и была причина горестного неудовольствия.
Небольшой кругленький Коршунов не робел взгляда, улыбался, и улыбочка эта добавляла Родзянке желчи.
— Позор! — пророкотал Родзянко.— Стыдно за Россию!
— Эка спохватились! — повернулся на каблучках Коршунов.— Сколько сапог-то просит Великий князь?
Родзянко обмяк, вздохнул, сказал негромко:
— Четыре миллиона пар...
— Всего-то? — рассмеялся Коршунов.— Ну, а коли дадим ему сапоги — побьет Вильгельма?
Родзянко не ответил, молчал, думал. Коршунов ждал с улыбкой.
— Да-да,— закивал большущей головой Родзянко,— война как снег на голову...
— Удивили,— раскинул ручками Коршунов.— У нас война всегда как снег на голову. Пора бы приаыкнуть... И японская как снег на голову,— махнул ручкой,— и турецкая,— тоже махнул,— и крымская... От самого Гостомысла — и все как снег на голову... Ладно вам думать! Триста тысяч пар поставлю на алтарь отечества, а в остальных — не виноват... К январю поставлю... Что же вам Маклаков-то произнес, Михаил Владимыч?
Роданнко нахмурился.
— Я ему показал письменное заявление Великого князя и изложил обстоятельства дела... Я сказал, что промышленники соберутся на съезд...
— Собраться недолго...
Родзянко выпрямился, положил руки на немалый живот, пальцы в пальцы, и зычно, заставляя звенеть хрустальный стаканчик, возвестил:
— Он отказал. Это, гоаорит, будет нежелательной,— Михаил Владимирович подчеркивал желчью слова господина министра внутренних дел,— и всенародной демонстрацией в том направлении, что в снабжении армии существуют непорядки...
— Экий дурак, прости господи! — всплеснул руками Коршунов.— А то так не видать непорядков!
Коршунов вздохнул, помолчал и вдруг рассмеялся:
— Ай да мы! Не живем — срам в лапоть прячем! И никак не приноровимся — то ли лапоть мал, то ли срам велик! А? Михаил Владимирович?

Родзянко не позволял неприличностей, но коршуновское терпел, делая вид, что не слышит.
— Стыдно за Россию,— обхватил руками голову Родзянко,— армия без сапог...
— Да откуда ей быть в сапогах-то! — протянул Коршунов и лукаво добавил: — Надо к государю!
— К государю?! — прогремел Родзянко и восстал из кресла.— А вы знаете, милейший Евграф Лукич, что еще изволил сказать мне господин министр внутренних дел?
— Да уж сказал,— повернулся к окну Коршунов.
Родзянко приблизился, проговорил тихо:
— Министр заявил, что не хочет давать разрешения, так как под видом поставки сапог промышленники начнут делать революцию...
Коршунов повернулся, едва не зацепив Родзянку. Сунул руки в кармвны, задрал голову и глянул на председателя — воробышком на индюка.
— Ну-к што ж... А неплохо бы, Михал Владимыч!
Родзянко поднял брови, затрис седоватым клинышком бороденки, заревел до заона стекол:
— Милостивый государь! Я — подданный своего императора!
— Да бог с ним, с императором! — весело, вовсе а разлад родзянкинскому реву пропел Коршунов и вынул ручки из брюк.— Бог с ним! Но Маклакову вы, чай, не подданный? Доколе Россией прохвосты править будут, вот вы что мне скажите! Доколе купец в просителях ходить будет? Долой их к чертоаой матери, вот они мне где!
Коршунов полоснул себя ладонью по короткой шее. Родзянко, выкатив маленькие глазки, отступил от него:
— Что вы такое говорите, Евграф Лукич?..
— Дело я говорю,— наступал Коршунов, крвснея и добавляя звона а тонкий свой голос,— войну эту просрем, господин председатель Государственной думы! Как японскую просрали! А почему? А потому, что в правительстве барин сидит, как а вотчине, а купец при нем в оброчных мужиках доселе ходит! Что — не так?
Родзянко опустился а кресло, вытащил платок, утерся, пробормотал львиным бормотанием:
— Не ко времени разговор этот затеяли, Евграф Лукич, не ко времени... Война... Отечество в опасности...
— Отечество? — наклонился к нему Коршунов.— Вона — отечество! Пол земного шара! Весь лес мира, весь хлеб! И чего? Нитку железную проволокли, слава тебе господи, до Владивостока! Мерси!
Евграф Лукич не волок нитку до Владивостока — волокли другие. Но всякое дело с размахом и риском, сделанное без него, саднило ревностью, великим нетерпением — когда же мой черед города ставить, землю всколыхивать? Неуемная, ненасытная душа была у Евграфа Коршунова.
— Чем немец-то лучше меня? — выпрямился Евграф Лукич.— Что же мне — американстао не под силу?!
— Под силу, под силу,— отмахнулся Родзянко.
— Нет,— возразил Коршунов,— не под силу! Барин надо мною сидит! Чего изволите от меня требует! Неровен час — сечь на конюшне велит! А я — купец! Промышленник! Капиталист! Вокруг меня семьдесят тысяч человек кормится! Мастероаые! Самый навар человеческий! Пролетарий всех стран! Машину знают! Металл! Электричество!.. Эка невидаль — четыре миллиона пар сапог!.. Да дайте нам, купцам, десять лет своим умом пожить — будет такая Россия — никакому американцу не снилась! А царь — бог с ним! Пущай себе. Царь купцу не помеха...
Родзянко снова сложил руки на животе — пальцы в пальцы. Евграф Лукич глянул на председателя российского парламента весело, дружелюбно и не сказал, а как бы размечтался:
— Сидел бы батюшка наш царь-государь на златом троне, в сторонке и ноготки бы чистил, светясь миропомазанным ликом! И — не мешался бы, не тяготил бы душу свою... А мы бы уж сами министроа припаяли, чтобы трудились, а не чванились... А заворуется — в шею! Как у кузена нашего, в Англии...
Родзянко, должно быть, приравнял это вольнодумие к обыкновенному коршуновскому острословию, к неприличным его выходкам и сделал вид, что не слышал. Тяжело повел бычьей головою.
Евграф Лукич усмехнулся, подошел к столику, надавил ухо сифона, наточил себе в хрустальный стакан сельтерской, выпил, капля из стакана расползлась по лацкану клетчатого сюртучка. Поставил стакан на хрустальный подносик и — без веселья, без дружелюбия, с горькой обидой — сказал:
— Съезд... Ну и где ж теперь сапоги для православного воинства добудет министерия? Аль босиком воевать?
Родзянко выразил было неудовольствие бровями, но Коршунов не дал слова сказать, отмахнулся ручкой.

— На поклон к иноземцу пойдем! Не впервой! И дадут нам господа иноземцы, что им негоже,— лапти на аглицкий манер! Во французские боты русского Анику оденете! Лишь бы купцов до гласности не допустить! Ай, народ! Ай, долготерпеливый...

— Евграф Лукич,— повысил голос Родзянко,— Государственная дума, дарованная народу государем императором...

— Дарованная! — перебил Коршунов.— То-то и оно, что — дарованная! Как бы назад не забрал! Эк вам камергерский ключ никак сидеть не дает — впивается в то место! Не дарованная нам Дума нужна, а волею народа установленная!

Родзянко хмыкнул.

— Как же вы ее установить изволите волею народа? Речи не новые. Не состоите ли в единомыслии с господином социалистом Чхеидзе?

— А хоть с диаволом! — воскликнул Коршунов, легко перекрестился и присел на стул рядом с Родзянкой.— Вот что, Михал Владимыч, триста тысяч пар сапог я поставлю... Я кого надо и без самодержавия соберу.— Родзянко шевельнул бровями.— Погодите... Я — сам по себе, как патриот... Желая внести лепту... Патриотам-то еще дозволено ходить самим по себе? Или и их — в загон к Маркову?

Родзянко горестно закачал головою.

— Трагизм... Кто поверит? Горишь желанием помочь, и бескорыстная помощь отвергается без существенных оснований... Я вот спрашиваю себя: Евграф Лукич, может ли война быть выиграна усилием одного правительства? Способно ли оно на это?

Коршунов покосился на Родзянку снисходительно, ничего не ответил, встал, подошел к столику, открыл крышку сигарного ящичка, выбрал гавану, рассмотрел ее досконально, взял щипчики, отсек кончик над хрустальной пепельницей, поднял тяжелую бензиновую зажигалку в виде орудия — мортиры, взвесил на руке, кресанул большим пальцем колесико, раскурил сигару.

Родзянко шевельнул ноздрями, чувствуя успокоительный запах заокеанского табаку.

Коршунов набрал дыму и, выпячивая нижнюю губу, выпустил его в далекий лепной потолок.

— У нас, чтобы пользу отечеству совершить, надо первым делом обмануть министерию... Иначе нельзя.

Он подошел к окну и глянул на Исаакия, будто оценивая: чистое ли злато на куполе его. Оценил, подумал и, не оборачиваясь к Родзянке, сказал:

— Православие, самодержавие... Четыре миллиона пар солдатских сапог... Тьфу! Нельзя — революция получится...

И, резко повернувшись на каблучках, добавил, сощурившись:

— А ведь получится, Михал Владимыч! Помяните мое слово!

Сигара в руке его тлела толстым серым густым пеплом...

Пятнадцатый год

58

Сергей Суровцев выпущен был поручиком досрочно, по настойчивым своим рапортам.

Находиться в тылу, даже в Академии Главного штаба, было невыносимо, когда шла война.

Десятого января он явился на Литейный, вбежал по размашистой, пологой, кругом идущей лестнице на третий этаж и, замирая сердцем, надавил кнопку электрического звонка.

Дверь открыла не горничная Мавра, а сама Сонечка, открыла враз, будто нетерпеливо ждала за дверью.

Она была в темном платье взрослой, совсем взрослой дамы, в платье с большим вырезом, в котором слегка давали о себе знать тоненькие ключицы. Пушистая песцовая горжетка накинута была широко, на плечики, не прикрывая выреза платья. Смугловатое Сонечкино лицо показалось бледным, приоткрытые ожиданием, испугом, неведеньем, радостью губы чернели на бледном лице. Черные глаза светились все тем же испугом и неведеньем, смотрели умоляюще.

— Со-неч-ка! — простонал Суровцев и, не владея собой, холодный с мороза, в шинели, закутанный башлыком, из-под которого по плечам высовывались золотые погоны, обнял ее.

Они стояли в прихожей молча. Сонечка иногда поднимала голову, смотрела в лицо и снова прижималась щекою к сукну, к холодной пуговице, которая заметно теплела.

— К-ха,— услышали они оба и пришли в себя, ощутив действительность.

Статский советник Лев Ильич Малышев стоял в открытой двери своего кабинета — сероусый, с черными бровями и досадной лысиной, никак не идущей ни к усам, ни к бровям.

— Папа! — вскрикнула Сонечка и бросилась к нему.

Лев Ильич похлопал дочку по спине (по пушистому меху горжетки) и крикнул:

— Мавра!

Мавра выскочила вмиг — костистая, длиннорукая, в куцем передничке, всплеснула руками:

— Ой, батюшки! Сергей Михайлович, красавец наш, бравый офицер, а я-то! Ай, негодница!

И — распутывать башлык, расстегивать шинель, как раздевают малышей.

— Ну,— отстранил Сонечку статский советник,— вырвался на поле брани?

Сергей Суровцев, раздетый Маврой, щелкнул шпорами, кивнул, ткнувшись подбородком в горло, объявил:

— Поручик Суровцев, к вашим услугам.

— Ну, красавец,— любовался Лев Ильич,— ну, хорош! Ну, шельмец!

И развел руки — челомкаться.

— Софья! Мавра! Ах ты, боже мой! Что же мы стоим? Мавра! Водочки нам с господином поручиком! Пожалуйте в кабинет, ваше благородие! Ну — вылитый ты Михаил! Ах, не дожил... Софья! Вылитый полковник Суровцев! А! — Махнул рукой.— Откуда тебе знать! Мавра! Где барыня?

— Барыня с утра...

— Да знаю я, знаю! Софья! Ступай к себе!

— Папа, я не хочу к себе. Я хочу — с вами.

— С нами... Что же ты — водку с нами трескать станешь? Видел, Сергей Михайлович? Молодые барышни, а? С утра — водку! Вот — времена пошли! Куда же тебя назначили?

Святки кончились, можно было браковенчаться.

Они были посватаны с детства, с семейных шуток. Сергею казалось — он помнит Сонечку новорожденную, на крестинах. Лев Ильич поддерживал эту выдумку, потому что любил Сережку. Сережка не был на крестинах: в те дни он болел скарлатиной — еле выходили...

Суровцевы были военными из рода в род, со времен царя Петра Великого.

На японской войне маменька Сергея, Евдокия Филипповна, находилась при супруге своем, полковнике Михаиле Ивановиче. Мальчика они оставили под присмотр Малышевых. Он воспитывался в кадетском корпусе на Васильевском острове.

Сонечке Малышевой исполнилось девять лет, а Сергею четырнадцать, когда Евдокия Филипповна перевезла через всю империю скорбный груз — гроб полковника Суровцева, убитого в деле под Порт-Артуром. Гроб был запаян. Сонечка никак не могла вообразить, что там, в черном длинном ящике,— дядя Миша. Она боялась ящика и прижималась к Сереже, который стоял каменно, вытянуто и гладил ее по голове.

С того дня, с десятого января пятого года, никто уже не пошучивал над ними «жених и невеста», потому что девочка обнимала отрока, как взрослая женщина, ищущая защиты от беды только в нем и больше ни в ком.

И вот счастье — повенчать перед позициями, благословить на любовь и совет.

Маменька, Евдокия Филипповна, благословляя, сказала зардевшейся Сонечке:

— Мальчика роди... Мальчика... Суровцевым мальчик нужен... Чтоб служить... Родишь — вот эти сережки тебе отдам... Они — стародавние...

Свадьба была веселая и тревожная. Лев Ильич прослезился спьяну; теща, Елена Петровна, смеялась, утирая мужу счастливые слезы...

— Ждем с победою новобрачного! К семейному очагу!

Маменька поднесла Сергею в добрый путь только что отпечатанную новую Библию и написала на первой странице: «Не умрешь, но духом оживешь. От мамы».

59

Арест большевистских депутатов Думы, ссылка их в Сибирь насторожили Евграфа Лукича. Разумеется, если деачонка вздумает социал-демократствовать и будет схвачена — Евграф Лукич уж как-нибудь вызволит ее. Однако, полагал он, спокойнее было бы не допускать до крайности, занять делом важным, нешуточным, ответственным.

Евграф Лукич не мог уразуметь социал-демократской истины: сначала-де свалить власть, а потом уже заниматься житейскими делами. По Юдифи выходило, что пахать-сеять тщетно, покуда над всем — самодержавие. Детский забавный вздор этот удручал Коршунова: уж больно был заманчив для российского бездельника. Вздор сей осенял благословением громогласное российское ленивство, вековую веру в чудеса.

Дух народный, восставший на тевтона, был, по разумению Евграфа Лукича, делом

важным, по крайней мере в начале войны, когда обнаружилось, что — ни сапог, ни снарядов на святой Руси. Дух сей, раздуваемый патриотским кликушеством, надо было бы поддерживать. Был он все той же верою в чудо. Хотел верить русский человек в казачью пику, на которую славный Кузьма Крючков принимал дюжину австрияков за раз. Дух, отделенный от естества, от сути бытия, от истинной жизни, увлекал не одни ребячьи головы простых людей, увлекал он людей опытных, дельных, увлекал он и самого Евграфа Лукича.

Дух народный был силою великою именно потому, что был бездумен. Но когда потекут в тыл калеки, когда пропадут на поле брани безвестные герои, когда вломится смерть — дух иссякнет. Это Евграф Лукич чувствовал нутром. И что тогда? Вера в чудо неизбывна в русском человеке. И как знать, не кинется ли он куда полегче — за социал-демократами, звавшими в Думе к поражению России?

Вся российская социал-демократия сосредоточилась для Коршунова на девчонке. Занять бы социал-демократию истинным делом, отвадить от крикливого безделья, ткнуть воспаленные вздором глаза не в чудо, а в суть жизни.

Давняя ревность Евграфа Лукича к железным дорогам, в которые никак не удавалось ему вломиться, нашла вдруг свое выражение: купил девчонке санитарный поезд.

Поезд этот (девять вагонов) удовлетворял Евграфа Лукича по всем статьям. И была среди них статья немаловажная, честолюбивая, ставящая Евграфа Коршунова в единый ряд с царским домом, которому он как бы утирал нос: среди поездов под знаком августейших владелиц будет ходить и санитарный поезд мадемуазель Берг. И еще удовлетворял свое честолюбие Евграф Лукич тем, что оборудование поезда, говорили, как бы не превосходило новшествами иные поезда.

Вот так и надо укрощать самодержавие, думал Евграф Лукич, не криками в Таврическом, не прокламациями на фабриках, не бомбами в сановных пустодумов, а единым делом, истинным милосердием для малых сих, которым судьбою предназначено верить в чудеса, истекая всамделишной кровью.

А пока — ни сапог, ни снарядов на Руси, вот она и вся политика. И пока сатанятся левые-правые, пока решают, как быть с самодержавием-православием,— надо воевать.

Евграф Лукич сдержал слово, данное Родзянке: поставил к январю обещанные сапоги, разместив заказ по малым мастерским.

Родзянко сокрушался — может ли Россия выиграть войну одними усилиями правительства? Евграф Лукич переводил сокрушение это на простой язык: может ли народ победить одним начальством? И выходило — не может.

Коршунов делал снарядные стаканы на своем Южном заводе. Он понимал, что врозь работать на войну никак нельзя, нужно объединяться, кооперироваться, прибирая к рукам мелкие производства, вводя единую технологию, единый образец, чтобы — скорее, лучше, больше.

Французские союзники предложили образец.

В середине января в Петроград прибыл лейтенант-колонель Пьо с миссией военных знатоков. Великий князь Сергей Михайлович все никак не находил времени принять их. А пока они слонялись без дела, кое-кто уже стал поговаривать: зачем прибыли? Не по их ли иноземной милости Россия оказалась не готовой к войне? Но Великий князь принял подполковника, и сразу сделалось легче: патриоты стали давать наперебой обеды в честь верных друзей по оружию.

Но Евграф Лукич застольным патриотизмом не страдал. Он был человек дела. И дело назревало серьезное: московские промышленники объединялись в особенную организацию, чтобы осуществлять на своих заводах французский образец. Во главу этой организации назначен был начальник Брянского арсенала генерал-майор Семен Николаевич Ванков, болгарин, герой давно позабытой Шипки. Он еще до войны не давал покоя Главному артиллерийскому управлению, торопя своими рапортами налаживать достойное военное производство. Но до войны было как до войны: уж не учит ли беглый братушка Главный штаб? Уж не хочет ли показать, что он больший патриот, чем русские люди?

И вот — пожалуйте, господин болгарин, покажите на деле, какой вы патриот нового своего отечества! Тем более — старое ваше отечество находится в состоянии войны с Российской империей.

Семен Николаевич был невелик ростом, суховат, жилист, брови имел нахмуренные, седые, седые же и усы. Усы его были пышны настолько, что разговаривал Семен Николаевич в нос, и не видно было, как шевелит губами.

— В России все можно сделать,— бубнил в усы Ванков,— при содействии власти...

— Можно,— улыбался Коршунов,— можно при содействии, а нужно при сопротивлении.

Генерал вздохнул, подумал, покосился на дверь.

— Евграф Лукич... Рассчитываю на ваше искреннее сотрудничество... Мнится мне, что войну выиграет не власть, а частная промышленность...

— Давно бы так! — обрадовался Коршунов.— Выиграть бы... А там разберемся и со властью...

60

Начальник сорок восьмой дивизии Лавр Георгиевич Корнилов, небольшой, как отрок, в сизом картузе, надвинутом на желтоватое калмыцкое лицо так, что лакированный козырек мешал глазам, задирал голову, хорохорил гнедую резвую молодую кобылу. Ноги генерала торчали в стороны опрокинутой ижицей, оттягивали короткие стремена. Лавр Георгиевич не присаживался в казачье седло, пружинил на расперты́х ногах над широкою лошадиной спиною.

Вчера к полудню Макензен остановился перед деревней Краб, должно быть, не понимая, что происходит. Лавру Георгиевичу не моглось отрезать германский арьергард, заскочить в тыл Макензену аккурат двадцать третьего апреля, в Егорьев день.

Дуклинский перевал манил синим непроглядным лесом. Лавр Георгиевич искал места оглядеться, сообразить. Казачья полусотня — донцы на гнедых тонконогих конях — приплясывала вслед, не смея ни обогнать, ни поровняться. Генерал был удачлив, страху не знал, донцы уважали храбрость, понимали — к концу дела да еще в светлый праздник всем быть с Георгиями. Кони казаков прикрыты были под седлами белыми потниками — чего греха таить, позаимствовали в жидовском местечке пикейные марсельские одеяла. Лавр Георгиевич грабежей не допускал, но к своей личной полусотне был весьма снисходителен, понимал: вынесут из любой беды, проскочут, где и дьявол не пройдет...

Тридцать шесть трехдюймовых орудий — шестерка цугом в каждом, при двенадцати снарядных ящиках — растянулись обозом по неверной горной тропе, торопясь к перевалу ударить германца в расстрел. Мокрая, не просохшая с весны горная глина скользила под копытами, измазанные солдаты помогали коням, проворачивая колеса за спицы.

Начальник третьего орудия вольноопределяющийся Луппов, маленький и крепкий, как буковый корешок, понукал негромким голосом не то лошадей, не то канониров, понукал через силу, которая вся ушла на провороты лафетного колеса. Трудился он справа, со стороны обрыва, упираясь сапогом в обваливающиеся валуны. И вдруг снизу, как в ответ на сброшенный валун, как из ничего, выскочил австрияк в высокой мадьярской шапке, заляпанный глиною и испуганный. Глина налипла на черные венгерские усы, будто австрияк полз к дороге не на одних карачках, но еще помогая себе острым носом. Вслед пробирался второй неприятель.

Не отпуская спицы, в которую упирался плечом, вольноопределяющийся Луппов потянулся к карабину, но заметив, что австрияки безоружны, только вытер глину со лба освободившейся рукою.

— Ниц стреляй! — закричал неприятель и, сделав руками круг в воздухе, выпучил черные опухшие глаза.— Цурюк! Ниц!

Затем он откинул руку далеко назад:

— Зо! Дорт!

Вольноопределяющийся Луппов отпустил спицу и спросил по-немецки:

— Что вам угодно?

Усатый мадьяр обрадовался:

— Куда вы?! Вы же окружены! Вы в кольце! Мы с товарищем — кивнул на второго — решили сдаться в плен! Теперь едва ли нам это удастся!

— Но пока вас придется допросить,— тихо сказал вольноопределяющийся Луппов.

— Разумеется! Но нас не о чем допрашивать! Макензен прет на Ламберг, и вы его не интересуете больше! Вас отрезают от основных сил! Что вы медлите?!

И едва он это выговорил — из долины под самой тропой разорвался тяжелый снаряд. Он вылетел откуда-то из тыла, за ним грохнулся второй, третий, взметнув камни, вывороив дерево. Лошади попятились, пушки подались назад, клюнув дулами в глину. Четвертый снаряд угодил в ящики второго орудия...

Конь поручика Суровцева застрял в буреломе, должно быть, сломал ногу. Конь гоготал, как исходил от веселья, дьявольским смехом. Поручик побелел, не находя в себе решимости пристрелить лошадь. «Конь — это ноги, конь — это ноги»,— почему-то застучала в голове Суровцева присказка вахмистра на плацу. Присказка стучала больно. А конь гоготал радостным хохотом, изумленный слезящийся глаз его задорно, даже насмешливо косился на Суровцева, будто подстрекал его на озорство.

— Свят-свят-свят,— забормотал поручик, открещиваясь от лошадиного глаза, и вдруг, подняв лицо горе, осенил себя широким крестом: — Господи! Прекрати муку его! Снаряд сюда, снаряд!

О себе он не думал.

А снаряды рвались недалеко, всего в ста саженях, и ни один, ни один-единственный не долетал сюда.

Сквозь сатанинский хохот коня Суровцев услышал тонкий голос ординарца:

— Ваше благородие!

Петренко сиганул откуда-то с неба, рванул с разбега на Суровцеве кобуру, выхватил наган и с разбега же, вставив дуло коню в ухо, выстрелил.

Выстрел был негромкий, как щелчок. Оборвавшийся вмиг конский гогот обессилил Суровцева. Поручик опустился, тяжело дыша.

— Ваше благородие,— привалился на коленки ординарец,— раненые?

— Спасибо, Афанасий Иванович...— выдохнул Суровцев.

Сквозь мокрые жухлые прошлогодние листья рядом с синим диагоналевым коленом Петренки пробивался жиденький горный подснежник.

— Ваше благородие,— заторопился Петренко,— так что, должно, мы — попали... Бутуз убитый... Обстреляли за той кучей... С пулемета, ваше благородие! Оттого отстал я...

Суровцев вскочил.

— Петренко! Надо выполнять приказ!

Ординарец кивнул.

Тяжелый буковый лес обступил их. Мертвый конь уперся головою о вывороченный сук бурелома. Незакрытый стеклянный глаз коня смотрел с изумлением мимо всего, ни на чем не задерживаясь...

— Даже крови нет,— сказал Суровцев и снял фуражку.

— Она — с того боку,— пояснил Петренко,— павылет.

Он подумал и стащил с чубастой головы разрезную солдатскую папаху.

Поручик Суровцев увидел генерала Корнилова неожиданно. Лавр Георгиевич пружинил над лошадью.

— Братец,— сказал Лавр Георгиевич бородатому уряднику,— вздень-ка это на пику...

И показал пальцем в белый потник.

Урядник нехотя спешился, отпустил подпругу, раздевая коня.

— Ваше благородие,— испуганно шепнул Петренко Суровцеву,— никак в плен хотять!

Урядник спешил еще двух казаков, и они втроем прилаживали к пике грязноватое белое марсельское покрывало.

— Ваше благородие! — вдруг схватил Суровцева за руку ординарец.— Не ходить! Скажемо, шо поздно! В плен же, ваше благородие! В плен!

Приказ командира корпуса — немедленно прекратить наступление — догнал Корнилова слишком поздно.

Суровцев выскочил на поляну, подбежал к Корнилову, вытащил из-за пазухи пакет.

— Ваше превосходительство! От командира корпуса!

Корнилов присел в седле, косые калмыцкие глазки его поблескивали из-под козырька с виноватой насмешливостью.

Он принял пакет, осмотрел его, не вскрывая.

— Алексей Ильич!

Адъютант Корнилова, одетый с иголочки — новая серая бекешка и сбруя по фигурке,— направляя коня бочком, приблизился вмиг, держа в руке карандаш.

Послюнявив кончик карандаша, Лавр Георгиевич приложил нераспечатанный пакет к рожку седла, расписался на пакете и протянул Суровцеву:

— Поручик... Приказываю... Любым способом вернитесь к Николаю Семеновичу и доложите: генерал Корнилов без нужды в плен не сдастся... Но губить дивизию не станет... Это вам доказательство, что вы выполнили приказ... Ступайте... Храни вас Бог!

И — перекрестил.

— Неужели в плен, ваше благородие? — бормотал Петренко, пробираясь вслед за Суровцевым.— Могли же проскочить...

Суровцев молчал.

— Дошлые какие,— бормотал Петренко,— ежели, значить, сцапают — пакет надо сничтожить... Стало — шо был у них — не докажешь... Надо, значиться, шоб не сцапали...

Суровцев усмехнулся. Петренковское хитроумие поставило загадку: зачем понадобилось Корнилову вернуть нераспечатанный приказ?

Они шли наугад, не зная, где находятся. Суровцев старался держаться востока — так, чтобы замшелые бока стволов оставались справа.

— Видишь, Афанасий Иванович, приказы надо выполнять,— сказал Суровцев.

— Пофартило, ваше благородие, а могло — не пофартить... Стало — Егорьев день... Пофартило...

Продолжение следует

Публицистика

Ральф Шрёдер

«КОПЕРНИКОВО ОТКРЫТИЕ» ВЛАДИМИРА ТЕНДРЯКОВА

1

На особый замысел «Метаморфоз собственности» Тендряков косвенно указал в одном из своих последних интервью, данном немецкому изданию журнала «Советская литература» (№ 11, 1983 г.): «Много лет я в меру своих сил пытался показывать нравственность, так сказать, «в картинках», теперь хотелось бы понять, что это такое. Существует известный стереотип — нравственность не что иное, как личное качество. Существуют, мол, люди добрые по натуре и злые, честные и бесчестные, равнодушные и отзывчивые. Одни способствуют укреплению взаимоотношений, другие их разрушают. Вся беда в дурных людях.

В то же время каждый из нас знает, что на протяжении всей обозримой истории человечество строилось на принципах антагонизма — одни угнетали, насильничали, другие подчинялись, терпели насилие. Без насилия не вырастал колос в поле, не появлялся хлеб на столе. В такой обстановке проявлять добро было не только труднее, чем зло, а зачастую просто невозможно. Значит, не от личных качеств, не от воли дурных людей зависел нравственный уровень жизни — от сложившихся обстоятельств. Сложившихся независимо от человека, предопределенных самим ходом развития. Истоки нравственности не *внутри* нас, а *вне* нас. В этих-то внешних факторах — как они образуются, по каким законам, каким образом на нас действуют — я и пытаюсь сейчас разобраться». А затем Тендряков пояснил: «В журнале «Новый мир» лежит сейчас мой новый роман, тема которого — решение таких вот теоретических вопросов».

Речь шла о романе «Покушение на миражи», появиться которому на страницах «Нового мира» было суждено только в 1987 году. С помощью этого романа Тендряков хотел тогда уже сделать доступными широкой общественности важнейшие открытия и мысли, развитые им в «Метаморфозах собственности». Но сами по себе «Метаморфозы собственности» были задуманы и написаны как заключительная, обобщающая глава его обширного творческого наследия, первые главы которого составили рассказы и повести «Пара гнедых», «Хлеб для собаки», «Параня», «Донна Анна», «Охота», «На блаженном острове коммунизма», «Люди и нелюди», «Революция! Революция! Революция!». Так что «Метаморфозы собственности» следует рассматривать и понимать именно как составную и заключительную часть этой необычной книги.

2

Первые части этой книги Тендряков читал мне летом 1973 года. Юрий Трифонов, который привез меня на дачу Тендрякова в Красную Пахру, уже подготовил меня к тому, что я встречусь на этот раз с совершенно другим Тендряковым, услышу настоящую боль-

---

Ральф Шрёдер (р. 1927) — литературовед и критик. Член правления Союза писателей ГДР. Доктор философии. Автор многих работ по русской и советской литературе, в том числе о творчестве Достоевского, Горького, Тынянова, Булгакова, Эренбурга, Трифонова, Тендрякова, Айтматова, Окуджавы и др. Автор книг «Обновление Горьким традиции Фауста» (1971), «От постижения личности к постижению мира. Актуальные дискуссии советской литературы» (1977), «Роман душа, роман истории» (1986) и др. Живет в Берлине.

шую литературу, столь своеобразную потому, что написана она без оглядки на «внутреннего цензора» и рассчитана не на то, что будет напечатана при нашей жизни, — нет, ее беспощадный реализм адресован грядущему веку. И Трифонов полагал, что домой к нему я вернусь лишь поздно ночью, потому что Тендрякову нужен слушатель — ведь он убежден, что до читателя ему не дожить, а я буду для него как раз подходящим собеседником.

Но несмотря на то, что Трифонов подготовил меня, я был так потрясен услышанным, что еще долго потом не мог думать ни о какой иной литературе. Однако надо сказать, что вначале я воспринял эти рассказы только как законченные отдельные произведения. И лишь много позже, в последующие годы, когда я постепенно познакомился со всем циклом, мне открылась «сверхзадача», которой были подчинены все части этой книги и на которую они работали. Тендряков стремился разобраться, почему же все было так, как было, и какие практические уроки следует извлечь из исторических реальностей прошлого и настоящего для развития «сообщности» — сообщества всех на основе активности каждого. И если Юрий Трифонов, говоря о своих книгах «Время и место» и «Опрокинутый дом», определил свой труд как «роман-пунктир» (в интервью журналу «Веймарер Байтреге» в 1980 году), то Тендряков так сказал мне, имея в виду свою книгу, в которую войдут и уже написанные им к тому времени «Метаморфозы собственности»: «Это — мое «Место и время», мой «Опрокинутый дом», мой роман-пунктир...»

Трифонов дал такое описание этому жанру: он имеет в виду «книгу, которая состояла бы из отдельных произведений: новелл, коротких романов, эссе и т. д. Но это... не сборник, а единое целое. Скорее всего, роман... Пунктирная линия жива, пульсирует, она живее, чем сплошная линия. Вспомним, например, роденовские рисунки. Но и в пунктирной линии должна быть абсолютная точность. Это трудный метод. Здесь не должно быть ничего вялого, расплывчатого, никакой воды, ничего бессодержательного. Здесь должны быть сплошные мускулы. Каждая глава романа...— новелла, которая может существовать отдельно, автономно, но одновременно все главы связаны друг с другом. Они соединены не только образами романа, но и временно́й цепочкой... своего рода пунктирная линия, которая образует единый рисунок».

Но в то время, как Трифонов пытается показать пунктирной линией «весь поток времени, несущий всё и всех», исходя из повседневной жизни, Тендряков анализирует весь исторический процесс путем экстремального обострения и внешне новеллистической завершенности событий, которые у него имеют характер сюжетно законченных эпизодов. Однако это — кажущаяся законченность. Мы имеем здесь дело с развитием новой жанровой формы в виде концентрированного выражения новых взглядов на историю. Пожалуй, первым это тонко подметил Андрей Битов: «Интересный рассказ появляется сейчас, как мне кажется, лишь на стыке жанров, на границе перехода из жанра в жанр... Края такого «нового» рассказа размыты — нет, это не сырость, невнятность речи — это *неограниченность жизни*. Такой рассказ можно было бы представить себе как отрывок или главу из прекрасной большой вещи, в этом отрывке или главе непонятно как угадываются примыкающие к ней неизвестные главы. Эти неведомые главы таинственно существуют в таком рассказе, и поэтому особенно волнует в нем все пропущенное, все сказанное мельком и вскользь, все неупомянутое даже. Нет, это не опостылевший из-за подражателей хемингуэевский подтекст... В таком рассказе чистый воздух, в нем легко дышится, в нем именно появляется настоящая деталь, придающая повествованию пространство и жизнь».

3

Тендряковский «роман-пунктир» по своему исходному пункту и сюжетным рамкам есть история становления личности автора. Вот это и определяет особое место «Метаморфоз собственности» в его романе.

Когда я прочитал «Метаморфозы собственности», Тендряков сказал мне во время одной из наших прогулок-дискуссий по лесу в Красной Пахре:

— Вот я и открыл самое важное, до чего смог добраться в своей жизни. В будущем я стану лишь варьировать это открытие в других вещах — развивать дальнейшие аспекты на разных предметах и в формах, которые «проходимы» у нас сегодня.

Прозвучало это очень решительно. Чувствовалось, что он все тщательно продумал. Это был категорический императив для его дальнейшего творчества.

И в интервью Тендрякова Берлинскому радио ГДР в октябре 1976 года мы тоже слышим — косвенно, метафорически, в подтексте — его «показания по делу» «Метаморфоз собственности» (потом он сам подтвердил мне это). А в качестве метафоры он выбрал открытие Коперника:

— Художественность требует остроты проблемы. Заостренность — вот что определяет художественное качество произведения... Литература должна заставлять человека задуматься. Художники вынуждены видеть то, чего другие пока не видят. Если писатель порождает у читателя чувства, которые у того уже были, то роль писателя обесценивается. Зачем нужен читателю такой писатель, коли он и без него уже так чувствовал? Здесь мы сталкиваемся с очень важным вопросом. У нас очень часто думают, что когда дело касается жизни, в духовном освоении жизни всегда право большинство. Да нет же! Большинство право далеко не всегда. Как раз те, кто способен видеть дальше, вторгаться глубже в жизнь своими мыслями, кто открывает неизвестные до этого противоречия,— как раз они ставят в действительности вопросы, касающиеся жизни. То же и в науке. Веками люди видели, что Земля неподвижна, а Солнце вращается вокруг нее. Но пришел человек, сначала один-единственный, по имени Коперник, который сказал: «Послушайте, все совсем не так, а наоборот: Солнце неподвижно, а Земля вращается вокруг своей оси и вокруг Солнца!»... Так же бывает и в жизни общества. Появляются люди, которые говорят: «Так, как воспринимаете вы, люди, вы воспринимаете неправильно. А я считаю, что это *так вот*. Пока еще так воспринимаю только я, а вы со мной пока не согласны. Но тут я прав и буду на том стоять». И поскольку этот человек прав, то постепенно у него находятся сторонники, и в конце концов он добьется широкого признания...

Разгадка «понятия нравственности» в «Метаморфозах собственности», обнаружение «источника нравственности» в формах собственности, осознание исторически назревшей необходимости отмены «наемного труда у государства» путем превращения государственной собственности в собственность общественную ради обретения «сообщностью» свободы — вот в чем состоит, если допустимо такое сравнение, «коперниково открытие» Тендрякова.

Тендряковский автобиографический «роман-пунктир» закономерно завершается изложением его важнейшего открытия — духовной вершины его жизни и творчества. Но еще более существенным, чем автобиографическая основа, для включения «Метаморфоз собственности» в этот роман представляется внутреннее единство всех частей богатейшего творческого наследия Тендрякова. Все его составные части, начиная с рассказа «Пара гнедых», дополняют друг друга и служат мотивациями «Метаморфоз собственности». А если бросить ретроспективный взгляд с «Метаморфоз» на рассказы и повести, образующие базу для его обобщений, то видишь, как они своей многоплановой «изобразительностью» подкрепляют и дифференцируют сведенные к «понятию» выводы Тендрякова.

4

Цепь рассказов и повестей этого цикла уже по своему замыслу и композиции ориентирована на анализ тех отношений, где лежат внешние «истоки нравственности», и на изображение того, как возникают эти внешние факторы, по каким законам и каким образом воздействуют они на людей. Но в то же время эти рассказы и повести наглядно показывают, что воздействие внешних факторов на человека не только приносит фатальные результаты, но и содействует освобождению от иллюзий, возникновению инстинктивного сопротивления и, в конечном итоге, «новому мышлению». А это новое мышление подрывает всесилие внешних факторов и, наконец, сгущается до альтернативы, возвещающей о назревании новых «внешних факторов», которые становятся затем все более и более доминирующими. И тем самым дается диалектическая дифференциация тезиса: «Истоки нравственности не *внутри* нас, а *вне* нас».

Переселение крестьян в «год великого перелома», в 1929-м («Пара гнедых»), знаменует собой «обезличивание» крестьянской собственности и порождает катастрофический голод летом 1933 года («Хлеб для собаки»). Всесильные в то время внешние факторы поначалу повергают героя автобиографического рассказа, мальчика Володю Тенкова, в шоковое состояние. Он беспомощен в своих муках совести. Но из этих мук прорастает «инстинкт познания» — мучительное стремление найти выход из зазиявшего вдруг, подобно пропасти, противоречия между провозглашенным идеалом — «вселенская справедливость» — и событиями подлинной жизни.

Речь тут идет, скажем так, о выработке того «третьего инстинкта» познания, «который неизбежно должен возникать на почве всех наших трагических разочарований», как предсказывал М. Горький в своем письме Сергею Григорьеву 15 марта 1926 года, «...потому что — как всегда это бывает вслед за катастрофами социальными — люди, уставшие от оскорбительных толчков извне, принуждены и обязаны будут — в который раз — взглянуть в свой внутренний мир, задуматься — еще раз — о цели и смысле бытия».

Не случайно выработка этого «третьего инстинкта» у писателя Владимира Тендрякова идет через приобретение опыта 1937 года («Параня»), фронтовые бои на Дону («Донна Анна») и в Сталинграде («Люди и нелюди»), кампанию против «космополитов» в московском Литературном институте («Охота») и внутреннее противоборство, связанное с XX съездом КПСС в 1956 году («Революция! Революция! Революция!»), и приводит его к сознательному исследованию многослойных исторических связей, которые придали жизни, истории, революции иной ход, чем это думалось изначально.

5

«„Это драма — драма идей“,— сказал Эйнштейн о физике,— пишет Тендряков в рассказе «Революция! Революция! Революция!».— Когда-то я поразился горделивой емкости его слов, теперь они вызывают у меня чувство горького снисхождения, которое можно сравнить лишь с искушенным чувством взрослого, глядящего на слезы обиженного ребенка: «Такие ли обиды, дорогой мой, бывают в жизни». Такие ли драмы переживают идеи, рожденные стремлением познать и изменить человеческие отношения.

В 1956-м мне пошел тридцать третий год — пресловутый возраст Христа. В тот год начали открыто сусесловить по адресу бога, рабы на минуту почувствовали себя свободными, трусы возомнили себя храбрецами, свято верующие вынуждены были притворяться безбожниками, а меня охватило запоздалое, зато пронзительное до нестерпимости желание оглянуться назад: где, в каком месте случился идеологический поворот? Когда идеи свободы стали идеями насилия? Как это Сталин оказался вместо Ленина?

Отца давно не было в живых. Его ровесники — те, кто день за днем прошли по истории,— знали не больше моего. Они охотно рассказывали эпизоды, легенды, анекдоты прошлых лет, но не могли объяснить — где, когда, почему? Да и был ли этот несчастный поворот?»

Своя «драма идей» шла у Тендрякова в виде полифонического внутреннего разговора с собственным опытом, с пророками, богами, вождями, мечтателями и простаками прошлого и настоящего. При этом он уже в рассказе «Революция! Революция! Революция!» натолкнулся на главную проблему «Метаморфоз собственности» — наемный труд у государства, который должен быть упразднен. И эта многоплановая социально-историческая проблематика показана тут под особым углом — именно в аспекте «драмы идей». Оттого здесь в той или иной степени выносятся за скобки другие аспекты, в частности, национальная и всемирно-историческая мотивировка того, почему революция пошла иначе, чем задумывалось. Это утверждение верно и в отношении аналогичных проблем в «Метаморфозах собственности». Разумеется, Тендряков знал, что история идет не в соответствии с идеями, а, напротив, в зависимости от обстоятельств, условий и интересов, равно как и способностей тех, кто ее делает, сами же идеи меняются, спрямляются и переиначиваются. В наших разговорах мы часто обсуждали с ним вопрос о судьбоносном характере чрезвычайной исторической ситуации, в которой оказалась российская Революция Советов, когда она, вопреки ожиданиям, осталась в одиночестве и вынуждена была, фактически, наверстывать «начальное накопление» в условиях отсталой страны. Говорили мы и о той чрезвычайной исторической ситуации, которая сложилась к 1921 году и которая заставила Ленина прийти к выводу, содержащемуся в его работе «О продовольственном налоге»: «Если в Германии революция еще медлит «разродиться», наша задача — *учиться* государственному капитализму немцев, *всеми силами* перенимать его, не жалеть диктаторских приемов для того, чтобы ускорить это перенимание западничества варварской Русью, не останавливаться перед варварскими средствами борьбы против варварства... Кто этого не понимает, тот делает непростительную экономическую ошибку, либо не зная фактов действительности, не видя того, что есть, не умея смотреть правде в лицо, либо ограничиваясь абстрактным противоположением «капитализма» «социализму» и не вникая в конкретные формы и ступени этого перехода сейчас у нас... это та же самая теоретическая ошибка, которая сбила с толку лучших из людей лагеря «Новой жизни» и «Вперед»... лучшие — не поняли, что о целом периоде перехода от капитализма к социализму учителя социализма говорили не зря и подчеркивали не напрасно «долгие муки родов» нового общества, причем это новое общество опять-таки есть абстракция, которая воплотиться в жизнь не может иначе, как через ряд разнообразных, несовершенных конкретных попыток создать то или иное социалистическое государство».

Эти связи и обстоятельства, включая и наверстывание задачи «первоначального накопления» при Сталине со всеми вытекающими отсюда реальными историческими последствиями, Тендряков особенно убедительно и впечатляюще показал в своем романе «Кончина». И там — как и в первых главах его автобиографического «романа-пунктира» — развивается во всей своей исторической диалектике тот аспект Российской Революции, который Маркс предвидел еще в 1858 году: «...настанет русский 1793-й год; господство террора этих полуазиатских крепостных будет невиданным в истории, но оно явится вторым поворотным пунктом в истории России, и в конце концов на место мнимой цивилизации, введенной Петром Великим, поставит подлинную и всеобщую цивилизацию».

6

Исключительное сосредоточение на «драме идей» привело — и не в последнюю очередь благодаря отстраненности от «романа с историей» — к однозначному понятийному развитию «коперникова открытия» Тендрякова, что и имело для автора «Метаморфоз

собственности» первоочередное значение. И тем самым он одновременно указал в принципе и путь, как заменить «мнимую цивилизацию» «подлинной и всеобщей цивилизацией».

Заканчивая «Метаморфозы собственности», Тендряков пишет:

«Глубоко убежден, что сражением нельзя внушить истину. Сражение не бывает без насилия, пусть даже духовного. Истину признают лишь тогда, когда в ней нуждаются. Сейчас же всё, что я говорю, может вызвать бешенство — не доспел, час не пробил.

Когда пробьет — не ведаю».

Время доспело. И давно уже пробил час.

Вновь оправдываются слова Томаса Манна: «Книга неподвластна времени, если идущее вперед время вбирает ее в себя».

Перевод с немецкого А. Федорова

Владимир Тендряков

МЕТАМОРФОЗЫ СОБСТВЕННОСТИ

Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы.
Апостол Павел. Первое послание к Коринфянам. 15,33

1

Маркс гордо заявил: «Философы лишь различным образом *объясняли* мир, но дело заключается в том, чтобы *изменить* его».

И казалось бы, коль ты задался целью что-то изменить — покрой ли штанов или мир,— значит, должен себе наперед представлять, как будет выглядеть данный объект в измененном виде. Нельзя вообразить столь придурковатого портного, который бы взялся шить новые штаны, задаваясь лишь целью не повторять старые образцы, и при этом совсем не ведал, какими будущие штаны окажутся.

Каким станет измененное будущее? Насколько отчетливо представлял себе Маркс мир, заменяющий неприглядный мир капиталистический? Ленин без смущения признается: «*Открывать* политические *формы* этого будущего Маркс не брался».

Но политические формы общества целиком определяются его внутренним устройством: как выглядит аппарат управления, какими силами воздействия на массы он располагает, как он создается — через ступенчатые или всеобщие выборы, а может, возникает самопроизвольно, стихийно? — через какие каналы он получает нужную для управления информацию, каким образом осуществляет контроль и т. д. и т. п. Политические формы — это в первую очередь организационно-управленческие формы. Признаваться: они-де нам неизвестны, значит расписываться в своем полном неведении будущего общества.

Тем не менее Маркс все-таки пытался вообразить себе в общих чертах заветное коммунистическое будущее. Привожу наиболее известное его высказывание:

«В высшей фазе коммунистического общества, после того, как исчезнет порабощающее человека подчинение разделению труда, а вместе с тем и противоположность умственного и физического труда; когда труд перестанет быть только средством для жизни и станет сам первой жизненной потребностью; когда вместе с всесторонним развитием индивидуумов вырастут и производительные силы, и все источники коллективного богатства польются полным потоком — лишь тогда... общество сможет написать на своем знамени: каждый по способностям, каждому по потребностям!»

Легче всего отмахнуться от этих голо-декларативных заявлений — исчезнет, перестанет, разовьются, вырастут, польются полным потоком... Ну а что, если в них все-таки вдуматься — возможно ли в принципе то, о чем Маркс так громогласно вещает?

Начнем с первого: «...Исчезнет порабощающее человека подчинение разделению труда...» Это утверждение, отдельно взятое, выглядит весьма туманно, понять его нам поможет хотя бы такое место из «Манифеста»: «Вследствие возрастающего примене-

---

Александр Александрович Федоров (р. 1934) — ответственный редактор немецкого издания журнала «Советская литература». Автор статей о творчестве советских писателей и поэтов, о советско-немецких литературных и культурных связях, репортажей, рецензий и др. Член Союза журналистов СССР. Переводчик с немецкого и на немецкий язык. Живет в Москве.

ния машин и разделения труда труд пролетариев утратил всякий самостоятельный характер, а вместе с тем и всякую привлекательность для рабочего. Рабочий становится простым придатком машины, от него требуются только самые простые, самые однообразные, легче всего усваиваемые приемы».

Как же избежать этого?

«Вместо разделения труда, которое неизбежно порождается в обмене меновыми стоимостями,— предлагает Маркс,— здесь имела бы место организация труда...»

Организация труда?! Но разве она при капитализме не имела места? Да нет, организация труда появилась много раньше.

Человек — общественное животное, его деятельность всегда была коллективной. Коллективные же действия требуют согласованности. Облавы первобытных охотников на диких зверей уже толкали к разумной организации, которая выражалась главным образом в том, что вся охота как бы разбивалась на более простые действия, выполнять которые поручалось разным членам общины. И уже тут мы сталкиваемся не с чем иным, как с примитивным разделением труда — одни подымают и гонят зверя, другие перекрывают «слабые» места, третьи ждут в засаде с оружием в руках.

Чем труд коллективней по своему характеру, тем он больше нуждается в организации. И эта организация не исключает, не подменяет разделение труда, а, напротив, *порождает* его.

При капитализме происходит небывалый в истории скачок в коллективизации труда; до сей поры человечество не знало столь крупных, столь сложных по своей внутренней взаимосвязи, столь многочисленных по числу работающих предприятий. И нет никаких оснований считать, что и в будущем труд станет менее коллективным, скорее всего, человечество будет иметь куда более масштабные, более сложные предприятия, а потому возрастет роль организации труда, вместе с нею возрастет необходимость разделять целое на составные части, общий труд на отдельные операции. Разделение труда исчезнет только со способностью человека общественно трудиться.

А предлагать *вместо* разделения труда организацию труда столь же нелепо, как менять целый пятак на его оборотную сторону.

После этого даже такое, казалось бы, бесспорное заявление Маркса — «а вместе с тем (исчезнет.— *В. Т.*) противоположность умственного и физического труда» — выглядит сомнительным. Противоположность-то, да, исчезнет, но не *«вместе с тем»*, а скорей наоборот — *благодаря тому*, т. е. разделению труда, неразрывно связанному с применением машин, когда трудоемкие процессы разбиваются на простейшие действия, не требующие больших физических усилий.

Трудно возразить Марксу, что «труд перестанет быть только средством для жизни и станет сам первой жизненной потребностью». Трудно, как и на любое благостное упование. Можно лишь добавить, что если подобное и случится, то непременно при разделении труда, которое Маркс считает «порабощающим».

А вот столь же голословное утверждение — «вместе с всесторонним развитием индивидуумов вырастут и производительные силы» — кажется уже не просто благостным, но и чрезвычайно сомнительным. На жизнь общества, в том числе и на рост его производительных сил, больше влияют не всесторонне развитые индивидуумы, а те, чье развитие сильно гипертрофировано в какую-то одну определенную сторону — они преимущественно физики или химики, конструкторы каких-то машин или проницательные экономисты, специалисты в чем-то одном, а никак не во всем. Спору быть не может, общество должно прививать человеку общую, разностороннюю культуру, но в то же время целенаправленно развивать в нем какую-то одну природную способность, препятствовать разбросанности.

И наконец мы подходим к знаменитой надписи на знамени коммунизма: «Каждый по способностям, каждому по потребностям!»

«Каждый по способностям...» Беспристрастно вглядываясь, можно увидеть, что эту часть заветного лозунга имеет право начертать на своем знамени и современный капитализм — проявляй себя, свои способности, запрета прямого нет! Есть неисчислимые препятствия, какие всегда ставит жизнь на пути любого человека, утверждающего себя в обществе. Есть общественная косность, которая всегда была и всегда будет. Какой бы высокой культуры ни достигли массы, все равно уровень их восприятия и мышления останется массовым, т. е. для данного момента развития — заурядным. И тот, кто вырывается из общей заурядности, дальше видит, глубже думает, не сразу получит признание, станет непременно вызывать недоверие, настороженность, а порой и враждебность как инакомыслящий. В золотой век Афин, подаривший миру изумительное искусство и глубокую философию, Сократ был приговорен к смерти, а Фидий брошен в тюрьму. Препятствия к проявлению способностей неизбежны, совершенно устранить их вряд ли когда будет возможно. Но если общество предоставляет право любому получить посильное образование, уничтожает сословные и национальные преграды, не зажимает инициативность и предприимчивость, уже можно считать — проводит в жизнь принцип «каждый по способностям». А это сейчас существует не в одной, а во многих капиталистических странах.

Если «каждый по способностям» — не такое уж несбыточное явление, то «каждому по потребностям» — неосуществимая фантастика. Тут предполагается невероятное — потребности любого и каждого могут быть полностью удовлетворены. Представим на минуту, что такое случилось. Вам всего достаточно, вы ничего больше не желаете, нет ничего, в чем испытывали бы необходимость,— нечего достигать, не к чему стремиться, бесцельное существование, бездействующие силы, неиспользованный ум, собственно, деградация. Только неудовлетворенные потребности могут вернуть вас к деятельности, к жизни.

Но, возразят мне, марксизм потребности понимает не столь всеобъемлюще, а лишь в плане материального обеспечения — пусть люди не думают о хлебе насущном, о крыше над головой, об одежде, этого вполне достаточно, чтоб исчезла зависть, злоба, осуществилось вожделенное равенство, умер антагонизм. Если бы... Вглядимся в историю: желание избавиться от нищеты пролило там крови ничуть не меньше, чем стремление к престижности, к славе или отстаивание по-своему понятой истины и справедливости. Сытостью не замажешь противоречий жизни, и потребности людей беспредельны,— достигнув одного, они не перестанут желать большего. Неутоленность старухи из пушкинской «Сказки о рыбаке и рыбке», начавшей с разбитого корыта, а кончившей — «хочу быть владычицей морскою»,— характерная черта всего рода человеческого. Маркс столь очевидного, ставшего давно нарицательным понять не пожелал, обещал несбыточное — «каждому по потребностям».

Чувствую, напрашивается пренебрежительный упрек: так многословно, с такими усилиями опровергать то, во что теперь уже не верят присяжные апологеты светлого коммунистического завтра. Зачем?

Но разве дело только в неверности приведенной цитаты, в декларативной ошибочности высокого авторитета? Тут всплывает трагедия нашей неистовой эпохи — бессмысленность великого социального движения, охватившего всю планету. «Хочу то, не знай что», и за это «не знай что» с ожесточенным вдохновением звали к сокрушительной борьбе: «Пусть господствующие классы содрогаются перед Коммунистической Революцией. Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Обильные реки крови пролила эта борьба. Борьба продолжается, кровь льется... За «не знай что».

2

Однако у марксистов тут есть веское возражение: не нами эта борьба выдумана, не нами раздута, она существовала на протяжении всей обозримой истории, с того незапамятного момента, когда появился на земле первый раб и первый господин.

Более того. Эта классовая борьба, считает марксизм, двигала вперед историю. Именно через нее и происходило развитие человечества.

Развитие через борьбу, через антагонизм, через враждебность? Каким образом? Откуда возникло такое убеждение?

В 1812 году, когда Наполеон шел к своему поражению в России, в заштатном тогда Нюрнберге совершается очередная победа человеческого разума — двумя частями выходит первый том «Науки логики» Гегеля. И в нем уже в общих чертах определено то, что мы теперь называем законом единства и борьбы противоположностей.

Гегель считает, что в природе нет предмета, в котором нельзя было бы найти противоречия, противоречие же есть корень всякого движения и жизненности. «Почка,— говорит он,— исчезает, когда распускается цветок, и можно было бы сказать, что она опровергается цветком... Эти формы не только различаются между собой, но вытесняют друг друга как несовместимые. Однако их текучая природа делает их в то же время моментами органического единства, в котором они не только противоречат друг другу, но один так же необходим, как и другой; и только эта одинаковая необходимость и составляет жизнь целого».

Силы отталкивания и притяжения существуют в атомных ядрах, противоречивые силы держат в стабильном состоянии и взрывают звезды. Куда бы мы ни обратили взор — всюду противоречия. Именно они определяют сущность вещей, через них происходят изменения, осуществляется развитие.

Бурно развивающееся человечество не может быть исключением в природе, и если даже не очень внимательно присмотреться к любому обществу, то сразу же бросится в глаза общее для всех противоречие — между господствующими и угнетенными классами.

Маркс признается, что не ему принадлежит заслуга открытия классовой борьбы, но, похоже, никто до него не считал эту борьбу именно тем основным противоречием, которое определяет сущность человечества, приводит к изменениям, толкает на развитие.

«История всех доныне существующих обществ двигалась в классовых противоположностях, которые в различные эпохи складывались различно». А посему: классовая борьба — движущая сила истории.

Похоже, что это категорическое определение впервые высказал Энгельс: «...В борьбе этих трех больших классов (аристократии, буржуазии, пролетариата.— *В. Т.*) и в столкновениях их интересов заключается д в и ж у щ а я с и л а (разрядка моя.— *В. Т.*) всей новейшей истории...»

Но в то же время Маркс и Энгельс утверждали, что «*вся история* есть не что иное, как образование человека человеческим трудом».

Человеческий труд,— чем он, собственно, характерен? Навряд ли только одною борьбой.

В Олоргейсайли (юго-западная Кения) врхеологи обнаружили следы древнейшей охоты на павианов. Среди костей этих животных лежало более тонны каменных орудий и круглых камней различной величины. Было установлено, что камни перенесены за тридцать с лишним километров — право, совершен нелегкий труд. Явно тут происходила не просто совместная стихийная деятельность, а заранее согласованное и относительно высоко организованное *сотрудничество.* И это около полумиллиона лет тому назад! Людьми, еще не относящимися к виду Homo sapiens.

Человеческий труд в первую очередь характеризуется сообщностью, совместными усилиями. С древнейших времен до наших дней в основе людской жизнедеятельности лежит сотрудничество в различных формах и взаимоотношениях. Если б люди действовали поодиночке, не согласуясь между собой, не сливаясь в трудовые коллективы, они наверняка не стали бы теми, что есть сейчас. Скорей всего, их история так бы никогда и не началась.

«Вся история есть не что иное, как образование человека человеческим трудом», характерной чертой которого яаляется сотрудничество. Но тем не менее движущей силой истории признается нечто, разрушающее сотрудничество,— межчеловеческая классовая борьба! Не странно ли? Тут какая-то неувязка...

Обычно под сотрудничеством понимается совместный труд, совершаемый исключительно на добровольных началах. Но добровольность — понятие чрезвычайно условное. Труд всегда вызывался необходимостью, редко когда он доставляет наслаждение, чаще всего при выполнении работы присутствует элемент самопринуждения — надо сделать, надо потратить время и силы. А в коллективном труде самопринуждением дело не ограничивается, проявляется и принуждение. Вполне можно предположить, что среди далеких олоргейсайльских охотников, совершавших нелегкую операцию по перетаскиванию камней за тридцать километров, находились и больные, и слабосильные, и просто апатично-ленивые люди, которые вынуждены были действовать не столько по своей доброй воле, сколько под давлением более энергичных сородичей.

В том, что сильный и предприимчивый член патриархального общества заставил обрабатывать свою землю слабейшего, привыкли видеть только акт грубого насилия. Но совсем забывают, что без такого насилия человечество остановилось бы в своем развитии.

Подневольный раб как производитель материальных ценностей сам по себе, пожалуй, был ниже свободного труженика — не на себя работал, по принуждению, изпод палки. Однако из таких рабов, сконцентрированных в одном месте под единым началом, создавался более могучий, а значит, и более производительный хозяйственный механизм, чем патриархальная семья. Его усилиями можно освоить уже обширные земельные площади, провести оросительные каналы, создать совершенные транспортные средстаа; скажем, не утлые лодки, а сравнительно большие корабли, способные совершать дальние плаванья,— тем самым раздвинуть рамки существующего мира, одни народы сблизить с другими, расширить торговлю и культурный обмен.

Рабовлвдельческое хозяйство не только позволяло концентрировать силы на достижении целей, о каких и мечтать не могли патриархальные труженики, но оно ставило досель неведомо сложные задачи по организации труда, по техническому оснащению, по учету и планированию, а значит, стимулировало интеллектуальное развитие.

Именно ведение расширившегося и усложнившегося рабовладельческого хозяйства толкнуло людей к письменности, к математике, приучило мыслить абстрактными категориями. Раб, на которого взвалили весь тяжкий физический труд, труд изматывающий, доводивший до животного состояния, сам того не желая, предоставил господину и его приближенным свободное время для занятий умственным трудом.

Наивное заблуждение, что господин, палкой заставлявший работать раба, стал пребывать в праздности, превратился в тунеядца, остался в стороне от трудового процесса. Нет, господин участвовал в труде ничуть не менее активно, чем раб, только он взял на себя более сложные функции — организации, корректирования, контроля, сиречь управления. Без действий господина рабовладельческое хозяйстао — неуправляемое, хаотическое — неминуемо бы развалилось, в лучшем случае вновь бы превратилось в мелкие, непроизводительные патриархальные хозяйства. Господин и раб — две неотъемлемые части одного целого, особая форма *сотрудничества.*

И то, что это сотрудничество возникло на насилии, а отнюдь не на добровольных началах, не может быть поводом для отрицания его.

Когда люди от охоты и собирательства перешли к земледелию, когда это оседлое земледелие вынудило досель общую землю делить на свою, мне принадлежащую, и чужую, тогда более сложный процесс труда, требовавший изобретения более совершенных орудий, более глубокого прогнозирования своего будущего (не съешь весь полученный урожай, оставь на семена, чтоб быть сытым на следующий год), резко повысил сознание, духовно обогатил и усложнил людей, а вместе с тем и дифференцировал их на более развитых и менее развитых. Как только все это произошло, неизбежно должно было случиться — одни поработили других. Неизбежно! Другой, более благородной формы сотрудничества — не на насилии — просто не могло возникнуть.

Впрочем, вряд ли это вызовет у кого-либо возражения. Естественную закономерность и прогрессивный характер рабства признает и марксизм, но последнее достоинство приписывает влиянию антагонизма. «Без антагонизма нет прогресса,— заявляет Маркс.— Таков закон, которому цивилизация подчинялась до наших дней».

Но разве антагонизм давал возможность трудиться? Разве с помощью борьбы добывался хлеб и строились здания? Нет, это совершалось через *объединение* господина и раба — да, неравноправное! — через *сотрудничество* — да, держащееся на прямом и грубом подчинении! — через *насильственный союз*!

А вот как только такое сотрудничество установилось, как только грозная палка господина вознеслась над головой подневольного раба, то сразу же возникает нечто противоположное сотрудничеству. Раб уже не может яе испытывать ненависти к господину-насильнику, господин не в состоянии отказаться от насильничанья. *Сотрудничество порождает антагонизм*! Трудовая деятельность человека начинает представлять из себя своеобразное единство противоположностей, которое по закону Гегеля наблюдается всюду в текучей природе.

Раб и господин сотрудничают, создавая материальные ценности, поддерживающие их существование. Раб и господин при этом «ведут непрерывную, то скрытую, то явную борьбу». Марксизм видит только борьбу, но сотрудничества, как оно ни очевидно, замечать не хочет.

По сути дела, марксизм берет лишь одну сторону всеохватного противоречия в обществе. Явно тут ввело в заблуждение то, что эта сторона сама по себе уж слишком наглядно противоречива — антагонизм же, борьба! — зачем еще искать другое противоречие, вот он, тот «корень всякого движения и жизненности» рода людского.

В природе же «нет предмета, в котором нельзя было бы найти противоречия». И всегда локальное противоречие становится составной частью противоречия более общего. Каждый атом — совмещение противоположных сил, но атомы складываются в молекулы, которые, в свою очередь, тоже противоречивы. Простые предметы постоянно органически сливаются в сложные, из одних противоречий возникают противоречия более высокого уровня...

Бросающаяся в глаза противоречивость классовой борьбы помешала разглядеть скрытое основное, определяющее человеческое развитие противоречие *между классовым сотрудничеством* и *классовой борьбой.*

3

Но какой же дурак станет утверждать, скажут мне, что человечество-де добывает себе хлеб насущный междоусобной борьбой. Просто наличие сотрудничества настолько явно, что упоминать о нем специально нужды нет, это подразумевается само собою.

Можно лишь говорить о несовершенстве существующего сотрудничества, о необходимости заменить его более совершенными формами, а для этого надо старые формы разрушить. Тут уже ничем другим нельзя аоспользоваться, как только классовой борьбой. Она, борьба, и вызвана-то к жизни массовым решительным неприятием старого, а следовательно, несет в себе идеи нового сотрудничества, где уже хлеб наш насущный будет добываться без угнетения человека человеком. Именно так и представляет общественное развитие классический марксизм, выделяя из общего противоречия наиболее действенную, мобильную сторону, толкающую к изменениям,— классовую борьбу, даижущую силу, своего рода пружину развития.

А правомерно ли выделять при единстве противоположностей некую активную сторону в противовес другой — пассивной? Можно ли, скажем, в атомном ядре указать, что одна из сил — отталкивания или притяжения — наиболее активна? Или разве звезда взрывается потому, что победа оказалась на стороне внутреннего давления, оно, мол, в конечном счете активней сжатия? Да нет, чем больше сжимающая сила, тем сильней возрастало давление изнутри, давление зависело от сжатия. Взрыв звезды — результат *обеих* сил, *единый* процесс, в котором бессмысленно выделять активную сторону.

В плане развития классовое сотрудничество нисколько не пассивней классовой борьбы. Оно тоже содержит в себе свои внутренние противоречия, которые толкают общество на изменения. Их тоже с таким же успехом можно назвать движущей силой.

Чтобы не быть голословным, попробую исторические изменения проследить на том же рабовладельческом обществе. Но заранее оговорюсь: картина, которую собираюсь набросать, будет условно-схематической, в жизни, разумеется, все происходило намного сложнее.

Рабовладельческое хозяйство оказалось производительнее старых раздробленных патриархальных хозяйств, а значит, полу-

чило возможность интенсивнее расти, расшириться.

В сравнительно малом хозяйстве, при ограниченном числе рабов, господин управлял сам, прибегая к палке и к поощрениям. Но как только хозяйство увеличилось настолько, что господский глаз уже не в состоянии был уследить за всеми рабами, а господская палка — дотянуться до каждого непослушного и ленивого, появляется необходимость в надсмотрщиках. Надсмотрщик сам ничего не производит, но стоит хозяйству во много раз дороже раба, создающего материальные ценности. До поры до времени затраты на надсмотрщиков компенсируются доходами разрастающегося хозяйства. Но в какой-то момент хозяин приходит к огорчительному выводу, что уже не в состоянии уследить сам за всеми своими надсмотрщиками. Надо и над ними ставить более высоких надсмотрщиков, а значит, и более высокообеспечиваемых. Новый рост хозяйства принуждает создать новую касту управляющих, чьи обязанности чрезвычайно высоки, следовательно, соответствующе высоким должно быть и их обеспечение.

Получается, численность управляющего персонала возрастает *непропорционально* количеству рабов-производителей. Рабы в хозяйстве растут, так сказать, в одном измерении, а управленческий штат сразу в двух — не только вширь, но и вверх, заполняя возникающие иерархические ступеньки. Управление начинает пожирать плоды рабовладельческого производства. Неизбежные новые расходы вновь ложатся на плечи безответственного раба...

Дойдет ли отчаявшийся раб до открытой классовой борьбы или же просто подохнет от дикой эксплуатации, неся хозяину разорение,— так или иначе многовековой насильственный союз господина и раба обречен на развал.

Героическое восстание Спартака, потрясшее римлян, вызывающее почтительное уважение у нас, да, способствовало возникновению феодализма, но ничуть не больше, чем кризис управления в обширнейших рабовладельческих монополиях Римской империи, который прошел незамеченным для историков. В сложном противоречии сотрудничества и антагонизма сама собой вызрела необходимость предоставить рабу клочок земли, дать ему относительную свободу распоряжаться им. И нельзя считать, что эти эпохально-общественные изменения были исключительно завоеванием рабов. Господа не в меньшей степени способствовали этому.

Как видите, скрытая и явная классовая борьба играет определенную роль в истории. Но нисколько не большую, чем хозяйственно-экономические противоречия внутри классового сотрудничества. Как то, так и другое — единый процесс развития.

4

Считая классовую борьбу движущей силой, марксизм призывает к ее обострению, вплоть до общественных катаклизмов в виде революционных взрывов.

«Коммунисты считают презренным делом скрывать свои взгляды и намерения. Они открыто заявляют, что их цели могут быть достигнуты лишь путем насильственного ниспровержения всего существующего общественного строя».

Ну, а как выглядят сами цели?

Тот же «Манифест коммунистической партии» заявляет: «...Они (коммунисты.— *В. Т.*) выдвигают вопрос о собственности, как основной вопрос движения...» «В этом смысле коммунисты могут выразить свою теорию одним положением: уничтожение частной собственности».

Не одни марксисты считали роль частной собственности зловещей. Чтобы уяснить ее, нам придется обратиться в непроглядно далекое прошлое, так сказать, танцевать от печки. Когда наш обезьяний предок схватил своими передними конечностями (их даже нельзя еще было назвать руками) палку, то этим сразу усовершенствовал свои природные возможности. Для того чтобы сделать шаг к человеку, нужно было *обзавестись* каким-то орудием, *заиметь* нечто такое, что помогало бы воздействовать на окружение, делало более приспособленным к жизни.

На первых порах «заиметь» носило эпизодический характер: заостренный сук, каким выкапывался глубоко сидящий съедобный корень, отбрасывался в сторону, как только корень был добыт; приготовленная для охоты дубина забывалась, когда надобность в ней исчезала, для новой охоты подбиралась уже новая дубина.

Но человек, развиваясь, стремился создать все более эффективные, более совершенные орудия. Каменный топор не так просто сделать, как дубину, надо долго повозиться с неподатливым материалом, чтобы придать нужную форму. Непозволительное расточительство — выбрасывать его после первого же употребления. И топор сохраняется в постоянном владении, применяется по мере надобности. В данном случае орудие приобретает пока еще слабые, едва наметившиеся черты *собственности.*

Однако ни топор, ни более сложные — считай, примитивные механизмы — лук и стрелы еще не были настолько сложны, трудоемки, чтобы стать малодоступными. Если не любой и каждый, то подавляющее большинство из тех, кто в них нуждался, могли обзавестись ими. *Обладание* каменным топором, а в особенности луком и стрелами, резко выделило человека среди других существ, населявших Землю. Но такое *обладание* не могло заметно выделить хозяина орудий среди своих соплеменников. «Собственник» орудия еще не способен стать насильником.

Появление земледелия не изменило положения, пока оно осуществлялось деревянной мотыгой. Опять же каждый мог ею обзавестись, как и клочком земли, которой было кругом достаточно, только не ленись ее обрабатывать. Но вот появляется новое средство производства, превосходящее все существовавшие орудия земледелия и по эффективности, и по трудности приобретения,— вол, запряженный в соху. Любой и каждый этим обзавестись уже не мог. Тому, кто мотыжит землю, и самому-то себя прокормить трудно, а тут выкармливай вола в течение нескольких лет, не рассчитывая при этом получить хоть какую-то пользу. Не у каждого-то хватало сил и настойчивости, не каждому благоприятствовали обстоятельства. Зато те, кому это удавалось, сразу же становились могущественнее остальных. Владелец вола начинал осваивать столько земли, что она не только кормила его с семьей, а давала возможность накопить излишки, достаточные, чтобы содержать раба. *Нет, не грозный меч, но и кормящая соха возродила классовое насилие.* Имущие постепенно оказались господами положения, подчинили себе неимущих, в мире появились угнетатели и угнетенные.

Это не могло не сказаться на нравственном поведении людей. Раб, никогда не знавший жалости к себе, знавший только презрение, только жестокость, не испытывал сочувствия и к своему товарищу, при первой возможности сам готов был проявить жестокость. Господин, не терпящий своеволия раба, не считающийся с его человеческим достоинством, не станет терпеть самостоятельности и достоинства в других, тупую покорность воспримет как добродетель и будет униженно пресмыкаться перед сильнейшим. Жестокость нравов охватывает общество, пропитывает насквозь всю жизнь. Труд остается коллективным, а орудия и плоды труда — в частном владении.

Растлевающее значение частной собственности было замечено давным-давно, делались даже отчаянные попытки освободиться от нее. Вот что, например, пишет Филон Александрийский о еврейской секте ессеев, существовавшей в I—II веке до н.э.:

«Никто из них не имеет ничего собственного: ни дома, ни раба, ни земельного участка, ни скота, ни других предметов и обстановки богатства. Все внося в общий фонд, они сообща пользуются доходами всех. Живут они вместе, создавая товарищества по типу фиасов и сесситий [1], и все время проводят в работе на общую пользу» [2].

Увы, подобные содружества широкого распространения не получили. Почему? Не случайно.

Трудовая организация, построенная на принципе — все трудятся, все получают поровну, не может быть стабильно производительной. Люди самой природой не наделены одинаковой способностью к труду — кто-то неизбежно оказывается выносливей, сноровистей, активней, кто-то слабей, неуклюжей, ленивей по характеру. Одни вкладывают больше в общий фонд, другие меньше, а получают поровну. Выходит, ленивый живет за счет работоспособного, пользуется его силой, присваивает его труд. По сути культивируется паразитизм.

При равном распределении неизбежно наиболее продуктивный работник начинал снижать свои усилия в работе под уровень бездельника, вызывая тем самым обнищание общины, прекращение ее жизнедеятельности. И даже внушения чисто идейного и религиозного характера могли тут лишь оттянуть печальную развязку, но не спасти. На голых внушениях жизнь держаться не может.

Впрочем, противники частной собственности далеко не всегда считали нужным ограничиваться одними внушениями. В благословенном городе Солнца, созданном фантазией Кампанеллы на основах общего владения, распоряжающиеся «имеют власть бить или приказывать бить нерадивых и непослушных». В исключительных случаях применяется и смертная казнь. Любопытна и такая деталь в жизни равноправного государства Кампанеллы: «...Никакой телесный недостаток не принуждает их (жителей.— *В. Т.*) к праздности... ежели кто-нибудь владеет всего одним каким-либо членом, то он работает с помощью его хотя бы в деревне и служит соглядатаем, донося государству обо всем, что услышит».

Выходит, вымечтанное равноправное государство прибегает к насильственным методам, и, если нуждается в доносчиках и соглядатаях против своих граждан, значит, насилие достаточно велико, доверием не пахнет.

Марксизм не открыл, а вновь поставил древний вопрос об уничтожении частной собственности. И сделал это с воинственной решительностью в середине просвещенного XIX века, в период капитализма, способ производства которого и общественные отношения людей резко отличались от предыдущих формаций.

В основном все, что нам преподносилось о капитализме, главным образом порочило значительную эпоху. Попробуем взглянуть на эту эпоху еще раз, но уже непредвзято.

5

Не исключено, что еще до того, как имущий сделал неимущего своим рабом,

[1] Фиасы — культовые ассоциации в Древней Греции; сесситии — общие трапезы в Древней Спарте.

[2] По Амусину: «Рукописи Мертвого моря», М., 1961 г. С. 200—201.

наиболее состоятельные семьи патриархальной общины в горячую пору земледельческих работ нанимали себе в помощь работников из числа тех, кто по каким-то причинам был свободен. Как только горнчан пора кончалась, хозяева расставались с работником, чем-то компенсировав его труд. Держать работника при себе и дальше было невыгодно — пришлось бы кормить его и в те глухие для земледелия периоды, когда никаких работ не производилось. Возможно, наемный работник появился раньше рабв. Появился, но широко не распространился.

Раб оказался выгоднее наемного рвботника. Однако этот наемный работник совершенно не исчез, он неприметно существовал при рабстве, продолжал существовать и при феодализме. Для торжества способа по найму должны были появиться высокопроизводительные орудия труда. Появились машины, и способ по найму, многие тысячелетия влачивший скромное существование, наконец-то дождался своего часа, стал господствующим.

Появились машины — началась новая эпоха в жизни человечества, капиталистическая!

Рождение нового сопровождается родовыми муками. Энгельс в своей ранней книге «Положение рабочего класса в Англии» показывает воистину мучительные картины возникающего капитализма. Беру наугад одну.

«По случаю осмотра трупа 45-летней Анны Голуэй господином Картером, следователем из Суррея, 14 ноября 1843 г., в газетах было описано жилище умершей. Она занимала вместе со своим мужем и 19-летним сыном маленькую комнатку... там не было ни кровати, ни постельных принадлежностей, ни какой-либо мебели. Мертвая лежала рядом со своим сыном на куче перьев, которые пристали к ее почти голому телу, ибо не было ни одеяла, ни простыни. Перья так крепко облепили весь труп, что его нельзя было исследовать, пока его не очистили, и тогда врач нашел его крайне истощенным и сплошь искусанным насекомыми. Часть пола в комнате была сорвана, и вся семья пользовалась этим отверстием в качестве отхожего места».

По мнению Энгельса, жизнь прежнего рабочего-ремесленника была воистину райской по сравнению с существованием нового промышленного рабочего: «Они чувствовали себя хорошо в своей тихой растительной жизни, и, не будь промышленной революции, они никогда не расстались бы с этим образом жизни...» «Промышленная революция довела дело до конца, полностью превратив рабочих в простые машины и лишив их последнего остатка самостоятельной деятельности. Но тем самым она заставила их думать, заставила добиваться положения, достойного человека».

Насколько грандиозно было промышленное движение, разорившее ремесленников, видно из приводимой Энгельсом таблицы роста населения в городах Англии за тридцать лет (с 1801 г. по 1831 г.):

В Брадфорде с 29 000 до 77 000;
В Галифаксе с 63 000 до 110 000;
В Хаддерсфильде с 15 000 до 34 000;
В Лидсе с 53 000 до 123 000.

Великие тысячи, покинувшие отеческие места, сталкиваются с самым безжалостным к себе отношением, разделяют судьбу Анны Голуэй.

Но это еще только капиталистические цветочки, предупреждают Маркс и Энгельс, в будущем следует ждать худшего.

«...Современный рабочий с прогрессом промышленности не подымается, а все более опускается ниже условий существования своего собственного класса. Рабочий становится паупером, и пауперизм растет еще быстрее, чем население и богатство».

Если феодал-крепостник был все-таки как-то заинтересован в здравии своего смерда — с потерей его теряется один из кормильцев,— то уж капиталиста нисколько не волнует состояние рабочего: надорвется, умрет — туда ему и дорога, уже не собственность, не трудно нанять другого. И Маркс выдвигает свою знаменитую теорию относительного и абсолютного обнищания рабочего класса.

Можно ли сомневаться, что чем дальше, тем больше будет применяться машин, что они станут более совершенными, производительность труда сильно возрастет, общество станет неуклонно богатеть. Общество, но не труженик! Те же машины освободят огромное количество рабочих рук, труд рабочих начнет катастрофически дешеветь, уровень их жизни столь же катастрофически падать. Огромное количество рабочих и вовсе окажется ненужным, скатится в ряды пауперов, которым придется существовать на случайные подачки, а скорее всего, просто медленно вымирать. Несомненно, рабочий станет все более нищим относительно богатеющего общества, его положение будет ухудшаться год от году. Относительное и абсолютное обнищание впереди!

Жуткая картина. В предвиденьи таких событий невольно решишься на самый отчаянный шаг, на насильственный переворот: «Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей!»

Однако все в той же книге «Положение рабочего класса в Англии» Энгельс вскользь упоминает о весьма знаменательном событии, которое противоречит страшному пророчеству.

В 1824 г. палата общин Англии принимает закон, который «отменил все акты, ранее воспрещавшие объединение рабочих для защиты своих интересов. Рабочие получили *право ассоциаций* — право, принадлежавшее до тех пор только аристократии и буржуазии... Во всех отраслях труда образовались такие союзы (trades unions), открыто стремившиеся оградить отдельных рабочих от тирании и бездушного отношения буржуазии. Они ставили себе целью: установить заработную плату, вести переговоры с работодателями коллективно, как *сила*, регулировать заработную плату сообразно с прибылью работодатели, повышать заработную плату при удобном случае и удерживать ее для каждой профессии повсюду на одинаковом уровне».

И сорока лет не прошло с первого практического применения паровой машины Уатта, ознаменовавшего начало промышленной революции (появление промышленного капитализма, надо думать, произошло еще позднее), еще не прогорел последний костер святой инквизиции (он вспыхнет в 1826 году в Валенсии, торжестаенно сжигая учителя Кайетано Риполи), а капитализм уже признал за потомками рабов и крепостных право на защиту своих интересов. Событие небывалое в истории.

И не случайное.

А в 1918 г. Франц Меринг пишет: «...Широкие слои рабочего класса обеспечили себе на почве капиталистического строя условия существования, стоящие даже выше жизненных условий мелкобуржуазных слоев населения».

В новой форме капиталистического сотрудничества уже вместо прямого насилия проступил элемент добровольности — *по найму*. Хочешь у меня работать — предлагаю тебе условия. Эти условия я не сам выдумал, они продиктованы мне сложившимися обстоятельствами — конъюнктурой рынка, наличием свободной рабочей силы, общественным давлением. А коль я зависим от обстоятельств, то не в моей возможности — даже если я и пожелаю — облагодетельствовать тебя. Дам тебе за работу больше, чем следует,— моя продукция вздорожает, окажусь неконкурентоспособным, разорюсь. Если предложу тебе меньше того, что диктуют обстоятельства,— не согласишься ты, останусь без рабочей силы, обреку себя на простои, понесу ущерб. У тебя теперь больше возможности бороться за свои интересы, чем было при феодализме. У меня меньше прав на тебя, чем у прежних господ.

Но и это относительно добровольное сотрудничество по найму по-прежнему далеко еще не равноправно. Шутка сказать, у одного — мощнейшие средства для производства материальных благ, у другого — ничего, кроме Богом данных рук. Равноправие уже уничтожается самим актом найма — рабочий вынужден признавать чьи-то хозяйские права на себя. В силу своего превосходящего положения наниматель диктует: будешь делать то-то и то-то, получать столько-то, а значит, так-то питаться, так-то одеваться, в таких-то условиях существовать. Выходит, что вся жизнь рабочего поставлена в зависимость от хозяина. Капиталистическое сотрудничество зависимости не уничтожает.

Общество, живущее сотрудничеством по найму, охраняя свои интересы, *вынуждено* поддерживать хозяев-нанимателей своими законами, а коль они нарушаются, то и силой. Хозяин-капиталист от лица общества получает господские прввa над рабочим. Значит, по мнению марксистов, общественное устройство по-прежнему препятствует возникновению взаимопонимания, создает атмосферу враждебности; капитализм по-прежнему держится на частной собственности, именно ее наличие, несмотря на баснословное экономическое благополучие, и сохраняет раздирающий антагонизм. И ничего нельзя придумать иного, как вернуться к старому: необходимо уничтожить частную собственность, сделать ее всеобщей!

Только — как?..

6

Все усилия классического марксизма направлены на — уничтожить, отобрать!.. А как *превратить* отобраяную частную собственность в общественную, всем принадлежащую, обходится стороной. Подразумевается, что она, злосчастная собственность, сама собой станет общей, когда останется без хозяина.

Сама собой?

Отберем у хозяина завод, объявим рабочим: он ваш! Никак не исключено, что рабочие охотно поверят в это. Но достаточно ли одной веры, чтоб все и на самом деле стали хозяевами?

А что, собственно, значит — быть хозяином? В чем выражаются его права, в чем — обязанности?

Чтобы ответить на этот, казалось бы, столь наивно-простой вопрос, необходимо вспомнить — ради чего приобретается собственность? Ради того, чтобы создать с ее помощью некие материальные ценности? Да, но прежде чем что-то создать, необходимо вложить, раскошелиться на постройку самого завода, на его оборудование, на сырье и т. д. и т. п. И, разумеется, полученные материальные ценности должны превышать вложения, иначе собственность — тот же завод — бесполезна и даже обременительна.

Собственность должна приносить доход, и в этом, право, нехитрый смысл обладания ею.

Доход... Поэты не воспевали его в стихах, напротив, прочно сложилось крайне пренебрежительное отношение к этому скучному бухгалтерскому понятию. Доход — нечто меркантильное, утилитарно низменное, связанное с человеческой корыстью, золотой телец, которому поклоняется ненасытный капиталист.

Но он, доход, уже тем достоин почтительного уважения, что любой труд был бы бессмыслен без него. Какому сумасшедшему земледербу придет в голову надрываться на поле ради того, чтоб получить столько же (или меньше) зерна, сколько он побросал в борозду. Всегда люди стремились обрести что-то сверх аложенных затрат, этим «сверх» жили. Именно доход содержал и содержит челоаечество, более того, стремление повышать его заставляло людей идти на ухищрения, совершенствовать свои возможности. Доход не только кормил, поддерживал жизнь, но неизменно способствоаал и развитию.

Тот еще не хозяин, кто получает доход, в его получении неизменно участвовали раб, крепостной и рабочий. Но нельзя назвать хозяином и того, кто просто кладет кем-то полученный доход в свой карман, не задумываясь использует его на себя. Растрачивать доход и не заботиться хотя бы о том, чтобы возместить из него вложенные затраты, значит подрывать хозяйство вплоть до полного разорения, быть врагом хозяйских интересов.

Хозяин тот, кто *распоряжается* доходом, *распределяет* его с учетом не только своих личных потребностей, но и потребностей самого хозяйства, обеспечиаающих его нормальную деятельность, его дальнейшее развитие.

Объявить всем рабочим — завод ваш, вы собственники, полноправные хозяева — еще не значит сделать их хозяевами. Необходимо *всех допустить к распределению* дохода. Всех, вплоть до тех, кто выметает из-под станков мусор.

Легко сказать, но как это сделать? Мол, все собираются, вникают, обсуждают, совместно распределяют... На предприятии, где работает десяток-другой рабочих, такая коллективная операция в принципе возможна. Почему бы и нет? Каждый, кто имеет собственное мнение, может изложить его всем, будет выслушан, принят во внимание. Из отдельных мнений выбираются наиболее удачные, принимаются, так сказать, на вооружение...

Но столь мелкие предприятия в наш промышленный век не характерны для общества. Современные производства, как правило,— крупные объединения, вмещающие в себя многие сотни, а то и десятки тысяч тружеников. Как тут проводить совместные распределения дохода? Собираться и обсуждать многотысячными коллективами? Нечего и мечтать, что мнение каждого из этих многих тысяч будет услышано и принято во внимание другими, обязательно подавляющая масса останется в стороне, окажется лишенной хозяйских прав. Лишь наиболее энергичные и напористые единицы станут навязывать свое мнение. Не исключено, что перед лицом неорганизованной массы они станут сплачиваться в корпоративные группы, присваивать себе хозяйские права. И даже если этого не случится, то все равно не избежать несогласованности в столь великом многоголосье, страшного разброда во мнениях. Неслаженно громоздкой и, по сути, малоэффективной предстает здесь операция распределения.

Предположим, что с помощью каких-то организационных мер ее удастся упорядочить. Предположим! Но сразу же придется столкнуться с другим, еще более пугающим обстоятельством.

Нельзя распределение дохода свести к простой дележке — мол, кому сколько полагается — отдай и не греши! Распределение дохода в первую очередь — важная хозяйственная задача: от того, как распределяется доход, зависит будущее всего производства. Обратимся к тому же Марксу. В «Критике Готской программы» он решительно выступает против проповедников «неурезанного дохода труда», перечисляя изъятия, какие необходимо сделать из дохода для нужд предприятия.

«*Во-первых:* расходы по возмещению потребленных средств производства. (Израсходованное сырье, износ машин, амортизация зданий и пр. и пр.— все возмещай, чтобы работать и дальше.— *В. Т.*)

Во-вторых: добааочную часть для расширения производства.

В-третьих: резервный или страховой фонд для страхования от несчастных случаев, стихийных бедствий и пр.».

Не сделай этого, предприятие тут же закончит свое существование, а любые ошибки при распределении непременно отразятся на его продуктивности, а значит, и на заработках рабочих.

«Эти вычеты из «неурезанного дохода труда»,— пишет Маркс,— экономическая необходимость, и размеры их должны быть определены на основе наличных средств и сил, отчасти на основе теории вероятностей, но никоим образом не поддаются вычислению на основе справедливости».

Оказывается, не так-то просто произвести распределение. Задача распределения неимоверно осложняется еще и тем, что необходимо предвидеть не только будущее своего предприятия, но и всего, с ним связанного,— состояние сырьевых баз, разбросанных по стране, возможные затруднения с транспортом, потенциальное состояние потребителей и конкурирующих предприятий, внедрение научно-технических достижений, которые могут внести изменения в техническое оснащение, и пр. и пр. Распределение дохода крупного завода непосильно для одного человека, будь он даже семи пядей во лбу. Хозяин-капиталист, как правило, призывает себе на помощь различных специалистов.

Ну а как разобраться в этой непосильной сложности простому рабочему? Он достаточно хорошо знает лишь свой станок, а «наличие средств и сил» своего завода представляет весьма и весьма смутно, не говоря уже о том, что находится за его пределами. О теории же вероятностей и прочих ученых ухищрениях рабочий зачастую и вовсе не слышал. И если такой рабочий выскажет свое мнение, то оно будет наверняка некомпетентным.

Невольно возникает крамольный вопрос: следует ли вообще выносить на общее суждение столь жизненно важную и сложную операцию, каковой является распределение дохода? Неизбежно профессиональная разработка, знания и просвещенные мнения специалистов столкнутся с невежеством, причем массовым, игнорировать которое чрезвычайно трудно. Неизбежно ошибочность решений вызовет уродливые эксцессы в развитии предприятия, снизит производительность его. И если это станет нормой жизни, общество окажется под угрозой нищеты, и первыми ее почувствуют простые труженики.

Как видите, отобрав собственность у частника, нечего рассчитывать, что она, собственность, сама собой превратится в общественную. Труженик просто не подготовлен владеть ею.

И тем не менее марксизм неистово взывает: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Против господ собственников! Отнимай у них то, чем владеют!

А дальше?.. Молчок? Да нет, не совсем.

Среди мер, которые Маркс и Энгельс предлагают в «Манифесте» провести «почти повсеместно» после захвата власти пролетариатом, есть — под номером восемь — такая:

«Одинаковая обязательность труда для всех, учреждение промышленных армий, в особенности для земледелия».

На отнятой у частников собственности — «одинаковая обязательность труда для всех», поголовная принудительная мобилизация в промышленные армии. Хочешь не хочешь, а забудь о себе, о какой-либо самостоятельности, изволь подчиняться армейской дисциплине, а следовательно, и армейской субординации, о равенстве и свободе не мечтай! «Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей. Приобретут же они аесь мир». Мир, где снова — цепи, еще более тяжелые, воинского образца.

Госудврство наивного Кампанеллы с отечески незлобивым битьем провинившихся, с физически неполноценными, зато получающими хорошее содержание соглядатаями-доносчиками, пожалуй, рай сравнительно со всеобщей военной казармой, предложенной Марксом и Энгельсом.

7

Для Маркса и Энгельса власть пролетариата была далеким, заветным, неопределившимся будущим, а потому «открывать политические формы этого будущего Маркс не брался» — преждевременно.

Ленин же попадает в самое время, заветные надежды сбывались. В разгар революции, еще гонимый, но уже верящий, что победа близка, не завтра послезавтра власть будет завоевана, он, Ленин, набрасывает проект грядущего общества, где, разумеется, даст ответ — как поступить с отобранной частной собственностью. Ответ этот поражает завидной простотой и категоричностью: собственность должна быть национализирована, целиком переходит к государству, а «*все* граждане превращаются здесь в служащих по найму у государства, каковым являются вооруженные рабочие».

Способ по найму в свое время лег в основу нового общественного сотрудничества, породил капитализм. И тут — нет! — мы нисколько не протиаоречим самому Марксу.

«Условием существования капитала,— говорится в «Манифесте»,— является наемный труд».

Маркс специально исследует это в знаменитой работе «Наемный труд и капитал»: «Капитал и наемный труд суть две стороны одного и того же отношения. Одна сторона обусловливает другую, как обусловливают друг друга ростовщик и мот». Там, говорит Маркс, где существует наемный труд, неизбежно должен возникать и капитализм — «они создают друг друга».

Завершая доклад «Заработная плата, цена и прибыль», прочитанный на двух заседаниях Генерального совета Интернационала, Маркс требует: «На место *консервативного* лозунга: *„Справедливая заработная плата за справедливый рабочий день“*, они (рабочие.— *В. Т.*) должны на своем знамени написать *революционный* девиз: *„Уничтожение системы наемного труда“*».

Ленин был, как никто, образованным марксистом, уж он-то не мог не знать этих высказываний. Всегда неистово защищаавший Маркса, кипуче ненавидевший тех, кто проявлял самые невинные сомнения в его правоте, даже легкий ревизионизм расценивавший как прямое предательство, он, Ленин, вдруг предает Маркса в основном, в том, что определяло отношение Маркса к прошлому, существующему и будущему! Забыв про революционный девиз: «Уничтожение системы наемного труда», Ленин снова предлагает обратитьсн к этой ниспровергнутой системе, тем самым вернуть старый капиталистический способ производства, старые капиталистические отношения. Совершить тяжелую кровопролитную борьбу, довести страну до полной разрухи, не считаясь ни с чем, добиться победы и утвердить то, против чего столь ожесточенно боролся,— не вопиющая ли бессмыслица? Право, Маркс должен был перевернуться на Хайгетском кладбище.

Но что бы предложил сам Маркс, окажись он на месте Ленина? А предложить-то надо ни много ни мало — новый, более совершенный способ производства, прин-

ципиально отличающийся от капиталистического уже тем, что основывается не на частной собственности.

На протяжении всей истории только трижды происходила смена способа производства — с патриархального на рабовладельческий, с рабовладельческого на феодальный, с феодального на капиталистический. И вызывались эти эпохальные перемены не простой перестановкой сил, не политическими преобразованиями, а появлением новых средств производства, изменявших характер труда, характер человеческой деятельности, всей жизни, в том числе и человеческих отношений. Ни Маркс, ни кто-либо другой не могли подарить роду людскому новые средства производства, скажем, некие более совершенные, небывало производительные машины, внедрение которых каким-то чудесным образом сделало бы невыгодным наемный труд. К тому же надо помнить, что Маркс был искренне убежден — историческое развитие двигается классовой борьбой, а потому следует жать лишь на эту пружину, совершать не созидательные процессы, а разрушительное насилие. Предложения Маркса могли быть только в плане того, что мы уже знаем из «Манифеста» — обязательный труд для всех, мобилизованных в промышленные армии, труд под принуждением иерархически выстроенного командного состава, требующего неукоснительной дисциплины, наделенного правом наказывать за неисполнительность. Это уже не возврат к сравнительно лояльному капитализму, бери дальше — к откровенно грубым, насильственным отношениям рабовладения и феодализма.

Многое из предложенного Лениным было незамедлительно отвергнуто жизнью.

Ленин считал: «Чиновничество и постоянная армия, это — «паразит» на теле буржуазного общества...», а потому их следует уничтожить. Правда, он оговаривался: «Об уничтожении чиновничества сразу, повсюду, до конца не может быть и речи. Это — утопия. Но *разбить* сразу старую чиновничью машину и тотчас же начать строить новую, позволяющую сводить на нет всякое чиновничество, это *не* утопия...» Увы, новое чиновничество свести «на нет» не удалось, напротив, оно начало плодиться с небывалой силой.

Ленин рассчитывал на создание «власти, не разделяемой ни с кем и опирающейся непосредственно на вооруженную силу масс». Не получилось. Нераздельно властвовать над массами с помощью вооруженных же масс — ей-ей, некая тавтология. Власть попросту будет в зависимости от масс, не сможет проявлять свою активность, не станет организующим началом. Это равнозначно безвластию. И потому новая власть поспешно создала постоянные армии, организации полицейского типа, опиралась только на них.

Ленин надеялся ввести порядки, по которым бы все «правильно соблюдали меру работы и получали поровну». Но спустя несколько месяцев после революции сам Ленин начал энергично воевать против уравниловки в оплате труда.

Жизнь опрокидывала упования Ленина одно за другим, однако предложение — все граждане превращаются в служащих по найму у государства — привилось сразу по той простой причине, что способ по найму давно уже существовал. Капитализм свергнут! Да здравствует капитализм! Вот уж воистину, баш на баш менять.

Но собственность-то не принадлежит какому-то одному лицу, ее теперь не назовешь частной, стала государственной — ничья конкретно, всех вообще. Разве это не принципиальное отличие, не происходит ли тут перерождение безобразной капиталистической лягушки в некую Василису Прекрасную, знаменующую собой новое общество? Однако теперь-то мы знаем, что отнятая у частного владельца собственность сама по себе не становится всеобщей.

Сам способ по найму исключает для труженика всякую возможность чувствовать себя собственником. Если трактор, станок, завод — мой, то явная бессмыслица наниматься мне для работы на них. Меня нанимают — одно это непреложно доказывает наличие чужой мне собственности. Прежде меня нанимал от лица капиталиста его служащий, теперь от лица государства — служащий государственный. Сколько угодно могут втолковывать: государство — это все, в том числе и ты, потому и государственная собственность — твоя, наряду со всеми, всеобщая, всенародное достояние, но жизнь опрокидывает столь наивную логику. Твоя! Ты хозяин! А при найме диктуют — делай то-то, получишь столько-то, гляди из чужих рук, пребывай в зависимости. Изменилось только одно — прежде было множество хозяев, теперь единственный, всенародный. Хрен редьки не слаще.

Не слаще ли?

При капитализме рабочий имел хоть какую-то призрачную самостоятельность выбора — у одного хозяина условия не подходили, искал другого, авось будет попокладистей. Теперь и эта некорыстная самостоятельность сильно урезана. Хозяин-то повсюду один, выбирать не из чего.

Диктаторство разрозненных хозяевчастников было ограничено уже тем, что таких диктаторов много, их интересы часто не совпадают, больше того — противоречат, ведется конкурентная борьба, заставляющая заигрывать с рабочими.

В капиталистическом прошлом диктаторы-наниматели хоть и весьма влиятельная, пусть даже господствующая часть общества, но часть, не исключающая существования каких-то независимых от них социальных групп. И тот факт, что капиталисты-наниматели вынуждены были мириться с профсоюзным движением рабочих, говорит, что их диктаторское господство далеко не всемогуще.

Но вот государство-хозяин получает диктаторские права, и других, помимо него, диктаторов нет. А так как у него *все* служащие по найму, *все* от него зависимы, никто и ничто не сдерживает, то диктаторство государственной власти становится беспредельным, может дозволить себе прямое насилие, не останавливаться перед крайними жестокостями — сажать, ссылать, расстреливать, пытать в застенках. И тут уже не человек человеку волк, нет, все общество в лице государства хищнически безжалостно к каждому своему члену. К каждому! Высокопоставленные служащие по найму так же не застрахованы от диктаторских насилий, как и простые труженики. Вспомним, сколько их в свое время погибло в застенках. И пусть любой из высокопоставленных честно вспомнит, как часто ему приходилось трепетать перед наказанием.

Антагонизм уже не просто раскалывает общество на непримиримые лагеря, как было раньше. Все — служащие по найму, выстроившиеся один над другим, наделенные правом диктаторски приказывать и обязанные повиноваться. Все — служащие, все под властью старшего по чину, который вынужден относиться с подозрительной недоверчивостью — того гляди, не исполнит, подведет! На недоверие трудно отвечать прекраснодушным доверием, диктаторское принуждение не может вызывать добрые чувства и обоюдное взаимопонимание. Общество так устроено, что все противопоставлены друг другу. Антагонизм уже теряет былой классовый характер, он воистину становится всеобщим достоянием, пронизывает служащих граждан сверху донизу.

И складывается самая благоприятная обстановка для проявления низменных качеств — трусости и жестокости, чванства и подхалимажа, лицемерия и беспринципности. И крайне неблагоприятная для проявления качеств высоких — внимательности и уважения, самостоятельности и сохранения личного достоинства. Не смей держать себя независимо, не смей говорить во всеуслышание, что думаешь, не смей даже быть недовольным! Ты не принадлежишь себе, ты — раб системы!

Но и это еще не все. Есть одно растлевающее обстоятельство, которое не присуще капитализму старой закваски. Если все — служащие по найму, то никто не в состоянии считать государственную собственность своей — никому не принадлежит, обезличена. В обществе не существует таких людей, которые были бы кровно заинтересованы в эксплуатации тех средств производства, которыми, собственно, и поддерживается жизнь.

Если при рабовладении закабаленный раб питал отвращение к труду, не был заинтересован в эффективном использовании той же земли, с которой кормится, то господина-то в этой незаинтересованности заподозрить нельзя. Уж он-то старался сделать все возможное и невозможное, чтобы земля давала наибольший урожай. Господин со своей палкой был своего рода катализатором производительности в обществе.

Крепостничество потому и сменило рабство, что не только сам феодал, но и крепостной крестьянин, бывший раб, обрел какую-то жалкую заинтересованность — лучше сделать, больше получить, из большего легче ублаготворить хозяина, оставить себе лишнюю толику.

Капиталист-хозяин подхлестывал заинтересованность рабочего рублем, всеми силами стремился поднять производительность.

Теперь все служащие. Столь кровной заинтересованности в деле, какая была у хозяев, у них быть не может, в лучшем случае можно рассчитывать на их службистскую добросовестность. Впервые в истории общество лишилось тех, кто был катализатором производительности. И вот Россия, извечный поставщик хлеба в другие страны, вынуждена покупать хлеб, и заработанный рубль никогда у нас не покрывается товарами — всегда очереди к прилавкам магазинов, и устрашающий вандализм к государственной собственности — ценная аппаратура валяется под снегом, из десяти выкопанных с поля картофелин только одна попадает на стол потребителя...

Нельзя не ужасаться вопиющим эксцессам, которые совершались у нас в стране после революции,— насилие во время коллективизации над миллионами крестьянских семей, чудовищные репрессии тридцатых — сороковых — пятидесятых, государственная травля евреев под лозунгом борьбы с безродными космополитами, врачами-убийцами... Но едва ли не страшней всего — растлевающее нашу жизнь обезличивание собственности!

Сотрудничество служащих по найму у государства на базе обезличенной собственности не только порождает антагонистически безнравственные отношения людей друг к другу, но и *безнравственное отношение гражданина к самому себе.*

К каким гримасам привела, однако, война против частной собственности!

8

Но пока эта война шла, лилась кровь, выкорчевывалось хозяйское отношение к собственности, в капиталистических странах неприметно перерождалась... Что бы вы думали? Да, да, та самая частная собственность, которую с таким неистовством жаждали уничтожить.

«Экономическая жизнь (промышленного

капитализма.— *В. Т.*) начиналась с небольших фирм, с небольшого капитала, которыми распоряжалась властная рука единоличного хозяина»[1].

Фирмы разрастались, рос капитал, росли одновременно и требования общества, начали бурно возникать объединенные акционерные компании. Любой, распоряжающийся свободными деньгами, мог приобрести акции, соответственно им претендовать на долю в распределении дохода. Казалось бы, у собственности, какой располагали такие объединенные компании, стало множество хозяев, частной ее назвать уже нельзя.

Однако вспомним, что пользоваться доходом еще не значит быть хозяином. Одни вкладывали ничтожно малую часть в дело, другие, сравнительно со всеми,— подавляюще большую. Мелким вкладчикам приходилось лишь удовлетворяться теми жалкими отчислениями с дохода, но сами они к распределению дохода не допускались, это делал наиболее крупный держатель акций. Он был полновластным хозяином. Корпоративная собственность долгое время продолжает оставаться частной.

«Семьдесят лет назад,— сообщает американский экономист Гэлбрейт,— корпорация была инструментом ее владельцев и отражением их индивидуальности. Имена этих магнатов — Карнеги, Рокфеллер, Гарриман, Мелон, Гугенгейм, Форд — были известны всей стране».

И они же, эти магнаты, сделали все возможное, чтоб их потомки утратили свое владычество. Именно они всячески способствовали, чтобы их корпорации чудовищно разрастались и разветвлялись по планете, становились индустриальными империями. И в такой империи «распоряжаться властной рукой единоличного хозяина» уже стало невозможно — одному человеку уже непосильно распределять сложнейший всеимперский доход.

«Таким образом,— продолжает Гэлбрейт,— решение, принимаемое в современном предприятии,— это продукт деятельности не отдельных личностей, а групп. Эти группы достаточно многочисленны, они могут быть официальными и неофициальными, их состав постоянно изменяется».

Вкупе деятельность таких групп представляет не что иное, как управление предприятием.

И вот, отмечает Гэлбрейт: «В течение трех последних десятилетий накапливалось все больше доказательств того, что власть в современной крупной корпорации постепенно переходит от собственников капитала к управляющим».

Дж. Кэннет Гэлбрейт — не только один из видных профессоров-экономистов, он активный деятель в политической жизни США, был участником «мозгового треста» президента Кеннеди. В его компетентности сомневаться не приходится. А сообщает он воистину исторически знаменательное: происходит постепенный самораспад того, что устойчиво держалось с самого начала цивилизации,— собственность перестает быть орудием власти, владыка-собственник сменился коллективным управителем, «чья доля в капитале, как правило, невелика». Не обещает ли это заветное — мечты о всеобщей собственности в скором времени сбудутся?

Но какой бы многочисленной ни представлялась Гэлбрейту та группа лиц — от высокопоставленных до «синих воротничков»,— которая подменяет собой единоличного хозяина, она все же далеко еще не охватывает всех работающих в корпорации. К примеру, в 1964 г. в компании «Форд мотор» насчитывалось около 317 тысяч рабочих и служащих. Наверняка среди этих тысяч, равных населению солидного города, к хозяйской группе имела отношение сравнительно ничтожная часть. Рабочий по-прежнему остается в положении по найму, по-прежнему ему диктуют условия жизни, и то, что это делает не единоличный хозяин собственности, а некое многоликое руководство, ему, право, безразлично. И нет никаких предпосылок, что в будущем, пусть даже далеком, корпоративное управление вместит в себя и массы рабочих. Наемный труд как таковой не исчезнет, извечный антагонизм не кончится. Нельзя рассчитывать, что наступит эра истинной человеческой сообщности.

Сам Гэлбрейт начинает свой труд о Новом индустриальном обществе весьма меланхоличным замечанием:

«Но значительных перемен уже больше не ждут. По каждому поводу и на любой официальной церемонии экономическая система Соединенных Штатов превозносится как нечто достигшее в основном совершенства. И это относится не только к экономике. Трудно усовершенствовать то, что уже совершенно. Перемены происходят, и они довольно внушительны, но если не считать того, что возрастает выпуск товаров, все остается по-прежнему».

Может насторожить и обнадежить один факт, сообщенный Гэлбрейтом: «...Начался упадок профсоюзов. Число членов профсоюзов в США достигло максимума в 1956 г. С тех пор занятость продолжает расти, а число членов профсоюзов уменьшилось».

Не означает ли это, что проклятый антагонизм в США изживает себя — рабочему нет необходимости прибегать к помощи союза, его права и без того удовлетворяются. Вполне возможно, что в какой-то степени так оно и есть: «возрастает выпуск товаров», борьба за кусок хлеба теряет остроту. А профсоюзы помогают защищать главным образом материальную обеспеченность, интересы рабочего желудка. Но еще и еще раз — не хлебом единым жив человек, рабочий по-прежнему чувствует себя зависимым, отнюдь не хозяином не только грандиозных средств производства, а даже и самого себя. Сытый должен ощущать зависимость острей голодного. Внутри американского общества продолжают кипеть страсти, не прекращаются острые столкновения, не сокращаются акты насилия. США пока еще не могут похвастаться нравственным отношением людей друг к другу. Антагонизм жив. И порождает его столь высокопродуктивный, приведший к экономическому изобилию способ производства Нового индустриального общества. Ибо «способ производства материальной жизни обусловливает социальные, политические и духовные процессы жизни вообще».

Гэлбрейт чувствует это. Он говорит:

«Нельзя также сказать, что эти идеи (Индустриального общества.— *В. Т.*) сами по себе открывают путь в светлое будущее. Подчинять свои убеждения соображениям необходимости и удобства, диктуемым индустриальным развитием, отнюдь не соответствует высшим идеалам человечества».

9

Но Гэлбрейт видит будущее современной корпорационной системы, которую по старой привычке все еще величают «капиталистической», в сближении с нашей системой государства-хозяина, в основу которой положен ленинский принцип — «все служащие по найму». «...Конвергенция двух как будто различных индустриальных систем,— говорит Гэлбрейт,— происходит во всех важнейших областях».

Уже сейчас в США ряд крупнейших фирм находится в прямой зависимости от государства уже потому, что оно, государство, является их основным заказчиком. У «Боинг», например, к середине 60-х годов 65 % всей продукции шло государству, у «Райтон» — 70 %, у «Локхид» — 81 %, а у «Рипаблик авиэйшн» — все 100 %. Однако и те фирмы, которые не держатся преимущественно на государственных заказах, зависят от государства в «стабилизации заработной платы и цен, прямом или косвенном субсидировании особо дорогой техники и обеспечении обученными и образованными кадрами», то есть в том, на чем, собственно, держится как производство, так и сбыт продукции. Государство уже теперь как бы объединяет корпорации в единый экономический комплекс. «Пройдет время, и граница между этими двумя институтами исчезнет».

Но нет, простым исчезновением границы дело не обойдется. Явно происходит прямое государственное подчинение, реальные признаки которого подмечаются Гэлбрейтом:

«Вероятность того, что президент «Рипаблик авиэйшн» станет публично критиковать командование военно-воздушных сил или хотя бы беспристрастно судить о нем, незначительна. Ни один из современных руководителей «Форд мотор компани» ни за что не будет реагировать на предполагаемое безрассудство Вашингтона с такой же безоглядной резкостью, как это делал в свое время ее учредитель. Никто из тех, кто возглавляет «Монтгомери Уорд», не станет теперь выказывать полное пренебрежение к президентам США, как это делал Сьюэл Эйвери. Это отчасти объясняется изменением нравов. Но сдерживающим фактором служит здесь и сознание того, что „на карту поставлено слишком много"».

По данным более чем десятилетней давности «на долю пятисот крупнейших корпораций приходится почти половина всех товаров и услуг, производимых в Соединенных Штатах». Подчинить только их — уже стать едва ли не полноправным хозяином всего общества. И неудержимо идет процесс укрупнения мелких хозяйств. «Теперь,— пишет Гэлбрейт,— корпорации охватывают также бакалейную торговлю, мукомольное дело, издание газет и увеселительные предприятия,— словом, все виды деятельности, которые некогда были уделом индивидуального собственника или небольшой фирмы». Рано или поздно все окажется под непосредственной властью государства, оно станет возглавлять и производство.

Но пока государственное владычество наталкивается на одну сакраментальную фигуру — акционера. Частный собственник, потерявший право распоряжаться собственностью, сохраняет за собой неброское, неактивное, но существенное влияние. Акционер — бездельник, не принимающий никакого участия в создании общественного продукта, но берущий из него для себя значительную часть,— по сути явление паразитическое. А попробуй не удовлетворить его паразитизм, он сразу же изымет свой вклад из капитала, приведет предприятие к банкротству. Предприятие вынуждено соблюдать частные интересы акционера в первую очередь, даже если они противоречат интересам государства.

Паразитизм акционера наносит материальный ущерб государству, оно могло бы с каждого предприятия брать больше на свои нужды. Но даже и это не главное — акционер лишает государство полноты власти. Пока существуют акционеры, экономика в той или иной степени останется независимой, нецентрализованной.

Паразитизм акционера чрезвычайно тягостен и для управляющих компаний. Работники предприятий трудятся в поте лица, а плодами их труда пользуются ничего не

[1] Дж. Гэлбрейт. Новое индустриальное общество. М., 1969.

делающие держатели акций. Для управляющих куда как выгодно было бы пустить ту часть дохода, что исчезает в карманах захребетникоа, на укрепление и расширение производства, на увеличение фонда заработной платы. Сами управляющие хотя и распоряжаются акционерным капиталом, но их личная доля в нем чаще всего незначительна. По сведениям проф. Гордона, собранным еще до войны, пакеты акций, принадлежавшие администрации компаний, состааляли в среднем 2,1 % акционерного капитала. В 56 % компаний администрация владела менее 1 % акций. В 1952 г. эта доля была еще меньше.

Тунеядец акционер не устраивает государство, не устраивает и экономических боссов и, разумеется, меньше всего устраивает простого труженика. «Бесшумное устранение акционеров от власти» (выражение Гэлбрейта) уже свершилось, и нет оснований считать, что начавшийся процесс остановится на полпути, не закончится полным исчезновением акционеров. И если это произойдет — до конца бесшумно, с бурным ли завершением,— для гэлбрейтовского Индустриального общества оно будет событием, равносильным революционному перевороту. Понятия «компания», «корпорация», предусматривающие объединения многих частных капиталов, станут изжившим себя анахронизмом — последние пережитки частновладения исчезают, а вместе с ним исчезает экономическая независимость. Заводы, фабрики и пр. уже начинают принадлежать всем вообще, населению страны, сиречь государству как органу управления данной страной.

Гэлбрейт очень осторожно оговаривается: «Вполне возможно, что сочетание государственной и экономической власти таит в себе опасность». Попробуем разобраться.

Предприятие попадает в полное и непосредственное подчинение государства. Теперь ему уже нет нужды вступать с предприятиями в добровольно-договорные отношения, можно требовать, чтобы удовлетворили государственные интересы. А как часто эти интересы не совпадают. Современные компании постоянно вступают в скрытую или явную борьбу с правительством, открыто судятся, скрытно интригуют, подкупают сторонников в законодательных органах, порой даже прибегают к преступным методам. Не исключено, что пуля, сразившая президента Кеннеди, была направлена по воле могущественной компании. И это происходит, когда государство еще ограничено в средствах воздействия. Ну а если оно окажется полновластным хозяином в стране, то можно ли сомневаться — куда чаще будет ущемлять интересы локальных предприятий.

Прежде управляющий предприятием решений в одиночку не принимал, обращался за помощью к тем группам специалистов, которые доставляли ценную для дела информацию, подсказывающую оптимальные решения. Такой групповой метод управления — результат многолетнего развития капитализма. Его вполне можно считать несомненным достижением: трудовой процесс стал более гибким, упорядоченным, быстро приспосабливающимся к обстоятельстаам, менее зависящим от досадных случайностей, а значит, и продуктивным. Небывало высокая в истории экономическая обеспеченность во многом обязана появлению этого информированного управления.

Но теперь-то главному управляющему бессмысленно кидаться за помощью к специалистам. Их знания и опыт могут лишь доказательно подтвердить, насколько требования государства не сходятся с интересами предприятия. Помощь сведущих специалистов только осложнит критический момент. У управляющего просто не останется иного выхода, как отдать приказ — выполнять, не рассуждая!

Сочетание государственной и экономической власти сам Гэлбрейт видит в подчинении экономических деятелей государственным. Он даже осмелнвается произнести неприглядное слово «рабство», правда, тут же спешит успокоить: «Все это в целом выльется в конечном счете не в жестокое рабство плантационного работника, а в мягкое рабство домашней работницы, приученной любить свою хозяйку и рассматривать ее интересы как свои собственные». Какое благостное, однако, упование!

Подчинение производства государству сразу же вызовет изменения внутри предприятий. Групповое информированное управление заменит администраторский приказ. Ему в помощь неизбежно придут драконовские законы. «Мягкого рабства», на какое рассчитывал Гэлбрейт, увы, не получится, все шансы — оказаться в «жестоком рабстве плантационного работника» или в хаосе разбалансированной экономики.

Конечно, любые прогнозы крайне рискованны. Наверняка моя логическая схема несовершенна. Но еще меньшее доверие должны вызывать упования Гэлбрейта на конвергенцию двух систем.

Мы настолько недовольны своим существованием, что все чаще и вожделенней оглядываемся на Запад, пребывающий в развитом капитализме, постепенно освобождающийся от извечной власти частной собственности. А они, видя наше несовершенство, не без основания считая нас несвободным миром, поглядывают с надеждой на нас. Убежден, что безоглядно устремившись по пути, которым уже прошло западное общество, мы неизбежно окажемся в тупике.

Окончание следует

Подготовка текста и публикация Н. Асмоловой-Тендряковой

Андрей Иллеш

КТО ОН — ДИССИДЕНТ № 1?

Монолог о своей жизни Жореса Медведева, бывшего советского сумасшедшего, литературная деятельность которого вызывала недовольство КГБ и ЦРУ, ныне известного английского ученого

Аскетически строгое помещение на четвертом этаже монументального здания на Калининском проспекте столицы, где расположен Верховный Совет страны, было набито людьми сверх всякой меры. Сюда пришли депутаты из трех комиссий, вызваны были эксперты ряда оборонных министерств, люди, до некоторого времени секретные, те, кого мы относим к сильным мира сего. Депутаты, эксперты и работники аппарата Верховного Совета долго не начинали назначенных на этот день первых в нашей новой истории парламентских слушаний. Ждали, не ропща, иностранца. Приглашенного для специального выступления в высшем органе страны гражданина Великобритании, бывшего советского диссидента № 1, автора книги «Ядерная катастрофа на Урале» Жореса Александровича Медведева. Он опаздывал. Машина, которая должна была его подвезти, задержалась.

...Человек с седой бородой вышел на трибуну и кратко рассказал содержание книжки, опубликованной во всем мире, но так и не увидевшей света в СССР. Книжки, посвященной взрыву ядерных отходов в 1957 году на военном предприятии близ города Кыштым под Челябинском, трагедии, случившейся за тридцать лет до Чернобыля. Трагедии странной, запутанной, до сего дня еще не проясненной в деталях и совершенно неизвестной в СССР до недавних публикаций в «Известиях».

Слушая его, слушая академиков, руководителей оборонных ведомств, закрытых и полузакрытых врачей, я не мог не заметить, с каким уважением некоторые из них в своих выступлениях ссылались на Жореса Медведева, а если и спорили с ним — то тоже выказывая при этом пиетет. Вздрогнул даже, когда первый заместитель министра, выступая, оговорился: «Вот товарищ Медведев нам рассказал...» Правда, он тут же поправился: «Жорес Александрович нам рассказал...»

Так кто же он — «товарищ Медведев» или Жорес Александрович? Кто же он, столько лет подвергавшийся гонениям в нашей стране? Ученый-геронтолог, специалист из Института радиологической медицины. Стоявший у истоков «самиздата», первый «громкий» советский сумасшедший, семнадцать лет назад поехавший в командировку в Великобританию и в научной этой командировке навсегда лишенный советского гражданства. Автор книг о Лысенко, о КГБ, о перлюстрации в СССР и правах человека, о нашем сельском хозяйстве, об Андропове, Горбачеве, о нарушении прав человека и демократии.

Сегодня, когда его книги стоят в планах многих наших издательств, мне кажется, интересно услышать то, что сам он рассказывает о себе, о прожитых годах.

Несколько вечеров записывали мы на диктофон его неторопливый и четкий монолог о том, как он, Жорес Медведев, чувствует прожитые годы теперь, как воспринимает родину и те гонения, которым он подвергся в СССР, как оценивает события давних и недавних лет. Это не биография, это штрихи к ней. Но, мне кажется, поучительные, показывающие, как тоталитарное государство боится, а потому ломает людей, задающих обществу неудобные вопросы.

Иллеш Андрей Владимврович (р. 1949) — публвцвст. Работал в «Комсомольской правде», «Советской России», в настоящее времн — редактор отдела внформации в «Известинх». Автор четырех книг о Чернобыле, вышедших в СССР, Японии и США.

СТУДЕНТ В СОЛДАТСКОЙ ГИМНАСТЕРКЕ. НАЧАЛО

Родился я в Тбилиси, в семье военнослужащего, в 1925 году. Мы с братом — близнецы. Как показала наша судьба, взаимная поддержка между близнецами значительно более тесная, чем между любыми другими родственниками, близнецы доверяют и помогают друг другу больше, чем кто бы то ни было, так что это — первое счастливое обстоятельство в моей жизни. Отец назвал брвта Роем, а меня — Рейсом. Что он имел в виду, мы так и не успели узнать, отца репрессировали. А мое имя претерпело изменения — сначала перепутали в грузинских конторах, и я стал Ресом. Потом приписал себе две первые буквы, чтобы это хоть как-то походило на имя.

Отец наш был слушателем Военно-политической академии, потом стал комиссаром, преподавателем Академии имени Толмачева. Позже, когда Толмачев был объявлен врагом народа, академия стала носить имя Ленина. Академия была в Ленинграде, туда мы переехали из Тбилиси и жили до конца 37 года, когда академию перевели в Москву. Вот тут и начались сложности в нашей семье — и не только в нашей,— они были связаны с жизнью академии, в которой каждую неделю кого-то арестовывали. Семьи сотрудников жили по соседству, и когда ночью увозили отца кого-то из наших приятелей, утром во дворе, где мы играли, это сразу становилось известно. Мы не понимали, что именно происходит, но происходившее не могло не создавать ненормальной, нездоровой обстановки. Ведь мы знали и любили тех людей, которые исчезали,— они приходили к нам в дом, были друзьями наших родителей.

Потом был арестован и наш отец. Сначала его уволили из академии, из-зв этого он был в нервном шоке, болел. А в августе 38 года, ночью, за ним пришли. После того как отца осудили, зимой нас выселили из дома, и начались скитания. Выселяли прямо на улицу, и жить нам было негде. Вещи рассовали по знакомым, а сами жили то в Ленинграде, то в Ростове. В начале войны подались к маминой сестре, в Тбилиси.

В феврале 43-го нас с Роем призвали в армию, хотя мы еще не закончили школу. Впрочем, Рой успел сдать все экстерном, поэтому у него аттестат средней школы был. Но скоро вышел указ, по которому всех, имеющих аттестаты, отправляли в офицерские училища. Об этом я узнал в военкомате — меня за хороший почерк определили туда писать списки. Так мы с Роем расстались — он уехал в Тбилиси, в распоряжение военкомата, а я остался. Но в военкоматах были указания, касавшиеся лиц «ПМС» — «политически и морально сниженные». Эти буквы были на папках с делами родственников репрессированных, им не полагалось учиться в офицерских школах. Поэтому Рой туда не попал.

А меня посадили в теплушку и повезли в Новороссийск, где столь славно отличался Леонид Брежнев. О его подвигах, понятно, советские люди узнали потом, много позже, во времена, которые принято называть застойными. Тогда же и слуху о герое Брежневе ни на фронте, ни в тылу, ясное дело, не было.

Итак, выдали мне винтовку образца 1897—1932 года, набор гранат. До этого я не сделал из трехлинейки ни одного выстрела, как гранатой пользоваться — тоже не знал. Повоевать мне пришлось всего десять дней, но кое-что из происходившего на фронте мне удалось понять. Помню, что было не страшно, а скорее любопытно. Летит бомба — сначала ее видно, потом не видно, потом слышно, потом она взрывается. Молодой, я как-то не думал, что она может попасть в меня.

Хоть я и был простым солдатом, но ко многому относился критически, и мое мнение может не совпасть с воспоминаниями генералов. Ну, скажем, очень популярна была тактика мощной артиллерийской подготовки перед началом наступления. У немцев под Новороссийском было две линии обороны, отлично укрепленные на глубину примерно в три километра. Считалось, что артподготовка очень эффективна, но мне кажется, что немцы довольно быстро к ней приспособились. Заметив, что сосредоточивается техника и начинается мощная стрельба, они уходили на вторую линию, оставив на передовой лишь несколько пулеметчиков. Уходили и с таким же интересом, как и мы, наблюдали весь этот шум и дым. Потом нам приказывали идти вперед. Мы шли, подрывались на минах и занимали окопы — уже почти пустые, лишь два-три трупа валялось там. Тогда давался приказ — атаковать вторую линию. Тут-то погибало до восьмидесяти процентов наступавших — немцы ведь сидели в отлично укрепленных сооружениях и расстреливали всех нас чуть не в упор. В течение одного дня от роты, где я воевал, осталось 37 человек. А ведь это был май 43 года, когда советская армия уже имела большой опыт...

Когда обнаруживалось, что взять немецкую линию невозможно, давался приказ — окапываться! И вот результат: у немцев — прекрасно оборудованная линия, с колючей проволокой, а мы рыли индивидуальные окопчики и пытались из них противостоять немцам. Через пару дней они, понятно, отбрасывали нас обратно. На мое счастье, сила контрудара после очередного нашего наступления пришлась немного в стороне от окопчиков, где мы лежали. Оттуда я видел, как шли танки, как героически оборонялись наши солдаты. Это особенно трудно, когда нет сплошной линии окопов, нет артиллерии, расположение войск беспорядочно, командование не знает точно, где какой полк...

Все это продолжалось в течение примерно недели. Связь с командованием была нарушена, а восстановить ее на виду у немецких снайперов было просто невозможно — они убивали всякого, кто высовывался из окопа. Но и без связи воевать тоже нельзя. И командир батальона приказал восстановить ее любым способом — это значило взвалить на себя катушку с проводом, найти обрыв и соединить. Связистами обычно были девушки — вот после приказа убили одну, потом другую. Тогда послали меня. Я подхватил под мышку провод, побежал и даже успел связать обрыв. А когда вскочил, чтобы дунуть назад,— мне в ногу ударило словно электрическим током. Тихонько пополз к окопчику. Кровь хлещет, а я не знаю, как ее остановить. Тут я и потерял сознание. Очнулся уже в госпитале. После ранения меня признали негодным к службе, дали инвалидность. Я убедился, что рядовой пехотинец в активной фронтовой обстановке выжить фактически не мог. Я видел просто горы трупов — после таких вот бессмысленных, с точки зрения военной науки, бросков. Сейчас иранцы воевали против Ирака примерно на том же уровне. Это все тактика первой мировой войны, за исключением массированных артиллерийских атак. Потом уже, после Курска, артиллерийский вал стали использовать таким образом, что он все же защищал пехоту, но весной 43-го еще не разработали такую тактику, и много народу погибало бессмысленно.

После госпиталя я поехал в Москву и поступил в Тимирязевскую академию. В 45-м ходил уже без палочки и, хотя меня снова признали в армию, до фронта я не доехал — опять признали негодным к службе. Так война для меня кончилась.

Я давно интересовался биологией — много читал по медицине, физиологии, читал Лысенко — и в госпитале, и потом, живя на инвалидные карточки. Я хотел поступать или в МГУ на биофак, или в медицинский, или, если ничего другого не получится,— в Сельскохозяйственную академию. Больше всего меня интересовали вопросы старения. Я приехал в Москву после демобилизации в декабре, когда в медицинском институте уже шли занятия. Мне не удалось переубедить ректора, что я знаю анатомию и могу догнать студентов. На биофак меня согласны были принять, но там не было общежития, а где в таком случае жить?..

Зато в академии мне страшно обрадовались — мужчин у них почти не было. Приняли очень тепло: дали общежитие, устроили на работу... Сначала я учился на агрономическом факультете, потом перешел на агрохимический. Потерял год, но не жалею. Влияние Лысенко началось после сессии 48 года, а до той поры настроения были, напротив, антилысенковскими, и он терял влияние и авторитет. Впрочем, это, видимо, и послужило поводом «контрнаступления» 48 года.

Я начал работать на кафедре ботаники у профессора Жуковского, блестящего ученого, лектора, ученика Вавилова. На его кафедре и защищал диссертацию. Работу приготовил без аспирантуры — я чувствовал, что в нее меня не примут: и время уже пришло лысенковское, да и анкеты у меня были не лучшие — сын репрессированного. Словом, обстановка серьезная и мрачнела она быстро. На нашей кафедре появился агент госбезопасности, он был просто назначен в аспирантуру и особенно не скрывал, что определен «в ученые» в основном для слежки. Был он военным, но без всяких фронтовых заслуг. Надо было спешить.

К последнему курсу у меня уже было шесть публикаций, а на последнем курсе я написал работу, которую представил в качестве диссертации в Институт физиологии. Кончил я академию в мае 50-го, в декабре того же года была защита, и я стал кандидатом биологических наук.

Работать послали в Никитский ботанический сад — это была база моего учителя, профессора Жуковского. Но время, повторяю, пришло лысенковское. Тогда Иосиф Виссарионович выдвинул свою программу «великих планов преобразования природы», в которую входило строительство «великого туркменского канала». Предполагалось, что по берегам этого полноводного канала будут расти маслины, из которых страна будет получать оливковое масло. Тогда же экспериментировали с лимонами и апельсинами в Крыму. Для них рыли траншеи, каждый лимон выходил на вес золота, но это мало смущало «преобразователей природы» — Сталин велел...

В Никитском саду тоже организовали отдел по лимонам. Я, конечно, видел, что эти затеи — идиотские, но и мне приказом директора было велено изучать физиологию маслин, их приспособляемость. По распределению я был обязан отработать три года, хотя вовсе не хотел заниматься маслинами, прекрасно понимал, что в наших климатических условиях сие — чушь собачья. Меня интересовали вопросы старения растений, а Никитский ботанический сад давал уникальную возможность заниматься именно этой проблемой. Ради такой научной цели я туда и поехал. А из-за маслин пришлось ломать голову над обратным — как унести оттуда ноги.

Однажды я все-таки не выдержал и выступил на профсоюзном собрании. Сказал: то, чем мы тут заняты,— халтура, а секретность, которую в саду развели (там были даже

засекреченные исследования),— тоже халтура, только двойная. Моя речь привела директора в бешеную ярость, и я был уволен вопреки закону, согласно которому я три года был крепостным. Что делать? Сел на поезд и вернулся в Тимирязевку. Думал — тут найду работу по душе. Хотя и здесь уже хозяйничал Лысенко, но все же были приличные люди на кафедре агрохимии, а меня еще помнили. Заведующий кафедрой Шестаков сказал, что по закону меня взять не имеют права, но что-то все-таки придумали и оформили меня на агрохимическую станцию. Тогда же я женился. Моя жена тоже была студенткой академии, работала в экспедициях по тому же самому плану преобразований природы. Мы снимали комнатку в Химках, и нам удалось прописаться под Москвой. Помог нам в этом чуде «великий план преобразования природы» — именно так было написано в ходатайстве с просьбой о прописке моей жены.

КАК ПРИХОДЯТ КРАМОЛЬНЫЕ МЫСЛИ. ПЕРВЫЕ СТОЛКНОВЕНИЯ С ОФИЦИАЛЬНОЙ ТОЧКОЙ ЗРЕНИЯ

До 62 года, до самого закрытия, мы с женой работали в академии. Лысенко стал терять влияние еще до смерти Сталина, уже в 51 году его популярность и авторитет в очередной раз ослабели. Он выдвинул теорию преобразования видов. В ответ «Ботанический журнал» начал против него дискуссию, и до 56 года, когда его вновь выдвинул Хрущев, Лысенко «пошел на убыль». Этого «великого ученого» я знал, еще когда был студентом: он читал нам лекции. Впрочем, нельзя отказать ему в особом таланте — я бы назвал его распутинским. Лекции его были шарлатанскими, но — интересными. Он умело их подавал, умело отвечал на вопросы. До 46 года, пока я еще ни в чем не разбирался, я относился к нему хорошо. Однако на дискуссии о дарвинизме он высказался против теории внутривидовой борьбы. Жуковский, мой профессор, очень активно участвовал в этой дискуссии — он был прекрасный ботаник, систематик, хотя в генетике не разбирался, не был таким борцом, как Вавилов, и отношения с Лысенко у него были мирные. Когда Лысенко вторгся в дарвинизм, в эволюционную теорию, тогда и мой учитель взорвался. В ответ на статью Лысенко Жуковский ответил очень резко. Должен сказать, что профессор Жуковский был человек необычный: он нас, студентов, привлекал к обсуждению собственных статей. Мало того, давал на обсуждение работы, которые попадали к нему из Комитета по Ленинским премиям,— он был членом этого Комитета. Мы добросовестно все это читали и выявляли фальсификации, нестыковки и тому подобное. Кроме того,— жизнь есть жизнь — мы вечно ходили голодными, а Петр Михайлович подкармливал нас бутербродами из своего профессорского пайка. Кстати, Лысенко тоже был очень популярен в своем кругу. Его поддерживали вовсе не только потому, что боялись. Он был очень демократичен, он очень верил в свои идеи и фальсификатором стал совсем не сразу. На закате жизни, когда он уже все потерял, он сидел в своем кабинете и читал собственные работы — он в них верил, они ему нравились.

Два раза я был у него в ВАСХНИЛе. В приемные часы он сидел в своем огромном кабинете с открытой дверью. Все приходящие запросто заходили в кабинет и присутствовали на беседе Лысенко с другими посетителями. Не томились под дверью в приемной, а участвовали в разговоре. Тут же угощали чаем и тоже бутербродами с икрой или ветчиной. И даже те, кто не успевал поговорить с Лысенко, оставались довольны. Во всяком случае сыты.

Но когда начался конфликт с Жуковским, я многое понял. И о способах «научной» борьбы — тоже. Вот яркий пример деятельности «великого» Лысенко. Он «спорит» с Жуковским через «Правду». Та публикует очень грубую статью «Не в свои сани не садись». Это была просто брань, а в научном отношении — чепуха. Я был в бурном негодовании, написал ответ, отнес его в Отдел науки ЦК. Но там мне сказали, что после выступления «Правды» вряд ли что можно сделать. Хотя критику мою и признали справедливой. После этого я в такие игры, в борьбу на таком уровне больше не вмешивался.

Мой собственный конфликт начался позже, когда я стал работать над докторской диссертацией. Это были проблемы синтеза белка, ДНК — проблемы генетики, биохимической генетики, наследственности. Ушедший было в тень со сцены науки Лысенко, в 57 году уже снятый с должности президента, сумел как-то попасть в свиту Хрущева, и в очередной поездке Генсека они понравились друг другу. Вновь — взлет, вновь Лысенко стал президентом, и его влияние стало быстро расти. Снова началось давление на генетику, на работы по биохимии, несмотря на то что открытия в области генетики уже стали очевидной реальностью для любого специалиста. И, как черт из коробочки, вылезал Лысенко со своими идиотскими идеями, а всех нас принялись крепко давить.

В то время я написал первую свою книгу — «Синтез белков и проблемы онтогенеза» и сдал ее в «Советскую науку». Было это в 60 году. Эту работу я собирался защищать в качестве докторской диссертации. Рецензии были самые хвалебные, но в одной из них было замечено, что глава по наследственности написана, как выяснилось, с немичуринских позиций и целесообразно было бы эту главу исключить или переработать. Словом, издательство вернуло мне рукопись.

Тогда я и решил издать ее за границей. Сначала вел переговоры с Робертом Максвеллом — издательство «Пергамон пресс». Он заинтересовался моим предложением. К тому времени я закончил вечерний институт и по-английски говорил, писал и читал вполне сносно. Максвелл рукопись взял. Волновался ли я? Нет, был спокоен: к тому времени я уже печатался за границей — выходили там мои статьи по геронтологии. Никаких неприятностей в связи с этим не возникало, никаких вопросов не было. Но Максвелл — был прохвост и остался им до сих пор. Родом он из Чехословакии, а служил в британской разведке и потому взял такую фамилию. Разбогател в основном на Советском Союзе. Я-то думал, что он ведет честную игру — интересуется нашей наукой и литературой. Но выяснилось, что ему представлялось монопольное право выбирать из еще не опубликованных рукописей те, что достойны издания на английском языке. На этом он стал неплохо зарабатывать — сейчас его капитал 600 миллионов. Когда он понял, что моя работа никем не санкционирована, неофициальна, так сказать, он вернул рукопись безо всяких объяснений.

Книга эта все же вышла, но в другом издательстве и спустя долгое время — советское издание опередило английское. И когда такое случилось, все решили, что это перевод с нашего издания, так что я и тут не нажил себе неприятностей. А здесь она вышла в Медгизе, где благополучно прошла все стадии. Но — не без приключений...

Есть такой этап выхода книги — «разноска». Когда тираж уже печатается, первые пятьдесят экземпляров попадают в инстанции, в том числе в Академию наук, в Отдел науки ЦК. Книга оказалась у заведующего сельхозотделом. Он обнаружил там критику Лысенко, раздел о наследственности и поднял панику, хотя на дворе стоял уже 63 год. По приказу из ЦК был остановлен весь тираж. Спасло то, что Медгиз не подчиняется сельхозотделу. Тираж просто попридержали на складе. К тому времени я уже работал в Обнинске, в Институте медицинской радиологии, уже ходила по рукам моя рукопись о Лысенко. Руководство издательства не хотело уничтожать тираж — знали и меня, и мою книгу о Лысенко, и моего зав. отделом Н. К. Тимофеева-Ресовского. И вот директор издательства Бурназян стал требовать письменного распоряжения на уничтожение тиража. Разумеется, никто не дал такой директивы.

Книгу мою вновь послали на рецензии — Бронштейну, Энгельгардту и Сисакяну. Первые два, академики, прислали прекрасные отзывы, а Сисакян-лысенковец — вообще не отозвался. Почти победа. Остался последний штрих. Бурназян вызвал меня и стал упрашивать вырвать несколько страниц из уже готовой книги, где была прямая критика Лысенко, и заменить их. Я сопротивлялся месяца три-четыре. В конце концов сдался, но вот почему. Пока шли все эти передряги, книга попала в продажу в тех книготоргах, откуда ее не успели вернуть. Она продавалась в магазинах Новосибирска и еще в каких-то отдаленных от центра районах. И никто об этом не знал. Тут я и согласился на уговоры Бурназяна, а потому оказался обладателем двух вариантов одной и той же книги.

СТОЛКНОВЕНИЕ. ПЕРВЫЕ РУКОПИСИ УХОДЯТ ЗА РУБЕЖ

Тогда же на партийном пленуме по идеологии Егорычев обругал мою рукопись о Лысенко, а заодно и Медгиз. Меня называл самыми бранными словами, заявил, что Медведев перебрался в Калужскую область, чтобы продолжать там свою антисоветскую деятельность. Секретарь Калужского обкома вернулся с пленума домой слегка обалдевший и выдал директиву: немедленно Медведева из его области выгнать. Стали искать по всем институтам, нашли в Боровске Н. Н. Медведева — заведующего лабораторией молочных белков — и выгнали его отовсюду. Он ничего не понял, бегал, выяснял, в конце концов его восстановили, а до меня так и не добрались.

Шутки шутками, а мне уже было не до докторской степени. Поняв безнадежность публикации острых книг официальным путем, намучившись даже с сугубо научной работой в Медгизе, я уже сознательно шел на то, чтобы издать книгу о Лысенко за границей. После того, как слетел со своего кресла Никита Хрущев, ее даже пытались издать в «Науке» — принимал участие в этом и Шахназаров, он работал тогда в ЦК у Андропова. Но, несмотря на помощь, на намеки, которые делались издательству из ЦК, ничего не вышло. Я еще не был диссидентом в полном смысле этого слова, но уже, если можно так сказать, находился по дороге в подполье. К тому времени мой брат Рой издавал журнал «Политический дневник», а я освоил микрофильмирование. Пленку мы получали от Гидромета — целыми рулонами, в обмен, разумеется, на спирт.

Солженицын у меня дома, на моей установке, микрофильмировал свою книгу «В круге первом». Этот роман был опубликован к тому времени за границей, но он его переработал,

сделал новый вариант. Тогда мы были с ним в дружбе — он сам написал мне после того, как президент ВАСХНИЛ Ольшанский разнес меня в пух и прах в «Сельской жизни» все за ту же книгу о Лысенко. В письме Солженицын предложил встречу. Сам засобирался в Обнинск. Вот тут-то у нас завязалось нечто вроде дружбы. Но Александр Исаевич человек весьма сложный — сам завязывает отношения, потом сам же их пресекает, потом — восстанавливает... У нас было несколько таких «дружб» и разрывов.

Когда я уезжал из Союза, мы все же расстались друзьями. По просьбе Александра Исаевича я связывался с его адвокатом в Цюрихе, выполнял еще какие-то поручения... Кроме того, к тому времени я уже закончил книгу «Десять лет после одного дня Ивана Денисовича». Конечно, я выполнил все просьбы Солженицына за рубежом.

Рукопись о Лысенко ходила по рукам довольно широко. Кстати, она получила такое распространение — а ведь еще не было самиздата — благодаря «Комсомолке». Там прочли мою рукопись и заказали статью. Чтобы помочь делу, сделали двадцать копий и разослали по академикам. Вот так и пошла она по рукам. И много лет спустя я встречал людей из самых разных городов, которые ее прочли, хотя никакой статьи, конечно же, не напечатали.

Потом я отправил книгу за границу, уже прекрасно понимая, что после такого шага с работы меня уволят. Я к тому времени был заведующим лабораторией молекулярной радиобиологии. Лаборатория была прекрасно оборудована, мы только начинали входить в большую науку. Наш отдел состоял из четырех лабораторий, и заведовал отделом Тимофеев-Ресовский. В 67 году, в юбилей Вавилова, я отправил за границу микрофильм и книги. Передал через старого друга Вавилова, шведского ученого Густафсона. Я адресовал его одному генетику из Калифорнии — он знал русский язык и мог перевести рукопись. Так рукопись книги о Лысенко попала в конце 67-го в Америку. Издали ее весной 69 года, это довольно быстро дошло до соответствующих органов, и был дан приказ меня уволить.

В это время была уже готова книга Роя «К суду истории», и мы решили, что ее тоже отправим за границу, сделали микрофильмы с нее. Стало предельно ясно: поворот в стране — в худшую сторону, на перемены к лучшему рассчитывать не приходится, особенно после чешских событий. Тогда-то и Рой решился переправить рукопись. Так что наши работы попадали за границу не из самиздата, часто без ведома авторов, как это бывало,— мы сознательно шли на издание книг на Западе. У меня уже был практический опыт в издательских делах, приличный английский язык и обширные научные связи, переписка. Так что я, отправляя «Политический дневник», в 69-ом послал профессору Журавскому рукопись о Сталине. Это было началом нашей деятельности по публикации работ за границей. Я думаю, что именно это, а не моя книга о Лысенко, послужило причиной моих калужских неприятностей по линии психиатрии. Помешать публикации уже переправленных книг КГБ не могло, но остановить нашу деятельность, как они считали, было можно. И начинать им надо было не с Роя, а с меня.

СЛЕЖКА. ПОЧТОВЫЙ РОМАН С ЦЕНЗУРОЙ

Присутствие наблюдателей из органов я стал чувствовать сразу после переезда в Обнинск, режимный город. Заведующих лабораториями периодически вызывали и говорили примерно одно и то же: вот есть материалы зарубежные, познакомьтесь с ними, пожалуйста. На это я, как правило, отвечал, что знакомлюсь с материалами через литературу, а прочее меня не интересует. Мне не хотелось подписывать у них никаких бумаг о том, что я познакомился с чем-то секретным. Я знал, что потом эта секретность меня будет ограничивать. Обнинский институт медицинской радиологии создавался в 58 году, как раз после уральской катастрофы. Но и до этой даты, до введения охраны атомных производств, случаев лучевой болезни было довольно много. Шли пациенты и из Курчатовского института, и из подводников... Тогда была такая идея, что от человека, занятого в атомном производстве, можно брать костный мозг, консервировать его и в случае заболевания ему же пересаживать. Эта идея не пошла, как и другие, но институт был создан. Впрочем, у нашего директора были другие планы — он не хотел ограничиваться только созданием клиники по лечению лучевой болезни, он хотел организовать международный исследовательский центр. На институт были выделены большие деньги, в комплексе работали две тысячи человек, а директор Заргенидзе вел себя как либерал, брал на работу крупных ученых. Он прекрасно понимал, что одно присутствие Н. К. Тимофеева-Ресовского сразу поднимает статус института до международного уровня. Директор был человек достаточно авторитарный, но знал, что без солидных научных имен он будет иметь не институт, а учреждение. Поэтому и старался привлечь людей способных. Впрочем, как раз на этом погорел: люди способные оказались одновременно и людьми независимыми

и с ним спорили. У меня к нему нет претензий — он вовсе не хотел меня увольнять, на него давили.

Сначала директор просто перевел меня в старшие научные сотрудники, но вскоре был вынужден уволить — обком поставил его в безвыходное положение, он должен был или сдать партбилет, или избавиться от меня.

Возвращаясь к участию в моей жизни органов КГБ, я должен сказать вот о чем. Хрущев сменил кадры в этом учреждении, туда пришли люди из комсомола, из окружения Семичастного. Обнинский КГБ не подчинялся Калужскому, он был при каком-то отделе Москвы. Но и тут появились какие-то комсомольцы, без всякого опыта, даже без понимания, что такое секреты, что им, собственно, надо охранять, что вообще делать. Они были абсолютными непрофессионалами. А если и имели юридическое образование, то свою деятельность в КГБ они начали с дел по реабилитации. Многие находились в шоковом состоянии от масштабов преступлений, с которыми столкнулись, так что иные просто заискивали перед нами — учеными. Смешно вспомнить, но молодые комитетчики вызывали нас и пытались выяснить — чем мы, собственно, занимаемся, что у нас секретного. Они пытались кого-то вербовать — ведь вся сеть прежней агентуры после хрущевских перемен была нарушена и уничтожена, поскольку Хрущев ликвидировал районные отделы КГБ, а вместе с ними распалась и сеть осведомителей. Так вот, они пытались не вербовать, давать какие-то советы по поведению с иностранцами. Все это делалось неуклюже, я все это, конечно, видел, но у меня никакого страха перед КГБ не было. Да и у них не было по отношению ко мне никакой неприязни, потому что они просто еще не ощущали себя охранителями режима, не чувствовали себя властью.

Кто-то мне говорил, что Семичастный жаловался наверх, что у него не хватает людей, чтобы следить за несколькими писателями, а уж всю интеллигенцию ему никак не охватить. Более профессиональная система началась при Андропове, после Чехословакии. Но к тому времени я уже знал, что мне надо действовать в подполье.

Когда меня уволили из института, я почувствовал постоянную за собой слежку. Но она тоже была непрофессиональна и потому бросалась в глаза. Может быть, был более квалифицированный аппарат, который следил за иностранцами, но на нас специалистов явно не хватало. Итак, в первый раз я обнаружил хвост в 68 году. В Москву приехал крупный американский биохимик, я с ним был в переписке и пришел к нему в гостиницу. Мы отправились прогуляться, посидели на лавочке. И он обратил мое внимание на человека, который все время попадался нам на глаза, где бы мы ни гуляли. Мы провели эксперимент — пару раз меняли скамейки, и преследователь перемещался вместе с нами. Американец думал, что это за ним, а я полагал, что за мной.

Было и другое. Не хочу называть имен — этот человек сейчас занимает довольно высокий пост, член-корреспондент. А тогда он был моим аспирантом, потом остался работать в моей лаборатории. У нас в отделе было два стукача — один у Тимофеева-Ресовского, причем последний об этом знал. Кстати, его тоже не назову, потому что у него сейчас пост еще выше, чем у моего бывшего аспиранта. Так вот, мой молодой сотрудник — человек яркий и талантливый — иногда стал исчезать. Говорил, что ездит на охоту. Как-то я случайно узнал, что уехал он не на охоту, а сопровождал какого-то американского ученого, был приставлен к нему переводчиком. И не один раз охота совпадала с приездом иностранного ученого, причем вовсе не обязательно гость был по ведомству Академии медицинских наук. Когда мой сотрудник пришел в очередной раз проситься на три дня на охоту, я его не отпустил: работа все-таки, опыты. Он начал просто умолять, чуть не плакал, как будто речь шла не об охоте, а о жизни и смерти. Он не явился на работу, хотя я и не отпустил его,— был оформлен приказ через мою голову. Я навел справки и выяснил, что он опять кому-то «переводит». Никаких сомнений уже не оставалось. Когда он вернулся, я заперся с ним и потребовал объяснений. Он начал оправдываться: «Жорес Александрович, я только за иностранцами! Своих не трогаю...» Вскоре я его поймал на плагиате и на фальсификации. Когда это было подтверждено, его не уволили, просто перевели в другое место. Ну а дальше — бурная карьера...

Где-то, очевидно, накапливалось на меня досье. Я уже сидел дома и писал книги. В то время работал над книгой «Тайна переписки охраняется законом». Я занялся изучением почтовой цензуры, разработал очень простую технику, поставил серию экспериментов, успел закончить книгу. Когда в органах на это наткнулись, уже было поздно, рукопись находилась за границей. Меня схватили только через месяц.

Несколько слов о работе над этой книгой. Я знал, что многие мои статьи, посланные по почте, не доходили, исчезали даже заказные письма. Я решил начать изучение. Один из методов был очень простым. Брал конверт, аккуратно расклеивал его и снова превращал в конверт, но уже с помощью синтетического клея, который нельзя разлепить над паром. Я предполагал, что основной способ вскрытия конвертов — пар. Затем вкладывал в конверт какое-то безобидное содержание — например, оттиск уже опубликованной статьи. Адресовал свое детективное послание какому-нибудь доктору Харфорду в Национальный институт медицинских исследований, в Лондон. Отправлял я это послание заказным, с уведомлением о вручении, с Центрального почтамта.

Письмо попадает в цензуру — я уже предполагал тогда, что существует две цензуры, друг с другом не связанные,— одна по дороге письма туда, другая — на пути обратно. Сейчас все это уже не секрет — в Израиле опубликована книга бывшего сотрудника почтовой цензуры. Итак, я отправлял свое письмо за границу, но с одним маленьким трюком — такого мистера Харфорда в природе не существует. В цензуре об этом не знают, но должны заглянуть внутрь. Пар не берет конверт, тогда в ход идут ножницы, конверт надрезается с одной стороны, содержимое изучается — оно безобидно,— возвращается обратно, надрез заклеивается полоской бумаги (скотча еще не было). В Англии обнаруживается, что такого доктора нет, и письмо отправляется ко мне обратно, в Обнинск. Но и на обратном пути его должны проверить: почему оно, собственно, возвращается? Туда письмо шло через московскую цензуру, обратно должно идти через калужскую. В Калуге пар тоже не берет конверт, но он уже обрезан по одному краю. Тогда они обрезают его по другому краю, изучают содержимое, возвращают на место и заклеивают свой надрез, но бумага уже погрубее, чем московская. Так я получаю свой конверт обратно. А то, что это не английская работа, видно по «заплатам» — за границей уже пользовались скотчем. Этот эксперимент я дублировал много раз, а конверты хранил как экспонаты.

Были и другие способы. Например, поменять содержимое конверта на что-то более соблазнительное для цензуры. Например, когда книга Роя уже была готова к изданию и я не мог ей повредить, я посылал разным людям ее оглавление. Эти письма — ни заказные, ни другие, ни из Москвы, ни из Ленинграда — не доходили до адресата. А ведь за пропажу заказных писем можно было требовать компенсацию через суд — некоторые так и поступали. По международным правилам почта несет ответственность за пропажу международной корреспонденции в валюте. Я в суд не подавал, но заявления на почту писал. В подобных случаях они должны провести расследование и в течение трех месяцев установить, где письмо, или заплатить. Сумма — семь рублей в золоте.

Поскольку почтамт с цензурой не связан, он честным образом проводит расследование, переписывается с британской почтой, появляется куча бумаг. По договору, если ни та ни другая почта не знают судьбы письма, они должны компенсацию делить пополам. Тогда я выяснил, что заказная почта отправлялась мешками — по сто писем в каждом. При этом возни, конечно, меньше, но проследить судьбу каждого письма невозможно. И вот по советским документам письмо должно быть в этом мешке, а по британским — его там нет. Естественно встает вопрос о компенсации. В итоге этой моей деятельности британская почта разорвала с советской контракт и отказалась от получения писем в мешках. Было решено принимать каждое заказное письмо из Советского Союза индивидуально. Так я организовал что-то вроде почтовой войны — надо сказать, что кое-кто из эмигрантов использовал мои открытия и неплохо заработал на этой компенсации. Книга «Тайна переписки» издана на четырех языках, в том числе и на русском. Но, увы, не в СССР. Она вошла в один том с книжкой «Международное сотрудничество ученых и национальные границы» — о том, как трудно оставаться на уровне мировой науки, находясь вне контактов с учеными других стран.

КАК СТАНОВЯТСЯ СУМАСШЕДШИМИ. МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОДДЕРЖКА

Я не мог не чувствовать, что против меня что-то готовится, особенно после этой почтовой войны, которую Советский Союз все-таки проиграл и понес определенный ущерб. Кто-то, видимо, предложил психиатрический сценарий, зацепившись, вероятно, за то, что я в самом деле консультировался у психиатра, правда, речь шла не обо мне, а о моем сыне: у него был трудный возраст, и он убегал из дома. Мне тогда пришлось сыграть что-то вроде премьеры — во всяком случае, именно с меня психиатрический сценарий получил огласку и резонанс. Хотя, конечно, и до меня пытались использовать психиатров, но в тех случаях, о которых я знал, была хоть какая-то медицинская зацепка, была хоть какая-то история вопроса.

Сначала меня хотели заманить в Калугу на консультацию по поводу сына, с тем чтобы схватить прямо во время визита к врачу. Начали вызывать, но я почувствовал, что что-то не то, и никуда не поехал. Тогда ко мне и явился доктор Лифшиц с нарядом милиции. Я был дома один, дети во дворе, жена куда-то вышла. Когда я проходил по двору домой, ко мне подъехала санитарная машина, но тут же уехала. Я все понял и решил скрыться — у меня уже было все готово на такой случай. Но я плохо рассчитал, задержался. В подъезде уже стоял стукач, пришлось вернуться домой. Хотел спуститься с балкона, но подумал, что тут меня точно увезут в сумасшедший дом как ненормального. Когда стали стучать в дверь, решил не открывать. Стучали, кричали, а я молчал. Тогда милиции стала ломать дверь. На шум пришел мой младший сын и своим ключом открыл, подоспела жена. Меня не сразу скрутили, сначала Лифшиц беседовал со мной — не поеду ли я на обследование? Он — психиатр, главный врач калужской больницы, он все меня пытался уговорить, хотя и сам толком не понимал, зачем это нужно. Жена позвонила друзьям, пришли

коллеги из института, назревал конфликт. Сам Лифшиц не решался применить силу, но появился какой-то майор милиции, он-то и распорядился.

В конце концов меня увезли в Калугу. Там я и пробыл в больнице три недели. Но уже через неделю понял: им придется уступить — слишком большой разразился скандал. Включились академики, защищал меня П. Л. Капица, приехал А. Т. Твардовский. А. Бовин был у Брежнева, выяснилось, что тот вообще не знал, о ком идет речь. Команды рядить меня в сумасшедшие Брежнев не давал, и Андропов не давал. Может быть, Суслов или кто-то из секретариата, кому должен был бы подчиниться министр здравоохранения? Впрочем, кто именно дал эту команду — я не знаю. Лифшиц знает. Сейчас, после публикаций о той истории в калужских газетах, он грозится, что все расскажет. Он работает там же, заслуженный деятель науки, очень переживает ту историю и утверждает, что сам был ее жертвой; его заставили так действовать.

Конечно, мне повезло, что это была калужская областная больница — меня ничем не «лечили», просто держали взаперти. Если бы я был направлен на обследование после возбуждения уголовного дела, тогда, конечно, все выглядело бы иначе, особенно если бы удалось засунуть в Институт имени Сербского. А в Калуге не было спецрежима, и даже родственников пускали.

Шум все нарастал, каждый день обо мне писали западные газеты... Повторяю: в больницу приезжали Твардовский, Каверин, Тендряков. Получался цирк — Медведев сидит в полосатой пижаме, а к нему приезжают светила. Лифшиц пришел ко мне и сказал, что в областной больнице условий для лечения нет и придется меня перевести в Москву. Конечно, хотел от меня избавиться. Ведь Твардовский после посещения моей палаты устроил такой крик и разнос — а его не выгонишь! Так что Лифшиц мечтал от меня избавиться и перевести в Институт им. Сербского. Но там — судебная психиатрия, должно быть выдвинуто хоть какое-то обвинение, а его выдвигать поздно — мне уже поставили диагноз. Так что возникла ситуация, при которой дать разрешение на перевод в режимную больницу, где свидания раз в полгода, мог только Андропов. Очевидно, он на такое не пошел.

Лифшиц понял: меня надо выпускать — не знаю уж, кто дал ему такую санкцию. Вызвал мою жену и сказал: достаточно будет амбулаторного наблюдения за мной, надо только раз в месяц приходить на беседу к обнинскому психиатру. Так меня выпустили. Через месяц, действительно, пришла повестка от местного психиатра — я складывал в папку все, которые приходили ко мне в течение двух лет. Но никуда, естественно, не ходил. Эта история и легла в основу книги «Кто сумасшедший?».

НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ. НА СЦЕНУ ВЫХОДИТ ЦРУ

Было у меня еще одно интересное приключение, в результате которого я понял, как работает ЦРУ и другие организации в Советском Союзе. Я тогда работал над книгой об А. И. Солженицыне — «Десять лет после одного дня Ивана Денисовича». С чернового варианта книги я снял копию. К слову сказать, она была издана до его высылки, имела успех. Хотя, признаюсь, сейчас я бы не написал такой книги, сейчас у меня другое мнение о Солженицыне.

Так вот, микрофильм чернового варианта я передал одному знакомому американскому журналисту. Обычно мы встречались в машине и беседовали на ходу. Я попросил его спрятать микрофильм в сейф и никуда не отправлять. Он сказал «о'кей» и положил в посольский сейф.

Вскоре я получил разрешение на поездку за границу и выехал на год для работы в Британию. А книгу о Солженицыне оставил в Москве, у Роя. В Англии меня пригласил один известный советолог и вдруг спросил о том, не собираюсь ли я издавать новую свою работу — о Солженицыне. Я удивился — ведь о ней никому не было известно. Я спросил, каково его мнение о книге. Он сказал, что очень интересная работа, что он ее прочитал. По ходу разговора я понял, что у него есть экземпляр моей рукописи. Тут я прямо спросил — откуда она к нему попала? «У меня,— сказал я,— был всего один экземпляр, и я отдал его своему приятелю такому-то». Мой собеседник почувствовал, что проговорился. Выяснилось, что копию он получил через госдепартамент. Дело в том, что американцы со всех материалов, которые к ним попадают конфиденциальными путями — через журналистов ли или как-то иначе,— снимают копии и, чтобы оценить, имеют ли они какой-то интерес, рассылают своим экспертам, своим доверенным лицам. Мой собеседник входил в их число.

Вскоре в Лондон приехал тот самый журналист — не хочу называть имя, он достаточно известен,— и мы увиделись. Я его спросил — как моя книга попала на Запад, ведь она должна была лежать у него в сейфе? Он понял, что попался, смутился. Стал оправдываться, что уезжал, а за сейф отвечал другой... Так что у американцев тоже работает похожая система, и доверять им не приходится. После этого я предпочитал действовать не через журналистов, а через научных работников — так гораздо надежнее.

В ОДЕЖДАХ ИЗГОЯ

Не могу сказать, что все эти события были для меня чем-то мучительным, какими-то испытаниями. Напротив. Я чувствовал себя детективом, Шерлоком Холмсом, хотя всякое расследование связано с известным риском. Я чувствовал себя детективом по отношению к системе КГБ, к цензуре. Я был уверен, что на самом деле это я их расследую, а не они меня, хотя за мной и следили. В книге «Тайна переписки» я сделал даже открытие — определил то место, в котором перлюстрируют международную почту, вычислил это здание... Оно возле Казанского вокзала.

Мне не было страшно, мне было интересно. Только в какой-то момент в психушке я испугался, понял, что дело может плохо кончиться, особенно когда речь пошла об Институте им. Сербского. Тогда я даже придумал план, как с помощью моих детей сбежать из калужской больницы — благо она почти не охранялась. Не знаю, удалось ли бы мне удрать, но Рою однажды удалось.

Когда издавалась его книга, КГБ возбудил против него дело, приходили с обыском, конфисковали под каким-то предлогом весь архив по Сталину. А на следующий день — повестка к следователю. Рой понял, что могут арестовать. И хотя за ним уже была сплошная слежка, все же он решил смыться, правда, не очень знал, каким образом.

Он взял такси и поехал к дому, где жили старые большевики, к своему знакомому. За ним следовала машина, и она осталась караулить у подъезда, в который зашел Рой. «Волга» стояла у дверей круглые сутки. Надо было как-то брата спасать, и я решил отвлечь слежку на себя — все-таки мы близнецы. Зашел в соседний подъезд, там переоделся и вышел из тех дверей, где дежурила машина. Я-то думал, что за мной пойдет хвост, но не тут-то было — видимо, они уже научились нас различать.

Выручил нас Зиновий Гердт. Он пошел к Рою, приклеил ему бороду, загримировал, дал палочку, потренировал... И из подъезда вышел старичок с палочкой, поковылял куда-то и исчез. А за подъездом следили еще два дня. Потом, видимо, по телефонным разговорам поняли, что он удрал. А Рой уехал на юг и четыре месяца путешествовал. В Ленинграде ему Райкин дал свою курточку — началась уже зима. Найти его не могли.

Вызывали и меня. Прибежал один из моих знакомых комсомольцев-кагэбэшников и сообщил: из Москвы приехал майор Теплов и хочет побеседовать. Человек он оказался очень интеллигентный, мягкий. Сказал, что работы мои и брата им известны, сетовал, что Рой боится органов, просил ему передать, что он может вернуться и с ним ничего не будет. Теплов намекал даже, что они нам с братом могут быть полезны. Я понял дело таким образом, что этот майор, скажем так, курировал Роя и теперь ему влетело за то, что он прошляпил подопечного. Вот он и пытался заключить с нами что-то вроде контракта. Но дело-то было в том, что я не знал, где Рой. Мы к тому времени были уже достаточно опытны и лишними контактами не подвергали себя опасности. Так мы и расстались ни с чем. Впрочем, он оставил у меня приятное впечатление, тем более что это была моя единственная личная встреча с представителем КГБ достаточно высокого ранга. Вернулся Рой после «побега» только тогда, когда узнал, что опасность, о которой он подозревал, миновала, а книга его на Западе уже вышла.

И никто его не трогал год или два...

В те времена, когда я был безработным, кое-какие деньги мне посылали за мои книги из-за границы. Кроме того, в мою пользу собирали деньги ученые, я получал конверты из Новосибирска, Твардовский давал средства, Капица предлагал помощь. Дело в том, что мой случай был один из первых, еще не было такого массового диссидентства, ученые были еще более солидарны. К концу семидесятых годов было уже иначе — все были как бы придавлены. Но я уехал раньше, когда еще не было чувства безнадежности, когда еще не боялись помогать таким, как я.

ЯДЕРНЫЙ ВЗРЫВ ПОД ЧЕЛЯБИНСКОМ. ЗА ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ДО ЧЕРНОБЫЛЯ

Книгу о трагедии на Южном Урале я писать, честно говоря, не собирался. Когда я получил разрешение на годичную командировку за границу, не стал паковать все свои вещи, всю библиотеку, как делали другие. Скажем, Синявским тоже дали разрешение на год, но они, зная, что не вернутся, забрали с собой все. А я отправил бандеролями только книги по биологии, те, что могли мне понадобиться для работы, а багаж наш состоял из трех небольших чемоданов. Мы оставили квартиру, оплатив ее на год вперед, оставили доверенность Рою на получение почты и ключи. И сели в поезд. В Бресте — таможня. Обычно проверка идет прямо в купе, а нас попросили выйти с багажом. Жена, сын и я — мы вышли со своими тремя чемоданами, и нами занялись семь таможенников. Нас досматривали два часа — с раздеванием, с ощупыванием. Для конфискации выбрали среди бумаг несколько рукописных страничек с заметками о Боровске, где я работал, об Обнинске. Но смотрели и волосы жены, и снимали туфли — исследовали подметки. Ничего, конечно, не нашли. По нашему багажу было видно, что мы уезжаем не навсегда.

В Англии был один советский представитель по линии ВОЗа, и он очень часто меня расспрашивал, хочу я вернуться или нет. Другой приехал как бы в гости, провел у меня ночь и говорил, что не советует возвращаться. Но у меня оставались в Союзе все родные, дом, да и не так-то легко устроиться и найти работу в Англии. То есть меня не устраивал вариант оказаться за границей именно так. Все же меня лишили гражданства, не дожидаясь конца срока командировки. С другими поступали иначе — скажем, М. Ростропович, В. Некрасов по истечении срока командировки просили о ее продлении. Им отказывали и тут же лишали гражданства. А меня в начале августа 73-го вызвали в посольство письмом и зачитали указ о том, что Медведев, занимаясь антисоветской деятельностью, нарушил высокое звание советского гражданина и в связи с этим лишен гражданства. Подпись — Брежнев. Предложили сдать паспорт. Я вынул три паспорта, но документы жены и сына не взяли, забрали только мой. Я стал спрашивать, в чем моя вина — по приезде в Англию я не дал ни одного интервью, хотя атаковали со всех сторон, в институте около входа дежурили телевизионщики из всех стран, а я скрывался от них через задние двери.

Посольские работники были весьма смущены тем, что им пришлось мне заявить о лишении гражданства. Они признали, что с их стороны ко мне нет никаких претензий, и предложили мне заявить протест. Я так и сделал — написал заявление о несогласии, оставил в посольстве. Сам побродил по улицам, пришел и рассказал все домашним. Сын был очень огорчен, жена, видимо, была готова к такому исходу событий. Я же пережил шок. Чувство было такое, что меня надули,— я старался не дать никаких поводов, но оказалось, что никакого повода и не нужно. Я ни с кем не делился такими мыслями, хотел все хорошенько обдумать и сделать заявление в прессе, но допустил оплошность: позвонил одной знакомой, посоветовался. Она — еще с кем-то посоветовалась, а на следующий день «Дейли телеграф» на первой полосе поместила информацию о том, что Медведев лишен гражданства...

Первая книга, которая вышла в бытность мою на Западе,— книга о Солженицыне. Потом Рой прислал мне свою книгу о Хрущеве, но мне показалось, что она нуждается в доработке, и мы договорились, что я займусь этим с учетом западной литературы. И в 76 году вышла книга уже двух Медведевых — «Хрущев. Годы у власти». Она переведена на несколько языков, а потом Рой написал полную биографию Хрущева, сейчас она, говорят, печатается и в Союзе.

Как-то меня пригласили с лекцией в Америку, в несколько университетов. Тогда-то я и упомянул впервые о катастрофе на Южном Урале, что, впрочем, осталось незамеченным. Но лекция имела успех, и мне заказали на ее основе книгу о советской науке. Ее издали в США, потом издали в Англии, перевели на японский и испанский. Пока я работал над этой книгой, в статье для журнала «Нью Сайентист» снова мимоходом упомянул об уральской катастрофе — написал, что произошел взрыв радиоактивных отходов и что это создало экспериментальный участок, куда направились ученые для проведения разного рода исследований — и в области медицины, и экологии, и радиобиологии и тому подобное. Упомянул я и об эвакуации тысяч людей, о загрязнении территории площадью более тысячи квадратных километров.

И вот это стало сенсацией.

Газета «Обсервер» на следующий день после выхода журнала на первой полосе поместила заголовок «Катастрофа на Урале»: «Советский диссидент сообщил то-то и то-то...» По случайному совпадению в Англии как раз в это время обсуждался вопрос о радиоактивных отходах — их некуда было девать, держали на территориях атомных станций, народ начал волноваться... Короче, шли дебаты. И руководитель атомной программы Великобритании Джон Хилл, узнав о таком сообщении в печати, заявил: это — чепуха, отходы не могут взрываться, что мои данные — научная фантастика и что подобными сведениями английские специалисты не располагают. И уже на следующий день после первой публикации «Обсервер» печатает опровержение, а вслед за этим и опровержение ведущих американских ученых. Все говорили о том, что утечка, загрязнение — все возможно, но только не взрыв, это исключено всеми физическими законами. А Медведев — просто ничего не понимает. Мне звонили изо всех газет — я настаивал на своей правоте, говорил, что отвечаю за свои слова. Словом, поднялся шум. Но ведь у меня к тому моменту не было существенных аргументов. А меня обвиняли в том, что я преследую политические цели. Тут еще насели с другой стороны — из кампании по ядерному разоружению, требовали доказательств, чтобы меня защитить. Те — нападали, эти — защищали... А я должен был найти выход из такого скандального положения.

Через месяц в газетах опять сенсация. Профессор Лев Тумерман, который эмигрировал в Израиль, спасая сына от психушки, в свое время был на Урале. В 1961 году он ехал из Свердловска в Миасс на семинар к Тимофееву-Ресовскому и проезжал как раз через загрязненную радиацией территорию. В Израиле тоже началась шумная кампания, там соглашались, что взрыв был. Но считали, что взорвались не отходы, а реактор. В Израиле как раз в то время собирались строить свои реакторы, и Тумерман, желая защитить идею безопасности реакторов, написал в газету «Иерусалим пост» письмо, где описал свое

путешествие. Написал, что при подъезде к этой зоне стоял специальный знак, а всем пассажирам велели закрыть окна, что поезд шел с максимальной скоростью и из окон были видны сожженные деревни с остатками печей. Вокруг же — ни души. На его вопросы ему отвечали, что здесь произошла знаменитая кыштымская катастрофа, взорвалось хранилище радиоактивных отходов. Дома сожгли, чтобы люди в них не возвращались. Хотя газеты уже склонялись к тому, что Медведев все же прав, атомное лобби сопротивлялось. Но у меня к этому делу укрепился свой, детективный интерес. Все, что мне было достоверно известно об этом событии,— это то, что там работали ученые, я точно знал три имени. И я пошел в библиотеку. Взял там реферативный журнал, где упомянуты все публикации, есть авторский указатель. Это было делом двух выходных дней. Тут и обнаружил, что начиная с 1966 года (до этого не было публикаций интересующих меня авторов) идут статьи, связанные с работой с радиоактивностью. Сделал выборку, заказал нужные мне работы, и ко мне начали поступать копии. Потом — следующие статьи, которые я вычислял уже по ссылкам в предыдущих. И так начала собираться информация. Складывалась картина и по зоологии, и по генетике, по растениям, по сельскому хозяйству. Мои библиографии насчитывала уже семьдесят статей. Я начал работу над статьями, а затем и над книгой.

Что касается советских публикаций, то у всех у них была одна особенность — утверждалось, что произведено специально экспериментальное загрязнение, но не указывалась площадь. Эта и другие детали как раз и убеждали меня в том, что речь идет вовсе не об экспериментальном загрязнении. Западные ученые просто не обращали внимания на эти статьи. Я же по латинским названиям растений и животных, которые упоминались в публикациях, по соответствующим определителям восстанавливал районы и территории.

Была еще причина, по которой западные ученые не обратили внимания на советскую научную печать. Скажем, появлялась статьи о щуках. Щуки ловят пескарей, а пескари едят растения и потому — более загрязненные, чем хищники. Автор хотел проследить эту цепочку накоплении радиоактивности: растении — пескари — щуки, и делал это по цезию, потому что последний накапливается в мышцах. А стронций он — игнорировал. Другие ученые на том же самом озере изучали то же самое, но на стронции — он откладывается в костях. Но считать стронций и не замечать цезий считается в науке некорректным экспериментом. Потому эти работы считали недобросовестными.

Именно на основании этих публикаций я и восстановил всю картину. В 1977 году опять сенсации — «Нью-Йорк таймс» сообщает о документах ЦРУ. Согласно акту о свободе информации, по которому можно получить документы из любой организации, группы противников ядерной энергетики получили те документы, которые в ЦРУ не считались секретными. Они сделали заявку по втомным предприятиям в районе города Челябинска, получили некоторые документы и опубликовали в газетах, что ЦРУ подтверждает факт катастрофы. Я попросил у них копии документов, мне их прислали. Кроме того, я запросил документы и в ЦРУ. Получил оттудв 12 копий. Среди них была и моя собственная статья из журнала «Нью Сайентист». Там были и анекдотические документы, например, версии о том, что в этом районе русские взорвали водородную бомбу в 20 мегатонн. Я-то понимал, что это ерунда, но в Лос-Аламосской лаборатории схватились именно за эту версию.

В 78 году, еще до выхода книги, я снова поехал в Америку и там был приглашен в Окриджскую лабораторию ядерных исследований. Там занимаются не бомбами — это делают в Лос-Аламосе, но экологией и всем прочим. У них уже были свои публикации об Урале, они считали, что площадь загрязнения там не больше 25 квадратных километров. Я сделал у них доклад по тем данным, которые к тому времени у меня были. Говорили мы три часа. Специалисты по экологии поняли: дело серьезное, и решили все перепроверить. Наняли переводчиков, перевели около ста пятидесяти статей, проанализировали, составили отчет, опубликовали в «Сайенс» и на основе своего анализа выдвинули шесть версий причин катастрофы. Одна из этих шести, как следует из теперешнего отчета советской стороны, соответствует действительности. А в конце той статьи был призыв к советским ученым: просили предоставить информацию о способах борьбы с загрязнением, поскольку это мировая проблема и загрязненные участки есть везде, где ведутся ядерные исследования. Конечно, это обращение прозвучало как глас вопиющего в пустыне, ответа не последовало. А в Лос-Аламосе продолжали гнуть прежнюю линию, что взорвались не отходы, а русские проводили испытания ядерного оружия, или выбросы, или что угодно другое. Я же — шарлатан. В том же году я получил приглашение в Нью-Мексико, как раз в этом штате и находится лаборатория, а университет, куда я ехал, неподалеку. Окриджская лаборатория тоже засекреченная, как, скажем, Курчатовский институт, и когда я был там, мне на грудь повесили карточку, на которой было написано «гость» — чтобы мне не говорили лишнего. Пропуска, как в СССР, проверки документов, ничего этого не было.

Когда я приехал в Нью-Мексико, меня пригласили в Лос-Аламос — эта лаборатория находится в горах, тудв так просто не проедешь, самолетик специальный садится между скал. Аудитория собралвсь человек в шестьсот; сделвл я твм доклад, потом приглвсили для беседы. Был там и знаменитый Теллер. Меня снова стали убеждать в том, что взрыв ядерных отходов невозможен. Спорили мы часа три. В конце концов Теллвр сказал: даже

если такое и было, вы не имеете права об этом говорить, потому что это провоцирует отрицательное отношение людей к атомной энергетике. Вы запугиваете нашу публику. А для американцев это очень чувствительный вопрос. Короче, говорил со мной в таком духе, что я должен бросить свою научную версию и «войти в их положение». Местные газеты разделились на два лагеря — одни были на моей стороне, другие утверждали, что я только и занят тем, что делаю паблисити своей книге.

После того, как вышла книга «Ядерная катастрофа на Урале» и Окридж наконец опубликовал свой отчет, Лос-Аламос, чтобы спасти свою репутацию, срочно состряпал новую версию. Мол, были испытания русского ядерного оружия на Новой Земле, случился взрыв и радиоактивное облако осело именно на Южном Урале. Потом они создали собственную группу исследователей и опубликовали другой отчет, который занял компромиссную позицию. Впрочем, в одном, как это видно сегодня, они были правы. Спецы из этой лаборатории утверждали, что загрязнение было в одном направлении, а по течению реки Теча накапливание радиации шло много лет. Со спутников они обнаружили, что в районе одного из озер ведутся радиологические испытания военной техники. Тут они были правы в споре со мной — я считал, что вся территория загрязнена в результате одного лишь взрыва, а они доказывали: часть территории подвергалась многолетнему воздействию радиации.

Конечно, мне хотелось знать реакцию на мою книгу в Советском Союзе. Несколько экземпляров я переправил сюда. Еще был жив Тимофеев-Ресовский, читать он уже не мог, но ему рассказали содержание моей работы, и Зубр подтвердил тот случай. Правда, он считал, что это был не совсем взрыв, а как бы извержение вулкана. Книга попала к Капице и еще к паре моих друзей в Обнинске, к Сахарову... Последний сообщил, что он толком о том происшествии ничего не знал, а Капица через кого-то мне передал свои соображения. Всех советских ученых, которые приезжали за границу после моих публикаций, включая академика Петросьянца, спрашивали об этом событии. Все как один отвечали — нам ничего об этом неизвестно. Впрочем, никто не отрицал самого факта, все лишь ссылались на собственную неосведомленность...

Впервые подтвердил мою правоту в 1989 году академик Велихов в Японии. Он не вдавался в детали, но сказал — да, было. Был взрыв, были загрязнения. Он был вынужден признать. Дело в том, что одна шведская компания, которая анализирует снимки со спутников, сделала документальный фильм, из которого видно, какие в районе катастрофы исчезли деревни, какие озера, какие ныне там построены дамбы. У меня есть эти снимки — по ним, действительно, очень многое становится зримым, очевидным. Ну а недавние ваши публикации в «Известиях» все поставили на свои места.

ПОСЛЕ 17 ЛЕТ РАЗЛУКИ. МЫСЛИ О ПЕРЕСТРОЙКЕ И ГОРБАЧЕВЕ

К сожалению, впечатления о столице начинаются с аэропорта. Шереметьево — маленький, грязный, неудобный аэропорт. Жена меня пугала строгостью проверки, контроля — ничего подобного нет. Есть много лишней суеты. Рой приехал меня встречать прямо с заседания Верховного Совета. Было много родственников, мой сын, который живет в Калинине. И хотя мы с братом не хотели никаких журналистов, меня встречали корреспондент «Вашингтон пост» и шведское телевидение. Но во всяком плохом есть нечто хорошее: такси получить в Шереметьеве — целая проблема. Вот и использовали западных журналистов, прибыли домой к Рою на иностранных машинах.

Пока ехали — разглядывали город. Москва произвела впечатление запущенности. Здания состарившиеся, автобусы потрепанные, все как-то постарело, неухожено. Это прямо резануло.

Другое дело — поведение людей. Оно сильно изменилось. Люди теперь говорит обо всем. В очередях, шоферы частных машин, на дискуссиях — все вполне раскованны (ведь я не докладывал сразу, что из Англии). А как узнавали о том, что я иностранец, сразу начинали еще сильнее ругать все и вся. Куда меньше прогресса у чиновников. У меня создалось впечатление, что они еще не готовы формулировать свое собственное, независимое от руководства мнение. Официальные люди обсуждают уже обсужденное. Иное дело Съезд, материалы которого я прочел целиком. У меня сложилось впечатление, что в результате дискуссий произошло смещение, сдвиг власти — партийный аппарат утерял полный контроль над формированием политического, общественного и любого другого мнения. Съезд в самом деле приобрел известную долю власти и влияния в стране. Как человеку, пожившему на Западе, мне ясно: Съезд действовал по принципу многопартийности (хотя на каждом официальном «углу» говорят о том, что многопартийная система не нужна). Что я имею в виду? Каждая региональная или любая другая группа вела себя на Съезде так, словно это отдельная партия. Они защищали свои интересы против интересов других групп, спорили между собой, с правительством. Такое называют здесь плюрализмом мнений — мне же это напоминает многопартийный парламент.

Если бы вместо брата на Съезде оказался я, то мое первое выступление, безусловно, было бы о положении науки: это предмет моего профессионального интереса еще с того периода, когда я занимался Лысенко и генетикой. Как выйти из положения, когда советская наука во многих областях оказалась далеко позади науки Запада? Кардинальные проблемы биологии, биотехнологии, компьютерной техники — вот где видны провалы. Я бы выступил с программой — что нужно для того, чтобы советская наука вышла на передовые позиции. В какой-то мере мне легче искать пути выхода из тяжелого положения в науке, ибо, проработав много лет в Англии, бывая в Америке, Германии, я уяснил многое лучше, чем сделал бы это, сидя только внутри советской науки. К сожвлению, большого рвзговора о мвсте нвуки на Съезде не состоялось. А надо бы...

Моя последняя книга называется «Сельское хозяйство в СССР». Над ней я работал больше, чем над любой другой, — семь лет. (Она охватывает период от отмены крепостного права до 1986 года.) Приступал к работе полный оптимизма, закончил же ее в значительно более пессимистическом настроении — это связано с огромным количеством материала, который мне пришлось анализировать. Теперь я вижу: мои выводы совпадают с теми, о которых пишут и говорят в Союзе сегодня. Например — хлопок. Я давно был убежден, что его посевы необходимо сокращать, потому что он вредит экологии Узбекистана, Аральскому морю, губит население. О необходимости восстановления фермерства тоже говорят сегодня многие. Я, впрочем, уверен, что полностью распускать колхозы нельзя. И вот почему. Во-первых (я изучал фермерство и в Айове США, и в Европе), в СССР оно пока технически не подкреплено. А без машин, без энергии фермерство по-нвстоящему эффективным быть не может. Мало только раздать землю — нужно еще многое другое. Советский фермер пока лишен специальной техники, независимости, кредита, всего того, что должно обслуживать его хозяйство.

Во-вторых, с тех пор, как нэп был «прикрыт» и были организованы колхозы, население городов резко возросло. Кормить города за счет очень небольшого сельского населения, да еще при таком примитивном уровне техники — большая проблема. Вопрос гораздо сложнее, чем многие думают. Скажем, за счет частного хозяйства можно обеспечить рынок картофелем, овощами, фруктами. Но — не насытить его зерном. Фермер, получивший независимость, будет заинтересован прежде всего в заработке, в продавать овощи — выгоднее. Если же не будет базы для зернового хозяйства, то, следовательно, не разрешится и зерновой кризис, он только усугубится. Скажем, в Китае сейчас возникла проблема риса — очень выросло городское население. И самостоятельность, предоставленная крестьянину, не помогла решить рисовый вопрос...

Дело не просто в том, что в СССР мало крестьян. В других странах похожее соотношение городского и сельского населения. Но здесь преобладают старики и старушки, служащие местных Советов, дачники и пенсионеры. Активного сельского населения крайне мало, это видно по статистике. Если не ошибаюсь, одиннадцать миллионов семей состоит сейчас в колхозах. И количество колхозников тоже точно такое же, одиннадцать миллионов. При Сталине, допустим, из семьи двое и больше людей работали в колхозе. Потом эта цифра поползла вниз, и теперь — ровно один. Значит, потенциально в семье — один фермер. При таком соотношении создать настоящую семейную ферму очень затруднительно. Впрочем, страна большая и разная. Где-то, конечно, процесс пойдет успешно — в Эстонии, скажем, или в Латвии. Где-то всерьез опираться на фермеров будет вовсе невозможно. Так что решать этот вопрос надо от области к области, учитывая каждый раз специфику. Но я уверен, что если проводить правильную политику, проблему можно решить за три-четыре года. При одном условии — деревня должна жить не хуже, чем город. Иначе ничего не получится. Когда люди убедятся, что ехать в деревню — это ехать к спокойной, здоровой, удобной жизни, тогда начнется сдвиг. В Англии фермерские хозяйства невелики. Но кругом прекрасные дома, асфальтированные дороги, техника. Фермер не работает от зари до зари, он не раб собственного поля. Он имеет доступ ко всем городским удобствам, которые только возможны — транспорт, телефон, врач, почта, автобус, что возит его детей в школу. Единственное отличие от городской жизни — свежий воздух...

У меня нет желания переоценивать масштабы влияния собственной работы, всего диссидентского движения на перемены, происходящие в Советском Союзе. Но все же я думаю, что моя работа была полезна, хотя книги были известны узкому кругу, ходили в основном среди научных работников. Но перестройку вызвали, конечно, не книги. Она возникла стремительно, как результат политических перемен, как реакция на сдвиги в экономике, и вызрела она внутри общества.

Приехав сюда и поговорив с простыми людьми, я понял, что самая обычная публика, которая ничего о нас не знала, она тоже созрела, у нее тоже возникло сознание неполноценности, а главное — неэффективности строя. Простые люди тоже пришли к заключению: многое нужно менять! Народ оказался гораздо более образованным и здравомыслящим, чем полагали диссиденты и лидеры этого движения.

Мы начали с Роем и не закончили — помешали начввшиеся процессы — писать книгу под названием «В поисках здравого смысла». А этот самый здравый смысл не был вовсе утерян у народа. Просто у людей не было выхода, который позволил бы его реализовать.

Только появилась «щелка» — те же выборы народных депутатов, — как люди проявили себя, свою позицию. Да, люди эти разбираются и в нашей истории, и в сути системы вовсе не потому, что об этом написал Солженицын, или Рой, или я. Впрочем, мне приятно, что наши мысли и мысли людей, которые ни разу не брали в руки книги диссидентов, в принципе совпадают. Я не могу не гордиться тем, что многое предвидел.

Советский Союз — уникальное государство. Нет другого такого в мире — с таким количеством народов, привычек, традиций, территорий и исторических конфликтов. С западной точки зрения — это империя. Я готов провести некоторую (весьма условную) аналогию с Югославией. Там тоже федеративное государство, возникшее в какой-то мере искусственно, в силу исторических процессов, и общность между республиками не настолько сильна, чтобы они держались за нее, как говорится, насмерть.

Я чувствую, что осложнения, которые сегодня нарастают в СССР, могут быть чреваты попытками установить более жесткий централизованный режим, могут заставить вернуться к жесткому планированию, к жесткой политической системе. Но такая попытка выхода из кризиса, как мне кажется, если и станет реальностью, то будет лишь оттяжкой. Да, экономические трудности ныне многих пугают, бросают в пессимизм. Но я думаю, что период, который переживает страна, переходный период вообще, неизбежный при перестройке, невозможен без осложнений и даже падения жизненного уровня. А сильная рука, на которую многие продолжают надеяться, ничего не решит. Кроме того, я не вижу никого, кто мог бы претендовать на роль этой сильной руки и был способен привести страну к процветанию, пусть даже временному. С другой стороны, для всех очевидно, как воспряла Испания после смерти Франко, как из бедной страны вышла на европейский уровень благодаря демократическому режиму. Я считаю, что демократическая система, когда она распространена и на экономику, дает свмые большие возможности.

Что касается сегодняшних лидеров, то у меня нет восторженного отношения ни к одному из них. Отношение к Горбачеву (как и к другим) у меня прагматическое — я сужу о нем на том фоне, на котором он существует внутри Центрального Комитета, правительства, всего государства. Исходя из этого, я считаю: он — лучшая из известных в СССР политических фигур. Я не знаю никого, кто мог бы делать его работу лучше, чем он. Возможно, есть и более компетентные люди, но они пока где-то внизу, они еще не созрели. Лидер нашей страны должен созреть. Скажем, Рейган в интеллектуальном отношении уступает Горбачеву, но в Америке президент не руководит экономикой, у него другие задачи, для которых Рейган был приспособлен лучше конкурентов. А задача лидера в Советском Союзе сложнее, чем в любой другой стране, потому что он отвечает за все.

С этой точки зрения Горбачев, даже по сравнению с теми лидерами других государств, которые занимаются экономикой, как миссис Тэтчер, выделяется: это человек, который справляется со своими задачами. В другой стране лидер, перед которым стоят такой сложности задачи, давно ушел бы, спасовал. Скажем, премьер Хит подал в отставку, потому что не смог справиться с забастовкой шахтеров. Горбачев ведет себя более твердо и воспринимается в мире как личность, которая явно на своем месте.

Я писал о Горбачеве, а раньше — об Андропове. Это не были биографии в традиционном смысле слова. Я не мог пользоваться иными источниками, кроме доступных. Брал материалы газет, в том числе ставропольских, когда искал что-то о Горбачеве. Мне тут было легче, потому что я писал книгу о сельском хозяйстве, а Горбачев как раз за него отвечал. Да и путь его, смена должностей, были менее разнообразные, чем у Андропова. С последним — сложнее, хотя тут мне помогал мой диссидентский опыт, да и много материалов о Венгрии, о том периоде, когда он был там послом, о событиях 56 года можно найти в западных газетах. Кроме того, для западного читателя интересна не только биографическая фактология, но просто объяснение — что такое секретарь обкома, райкома, что такое комсомол или отдел ЦК — там таких реалий не понимают. Так что книги не столько о Горбачеве или Андропове, сколько о советской политической системе, о том, как она функционирует.

В последнее время я работал над книгой о Чернобыле, о его глобальных последствиях. Чернобыльская авария повлияла на очень многое — не сразу, но постепенно, изменила отношение ко многим вещам. К атомной энергетике, например, к ученым вообще, к экологии... Я планировал завершить свой профессиональный труд по геронтологии, хотел написать книгу о старении — одновременно популярную и академическую. Но события в Союзе, может быть, изменят планы — сейчас меня привлекает замысел книги о повороте от тотвлитаризма к демократии.

* * *

P. S. В июле я получил от Жореса Александровича письмо. Точнее, два: одно — на адрес редакции, копию — на домашний адрес. Как бы ни менялось время, недоверие к нашей почте, прямо скажем, вполне оправданное, сохранилось. В конверт было вложено послание из редакции журнала «Международная жизнь», органа МИДа, распространяемого на нескольких языках в 100 странах мира. «Как Вы видите из вложенного,— писал Медведев,— журнал заказал мне статью на свободную тему. Поэтому еду сегодня срочно ремонтировать свою "Эрику" с русским алфавитом — я ее давно не использовал, все приходилось писать на английском...»

Исторические чтения «Звезды»

Лев Гумилев

ЭТНОСЫ И АНТИЭТНОСЫ

Главы из книги

Три параметра. Итак, четыре очага культурного творчества в полосе одного «пассионарного толчка» дали не только разные решения, но и разные постановки вопросов. Объяснить это исключительно влиянием ландшафта и естественными потребностями я не могу. Вероятно, строгое доказательство теоремы Пифагора и китайцам бы не повредило, хотя они и без этого умели строить прямые углы на земле и здания воздвигали четырехугольной формы. Каким они это способом делали, тем ли, как Пифагор, или другим, это в общем-то несущественно, главное, что умели. Но математические обобщения им были ни к чему, так же как гераклитовское учение об огне и постоянном перерождении. А греки, напротив, были совершенно равнодушны к проблемам этики. Они сочли бы нахальством, если бы кто-то вдруг вздумал учить их, как вести себя по отношению к родителям, к своему городу и к какому-то большому государству. Они бы сказали: «Да это мы и сами знаем, у нас законов хватает, отойдите, пожалуйста, гражданин, не мешайте нам думать о мироздании».

За счет чего такие различия? Дело в том, что на процесс создания этноса или суперэтноса влияют пространство и время, причем не в мистическом смысле, а вполне реальном. Пространство — это окружение: ландшафтное и этническое. Ландшафтное окружение влияет на формы хозяйства, уклад данного этноса, определяет его возможности, перспективы. Этническое окружение, связи с соседями, дружеские или враждебные, весьма и весьма влияют на характер создаваемой культуры.

Единственное, что мы знаем о времени, это то, что оно необратимо. Время — это фаза этногенеза и этнического окружения, определяющая варианты этнических контактов с ним. Кроме того, уровень научно-технического прогресса, свойственный данной эпохе, тоже оказывает свое влияние в рамках фактора времени, позволяя заимствовать уже имеющиеся технические достижения при создании новой культурной традиции.

Но кроме времени и пространства есть и третий компонент — энергия. В энергетическом аспекте этногенез является источником культуры. Почему? Объясняю. Этногенез идет за счет пассионарности. Именно эта энергия — пассионарность — и растрачивается в процессе этногенеза. Она уходит на создание культурных ценностей и политическую деятельность: управление государством и писание книг, ваяние скульптур и территориальную экспансию, синтез новых идеологических концепций и строительство городов. Любой такой труд требует усилий сверх тех, что необходимы для обеспечения нормального существования человека в равновесии с природой, а значит, без пассионарности ее носителей, вкладывающих свою избыточную энергию в культурное и политическое развитие своей системы, никакой культуры и никакой политики просто не существовало бы. Не было бы ни храбрых воинов, ни жаждущих знания ученых, ни религиозных фанатиков, ни отважных путешественников. И ни один этнос в своем развитии не вышел бы за рамки гомеостаза, в котором жили бы в полном довольстве собой и окружением трудолюбивые обыватели. К счастью, дело обстоит иначе, и мы можем надеяться, что на наш век хватит и радостей, и неприятностей, связанных с этногенезом и культурой.

Окончание. См.: «Звезда», 1990, № 1, 2.

Однако всякая энергия имеет два полюса, и пассионарная энергия (биохимическая) — не исключение. На этногенезе биполярность сказывается тем, что поведенческая доминанта может быть направлена в сторону усложнения систем, то есть созидания или упрощения их.

Эта биполярность четко прослеживается не столько в зоологии, сколько в истории человечества и его культуры. Это происходит потому, что мы знаем историю культуры много подробнее и обстоятельнее, чем историю происхождения и исчезновения видов.

Кроме того, в истории мы можем применять абсолютную хронологию, в то время как в зоологии хронология относительная, то есть зоолог знает, что было раньше, что позже, но насколько — точно сказать не может.

Для определения направления доминанты нужен исключительно чуткий прибор, и таковым является история мировоззрений и философских учений, о положительном значении коих мы уже говорили. Но наряду с ними встречаются жизнеотрицающие системы, которые вы вправе называть отрицательными. Казалось бы, что такие самоубийственные идеи не могут оказать воздействия на здоровые коллективы, многочисленные популяции, крепко слаженные этносы. Однако могут и оказывают. Это происходит в тех случаях, когда столкновение этносов с различной комплиментарностью насильственно связывают их в одну химерную целостность, которая всегда бывает неустойчивой. Вот в ареалах столкновений этносов, где поведенческие стереотипы неприемлемы для обеих сторон, повседневная жизнь теряет свою повседневную обязательную целеустремленность, и люди начинают метаться в поисках смысла жизни, которого они никогда не находят. И вот тут-то возникают философские концепции, отрицающие благость человеческой жизни и смерти, то есть диалектического развития. Антипод материалистической диалектики это — антисистема, то есть упрощающаяся система. Лимитом упрощения является вакуум.

И сейчас мы перейдем к примерам, иллюстрирующим правомерность этого соображения.

В начале нашей эры в Средиземноморье, когда мысль была раскована от предрассудков, осыпавшихся как шелуха при контакте эллинского, иудейского и персидского мировосприятий, люди излагали свои соображения без обиняков. В III—IV вв. н. э. эти концепции кристаллизовались в несколько систем: гностицизм, талмудический иудаизм, христианство, зороастризм. Все они заслуживают специального описания, которое мы отложим, чтобы не отвлекаться от главного — уяснения принципа биполярности. Этот принцип дошел до нашего времени и сформулирован уже в XX в. двумя поэтами, стоявшими по отношению к биосфере на двух противоположных позициях. Поскольку нам здесь нужна не история проблемы, а уяснение принципа классификации, ограничимся двумя наглядными примерами.

Первая позиция — мироотрицание.

> Так вот она, гармония природы,
> Так вот они, ночные голоса!
> Так вот о чем шумят во мраке воды,
> О чем, вздыхая, шепчутся леса.
> Лодейников прислушался. Над садом
> Шел смутный шорох тысячи смертей.
> Природа, обернувшаяся адом,
> Свои дела вершила без затей.
> Жук ел траву, жука клевала птица,
> Хорек пил мозг из птичьей головы,
> И страхом перекошенные лица
> Ночных существ смотрели из травы.
> Природы вековечная давильня
> Объединяла смерть и бытие
> В один клубок, но мысль была бессильна
> Разъединить два таинства ее.
>
> *(Н. Заболоцкий)*

В этих прекрасных стихах, как в фокусе линзы телескопа, соединены взгляды гностиков, манихеев, альбигойцев, карматов, махаянистов,— короче, всех, кто считал материю злом, а мир — поприщем для страданий.

Вторая позиция — мироутверждение.

> ...С сотворенья мира стократы
> Умирая, менялся прах,
> Этот камень рычал когда-то,
> Этот плющ парил в облаках.
> Убивая и воскрешая,

Набухать вселенской душой,
В этом воля земли святая,
Непонятная ей самой.

(Н. Гумилев)

Сходство позиций только в одном: иррациональности отношения персоны (человека или животного) к биосфере. Остальное — диаметрально противоположно, как в средние века и, видимо, до нашей эры.

В первой позиции — стремление заменить дискретные системы (биоценоз) на жесткие («И снится мне железный вал турбины»), которые, по логике развития, превратят живое вещество в косное, косное при термической реакции разложится до молекул, молекулы распадутся до атомов, из атомов выделятся реальные частицы, которые, аннигилируясь, превратятся в виртуальные. Лимит такого развития — вакуум. И наоборот, при усложнении систем, где жизнь и смерть идут рука об руку, возникает разнообразие, которое немедленно передается в психологическую сферу, создает искусство, поэзию, науку. Но, конечно, «за все печали, радости и бредни» придется отплатить «непоправимой гибелью последней».

Итак, этническая история имеет следующие три параметра.

1. Соотношение каждого этноса с его вмещающим и кормящим ландшафтом, причем утрата этого соотношения непоправима: упрощаются, а вернее, искажаются и ландшафт и культура этноса.

2. Вспышка и последующая утрата пассионарности; этногенез — как энтропийный процесс. Диссипация биохимической энергии живого вещества биосферы с выбросом свободной энергии.

3. Выделение из этноса отдельных персон и консорций (сект), изменяющих стереотип поведения и отношение к природной среде на обратное. Идеал (далекий прогноз, желанная цель, формирующая психологическую доминанту не только на персональном, но и на популяционном уровне) меняет знак (либо усложнение, либо упрощение системы; не смешивать с обывательскими понятиями: «хорошо» и «дурно» и с умозрительными: «прогресс» и «отсталость»).

Только в этом, последнем параметре решающую роль играет свободная воля человека, обеспечивающая ему право выбора, но и подлежащая морально-юридической оценке: если некто желает стать преступником и злодеем, осуждение его уместно.

В эти три формулы умещается вся теория, необходимая этнологии для объяснения, почему история народов и государств идет не прямо по пути прогресса, а зигзагами и частыми обрывами в никуда. И почему, на фоне столь трагичном, этносы существуют и радуются жизни.

Невидимые нити. Никто не живет одиноко, даже если очень этого хочет. Невидимые нити связывают страны, обитатели которых никогда не видели друг друга. И как ни называть эти связи — культурными, экономическими, политическими, военными...— они нарушают течение этногенезов, создают зигзаги истории, порождают химеры и звчинают призраки систем, то есть антисистемы. Так обратим на них внимание, чтобы наше представление о ведущем сюжете исследования не было ни однобоким, ни неполноценным.

Идеологические воздействия иного этноса на неподготовленных неофитов действуют подобно вирусным инфекциям, наркотикам, массовому алкоголизму. То, что на родине рассматривается как обратимое и несущественное отклонение от нормы, губит целые этносы, неподготовленные к сопротивлению чужим завлекательным и опьяняющим идеям. К числу таких принадлежал гностицизм как логика жизнеотрицания.

Бывают эпохи, когда людям жить легко, но очень противно. Именно таким был закат Римской империи, но с рождением Византии появились цели и интерес к жизни. Как было уже сказано, византийский суперэтнос вылупился из яйца христианской общины, социальным обрамлением которой была церковная организация. Но в этом яйце таился и второй зародыш, так называемый гностицизм.

Словом «гностицизм» мы определяем те течения той же христианской мысли, которые были не приняты церковью, но восторжествовали несколько веков спустя. Это явление имеет свою предысторию.

Александр Македонский, завоевав Персию с ее провинциями — Малой Азией, Сирией и Египтом, решил, что он создаст из эллинов и восточных людей единый грандиозный этнос. Для этого он даже переженил несколько сот своих офицеров-македонян на осиротевших дочерях погибших в войне персидских вельмож. Конечно, нового этноса не возникло: по приказу не создашь этноса — явления природы. Как социальная система его империя раскололась, как этнический конгломерат она превратилась в химеру. Пришлые греки и аборигены жили в одних и тех же городах, занимались теми же ремеслами и торговлей, развлекались в тех же кабаках, но упорно чуждались друг друга.

Так, в Александрии, столице Египта, где правили потомки одного из македонских полководцев — Птолемея, 50 % населения составляли греки, 40 % — евреи и 10 % все остальные, в том числе и египтяне.

В это время впервые греко-римский мир получил возможность ознакомиться с текстом Библии. Птолемей, царь Египта, видел, что его философы никак не могут переспорить еврейских раввинов. Философы пришли к Птолемею и говорят: «Мы никак не можем с ними спорить, потому что мы не знаем, что они доказывают; мы опровергаем один их тезис, а они говорят: «Да это вы не то опровергаете»,— и выдвигают совсем другой. Мы должны знать точно, что там написано, тогда будем спорить». Он говорит: «Ладно, я вам это сделаю». В одну ночь в Александрии было арестовано 72 раввина. Царь вышел к ним, когда их привели, и сказал речь: «Сейчас вам каждому будет дан экземпляр Библии, достаточное количество пергамента и письменных принадлежностей, и посадят вас в камеры-одиночки. Извольте перевести на греческий язык. Филологи мои проверят, и если будут несовпадения, я не буду разбираться, кто прав, кто виноват, а всех вас повешу, наберу новых и получу перевод». Но больше не пришлось никого сажать, перевод он получил. Раввинов отпустили по домам, и так получилась Библия септуагинта — Библия семидесяти толковников, греческий перевод.

Когда прочли ее греки, они за голову схватились: как же по книге Бытия мир-то создан? Бог создал сначала весь мир, тварей и животных, потом человека Адама, потом из его ребра Еву и запретил им есть яблоки с дерева познания Добра и Зла. А Змей соблазнил Еву, Ева — Адама. Они скушали с запрещенного дерева яблоки и узнали, где добро, где зло, и тем самым вызвали гнев Бога, который их лишил рая. Греки отнеслись к этому так: «Самое главное для нас — познание, а еврейский бог нам его запретил; вот Змей — хороший, вот этот нам помог», и они начали почитать Змея и осуждать этого самого, сотворившего мир, которого они называли «ремесленник» — «демиург». Это, решили греки, плохой, злой демон, а Змей добрый. Представители этого течения богословской мысли назывались офиты, от греческого слова «офис» — змей.

По этой логико-этической системе в основе мира находится Божественный Свет и его Премудрость, а злой и бездарный демон Ялдаваоф, которого евреи называют Яхвэ, создал Адама и Еву. Но он хотел, чтобы они остались невежественными, не понимающими разницу между Добром и Злом. Лишь благодаря помощи великодушного Змея, посланца божественной Премудрости, люди сбросили иго незнания сущности божественного начала. Ялдаваоф мстит им за освобождение и борется со Змеем — символом знания и свободы. Он посылает потоп (под этим символом понимаются низменные эмоции), но Премудрость, «оросив светом» Ноя и его род, спасает их. После этого Ялдаваофу удается подчинить себе группу людей, заключив договор с Авраамом и дав его потомкам закон через Моисея. Себя он называет Богом Единым, но он лжет; на самом деле он просто второстепенный огненный демон, через которого говорили некоторые еврейские пророки. Другие же говорили от лица других демонов, не столь злых. Христа Ялдаваоф хотел погубить, но смог устроить только казнь человека Иисуса, который затем воскрес и соединился с божественным Христом.

Поклонники «Полноты». С более изящными и крайне усложненными системами выступили во II в. антиохиец Саторнил, александриец Василид и его соотечественник Валентин, переехавший в Рим.

Александрийские гностики представляли Бога высочайшим существом, заключенным в самом деле, и источником всякого бытия. Из него, подобно солнечным лучам, истекли второстепенные божеские существа — эоны. Чем более отдалялись эоны от своего источника, тем слабее они становились. Все они в совокупности назывались Плеромой или «Полнотой» всего сущего. Вместе с Плеромой существует грубая, безжизненная материя, не имеющая действительного бытия, а только вид его. Она называется «Пустотой». Мир возник из соприкосновения и смешения этих двух стихий — Плеромы и материи. Самый крайний из эонов по слабости своей упал в материю и одушевил ее, благодаря чему образовался видимый мир. Противоположность божественного и материального стала причиной зла в людях и демонах.

Эон, из-за которого возник мир, гностики называли Демиург, то есть ремесленник, и приравнивали к богу Ветхого Завета. Они полагали, что он сделал мир неряшливо, что он бы и рад освободить дух из уз материи, но сделать этого не умеет. Была также гипотеза, что он злобно противится помощи, которую могут ему оказать высшие эоны.

Высочайшее Божество постоянно заботится о жертвах Демиурга — людских душах. Оно стремится поддержать в них мысль об их высоком происхождении и укрепить их в борьбе с материей. Для этой цели оно по временам сообщало людям, к тому способным — пророкам и философам,— новые духовные элементы и наконец послало на Землю первого эона в призрачном теле. Этот эон соединился при крещении с человеком Иисусом и показал людям путь обратно в Плерому. Раздраженный этим Демиург, а по другим мнениям — Сатана, довел Иисуса до распятия. Небесный Христос оставил человека Иисуса на кресте и возвратился к Верховному существу. Спасение души — это освобождение от материи через борьбу с ней.

Еще была и антиохийская школа, где учил Сатурнил, тоже очень почтенный человек. Он говорил: «Нет, материя и дух — первозданны, они всегда были, просто материя захватила часть духа и держит его. Конечно, вырваться надо, материя — это плохо, а дух — хорошо, но материя, вообще говоря, тоже существует наряду с духом». Из этой сатурниловской школы вышло замечательное учение персидского пророка Мани.

Поклонники «Света». В Иране обстановка была несколько иной. Воинственные парфяне с Копетдага объединились со степными саками и выгнали македонян из Ирана. Их цари мужественно отстаивали свою землю от македонян и римлян, но обаянию эллинской культуры подчинились и они. В их столице, Ктезифоне, ставились трагедии Еврипида, шли диалоги о философии Платона, переводился на персидский язык Аристотель. И соответственно, в этой химерной целостности — Парфянской державе — расцвел гностицизм.

В 224 г. н. э. князь из дома Сасана Артшир Папагаи изгнал парфян из «Священной земли Ирана» и восстановил учение Заратуштры. Но к участию в зороастрийском культе допускались только персы, а население Месопотамии принимало либо христианство, либо гностицизм. И вот на границе двух миров — эллинского и персидского — в Месопотамии родился исключительно тонкий, талантливый художник, каллиграф и писатель Мани. В поисках мудрости он ездил даже в Индию, а вернувшись на родину, проповедовал новое учение, в дальнейшем сыгравшее огромную роль в развитии культуры, истории и даже этногенеза.

Заметим, что гностиками становились мечтатели, богоискатели, почти фантасты, стремившиеся, подобно античным философам, придумать связную и непротиворечивую концепцию мироздания, включая в него добро и зло. Гностицизм — это не познание мира, а позиция понятий, в которой главное место занимало неприятие действительности. Гностические системы были совершенно потрясающими по красоте, логичности, неожиданности. Но они не имели никакого отношения к научной мысли, ничего не объясняли и не считали нужным объяснять, за одним исключением: учение Мани и его последователей — манихеев — объяснило людям, что такое зло.

Мани проповедовал такую идею: раньше свет и тьма были разделены между собой и тьма была сплошная, но не одинаковая — там были облака сгущенного мрака и разреженного мрака, и они двигались в беспорядке, в таком броуновском движении, и однажды случайно они подошли к границе света и попытались туда вторгнуться.

Против них вышел «первочеловек», первый человек, под которым надо понимать Ормузда, который стал бороться и не пускать облака мрака в обитель света. Облака напали на первочеловека, облекли собой, разорвали его светлое тело на части, и частицы света мучают это тело; это и есть мир — смесь мрака со светом. Надо добиться, чтобы эти частицы были освобождены, ради чего приходил сначала Христос, а потом он, Мани — Утешитель, и вот он учит, что нужно делать.

Да, действительно, нужно вести себя очень аскетически, не есть и не убивать животных с теплой кровью, лягушек и змей можно, есть растительную пищу, воздерживаться от всякого рода плотских развлечений, потому что, если женишься, это естественным образом оздоровляет твой организм, и он крепче держит душу. Но разрешались оргии с полным развратом, только чтобы было неизвестно, кто с кем, потому что это расшатывает организм и помогает душе освободиться. Система логична. Самоубийство не помогает, потому что существует переселение душ из тела в тело, и если ты самоубьешься, то опять возродишься, и надо все начинать сначала. Поэтому надо добиться подлинной смерти — потерять вкус к жизни. Мани трагически погиб, казненный по проискам магов — зороастрийского духовенства, но его учение распространилось по всей Ойкумене, от Китая до Тулузы, и везде встречало крайне враждебное отношение, потому что в нем отчетливо проявлялась враждебность к живой природе, семье и творческой истории этносов как порождения злого начала — Мрака. В сравнение с манихеями нельзя поставить даже маркионитов.

Маркион и маркиониты. Большинство гностиков не стремились распространять свое учение, ибо они считали его слишком сложным для восприятия невежественных людей, и их концепции гасли вместе с ними. Но в середине II в. христианский мыслитель Маркион, опираясь на речь апостола Павла в Афинах о «Неведомом Боге», развил гностическую концепцию до той степени, что она стала доступной широким массам христиан.

Маркион происходил из Малой Азии. Был он очень учен. Сначала был торговцем, потом занялся филологией и написал большой трактат о Ветхом и Новом Завете, где доказал очень квалифицированно, что Бог Ветхого и Бог Нового Завета — это разные боги и что, следовательно, христианину поклоняться Ветхому Завету нельзя. А так как поклонение Богу Ветхого Завета вошло в обиход, то большая часть церковников его не приняла,

но церковь разделилась на две части — маркионитов и противников Маркиона. Победили тогда, во II в., маркиониты, но в III в. дуалистов одолели сторонники монизма.

Маркиона объявили последователем Сатаны и не признали его учения. Церковь его извергла, а книгу его подвергли осторожному замалчиванию — самое страшное, что может быть для ученого. Просто на эту тему считалось неприлично говорить. (Восстановил систему доказательства Маркиона только один немецкий ученый — Доллингер, который из разных текстов собрал аргументы Маркиона, доказывающие, что Бог Нового и Бог Ветхого Завета — это разные боги, противостоящие один другому, как добро и зло.)

Однако учение Маркиона все же не исчезло. Через сотни передач оно сохранялось на родине Маркиона, в Малой Азии, и в IX в., преображенное, но еще узнаваемое, стало исповеданием павликиан (от имени апостола Павла), выступивших на борьбу с византийским православием, причем они даже заключили союз с мусульманами.

Павликиан нельзя считать христианами. Несмотря на то, что они не отвергали Евангелия, павликиане называли крест символом проклятия, ибо на нем был распят Христос, не принимали икон и обрядов, не признавали таинств крещения и причастия и все материальное почитали злом. Будучи последовательными, павликиане активно боролись против церкви и власти, прихожан и подданных, сделав промыслом продажу плененных юношей и девушек арабам. Вместе с тем в числе павликиан встречалось множество попов-расстриг и монахов, а также профессиональных военных. Удержать этих сектантов от зверств не могли даже их духовные наставники. Жизнь брала свое, даже если лозунгом борьбы было отрицание жизни. И не стоит в этих убийствах винить Маркиона, филолога, показавшего принципиальное различие между Ветхим и Новым Заветами. В идеологическую основу антисистемы могла быть положена и другая концепция, как мы сейчас и покажем.

Павликианство было разгромлено военной силой в 872 году, после чего пленных павликиан не казнили, а поместили на границе с Болгарией для несения службы пограничной охраны. Так смешанная манихейско-маркионитская доктрина проникла к балканским славянам и породила богомильство, вариант дуализма, весьма отличающийся от манихейского прототипа, укрепившегося в те же годы в Македонии.

Вместо извечного противостояния Света и Мрака богомилы учили, что глава созданных Богом ангелов, Сатанаил, из гордости восстал и был низвергнут в воды, ибо суши еще не было. Сатанаил создал сушу и людей, но не мог их одушевить, для чего обратился к Богу, обещая стать послушным. Бог вдунул в людей душу, и тогда Сатанаил его надул и сделал Каина. Бог в ответ на это отрыгнул Иисуса, бесплотного духа, для руководства ангелами, тоже бесплотными. Иисус вошел в одно ухо Марии, вышел через другое и обрел форму человека, оставаясь призрачным. Ангелы Сатанаила скрутили, отняли у него суффикс «ил», в котором таилась сила, разумеется, мистическая, и загнали его в ад. Теперь он не Сатанаил, а Сатана. А Иисус вернулся в чрево Отца, покинув материальный, созданный Сатанаилом мир. Вывод из концепции был прост: «Бей византийцев!».

Как видно из описания, разница во взглядах у манихеев, маркионитов, богомилов и провансальских катаров была больше, нежели у католиков и православных. Однако дуалисты имели единую организацию из 16-ти церквей, тесно связанных друг с другом. Сходство их было сильнее различий, несмотря на то, что основой его было отрицание. В отрицании была их сила, но также и слабость; отрицание помогало им побеждать, но не давало победить.

Катары. Западная Европа несколько позже, чем Передний Восток, испытала все последствия механического смешения этносов. Подлинная химера образовалась в Лангедоке, захватив на западе Тулузу, а на востоке — Северную Италию.

Беда была в том, что Великий караванный путь, начинавшийся в Китае и шедший по бескрайним безлюдным степям, доходил до богатого, обильного всеми продуктами Лиона, затем до величественной Тулузы и заканчивался в мусульманской Испании, в Кордове. А с международной торговлей всегда связано разнообразие людей и идей, неспособных слиться друг с другом. Зато в теле такой химеры часто прорастают как паразиты жизнеотрицающие системы, примеры которых мы уже видели.

Дуалистическое учение катаров проникло в Лангедок с Балканского полуострова, где смешались уже знакомые нам павликиане, богомилы и манихеи. Катаров французы называли альбигойцами, ибо одним из их центров был город Альби.

Распространенное мнение, что пламенная религиозность средневековья породила католический фанатизм, от которого запылали костры первой инквизиции, вполне ошибочно. К концу XI в. духовное и светское общество Европы находилось в полном нравственном падении. Многие священники были безграмотны, прелаты получали назначения благодаря родственным связям, богословская мысль была задавлена буквальными толкованиями Библии, соответствовавшими уровню невежественных теологов, а духовная жизнь была скована уставами клюнийских монахов, настойчиво подменявших вольномыслие добронравием. В ту эпоху все энергичные натуры делались или мистиками, или развратниками. А энергичных пассионарных людей во Франции было много больше, чем

требовалось для повседневной жизни. Поэтому-то их и старались сплавить в Палестину освобождать Гроб Господен от мусульман, с надеждой, что они не вернутся.

По ехали на Восток не все. Многие искали разгадок бытия, не покидая родных городов, потому что восточная мудрость сама текла на Запад. Она несла ответ на самый больной вопрос теологии: Бог, создавший мир, благо; откуда же появились Зло и Сатана?

Принятая в католичестве легенда о восстании обуянного гордыней ангела не удовлетворяла пытливые умы. Бог всеведущ и всемогущ! Значит, он должен был предусмотреть это восстание и подавить его. А раз он этого не сделал, то он повинен во всех последствиях и, следовательно, является источником зла. Логично, но абсурдно. Значит, что-то не так. На это отвечали приходившие с Востока манихеи: «Зло извечно. Это материя, оживленная духом, но обволокшая его собой. Зло мира — это мучения духа в тенетах материи». Следовательно, все материальное — источник зла. А раз так, то зло — это любые вещи, в том числе храмы и иконы, кресты и тела людей. И все это подлежит уничтожению.

В чем же усматривали катары (альбигойцы) и вообще все гностики-манихеи свою задачу? Они считали, что надо вырваться из этого страшного мира. Для этого мало умереть, так как смерть тела ведет к новому воплощению души — к новым мучениям. Надо вырваться из цепи перевоплощений, а для этого мало убить тело, нужно умертвить душу. Каким путем? Убив все свои желания. Аскетизм, полный аскетизм! Есть только постную пищу, но у них оливковое масло было хорошее, так что это было довольно вкусно. Рыбу можно есть, лягушек можно есть (французы едят лягушек). Затем, конечно, никакой семьи, никакого брака. Надо изнурить свою плоть до такой степени, чтобы душа уже не захотела оставаться в этом мире, тогда она в момент смерти воспарит к светлому Богу. Но плоть можно изнурять двумя способами — или аскетизмом, или неистовым развратом. В разврате она тоже изнуряется, и поэтому время от времени альбигойцы устраивали ночные оргии, обязательно в темноте, чтобы никто не знал, кто с кем изнуряет плоть. Это было обязательное условие, потому что если человек полюбил кого-то, то это уже привязанность. Привязанность к чему? — к плотскому миру: она его полюбила или он ее — значит, все! Они не могут стать совершенными и изъяться из мира. А если просто в публичном доме плоть изнурять, то это — пожалуйста.

По учению альбигойцев полезен сам по себе всякий акт изнурения плоти, ведущий к отвращению к жизни, но без брака и воспитания детей, потому что и дети, и любимая жена, и хороший муж — все они являются частями, составляющими этот мир, и, следовательно, соблазном дьявола, которого надо избегнуть.

Мораль, естественно, упразднялась. Ведь если материя — зло, то любое истребление ее — благо, будь то убийство, ложь, предательство...— все не имеет никакого значения. По отношению к предметам материального мира было все позволено.

Но тут средневековый христианин сразу же задавал вопрос: а как же Христос, который был и человеком? Исцелял больных, одобрял веселье настолько, что превратил в Кане Галилейской воду в вино, защитил женщину, то есть не был противником живой материальной жизни? На это были подготовлены два ответа: явный — для новообращенных и тайный — для посвященных. Явно объяснялось, что «Христос имел небесное, эфирное тело, когда вселился в Марию. Он вышел из нее столь же чуждым материи, каким был прежде... Он не имел надобности ни в чем земном, и если он видимо ел и пил, то делал это для людей, чтобы не заподозрить себя перед Сатаной, который искал случая погубить Избавителя».

Однако для «верных» (так назывались члены общины) предлагалось другое объяснение: «Христос — творение демона; он пришел в мир, чтобы обмануть людей и помешать их спасению. Настоящий же не приходил, а жил в особом мире, в „небесном Иерусалиме“».

Довольно деталей. Нет и не может быть сомнения в том, что манихейское альбигойство — не ересь, а просто антихристианство, и что оно дальше от христианства, нежели ислам и даже теистический буддизм. Однако если перейти от теологии к истории культуры, то вывод будет иным. Бог и Дьявол в манихейской концепции сохранились, но поменялись местами. Именно поэтому новое исповедание имело в XII в. такой грандиозный успех. Экзотичной была сама концепция, а детали ее привычны, и замена плюса на минус для восприятия богоискателей оказалась легка.

Следовательно, в смене закона мог найти выражение любой протест, любое неприятие действительности, в самом деле весьма непривлекательной. Кроме того, любое манихейское учение распадалось на множество направлений, мироощущений, мировоззрений и степеней концентрации, чему способствовали в равной мере пассионарность новообращенных, позволявшая им не бояться костра, и оправдание лжи, с помощью которой они не только спасали себя, но наносили своим противникам неотразимые, губительные удары.

Конечно, далеко не все в Западной Европе понимали сложную догматику манихейства, да многие и не стремились к этому. Им было достаточно осознать, что Сатана для них — не враг, а владыка и помощник в затеваемых ими преступлениях. Тайно исповедовал это учение император Генрих IV, враг папы Григория VII. А простодушный Ричард Львиное Сердце откровенно заявил, что все члены дома Плантагенетов пришли от Дьявола и вернутся к Дьяволу. Этим заявлением он оправдал все совершенные им преступления и предательства; по крайней мере, так считал он сам.

И ведь эту доктрину, упразднявшую совесть, исповедовали в XII в. не только короли, но и священники, ткачи, рыцари, крестьяне, нищие, ученые-законоведы и безграмотные бродячие монахи, причем большинство из них не отдавали себе отчета в значении своих умонастроений. Эти последние легко переходили из одного стана в другой, потому что от них не требовалось формального отречения от догматов своей веры.

Основная часть этого умонастроения — община катаров — имела строгую дисциплину, трехстепенную иерархию и ни на какие компромиссы не шла. Проповедь «совершенных» во Франции и даже в Италии так наэлектризовывала массы, что подчас даже папа боялся покинуть укрепленный замок, чтобы на городских улицах не подвергнуться оскорблениям возбужденной толпы, среди которой были и рыцари, тем более что феодалы отказывались ее усмирять.

Может возникнуть ложное мнение, что католики были лучше, честнее, добрее, благороднее катаров (альбигойцев). Оно столь же неверно, как и обратное. Люди остаются самими собою, какие бы этические доктрины им ни проповедовались. Да и почему концепция, что можно купить отпущение грехов за деньги, пожертвованные на крестовый поход, лучше, чем призыв к борьбе с материальным миром?

Учение католиков было столь же логично, только с иной доминантой: католики утверждали, что мир должен быть сохранен и что жизнь как таковая не должна пресекаться. И во имя этого они очень много убивали. Казалось бы, парадокс? Нет, не парадокс. Для того, чтобы жизнь поддерживалась, согласно диалектике природы, смерть так же необходима, как и жизнь, потому что после смерти идет восстановление.

А альбигойцы, отрицая жизнь и стремясь к ее уничтожению, делали очень хитрую вещь — они отказывались убивать все живые существа с теплой кровью (поэтому выяснить, кто альбигоец, кто не альбигоец, было очень легко: велели человеку зарезать курицу: если он отказывался, то его тащили на костер). Вы скажете, что альбигойцы лучше католиков. Они ведь такие гуманные, что даже курицу не убьют. Но ведь если бы кур не стали резать и кушать, то их бы не стали и разводить и куры исчезли бы совсем как вид. Только благодаря смене жизни и смерти поддерживаются биосферные процессы; альбигойцы это понимали, они стремились к смерти полной, окончательной, без возрождения.

А представим себе, что все люди последовали бы учению альбигойцев: жизнь прекратилась бы в одном поколении!

Вот потому-то там, где последователи антисистемы захватывали власть, они отказывались от антисистемных принципов. Не отвергая их официально, они превращали захваченную ими страну в заурядное феодальное государство.

Зиндики. Совсем рядом с двумя уже описанными суперэтносами, по другую сторону Средиземного моря, находился третий суперэтнос, известный также по конфессиональному признаку — мусульманский. Возник он в начале VII в. и, следовательно, был моложе византийского и старше романо-германского. Однако жизнь его протекала столь напряженно, что состарила его преждевременно.

Грандиозные победы арабов на востоке и западе расширили границы халифата до Памира и Пиренеев. Множество племен и народов было включено в халифат и обращено в ислам. Так создался мусульманский суперэтнос. Негативная антисистема здесь имела оригинальные формы, но несла ту же самую губительную функцию. И если провансальские катары и болгарские богомилы были явлением импортным, то арабы, завоевавшие Сирию и Иран, получили в качестве подданных маздакитов Азербайджана, огнепоклонников Хорасана, буддистов Средней Азии, манихеев Месопотамии и гностиков Сирии.

Все эти учения, весьма различные между собою, пылали одинаковой ненавистью к поработителям-мусульманам и к вере ислама. Неоднократно вспыхивали восстания, беспощадно подавляемые халифами до тех пор, пока не сложилась новая консорция — религиозная организация, поставившая себе целью борьбу против религии. Она вобрала в себя множество древних традиций и создала новую, оригинальную и неистребимую, ибо она потрясла мусульманский мир.

Мусульманское право — шариат — позволяло христианам и евреям за дополнительный налог спокойно исповедовать свои религии. Идолопоклонники подлежали обращению в ислам, что тоже было сносно. Но зиндикам (от персидского слова «зенд» — смысл, что было эквивалентом греческого «гнозис» — знание), представителям нигилистических учений, грозила мучительная смерть. Следовательно, зиндики — это гностики, но в арабскую эпоху это название приобрело новый оттенок — «колдуны». Против них была учреждена целая инквизиция, глава которой носил титул «палача зиндиков». Естественно, что при таких условиях свободная мысль была погребена в подполье и вышла из него преображенной до неузнаваемости во второй половине IX в. И даже основатель новой концепции известен. Звали его Абдулла ибн-Маймун, родом — перс из Мидии, по профессии — глазной врач, умер в 874 (875) году.

Догматику и принципы нового учения можно лишь описать, но не сформулировать, так как основным его принципом была ложь. Сторонники новой доктрины называли даже себя в разных местах по-разному: наиболее известные названия в Персии — исмаилиты, в Аравии — карматы. Цель же их была одна — во что бы то ни стало разрушить ислам, как катары стремились разрушить христианство.

Видимая сторона учения была проста: безобразия этого мира исправит махди, то есть спаситель человечества и восстановитель справедливости. Эта проповедь почти всегда находит отклик в массах народа, особенно в тяжелые времена. А IX в. был очень жестоким. Мятежи и отпадения эмиров, восстания племен на окраинах и рабов-зинджей в сердце страны, бесчинства наемных войск и произвол администрации, поражения в войнах с Византией и растущий фанатизм мулл...— все это ложилось на плечи крестьян и городской бедноты, в том числе и образованных, но нищих персов и сирийцев. Горючего скопилось много; надо было уметь поднести к нему факел.

Свободная пропаганда любых идей была в халифате неосуществима. Поэтому эмиссары доктрины выдавали себя за мусульман. Они толковали тексты Корана, попутно вызывая в собеседниках сомнения и намекая, что им что-то известно, но вот-де истинный закон забыт, отчего все бедствия и проистекают, а вот если его восстановить, то... Но тут он, как бы спохватившись, замолкал, чем, конечно, разжигал любопытство. Собеседник, крайне заинтересованный, просит продолжать, но проповедник, опять-таки ссылаясь на Коран, берет с него клятву соблюдения молчания, а затем, как испытание доброй воли прозелита, сумму денег, сообразно средствам, на общее дело. Затем идет обучение новообращенного. Мир, в котором мы живем, плохой, потому что здесь всякие кадии, эмиры, муллы, халиф со своим войском угнетают и обижают бедных людей, у которых, однако, есть выход: если они достигнут совершенства через участие в их общине, то попадут в антимир, где все будет наоборот — там они сами будут обижать кадиев, эмиров и т. д. Такая незамысловатая, казалось бы, система нашла себе большое количество приверженцев. Так как здешний мир, в котором мы живем, очень многими считался плохим, то антимир, естественно, казался хорошим.

Карматы, или, как их на востоке называли, исмаилиты, должны были лгать всем: с шиитом он должен быть шиит, с суннитом — суннит, с евреем — еврей, с христианином — христианин, с язычником — язычник, но только должен помнить, что тайно подчинен своему пиру — старцу. Все мусульмане — враги, против которых дозволены ложь, предательство, убийства, насилия. И вступившему на «путь», даже в первую степень, возврата нет, кроме как смерть.

Община, исповедовавшая и проповедовавшая это страшное учение, бывшее бесспорно мистическим и вместе с тем антирелигиозным, очень быстро завоевала твердые позиции в самых разных областях распадавшегося халифата.

Никакого духовенства у них не было, но иерархия была очень строгая. Каждая община имела своих руководителей, которым подчинялась совершенно беспрекословно. На смерть они шли, совершенно не дрогнув, потому что за мученическую смерть им гарантировалось место в антимире, где вечное блаженство. А чтобы они верили, что антимир действительно существует, что это не обман, им давали покурить гашиша — самый обыкновенный наркотик,— и они его видели! Видения у них были такие красочные, что за них стоило погибнуть.

И как только на фоне меркнущего заката на небе появлялась голубая звезда Зухра (планета Венера), исмаилиты проникали всюду и убивали ради убийства, сами оставаясь невидимыми. Ночь — символ тайны — была их стихией. Они заключали тайные сделки, тайно дружили с тамплиерами, тайно вступали в свое братство и, погибая под пытками, хранили тайну мотивов своих деяний.

Наибольший успех имела карматская община Бахрейна, разорившая в 929 году Мекку. Карматы перебили паломников и похитили черный камень Каабы, который вернули лишь в 951 году. Губительными набегами карматы обескровили Сирию и Ирак, им удалось даже овладеть Мультаном в Индии, где они варварски перебили население и разрушили дивное произведение искусства — храм Адитьи.

Не меньшее значение имело обращение в исмаилизм части берберов Атласа. Эти воинственные племена использовали проповедь псевдоислама для того, чтобы расправиться с завоевателями-арабами. Вождь восставших Убейдулла в 907 году короновался халифом, основав династию Фатимидов, потомков сестры пророка и Али. Его потомкам удалось покорить Египет.

«Старец Горы». Исмаилиты пытались также утвердиться в Иране и Средней Азии, но натолкнулись на противодействие тюрков, сначала Махмуда Газневи, а потом сельджукских султанов. Несмотря на понесенные поражения, исмаилиты в конце XII в. держались в Иране и Сирии. Честолюбивый Хасан Саббах, чиновник канцелярии сельджукского султана Мелик-шаха, выгнанный за интриги, стал исмаилитским имамом. В 1090 году ему удалось овладеть горной крепостью Аламут в Дейлеме, и он стал называться «Старец Горы», а позже исмаилиты приобрели десяток крепостей в горах Ливана и Антиливана.

Однако не крепости были главной опорой этих фанатиков. Большая часть подданных «Старца Горы» жила в городах и селах, выдавая себя за мусульман или христиан. Мусульмане не считали их за единоверцев, и поэт XII в. Усама ибн Мункыз в «Книге назидания» рассказывает, что во время осады его замка его мать увела свою дочь на балкон над пропастью, чтобы столкнуть девушку в бездну, лишь бы она не попала в плен к исмаилитам. Попытки уничтожить этот орден были всегда неудачны, ибо каждого везира или эмира, неудобного для исмаилитов, подстерегал неотразимый кинжал явного убийцы, жертвовавшего жизнью по велению своего старца.

Хасан Саббах не ощущал недостатка в искренних приверженцах. Так погиб в 1092 году везир Низам уль-Мульк от кинжала фидаина. Так в Испахани ложнослепой нищий, прося проводить его до дому, заманивал мусульман в засаду, где доверчивого добряка убивали. Но это были мелочи. Хасан нашел способ сломать не социальную, а этническую систему. Он направил своих убийц на самых талантливых и энергичных эмиров, места которых, естественно, занимали потом менее способные, а то и вовсе бездарные тупицы и себялюбцы. А эти последние, занимая низшие должности, способствовали действиям исмаилитов, ибо знали, что кинжал фидаина откроет им путь на вершину власти. Такой целенаправленный геноцид за 50 лет превратил сельджукский султанат в бессистемное скопление небольших, но хищных княжеств, пожиравших друг друга, как пауки в банке.

Наличие мощной антисистемы исмаилитов превратило борьбу христианства с исламом в трехстороннюю войну. Исмаилиты были врагами всех, но, как все, они нуждались в друзьях и искали их где могли, даже среди христиан. Православные византийцы для исмаилитов не подходили; греки так «нажглись» на былом попустительстве павликианам, развязавшем восстание в IX в., что в XII в. предпочитали иметь дело с сельджуками, у которых можно было запросто выкупать и обменивать пленников.

Зато крестоносцы за полвека растеряли первоначальный религиозный порыв и поддались обаянию роскоши и неги Востока. Война из грандиозного столкновения «Христианского» и «Мусульманского» миров превратилась в серию феодальных стычек, обычных для любой страны того времени. Исмаилиты держались в своих замках, пользуясь всеобщим беспорядком, и продавали услуги своих фидаинов феодалам, желавшим избавиться от того или иного соперника. Убийства приносили секте доход.

Остановка в пути. А теперь остановим караван нашего внимания для того, чтобы подумать над уже сделанными описаниями. Как легко было заметить, три большие суперэтнические системы сопровождались антисистемами, вернее, одной антисистемой, подобно тому, как тени разных людей различаются друг от друга не по внутреннему наполнению, которого у теней вообще нет, а лишь по контурам.

Как уже было показано, провансальские катары, болгарские богомилы, малоазиатские павликиане, аравийские карматы, берберийские и иранские исмаилиты, имея множество этнографических и догматических различий, обладали одной общей чертой — неприятием действительности, то есть метафизическим нигилизмом. Эта их особенность так бросалась в глаза всем исследователям, что возник соблазн усмотреть в ней проявление классовой борьбы, которая в эпоху расцвета феодализма, безусловно, имела место. Однако это завлекательное упрощение при переходе на почву фактов наталкивается на непреодолимые затруднения.

Каково было поведение самих еретиков? Феодалов они, конечно, убивали, но столь же беспощадно они расправлялись с крестьянами, отнимая их достояние и продавая их жен и детей в рабство. Социальный состав манихейских и исмаилитских общин был крайне пестрым. В их числе были попы-расстриги, нищие ремесленники и богатые купцы, крестьяне и бродяги — искатели приключений и, наконец, профессиональные воины, то есть феодалы, без которых длительная и удачная война была в те времена невозможна. В войске должны были быть люди, умеющие построить воинов в боевой порядок, укрепить замок, организовать осаду. А в X—XIII вв. это умели только феодалы.

Когда же исмаилитам удавалось одержать победу и захватить страну, например, Египет, то они отнюдь не меняли социального строя. Просто вожди исмаилитов становились на места суннитских эмиров и также собирали подати с феллахов и пошлины с купцов. А превратившись в феодалов, они стали проводить религиозные преследования, не хуже чем сунниты. В 1210 году «Старцы Горы» в Аламуте жгли «еретические» (по их мнению) книги. Фатимидский халиф Хаким повелел христианам носить на одежде кресты, а евреям — бубенчики; мусульманам было разрешено торговать на базаре только ночью, а собак, обнаруженных на улицах, было велено убивать.

И даже карматы Бахрейна, учредившие республику, казалось бы, свободную от феодальных институтов, сочетали социальное равенство членов своей общины с государственным рабовладением. «Напряженная борьба, которую вели карматы против халифата и суннитского ислама, приняла с самого начала характер и форму сектантского движения.

Поэтому карматы, будучи нетерпимыми фанатиками, направляли свое оружие не только против суннитского халифата и его правителей, но и против всех тех, кто не воспринимал их учения и не входил в их организацию... Нападения карматских вооруженных отрядов на мирных городских и сельских жителей сопровождались убийствами, грабежами и насилиями... Уцелевших карматы брали в плен, обращали в рабство и продавали на своих оживленных рынках наравне с другой добычей».

Естественно, что этот стереотип поведения оттолкнул от карматов широкие слои крестьян, горожан и даже бедуинов, которые были всегда готовы пограбить под любыми знаменами, но считали излишним убивать женщин и детей.

Ну какая тут «классовая борьба»?!

Но может быть, это все клевета врагов «свободной мысли» на вольнодумцев, осуждавших правителей за произвол, а духовенство — за невежество. Допустим, но почему тогда эти «клеветники» не возражали на критику своих порядков. Негативная сторона еретических учений не оспаривалась, а о позитивной французы и персы, греки и китайцы отзывались единодушно, причем явно без сговора. Но выслушаем и другую сторону — знаменитого поэта и идеолога исмаилизма Насир-и-Хосрова.

Мыслитель считал, что «если убивать змей для нас обязательно по согласному мнению людей, то убивать неверных для нас обязательно по приказу Бога всевышнего, и неверный более змея, чем змея...» Высшая цель его веры — постижение людьми сокровенного знания и достижения «ангелоподобия». Средство достижения — установление власти Фатимидов, которое он мыслит следующим образом:

Узнавши, что заняли Мекку потомки Фатьмы,
Жар в теле и радость на сердце почувствуем мы.
Прибудут одетые в белое [1] божьи войска;
Месть бога над полчищем черных [2], надеюсь, близка.
Пусть саблею солнце из рода пророка [3] взмахнет,
Чтоб вымер потомков Аббаса безжалостный род,
Чтоб стала земля бело-красною, словно хулла [4],
И истинной вере дошла до Багдада хвала.
Обитель пророка — его золотые слова,
А только наследник имеет на царство права [5].
И если на западе солнце взошло [6], не страшись
Из тьмы подземелий поднять свою голову ввысь.

Стихи недвусмысленны. Это призыв к религиозной войне без какой бы то ни было социальной программы. Следовательно, движение исмаилитов не было классовым, равно как и движения катаров, богомилов и павликиан. Последние три течения отличались от исмаилитства лишь тем, что не достигли политических успехов, после которых их перерождение в феодальные государства было бы неизбежно.

Ограниченность отрицания. Как мы должны расценивать все сказанное выше с точки зрения географии? Казалось бы, фантасмагория какая-то, при чем тут география? Очень при чем! Мироощущение альбигойцев, манихеев, павликиан — в Византии, исмаилитов и прочих — это система негативной экологии. Не любя мир, манихеи не собирались его хранить, наоборот, они стремились к уничтожению всего живого, всего прекрасного. Вместо любовной привязанности к миру и к людям они культивировали отвращение и ненависть. Должна была стать уничтоженной вся жизнь и биосфера там, где возобладала бы эта система. Но, к счастью, у манихеев возможности были ограничены: победить до конца, реализовать свою идею целиком они не могли принципиально.

В самом деле, если бы манихеи достигли полной победы, то для удержания ее им пришлось бы отказаться от разрушения плоти и материи, то есть преступить тот самый принцип, ради которого они стремились к победе. Совершив эту измену самим себе, они должны были бы установить систему взаимоотношений с соседями и с ландшафтами, среди которых они жили, то есть тот самый феодальный порядок, который был естественным при тогдашнем уровне техники и культуры. Следовательно, они перестали бы быть самими собой, а превратились бы в собственную противоположность. Но это положение

---

[1] Цвет Фатимидов.
[2] Цвет Аббасидов.
[3] Мустансир, халиф Египта, Фатимид (1036—1094).
[4] Плащи бедуинов — белые с красными полосами.
[5] Подразумевается происхождение Мустансира от Али и Фатьмы, сестры Мухаммеда. На самом деле родоначальником Фатимидов был пасынок Абдуллы ибн-Маймуна, еврей, обращенный в исмаилизм.
[6] Имеются в виду успехи войск Мустансира.

было исключено необратимостью эволюции. Став на позицию проклятия жизни и приняв за канон ненависть к миру, нельзя исключить из этого собственное тело.

Поэтому манихеи первым делом уничтожали свои собственные тела и не оставляли потомства, так что этим все и кончалось. Полного уничтожения биосферы в тех местах, где манихеи побеждали, не происходило. И тем не менее, это их отрицательное отношение ко всему живому явилось лозунгом для могучего еретического движения, которое охватило весь Балканский полуостров, большую часть Малой Азии, Северную Италию, Южную Францию и привело к неисчислимым жертвам.

СЛОВО О НАУКЕ

В глубокой древности. Когда Наука была в зачатке, люди представляли мир как собрание недвижных предметов: звезд, гор, морей, а если им приходилось наблюдать движение: смену дня и ночи, произрастание трав или старение своих близких,— то они считали эти формы движения цикличными. Осуждать их за это было бы несправедливо; ведь обыватели XX в. воспринимают мир так же.

Однако уже Гесиод уловил линейное течение мирообразования: эпоха Урана — пространство без времени и энергии; эпоха Хрона — добавление времени с броуновским движением чудовищ; эпоха Зевса — добавка энергий (молний). Это было примитивное учение об эволюции, прогрессе и линейном времени. В наше время оно сохранилось в геологии — учении о смене эр: палеозоя, мезозоя, кайнозоя.

Великий Гераклит сформулировал учение о вечной изменчивости: «Все течет, все изменяется, никто не может дважды войти в один и тот же поток, и к смертной сущности никто не прикоснется дважды!», а Зенон доказывал, что движения нет, ибо Ахилл не может догнать черепаху. Оба умозрительных учения делают науку невозможной: гераклитовское — потому что нельзя описывать исчезающие и неповторимые феномены, а зеноновское — потому что без движения к предметам изучения нельзя приблизиться для обследования их. Потому-то научное познание заменилось софистикой, и Горгий имел право сформулировать свои три тезиса: «Ничего нет!», «Если бы что-нибудь было, оно было бы непознаваемо!», «Если бы познание существовало, его было бы нельзя передать!»... Тупик!

Как ни странно, все эти три философских подхода к Науке дожили до XX в., изменив формы, но не настолько, чтобы их было нельзя распознать.

Философские построения оказались неверными. Конечно, река и смертное тело изменяются, но в пределах законного допуска; следовательно, повторное «прикосновение» к ним возможно. Апорий Зенона, утверждавший, что движение — лишь наше восприятие, поскольку оно немыслимо, опровергнут появлением дифференциального исчисления: оказалось, что движение, которое действительно — основа мироздания, не только наблюдаемо, но и мыслимо, причем непротиворечиво.

Да, стабильными можно называть те явления и предметы, которые изменяются медленно, но и тут нужно учитывать, что характер изменений определяется не столько видимостью такового, сколько диалектическими законами: переходом количества в качество, единством и борьбой противоположностей и отрицанием отрицания. Эти законы подсказывают ученым необходимость учитывать третий вид движения — колебательное, которое, как мы увидим, лежит в основе многих явлений, в том числе — этногенеза.

Факт этнического изменения внутри системы определяется либо накоплением, либо растратой энергии живого вещества биосферы (биохимической), а устойчивость неоднородной системы — законом единства и борьбы противоположностей. Дискретность этногенезов и этнической истории, или, что то же, существование «начал» и «концов», есть прямое проявление закона отрицания отрицания, согласно которому рождение и смерть любой системы неразрывно связаны друг с другом. Диалектика, и только она, позволит решить поставленную нами задачу.

Тезис. Поставим следующий вопрос: к компетенции какой науки — естественной или гуманитарной — относится все то, что сказано выше о динамике этноса?

Для ответа нам прежде всего потребуется уточнить само понятие гуманитарных и естественных наук. Принято думать, что гуманитарные науки — это те, которые изучают человека и его деяния, а естественные науки изучают природу, живую, мертвую и косную, то есть ту, которая никогда не была живой.

Это деление неконструктивно и полно противоречий, делающих его бессмысленным. Медицина, физиология и антропология изучают человека, но не являются гуманитарными науками. Древние каналы и развалины городов, превратившиеся в холмы,— антропогенный метаморфизованный рельеф, находятся в сфере геоморфологии — науки естественной. И наоборот, география до XVI в., основанная на легендарных, часто фантастических рассказах путешественников, переданных через десятые руки, была наука гумани-

тарная, так же как геология, основанная на рассказах о всемирном потопе и Атлантиде. Даже астрономия до Коперника была наукой гуманитарной, основанной на изучении текстов Аристотеля, Птолемея, а то и Косьмы Индикоплавта. Люди предпочитали жить на плоской Земле, окруженной Океаном, нежели на шарике, висящем в бесконечном пространстве — Бездне. Эти мнения бытуют еще и ныне, несмотря на всеобщее среднее образование. Отсюда видно, что различие между гуманитарными и естественными науками не принципиально, а, скорее, стадиально. В. И. Вернадский еще в 1902 году отметил: «В XVIII в. работы натуралиста в геологии и физической географии напоминали приемы и методы, царившие еще недавно в этнографии и фольклоре. Это неизбежно при данной фазе развития науки».

Исходя из сказанного, легко заключить, что деление образов мышления, тем самым и наук, по предмету изучения неправомерно. Гораздо удобнее деление по способу получения первичной информации. Тут возможны два подхода: чтение книг или выслушивание сообщений (легенд, мифов и т. д.) и наблюдение, иногда с экспериментом.

Первый способ соответствует гуманитарным наукам, царицей коих является филология. Второй — естественным наукам, которые следует подразделить на математизированные и описательные. Математизированные имеют дело с символами, описательные — с феноменами. К числу последних относятся география и биология.

Причина такого странного размежевания наук глубока, но и она описана В. И. Вернадским, назвавшим ее «бессознательным научным дуализмом». Он разъяснял этот тезис так: «Под именем дуалистического научного мировоззрения я подразумеваю тот своеобразный дуализм, когда ученый-исследователь противопоставляет себя — сознательно или бессознательно — исследуемому миру... Получается фантазия строгого наблюдения ученым-исследователем совершающихся вне его процессов природы как целого». Так, но филолог неизбежно находится вне изучаемого им текста. Иначе он не может работать. Значит, научный дуализм, столь вредный в естественных науках,— наследие гуманитарных навыков, перенесенных в чуждую им область.

Тут разница принципиальная. То, что гуманитарий рассматривает извне, то естествоиспытатель должен стараться рассмотреть изнутри, ибо сам находится в биосфере, потоке постоянных изменений. В этом потоке он видит больше, чем гуманитарий, для которого открыта только рябь на поверхности, но соучастие в планетарной жизни кончается с его неизбежной гибелью, как всякого живого организма. Это и есть диалектика природы.

Отмеченное размежевание гуманитарных и естественных наук не дает права на предпочтение одних другим. Ведь именно гуманитарные науки обогатили современное человечество информацией об иных культурах, как современных эпохе европейского Просвещения, так и мертвых. Именно за это XV—XVI вв., переполненные жестокостями и преступлениями, ныне называются Возрождением. И хотя гуманитары приучили читателей, алчущих знания, к вере в источники, историческая критика, сопряженная с естествознанием, позволила ограничить веру сомнением, в результате чего наука история стала обладательницей огромного количества фактов, то есть элементов любой сложной конструкции. Беда была лишь в том, что, за одним исключением — социально-экономической истории, не было скелета науки — принципа классификации. В любой обобщающей работе факты излагаются просто в хронологической последовательности, вследствие чего плохо поддаются запоминанию.

Физико-химия, астрономия и космография преодолели аналогичные трудности использованием математики, но зоология, физическая география и историческая этнография не позволяют применять к себе математическую символику. Нельзя «думать, что все явления, доступные научному объяснению, подведутся под математические формулы... Об эти явления, как волны о скалу, разобьются математические оболочки — идеальное создание нашего разума»,— писал В. И. Вернадский.

Казалось бы, что компетенция естествознания простирается только на те факты, которые существуют ныне, но не на те, что ушли в прошлое. Однако палеонтология и историческая геология изучают именно прошлое, руководствуясь принципом актуализма, согласно которому законы природы, наблюдаемые сейчас, так же действовали в прошлом.

Однако это относится к массовым явлениям, но не единичным фактам, представляющим интерес для историка.

Как известно, все природные закономерности вероятностны и, следовательно, подчинены закону больших чисел. Значит, чем выше порядок — тем неуклоннее воздействие закономерности на объект; и чем ниже порядок — тем более возрастает роль случайности, а тем самым и степень свободы.

Поэтому в естествознании единичное наблюдение воспринимается критично. Оно может быть случайным, неполным, искаженным обстоятельствами, в которых находился наблюдатель, и даже его личным самочувствием.

И в опыте ошибки возможны. Опыт может быть не чистым: данные могут быть искусственно подогнаны (артефакт) или не учтены все привходящие компоненты. Но все эти недостатки компенсируются большим числом наблюдений, где неизбежная ошибка лежит в пределах допуска. Иначе говоря, она столь мала, что ею не только можно, но и нужно пренебречь.

Так возникает эмпирическое обобщение — непротиворечивый комплекс сведений, по достоверности равный наблюденному факту. И если историк или палеоэтнограф встает на этот путь, он получает столь же блестящие перспективы, какие уже имеют биологи, геологи и географы. Пусть исходный элемент исторического исследования — эксцесс. Если набрать их много, они будут поддаваться классификации, а если еще больше — то и систематизации, а тем самым дадут верифицированный материал для эмпирических обобщений. Этим путем в XIX в. пошла социально-экономическая история, и данные ее легли в основу исторического материализма, предмет которого — не отрывочные сведения летописцев, а объективная реальность со свойственной ей закономерностью.

В исторической географии и этнографии XIX в. такой постановки вопроса не было, потому что не было способов ее решения. Они появились лишь в середине XX в. Это были системный подход Л. фон Берталанфи и учение В. И. Вернадского о биохимической энергии живого вещества биосферы. Именно эти два открытия позволили сделать эмпирическое обобщение всех ранее установленных фактов и дать тем самым описательное определение категории «этнос», установив характер движения материи в этногенезах.

Тем самым гуманитарная историческая география и палеоэтнография превратились в новую естественную науку — этиологию.

А как же история, сведения которой мы употребили столь обильно?

Она, как двуликий Янус, осталась гуманитарной там, где предметом изучения являются творения рук и умов человеческих, то есть там, где изучаются здания и заводы, древние книги и записи фольклора, феодальные институты и греческие полисы, философские системы и мистические ереси, горшки, топоры и расписные вазы или картины, короче говоря,— источники, которые по сути своей статичны и иными быть не могут.

Эти вещи человек создает своим трудом, при этом выводя их материал из цикла конверсии биоценоза. Он стабилизирует природный процесс, ибо эти вещи могут только разрушаться.

Но человек не только член общества (Gesellschaft), но и этноса (Gemeinwesen). Вместе со своим этническим коллективом он сопричастен биосфере. Вечно меняясь, умирая и возрождаясь, как все живое на нашей планете, он оставляет свой след путем свершения событий, которые составляют скелет этнической истории — функции этногенеза. В этом аспекте история — наука естественная и находится в компетенции диалектического, а не исторического материализма.

Особенности исторического времени. Как известно, география исследует становление поверхности Земли, включающей четыре оболочки: литосферу, гидросферу, атмосферу и биосферу. Сочетание их — результат множества природных и техногенных процессов, создавших и затем постоянно меняющих облик Земли. Именно это сочетание создает ту специфику, которая выделяет географию не как случайный комплекс сведений, а как самостоятельную науку о разнообразии географической среды.

Процессы в географической среде идут в рамках пространственно-временных закономерностей. Поскольку время здесь — обязательный параметр, то любые уточнения хронологии в географических науках небесполезны. Так, историческая геология показывает изменение внебиологических оболочек Земли, однако даты происшедших изменений рельефа, химического состава атмосферы и гидросферы весьма приблизительны и измеряются геологическими периодами. При изучении биосферы — в палеозоологии и палеоботанике — допуск меньше: мастодонты и махайродусы вымерли в кайнозое. Абсолютную же хронологию (с точностью до года) дает только изучение антропосферы даже не в голоцене, а в историческом периоде. На этой основе антропогеография показывает последовательность изменений, происшедших за последние пять тысяч лет. В таком аспекте биосферные процессы следует рассматривать как Мезокосм, лежащий между уровнями Макрокосма (Космоса) и Микрокосма (явлениями атомными и молекулярными). Но как считать планетарное время применительно к биосферным структурам, учитывая сменяемость видов и этносов?

Линейное время без начала и конца весьма удобно для абстрактных построений, но не может отразить разнокачественности возникающих в биосфере систем. И тут мы наталкиваемся на феномен, ранее неучитывавшийся и ныне непонятный в должной мере. Законы природы в общих своих формах едины для разных уровней структурной организации материи, хотя и проявляют себя через многообразие. Этот исходный принцип диалектического монизма получил блестящее подтверждение в синергетике и этнологии. Поэтому хронологические уточнения (как характеристика развития) имеют значение для множества уровней: от атомного и молекулярного (у И. Пригожина) до популяционного (у автора этих строк). С последним обстоятельством связано и значение общей теории систем для географии. Наблюдаемая в природных процессах вспышка энергии (отрицательной энтропии) с последующей ее растратой представляет собой универсальный механизм

взаимодействия системы со средой. Эта универсальность, доказанная И. Пригожиным для микрообъектов, в географии описывается как движение на популяционном уровне. Иными словами, и на биосферном уровне развитие осуществляется не эволюционно, а дискретными переходами — от равновесия к неравновесию и обратно. Возникающая структура всегда ведет себя иначе, нежели прежняя, уже растратившая первоначальный импульс и близкая к равновесию со средой. Значит, импульс — начало процесса диссипации, ведущей систему к неизбежному распаду.

В связи с этим напрашивается мысль восточной хронософии о цикличности процесса, подобном смене времен года или фаз Луны. Сыма Цянь в I в. до н. э. сформулировал, как уже отмечалось, тезис исторического развития так: «Конец и вновь начало». Однако дело обстоит сложнее: цикличность в биосферных процессах (видообразование, этногенез) не наблюдается. Обсуждаемый тип взаимодействия отвечает не ритму (повторению), а инерции эксцесса, при котором изменение потенциала описывается сложной кривой подъемов, спадов и зигзагов. Это кривая сгорающего костра, вянущего листа, взрыва порохового погреба. Разница здесь лишь в продолжительности процесса, а этногенезы длятся от 1100 до 1500 лет, если их не нарушают экзогенные воздействия, например, геноцид при вторжении иноплеменников или эпидемия.

Но кроме отвергнутых форм движения времени (поступательной и вращательной) есть еще колебательная, затухающее звучание струны после щипка и маятника после толчка. Растрата энергии импульса от сопротивления вмещающей среды и ее рассеивание — это диссипация, которую мы наблюдаем в биосфере Земли. Биоценозы, да и этносы, возникают внезапно, образуют экосистемы и медленно рассеивают биохимическую энергию живого вещества, описанную В. И. Вернадским. В этом аспекте этническая история (в отличие от истории социальной, движение коей спонтанно) составляет часть биосферы.

И в древности были этносы — творцы антропогенных ландшафтов, ибо руины городов Месопотамии, Египта, Юкатана и курганы Великой степи — это следы былых диссипаций, так же как пустыни и солончаки в свое время завершали попытки древних людей бороться с их праматерью — биосферой. Победа была недостижима принципиально, ибо лимит диссипации — равновесное состояние этнической системы со средой (гомеостаз), то есть утрата резистентности, для которой не остается энергетических ресурсов. Вот почему большая часть этносов, живших и творивших в исторический период, уже не существует. Этносистемы развалились на части, на обломки и на пылинки, то есть отдельных людей, которые затем интегрировались в новые системы, в обновленных ландшафтах с новыми традициями. По сути дела, открытие И. С. Пригожина есть обоснование принципа защиты окружающей среды, ибо оптимальна дружба с природой, а не победа над ней.

Дж. Оруэлл

ЛИР, ТОЛСТОЙ И ШУТ

Из произведений Толстого менее всего известны его статьи, а критический очерк, содержащий нападки на Шекспира [1], не так-то легко заполучить, по крайней мере, в английском переводе. Может быть, поэтому имеет смысл кратко изложить содержание этого очерка, прежде чем приступить к его анализу.

Начинает Толстой с того, что всю жизнь Шекспир вызывал у него «неотразимое отвращение и скуку». Зная, что весь образованный мир придерживается прямо противоположного мнения, Толстой вновь и вновь брался за Шекспира, читал и перечитывал его по-русски, по-английски и по-немецки, но «безошибочно испытывал все то же: отвращение, скуку и недоумение». Наконец, в возрасте семидесяти пяти лет, он вновь перечел всего Шекспира, включая его хроники, и «с еще большей силой испытал то же чувство, но уже не недоумения, а твердого, несомненного убеждения в том, что та непререкаемая слава великого гениального писателя, которой пользуется Шекспир и которая заставляет писателей нашего времени подражать ему, а читателей и зрителей, извращая свое эстетическое и этическое понимание, отыскивать в нем несуществующее достоинство, есть великое зло, как и всякая неправда».

Шекспир, добавляет Толстой, не только не гениален, но даже не может быть признан «самым посредственным сочинителем», и в доказательство своей мысли Толстой анализирует «Короля Лира», восторженно восхваляемого критиками, о чем свидетельствуют приводимые в очерке цитаты из Газлита [2], Брандеса [3] и других, и потому избранного Толстым как образец лучших драм Шекспира.

Далее Толстой излагает сюжет «Короля Лира», находя драму на каждом шагу глупой, многословной, неестественной, непонятной, напыщенной, пошлой, скучной и полной нелепых событий, «ужасного бреда», «неудачных острот», анахронизмов, несообразностей, непристойностей, устаревших сценических условностей и других недостатков, как этических, так и эстетических. К тому же «Король Лир» представляет собой плагиат ранней и не в пример лучшей драмы неизвестного автора, которую Шекспир присвоил и испортил.

Стоит процитировать отрывок из очерка в качестве иллюстрации стиля толстовской критики. Сцена вторая третьего акта (Лир, Кент и шут во время бури) излагается так: «Лир ходит по степи и говорит слова, которые должны выражать его отчаяние: он желает,

---

[1] «О Шекспире и о драме». Написан около 1903 года в качестве предисловия к статье Эрнеста Кросби «Шекспир и рабочий класс». *(Прим. автора.)*

[2] Вильям Газлит (или Хэзлит) (1778—1830), английский шекспировед. Автор книги «Характеры в пьесах Шекспира» (1817—1818).

[3] Георг Брандес (1842—1927), датский литературовед и критик. Автор книги «Шекспир, его жизнь и произведения».

Оруэлл Джордж (настоящее имя — Эрик Блэр, 1903—1950) — английский писатель. Автор «Собачьей жизни в Париже и Лондоне», «Памяти Каталонии», «Дороги в Уайган», «Скотного двора», «1984» и множества эссе.

чтобы ветры так дули, чтоб у них (у ветров) лопнули щеки, чтоб дождь залил все, а молнии спалили бы его седую голову и чтоб гром расплющил землю и истребил все семена, которые делают неблагодарного человека. Шут подговаривает при этом еще более бессмысленные слова. Приходит Кент. Лир говорит, что почему-то в эту бурю найдут всех преступников и обличат их. Кент, все не узнаваемый Лиром, уговаривает Лира укрыться в хижину. Шут говорит при этом совершенно неподходящее к положению пророчество, и они все уходят».

И Толстой выносит «Королю Лиру» окончательный приговор: ни один свободный от внушения читатель, если бы таковой существовал, не мог бы дочитать драму до конца, не испытывая при этом чувства «отвращения и скуки». То же справедливо и в отношении «всех других восхваляемых драм Шекспира», не говоря уже о нелепых драматизированных сказках «Перикла», «Двенадцатой ночи», «Бури», «Цимбелина», «Троила и Крессиды».

Покончив с разбором «Короля Лира», Толстой предъявляет Шекспиру и обвинение более общего характера. Допуская, что Шекспир владеет некоторыми техническими приемами — а это отчасти объясняется его актерской деятельностью,— Толстой отказывает ему в каких бы то ни было других достоинствах. Шекспир не способен верно изображать характеры, добиваться, чтобы речь и поступки героев естественно вытекали из ситуаций; в его пьесах неизменно звучат напыщенные и нелепые фразы, он навязывает первым попавшимся под руку персонажам свои собственные случайные мысли, демонстрирует «полное отсутствие эстетического чувства», а его язык «совершенно ничего не имеет общего с художеством и поэзией».

«Что бы ни говорили,— заключает Толстой,— он не был художником». Более того, суждения Шекспира неоригинальны и неинтересны, а направление его произведений «самое низменное, безнравственное». Любопытно, что в последнем своем утверждении Толстой основывается не на цитатах из самого Шекспира, а на высказываниях двух критиков — Гервинуса [1] и Брандеса. Согласно Гервинусу (или, по крайней мере, тому, как его понимает Толстой), «Шекспир учил ...что можно слишком много делать добра», а согласно Брандесу, «основной принцип Шекспира ... состоит в том, что цель оправдывает средства». От себя Толстой добавляет, что Шекспиру, кроме того, был присущ самый отвратительный шовинистический английский патриотизм, в остальном же Гервинус и Брандес, полагает Толстой, дали верную и точную характеристику шекспировского мировоззрения.

Затем в нескольких абзацах Толстой конспективно излагает свою теорию искусства, о которой он уже писал более развернуто в другом месте. В сокращенном виде эта теория сводится к требованию значительности содержания произведения, искренности художника и его высокого мастерства. Великое произведение искусства должно иметь содержание, «важное для жизни людской», оно должно изображать то, что живо чувствует автор, и в нем должны применяться приемы, с помощью которых достигается необходимый эффект. А поскольку миросозерцание Шекспира низменно, воплощение его замыслов неряшливо, сам он не способен даже на минутную искренность, обвинительный приговор ему не вызывает сомнений.

Но здесь-то и возникает трудный вопрос. Если Шекспир действительно таков, каким его изобразил Толстой, то откуда взялось всеобщее восхищение Шекспиром? Очевидно, ответом на этот вопрос может служить только ссылка на некий массовый гипноз или «эпидемическое внушение». Весь образованный мир впал в заблуждение, принимая Шекспира за хорошего писателя, и даже самые явные свидетельства противоположного не производят на людей никакого впечатления, поскольку речь идет не о разумном мнении, а о чем-то близком религиозной вере. В истории человечества, говорит Толстой, без конца встречаются такие «эпидемические внушения», например: крестовые походы, поиски философского камня, страсть к тюльпанам, охватившая некогда Голландию, и тому подобное. Примечательно, что в качестве примера из современной ему жизни Толстой приводит дело Дрейфуса, по поводу которого весь мир вдруг охватило невероятное возбуждение без достаточных к тому оснований. Существуют также непродолжительные наваждения, вызванные новыми политическими или философскими теориями, тем или иным писателем, художником или ученым, скажем, Дарвином, который (в 1903 году) уже «начинает забываться». А в некоторых случаях совершенно никчемный кумир может восхваляться веками, потому что «бывает и то, что такие наваждения, возникнув вследствие особенных, случайно выгодных для их утверждения причин, до такой степени соответствуют распространенному в обществе и в особенности в литературных кругах мировоззрению, что держатся чрезвычайно долго». Причина продолжительной славы Шекспира была и есть та, что его драмы «соответствовали арелигиозному и безнравственному настроению людей высшего сословия нашего мира».

Что же касается зарождения шекспировской известности, то Толстой объясняет, что в конце восемнадцатого столетия ее «подхватили» немецкие ученые. Слава Шекспира

[1] Георг Готфрид Гервинус (1805—1871), немецкий шекспировед, автор капитального труда «Шекспир» (1849—1852).

«началась в Германии, а оттуда уже перешла в Англию». Немцы избрали его предметом своих восхвалений, потому что, когда не существовало даже самой посредственной немецкой драмы, а французская классическая литература стала казаться холодной и фальшивой, их увлекло шекспировское «мастерство ведения сцен» и соответствие его произведений их собственному мировоззрению. Гете провозгласил Шекспира великим поэтом, и сразу же все остальные критики, как попугаи, принялись повторять то же самое, и это безрассудное обожание продолжается до сих пор. В результате искусство драмы падает все ниже и ниже — осуждая современное состояние драмы, Толстой осмотрительно подвергает критике и собственные пьесы — господствующее же миросозерцание становится все безнравственнее. Следовательно, «ложное восхваление Шекспира» есть серьезное зло, бороться с которым, полагает Толстой, его долг.

Вот в чем вкратце суть толстовского очерка. Сначала кажется, что, называя Шекспира плохим писателем, Толстой заведомо говорит неправду. Но это не так. И в самом деле, невозможно найти свидетельств или доказательств того, что Шекспир или кто-то другой — писатель «хороший». Как нельзя со всей определенностью доказать, что, скажем, Уорик Диппинг [1] писатель «плохой». В конечном счете единственным критерием достоинств литературного произведения является его долговечность, что само по себе свидетельствует о мнении большинства читателей. Эстетические теории, подобные толстовской, лишены всякой ценности, потому что они не только возникают из произвольных предположений, но и опираются на расплывчатые определения («искренний», «важный» и т. д.), которые можно толковать как угодно. Строго говоря, *ответить* на эти нападки Толстого невозможно. Интересно другое: зачем он с ними выступил? Следует, между прочим, отметить, что Толстой пользуется множеством неубедительных и надуманных доводов. Несколько примеров мне хотелось бы привести не только потому, что они обнаруживают несостоятельность главного обвинения, но и потому, что они, как говорится, свидетельствуют о злом умысле.

Начнем с того, что Толстой разбирает «Короля Лира» не «беспристрастно», как сам он утверждает дважды. Напротив, он постоянно пытается ввести читателя в заблуждение. Очевидно, что когда вы пересказываете человеку, никогда не читавшему драму, ее сюжет, вы отнюдь не «беспристрастны», если излагаете один из важнейших монологов Лира (монолог с мертвой Корделией на руках) таким образом: «И начинается опять ужасный бред Лира, от которого становится стыдно, как от неудачных острот». Во многих случаях Толстой слегка изменяет текст или придает иную тональность критикуемым сценам, причем всегда для того, чтобы представить сюжет чуть более запутанным и нелепым, а язык чуть более высокопарным. Например, нам сообщается, что «Лиру нет никакой надобности и повода отрекаться от власти», хотя причина отречения (старость и желание снять с себя бремя государственных забот) ясно указана в первой сцене. Даже в том абзаце, который я ранее процитировал, Толстой намеренно не пожелал понять одну фразу и слегка исказил смысл другой, представив всю реплику бессмысленной, хотя в контексте она звучит вполне разумно. Все эти неточности толстовского прочтения не так уж существенны сами по себе, но, собранные вместе, достигают цели — усиливают психологическую непоследовательность драмы. Вместе с тем Толстой не может объяснить, почему пьесы Шекспира продолжали издаваться и ставиться целых двести лет после смерти драматурга (то есть *до* того, как возникло «эпидемическое внушение»), да и все, что пишет Толстой о возникновении славы Шекспира, представляет собой лишь необоснованные предположения, перемежающиеся с откровенно ложными заявлениями. Кроме того, его обвинения противоречивы: Шекспир, например, лишь забавляет публику, но словам Толстого, он не «in earnest» [2], и он же постоянно вкладывает собственные мысли в уста персонажей. В целом трудно поверить, что критика Толстого добросовестна. Едва ли он сам полностью разделяет свой главный постулат, будто чуть ли не сто лет весь образованный мир был во власти громадной и очевидной лжи, и только Толстому удалось ее разглядеть. Конечно, его неприязнь к Шекспиру вполне искренна, но причины ее могут — полностью или частично — отличаться от тех, которые он провозглашает во всеуслышание, и именно с этой точки зрения интересен его очерк.

Об этих причинах нам придется строить предположения. Правда, существует возможная разгадка или, скорее, вопрос, который мог бы подвести нас к ней. А именно: почему более чем из тридцати пьес главным объектом своей критики Толстой выбрал «Короля Лира»? Конечно, эта пьеса так знаменита и всегда оценивалась так высоко, что есть все основания считать ее образцом лучших шекспировских драм, но, пожалуй, для столь резкой критики Толстому выгоднее взять ту пьесу, которая меньше всех ему нравится. А разве нельзя допустить, что особую неприязнь он испытывал именно к этой драме, потому что осознанно или бессознательно улавливал сходство между судьбой Лира и собственной судьбой? Теперь давайте подойдем к этой разгадке с другой стороны: проанализируем драму и те ее качества, о которых Толстой умалчивает.

[1] Джордж Уорик Диппинг (1877—1950), английский романист.
[2] всерьез *(англ.)*.

Английскому читателю прежде всего бросается в глаза, что Толстой почти не говорит о Шекспире как о поэте. Это всего лишь драматург, который если и пользуется настоящей славой, то только благодаря сценическим приемам, дающим хорошие возможности умелым актерам. Однако, обратившись к англоязычным странам, мы увидим, что подобные рассуждения несостоятельны. Пьесы, более всего ценимые поклонниками Шекспира, такие, как «Тимон Афинский», ставятся редко или вообще не появляются на сцене, а вот пьесы, часто встречающиеся в театральных репертуарах, например, «Сон в летнюю ночь», пользуются меньшей любовью. Те, кому особенно дорог Шекспир, ценят прежде всего его язык, ту «музыку слов», которую даже Бернард Шоу, другой недоброжелатель Шекспира, признает «неотразимой». Толстой ее не замечает и, кажется, не сознает, что стихи могут иметь особую ценность для тех, на чьем языке они написаны. Однако, поставив себя на место Толстого и вообразив Шекспира иностранцем, мы увидим, что Толстой явно чего-то не договаривает. Поэзия — это не только звуки и ассоциации, обесценивающиеся для тех, кто не говорит по-английски,— в противном случае как некоторые стихи, в том числе на мертвых языках, смогли преодолеть языковые границы? Конечно, такую песенку, как «Заутра Валентинов день» [1], вряд ли можно перевести удовлетворительно; тем не менее в главных шекспировских произведениях присутствует нечто, именуемое «поэтичностью», вполне отделимое от слов. Толстой прав, утверждая, что пьеса «Король Лир» неудачна как пьеса. Она слишком растянута, в ней слишком много действующих лиц и второстепенных сюжетных линий. Одной неблагодарной дочери было бы вполне достаточно, да и Эдгар — персонаж лишний; возможно, было бы лучше, если бы Шекспир вовсе не вводил в пьесу Глостера и обоих его сыновей. И все же есть в ней какое-то отличительное свойство, а может быть, лишь особая атмосфера, благодаря которой она столь долговечна, несмотря на свою запутанность и длинноты. «Короля Лира» можно представить себе и в кукольном театре, и в пантомиме, и в балете, и в серии иллюстраций. Возможно, его поэтичность в наибольшей степени присуща сюжету и не зависит ни от тех или иных сочетаний слов, ни от реального воплощения пьесы на сцене.

Закройте глаза и представьте себе «Короля Лира», по возможности не вспоминая диалогов. Что вы видите? Вот что вижу я: величественный старик в длинной черной мантии с ниспадающими седыми волосами и бородой, словно сошедший с рисунков Блейка [2], (и в то же время, как ни странно, напоминающий самого Толстого), бредет в бурю, проклиная небеса, в сопровождении шута и сумасшедшего. Но вот декорации меняются, и старик, все еще с проклятиями на устах, все еще ничего не понимая, держит на руках мертвую девушку, а где-то на заднем плане болтается на виселице шут. Таков костяк драмы, но даже из него Толстой хочет выбросить самое важное. По его мнению, буря не нужна, шут служит лишь поводом для неудачных острот, вызывая скуку и раздражение, а смерть Корделии, как ее видит Толстой, лишает драму нравственного содержания. Согласно Толстому, более ранняя пьеса «Король Лир», переделанная Шекспиром, «кончается более натурально и более соответственно нравственному требованию зрителя, чем у Шекспира, а именно: тем, что король французский побеждает мужей старших сестер, и Корделия не погибает, а возвращает Лира в его прежнее состояние».

Другими словами, трагедии следовало быть комедией, а возможно, и мелодрамой. Вряд ли трагическое мироощущение совместимо с верой в бога, но, так или иначе, оно несовместимо с неверием в человеческое достоинство и с неким «нравственным требованием», которое оказывается обманутым, если нет торжества добродетели. Трагическая же ситуация возникает как раз тогда, когда добродетель *не* торжествует, но при этом чувствуется, что человек нравственно выше тех сил, которые его уничтожают. Еще показательнее, пожалуй, что Толстой не видит никакого смысла в образе шута. А ведь шут — неотъемлемый персонаж этой трагедии. Он подобен античному хору, его рассуждения, гораздо более глубокие, чем у других героев, проясняют суть основного конфликта пьесы, и в то же время он выступает как контраст безумствам Лира. Его шутки, загадки, стишки, бесконечные колкости по адресу благородной глупости короля, начиная с простых насмешек и кончая почти поэтическими печальными строками («Остальные титулы ты роздал, а это природный» [3]), вкраплены по ходу действия как крупицы здравого смысла, как напоминание о том, что где-то там, несмотря на несправедливость, жестокость, интриги, обман и ошибки, изображаемые на сцене, жизнь идет своим чередом. В толстовском неприятии шута можно заметить и более глубокое несогласие с Шекспиром. Он осуждает, и не без оснований, отсутствие в пьесах стройности, несообразность, нелепость их сюжетов, высокопарный язык, но в глубине души ему, пожалуй, больше всего претит их полнокровность, свойство Шекспира ощущать если не удовольствие, то хотя бы интерес к самому жизненному процессу. Однако было бы неверно свести все к нападкам моралиста Толстого на художника. Толстой никогда не говорил, что искусство само по себе порочно или бессмысленно, не отрицал он и значения мастерства. Но в последние годы жизни он прежде всего стремился сузить границы человеческого сознания. Интересов, точек соприкосновения с реальным миром и ежедневной борьбой должно быть у человека не как можно больше, а как можно меньше. Литература должна состоять из притч, лишенных деталей и почти независимых от языка. Притчи — и в этом Толстой отличается от заурядного недалекого пуританина — должны стать произведениями искусства, но из них следует исключить удовольствие и любознательность. Науке также не должна быть свойственна любознательность. Дело науки, говорит Толстой, не открывать смысл происходящего, а учить, как нужно жить людям. То же относится к истории и политике. Многие проблемы (например, дело Дрейфуса) просто не стоит решать, не следует и заниматься ими. В самом деле, вся теория «наваждений» или «эпидемических внушений», где смешиваются без разбора крестоносцы и страсть к выращиванию тюльпанов в Голландии, говорит о желании Толстого смотреть на многие человеческие поступки всего лишь как на необъяснимую и неинтересную муравьиную возню. Понятно, почему ему не хватает выдержки, когда он имеет дело с таким хаотичным, увлеченным мелкими подробностями и непоследовательным автором, как Шекспир. Его реакция похожа на реакцию раздраженного старика, которого теребит непоседливый ребенок: «Что ты вертишься? Неужели ты не можешь посидеть тихо, как я?» Старик по-своему прав, но, вот беда, у ребенка есть та резвость, которую старик утратил. И если он еще помнит об этой резвости, поведение ребенка лишь усиливает его раздражение — он превратил бы детей в стариков, если б мог. Толстой, скорее всего, не понимает, в чем именно ограниченно его восприятие Шекспира, но чувствует, что в чем-то оно ограниченно, и он полон решимости навязать это свое восприятие другим. Толстой был по природе человеком властным и самоуверенным. Уже довольно взрослым он мог в минуты гнева ударить слугу, а позднее, как пишет его английский биограф Деррик Леон, часто испытывал «желание по ничтожнейшему поводу дать пощечину тому, с кем несогласен». Обращение к религии отнюдь не означает избавления от подобных черт, а иллюзия перерождения, несомненно, позволяет природным порокам расцветать на редкость пышно, хотя и в более изощренных формах. Толстой мог отвергать физическое насилие и понимать, что оно несет с собой, но не мог быть терпимым и смиренным, и, даже не зная других его произведений, только по одному этому очерку нетрудно убедиться в толстовской склонности к духовному диктату.

Но Толстой не просто пытается лишить других удовольствия, которого не разделяет сам. Это он делает в первую очередь, но его спор с Шекспиром идет значительно дальше. Это спор между религиозным и гуманистическим отношением к жизни. И здесь мы вновь обращаемся к главной теме «Короля Лира», о которой не упоминает Толстой, хотя излагает сюжет довольно детально.

«Король Лир» — одна из немногих шекспировских пьес, написанных, безусловно, на определенную тему. Как справедливо сетует Толстой, много всякой чепухи говорилось о Шекспире как о философе, психологе, «величайшем учителе мира» и тому подобное. Шекспир не был последовательным мыслителем, свои самые серьезные идеи он излагал некстати и не впрямую, мы не знаем, в какой степени его творчество преследовало определенную «цель» и даже сколько из приписываемых ему произведений действительно создано им. В сонетах Шекспир ни разу не упоминает о том, что пишет пьесы, правда, делает кое-какие полустыдливые намеки на свое актерство. Вполне вероятно, что, по крайней мере, половину пьес он сочинял лишь ради заработка и едва ли заботился о цели или правдоподобии, если удавалось слепить на скорую руку, как правило из заимствованного материала, что-нибудь более или менее пригодное для сцены. Но это еще не все. Начнем с того, что, по замечанию Толстого, у Шекспира есть привычка навязывать своим героям ненужные общие рассуждения. Для драматурга это серьезный недостаток, но он никак не согласуется с толстовской характеристикой Шекспира как дюжинного писаки, лишенного собственного мнения и желающего меньшими усилиями добиться большего эффекта. Более того, около десятка пьес, созданных преимущественно после 1600 года, несомненно, имеют и смысл, и мораль. Их действие разворачивается вокруг основной темы, которую в ряде случаев можно обозначить одним-единственным словом. Например, «Макбет» — драма о властолюбии, «Отелло» — о ревности, «Тимон Афинский» — о деньгах. Тема «Короля Лира» — отречение, и нужно нарочно притворяться слепым, чтобы не понять, о чем в ней говорит Шекспир.

Лир отрекается от трона, но рассчитывает, что к нему и дальше будут относиться как к королю. Он не понимает, что, если отдаст власть, люди воспользуются его слабостью, и те, кто льстят ему больше других, то есть Регана и Гонерилья, первые на него набросятся. И когда Лир осознает, что уже не может, как раньше, заставить окружающих повиноваться, его охватывает гнев, по словам Толстого, «странный и неестественный», а на самом деле вполне соответствующий его душевному складу. В безумии и отчаянии Лир испытывает два чувства, и оба они опять-таки естественны в его обстоятельствах, хотя, возможно, в одном случае Шекспир отчасти использует Лира для провозглашения собственных идей. Первое чувство — отвращение, которое испытывает Лир, раскаиваясь, что был королем, и впервые осознавая всю гнилость официальной законности и расхожей

[1] Песня безумной Офелии («Гамлет», акт IV, сцена V). Перевод М. Лозинского.
[2] Уильям Блейк (1757—1827), английский поэт и художник, автор многочисленных иллюстраций к произведениям Шекспира.
[3] «Король Лир», акт I, сцена IV. Здесь и далее перевод Б. Пастернака.

морали. Другое чувство — бессильная ярость, с которой он дает волю воображаемой мести своим обидчикам.

«Пусть дьяволы калеными щипцами
Ухватят и потащат их в огонь» [1].

И еще:

«... Вот мысль!
Ста коням в войлок замотать копыта,
И — на зятьев! Врасплох! И резать, бить
Без сожаленья! Бить без сожаленья!» [2]

Только в конце, когда сознание его просветлело, Лир понимает, что власть, возмездие, победа ничего не стоят:

«Нет, нет!
Пускай нас отведут скорей в темницу...
...Мы в каменной тюрьме переживем
Все лжеученья, всех великих мира,
Все смены их, прилив их и отлив» [3].

Но это открытие приходит слишком поздно — смерть его и Корделии уже предрешена. Таков сюжет драмы, и, несмотря на некоторую нескладность пересказа, этот сюжет очень хорош.

Но не напоминает ли он странным образом судьбу самого Толстого? Трудно не заметить сходство между ними в главном: как в жизни Толстого, так и в жизни Лира наиболее значительным событием был акт добровольного и полного отречения. В старости Толстой отказался от поместья, титула, авторских прав и сделал попытку — честную, хоть и безуспешную — лишить себя привилегированного положения и жить крестьянской жизнью. Еще более глубокое сходство состоит в том, что Толстой, как и Лир, действовал из неверных побуждений и поэтому не достиг желанных результатов. По мысли Толстого, цель каждого человека — счастье, а счастье можно обрести, лишь исполняя волю божью. Но исполнять волю божью значит отказаться от всех земных удовольствий и притязаний и жить только для других. Поэтому Толстой в конечном счете отрекся от мира, надеясь таким образом стать счастливее. Но из того, что известно о его последних годах, несомненно одно: счастлив он *не был*. Напротив, поведение окружающих, осуждавших его именно за отречение, довело Толстого почти до безумия. Подобно Лиру, Толстой не был человеком смиренным и не очень хорошо разбирался в людях. Случалось, он вел себя как аристократ, невзирая на свою крестьянскую рубаху, и даже двое из его детей, в которых он верил, в конце концов пошли против него, хотя, конечно, не таким ужасным образом, как Регана и Гонерилья. Подчеркнутое отвращение Толстого к сексуальности явно сродни чувствам Лира. Слова Толстого о том, что брак есть «рабство, пресыщенность, отвращение», и означают примирение с соседством «мерзости, грязи, запаха, боли», перекликаются с известным взрывом Лира:

«...Наполовину — как бы божьи твари,
Наполовину же — потемки, ад,
Кентавры, серный пламень преисподней,
Ожоги, немощь, пагуба, конец!» [4]

И хотя Толстой, когда писал свою статью о Шекспире, не мог предвидеть будущее, конец его жизни — внезапный, неподготовленный уход из дома в сопровождении одной лишь преданной дочери и смерть на какой-то глухой станции — причудливо напоминает судьбу Лира.

Конечно, нельзя утверждать, что Толстой чувствовал свое сходство с Лиром или признал бы это сходство, если б ему на него указали. Но на отношение Толстого к пьесе, вероятно, повлияла ее тема. Отречение от власти, отказ от своих земель — все это кровно интересовало Толстого. Возможно, поэтому мораль «Короля Лира» злила и раздражала его больше, чем мораль какой-нибудь другой пьесы, например «Макбета», не столь близкого жизни Толстого. Но в чем мораль «Короля Лира»? Очевидно, в пьесе две морали: одна выражена явно, другая заложена в сюжете драмы.

Прежде всего, Шекспир утверждает, что лишить себя власти значит спровоцировать нападение. Не обязательно против тебя пойдут *все* (Кент и шут не покидают Лира до конца), но, весьма вероятно, *кто-то* пойдет. Ты подставишь левую щеку, а тебя ударят по

[1] Там же, акт III, сцена VI.
[2] Там же, акт IV, сцена VI.
[3] Там же, акт V, сцена III.
[4] Там же, акт IV, сцена VI.

ней сильнее, чем по правой. Пусть такое случается не всегда, но этого следует ожидать и не жаловаться, когда так происходит. Подставив левую щеку, ты, так сказать, предопределил и второй удар. Следовательно, в первую очередь пьеса содержит мораль, опирающуюся на грубый здравый смысл, ее формулирует шут: не отказывайся от власти, не отдавай свои земли. Но есть и другая мораль. Она не вложена в уста персонажей, да и не так уж важно, сознавал ли ее сам Шекспир до конца. Она заключена в сюжете драмы, который все-таки сочинил Шекспир или переделал в соответствии со своим замыслом. И смысл ее таков: если хочешь, отдай свои земли, но не рассчитывай этим поступком достигнуть счастья. Скорее всего, ты его не достигнешь. Если живешь для других, так и живи *для других*, а не ищи себе выгоду окольным путем.

Ясно, что ни один из этих выводов не мог понравиться Толстому. Первый выражает обычный житейский эгоизм, от которого он искренне хотел избавиться. Другой противоречит его желанию накормить волков и сохранить овец, то есть изжить свой эгоизм и таким образом обрести вечную жизнь. «Король Лир», безусловно, не проповедь альтруизма. В драме лишь показаны результаты самоотречения в целях достижения собственного блага. Шекспир в значительной мере поглощен земными проблемами, и если бы ему пришлось стать на сторону того или иного персонажа своей пьесы, его симпатии принадлежали бы, пожалуй, шуту. Во всяком случае, Шекспир видел суть поставленного вопроса и рассматривал его на уровне трагедии. Порок наказан, однако добродетель не торжествует. Мораль поздних трагедий Шекспира, в обычном смысле слова, нерелигиозна, и это, конечно, не христианская мораль. Только в двух трагедиях, «Гамлете» и «Отелло», действие предположительно происходит в эпоху христианства, но даже в них, если не считать образа призрака в «Гамлете», нет никаких упоминаний «того света», где всем воздастся по заслугам. Поздние трагедии проникнуты гуманистической верой в то, что, несмотря на все несчастья, жизнь стоит прожить и что человек — это благородное животное. А Толстой в старости таких убеждений не разделял.

Толстой святым не был, но он изо всех сил старался им стать и поэтому предъявлял к литературе «неземные» требования. Важно понять, что разница между святым и обыкновенным человеком есть разница видов, а не степени. Иными словами, нельзя считать одного несовершенной формой другого. Святой — во всяком случае, святой по Толстому — не пытается улучшить земную жизнь, он пытается ее избыть и основать вместо нее нечто иное. Очевидным выражением этой идеи служит мысль Толстого о том, что безбрачие выше брака. Если бы мы, фактически говорит Толстой, перестали размножаться, биться, бороться и испытывать наслаждения, если бы мы могли избавиться не только от наших грехов, но и от всего, что связывает нас с землей, включая любовь, тогда весь болезненный процесс подошел бы к концу и наступило бы царствие небесное. Но обыкновенный человек не хочет царствия небесного, он хочет, чтобы продолжалась жизнь на земле. И не только потому, что он «слаб», «грешен» и ищет «развлечений». Большинство людей получают от жизни довольно много радостей, хотя, в сущности, жизнь — это страдание, и только самые юные и самые глупые воображают, что это не так. В конечном счете именно христианское мироощущение своекорыстно и гедонистично, поскольку цель у христиан одна: уйти от болезненной борьбы в земной жизни и обрести вечный покой в какой-то небесной нирване. Гуманист же уверен, что продолжать эту борьбу необходимо, для него смерть — цена жизни. «Человек не властен в часе своего ухода и в сроке своего прихода в мир. Но надо лишь всегда быть наготове» [1] — мысль нехристианская. Иногда между гуманистом и верующим возникает кажущееся согласие, на самом же деле их мировоззрения непримиримы, так как предполагают выбор между этим светом и тем. И подавляющее большинство людей, оказавшись перед таким выбором, предпочтет этот. В сущности, так оно и есть: люди продолжают работать, растить потомство и умирать, а не калечат то, что заложено в них природой, надеясь обрести где-то иную форму существования.

Мы мало знаем о религиозных убеждениях Шекспира, а опираясь на его произведения, трудно было бы доказать, что они у него были. Святым, во всяком случае, Шекспир не был и к этому не стремился, он был человеком, и в определенном смысле не очень хорошим. Например, ему, несомненно, нравилось обретаться среди богачей и знати, и он был способен льстить им самым подобострастным образом. Заметим также, что, высказывая суждения, не пользующиеся популярностью, Шекспир очень осторожен, чтобы не сказать труслив. Почти никогда он не вкладывает в уста персонажа, которого могут отождествить с ним самим, скептические или бунтарские речи. Во всех его пьесах лишь шуты, злодеи, сумасшедшие, люди, симулирующие безумие или находящиеся в состоянии сильнейшей истерии, не поддаются общепринятой лжи и высказывают резкие критические суждения об обществе. В «Короле Лире» эта тенденция прослеживается особенно четко. В драме много скрытой социальной критики — чего не замечает Толстой,— но вся она вложена в уста шута, Эдгара, когда тот притворяется сумасшедшим, или Лира во время приступов

[1] Там же, акт IV, сцена VI.

безумия. В здравом уме Лир почти не высказывает разумных мыслей. Тем не менее сам факт, что Шекспир пользовался подобными уловками, показывает, как широк был диапазон его размышлений. Он не мог удержаться от комментариев практически по любому поводу, хотя и прикрывался при этом всевозможными масками. Стоит внимательно прочесть Шекспира, как вы не проживете и дня, не цитируя его; ведь в своих произведениях он рассматривает или, по крайней мере, упоминает едва ли не все главные проблемы бытия, проясняя, пусть по-своему непоследовательно, их суть. Даже несообразности, разбросанные по всем его пьесам,— каламбуры и загадки, бесконечные ругательные прозвища, обрывки новостей, как в диалоге извозчиков в «Генрихе IV», непристойные шутки, сохранившиеся части забытых баллад — всего-навсего следствие чрезмерного жизнелюбия Шекспира. Он не был ни философом, ни ученым, но, безусловно, обладал любознательностью, любил все земное и саму жизнь, а это, следует еще раз отметить, вовсе не то же самое, что стремление к развлечениям и желание жить как можно дольше. Конечно, долговечность Шекспира обусловлена не тем, что он был мыслителем, возможно, забыли бы и Шекспира-драматурга, не будь он в то же время поэтом. Для нас Шекспир притягателен своим языком. А насколько музыка слов завораживала его самого, можно, пожалуй, судить по речам Пистоля. Слова этого персонажа по большей части бессмысленны, но если рассматривать их отдельно от пьесы, они представляют собой великолепные риторические стихи. Очевидно, бессвязные отрывки («Разлейтесь бурно, реки! Войте, черти!» [1] и т. д.) то и дело возникали в сознании Шекспира сами по себе, и, чтобы использовать их, ему пришлось придумать полусумасшедшего героя.

Английский язык не был родным для Толстого, и не его вина в том, что он остался равнодушен к шекспировскому стиху, как, наверное, и в том, что отказался поверить, будто Шекспир владел словом с незаурядным искусством. Но Толстой отверг бы саму идею оценивать поэзию по качеству стиха, то есть оценивать ее как некую музыку. Если бы вдруг удалось доказать Толстому, что он ошибается в трактовке шекспировской известности, что, по крайней мере, в странах английского языка слава Шекспира истинна, что одно его умение находить те или иные сочетания слогов доставляет подлинное наслаждение поколению за поколением тех, кто говорит по-английски,— все это Толстой счел бы не достоинством Шекспира, а чем-то прямо противоположным. Это было бы еще одним доказательством арелигиозной, земной природы Шекспира и его хвалителей. О поэзии должно судить по ее смыслу, сказал бы Толстой, а чарующие звуки лишь прикрывают лживый смысл. На любом уровне Толстой исповедует одно и то же: противопоставление мира земного и небесного; а музыка слов, разумеется, есть нечто, принадлежащее земному миру.

Некоторое сомнение всегда окружало образ Толстого, так же, как и образ Ганди. Толстой не был обыкновенным лицемером, как утверждают некоторые, и, возможно, заставил бы себя пойти на еще большие жертвы, если бы на каждом шагу в его жизнь не вмешивались окружающие, особенно жена. С другой стороны, в суждениях о людях, подобных Толстому, опасно основываться на мнении их учеников. Всегда существует возможность или, скорее, вероятность, что один вид эгоизма подменяется у этих людей другим. Толстой отрекся от богатства, славы и привилегий, отказался от насилия в любых его видах и, поступая так, готов был страдать, но довольно трудно поверить, что он отказался и от идеи обуздания или, по меньшей мере, желания обуздать других. Есть семьи, где отец скажет ребенку: «Еще раз так сделаешь — уши надеру», мать же, с глазами полными слез, возьмет ребенка на руки и нежно залепечет: «Ну как ты мог, мой родной, сделать такое, не подумав о своей мамочке?» Кто докажет, что во втором случае тиранства меньше, чем в первом? Принципиальное различие состоит не между существованием и отсутствием насилия, а между существованием и отсутствием желания властвовать. Некоторые убеждены в порочности институтов армии и полиции, но в то же время одержимы нетерпимостью и инквизиторским духом гораздо в большей степени, чем обычные люди, полагающие, что бывают случаи, когда насилие необходимо. Те, кто отвергают насилие, не скажут: «Делайте так, так и так, иначе попадете в тюрьму», а постараются добраться до вашего сознания и станут диктовать вам ваши мысли в мельчайших подробностях. Течения, подобные пацифизму и анархизму, на первый взгляд предполагающие полный отказ от власти, в значительной степени способствуют формированию привычки навязывать другим свои взгляды. Ведь если вы сторонник течения, лишенного, как вам кажется, обычной грязи, свойственной политике, течения, от которого вы не ждете для себя никаких материальных выгод, то разве это не означает, что в своих убеждениях вы, безусловно, правы? И чем больше вы осознаете свою правоту, тем очевиднее, что остальных следует заставить думать точно так же.

Если верить тому, что говорит Толстой в своем очерке, он никогда не мог найти у Шекспира достоинств и всегда удивлялся, что его современники, Тургенев, Фет и другие, не соглашались с ним. Можно не сомневаться, что до своего духовного перерождения Толстой решил бы этот вопрос так: «Вам нравится Шекспир, а мне нет. И пусть каждый останется при своем». Позже, когда ощущение многообразия мира покинуло Толстого, произведения Шекспира показались ему опасными. Чем больше людям будет нравиться Шекспир, тем меньше они будут слушать Толстого. Поэтому следует запретить наслаждаться Шекспиром, так же как употреблять алкоголь и курить табак. Правда, Толстой ничего не хочет запрещать силой. Он не требует, чтобы полиция конфисковала все шекспировские книги. Но он выльет на Шекспира столько грязи, сколько сможет. Он постарается добраться до сознания каждого, кто любит Шекспира, и отравить ему удовольствие, используя разнообразные приемы, в том числе, как я показал выше, взаимоисключающие и надуманные доводы.

И, наконец, самое поразительное, что все, о чем мы говорили, почти не имеет значения. Как уже отмечалось, на критику Толстого или, по крайней мере, на главные пункты его обвинения невозможно *ответить*. Нет доводов, которые могли бы защитить стихи. Стихи защищают себя сами тем, что они долговечны, в противном случае их защитить нельзя. Если этот критерий справедлив, приговор в деле Шекспира, я думаю, должен быть: «невиновен». Как и любой другой писатель, Шекспир рано или поздно будет забыт, но едва ли ему когда-нибудь предъявят более серьезное обвинение. Толстой был, пожалуй, самым почитаемым автором своего времени и, конечно, далеко не последним памфлетистом. Всю силу своего осуждения он направил против Шекспира, словно разом загрохотали все корабельные пушки. А каков результат? Прошло уже сорок лет, но слава Шекспира по-прежнему непоколебима; от попытки же ее уничтожить остались лишь пожелтевшие страницы толстовского очерка, который вряд ли кто-нибудь читает и который бы совершенно забыли, если бы Толстой не был также автором «Войны и мира» и «Анны Карениной».

1947 г.

Перевод с английского Н. Ермаковой

[1] «Генрих V», акт II, сцена I. Перевод Е. Бируковой.

Ив. Толстой

ЗУБАСТАЯ ЖЕНЩИНА, или НАБОКОВ ПОСЛЕ ПСИХОЗА

Была такая довоенная шутка: «Говорит рязанское радио. Проверьте ваши часы. Сейчас точное время... *(В сторону, быстрым шепотом)* Есть у кого-нибудь часы? Что, нет ни у кого?!. *(Громко, отчетливо)* Пятнадцать часов двадцать одна минута».

Наше набоковедение по своей точности недалеко ушло от этой картинки. Оно притворилось существующим.

Прошло немногим более трех лет с начала массовых публикаций Владимира Набокова в нашей стране, и стараниями дюжины журналов практически весь «русский» Набоков распечатан. Выходит 4-томное собрание его русскоязычных произведений, и 1990 год обещает стать началом введения в читательский оборот переводного Набокова. В общей сложности за пять-шесть лет мы познакомимся с колоссальным писательским наследием, на что у сверстников В. Сирина и Vladimir'а Nabokov'а ушла вся жизнь. Обогнав их на этом пути в десять раз, мы с той же удесятеренной поспешностью создали и свое набоковедение.

О нем и речь.

Начну в этом случае с себя. Уже во второй своей набоковской публикации («Аврора», 1988, № 6) я ошибся в порядке следования глав незаконченного романа «Solus Rex» (подробнее см. мое «Письмо в редакцию». «Аврора», 1989, № 7). В другой раз не позаботился о подстрочном переводе французских слов и выражений («Звезда», 1989, № 5); их перевели без меня, но ответственности за получившуюся «кошмарную чепуху» я с себя не снимаю.

Впрочем, признание своих публикаторских ошибок некоторыми расценивается как свидетельство непрофессионализма, что ли. Так считает, например, Олег Михайлов.

С ним у меня возникла незапланированная переписка, знакомство с которой я предлагаю читателям по той причине, что вопросы, поднятые в ней, отражают те проблемы, которые мне хотелось обсудить в этом кратком обзоре.

В прошлом году, когда я был в Париже, только-только появилось первое наше отдельное издание Набокова: «Машенька», «Защита Лужина», «Приглашение на казнь», «Другие берега» (фрагменты). (Романы. Москва, «Художественная литература», 1988.) В эмигрантской газете «Русская мысль» я опубликовал свой короткий отзыв. Вот он:

«В Советском Союзе впервые отдельным изданием выпущен сборник Набокова. Все вошедшие в него произведения были недавно уже напечатаны в советских журналах и перепечатываются здесь в том же виде: романы — полностью, а воспоминания «Другие берега» — с купюрами (о характере этих купюр сообщалось в заметке Сергея Дедюлина: см. «РМ», № 3729). Составление, вступительная статья и примечания — Олега Михайлова, который вместе с Леонидом Чертковым был автором первой в СССР статьи о Набокове (Краткая литературная энциклопедия, т. 5, стлб. 60 — 61; см. также его заметку о Набокове в БСЭ). Писал О.Михайлов о Набокове и в других изданиях. Арсенал цитируемых авторов, тех, кого О. Михайлов привлек для подтверждения своего (очень однобокого) положения о«разрушении» набоковского дара, арсенал этот куц, стар: странно в книге 1988 года видеть все тех же Льва Любимова, И. Бунина, А. Куприна, которые ничего, к сожалению, в Набокове не поняли. Свои доводы О. Михайлов попытался чуть освежить цитатами из известной книги Зинаиды Шаховской, но и цитаты подобрал наименее удачные. Зачем в эпоху гласности взялся писать предисловие критик, не любящий своего героя?

Вероятно, отсюда та неряшливость, с которой отнесся составитель к своей работе. На 14-ти страницах его сопроводительного текста я насчитал с дюжину ошибок. Уже в первой фразе О. Михайлов называет швейцарский городок Монтрё — «имением» Набокова. Далее сообщается, что в России юный Набоков выпустил две книжки стихов — в 1914 и 1917 годах, тогда как он издал их три — в 1914, 1916 и 1918 годах. Последний роман писателя называется не «Взгляни на арлекина!», а «Взгляни на арлекинов!»; в пьесе Набокова «Изобретение Вальса» Вальс — имя собственное и писать его следует не с маленькой (как О. Михайлов), а с большой буквы. Составитель называет первый набоковский английский роман — «Действительная жизнь Себастьяна Найта», и это можно было бы принять, если бы сам Набоков не предлагал другого названия: «Истинная жизнь...», причем на страницах этого же самого тома (стр. 363). Набоков никогда не преподавал в «Корнуэлльском», но в Корнелльском университете.

Есть и отступления от правил русского языка: если О. Михайлов хотел сказать, что Набоков пародировал многих, ему следовало написать: «Кого только *ни* пародировал...» (а не «не»). Не лучше и с французским языком: надо писать «Litteraires», а не «Litterairy». А благодаря косолапой фразе о платиновой зубной проволоке (стр. 12) О. Михайлов поменял местами события, разделенные четвертью века.

С выходными же данными у составителя и подавно дружба врозь: Нью-Йорк он сокращает N. I. вместо N. Y. или изобретает такой библиографический волапюк: «США, Ардис, 1979». Это все равно что написать: «СССР, Жазуши, 1985». Журнал «Современные записки», по О. Михайлову, не остановился на 70-м номере, а даже в 109-м продолжал печатать Набокова (по-видимому, по ту сторону своей истинной судьбы). Иначе остается предположить, что Олег Михайлов не знает, как читаются римские цифры CIX. (Ив. Т.)».

Честно говоря, мой отзыв заканчивался такой фразой: «Знает, все Олег Михайлов знает, просто сделал свою работу левой ногой».

— Нет,— сказал мне редактор «Русской мысли» Сергей Дедюлин,— эту фразу надо вычеркнуть. Ругаться в своем разделе я не позволю. Мы должны оставаться корректными. Корректными и доказательными.

Через некоторое время на имя главного редактора «Русской мысли» И. А. Иловайской-Альберти пришло письмо от О. Н. Михайлова с разрешением его опубликовать. (Поскольку моя заметка появилась в газете эмигрантской, то О. Н. Михайлов, верно, принял меня за эмигранта.)

«Уважаемый г-н Ив. Т.!

Позвольте, поблагодарив Вас за информацию о *первой* в СССР книге В. В. Набокова, высказать, в свой черед, несколько замечаний.

Главное свое внимание, говоря о моих предисловии и послесловии к книге, Вы (несколько комично) устремили на корректорские опечатки, сумев совершенно обойти существо моей позиции. Вам она не по душе — это Ваше право. Но ждешь критики по существу, а не выщелкивания корректорских блох.

Для Вас оценки, которые дали Набокову-Сирину Бунин, Куприн (а также Б. К. Зайцев, из письма которого мне Вы приводите одну из опечаток, но вообще не упоминаете о нем), непоправимо устарели. Для меня они сохраняют значение. Кроме того (не приводя никаких аргументированных возражений), Вы утверждаете, что о Набокове должен писать лишь тот, кто его безоговорочно принимает.

Позвольте в связи с этим задать Вам вопрос: означает ли это, что, скажем, о Горьком должен писать обязательно его апологет, а, например, о Троцком — троцкист? И как быть тогда с пресловутым «плюрализмом»? Сегодня в СССР выражаются разные взгляды на творчество Набокова (назову хотя бы имена Анастасьева и Мулярчика), но отчего лишать права голоса меня? Вольно или невольно, но Вы смыкаетесь здесь с нашими ревнителями политического католицизма.

В молодости моей (в 60-е годы) прошел я через крайнюю влюбленность в Набокова. Мой старший и добрый, смею сказать, друг Б. К. Зайцев, желая несколько остудить это чувство, в приведенном мною письме отмечал у Набокова нечто очень важное: отсутствие Бога. Сам Зайцев (в предисловии к его подготовленной у нас книге я сказал, что после Октября «он писал при свете Евангелия») это остро чувствовал, всегда отмечая и набоковскую исключительную виртуозность. Вот и тема спора!

Для меня же, скажу, странна Ваша ожесточенная необъективность. Более тридцати лет бился я почти в одиночку, проламывая путь «домой» сперва Бунину (статья о нем в «Вопросах литературы» за 1957 год подвергалась в нашей печати шельмованию), а затем — Шмелеву (сборники прозы 1960, 1966 и 1983 годов), Аверченко (1964), Тэффи (1970), Замятину (1986). Все это были *первые* после долгого перерыва книги. Сейчас с моим предисловием напечатано, наконец, шмелевское «Лето Господне» — воистину духовный кладезь для русского человека, вот-вот появится том прозы Зайцева, затем — Мережковского, вышел и «первый Набоков» и т. д. Все это требовало сил, нервов, здоровья. А в результате сталкиваешься с удручающей групповщиной и «дома», и «в гостях».

Толстой Иван Никитич (р. 1958) — филолог-русист. Печатался в журналах «Аврора», «Звезда», «Новый мир», «Современная драматургия» и др. Автор статей о В. Набокове, М. Лозинском, В. Ходасевиче, декабристах-литераторах, М. Булгакове, А. Белинкове, А. Тургеневе и др. Живет в Ленинграде.

Все-таки лучше, по возможности, каждому из нас подавлять в себе типично советскую нетерпимость к инакомыслию. И, не соглашаясь с другим, говорить по делу, а не «мимо» дела.

Олег Михайлов».

Я счел своим долгом прояснить свою позицию. Нижеследующее письмо также появилось на страницах «Русской мысли»:

«Открытое письмо Олегу Михайлову.

Уважаемый Олег Николаевич,

в Вашем письме несколько тезисов:

1. о том, что я сосредоточился лишь на корректорских опечатках, «сумев совершенно обойти существо» Вашей позиции;

2. о том, что Вы верны своим взглядам прежних лет;

3. о том, что любая точка зрения может быть высказана;

4. о том, что у Набокова «нет Бога», но есть «исключительная виртуозность» (мнение Бориса Зайцева);

5. о Ваших публикаторских заслугах

6. и о моей «типично советской нетерпимости к инакомыслию».

Позвольте мне ответить Вам на эти тезисы.

1. Составляя свою заметку о сборнике Набокова для раздела «Книжные новинки», я намеренно остановился на тех фактических ошибках, что содержатся в Ваших сопроводительных текстах. Эти ошибки Вы называете «корректорскими опечатками», и обращать на них внимание, по-Вашему, «комично». Я напомню Вам, что человек, о котором Вы пишете, всегда использовал малейшую возможность исправить опечатку и даже в интервью сообщал читателям, куда и какая закралась неточность. А вот ответ Набокова на вопрос одного из журналистов (9 января 1972 г.) о том, «что нам делать с ускользающей истиной?»: — «Следует прибегнуть к помощи специально обученного корректора, дабы опечатки и пропуски не искажали ускользающую истину...» После этого узнает Набоков, какую позицию в этом вопросе занимает его первый издатель в России, и «от ужаса во гробе содрогнется».

2. Вы действительно в 1988 году пишете то же самое, что и в 1973-м, но только заслуга ли это? Тогда Вы апеллировали к Бунину и Куприну, которые ничего конструктивного о Набокове не сказали, и ко Льву Любимову, написавшему об эмиграции совершенно желтый памфлет (послушать только, какую злобную ложь он говорит о Ходасевиче! Да, по тем временам публикация любимовских воспоминаний была шагом вперед, но представьте себе, что мы и сейчас свои доводы об эмиграции строили бы *только* на Любимове!). Допустим, что 15 лет тому назад глубокие суждения о русских изгнанниках высказаны быть не могли, но и сейчас Вы не приводите никаких иных мнений о Набокове. Их что же — не было? Откуда тогда его уникальный успех, о котором Вы сами упоминаете, но ничем это не объясняете?

3. Да, любая точка зрения может быть высказана, но тогда Ваши бездоказательные суждения о «разрушении дара» — не точка зрения, а каприз. Вы через запятую перечисляете «проходные детали», в которых для Набокова на самом-то деле фокусировался весь мир: проникновение в Россию, советский визитер, тиран, утонический позитивист (частный случай — Чернышевский) и другое. Из Вашего предисловия не вырастает никакого Набокова, ибо его мировоззрение Вами не понято. Вы ограничились набором многозначительных отвлеченных терминов, Вы подмигиваете читателю, но намеки Ваши остались нераскрытыми. Так что при всем желании я не могу возразить на «существо» Вашей позиции. Разве что на тезис о «непонимании» Набоковым природы. Но, во-первых, это не Ваш тезис, а Зинаиды Шаховской, а во-вторых, достаточно раскрыть любую страницу «Дара», как тезис этот разлетается в пух и прах.

4. Да, у Набокова не было того Бога, которого имеет в виду Борис Зайцев. Набоков — не христианский писатель. Но его сознание религиозно, хотя и направлено и выражено по-другому, а этого Борис Зайцев не понял. Это действительно большая тема, но и ее Вы даже не касаетесь. Вы вообще обходите вопрос о цельности личности писателя.

5. Ваши публикаторские заслуги и впрямь велики, и тем непростительней путать число книг, выпущенных Набоковым в России, университеты, в которых он преподавал, приписывать ему недвижимость, которой он не владел сознательно (и подчеркивал это десятки раз),— как Вы понимаете, корректор к этому не может и не должен иметь отношения.

6. Наконец, об инакомыслии. Я не утверждал, «что о Набокове должен писать лишь тот, кто его безоговорочно принимает». Я написал следующее: «Зачем в эпоху гласности взялся писать предисловие критик, не любящий своего героя?» Не любящий, то есть не потрудившийся вникнуть в его взгляды, то есть ухватившийся за некоторые внешние черты и из этого выведший неверные положения. Да не любите Вы Владимира Набокова, но, по крайней мере, знайте его и о нем, если взялись на эту тему писать.

Есть, правда, еще один вопрос, в Вашем письме не сформулированный, но присутствующий, «вроде как водяной знак»,— это вопрос научной этики. Ведь что получилось? Один литератор обнаружил у другого на каждой странице по ошибке, а в ответ получил не благодарность, нет, не скорбное молчание, тоже нет, но полное брезгливости неуважение к истине. Так что Ваши ошибки кажутся мне теперь закономерными. При такой позиции они у Вас будут и впредь. Не пойму только: неужели есть что-то, что дороже доброго филологического имени?

Хотя, впрочем, это ведь личное дело каждого.

С уважением

Ив. Толстой».

Увы, мое предсказание сбылось: Олег Михайлов не просто пошел штамповать с легкими вариациями свое предисловие (к однотомнику Набокова — Москва, «Советская Россия», 1989 и к однотомнику — Минск, «Мастацкая літаратура», 1989), но еще и увеличил число ошибок. Теперь сборник «Возвращение Чорба» (ранее Михайловым же датированный верно) отнесен к неправильному году; выпал эпиграф к роману «Приглашение на казнь» — и тем самым произведение лишено начальной, так сказать, пусковой философской ноты, а также лишено игры — в выдуманную цитату. У кого — у О. Н. Михайлова или у составителя Б. И. Саченко — просить разъяснений по поводу взаимоисключающих выходных данных: Paris, Edition Viktor, 1938? Во-первых, Editions; во-вторых, Victor; в-третьих, если текст печатается по изданию Editions Victor, то не 1938, а 1966; а если для воспроизведения бралась книга все-таки 1938 года, то это либо: Париж, изд. Дом книги, либо: Берлин, изд. Петрополис. Но и по самому виду этой «корректорской блохи» ясно, что ее виновник не отличает копирайтной пометки © 1938 (на обороте титула парижской книги 1966 года, той самой книги, добрая половина тиража которой попала тогда же в Советский Союз), не отличает, говорю я, от года ее издания (действительно на книге не пропечатанного). Но уж это, извините, те библиографические азы, незнание которых и пренебрежение которыми производит на вдову, сестру и сына писателя впечатление пиратства. А что же еще должны они думать, если в статье Олега Михайлова (воспроизведенной уже почти в миллионе экземпляров) встречаем следующее безграмотное рассуждение: «Его метод — 〈...〉 словесные кроссворды (замечу, что ему принадлежит изобретение слова «крестословица», что, конечно, лучше кальки с английского — «кроссворд»)». Но как раз «крестословица» и есть *калька с английского*! А вот «кроссворд» — *заимствованное слово.*

Содрогнется во гробе, ох, содрогнется...

Желая Набокова всячески принизить, Олег Михайлов приводит те цитаты и мнения, которые работают на дискредитацию, и игнорирует противоположные, но этот метод слишком знаком, чтобы на нем специально задерживаться. А вот что интереснее, так это неверная интерпретация приводимых сведений. В частности, О. Н. Михайлов цитирует то место «Грасского дневника» Галины Кузнецовой, которое свидетельствует о трудности, чуждости Набокова «простому читателю»: в русской библиотеке на юге Франции книги Сирина «берут, но немного».

Странно читать все это. Читательский спрос вообще аргумент сомнительный: он говорит о вкусе публики, а не о таланте автора. Хрестоматийный пример из истории русской литературы — это успех книг Булгарина и падение в 1830-е годы интереса к Пушкину. Десять лет назад самым спрашиваемым писателем в библиотеках СССР был Петр Проскурин. Говорит ли это в его пользу? Разумеется, нет.

Но запись Г. Кузнецовой опровергается еще и фактами — той статистикой, которую вел член Правления Тургеневской библиотеки в Париже Николай Кнорринг (данные печатались в газете «Последние новости»). Сообщу эти факты для Олега Михайлова, считающего, что раз писателя не спрашивают, значит писатель плох; сообщу для буниноведа, шмелевомана, зайцевиста, аверченколога и замятинца: книги В. Сирина в Тургеневской библиотеке в 1932 году спрашивали *больше*, чем книги Бунина, Шмелева, Зайцева, Аверченко и Замятина. (Двух последних вообще за год не спросил никто.) Так, может, бросить всю эту компанию как дискредитировавшую себя, а, Олег Николаевич?

Причина неприятия Михайловым Набокова фундаментальна и неустранима: Михайлов — традиционалист, Набоков — экспериментатор. Но Олег Михайлов не видит главного: что Набоков — экспериментатор стиля, но не этики. Этические основы Владимира Набокова глубочайше традиционны. Нова лишь стилистическая декорация, но ее *литературный* критик Михайлов за литературой не числит. Вослед княгине Шаховской он сетует, что мяч в воспоминаниях писателя важнее няни, что вещи дороже людей. Правильно, ибо у Набокова — воспоминания не реалиста. И как «реальная» жизнь его героев не похожа на жизнь окружающих людей, так и мир их фантазии отличен. С теплотой О. Н. Михайлов цитирует З. А. Шаховскую: «...Набоков никогда не знал: запаха конопли, нагретой солнцем, облака мякины, летящей с гумна, дыхания земли после половодья, стука молотилки на гумне, искр, летящих под молотом кузнеца, вкуса парного молока или краюхи ржаного хлеба, посыпанного солью...» Критик считает все это глубоким и верным. Но из чего же, интересно, следует, что Набоков всего этого не знал? Оказывается, из того, что *этого* он в своих книгах не упоминает. И значит — не русский писатель, чужой. Но набоковский метод как раз и заключается в том, чтобы *не* произносить тех слов, по которым русский читатель привык восстанавливать Россию, ибо эти слова писатель считает затасканными. Он изобретает *свой* словарь, принципиально отличающийся от традиционного. А написал бы: краюха, рубаха, лепеха — и что

же, был бы уже миленьким? Нет уж, от этого хлебосольного говорка Набокова воротило (как воротило и якобы нелюбимого им Солженицына).

Напомнить ли критику Олегу Михайлову хрестоматийные высказывания (о связи сарафана с народностью) критика Белинского? Нет, не буду напоминать: Олег Михайлов противоположного мнения. Он — критик-шибболетист: скажи ему «шибболет» — и он пропустит тебя в русскую литературу. Вот почему с печалью превосходства он отмечает: «Вот мы и добрались до сути: феномен языка, а не идей. Действительно, проблема Набокова — это прежде всего проблема языка. Языка, оторванного от жизни и пытающегося колдовским усилием эту жизнь заместить».

Странно. Мне-то всегда казалось, что литература только этим и занимается: языком замещает жизнь. И плохая, и хорошая литература. Только плохая говорит одинаковыми, затасканными словами, шибболетами: краюха, краюха, краюха — так, что и жизни уже за звуками не угадать, а хорошая вдруг возьмет и скажет: «Часы пробили неизвестно к чему относившуюся половину» или «Все Ваши фразы запахиваются налево».

Ну, хорошо, в конце концов, все это только вступительная статья, а вступительные статьи у нас мало кто читает. Поэтому ошибки, опечатки и ляпсусы Н. Анастасьева («Литература артистикэ»), Я. Марковича («Московский рабочий»), С. Залыгина («Новый мир») и других останутся, есть надежда, незамеченными. Но вот специальная набоковедческая работа (Вик. Ерофеев, «Вопросы литературы») оказывается основанной на неверной датировке «Приглашения на казнь» — 1938-й вместо правильного 1935—1936 гг., от чего концепция метаромана при всей своей яркости, увы, рушится. Зато, наверное, текстология в советских изданиях — на высшем уровне?

Вот тут человеку впечатлительному может сделаться дурно. Начнем со сборника «Истребление тиранов», выпущенного в Минске. Здесь ошибок больше, чем страниц текста, и притом на все вкусы: герой оговаривается, произнося трудное словосочетание («Лев Глево... Лев Глебович? Ну и имя у вас, батенька, язык вывихнуть можно...»), а корректоры его поправляют, отчего гибнет оригинальное начало романа (с. 19); пропущенная запятая превращает одно сравнение в другое (с. 25); «резкие черты» оборачиваются «редкими» (с. 27); путается порядок слов и количество предложений (и то, и другое — с. 28); разговорная форма «с Глеб Львовичем» сменяется академической «с Глебом Львовичем»; «Толщища какая»,— думает герой вместо «тощища»; корректору все равно: ослепительные или слепительные, огромный или громадный, хороший или холодный (все это — с. 34). Но когда появляется «молодаи зубастая женщина» (с. 37), это, кажется, превосходит все мыслимое.

Название такой текстологии долго искать не приходится: его подсказывает очередная «корректорская блоха»: *после психоза* (ибо только так переводится на русский язык слово «метапсихоза», с. 37, тогда как замышлявшееся автором — «метампсихоза» — означало всего лишь переселение душ).

Вот к каким книгам имеет честь писать предисловия рыцарь русской эмигрантской литературы Олег Михайлов.

Хочется все же дать критику возможность оправдаться, сказать что-нибудь вроде: «За текстологическую подготовку книг, изданных вне Москвы, ответственности не несу. Олег Михайлов». Но даже этого шанса он себя лишает: я говорю не о «прихожая ... суживался» (московский Худлит, с. 18) — как видно, блошиный рынок отхватил уже все издательские ряды,— я говорю о новом герое, введенном Михайловым в худлитовскую «Машеньку»: писателе *Портнягине*.

Браво, Олег Николаевич, Вы — чемпион!

Я не упомянул еще одну острую проблему набоковских публикаций. Это купюры. Но мусолить эту тему не представляется возможным: тут мы либо признаем для себя обязательными демократические традиции, либо не признаем. Во всяком случае, характер купюр в тексте «Других берегов» ясно очерчивает круг наших идеологических табу.

В первую минуту была надежда на полное издание этих мемуаров в «Книжной палате», но нет, все те же (за небольшим исключением) изъятия:

«В американском издании этой книги мне пришлось объяснить удивленному читателю, что эра кровопролития, концентрационных лагерей и заложничества началась немедленно после того, что Ленин и его помощники захватили власть».

«В свое время, в начале двадцатых годов, Бомстон, по невежеству своему, принимал собственный восторженный идеализм за нечто романтическое и гуманное в мерзостном ленинском режиме. Теперь, в не менее мерзостное царствование Сталина, он опять ошибался, ибо принимал количественное расширение своих знаний за какую-то качественную перемену к худшему в эволюции советской власти».

И еще два подобных места, которыми можно у нас, насколько я понимаю, разве что детей пугать.

Точно так же дело обстоит и с публикацией набоковского рассказа «Адмиралтейская игла», от которого поначалу отмахивались все редакции, так как там имеется одно «неудобное» место. Но потом решили: а что, возьмем да и вырежем. И в разных редакциях вырезали где побольше, где поменьше. А место это такое: «зеленая жижа ленинских мозгов». Я предлагаю, если уж нельзя иначе, посмотреть на это высказывание глазами комментатора: выражение принадлежит не Набокову, а заимствовано им у И. А. Бунина, а точнее — из его речи 1924 года «Миссия русской эмиграции», напечатанной тогда же в газете «Руль». Но и Бунин не был автором: он всего лишь пересказал выступление Наркома здравоохранения Семашко. Так что, как оно и должно быть, мы прячем от самих себя нами же пущенную весть. Не пора ли выздороветь и после этого психоза?

Я не коснулся проблемы переводов. Область эта зыбкая, объективных ориентиров не имеющая, и потому набоковскому переводчику тут вольготно-весело. Конечно, без словаря языка писателя переводить трудно (такой словарь приходится составлять самому); конечно, не все переводчики знакомы хотя бы с полезнейшим англо-русским словарем к «Лолите» (составители А. Нахимовский и С. Паперно); конечно, большинству читателей вообще нет дела до стиля. Но существует репутация писателя Набокова, и если в нашей печати она, как выясняется, мало кого волнует, то семья Набокова такой позиции занимать не собирается. Вдова Вера Евсеевна и сын Дмитрий Владимирович обладают высочайшей компетенцией в вопросах перевода, им принадлежат многие сотни переведенных набоковских страниц, и непонятно, почему никто в СССР не спрашивает у них в этой области совета.

В самой большой библиографии Набокова (Майкл Джулиар, 1986) имеется раздел «Пиратские издания». Убоимся же попасть в него.

Есть надежда, что набоковедению, шарящему вслепую и по поверхности, наступает конец: уже готовы к выходу нетривиально составленные и хорошо откомментированные сборники — прежде всего в издательстве «Книга» (составители А. А. Долинин и Р. Д. Тименчик) и в «Радуге». Здесь читатель познакомится с пространным комментарием А. А. Долинина к «Дару», «Пнину», рассказам и стихам Набокова. И я надеюсь, что тогда разговор о «возвращенных книгах» будет более приятным.

К 70-летию Ф. А. Абрамова

Глеб Горышин

ПЕРЕВЕЗИТЕ ЗА РЕКУ...

Моя поездка на север — на родину Федора Абрамова, на Пинегу, в Верколу...

Писатель оставил нам не только литературное наследие, но еще и обжитую землю. Разговор с его земляками, будь то герои абрамовской прозы или реальные лица, чей голос запечатлен в увидевших свет дневниках, в книге Л. Крутиковой-Абрамовой «Дом в Верколе», продолжается. Однажды Федор Абрамов записал в дневнике: «Мне просто необходимо хотя бы раз в год бывать в родной деревне, пожить там, подумать, поговорить с земляками». Он высказал это как признание самому себе; время выявило в личном общезначимый смысл духовного завещания — всем, кому важно понять, из каких весей Русь пошла, что с нами происходит. Поговорить с земляками Федора Абрамова оказалось существенно интересно надолго вперед — на языке ли искусства, за столом ли в избе художника-философа из Верколы Дмитрия Клопова, друга-приятеля Федора Александровича, в жилищах ли пинежских старух, поныне живых, увековеченных писателем. Абрамова на Пинеге все помнят как заступника перед непорядком, сокрушаются, вспоминая: «Не хватает Федора Александровича. Он бы...»

Герои Абрамова, будь то Михаил, Лизавета Пряслины, пекариха Пелагея, взыскуют порядка в жизнеустройстве, нравственно узаконенного предками, самим укладом крестьянствования на русском Севере. В романах, повестях, рассказах, пьесах по прозе Абрамова, как, пожалуй, нигде после «Тихого Дона», нам дается возможность вглядеться в русского человека на рандеву с отечественной историей, немилосердной природой, социальными катаклизмами. Персонажи Абрамова не произносят гамлетовских монологов, но в трагедийности судеб, в категорическом императиве нравственного выбора простого мужика или бабы в северной русской деревне явственно слышится, набатно звучит вопрос: быть или не быть России — не кем-то предписанной, не по чьему-то образцу — а самими русскими для себя выстраданной и воспетой?..

В интервью, выступлениях, дневниках Федор Абрамов снова и снова определял суть предмета, кредо русского национального писателя: «Хочется вопросить прошлое: как время меняет национальный характер; что такое русский крестьянин; как происходило раскрестьянивание русского человека?..» Со всей дотошностью своего генетически крестьянского ума Абрамов погружался в историю, социологию, постоянно отдавал должное науке, но цель литературных трудов, смысл гражданской позиции видел в спасении, возрождении нации. Абрамов — выразитель и воспеватель русского духа в пушкинском, толстовском его понимании. Ежели русский дух изведут, пусть даже по самой передовой научной методике, русскому человеку вдруг станет пустынно и неуютно в городах и весях, опустятся у него руки. Что тогда?..

Этот вопрос во всей его бытийной изначальности, с нетерпеливостью, продиктованной крайней напряженностью в многонациональном нашем государстве, прозвучал на Первом съезде народных депутатов. Многое, высказанное с самой высокой в стране трибуны, созвучно тому, о чем говорил — взывал, проповедовал — Абрамов, постоянно чувствуя над собой низкий потолок дозволенности. Как ему не хватало трибуны той высоты, с такими акустическими возможностями, какая ныне открылась народному депутату... А еще бы лучше взойти на колокольню, ударить в набат...

В записях 1980 года у Абрамова сказано: «Пинеге вынесен, можно сказать, смертный приговор: в 2,5 раза больше будет вывозиться леса.

По этому поводу надо бы греметь во все колокола. Но с какой колокольни? Где она? Кто примет близко к сердцу беды Пинеги, раз в Архангельске из-за отсутствия древесины не работают заводы?»

Народным депутатом Федор Абрамов был не по мандату, а по заслуженной им репутации народного заступника. В литературе именно он первым подал пример трезвого взгляда на мнимое народовластие, обернувшееся самым горьким для судеб народа — социальной апатией. И он обладал редкой дерзостью сказать в лицо правду, пусть даже своему возлюбленному земляку. Это в народе уважают.

Я думаю, доживи Абрамов до наших дней, когда вопрос «быть иль не быть» поставлен ребром, едва ли бы он подверстался хоть к «большинству», хоть к «меньшинству». Коллективных писем, мы знаем, он не подписывал ни при какой погоде. За большинство почитал тот мир, из которого вышел,— не «регион», а мир русского крестьянства и интеллигенции,— такой разнообразный, с постоянным поиском смысла жизни, с непреходящим упованием на вольную волюшку как высшее благо. Вольнолюбием проникнуто отношение к природе русского сельского человека, его поэтическое мировосприятие, особенно заметное на севере. Этот мир постоянно стучался в сердце писателя, он его представлял, ему служил.

Чтобы понять это чувство, лучше всего почитать веркольские дневники Абрамова. «Просторы, дали. И еще воля вольная. Не свобода, нет, а особое чувство, которое возникает у нас на Севере.

Парение над землей. Особое ощущение жизни, простора, свободы.

Чувство полета, крыла.

И не за этим ли летят сюда птицы с юга? Чтобы ощутить эту волю, изначальность мира и тем самым освежить себя?

Я езжу за волей на Север.

Мой дом — как пароход, как птица, приготовившаяся к полету. Полное растворение в мироздании».

Честное слово, так не хватает нам Федора Абрамова в нашем порыве к миропорядку, при котором можно свободно, по-человечески жить. Так не хватает абрамовской неколебимой уверенности, что не зря, не зря все было.

Однако вернемся от умозрений на реальную почву, на родину Абрамова, в Верколу, завещанную нам (избави нас Бог от праздного любопытства), имея в виду, что Веркола стала предметом внимания многих и многих, как принято у нас говорить, «моделью» для приобщения к «русскому вопросу», нынче весьма популярному. Весною 1987 года я застал в Верколе съемочную группу из Соединенных Штатов в составе трех человек: продюссера-режиссера Дмитрия Девяткина, американизированного потомка русских купцов Девяткиных, известных в свое время на Пинеге, оператора Скотта (Скотт — имя; фамилию я не запомнил; веркольские бабки до сих пор посмеиваются: «Экое имя — Скот; скот с рогами дак...») и ассистентки Маши. Снимали телефильм, загодя купленный не только в Штатах, но и в Англии, Японии: интерес к «загадке русской души» вновь набрал высоту, поскольку в России опять революция — перестройка.

Год спустя Дмитрий Девяткин привез готовый телефильм в Союз, с вполне понятной надеждой показать его нам, но у нас не нашлось средств, технических возможностей для пересъемки или еще чего-то. Фильм был показан единственный раз в Ленинградском Доме писателя на вечере номиновения Федора Абрамова, в мае: Девяткин привез собственный видеоящик. Изображение быта веркольских крестьян в американском телефильме выдержано в духе подчеркнутого реалистического документализма. Поскольку все снято «скрытой камерой», без приводящей в столбняк снимаемых громоздкой киноаппаратуры, то и держатся все просто, натурально. Пристально снималось привычное для нас, незамечаемое, например, купля-продажа в сельском магазине, со всем ассортиментом: хлебушком, баранками, бутылками. Какого-либо обличения, критиканства, высвечивания «темных сторон», обязательных нынче в нашем кино, у американцев нет и в помине. Фильм — бодрый, доброжелательный, местами, по нашим понятиям, наивный. И так интересно увидеть нас самих глазами американцев! Но не судьба...

Позволю себе еще одно попутное впечатление: жизнь тем и хороша, что постоянно течет как река; в нее дважды не ступишь. Как-то иду по Невскому, навстречу мне Дмитрий Девяткин, молодой, красивый, преуспевающий американец, идет и плачет, слезы текут ручьями у него по лицу. Я к нему: «Что с тобой, Митя?» Он поплакался мне в жилетку: «Да, знаешь, моя жена подала на развод. Я иду разводиться...» И поведал мне историю о том, как полюбил русскую девушку в Ленинграде, предложил ей руку и сердце, что и было принято... Увез молодую жену в Штаты, там год с нею прожил — и не получилось,

---

Горышин Глеб Александрович (р. 1931) — прозаик, публицист. Работал журналистом на Алтае, в экспедициях на Ангаре, в Забайкалье, на Кольском полуострове. Автор многочисленных книг. Член СП. С 1977 по 1982 г.— главный редактор журнала «Аврора». Живет в Ленинграде.

жена заартачилась, вернулась в родительский дом... И вот теперь — разводиться (не знаю, войдет ли этот бракоразводный процесс в статистику рухнувших браков по Ленинграду). Чем я мог Митю утешить? Я предложил ему, по русскому обычаю, куда-нибудь зайти, чего-нибудь выпить. Мы отыскали такое местечко (что в Ленинграде почти невозможно), выпили-закусили, тем и утешились. Для хэппи-энда к этой вставной, матримониальной новелле скажу, что Дмитрий Девяткин нашел себе в Ленинграде еще одну невесту, увез ее опять-таки в Штаты... Дай им Бог любви и мира... Из частной истории можно сделать и общий вывод: русские невесты нынче в чести у американских женихов.

Примерно в то же время, что Девяткин, на родине Абрамова снимала фильм группа Ленинградской студии кинохроники с режиссером Павлом Коганом: «Даждь нам днесь...». Я дважды посмотрел ленту Когана: фильм серьезный, с философическим подтекстом, неоднозначным... чтобы не сказать многозначительным, с апокалиптической символикой, с болезненностью, надрывом в акцентировке, с преобладанием приема над объектом изображения. В фильме Когана мне не хватило абрамовской ясности, недвусмысленности в отношении к миру, той красоты, которая... спасет мир... Самого Абрамова не хватило, он там, собственно, и не ночевал.

По-видимому, наиболее адекватны тому, что мы называем «миром Федора Абрамова», пользующиеся неизменным успехом у зрителей спектакли Льва Додина в Ленинградском Малом драматическом театре по романам «Братья и сестры», «Дом» — у нас, а теперь и за рубежом. Вспомним, что начинались эти спектакли... в Верколе: будущие актеры, тогда студенты Театрального института, их преподаватель Лев Додин жили в монастыре Артемия Веркольского за Пинегой; консультировал их Федор Абрамов; со всех сторон молодых, восприимчивых людей обступала, разговаривала, как пела, нашептывала, завораживала, наставляла — своими ритмами, обертонами — северная деревня, русская до мозга костей, до лучинки в крыле сказочной птицы, на глазах рождавшейся под инструментом крестьянина-самородка Дмитрия Клопова. Успех абрамовских спектаклей в театре Льва Додина — в их национальном звучании, художественном приближении к той самой «загадке русской души», некой терра инкогнита, находившейся у нас так долго под запретом...

Но послушаем, что сей год говорят на Пинеге... «Сей год» как универсальную единицу времени употребляют всюду, куда ступила нога посланца господина Великого Новгорода в средние века; это — новгородская единица. И на Пинеге тоже. Ради этого (послушать, что говорят) я отправился на родину Абрамова, в предзимье, как, бывало, езживал и в другие времена года. Непосредственные впечатления записаны мною отрывочно, при удобном случае, главным образом в комнате приезжающих при Музее Федора Абрамова в Верколе...

В этом месте необходимо обратиться благодарной памятью к создателю музея, первому его директору Ивану Никандровичу Просвирнину, в прошлом военному моряку, родом с Печоры — человеку светлому, истинно интеллигентному, преданному Северу, влюбленному в Федора Александровича...

Моя дорожная муза (или фортуна) сподобила мне на этот раз в попутчики представителя новой генерации (или формации), молодого человека лет тридцати, московского художника-фотографа Сережу. Наша совместная с Сережей поездка на Север явила неоценимые качества моего товарища в путешествии: психологическую совместимость в любом стихийно возникшем сообществе, готовность брать на себя ношу, чапать по грязям в резиновых сапогах, истовую целеустремленность в достижении поставленной цели. Цель он поставил себе — воссоздать средствами художественной фотографии красоту русского Севера, будь то человеческие лица, руины некогда бесподобных по благолепию храмов-монастырей, дива природы... В сознании московского молодого человека, художника по призванию (Сережа закончил художественный институт), странным образом отложилось некое догматическое представление о предмете интереса как о чем-то неизменяющемся, раз навсегда данном; его выборочный вкус тотчас вылущивал из многообразия действительности то, что, по затверженному правилу, красиво: какую-нибудь деталь старины, всегда эстетизированную. Каждый его выход на натуру сопровождался ритуальным вздохом: «Совдепы угробили красоту». (Что трудно оспорить, побыв хотя бы день в том месте, где высился, являл собой жемчужину Севера монастырь Артемия Веркольского, стены коего разобрали на кирпич, а кровлю куполов храма на ведра.)

Скажу еще об одной Сережиной особенности, характерной, может быть, и типичной для столичного жителя: в его многопудовом заплечном мешке находилось все необходимое для автономного плавания по проселкам нашего государства. Чего там только не было: и чай английский, и кофе бразильский, и финская копченая колбаса, и овсяное печенье, и шоколад с орехами, и туалетная бумага... Жизнь научила Сережу не полагаться на общепит, на торговую сеть, природа наделила его недюжинной телесной могутностью. Аппаратура у Сережи, конечно, японская... Вот какие бывают богатыри, какого товарища в дорогу вдруг подарила мне моя — такая привередливая — фортуна.

Итак... прилетели в Архангельск. Из аэропорта приехали на вокзал. До поезда в Карпогоры оставалось три часа. На перроне пахло железной дорогой. Устроились на пустой скамейке, Сережа расшнуровал свой мешок-самобранку...

Вскоре вблизи нас появился архангельский мужик, как большинство мужиков на Севере, в резиновых сапогах с отворотами, с дюралевым кузовом за спиной и еще тяжелой сумкой поверх кузова. Мужик обратился к нам в приказном тоне: «Примите сумку!» Мы приняли сумку. Мужик был лет пятидесяти, огрузневший, запыхавшийся. Мы от души предложили ему угоститься с нами чем Бог послал (Сережа добыл из недр мешка), но он совершенно внушительно отказался:

— Я пью запоем. Недавно завязал. За десять дней пятьсот рублей просадил. Это же надо своим горбом потом мантулить. Я по четыре-пять месяцев в рот не беру, а потом срываюсь. На этих алкашей посмотрю, они, ханыги, каждый день тянутся, как еще живы...

То есть архангельский мужик отдавал предпочтение запойному пьянству против перманентного. В этом состояла существенная установка его жизненной программы. Далее он разобрал сложившуюся ситуацию в связи с антиалкогольным указом:

— По двадцать пять рублей за бутылку берут, а то и по сорок. Я на юг ездил, там одна самогонку продавала, четвертак бутылка. А она у нее даже не горит, бурда какая-то. Чего достигли? Сахару не стало. Спекуляцию расплодили...

У архангельского мужика была полная сердитая ясность — в отношении не только последствий, но и первопричин.

— Надо было остановиться на февральской революции,— сказал он с выражением полной изученности вопроса.— Октябрьскую не надо было затевать. Плеханов предупреждал Ленина...

Я изложил противную точку зрения на поднятую проблему. Ощетинившийся архангельский мужик не преминул меня «срезать», как, помните, Глеб Капустин в рассказе Шукшина «Срезал»?..

Над перроном рассеивался дрожащий, мерцающий, игольчатый свет. Было зябко, плывуче, как бы вне времени и пространства.

Наконец мы сели в поезд зеленый, до Карпогор ехать целую ночь. Белье не выдавали, а только зеленые одеяла — «товарные одеялки», как сказала проводница. Белье иссякло,— поскольку урезали план сбора хлопка, или от упадка льна, или еще почему, одно с другим связано неразрывно.

Утром в Карпогорах райком оказал нам услугу, быстро усадил в райкомовский УАЗик, ну, конечно, из уважения к памяти земляка. По дороге шофер указал такое место, откуда недалеко до лесного озера. Он сказал, что летом, когда тебя комары с мошками угрызут, окунешься в это озеро, и все как рукой снимет. А однажды вблизи этого озера его свояка ужалила змея. Место укуса свояк прижег сигаретой, укушенную ногу опустил в озеро — и здоровёхонек убежал домой.

Бывают исторические ситуации (особенно заметные в России), когда люди разуверяются в посулах науки, государства, правительства... и тогда с какой-то детской доверчивостью принимаются искать панацею от недуга — социального или телесного — в чем-нибудь хоть чуточку запредельном, за пределом несбывшегося, будь то летающие тарелки, инопланетяне, Джуна, Кашпировский, чудодейственное озеро по дороге из Карпогор в Верколу. В такие периоды вдруг заново открывают пророческий смысл в Священном писании, в политграмоте канонизируют то, что недавно почиталось ересью... И как же нужен бывает в такую смутную пору метаний трезвый, остерегающий голос разума, реализма, рацио... Как дорог ненапускной, судьбою, кровью оплаченный оптимизм. Как не хватает нам Федора Абрамова!

Хотя, конечно, и он, природный веркольский мужик, поди, купывался в том целебном озере, избавлялся от нанесенного комарами увечья. И в народные поверья веровал...

В Верколе я впервые набрел на слово «веретьё». Это такая возвышенность, коса, сосновая гривка над сырой низменностью поймы (ее еще зовут релкой). На веретье выстроены амбарчики на сваях — курьих ножках,— под зерно. Нижние венцы у амбарчиков, как и у изб, лиственничные, для крепости; выше тяжелых лиственничных бревен не вздынуть; выше сосна...

Прежде Веркола состояла из семнадцати деревень, тут была целая волость, а теперь одно село Веркола, 3 километра от одного края до другого...

Днем падал снег. Мой спутник Сережа радостно объявил, что «это белые мухи». Он был уверен, что такое образное восприятие мира — его привилегия, радовался, как ребенок. Его подкупающая неначитанность (он и Абрамова не читал) доставляла ему массу удовольствия — в первооткрытии явлений.

Вдоль Пинеги, по ее берегам — пятикилометровые кулисы леса, водоохранные зоны, за этими зонами располагаются зоны эмвэдэшные: будут лес рубить зеки, и рубят уже, и все уж вырублено... Известно, что тайга здешняя невосстановима; на месте ее расстелется, воцарится тундра. И тогда залихорадит трясинным ознобом... саму Москву. Известно, но палец о палец не ударено, чтоб остановить поруху, будто не у нас, а где-нибудь в Амазонии.

В Верколе около 500 жителей, но всего 10 коров во дворах.

Архангельский этнограф, живущий покамест в Верколе, при Музее Абрамова, вечером за общим чаепитием высказал предположение:

— Отдать землю мужикам, через три года они миллионы огребут, страну невпроед накормят.

Экономическую максималистскую идею он сопроводил демографическим раскладом:

— При арендном подряде по делу хватило бы десяти мужиков, чтобы всю работу уделать, на фермах и в поле. Ну, конечно, при механизации. А что же делать остальным, женщинам? На каждого работника придется около тридцати незанятых. Сейчас им абы как платят, они абы как работают. Значит, что же? Придется развивать все инфраструктуры: кафе, швейные мастерские, дом культуры, дискотеку, ремесла. А куда девать аппарат? В Карпогорах чуть не все работоспособное население сидит в конторах, корпит над бумагами. И ведь так работают, что дым идет. От бумаг.

Этнограф еще сказал, что в Верколе осталось два старинных колодца с журавлями. Мелиораторы прокопали канавы, из колодцев ушла вода.

— Современный сельский мужик,— развивал свою идею этнограф,— прежде всего владеет техникой. И плотницкий инструмент у него хорошо в руке лежит, и печку складсть он умеет. Такая брошюра есть: «Как построить сельский дом». Так она из рук в руки переходит, зачитана до дыр. И «Как сложить печку» тоже. Им дай развернуться, они же за три года миллионы огребут.

Идея архангельского этнографа поперворсти увлекала своим былинным размахом: «миллионы огребут», «невпроед накормят». Но тут же и замыкалась сама на себе как идея без исполнителей. Увлекут ли на новый трудовой подвиг веркольских мужиков (хочется написать: пекашинских, как у Абрамова) забрезжившие в умах сторонних советчиков миллионы скорого прибытка? Советчики опять же понужают мужика «гнать лошадей», а пекашинский мужик, как мы помним его по романам Абрамова, даже самый справный: Нетесов, Жигов да и сам председатель Лукашин,— на работу спорый, но думает туго, на посул неподатлив. Разве что Егорша падок на скорую выгоду, так он из работников при первой возможности выбыл. Михаилу Пряслину и на ум не пришло разжиться. Сам стимул материальной заинтересованности в их время находился под строгим запретом как идеологически вредный элемент. После, когда заговорили об «испытании сытостью» (об этом роман Ф. Абрамова «Дом»), подспудно что-то нарушилось в крестьянском миропорядке, в общинном укладе, при котором веркольская пекариха Екатерина Макаровна Абрамова (прототип Пелагеи) каждое утро в одиночку плавала через страшенные пинежские разливы, в монастырскую пекарню: «Тесто заквашено дак...»

Сколько ни вглядывался Федор Абрамов в своих земляков (сам от их корня пошел), ни в одном так и не углядел оборотистого хозяина, предпринимательскую жилку. Коллективизация всех выстригла под одну гребенку? Раскулачивание выкорчевало кряжи? Да, безусловно, теперь мы знаем. Но все же... Так просто русского крестьянина не переставишь на американские рельсы (даже и поближе, на шведские или финские), как некоторым нынче вдруг захотелось...

Пример «архангельского мужика» из фильма Анатолия Стреляного, подвижничество первого советского фермера почему-то не вызывает энтузиазма на Пинеге. Забегание вперед самих себя, излюбленное средствами массовой информации, едва ли так сразу примут в крестьянском мире, во всяком случае, на слово не поверят. Сперва бы лучше... Но воздержусь от советов, их подано великое множество. Обращусь к тому, что успел высказать Федор Абрамов или не успел, только подвел нить своих размышлений о судьбах русского человека на земле... Возродить крестьянское в крестьянине — с этим призывом выступил Василий Белов, в нем все по Абрамову. Изменить политическую систему — программное заявление, вошло в перестроечный обиход. О чем и помышлял Абрамов: избавить мужика-пахаря от непосильной для него армады советчиков, погонял, реформаторов наверху. Пусть архангельский мужик сам попашет, сам и обдумает, как ему быть.

По зеленой меже на распаханной пойме, у высокого берега Пинеги бежали кони, беспричинно, ради радости самого бега по мокрой зеленой траве, под хмуреющим небом, в еще не свычной остуде первого снегопада.

Кони совершили пробежку и стали. Я спустился с угора на пойму, к реке. Каурый жеребец подошел ко мне, протянул к моей руке свою лошажью голову, запрядал ушами, близко смотрел лиловатым глазом. Я погладил его по щеке.

В Музее Федора Абрамова мне дали школьную тетрадку, в ней откуда-то списаны, ученическим почерком с ровным наклоном, данные о монастыре Артемия Веркольского, в уцелевшем корпусе коего по сю пору располагается восьмилетняя школа. В весенние разливы, в зазимок до ледостава ребятишек перевозят за Пинегу в лодке; зимой бегают по льду; в распутицу ждут у моря погоды. Есть старые люди в Верколе, носят в сердце незаживающую боль: однажды их детки уплыли в школу и не вернулись домой; лодку перевернуло на стремнине.

Кое-что из музейной тетрадки я в точности переписал себе — для памяти; в Верколе каждый все это знает назубок.

Артемий родился в 1532 году (за 399 лет до меня) от кротких и благочестивых родителей Козьмы и Аполлинарии.

Когда отроку стало двенадцать лет, с отцом работали в поле; Артемия убила гроза. Тело с поля увезли в лес, оставили поверх земли, по обычаям того времени. Над ним поставили деревянный срубец, но впоследствии он был завален деревьями и сучьями. Под этим кровом тело находилось 33 года. Однажды клирик приходской церкви Агафоний отправился в лес собирать плоды земные. Шел он мимо уже забытого всеми места, где лежало тело Артемия. Увидел свет, обнаружил нетленное тело отрока.

Тело перенесли на паперть церкви святителя Николая, где мощи существовали до 1583 года.

Новгородский митрополит освидетельствовал мощи, указал их перепести в храм Св. Николая.

Далее, судя по записи в тетрадке, память о святом отроке Артемии теряется во тьме веков, заново возгорается со строительством церкви на берегу Пинеги против Верколы, в 1806 году, с благословения архиепископа (в этой церкви спортзал). По-видимому, церкви, монастырьку при ней в глуши лесов было уготовано прозябание, если бы не щедрое пожертвование графини Анны Алексеевны Орловой-Чесменской, пожертвовавшей обители 5 тысяч рублей. Настоятель Феодосий укрепил монастырь, привлек братию, возвел вокруг монастыря стену с башнями (очевидцы свидетельствуют, что по стене можно было проехать на тройке), великолепную колокольню.

В 1881 году Феодосий возвел двухэтажную пекарню. (Именно в ней печет хлебы героиня повести Ф. Абрамова «Пелагея».)

После Феодосия настоятель о. Виталий построил собор и корпус (в нем сейчас школа). Освящал собор Иоанн Кронштадтский.

В 1890 году монастырь Артемия Веркольского возведен в первый класс.

Вчера переехали за Пинегу, порато широкую при высокой воде («порато» — стало быть изрядно, шибко, в высшей степени, так говорят на Пинеге и еще где-нибудь). Пристали к закраине песчаной косы, рушащейся в воду. Увидели красную щелью. Щелья на пинежском диалекте суть ущелье. Краснота обрывистого берега — от наличия в почве глины, ну да, той самой, что пошла на кирпичи для монастыря Артемия Веркольского. Кирпичи делали вон там, за бывшей крепостной стеной; ямы сохранились.

Поднялись так высоко, как смогли по уцелевшим ступеням лестницы, под зияющим куполом собора огляделись. Сережа уткнулся в камеру, стал ждать солнечного луча, хотя с утра затученное небо ничего такого не обещало. Я спустился наземь, тоже нашел себе занятие: ходить и смотреть. Как-то Дмитрий Клопов поделился с нами одним из собственных умозаключений, выведенных из опыта жизни: «Как ходишь, все бывает, а как не ходишь, ничего не бывает». Воистину универсальное правило для всех, всюду, в любое время.

Дмитрий Клопов создал в Верколе общину, возглавил ее, официально где-то зарегистрировал (в райкоме в Карпогорах сказали где, но я не уловил). Община не то чтобы религиозная, но одушевленная святостью цели: восстановить монастырь, хотя бы и по кирпичику. Разумеется, с привлечением всех сочувствующих и верующих, в стране и за рубежом. Вот не хватает Федора Александровича, поддержал бы, это уж точно. Он в свое время подарил Мите Клопову мотоцикл с коляской, Митя и по сей день на коне; безлошадному бы ему не угнаться за всем...

Как-то вечером нас с Сережей пригласили в избу к бабе Шуре Яковлевой (мы сами напросились) побеседовать с бабульками, не теми, что обезножели, сидят у окошек в своих сосновых крепостях, а теми, что побойчее. Сережа изложил бабулькам свою программу фотографа-художника, не очень им, правда, понятную. Да и самому ему тоже... Как-то сбивчиво он излагал, то и дело путаясь в наборе штампов. Впрочем, это бывает с художниками: невладение словом. Кем-то даже замечено: художник, как собака: все видит, а сказать не может.

— ...Ну вот, что-нибудь такое,— косноязычил Сережа.— Я бы сделал натюрморт, какие-нибудь фрагменты... Чтобы клюква была. У вас клюква есть?

— Да есть, че другое, а это...— пообещали бабульки.

— Или грибы... Вы бы испекли что-нибудь такое, пироги с грибами... Нет, я ничего не имею в виду...

— Да можно,— с сомнением приглядывались к гостю бабульки.

— А почему вы куриц не держите?

— Эва, парень, куры-те тепло любят, а у нас, знаешь... В старо-то время кроватей этих не было, робятишек на полаты вздынут, да и ладно. Каки куры...

Сережа зевнул, аж хруст раздался во всем его обильном естестве.

— Нет, ну я думал, что на Севере живут богато, такие дома, шестистенки...

— Дома-те на две семьи строены, делились дак... Ишо для скотины — для повети: сено держали. Сами-те кое-как, в закуточке.

— А печку вы топите?

— Дак как не топим? Топи-им. Печку не истопишь и ноги протянешь.

— Мне бы хотелось снять, чтобы в печке огонь, может быть, угли.

— Дак угли-те нагорят. Сымай.

— Да нет, вы знаете, хотелось бы снять какие-нибудь пирожки, вы печете? Что-нибудь такое местное, шанежки. Нет, нет, я сам на них не претендую, хотелось бы показать колорит, чтобы пышки, а на окне бы корзинка с клюквой. Я бы на фоне клюквы снял бы пейзаж за окном.

— И клюкву найдем.

— Хотелось бы снять поветь, а на ней сено.

— Сена сей год не держим, коровы нет дак.

— А почему не держите? Северный крестьянин всегда держал корову или двух.

— Мы надержались, а молодые не умеют, разучивши дак.

— Ну, этому же так просто научиться. Бабульки зашевелились, посерьезнели.

— С коровой жись проживешь и то иной раз не знаешь, как к ей подойти. Корова — существо одушевленное, что ты ей дашь, тем же и она тебе отплатит.

Сережа зевнул.

— Я к вам зимой хочу приехать. В марте, когда снега засверкают. Мне бы хотелось снять охотника с ружьем, на лыжах. У вас кто-нибудь на лыжах ходит?

— Как не ходить. Ходит, кому делать нечего. Эвон Мишка Усанов... Только в марте-то уж не охота.

— Нет, я не имею в виду, чтобы у него медведь за плечами или связка зайцев. Мне хочется показать что-нибудь вечное: мужик идет в тайгу на охоту. Леса у вас глухие? Заблудиться можно?

— Как не заблудиться? Прошлый год Емельянова женка пошла по ягоду, да и стемнелась. Хватились, криком кричали, стреляли. Утром рабочие с лесопункта такой гул подняли. Явилась сама не своя.

— А звери есть? Медведи?..

— Как не быть?! Полно! У Анны-те Веселовой, на грязях живет, в лошшины... Мужик померши у ей, онная живет. Спать уж собравши была, тут ей поблазнилось, кто-то в окно заглядывает. Она в окно сунулась, а там медведь на ее смотрит. Ох, тошнехонько! Она печку скоренько затопила, а он ишо заглядывал. Столько страху на ее напустивши, дак скоренько она и померши.

Сережа зевнул.

— Ну, а вот баню..

— Дак баня у меня истоплена,— готовно отозвалась одна из бабулек.— Иди парься!

— Да нет, мне бы интересно кого-нибудь снять, чтобы на полке сидел, напарился докрасна... Хорошо бы северную девушку с длинной косой...

Бабули опять пошевелились, потупились, запереговаривались.

— Таких девушек у нас нет, нарень. Это у вас там, а у нас нет!

В заключение надо сказать, что Сережа не отвязался от бабулек, и они ему предоставили все обещанное. Сережа снял и сено на повети, и клюкву в берестяной корзинке — на самой чувствительной в мире пленке. Напарившуюся докрасна девушку с косой не снял... В будущем году выйдет красочный календарь с картинками русского Севера, снятыми Сережей.

Я думаю, всех нас, грамотное население, можно поделить на две части: одни читали Федора Абрамова, другие не читали. Нечитавшие и на йоту не продвинулись далее клюквы в понимании крестьянской жизни, русского Севера и всего такого прочего, равно как и в разгадывании «загадки русской души».

Шли от монастыря, от Ильинской деревянной церкви к бывшей деревне Ежемень, свернули к Артемьевой часовне. Сопровождавшая нас сотрудница Музея Ф. Абрамова Александра Абрамова сказала, что знатоки приезжали, определили: раз к часовне пристроили алтарь, это уже не часовня, а церковь.

На Артемьевой церкви был навешен замок и сорван. Внутри церкви на алтаре стояла домовина — просторный гроб из тесаных досок. На этом месте, согласно преданию, и был поставлен срубец с телом преставившегося отрока Артемия. Прошедшее с тех пор время в пустой деревянной церкви посреди пустого места никак не ощущалось; гроб вполне мог быть обитаемым. Все помещение церкви застелено, завешано рубахами, платками, еще какими-то тряпками, бельем. Сюда приносят ту часть одежды, с той части тела, какая занемогла, затосковала, в надежде, что праведный Артемий поможет против хвори. Вот как языческое перемешалось с православным. Что ни говори, а много в нас дохристианского, идолопоклонного...

В домовине Артемьевой лежало несколько бумажных рублей с мелочью. Саша сказала, что на Артемия (5 августа) нанесено было больше ста рублей — на содержание церкви. Кто-то, скорее всего приезжие, замок сломал, все унес. Я мысленно попенял бабулькам за их ротозейство; одной хотя бы поручили за церковью приглядывать, приношения обирать. А то что же?

В изголовье праведника развешаны белые плащаницы с вышитыми на них красными крестами аппликациями, какие-то нездешние, похожие на знамена крестоносцев...

Мы с Сашей поднялись на колоколенку, увидели окрестность на все стороны. Саша сказала, что сеют жито; когда летом сюда взойдешь, посмотришь,— колосья колышутся, шелестят, шепчутся.

Церковь подпахали под самую ступеньку крыльца. Якобы усердие в трудах, а на самом деле бездумное озорство. Почему не оставить вокруг храма лужайку с цветами и травами? Кто указал? Кто исполнил? Какое-то проклятье тяготеет над нами: уже не одно поколение «советского народа» — и наше, и последующие за нами — патологически не хотят, не могут признать естественного права наследования, своего духовного родства с тем, что чтили в России, во всем христианском мире...

В соборе монастыря Артемия Веркольского на сохранившихся фрагментах фресок лики святых угодников заляпаны какой-то мерзкой черной жидкостью. Может быть, приносили склянки с соляром, целились, кидали — надругались над угодниками и что-то человеческое, божеское невозвратно потеряли в себе, лишились опоры. Сорваны оклады в бывшем алтаре, в прошлый мой приезд они еще были на месте. У кого рука поднялась? Кто целил склянкой с соляром в лик святого угодника Николая? Кто? Зачем? Откуда взялась эта ненависть? За ответом недалеко ходить. Наш строй, наша система — с отчуждением человека от земли, природы, родительского дома, родных могил, от самого Господа Бога с его угодниками — породили в бессвязно живущем человеке ожесточенное, пагубное неприятие старины, собственной колыбели. Человек одичал.

Еще прошли вязкой пахотой до деревни Смутово, в три избы. Здесь, бывало, ночевывал Федор Александрович. Посидели на лавочке над рекой, на задах у избы огромной, потемневшей, посеребрившейся. Пришла хозяйка избы баба Дуся, одна жительствующая здесь, в ватнике, в валенках с галошами, в суровом платке — в той самой одеже, в какой ходили пинежские бабы в романах, рассказах Федора Абрамова; с лицом замкнутым, обветренным, с теми же следами долголетия, устойчивости ко времени и непогоде, что и ее изба.

Сережа попросил у бабы Дуси разрешения снять ее, баба Дуся осердилась:

— Кому я нужна без зубов да в худой одеже?

Баба Дуся не поддалась на уговоры.

Мы перешли к другой столь же громадной избе. На усадьбе нас встретил дед в очках, в шапке со спущенными ушами, в кирзовых сапогах, в латаных-перелатаных штанах, ватнике, с клюкой в руках. Дед ждал нас, накапливая в себе давно искавшую выхода желчь. Он высказал нам то самое, что витало в атмосфере.

— Вот скажите,— заголосил дед (после мы познакомились: Иван Иванович Яковлев),— зачем мы кровь проливали, за что? Две войны прошли, все на своем горбу тащили. За что мы теперь мучаемся? Коммунисты с комсомольцами в тридцатые годы храм рушили. Колокол скинули, да он на два метра в землю ушел. А теперь спохватились? А? Мне восемьдесят два года, за куском хлеба в Верколу иттить... Раньше дорога была, все. Распахали — зачем? Шиш у их вырастет, да и того не уберут, только технику покурочат. А иттить по пахоте — каково? Председатель сельсовета за что зарплату получает, а управляюший совхоза и того больше? А вон ты, Александра, депутат сельсовета, ты че?

— А ниче,— сказала Александра,— я скажу, меня не послушают.

— А на сессиях че юбку просиживаешь? У меня постановление есть райсовета: мне как инвалиду Отечественной войны доставлять продукты. А продавщица ни разу у нас не бывала. Никому дела нет.

Иван Иванович, было видно, уже выпустил пар, в его лице проступала обыкновенная доброта много поработавшего на веку русского человека. Нас пригласили к столу. Хозяйка Анисья Григорьевна заварила последнюю щепоть чаю, поставила на стол тарелку с лапужниками: на лапуге — капустном листе,— на поду в печи испеченными ржаными хлебцами, подала миску с солеными рыжиками, совсем уже посиневшими, прошлогодними. Повинилась: «Сей год грибов не было. А больше нечем угощать».

Потом фотографировались на лавочке. Сережа попросил, чтобы дед приобнял бабку. Дед сказал: «Это можно. Своя дак». Положил руку на плечо Анисье; рука его, будто неживая, лежала на плече подруги как нечто постороннее, бесчувственное.

Шли берегом к переправе, а перевозчика уже и след простыл. Александра присела на корточки, тонким чаичьим голосом позвала:

— Перевезите за реку-у!

Последний звук ее позыва высоко взлетел, унесся в пустоту смутного предвечернего неба над сизовороной Пинегой.

С монастырского берега вся Веркола видна как на ладони. И такая она приманчивая, обжитая. Подняться на угор, войти в ограду нежилого дома, постоять у могилы Федора Абрамова, посмотреть в его просветленное на портрете лицо... На последней странице книги «Дом в Верколе» Л. В. Крутикова-Абрамова делится поразившей ее метаморфозой, происшедшей с Федором Александровичем: «Никогда не забуду измученного и отчужденного выражения его лица 14 мая, в день кончины, когда мне разрешили увидеть его после вскрытия. Холодное, окаменелое, чужое лицо. «Это уже не он»,— вырвалось у меня... И на траурной панихиде в Белом зале Дома писателя в Ленинграде он выглядел таким же отчужденным.

Но после ночи, проведенной в Верколе, лицо его как бы посветлело, успокоилось. Как будто он был доволен, что вернулся на родину».

Саша Абрамова опять присела, позвала:

— Перевезите за реку-у-у!

Петро Григоренко

ВОСПОМИНАНИЯ

НОВЫЙ КОТЕЛ

При отъезде из Сталино мы получили в вербовочной комиссии адрес студенческого клуба в Харькове на Пушкинской улице. Комендант клуба, превращенного в общежитие, выдал нам матрасы и дал очень «ценные указания»: «Ищите место в зрительном зале». Когда я вошел, зал гудел, как улей, и был набит людьми до отказа. Несмотря на это, я сумел приткнуть свой матрас к стене зала, почти у самой сцены.

На следующий же день по прибытии я пошел на занятия. Первый мой урок по высшей алгебре вызвал у меня, очевидно, такое же чувство, какое бывает у быка, на голову которого обрушился молот убойщика. Я был оглушен и, ничего не понимая, автоматически списывал все с доски. Мне, как и всякому, кто от конечных величин средней школы внезапно переходит в мир бесконечностей, все казалось нереальным.

Пришло само собой решение начать с тех разделов алгебры, геометрии, тригонометрии, физики, химии, которые я не успел пройти на рабфаке. На урок ходить и записывать все, что преподавалось,— авось что-то в голове останется к тому времени, когда я, закончив программу средней школы, возьмусь за нынешние курсы. Задача, за которую я брался, была невероятно тяжелой. Меня и до сих пор страх охватывает, когда я вспоминаю о том времени. Но тяжесть этой задачи еще больше возрастала от условий. В зрительном зале клуба (на 500 сидячих мест) поселили не менее 200 студентов. Каждый из них занимался чем угодно, но только не уроками. Поэтому непрерывно, почти круглосуточно, в зале совершалось коловращение. Он бурлил, как кипящий котел. Скрючившись на своем свернутом матрасе, я решал задачи и так увлекался, что переставал замечать творящееся в зале, жил своей жизнью. Эта выработанная тогда привычка сосредоточиваться, уходить в себя очень помогла мне потом, в моей последующей жизни, особенно во время пребывания в психиатричке.

Когда меня вызвали в партком института и сообщили, что есть мнение рекомендовать меня секретарем комитета комсомола, я попросил хотя бы год ничем меня не нагружать, так как я из спецнабора рабочих и мне надо сосредоточиться на учебе. Секретарь парткома, студент второго курса Топчиев, в ответ на это заметил:

— А мне не надо? Я парттысячник, меня партия сюда прислала специально для того, чтобы я учился. Придет время, пришлют платных секретарей, а пока придется нам совмещать это дело с учебой. Ну, а ты учиться умеешь. Это парткому известно. И мы уверены, что и дальше в отстающих ходить не будешь.

Я воспринял эти слова как приказ партии. В марте 1930 года общее комсомольское собрание института избрало меня секретарем комитета комсомола и делегатом на VIII съезд комсомола Украины. Шла большая реорганизация. То, что мы называли в это время институтом, в действительности таковым не было. Практически наш инженерно-строительный факультет Харьковского технологического института выделили из состава последнего и наименовали Харьковским инженерно-строительным институтом. Но чтобы он стал таковым, надо еще было организационно оформить его: определить и сформировать факультеты, разработать программу, разместить студентов и институт, оборудовать последний. Ну и, конечно, «переварить» людей в общеинститутском котле. Состав студентов представлял собой конгломерат возрастов, знаний, политической подготовки и воззрений.

Более половины студентов первого курса составлял наш спецнабор, это была наиболее однородная группа в сравнении с другими. По преимуществу в ней были люди очень малых знаний, не приученные к умственному труду. Большинство, будучи зачислены вербовочными комиссиями в число студентов, выезжать в институт не торопились, гуляли по родным весям, потрясая своим «студенчеством» и срывая на этом розы незаслуженного почета. Приехав в Харьков с деньгами, они продолжали гулять в компании таких же. На вызовы и предупреждения не обращали внимания, не без основания считая, что раз набрали, то уже не выгонят, а попробуют найти путь, как подать им знания «на блюдечке с голубой каемочкой». И вот нашли. Всю массу студентов спецнабора, которые почти полгода болтались без дела, переопросили добросовестные преподаватели, разбили на группы соответственно уровню знаний и начали занятия в каждой группе от этого уровня. Программа была составлена так, чтобы к середине второго курса все группы спецнабора догнали основной курс и далее шли по общей программе.

Хотя спецнабор и имел значительный удельный вес, но не он один представлял всю массу студентов. Почти половина первого курса и все остальные курсы укомплектованы в основном по конкурсному набору, из различных социальных слоев, преимущественно из интеллигенции. Этому способствовали, разумеется, симпатии преподавателей института, но больше всего влияла неправильная система образования. Семилетняя трудовая школа знаний для высших учебных заведений не давала, а рабфаки и профтехшколы удовлетворяли лишь незначительную часть потребности вузов. Интеллигентные родители организовывали для своих детей, окончивших семилетку, подготовку в вузы частным образом, и они шли затем по свободному конкурсу, то есть по сути без конкурса, поскольку абитуриентов было меньше, чем мест в вузе. Таким образом и создалось устойчивое большинство студентов из интеллигентной среды.

На втором курсе было несколько парттысячников из числа той тысячи старых коммунистов, которых ЦК направил в 1928 году во все основные вузы страны. На первом и втором курсах учились несколько десятков профтысячников, на всех курсах имелось небольшое число рабфаковцев. Они имели наиболее систематизированную подготовку к учебе в вузе. Парттысячники — Топчиев, Максимов, Малер — люди серьезные. К учебе относились с усердием и потому пользовались среди студентов авторитетом, уважением.

Профтысячники произвели на меня куда худшее впечатление. Не знаю, чем объяснить, но все, кого я знал из них,— люди страшно ограниченные, тупые и зазнайки. Приведу один пример. Был такой студент — профтысячник Загребельный. Ему было, по-видимому, 32—33 года. Но нам, 18—19-летним юношам, он казался довольно старым. Рост около 190 сантиметров. Косая сажень в плечах. Тупое и наглое его лицо было полно высокомерия. Но чего нет, того нет — знаний никаких. Он и таблицу умножения не знал. По-моему, не хотел или ленился запомнить. В нашу учебную группу попал он на втором курсе. По принятой тогда практике к нему как отстающему прикрепили сильного ученика Юрка Пасютинского, из числа поступивших в институт по свободному конкурсу. Небольшой ростом, с детским нервным личиком, интеллигент до мозга костей — грубое слово не только что произнести, слышать не может. Когда нервничает — переходит на украинский и так частит, что даже мне бывает трудно понять. Тем же, для кого украинский не родной или вышел из употребления в семье, вовсе непонятно.

И вот началась история. Загребельный ничего не понимает. Не может ответить преподавателю даже на вопросы, относящиеся к заданию, которое он выполнил дома. Комсомольская организация группы обвиняет во всем Пасютинского. Тот нервничает, частит по-украински, а Загребельный с наглой улыбочкой говорит, что Юрко ему не помогает. И это не один раз. Юрко уже получил несколько предупреждений. Комсорг просит меня поговорить с ним. Остаюсь с Юрком после урока. Он нервничает от того, что комсомольское начальство, хоть и его согруппник, но секретарь комитета всего института, собирается прорабатывать его. Сели. Я, обращаясь по-украински, прошу рассказать о взаимоотношениях с Загребельным. И я узнаю, что тот на занятия с Юрком не ходит. Требует, чтобы Юрко выполнял все его домашние задания и писал объяснения, как он это делает. Каждый раз грозится, что пожалуется в комсомол и что ему как члену партии поверят.

Мы долго проговорили. Юрко успокоился, перестал частить. Спросил я его, что думает он о Загребельном, стоит ли его учить.

Он ответил:

— Не стоит, но учить его будут и из института выпустят.

В ответ на это я задал риторический вопрос:

— А на что нужен такой инженер, что он будет делать?

Продолжение. См.: «Звезда», 1990, № 1, 2.

Но Юрко ответил абсолютно серьезно:

— Моим начальником будет.

Ответ был, конечно, символический, но по иронии судьбы оправдался дословно. В 1934 году Загребельный и Пасютинский закончили учебу и были выпущены из института. Загребельный назначен начальником дорожно-строительного управления, Пасютинский — главным инженером в то же самое управление. Так судьба свела их вторично после того, как я в конце 1930 года развел их. Тогда я сам взялся быть прикрепленным к Загребельному. Дважды вытянул его на партком для ответа за уклонение от учебы. И он не выдержал — ушел из нашей группы. Мучил кого-то другого. Но двигался с курса на курс, пока не перешагнул институтский порог с дипломом в руках. Сколько видел я их, таких дипломированных бездарностей! Всех их выпускали, идя на всевозможные ухищрения; я помню даже случай, когда одному особо «дубовому» устроили закрытую защиту, не допустив на нее не только слушателей, но и тех членов госкомиссии, которые могли бы высказаться против. И все такие люди шли на пополнение рядов начальства, и, что особенно интересно, почти никто из них не пострадал во времена сталинских чисток.

Загруженные до предела своей личной учебой и внутриинститутскими делами, мы не забывали и о жизни страны. Однако шла она как-то стороной.

Я, да и подавляющее большинство студентов не знали о прокатившейся тогда волне антиколхозных восстаний. Очень слабые слухи о них дошли до нас как рассказы об отдельных «бабьих бунтах». Женщины, мол, поверили кулацким россказням о том, что спать будут все под одним одеялом и есть из одного котла, и... пошли громить колхозы. Мужчины их урезонили, где словом, а где и кулаком, и все успокоились. Теперь-то я знаю от очевидцев, что тактика тех восстаний была такова: громить колхозы начинали женщины, а если против них выступали коммунисты, комсомольцы, члены советов и комитетов бедноты, то на защиту женщин бросались мужчины. Это была тактика, рассчитанная на то, чтобы избежать вмешательства войск и кровопролития. Тактика оказалась успешной. На юге Украины, на Дону и Кубани колхозный строй был ликвидирован за несколько дней. Пришлось ввести в дело войска.

Мы этого не знали. Поэтому насквозь лживая и лицемерная статья Сталина «Головокружение от успехов» была воспринята как проявление гениального провидения в политике: «Сталин увидел то, что никому еще не видно,— то, что погоня за высоким процентом коллективизации может привести партию к отрыву от масс». На самом деле партия уже давно стала во враждебные отношения с крестьянством. И сейчас Сталин прибег к демагогии, выигрывая время для подготовки нового удара по крестьянству. Когда же через несколько недель появилась в газетах статья «Ответ товарищам колхозникам», нас охватил подлинный энтузиазм: «Вот истинная мудрость вождя — предупредить от поспешности и забегания вперед и одновременно указать, что отступать от достигнутого нельзя. Достигнутые рубежи надо закреплять».

Сейчас можно сотни раз повторять, и немало современников тех событий повторяют: «Как ловко нас всех обманули, как за завесой «мудрых» слов «Ответа» скрывали подготовку страшнейшего преступления против крестьянства — искусственного голода». Я для себя этого оправдания не приемлю. Нас обманули потому, что мы хотели быть обманутыми. Мы так верили в коммунизм и нам так хотелось в него поскорее протиснуться, что мы готовы были оправдывать любые преступления, если они хоть немного подлакировывались коммунистической идеологией. Мы не хотели охватывать происходящие события широким взглядом. Нам больше нравилось упереть взгляд в конкретное явление и заставить себя поверить, что это единичное явление, а в целом дело обстоит так, как его партия освещает, то есть так, как это и положено по коммунистической теории. Так было спокойнее для души и... признаемся честно, БЕЗОПАСНЕЕ.

Скажу о себе. Я мог, я обязан был видеть, сколь страшная опасность нависла над нашим народом. Я своими ушами слышал, как секретарь ЦК КП(б)У Станислав Косиор — коротышка в прекрасном отутюженном костюме, с бритой до блеска большой круглой головой — летом 1930 года инструктировал нас, отъезжающих в качестве уполномоченных ЦК на уборку урожая:

«Мужик перешел к новой тактике. Он отказывается убирать урожай. Он хочет, чтобы погиб хлеб, чтобы можно было костлявой рукой голода задушить Советскую власть. Но враг просчитается. Мы его самого заставим узнать, что такое голод. Ваша задача — сорвать кулацкую тактику саботажа уборки урожая. Убрать все до зернышка и собранное немедленно вывозить на хлебосдачу. Степняки не работают, надеясь на спрятанное в ямах зерно прошлых лет уборки. Надо заставить их раскрыть ямы».

Помню, какое гнетущее впечатление произвело это на меня. С. Косиор пал одной из жертв сталинского террора, но сочувствия у меня к нему нет. То, что он нам говорил на инструктаже, свидетельствует, что он один из организаторов искусственного голода. Но тогда я так не думал. У меня вызвал отвращение лишь сам Косиор. Все, что мне впоследствии становилось известно об искусственном голоде на Украине, я невольно относил к Косиору. И когда его арестовали в 1937 году — расценил это как справедливое возмездие за его антинародную деятельность.

Теперь мне ясна и узость, и одибокость моих оценок, и неумение поставить все точки над i в инструктивной речи С. Косиора.

Мне явно не хотелось додумывать до конца. А думать было над чем. Еще весной 1930 года, где-то в конце мая, я побывал в Борисовке. Тяжело заболел мой первый, полуторагодовалый сын. И врачи рекомендовали отвезти его в деревню — на молоко, свежие овощи и фрукты. Звало в село и письмо Мити Яковенко, который вступил в должность председателя колхоза после осуждения Максима Махарина. Митя писал, что отец мой вышел из колхоза, не стерпев тяжелой, незаслуженной обиды от «неумного начальства».

Что же фактически произошло? Колхоз крепкий, со значительным опытом коллективной работы. Он организовался еще в 1924 году на строго добровольных началах. Поэтому колхозники в нем (в то время, как кругом громили колхозы) не бунтовали и работу не бросали. Но так как после начала массовой коллективизации выдача на трудодень фактически прекратилась, то взрослые мужчины стали что-то заработать вне артели, а на работу в колхоз посылали вместо себя мальчиков-подростков и женщин.

Отец, объезжая поля (он был полеводом), увидел, как один из подростков, работая вместо отца, вел вспашку с большими огрехами. Он соскочил с линейки, на которой ехал, и, как был, с кнутом в руках, бросился по пахоте к бракоделу, крича: «Останови лошадей! Не порть землю!» Но тот, как ни в чем не бывало, продолжал творить все новые огрехи. Отец подбежал, выхватил у парeнька вожжи и остановил лошадей, хлестнув кнутом пахаря при этом.

— Что же ты делаешь, сукин ты сын?! Зачем землю портишь?! — кричал он на хлопца. Тот отскочил в сторону и с обидой проговорил:

— Так разве оно твое?

— Да если бы оно было мое,— крикнул еще не успокоившийся отец,— то я бы тебя убил вот здесь и в огрех закопал...

Потом поле перепахали, и конфликт, казалось, был исчерпан. Но вдруг, на второй или третий день после описанного события, уполномоченный райкома партии (таковые в то время постоянно жили в каждом колхозе), выступая перед колхозниками, заявил:

— В колхозе, несмотря на осуждение Махарина, не изжиты кулацкие настроения. Даже уважаемый всеми полевод — Григорий Иванович Григоренко — в разговоре с комсомольцем (имярек),— тот паренек, оказывается, был комсомольцем,— заявил: «Если бы всю эту землю дали мне, то я бы навел на ней порядок».

Отец не стал слушать дальше, поднялся и сказал:

— Ну, если за все добро, которое я сдал в артель добровольно, да за мой честный труд в артели меня еще и охаивать будут, то пусть все мое имущество вам достается, а я свою семью прокормлю и собственными голыми руками.

И ушел с собрания и из колхоза. Вот меня и позвали развязывать этот конфликт. В конце концов отец вернулся в колхоз. Перед ним, разумеется, извинились. Но дело не в этом. Вся суть в том, что даже в добровольно организованном и дружном колхозе была убита любовь к труду. Причем даже у комсомольцев. Суть также в разговорах, которые мы вели в течение нескольких дней многими часами.

Отец давал очень глубокий анализ происходящему в сельском хозяйстве и рисовал отнюдь не радостную перспективу, в которую я верить не хотел. Однако и возразить ничего не мог. Отец стоял на почве фактов. Он утверждал — урожайность катастрофически падает. Я протестовал, ссылаясь на газетные данные, но он едко, с чисто украинским юмором высмеивал мои возражения.

— Не знаю, не знаю! Может, и научились выращивать хлеб на московском асфальте, только у нас хлеба нет. Припомни. Ты же немного помнишь довоенное время. У нас на побережье Азовского моря были пристани: в Приславли — 2, у Голикова (помещик) — 1, у Шоля (помещик) — 1, в Ногайске — 2, в Денисовке — 1, у Жуковского (хлебный купец) — 1. Всего — 8. И на всех принимали хлеб. Да еще принимали в порту Бердянска и на станции Нельговка. И везде, чтобы сдать бричку пшеницы во время уборки, надо было два дня в очереди простоять. Теперь из тех 8 пристаней осталась одна, в Ногайске, но на ней хлеб не принимают. Приемка хлеба происходит только в порту Бердянск и на станции Нельговка. И ни тут, ни там никаких очередей никогда не бывает.

Отец и причины разъяснил очень убедительно. Главные — потеря заинтересованности в результатах труда и систематическое умерщвление инициативы. Попасть под суд, говорил он, ничего не стоит. И попадает не тот, кто ничего не делает, а тот, кто хочет сделать лучше и вступает в противоречие с глупыми директивами.

С возмущением отец говорил:

— Ну кому и зачем нужно, чтоб сроки сева указывала Москва? Да сколько я хозяйничал, я никогда не сеял в одно время в первом и четвертом поделе. А кому помешал «букер»? Почему запретили его использовать для пахоты и сева? Ведь в засушливый год это наше спасение. А люди почему не работают? Наша артель дружная, работали хорошо, а соседи ничего не делали. Хлеб не обмолотили. Так район и за них выполнил хлебосдачу нашим хлебом. В результате мы остались без хлеба, а соседи свой молотили и ели после хлебосдачи. Кто же станет работать после этого? А вообще система: за все отвечает добро-

совестный труженик, ответа за государственные дурости спросить не с кого. Не выполнил дурацкую директиву — под суд за невыполнение, выполнил и тем вред большой нанес — отвечаешь за ущерб государству.

Много еще было разговоров. Во всех я терпел полное поражение. Но это меня не только не убеждало, не отвращало от сложившихся коммунистических взглядов, но злило, понуждало к поискам возражений, к отпору любым способом. Однако отцовские доказательства были настолько убедительны, что, несмотря на их неприемлемость для меня, непроизвольно проникали в какие-то далекие уголки моей души и потом, с течением времени, с появлением новых фактов, вдруг всплывали и прочно ложились в фундамент моих новых воззрений.

Очевидно, что, имея столь основательную предварительную подготовку в виде отцовских бесед, я уже мог воспринимать косиоровский инструктаж с известной долей критичности. Что ждало меня в селе, где мне предстояло быть уполномоченным ЦК, я тоже представлял примерно правильно. Но то, что я увидел, превзошло все мои самые худшие ожидания. Огромное, более 2000 дворов, степное село на Херсонщине — Архангелка — в горячую уборочную пору было мертво. Работала одна молотарка в одну смену (8 человек). Остальная рать трудовая — мужчины, женщины, подростки — сидели, лежали, полулежали в «холодку». Я прошелся по селу — из конца в конец,— мне стало жутко. Я пытался затевать разговоры. Отвечали медленно, неохотно. И с полным безразличием. Я говорил:

— Хлеб же в валках лежит, а кое-где и стоит. Этот уже осыпался и пропал, а тот, который в валках, сгинет.

— Ну, известно, сгинет,— с абсолютным равнодушием отвечали мне.

Я был не в силах пробить эту стену равнодушия. Говоришь людям — у них тоска во взгляде, а в ответ — молчание. Я не верю, чтобы крестьянину была безразлична гибель хлеба. Значит, какая же сила протеста взросла в людях, что они пошли на то, чтобы оставить хлеб в поле. Я абсолютно уверен, что этим протестом никто не управлял. По сути это и не было протестом. Людьми просто овладела полная апатия. Значит, как же противно было народному характеру затеянное партией объединение крестьянских хозяйств.

Это было противонародное действие. Если бы у крестьянина тогда нашелся вождь, партийная диктатура на этом и закончилась бы. Но вождя не было, понятной программы тоже, и народом завладела апатия. Именно такой вывод следовал из того, что я увидел в Архангелке. Но я такого вывода тогда не сделал. Объяснил все несознательностью крестьян и в одиночку стал бороться с народной апатией. И кое-что сделал. Примерно то, что делает камень, брошенный в озеро с абсолютно гладкой поверхностью. За полтора месяца, которые я там пробыл, темпы обмолота увеличились почти втрое — начали убирать кукурузу, подсолнухи, пахать зябь. Но это не благодаря мне. Людям просто надоело сидеть без дела. И они — сегодня один, завтра другой — выходили на работу. Что касается меня, то втиснуться в их среду мне так и не удалось. Они вежливо слушали, но не воспринимали моих убеждений.

Только возвратился из Архангелки — новая командировка: уполномоченным ЦК комсомола Украины в Донбасс, на уголь. Стране не хватает угля. Чтобы увеличить его добычу, не машины дают, не организацию труда улучшают, а шлют уполномоченных. На комбинат «Юный коммунар» ехали мы, двое уполномоченных ЦК КП(б)У: нарком (министр) коммунального хозяйства Украины — старый коммунист Владимирский и я — уполномоченный ЦК комсомола. Ни он, ни я в шахте никогда не работали, а шахту с крутопадающими пластами, каковой был «Юнком», я даже не видел. Понятно, какую пользу мы могли принести. Но от нас это, наверное, и не нужно было. Бюрократа вполне устраивала цифра в отчете: количество посланных уполномоченных. Я тогда в этих тонкостях не разбирался и изо всех сил старался что-то делать: спускался в шахту, обходил комсомольцев в лавах и штреках, выступал с докладами и беседами. Но в целом похвалиться чем-то положительным невозможно. Из всей этой поездки только и запомнилось, что на обратном пути у нас на подъезде к станции Изюм унесли чемоданы.

В общем, что же мы имели в 1930—1931 годах, если оценивать положение объективно. Полностью разрушенное сельское хозяйство и дезорганизованный транспорт. Но такие, как я, этого не видели. Мы были загипнотизированы старыми идеями и новыми великими стройками. На стройках тоже было далеко не так блестяще, как писалось в газетах, но мы этого не знали, да и знать не хотели. Меня послали на практику на строительство Енакиевского химического завода.

Во время работы на этой стройке я в последний раз общался с дядей Александром. После изгнания его из села, с маленькими детишками, он устроился в Енакиевском животноводческом совхозе. К нему приехала старшая сестра его умершей жены и взяла на себя уход за детьми. Жили они — беднее невозможно. Ни постелей, ни одежды, ни хлеба в достатке. Я несколько раз ходил к нему в семью, носил туда свой паек, а сам обходился столовой (без хлеба). Мы много говорили. После пережитого мы как-то незаметно отбросили сложившийся под конец в Борисовке острый и раздраженный тон. Дядя говорил тихо, раздумчиво, медленно. Я хотя и не соглашался с ним, но как-то мне нечего было возразить, и я больше слушал.

Он говорил о своем совхозе как о ярчайшем примере полной бесхозяйственности советской системы. Он показывал мне, как содержатся свиньи, и говорил:

— Ведь это ж чудо, что они еще не дохнут. Но они обязательно начнут болеть и дохнуть. И директор, который один ответственен за такое состояние, не будет привлечен к ответственности. Отыграются на «подкулачниках», на мне и других свинарях. Обзовут нас врагами, и ничего не докажешь, не оправдаешься.

Я советовал дяде уйти из совхоза. Но он резонно отвечал:

— Меня тогда тем более арестуют, скажут, что хотел скрыться от ответственности. Пока я здесь, то буду хоть свиней своих спасать и с директором воевать.

Мы расстались, когда я уезжал, закончив практику. Я еще не знал, что меня ждет новая жизнь, что предсказание цыганки уже сбывается. Не знал я также, что над дядей уже висит арест и что сразу после этого его семья в декабрьские морозы будет выброшена из той лачуги, в которой они жили в совхозе. Страшно подумать, что было бы с ними, беспомощными, если бы мой младший брат Максим не разыскал их и не приютил у себя.

Я узнал об аресте дяди месяцев через шесть. Бросился разыскивать. Прошел по его тюремному пути, начавшемуся в Енакиево, и затем через Сталино, Харьков, Москву дошел до Омска. Там этот путь и оборвался навсегда. Арестован он был за экономическую диверсию. Но затем почему-то стал проходить как антисоветчик, а в Омске оказался владельцем золота. Умер, сообщалось из Омска, от сердечного приступа. Но если верно то, что его обвинили в хранении золота, то он попросту убит на допросах.

Таким образом, жизнь подставляла мне все новые уроки. В декабре 1931 года, уже будучи слушателем Военно-технической академии в Ленинграде, я получил телеграмму, подписанную мачехой: «Приезжай, тяжело болен отец». В тот же день я оформил краткосрочный отпуск и выехал. Не успел получить только паек. Вместо него взял аттестат.

Когда поезд стал подъезжать к Белгороду, у меня закралась в сердце тревога. Станции были забиты полураздетыми людьми, и худющие детишки буквально осаждали вагоны: «Хлеба, хлеба, хлеба!» И чем дальше на Украину шел наш поезд, тем больше голодных рвалось к нему. Поэтому, прибыв в Бердянск, я первым долгом помчался в военкомат, обменять аттестат на продукты. Но не тут-то было. Меня направили лично к военкому. Тот, удивленно посмотрев на меня, сказал:

— Да ты, наверное, с ума сошел. Из Ленинграда ехал сюда с бумажкой вместо продуктов. Я своим пайки не выдаю, а ты хочешь, чтобы я тебе выдал...

После долгих уговоров он разрешил за двухнедельный аттестат на курсантский паек, предусматривающий белый хлеб, масло, рыбу, икру, сыр, печенье, конфеты, папиросы... выдать две буханки неизвестно из чего сделанного, совершенно сырого хлеба.

После всего этого я уже не удивился увиденному в Борисовке. А увидел я совершенно пустынные улицы села. Несколько человек, попавшихся навстречу, равнодушно прошли мимо, даже не ответив на приветствие (случай, совершенно невероятный для прежнего украинского села). Отец был дома. Он с большим трудом мог встать на ноги. У него явно начинался безбелковый (голодный) отек. Из съедобного в доме оставалась одна небольшая тыква.

Мне было ясно: чтобы спасти отца, его надо немедленно вывезти. Поэтому я сказал: «Иду в колхоз за подводой. А вы соберитесь, чтобы сразу грузиться и ехать». Отец возражал, впрочем, довольно безразлично, что нужно бы отобрать необходимое и упаковаться. Я ответил, чтобы брали лишь то, что нужно в дороге. Все остальное — бросить.

В правлении колхоза сидел один-единственный человек. Это был Коля Сезоненко — первый секретарь нашей борисовской ячейки комсомола. Теперь он был колхозным счетоводом. Сидел он за совершенно пустым столом, если не считать старенькие канцелярские счеты, чуть опустив голову и уставившись взглядом в стол.

— Здравствуй, Микола! — приветствовал я его.

— А-а, Пэтро! — не глядя на меня и не двинув ни одним членом, произнес он.— За отцом приехал. Спасибо, что не забыл. Забирай, вывози, может, и спасешь. Ну а нам уже не спастись.— Он продолжал говорить, сидя по-прежнему совершенно неподвижно, ровным голосом, тоном абсолютного безразличия.

— Мне бы подводу, Микола.

— Да ты иди на конюшню. Скажи, что я велел. Да они и сами тебя послушают.

Я подошел проститься. Он задержал мою руку: «Постой. Тебе же еще нужна справка, что колхоз отпустил твоего отца на заработки, а то ж в городе его не пропишут». И он написал мне справку, подписав за председателя и за себя, и пристукнул гербовой печатью.

— Ну, а теперь иди, а то можешь живым не довезти своего «заробитника».

— Спасибо, Микола. Я о вашей беде ничего не знал и приехал без продуктов. Как возвращусь в Ленинград, то сразу же напишу в ЦК. И я думаю, вам помогут. Так что, Микола, постарайся продержаться еще немножко.

Я говорил вполне искренне и верил в то, что партия поможет. Но Коля уже ни во что не верил. В ответ он сказал:

— Да ты что, думаешь, что там не знают? Хорошо знают. Это же начальство и создало этот голод. Нас еще в прошлом году довели почти до голода. Мы собрали весь хлеб, а у нас его забрали под метелку. Соседи, которые все оставили в валках, тянули те валки потом домой и молотили, а мы перебивались чем попало, да кое-что осталось от прошлых лет. А в этом году мы снова все обмолотили и сдали. Теперь и у соседей все подчистую замели. А валки, которые остались в поле,— пожгли. Но у соседей кое-что осталось от прошлых лет, а у нас все закончено в зиму прошлого года. Это, Петро, страшно, что делается. Правду твой дядя Александр говорил, когда его из его хаты выгоняли: «Истребляют трудящихся крестьян нашими же руками».

Это была моя последняя встреча с Колей. Подводу снарядили мне быстро. Все эти умирающие люди радовались тому, что одного из них кто-то спасает. На обратном пути я видел на улице два трупа. А это же был еще только декабрь.

Письмо в ЦК я написал, приложил к нему кусочек хлеба, полученного в Бердянском райвоенкомате. Письмо большое, основательное. Я описал историю возникновения артели в 1924 году, ее развитие, ведущее участие в организации массовой коллективизации. Написал о том, какой дружный, трудовой и организованный коллектив создался, и как благодаря именно этим качествам этот коллектив остался без хлеба, отдав все до зернышка на выполнение районного плана. Письмо было отправлено через политотдел Военно-технической академии. Месяца через два пришел ответ: «Факты подтвердились. Виновники неправильной организации хлебозаготовок наказаны. Артели «Незаможник» оказана продовольственная помощь». Это сообщение подтвердилось перепиской отца. И я ликовал. Как же, к сигналу коммуниста прислушались в ЦК, и справедливость восстановлена. Разве мог я подумать о том, что, помогая одному-единственному колхозу избавиться от голода весной 1932 года, ЦК готовил на зиму 1932—1933 годов сплошной голод для колхоза Украины, Дона, Кубани, Оренбуржья и ряда других районов.

В конце ответа ЦК была приписка, которой я долгие годы очень гордился. В ней говорилось: «ЦК отмечает, что тов. Григоренко поступил как зрелый коммунист. На основе частного факта он сумел сделать глубокие партийные выводы и сообщил их в ЦК».

Прошли годы. Прошел XX съезд партии. Мои взгляды уже стали далеко не теми наивно-коммунистическими, какими они были в 30-х годах. Я уже знал о том, как ломали противоколхозное сопротивление крестьянства с помощью искусственно организованного голода. И мне вспомнилась та приписка. Мне не давала покоя мысль: «За что же меня тогда похвалили? Ведь я же срывал покров с того, что хотели держать в тайне». Долго думал и наконец понял — я представил голод в «Незаможнике» как единичный факт, который возник в результате неправильных действий районного начальства и из-за того (это было главным для ЦК), что окружающие колхозы саботировали хлебоуборку. Это было выгодное для ЦК освещение событий. Этот пример можно было использовать при инструктажах, обосновывая голод как способ ликвидации саботажа.

Такова была жизнь, тот общий политический климат, в котором жил наш институтский коллектив. Но кроме этого климата был микроклимат самого института, того котла, в котором варились мы. Постоянно, повсечасно вокруг нас кипела учебная жизнь. А извне доходило только то, что можно было увидеть и услышать сквозь крышку котла, то есть через газеты и радио. А они нам подавали только бодрые вести.

Наш институт почти стопроцентно мужской. На всем нашем курсе (около 600 человек) всего четыре девушки. Институт военизирован. К концу второго курса мы должны стать командирами запаса. Военные занятия и походы в учебном году, лагерные сборы в войсковых частях после первого и после второго курсов вносили дух воинственности в весь уклад нашей жизни. Военные песни и вообще песни были постоянными нашими спутниками.

И студенческая рота
Комсостав стране лихой кует,
В бой идти всегда готовый
За трудящийся народ.

Это припев к произведению (коллективному), которое создано специально для нас как марш. Надо было слышать, как это могуче гремело и разливалось: «Ребята, а ну, давай нашу!» И песня гремела, и людей как воздух нес. Усталость исчезала. Или вот другая:

Вперед же по солнечным реям —
На фабрики, шахты, суда!
По всем океанам и странам
Развеем мы алое знамя труда!

«По всем океанам и странам...», и никак иначе. Так воспитывались и так воспитывали мы.

А вот и специально для Украины. Чтоб никто не вздумал вдруг заговорить о ее самостийности, соборности, суверенности:

Мы дети тех, кто выступал
На бой с Центральной Радой,

Кто паровозы оставлял
И шел на баррикады...

А вот и наша «идеология»:

О чем толкует Милюков (2 раза),
Не признаю большевиков (2 раза),
Так к черту всех кадетов,
Пусть гремит же гром борьбы!
Эй, живей, живей на фонари кадетов вздернем!
Эй, живей, живей, хватило б только фонарей!
О чем толкует меньшевик (2 раза),
Я и диктатуре не привык (2 раза)...

Ну и так далее, вплоть до фонарей для тех, кто не любит диктатуру. Вот так, с веселой песней и с легким сердцем мы «отправляли» на фонари всех, от буржуев до меньшевиков, кулаков, троцкистов, пока не пошли и сами.

Мне часто задают вопрос, да я и сам нередко задумываюсь, что было бы, если б я понял все еще в студенческие годы? Думаю, честный ответ лишь один: если бы это произошло, этих мемуаров не было бы. Я никогда не умел молчать и приспосабливаться. Делал и говорил все и всегда только искренне. Всякому новому явлению, которое произвело на меня отрицательное впечатление, искал объяснение. А так как поиски велись с позиций марксизма-ленинизма, то ответ приходил чаще всего ортодоксальный. В общем, не дал мне Господь слишком больших способностей к глубокому анализу и тем, вероятно, уберег меня от преждевременной гибели.

Возвращение с практики в 1931 году (после 2-го курса) ознаменовалось новым сюрпризом. В институте работала комиссия ЦК ВКП(б) под председательством начальника политотдела Военно-технической академии Субботина. Он отбирал студентов для учебы в академии. Комиссии были предоставлены неограниченные права. Она могла брать любого студента, независимо от его желания и интересов института.

Так я стал слушателем Военно-инженерного факультета Военно-технической академии в Ленинграде. Стал кадровым военным. Полностью сбылось гадание цыганки и в отношении меня. Чтобы больше не возвращаться к этому гаданию, скажу, что летом этого же года оно сбылось и в отношении третьего участника. Идя ночью в пьяном виде, он споткнулся, упал лицом в грязную лужу и захлебнулся. Нашли его мертвым только утром. Я узнал об этом во время своего кратковременного пребывания в Сталино в 1934 году от его жены.

Часть II

ПОЛЕТ ПРИРУЧЕННОГО СОКОЛА

БУДЕМ ВОЕВАТЬ

Итак, я стал военным. Вспоминая впоследствии это превращение, я с удивлением отмечал, что память не засекла каких-либо особенных переживаний. Военная форма не была новостью. Мы носили ее в институте во время летних лагерных сборов, в порядке прохождения высшей вневойсковой подготовки. Даже квадратики, которые я привинтил к петлицам по прибытии в академию, получены в институте, когда нам, успешно закончившим двухгодичный курс вневойсковой подготовки, присвоили квалификацию командира взвода запаса. Даже и воинскую присягу принимал я в институте.

Мы, естественно, считали себя солдатами грядущей войны, а существующую пока мирную обстановку периодом подготовки к ней. Все возрастающая пропаганда войны (под маской обороны) и начавшееся в начале 30-х годов интенсивное развертывание все новых формирований возбуждали в нас чувство близости войны, ожидания того, что партия скоро позовет нас в «последний и решительный бой». Мы чувствовали себя командирами, которых в любой момент могут призвать на укомплектование новых формирований. Я попал в число тех, кого мобилизовали для подготовки пополнения старшего комсостава. Думать было нечего. Война близка. Надо напрячься и учиться.

Студенческий набор, с которым прибыл и я в Военно-техническую академию, осенью 1931 года почти удвоил ее численный состав. Но это еще не было развертывание, а лишь подготовка к нему. Уже ранней весной 1932 года начальник нашего факультета Цалькович сообщил партийному активу о правительственном решении: расформировать Военно-техническую академию и на ее базе создать ряд специальных военных академий — Артиллерийскую, Бронетанковую, Военно-инженерную, Связи, Электротехническую, Противохимической защиты. В основу каждой такой академии берутся соответствующий

факультет Военно-технической академии и одно из подходящих по профилю гражданских высших учебных заведений. Наша Военно-инженерная академия создавалась на базе Военно-инженерного факультета Военно-технической академии и старейшего российского высшего инженерно-строительного учебного заведения — ВИСУ (Высшее инженерно-строительное училище). Разумеется, наша академия должна была находиться в Москве. Для этого ей передавались в качестве учебной базы все учебные здания и лаборатории ВИСУ, студенческие общежития и дома профессорско-преподавательского состава — для размещения слушателей и постоянного состава, прибывающих из Ленинграда. Намечалось ускоренное строительство городка стандартных домов на шоссе Энтузиастов — в районе прожекторного завода. Профессорско-преподавательский состав и студенты ВИСУ, за исключением тех, кто по различным причинам были отсеяны и направлены в другие вузы, призывались на военную службу и получали назначение во вновь созданную академию.

Реорганизационные дела, в свете последующих событий, спасли меня от многих возможных бед. Из-за этих дел я не смог поехать в отпуск и не видел страшный призрак нового голода, надвигавшегося снова на мою родную Борисовку и на всю округу. Топографическая практика проводилась в районе Парголово — Юкки под Ленинградом. Затем почти два месяца (июнь-июль) я руководил завершением строительства «ансамбля» в Могилев-Подольском укрепленном районе. Девять огневых точек, связанных между собой подземными ходами («потернами»), будучи во взаимной огневой связи, седлали высокий берег излучины Днестра и держали под плотным орудийным и пулеметным обстрелом зеркало реки и противоположный берег на фронте свыше километра. Работой я был чрезвычайно увлечен — пропадал там весь день, а часто и ночь, засыпая на короткое время в одном из многочисленных «карманов» потерн.

Обходя «ансамбль» перед сдачей, я приглядывался к каждому пулемету, к каждому орудию, наводил их на противоположный берег и «видел» свои трассы и атакующие наши войска, поддерживаемые метким огнем из «ансамбля». Именно наши атакующие войска «видел» я, а не наступающего противника, которого мы «косим» своим огнем. Это только наивные люди думают, что в этом главная задача укрепленных районов. Нет, укрепленные районы строятся для более надежной подготовки наступления. Они должны надежно прикрыть развертывания ударных группировок, отразить любую попытку врага сорвать развертывание, а с переходом наших войск в наступление поддержать их всей мощью своего огня. Ни одну из этих задач наши западные укрепленные районы не выполнили. Им уготована была иная судьба. Их взорвали, не дав сделать ни одного выстрела по врагу.

Я не знаю, как будущие историки объяснят это злодеяние против нашего народа. Нынешние обходят это событие полным молчанием, а я не знаю, как объяснить. Весной 1941 года загремели мощные взрывы по всей тысячадвухсоткилометровой линии укреплений. Могучие железобетонные капониры и полукапониры, трех-, двух- и одноамбразурные огневые точки, командные и наблюдательные пункты — десятки тысяч долговременных оборонительных сооружений — были подняты в воздух по личному приказу Сталина. Лучшего подарка гитлеровскому плану «Барбаросса» сделать было нельзя. Но ответьте вы, читатель, как это могло случиться?

После Могилев-Подольского я впервые в своей жизни встретился с Дальним Востоком, куда приехал на войсковую стажировку. Запомнились пустые станицы амурских и уссурийских казаков и обилие овощей во Владивостоке. Опустелые станицы нагоняли тоску и вызывали недоумение. Везде следы поспешного ухода. Болтающиеся двери, бездомные коровы, лошади, овцы. На улицах станиц одичавшие собаки, разбросанные во дворах и на улицах различные домашние вещи и утварь, брошенный как попало сельскохозяйственный инвентарь. Почему ушли эти люди с родной земли, от родных очагов, из страны — родины трудящихся всего мира — в какую-то Маньчжурию, которая в моем представлении была страной отсталой, полудикой. Я все время думал об этом и осаждал вопросами сопровождающего нас штабного командира из 3-го колхозного корпуса, в который мы и были командированы.

— Ну как же они ушли? — допытывался я.

— Очень просто,— отвечал он.— Как только «стали» Амур и Уссури, так они по льду и пошли. Со всем скарбом, со скотом. Я сам всего этого не видел, конечно. Наш корпус сформирован на западе и переброшен сюда уже после ухода казаков, для их замены. Это пограничники рассказали нам об их уходе.

— А что ж пограничники смотрели? Почему не остановили?

— Попробуй, останови. Это же казаки. Обученные воевать и вооруженные. А пограничников — сколько их тут. Застава от заставы на сотню километров. Казаки прекрасно знают их расположение. Блокировали заставы. Пограничники думали больше о том, как бы самим не попасть в руки казакам. Тем более что у казаков было все сговорено. Их с той стороны встречали свои.

— Так, может, те, с другой стороны, запугали этих, принудили уходить,— хватаюсь я за первую возможность оправдать уход чьей-то злой волей, а не личным желанием. Но собеседник мой отбивает эту попытку:

— Кто их там запугивал? Они сами туда посылали своих гонцов, просили помочь им.

— Да как же так? Что им здесь не понравилось? Как же так, бросить все завоевания революции и идти на чужбину!

— Какие там у них завоевания?! Начали чуть не сплошное раскулачивание и высылку на север. Разве вольный казак это потерпит? Убегали, прятались, а потом уходили в Маньчжурию. Появилась статья Сталина «Головокружение от успехов». Немного изменилось. Потом потихоньку стали снова зажимать. И снова побеги в Маньчжурию. Оттуда и стали приходить вести, что ранее ушедшие туда «кулаки» получили землю и живут, как в старину. А тут хлебозаготовки страшные. Забрали весь хлеб. Нависла угроза голода. И вот, сговорившись с земляками в Маньчжурии, чтоб те встречали и, в случае чего, помогли, в одну ночь все казачество перемахнуло по льду Амура и Уссури.

Меня эти объяснения не удовлетворяли. Получалось, что виновата Советская власть, а я этого воспринять не мог. Поэтому дальше расспрашивать не стал.

Сразу с Дальнего Востока направился в Москву. Началась учеба. Совесть моя ничем не была потревожена. Ленинград и Москва жили относительно благополучной жизнью, хотя и при карточной системе. Об остальной стране я знал только по газетам. А там всегда все было «о'кэй».

Лицо академии резко изменилось. Вместо спокойных, тихих, малолюдных помещений, строгой тишины библиотек, читален, лабораторий, подтянутых, строгих и в большинстве уже пожилых военных — переполненные студенческой молодежью коридоры и классы. Военная форма сидит на них кое-как, шумят и галдят они, как и все студенты мира. Их в 5—6, а может, и в 7 раз больше, чем было у нас на факультете в Ленинграде, и мы, «кадровики», потонули среди них. Но учеба шла, юноши мужали, новые наборы наполняли академию иным — военным контингентом, и все приходило «на круги своя» — академия становилась военной во всех отношениях.

Два оставшихся года учебы пролетели незаметно. Было много всего, но это будни учебы, все не перескажешь. Я остановлюсь лишь на эпизоде, связанном с моей производственной практикой 1933 года. В этом году, видимо, ЦК поставил задачу привести УР'ы в боеготовое состояние. Технических руководителей в самих УР'ах для этого не хватало, да и квалификация их, как увидел я впоследствии, была явно не на высоте. Эти кадры удовлетворительно справлялись со своей задачей, пока шли земляные работы, опалубка, армирование, бетон. Справились они и с маскировочными работами. А вот внутреннее оборудование застопорилось, и весьма существенно. Многие прорабы — люди гражданские, не знакомые ни с баллистикой, ни с техническими данными оружия, ни с противохимической защитой,— избегая незнакомого дела, увольнялись, а те, кого не увольняли, опускали руки. Люди предпочитали получить любое административное взыскание за невыполнение плана, т. е. за ничегонеделание, чем сесть в тюрьму за вредительство, т. е. за неправильную установку оружия и других технических средств.

Поэтому уже ранней весной академия получила указание на высылку в УР'ы всего состава моего (фортификационного) факультета. Меня, во главе группы из шести человек, направили в Минский укрепленный район. Сюда же были направлены еще 3 или 4 группы слушателей. Все прибывшие погруппно были направлены на участки. Моя группа поехала в Плещеницы.

Уехали мы в Москву только в октябре. Почти 8 месяцев заняла моя последняя академическая практика. А результаты ее сказывались несколько лет.

При отъезде я был премирован восемью окладами начальника подучастка. Мне вдогонку была послана характеристика, какой я больше никогда не получал. Выглядел я в ней почти гением, если не больше. Я привез в академию и сдал на кафедру организации работ три варианта графиков, подробный отчет об организации работ поточным методом, а также об организации снабжения и о контроле выполнения графика. Эти документы кафедра организации военно-строительных работ превратила в учебные пособия. Не знаю, где они сейчас, но последний раз, когда я был в этой академии (в 1954 году), этими пособиями еще пользовались. Кафедра увидела во мне «светило» организации работ и вознамерилась добиться моего оставления на кафедре, что никак не соответствовало моим намерениям и привело к конфликтной ситуации. Меня запомнил комендант укрепрайона Померанцев и впоследствии оказал влияние на мою службу.

Выпускали нас в Кремле в Георгиевском зале — 4 мая 1934 года. Присутствовало все Политбюро. Нам поднимали дух, главным образом — Ворошилов и Буденный, все время находившиеся в зале после того, как из ложи один за другим были провозглашены тосты: «За Сталина!», «За партию!», «За Ворошилова!», «За армию и выпускников!». Тосты такой скорострельности могут свалить кого угодно, особенно, если люди не выспались и голодны. А с нами именно так и было. И вот почему. Построение в Кремле было намечено на час дня. Ответственный — начальник Академии им. Фрунзе. Естественно, что он назначил сбор на 12. Начальник нашей академии взял себе большой запас — 2 часа. Начальник факультета не отстал от него и назначил сбор на 8 часов утра. Командир нашей группы тоже позаботился о себе и приказал нам прибыть к 7 часам. А так как мы жили на шоссе Энтузиастов, то подняться с постели нам надо было не позже 5 часов. Но в такое время

можно было только стакан чая выпить. А в академии и по выходе из нее подкрепиться и негде, и некогда. То построение с проверкой, то перчатки меняют — белые на коричневые, то наоборот. В результате, когда в час дня Калинин наконец появился перед строем и начал речь, мы уже еле на ногах стояли. А пришли в зал и попали под оглушающий залп тостов, и большинство «поехало». Мне повезло. Рядом оказался опытный человек. Он еще до того, как нам позволили сесть, отхватил кусок масла и съел, посоветовав мне сделать то же самое. В результате я домой возвратился в тот же день. Большинство же моих однокашников оказались не способными на такой подвиг. Только на следующий день, переночевав в милиции, они часам к двум-трем добрались до родных пенатов, и здесь уж началась пьянка по-домашнему, которая длилась почти неделю.

Протрезвившись, пошли в академию за назначениями. Их еще не было, но я оказался исключением. Начальник кафедры организации военно-строительных работ профессор Скородумов — мы, слушатели, звали его за быстроговорение и нередкое высказывание слишком поспешных выводов и замечаний «Быстродумовым» — с радостным лицом отозвал меня в сторону и, схватив за руку, восторженно заговорил:

— Поздравляю, поздравляю! Мне все-таки удалось добиться своего, нарком обороны разрешил оставить вас адъюнктом моей кафедры.

— А меня об этом спросили? Я ни в коем случае не останусь в академии. Кого и чему смогу я научить по организации работ, если эти работы видел только во время практики? Да и какие работы? Недоделки, переделки. Такие работы любой добросовестный десятник организует лучше меня. А основное строительство я и не нюхал.

Возмущенный, я отправился к начальнику факультета за разрешением обратиться к начальнику академии. Разрешение получено, и вот я у Цальковича. Я выложил ему то, что уже говорил «Быстродумову», и добавил:

— Месяца не прошло после приказа наркома, в котором ясно сказано, что адъюнктура набирается из войск, а если академия хочет оставить кого из выпускников, то она зачисляет его кандидатом и направляет на три года в войска. Приказ есть, а делается опять по-старому.

— Ну, это исключение. Кафедра слабая. Надо усилить.

— Усиливайте людьми с производства, имеющими опыт, а я пойду на их место учиться, приобретать опыт.

— Ничего не могу поделать. Есть решение наркома.

— Ну, тогда разрешите обратиться к наркому.

— Разрешаю! — И тут же начал набирать телефонный номер.

— Товарищ Хмельницкий (генерал для поручений наркома), здравствуйте. Я передаю трубку выпускнику академии. Прошу выслушать его.— И передал мне трубку.

— Товарищ для поручений, с разрешения начальника академии прошу наркома принять меня по личному вопросу.

— А в чем ваш вопрос?

— Меня назначают адъюнктом академии, что противоречит приказу наркома. Я хочу просить его отменить это назначение и дать любое другое.

ПОЖИЗНЕННАЯ ПРОФЕССИЯ

Хмельницкий позвонил через несколько дней: «Вас примет зам. наркома Тухачевский».

И вот я в огромном кабинете-зале на улице Фрунзе, № 1, в кабинете, который впоследствии посещал неоднократно. В глубине кабинета, за столом, который кажется крохотным на этой огромной территории, человек с аристократическим, так хорошо знакомым по портретам лицом. Четко чеканя шаг, подхожу на уставную дистанцию и громко представляюсь.

— Чего вы хотите?!

— Я прошу, чтобы в отношении меня был соблюден приказ наркома № 42. Если я нужен академии, то пусть прежде пошлют меня, как требует нарком, на три года на производство. Иначе как я смогу учить организации строительных работ? Я производства в глаза не видел.

— Хорошо. Ваша просьба будет рассмотрена. Идите!

Я сделал «кругом» и в это время услышал:

— Но запомните...

Я снова сделал «кругом».

— Запомните, что одетая на вас форма и все, что с ней связано,— это пожизненно.

Последнее слово он подчеркнул. И снова сказал:

— Идите!

Пока я шел по кабинету и выйдя из него, я думал: почему он мне сказал это? Понял, лишь когда пришел приказ, подписанный Тухачевским: «Григоренко П. Г. назначается начальником штаба отдельного саперного батальона 4-го стрелкового корпуса, с присвоением Т-8». Это было совсем необычное назначение. Все выпускники нашего (фортификационного) факультета назначались на оборонительное строительство. Среди кадрового состава академии бытовало мнение, что «студенты» только и ждут, как бы скорее попасть на стройку и избавиться от строя и от обязательного ношения военной одежды.

Это мнение распространилось и на наркомат обороны и, очевидно, дошло до Тухачевского. А я напомнил ему и как бы подтвердил правильность такого мнения. В приказе наркома говорится: «направлять на 3 года в войска», а я вместо этого дважды сказал «на производство». Именно поэтому он напомнил мне о пожизненности профессии военного и дал необычное для нашего факультета назначение.

Со своим непосредственным начальником, командиром отдельного саперного батальона 4-го стрелкового корпуса, выпускником командного факультета Павлом Ивановичем Смирновым я познакомился в день получения назначения. Другой выпускник командного факультета, мой земляк, болгарин Брынзов, услышав от меня, куда я назначен, воскликнул:

— О, так туда же с нашего факультета командиром батальона идет Пашка Смирнов! Не очень завидую тебе. Человек он не того... Но все равно, пойдем знакомиться.

И он потащил меня искать Пашку. Но того в академии не оказалось. И я пошел вечером к нему на квартиру. Это оказалось очень разумным шагом с моей стороны. Этот шаг позволил мне установить со своим командиром человеческие контакты до того, как нас разделила невидимая, но прочная завеса: начальник — подчиненный.

Надо сказать, Павел Иванович стал для меня действительно учителем-другом. У нас сложились великолепные служебные отношения, полные взаимопонимания и дружбы, распространившиеся и на семьи. В частности, Павел Иванович подружился и с моим отцом, которого убедил возглавить подсобное хозяйство батальона. Павел Иванович — ленинградец. Очевидно, из интеллигентной семьи, но утверждать этого не могу. Сам он о своих родных никогда не рассказывал. В революцию он включился на стороне большевиков, когда ему едва исполнилось 16 лет. Позднее вступил в большевистскую партию и участвовал в гражданской войне, пройдя путь от политбойца до комиссара полка. После гражданской войны попросился на учебу и был направлен в Ленинградское военно-инженерное училище.

Уже на первом курсе он женился. Причем венчался в церкви. За это был исключен из партии. У меня возник вопрос — зачем он пошел в церковь? Он не был убежденным верующим. Не мог пойти на это и по настоянию жены. Катя — простая женщина из рабочей семьи, не очень развитая и, главное, находящаяся целиком под влиянием мужа. Как ни верти, получалось, что в церковь Павел Иванович пошел по собственной инициативе. И пошел именно за тем, что получил,— исключение из партии. Он почему-то захотел выйти из партии и, будучи умным и дальновидным человеком, избрал наиболее безопасный выход для себя. Добровольный выход, по собственному заявлению, большевистское руководство не любит. За это можно было в то время даже и жизнью поплатиться. А за веру в Бога после гражданской войны многих исключали. И Павел Иванович выбрал церковный брак.

Почти два года проработали мы с Павлом Ивановичем в одной дружной упряжке. Мы были так дружны, что командир корпуса, румын Сердич, называвший нас не иначе как «академики» (с оттенком иронии), и к каждому в отдельности обращался во множественном числе. Когда я являлся к нему по делу или по его вызову (в отсутствие Смирнова), он начинал всегда так: «Ну что, академики? С чем явились?» Или: «Что у вас случилось?» Или: «Что натворили?» и т. п.

Сердич был арестован и расстрелян в начале развертывания массовых репрессий. Расправа с ним дала возможность госбезопасности поставить под пули целую плеяду командного состава корпуса. Было ликвидировано все корпусное управление, в том числе и наш непосредственный начальник — корпусной инженер Стрибук, милейший человек и грамотный военный инженер. Но было это уже после того, как я убыл из этого корпуса.

Служба моя в 4-м стрелковом корпусе оставила хорошее воспоминание. На первых порах были некоторые трудности в отношениях внутри верхушки батальона. Первая стычка произошла с помощником командира батальона Авдейчиком. Я понимал, что недоразумение вызвано непривычностью такой организации, как штаб. До этого в отдельных батальонах штабов не было. Начальник штаба появился с моим приездом. К этому приходилось привыкать. Вторым, с кем возникли недоразумения, был комиссар батальона Гаврила Петрович Воронцов. Довольно добродушный человек, заядлый охотник и рыболов, типичный политработник — малограмотный, но самоуверенный, считающий себя высшей властью и высшим судьей в политических вопросах.

Первая стычка произошла из-за того, что он, минуя меня, отдал распоряжение Яскину, как адъютанту, хотя тот теперь уже был помощником начальника штаба. Я пошел к комиссару и попросил его впредь моими подчиненными через мою голову не командовать. Он согласился, что получилось нехорошо, и обещал впредь этого не делать. Но мне было ясно, что Гаврила Петрович не понял глубины конфликта. Я видел, что стычки впереди. И они не замедлили возникнуть. Комиссар, например, привык ездить на охоту

и рыбалку, когда ему вздумается, и брать с собой, кого ему вздумается. Я несколько раз говорил ему, что в части есть определенный порядок, который нарушать нельзя. Но это не помогло. Тогда появился приказ, который устанавливал твердый порядок выезда за пределы батальона машин и людей. И пришел тот день, когда Гаврила Петрович, одетый порыбацки, со свирепым видом ворвался ко мне в кабинет. Машину из городка не выпустили, а люди, которых он пригласил с собой, не получив разрешения, не явились на сборный пункт. На его возмущение у меня имелся один ответ:

— Приказ командира батальона. Отменит он приказ или даст разовое разрешение, пожалуйста, хоть в Москву, хоть вместе со всем батальоном.

— Я комиссар! Я даю распоряжение!

— Нет, батальоном командует только одно лицо — командир. И я как начальник штаба подчиняюсь только ему.

— А комиссару не подчиняетесь?!

— Подчиняюсь, но только не в том, что относится к моей работе как начальника штаба. Нарушить действующие приказы командира я не позволю никому. Заботиться об авторитете приказа и отдавшего его командира — мой священный долг и, насколько я понимаю положение об единоначалии, это также и ваш долг как комиссара.

Помирил нас Павел Иванович, которому, видимо, доложили о том, что у меня баталия. Войдя в мой кабинет, он удивленно спросил:

— Что это вы, как петухи перед боем?

Я коротко доложил. Он сразу же примирительным тоном:

— Да в чем дело?! Тебе что, Гаврила Петрович, машина нужна? И люди? Кто именно? Петр Григорьевич, дайте распоряжение! Катите, Гаврила Петрович, ни пуха ни пера. И в будущем всегда, когда нужно, скажи только мне. А так, как сегодня, нельзя делать. Надо же и начальнику штаба посочувствовать. Он же головой за невыполнение приказов отвечает. Кому-кому, а нам с тобой надо помогать ему в этом.

На этом вакханалия с машинами и людьми прекратилась. Но еще много стычек было, пока Воронцов усвоил-таки, что ни начальник штаба, ни штаб в целом ему не подчинены, хотя он при беспартийном командире и называется комиссаром. Но это не комиссар гражданской войны. Командир, даже беспартийный, в делах командования полноправен во всем объеме.

Перебирать все стычки бессмысленно, но одну, длительную, упомяну, поскольку она имела продолжение впоследствии. Около Гаврилы Петровича отирался захудалый солдатик Черняев. Он ежедневно норовил увильнуть от занятий, и Гаврила Петрович, пользуясь своей властью, каждый раз оставлял его в своем распоряжении, то есть без дела. Наводя порядок в деле боевой подготовки, я выкапывал уклоняющихся от учебы из всех уголков. Добрался и до Черняева. Но пока добился, чтоб он начал нормально учиться, пришлось несколько раз столкнуться с Гаврилой Петровичем и даже прибегнуть к помощи Павла Ивановича. Думаю, что Черняев не очень доволен был мною. Во всяком случае, неоднократно я ловил на себе его злые взгляды.

Удачное, в общем, начало послеакадемической службы было омрачено большим семейным горем. Умер наш второй ребенок. Первенец Анатолий родился еще в 1929 году — в год моего поступления в институт. Сейчас, когда мы приехали в саперный батальон, дислоцировавшийся в Витебске, пятилетний Анатолий уже не отставал в играх от моей младшей (9-летней) сестры Наташи. Второму моему сыну в июне 1934 года, когда мы прибыли к новому месту службы, исполнилось только 7 месяцев. Назвали мы его Георгий. И вот в августе 34-го года этот ребенок умер.

Жена уехала с ним в Сталино (ныне Донецк) к своим родителям. Вскоре я получил телеграмму, что ребенок тяжело болен. Я немедленно выехал. Бросился к врачам. Таскал к ним обессилевшего ребенка. Платил за частные приемы, но ребенок угасал. Острая дизентерия уносила его. За несколько дней он ушел в небытие. Я держал на руках мертвое тело, ничего не понимая. У меня пытались отобрать, я не отдавал. Затем отдал и сел. Сидел, не двигаясь, наблюдая, но ничего не сознавая, как его моют, обряжают, отпевают. Родители жены пригласили все же священника. Потом младший мой брат — Максим — взял меня под руку. Я не удивился тому, что он оказался здесь, в Сталино, и безвольно пошел с ним на кладбище. После возвращения домой сели помянуть. Я пил рюмку за рюмкой, но не пьянел. Подсел муж старшей сестры моей жены — Николай Кравцов:

— Ты поплачь, Петя, легче будет...

Но плакать я не мог. Во мне все замерло. Только очень ныло там, где у человека должно быть сердце. До вечера я просидел за столом. Там и уснул. Меня перетащили в постель, и я проспал более четырех суток. Просыпаясь иногда по естественным надобностям, я неизменно чувствовал нытье в сердце и скорее ложился снова в постель. Когда наконец я этой боли не почувствовал, решил подниматься. Делал почти все автоматически. Мысли о ребенке не оставляли меня. Угнетало: как же это так, почему мы, взрослые, разумные люди, не смогли спасти беспомощное существо? Я горько упрекал себя за то, что, прибыв сюда, не вывез немедленно маленького Георгия из этого убийственного климата. Вспоминалось, как в 1930 году Анатолия уже отпевать собирались, а я схватил

его прямо в смертной рубашке, завернул в первое попавшееся одеяло и бросился на станцию. Все родственники бежали за мной, прося вернуться, не мучить умирающего ребенка, но я не вернулся и не обернулся, сел в поезд, и жена вынуждена была тоже поехать со мной. Мы приехали в Борисовку, и там наш сын ожил. Почему же теперь я не сделал этого? Я корил себя, считая виновником смерти сына.

Но так уж, видно, устроен человек, что стремится с себя вину сбрасывать. Произошло это и со мной. Вскоре мысли о моей вине уступили место мыслям о вине жены. Я уже со злобой думал: «А зачем она его сюда повезла, в этот климат?» Я прекрасно знал, что если б я сказал хоть слово против этой поездки, она бы не состоялась. Но я об этом не думал. Наоборот, я изливал желчь на нее: «Поехала в этот ад, да еще и от груди отняла...» И я продолжал «накручивать». Но вернувшись домой и увидя жену, я понял, что ей тяжелее, чем мне. Проснулась жалость. Я стал ласковее, внимательнее с нею. Но трещина в наших отношениях, созданная смертью Георгия, так никогда и не закрылась. Я надеялся, что рождение нового ребенка поможет восстановить прежние взаимоотношения. Когда жена забеременела, я молил Бога, чтоб снова родился мальчик. И моя мольба была услышана. 18 августа 1935 года — ровно через год после смерти маленького Георгия — родился сын, которого мы тоже назвали Георгием. Вся родня возражала против этого имени, твердя, что нельзя называть именем умершего, но я сказал, что будет Георгий. И это не во имя умершего, а во имя отца моего, которого хотя и зовут Григорием, по метрике он Георгий. Таким образом, я как приехал в 1934 году в Витебск с двумя сыновьями — Анатолием и Георгием — так и уезжал в 1936 году, имея двух сыновей с теми же именами. Но боль утраты от этого не исчезла. Она притупилась, но я никогда не перестану чувствовать в своих руках беспомощное тельце, из которого уходит жизнь. И в этом моя несомненная вина. Великим грехом своим считаю и то, что, стремясь уменьшить свою вину, в душе обвинял его мать, которая тоже уже давно в земле.

Но вернемся от дел гражданских к делам, которыми был занят я.

Обычная будничная служба в саперном батальоне тоже оказалась для меня насыщенной интересными делами. Основное время занимала боевая и специальная подготовка. Но и ее можно выполнять по-разному. Можно все свое время затрачивать на выколачивание у начальства материалов для спецподготовки, которых всегда давали очень мало, и затрачивать эти материалы на создание в процессе спецподготовки никому не нужных вещей. А можно находить в гражданских организациях работы, аналогичные военно-инженерным, и подряжаться на их выполнение. Выгоды большие: своих материалов тратить не нужно, за выполненную работу получаешь деньги и создаешь нужные людям вещи. Наиболее показательно прослеживается это на примере деревянных мостов. Можно водить солдат по очереди на полигон и учить тесать десятки раз тесанные бревна, обучать производству различных врубок, поделок, пригодных разве на то, чтобы использовать их как дрова. А можно по договору взять подряд на строительство конкретного моста и построить его, обучая людей в процессе практически полезной работы: и тесанию, и врубкам, и шунтовке, и строганию — всем плотницким работам.

Время было такое, когда и народному хозяйству для своих целей, и в интересах подготовки территории как театра военных действий, требовалось много дорог с мостами различных размеров на них. Сколько мы построили за два года моей службы здесь и дорог, и мостов! И это была наша спецподготовка, и наш заработок, и наш вклад в народное хозяйство. И мы радовались, что благодаря этому материалы, присылаемые нам на боевую подготовку, экономятся, на щепки не перерабатываются, а используются по мере накопления на строительство для батальона — хозяйственным способом. Работ было много, и батальон стал финансово мощной организацией, обстроился, значительно улучшил питание личного состава за счет рыночных закупок. В те времена хозяйственная деятельность и инициатива не только допускались, но и поощрялись.

Мосты и дороги были, конечно, не единственными хозяйственными работами, которые хорошо сочетались со специальной подготовкой. Было много среди них и других. Самыми доходными были подрывные работы. Деньги за них текли рекой в кассу батальона. Несмотря на это, мне очень не хотелось хвалиться именно этими работами. Я хотел бы скрыть их. Тем более что сделать это легко. Просто не писать об этом. И никто знать не будет. И никто не уличит в неправдивости. Вправе же я сам выбирать, что описывать из множества событий моей жизни. Но я отброшу все сомнения и напишу о своем сознательном участии в величайшем варварстве нашего века — в уничтожении шедевров церковной архитектуры, важнейших исторических памятников белорусского и русского народов.

Первое задание на взрыв церкви получили мы осенью 1934 года. Речь шла о взрыве собора в городе Витебске. Красавец собор стоял на высоком правом берегу Западной Двины, следя всеми своими пятью главами за проходящими судами. И люди на судах уже издали видели его и, проезжая мимо и потом, проехав, долго смотрели назад на это чудо зодчества. Но эти люди не только смотрели, не просто любовались, они молились, осеняя себя крестным знамением. Многие становились при этом на колени. Это, очевидно, и решило судьбу собора. Власти раздражались этим каждодневным многократным публичным молением. И нашему батальону пришло распоряжение начальника инженеров Белорус-

ского военного округа. Привожу его по памяти: «ЦК КП Белоруссии предложил командующему БВО выделить саперов-подрывников для взрыва собора в Витебске на р. Западная Двина. ЦК КПБ просил принять все меры к тому, чтобы расположенный рядом с церковью трехэтажный дом пострадал как можно меньше. Командующий войсками поручает выполнение этой работы саперному батальону 4 стрелкового корпуса и возлагает ответственность за результативность и безопасность взрыва лично на командира батальона тов. Смирнова П. И.

Оплату взрывных работ произведет Витебский горсовет по смете батальона, о чем с Витебским горсоветом подпишите договор. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагаю на корпусного инженера тов. Стрибука».

Павел Иванович пригласил меня. Дал прочитать распоряжение. Затем сказал: «Ну вот, фортификатор, это уже чисто твоя работа. Я ведь в академии на подрывные работы лишь издали смотрел. Мы же, командный факультет, технику подрывных работ не изучали. А вы сколько взрывчатки потратили! Так что придется тебе браться и отвечать. Людей в помощь выбирай каких угодно». Затем он посидел, задумавшись, и добавил: «Дом тот меня больше всего заботит. Пишут, чтоб возможно меньше пострадал. А по-моему, так он полетит вместе с церковью. Ведь всего 12 метров между домом и церковью».

В общем, вся работа была возложена на меня. И переговоры с Витебским горсоветом, и организация взрыва, и сам взрыв. Я не помню, сколько я «заломил» за взрыв, но только знаю, что это было фантастически дорого, с моей точки зрения. Но председатель Совета, мне сразу это стало ясно, обрадовался дешевизне, и я пожалел, что запросил мало. Далее стал вопрос, как взрывать в столь стесненных условиях. Почти перед самым окончанием академии, уже когда лекционных занятий не было и шло дипломное проектирование, кафедра подрывных работ прочла лекцию «Взрыв зданий методом пустотных забивок». Из всей лекции я запомнил лишь формулу расчета глубины и густоты шпуров, в которые вкладываются подрывные шашки и «пустоты» (макеты подрывных шашек — из дерева). Вкладываются так: шашка, «пустота» (одна или две — по расчету), опять шашка или две. Лектор утверждал, что если правильно расположить шпуры и верно произвести забивку, то здание не взлетает, а оседает и рассыпается. Надо было бы проверить на чем-нибудь. Но времени не было, и я пошел прямо в церковь, чтобы прикинуть на месте, как это может получиться. Оказалось, что церковь оборудована как действующая: иконы, алтарь, подсвечники — все на месте.

Все во мне перевернулось. Ничего делать здесь я не мог. Обернувшись к председателю горсовета, я резко заявил: «Пока отсюда не вывезут все иконы и церковную утварь, я ничего делать не буду. Только имейте в виду — не просто вывезти, а пригласить священника, чтоб он это сделал, как положено по-православному. Иначе я не буду участвовать. Я не хочу, чтоб население обвинило нас в святотатстве». В Витебске тогда кроме собора было еще 3 или 4 церкви, и священники этих церквей с помощью верующих организовали вынос из собора святынь и церковной утвари. Впоследствии мне, правда, закидывали, что «Григоренко организовал церковное шествие по Витебску». За такое, конечно, могло и попасть основательно, но мне повезло. Вскоре после нашего взрыва другой саперный батальон взорвал церковь в Бобруйске. Взрыв был произведен сосредоточенным зарядом и разрушил одновременно с церковью более десятка домов. При этом были человеческие жертвы. Уборевич, разбирая этот случай на большом совещании, поставил в пример мой взрыв, назвав меня по фамилии. Наказывать после этого было неудобно.

Ровно полтора месяца заняла подготовка взрыва. Но зато взрыв превзошел все ожидания. Взрыва в привычном понимании вообще не было. Только гул и трескотня сыплющихся сверху кирпичей. Дом, о котором заботились власти, не только не пострадал — не вылетело, не треснуло ни одно стекло, даже в окнах, выходящих на собор. Храм просто осел, издав протяжный стон, и превратился в груду кирпичей. Именно кирпичей, а не обломков стен. Взрыв мы произвели на рассвете. И вот я стою у огромной кирпичной кучи и, честно сознаюсь, любуюсь своей работой, тем, как красиво взорвано: подъезжай машиной и прямо из этой кучи бросай кирпичи в машину. Подходили откуда-то появившиеся люди и тоже выражали свое удивление и восхищение «чистотой» работы. Особенно поражались тому, что дом стоит как ни в чем не бывало и что церковь превращена не в развалины, а в исходный строительный материал — кирпичи. И никому, мне в том числе, в голову не пришло, что на этом месте был шедевр архитектуры и место духовного общения людей с Богом. Забыв об этом, мы любовались горой кирпичей.

Витебский горсовет расчувствовался и премировал (сверх договорных сумм) меня и подрывников «за отличное качество взрыва, обеспечившее сохранность жилого дома».

Молва о нашем взрыве быстро распространилась по Белоруссии. И ЦК КПБ попросил командующего БВО прислать тех подрывников из Витебска в Минск. Здесь, оказывается, рядом с недавно возведенным девятиэтажным домом правительства осталась, почти вплотную примыкая к этому зданию, маленькая церквушка. Наученный витебским опытом, я запросил за нее втрое больше и получил без торга. Церквушку мы взорвали, не повредив правительственного здания. После этого под моим руководством была взорвана церковь в Смоленске. На этом я отошел от взрывов церквей, заявив, что подготовленная мной бригада прекрасно справится без меня. На самом деле причина была в моем внутреннем состоянии. Еще готовя взрыв храма в Витебске, я ощущал внутренний протест. И хотя я любовался горой кирпичей, вставшей на месте собора, у меня не было настоящей трудовой радости. Минский взрыв я уже готовил без интереса. А в Смоленске мне просто было противно за то, что я делаю.

Выполнять такую работу и дальше для меня было бы выгодно — бесконтрольная свободная жизнь, изобилие денег, избыток свободного времени — чем не жизнь! Но для меня это не была жизнь. У меня в глазах стояли взорванные церкви, и я начал болезненно присматриваться к церквам, еще не взорванным. Я увидел, какое это разнообразие архитектуры, сколько человеческой души, сколько выдумки вложено в рисунок и отделку каждого храма. А место расположения. Как чудесно сочетается архитектура церкви с местом, на котором она расположена, с окружающим пейзажем. Я стал интересоваться всем, что связано с церквами, и от стариков узнал, что строительство церкви не было простым делом. Прежде всего шел разведчик или несколько человек, которые выбирали место. Говорят, что это была редкая специальность. Потом делался рисунок, подгонялся к местности. Потом подыскивался строительный материал и т. д., вплоть до окончательной отделки снаружи и росписи внутри. Человеческий труд, ум, нервы вкладывались в эти чудесные творения, а я превращал их в кирпичи. И я решил: буду только строить. Пусть простенькие мостики, но разрушать... Нет, я не восстал против разрушения. Я подумал: «Но разрушать — пусть разрушают другие».

Тем и отмечены мои два витебских года: я разрушил три исторических памятника архитектуры, три храма — три святыни наших трудящихся — и построил несколько десятков простеньких деревянных мостов.

Где-то во второй половине февраля 1936 года ко мне в кабинет зашел Павел Иванович.

— Что же ты молчал, что у тебя такая протекция? Да и действовал за моей спиной. Такого я от тебя не ожидал. Я же не собирался тормозить твое продвижение. Ты же сам говорил, что еще годик поработаем вместе. Говорил, а сделал иначе!

— Да ты о чем, Павел Иванович? Я тебя не понимаю.

— Ну как о чем? О твоем назначении в Минский УР.

— Я об этом ничего не знаю.

— Как не знаешь? И Померанцева тоже не знаешь?

— Нет, Померанцева знаю.— И я рассказал ему о своей практике 1933 года.

— Так значит, ты действительно ничего не знаешь? А я заподозрил, хитришь. Дело в том, что мне Прошлякова (в то время помощник начальника инженеров БВО, во время войны один из наиболее крупных инженерных начальников) сообщил, чтоб я подыскивал себе начальника штаба, так как тебе подготовлено назначение на должность командира 52-го отдельного инженерного батальона Минского УР'а. Я сказал, что ты хочешь еще год поработать здесь. Но он ответил, что это невозможно, что на твоей кандидатуре настаивает сам Померанцев. Грустно будет мне без тебя. Но, как говорят, «гора с горою не сходятся, а человек с человеком сойдется».

Но оказалось, что людям бывает еще труднее сходиться, чем горам. До войны мы не встретились. Войну он начал с тем же 4-м стрелковым корпусом, в должности корпусного инженера, и в первые же дни попал в плен. Всезнающий Брызгов, который недолюбливал Павла Ивановича, встретившись со мной после войны, на мой вопрос ответил: «Смирнов оказался предателем. В немецких лагерях был в охране. Ходил с пистолетом. Теперь расплачивается. В наших лагерях мозги ему вправляют». Что здесь правда, сказать трудно. Пожалуй, правда только то, что он в лагерях и там ему «мозги вправляют». Все остальное, скорее всего, обычное следственно-КГБистское мифотворчество. Я пытался найти его жену — не удалось. Возможно, что она не пережила войну, которую она встретила, находясь в Ленинграде. А он вряд ли пережил лагерь. Так человек с человеком и не сошлись. А ведь я очень многим обязан Павлу Ивановичу. Все положительные командирские качества у меня от него. Добрая наука долго живет. Как и память о людях настоящих.

Продолжение следует

СОДЕРЖАНИЕ

Андрей САХАРОВ. Мир. Прогресс. Права человека. *(Окончание)* 3
Даниил ГРАНИН. Нравственный пример 45
Александр КУШНЕР. Лучше Дельфта в этом мире... и др. *Стихи* 50
Александр СОЛЖЕНИЦЫН. Август Четырнадцатого. *Роман. (Продолжение)* . . 54
Надежда ПОЛЯКОВА. Декабрьская тетрадь. *Стихи* 89
Галина ГАМПЕР. Мое детство — стеклянный зверинец. *Стихи* 92
Леонид ЛИХОДЕЕВ. Семейный календарь, или Жизнь от конца до начала. *Роман (Продолжение)* 94

ПУБЛИЦИСТИКА

Ральф ШРЁДЕР. «Коперниково открытие» Владимира Тендрякова. *Перевод с немецкого А. Федорова* 119
Владимир Тендряков. Метаморфозы собственности. *Подготовка текста и публикация Н. Асмоловой-Тендряковой* 123
Андрей ИЛЛЕШ. Кто он — диссидент № 1? 139

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ «ЗВЕЗДЫ»

Лев ГУМИЛЕВ. Этносы и антиэтносы. *Главы из книги. (Окончание)* 154

КРИТИКА

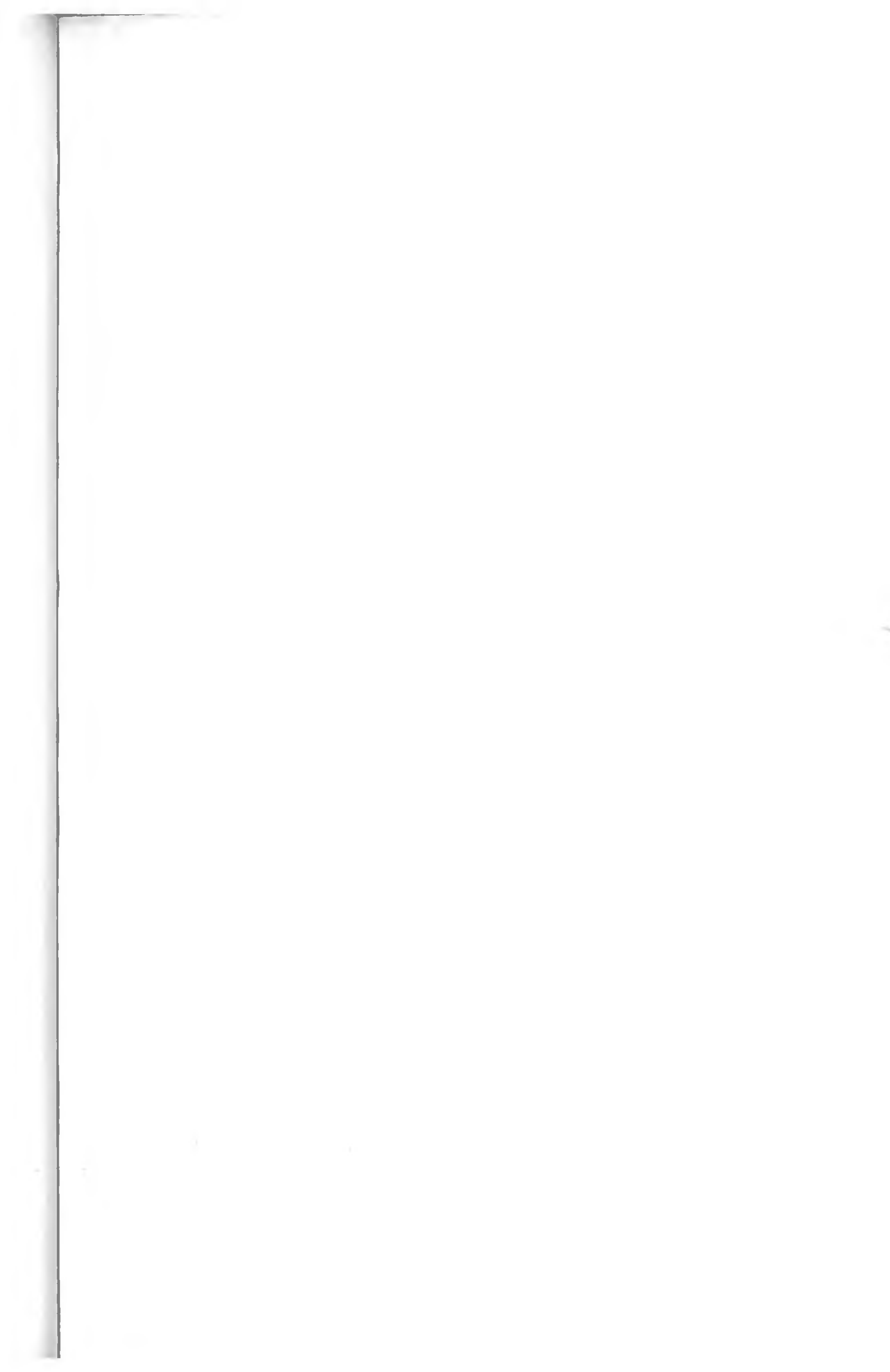
Дж. ОРУЭЛЛ. Лир, Толстой и шут. *Перевод с английского Н. Ермаковой* 169
Ив. ТОЛСТОЙ. Зубастая женщина, или Набоков после психоза 178

К 70-ЛЕТИЮ Ф. А. АБРАМОВА

Глеб ГОРЫШИН. Перевезите за реку... 184

МЕМУАРЫ XX ВЕКА

Петро ГРИГОРЕНКО. Воспоминания. *(Продолжение)* 192



ния, право на забастовки, право образования ассоциаций, отсутствие принудительного труда — являются гарантией свободы личности, осуществления социальных и экономических прав человека, международного доверия и безопасности. Гражданские и политические права наиболее систематически и откровенно нарушаются в тоталитарных странах.

Нарушается ключевое право на свободный выбор страны проживания, в особенности грубые формы эти нарушения имеют в СССР и ГДР с ее «берлинской стеной».

Роль свободного выбора страны проживания не только в том, что он обеспечивает воссоединение разрозненных семей (я не преуменьшаю значение этого), но также в том, что это право дает в принципе возможность покидать страну, не обеспечивающую своим гражданам их национальных, экономических, религиозных, политических, гражданских и социальных прав, и возвращаться в нее при изменении личной или общей ситуации, что неизбежно должно приводить к общему социальному прогрессу.

В СССР только наличие вызова от близких родственников дает право на подачу заявления на выезд, это ограничение находится в прямом противоречии с имеющим силу международного закона Пактом о гражданских и политических правах. Так с ходу отметается большое число лиц, желающих эмигрировать или временно выехать из страны по экономическим, религиозным, национальным, политическим, культурным, медицинским и иным личным причинам. Но и эмиграция имеющих вызовы, в частности немцев, евреев, литовцев, эстонцев, латышей, армян, украинцев, встречает то и дело колоссальные трудности, недаром существует слово «отказник». Мне кажется несомненным, что постоянно происходящие аресты и несправедливые осуждения стремящихся к эмиграции людей — это попытка сломить движение за эмиграцию, запугать и остановить на полпути потенциальных эмигрантов. В уголовных кодексах РСФСР и других республик в статье «Измена Родине» наряду с общепринятыми признаками этого преступления названо «бегство за границу или отказ возвратиться из-за границы в СССР». По этому признаку сотни людей были присуждены к жесточайшим наказаниям, многие помещены в тюремные психиатрические больницы. В последнее время широкую известность приобрела судьба осужденных еврейских отказников Щаранского, Слепака, Иды Нудель, Гольдштейна, Бегуна, ранее — участников Ленинградского «самолетного дела». Особенно много отказов и всевозможных преследований среди желающих эмигрировать немцев (в тридцатые—пятидесятые годы сотни тысяч немцев погибли от сталинских депортаций и репрессий). Трагична судьба трех поколений крестьянской семьи Петра Бергмана, безуспешно добивающейся выезда в Германию более пятидесяти лет.

В СССР — в противоречии с общепринятой нормой свободы передвижения внутри страны (статья 13 Декларации прав человека и соответствующая статья Пакта о правах) — существует паспортная система с обязательной так называемой «пропиской» (выдачей права на жительство в органах МВД). Особенно сильно ограничена свобода передвижения у колхозников. Колхозный Устав не предусматривает гарантий свободного выхода из колхоза, фактически превращая десятки миллионов людей в крепостных. То, что часть из них теми или иными способами все же добивается разрешения на выход из колхоза, не меняет нетерпимости общего положения.

Особая группа нарушений прав человека в СССР связана с национальными проблемами. Крымские татары, в 1944 году ставшие жертвой сталинского геноцида вместе со многими другими народами (при выселении из Крыма стариков, женщин и детей — мужчины были на фронте — погибла почти половина всех крымских татар), до сих пор подвергаются дискриминационному запрету вернуться на родную землю. Издевательства и жестокости, которым подвергаются решившиеся вернуться в Крым семьи, не поддаются описанию. Отказы в «прописке» и заключение в тюрьму за нарушение правил о «прописке» (об обязательном разрешении органов МВД на жительство), отказ в оформлении покупки домов и разрушение уже купленных, оставляющее семьи с детьми и стариками на улице, насильственные выселения, отказ в приеме на работу — все это части последовательной дискриминационной политики.

Летом этого года крымский татарин Муса Мамут совершил акт самосожжения, желая привлечь внимание к трагическому положению крымских татар. Когда его, уже умирающего, везли в больницу, он сказал: «Должен же был кто-то это сделать».

Острота национальных проблем в СССР подчеркивается жестокостью политических репрессий в национальных республиках — на Украине, в Прибалтике, в Армении и других. Приговоры в национальных республиках особенно суровы, а поводы к ним еще менее обоснованы.

Конституция СССР формально провозглашает свободу совести и отделение Церкви от государства. Но фактически официально признанные Церкви находятся в унизительном положении тотальной зависимости от государства в административном и в материальном отношении; они лишены права религиозной проповеди, права церковной благотворительности, их священники и старосты назначаются советскими органами.

В этих условиях необходимо отдать должное скрытому нонконформизму многих рядовых священников и верующих этих Церквей.

Восстающие против зависимости от властей Церкви подвергаются особо жестоким преследованиям — вплоть до отбирания детей от родителей, помещения верующих в психиатрические больницы, арестов, осуждений, конфискаций и даже террористических актов, которые никогда не расследуются.

Недавно мы все были потрясены арестом восьмидесятитрехлетнего духовного руководителя Церкви Адвентистов Седьмого Дня Владимира Шелкова, ранее проведшего более двадцати пяти лет в заключении. Приверженцы этой Церкви подвергаются особенно безжалостным репрессиям за религиозную деятельность и вынуждены зачастую жить на нелегальном положении.

Не менее трудным является положение независимого крыла Баптистской Церкви, униатов, пятидесятников, так называемой Истинно Православной Церкви и некоторых других.

В республиках Прибалтики и в западных областях Украины преследования религии часто носят антинациональный характер. Так, в Литве большим ограничениям подвергается Католическая Церковь и жестоко преследуется анонимный журнал «Хроника Литовской Католической Церкви», его издатели и распространители.

Я говорил выше о положении в СССР, являющемся особенно нетерпимым. Как известно, в некоторых странах Восточной Европы героические усилия верующих и руководителей Церкви, таких как Миндсенти в Венгрии и Вышинский в Польше, способствовали установлению гораздо более нормального положения. Авторитет, которым пользуется Церковь в этих странах, явился одним из факторов, способствовавших уменьшению тоталитарного давления на человека.

Особая проблема — эмиграция по религиозным мотивам. Сейчас в американском консульстве в Москве уже несколько месяцев находятся в добровольном заточении члены двух семей пятидесятников — Ващенко и Чмыхаловы, уже более шестнадцати лет добивающиеся выезда из СССР, прошедшие все формы преследований, вплоть до тюремного заключения. Теперь советские газеты, издающиеся по месту их постоянного жительства, объявляют их «шпионами» иностранных государств; кто знает, не готовят ли им участь Щаранского, если они решатся покинуть территорию консульства, около которого день и ночь дежурят машины КГБ. Выезда безуспешно добиваются очень многие их единоверцы (некоторые общины почти в полном составе), многие баптисты и другие верующие.

Наравне с правом свободного выбора страны проживания облик общества сильней всего определяется правом на свободу убеждений и распространение информации. Этому праву противоречат имеющиеся в уголовных кодексах республик СССР статьи, дающие возможность преследовать именно за эти ненасильственные и законные в любом демократическом государстве действия (статьи 70 и 190-1 УК РСФСР). Сотни узников совести — в том числе один из редакторов «Хроники текущих событий», крупный ученый-биолог, мой близкий друг Сергей Ковалев — находятся в заключении по этим статьям. Политические суды по обвинениям этого рода в СССР и странах Восточной Европы происходят с грубейшими нарушениями права обвиняемых на рассмотрение их дела по существу, на защиту от инспирированной клеветы, с нарушениями гласности. Никого, кроме

самых близких родственников обвиняемых, не пускают на формально открытые процессы, а на многих последних судах не могли присутствовать даже жены и матери обвиняемых — воистину есть что скрывать (так же, как в лагерях и тюрьмах, но об этом ниже).

Недавно внимание всего мира было привлечено к подобным беззаконным судам над членами групп содействия выполнению Хельсинкских соглашений, которых судили по этим же статьям,— над Орловым, Гинзбургом, Щаранским, Пяткусом, Лукьяненко, Костава, до этого — Руденко, Тихим, Мариновичем, Матусевичем, Гаяускасом и др.

Московская группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений в последние месяцы выпустила ряд важных документов. К некоторым из них я присоединился, в том числе к заявлению группы от 30 октября 1978 года, требующему отмены статей 70 и 190-1 УК РСФСР и той части статьи об измене Родине (статья 64), которая позволяет трактовать-как измену Родине попытку покинуть страну.

Недопустимым нарушением прав человека, несомненно, являются те условия, в которых отбывают свои сроки в советских лагерях и тюрьмах полтора миллиона заключенных (цифра приблизительная, точная цифра неизвестна) и в их числе — сотни политзаключенных. Подневольный труд в тяжких условиях, причем за невыполнение непосильных норм выработки следуют репрессии, чаще всего карцерная пытка голодом и холодом, отсутствие сколько-нибудь приличной медицинской помощи, провокации и придирки администрации — вот их быт. На состоявшейся 30 октября 1978 года пресс-конференции, посвященной традиционному — с 1974 года — «Дню политзаключенного», я передал иностранным корреспондентам письмо из лагеря особого режима в Сосновке, в котором эти условия описаны с впечатляющей конкретностью и достоверностью.

Чрезвычайно важные для нормально функционирующего общества права, не реализованные в СССР и странах Восточной Европы,— это право на забастовки и право на создание независимых от властей ассоциаций. На примере этих прав особенно ясно проявляется, что без осуществления политических и гражданских прав не может быть эффективного решения социальных и экономических проблем.

Советская пропаганда объявляет нашу страну развитым социалистическим государством с максимальной заботой о человеке. Действительность далека от этих рекламных заявлений. Существует огромное социальное неравенство между основной массой трудящихся (в особенности работников массовых интеллигентных профессий — младших служащих, врачей и учителей) и так называемым начальством, которое обладает множеством привилегий. Это неравенство особенно болезненно воспринимается при крайне низком для относительно развитой в экономическом отношении страны уровне жизни. Приведу несколько цифр — средняя зарплата составляет около 150 рублей в месяц, но существует зарплата 80, даже 70 рублей — это в Москве, где зарплата выше, чем в провинции. Максимальная пенсия — 120 рублей (но существует множество видов персональных пенсий), а минимальная — около 40 рублей. Пособие матери-одиночке — 5 рублей в месяц, но если в семье на члена семьи меньше 50 рублей в месяц, то пособие на ребенка дается — только до восьмилетнего возраста — 12 рублей в месяц.

В большинстве городов отсутствуют важнейшие продукты питания (в частности — мясо), медикаменты и многие необходимые промышленные товары. Люди приезжают в Москву со всех концов страны, тратя деньги, время и силы, чтобы приобрести самое необходимое.

Человечество стоит перед рядом сложнейших проблем, угрожающих нормальной жизни и счастью будущих поколений, угрожающих самому существованию цивилизации. Наиболее коварной и трудно предотвратимой опасностью прогрессивному и свободному развитию человечества является распространение тоталитаризма. Именно этой опасности непосредственно противостоит борьба за права человека. Все более широкое понимание этого отразилось в таких исторических событиях последних лет, как Хельсинкский Заключительный Акт, в котором подписями тридцати пяти глав государств зафиксирована неразрывная связь

международной безопасности и соблюдения основных прав человека. Эти же сдвиги общественного мнения нашли отражение в провозглашенной в январе 1977 года президентом США принципиальной линии защиты прав человека во всем мире как моральной основы политики США. В этой концепции особенно важен ее глобальный характер, стремление применять одинаковые правовые и нравственные критерии к нарушениям прав человека в любой стране мира — в Латинской Америке, в Африке, в Азии, в социалистических странах и в своей собственной стране. Я знаю о важных и плодотворных последствиях этой позиции в Южной и Центральной Америке и в других местах. Я совершенно не склонен недооценивать важности борьбы за права человека всюду, где они нарушаются, или стремиться ограничить эту борьбу рамками СССР и Восточной Европы. Устранить страдания, происходящие сегодня, важней всего, и совершенно неважно, далеко они или близко в географическом или национальном смысле. Но я также подчеркиваю в то же время, что угроза распространения тоталитаризма своим эпицентром имеет СССР, и это также необходимо учитывать.

Я считаю, что занятая президентом США Картером принципиальная позиция соответствует требованиям времени и демократическим традициям американского народа; она способствует объединению всех демократических сил во всем мире; она имеет историческое значение, которое не может быть перечеркнуто отдельными неточностями конкретного осуществления этой политики. Я считаю очень важным еще более широкую поддержку принципиальной позиции администрации США в защите прав человека, а также в тех начинаниях, которые предназначены для укрепления позиций США, необходимых для успешного выполнения роли лидера западного мира в противовес наступлению тоталитаризма. Я имею тут в виду даже такие сугубо внутренние дела, как энергетическую программу и борьбу с инфляцией; мне кажется, что обсуждение ключевых проблем в современной напряженной ситуации должно проводиться с отвлечением от всех межпартийных и иных внутренних расхождений. В поддержке нуждаются и такие ключевые события международной жизни, как мирное урегулирование между Египтом и Израилем, которое отвечает интересам всех народов Ближнего Востока и всего мира, и более скромные на вид, но важные для экономической и политической независимости Запада усилия в области мирной ядерной энергетики (недавно мы с огорчением узнали о негативном исходе референдума в Австрии по этому вопросу).

Американский народ — свободолюбивый, щедрый, деятельный и энергичный (так мне рисуется его образ) — несомненно окажется на высоте стоящих перед ним — и перед всем миром — задач.

Особенно важным отражением сдвигов в общественном мнении явились политические амнистии во многих, часто далеко не демократических, странах. Амнистия прошла в Югославии, Индонезии, Польше, Чили. Назначена амнистия в Иране и на Филиппинах и намечается в некоторых странах Латинской Америки. Борьба в защиту прав человека в СССР и странах Восточной Европы явилась одним из факторов, которые способствовали этим событиям — освобождению тысяч людей.

Сейчас та маленькая горстка инакомыслящих, которых я знаю лично, переживает трудный период. Арестованы многие прекрасные, мужественные люди. Усиливается кампания клеветы и провокаций, частично непосредственно исходящая из КГБ, а частично использующая или отражающая расслоение, брожение и разочарование среди некоторых диссидентов и им близких кругов. Жизнь сложна. И в этих условиях обиды и амбиция толкают некоторых на весьма сомнительные действия и высказывания. По-видимому, число активных участников движения и в Москве и в провинции заметно уменьшилось.

И все же я считаю, что нет никаких оснований говорить о поражении движения в защиту прав человека. Это тот вопрос, где арифметика имеет очень мало отношения к делу. За последние годы борьба за права человека в СССР и Восточной Европе кардинально изменила нравственный и политический климат во всем мире. Мир не только получил богатейшую информацию, но и поверил в нее. И это такой факт, который никакие репрессии и провокации КГБ уже не в силах изменить. Это историческая заслуга движения за права человека. Сейчас, как

и раньше, единственное оружие этого движения — гласность, свободная точная и объективная информация. Это оружие остается действенным. Совершенно очевидно также, что, пока не изменились условия и не отпали задачи борьбы за права человека, новые люди силою обстоятельств и душевных стремлений будут вливаться на место выбывших. Этого репрессии властей тоже не могут предотвратить. Наоборот, прекращение репрессий было бы важным фактором улучшения положения с точки зрения властей.

Что я жду от людей Запада, сочувствующих борьбе за права человека? Несомненно, что их помощь очень нужна. И в связи с этим я хочу остановиться на некоторых вопросах, дебатируемых в настоящее время. Большое внимание к проблемам прав человека в СССР и странах Восточной Европы, в особенности усилившееся весной и летом 1978 года после полосы судебных процессов, является чрезвычайно важным фактором, на который я возлагаю большие надежды. Но расширившиеся возможности требуют одновременно чрезвычайной четкости и разумности действий с всесторонним учетом всех возможных последствий.

В западной печати иногда высказывалась мысль, что переговоры по ограничению стратегических вооружений, в успехе которых заинтересован Советский Союз (как и весь мир), открывают возможности давления на СССР в вопросе прав человека. Мне такое мнение кажется неправильным, я считаю, что задача уменьшения опасности уничтожения человечества в термоядерной войне имеет абсолютный приоритет над всеми остальными. Я считаю совершенно правильным сформулированный администрацией США принцип практического отделения вопроса о разоружении от других вопросов. Поэтому, например, договор об ограничении стратегических вооружений должен рассматриваться сам по себе, с той единственной точки зрения, уменьшает ли он опасность и разрушительность термоядерной войны, увеличивает ли он международную стабильность, не создает ли он односторонних преимуществ для СССР или не фиксирует ли уже существующие преимущества. Такой раздельный практический подход не отменяет, конечно, того несомненного факта, что прочная международная безопасность и международное доверие невозможны без соблюдения основных прав человека, в частности политических и гражданских прав. Замечу также, что Запад не должен рассматривать в качестве основной цели сокращения вооружений уменьшение военных расходов — основными целями могут быть только международная стабильность и предотвращение возможности термоядерной войны.

Другая обсуждавшаяся в западной прессе проблема — о бойкотах (научных, культурных, экономических и т. д.) как средстве давления на СССР в целях добиться освобождения хотя бы некоторых политзаключенных. После судов над Орловым, Щаранским и Гинзбургом многие западные ученые отказались участвовать в научных семинарах и конференциях, происходящих в СССР. Некоторые научные ассоциации стали вообще отказываться от сотрудничества с советскими научными учреждениями. Я приветствую все подобные формы бойкота как выражение протеста мировой общественности против нарушений прав человека в СССР. То же относится к экономическому бойкоту, например, к отказу в продаже компьютерной техники или нефтебурового оборудования. СССР и другие тоталитарные страны должны знать, что политика защиты прав человека — это не просто красивая фраза западных политиков, а выражение общенародной воли в странах Запада, и что продолжение нарушений прав человека несовместимо с продолжением и углублением разрядки. Эту же мысль могут внушать руководителям тоталитарных стран имеющие с ними дело западные бизнесмены, политические и спортивные деятели, юристы и многие другие.

Однако проблема бойкотов — сложная и противоречивая. Несомненно, что соображения внешнеполитического престижа, соображения борьбы за власть и ее удержание в обстановке закулисной борьбы и просто традиции сильной власти не позволяют руководителям тоталитарных государств непосредственно реагировать на оказываемое на них давление. Несомненно также, что бойкоты попутно ослабляют реально полезные контакты и уменьшают число рычагов давления в будущем. Однозначного, пригодного на все случаи жизни ответа в таком сложном деле дать нельзя. Я могу лишь высказать некоторые общие соображения. Мне кажется, что следует, за небольшим числом исключительных случаев, избегать ультимативных бойкотов, то есть не ставить в явном виде прекращение бойкота в зависимость от каких-то конкретных шагов властей. В этом случае бойкот продемонстрирует заинтересованность в том или ином конкретном деле и в то же время не создаст «тупиковой» ситуации, из которой нельзя выйти без потери лица. Я убежден также в необходимости сочетания разнообразных и внушительных публичных кампаний с энергичной и разумно планируемой тихой дипломатией. Важным полем тихой дипломатии могут явиться обмены политзаключенных. Я уже писал, что не понимаю и не принимаю прозвучавших на Западе возражений против обменов. Мне кажется, что в некоторых случаях это почти единственный реальный способ помочь людям вырваться из ада лагерей и тюрем, пусть даже немногим, но он все же прорыв, брешь и, безусловно, ничем не вредит оставшимся, и никак не подрывает авторитета правозащитных организаций, например таких, как «Эмнести Интернейшнл», которая ставит своей целью всемирную политическую амнистию.

Особая проблема — отношение к предстоящей Московской олимпиаде. Моя точная позиция соответствует документу Московской хельсинкской группы — письму Международному олимпийскому комитету и его Президенту лорду М. Килланину, к которому я присоединился. Авторы письма отмечают имеющиеся в СССР нарушения прав человека и предупреждают, что власти намерены на предстоящей Олимпиаде ограничить контакты между людьми в полном пренебрежении олимпийскими принципами; авторы призывают не допустить этого, призывают потребовать прекращения преследований за ненасильственные действия в защиту прав человека, за религиозную деятельность и попытку добиться осуществления права на свободный выбор страны проживания и места проживания внутри страны; призывают освободить всех узников совести. Авторы письма пишут, что они придают большое значение предстоящей Олимпиаде и просят довести письмо до сведения Национальных олимпийских комитетов и спортивных обществ разных стран с тем, чтобы каждый участник будущей Олимпиады мог высказать свое отношение к поставленным вопросам. К сожалению, нам неизвестна реакция Олимпийского комитета на этот документ.

Идеология защиты прав человека — по-видимому, единственная, которая может сочетаться с такими различными идеологиями, как коммунистическая, социал-демократическая, религиозная, технократическая, национально-«почвенная»; она может составить также основу позиции тех людей, которые не хотят связывать себя теоретическими тонкостями и догмами, устав от изобилия идеологий, не принесших людям простого человеческого счастья.

Защита прав человека — это ясный путь к объединению людей в нашем смятенном мире, путь к облегчению страданий.

8 ноября 1978 года
Москва

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ПЕРВОМ СЪЕЗДЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР

Уважаемые народные депутаты!

Я должен объяснить, почему я голосовал против утверждения итогового документа Съезда. В этом документе содержится много правильных и очень важных положений, много принципиально новых прогрессивных идей. Но я считаю, что Съезд не решил стоящей перед ним ключевой политической задачи, воплощенной в лозунге «Вся власть Советам!». Съезд отказался даже от обсуждения «Декрета о власти».

До того как будет решена эта политическая задача, фактически невозможно реальное решение всего комплекса неотложных экономических, социальных, национальных и экологических проблем.

Съезд народных депутатов СССР избрал Председателя Верховного Совета СССР в первый же день без широкой политической дискуссии и хотя бы символической альтернативности. По моему мнению, Съезд совершил серьезную ошибку, уменьшив в значительной степени свои возможности влиять на формирование политики страны, оказав тем самым плохую услугу и избранному Председателю.

По действующей Конституции Председатель Верховного Совета СССР обладает абсолютной, практически ничем не ограниченной личной властью. Сосредоточение такой власти в руках одного человека крайне опасно, даже если этот человек — инициатор перестройки. В частности, возможно закулисное давление. А если когда-нибудь это будет кто-то другой?

Постройка государственного дома началась с крыши, что явно не лучший способ действий. То же самое повторилось при выборах Верховного Совета. По большинству делегаций происходило просто назначение, а затем формальное утверждение Съездом людей, из которых многие не готовы к законодательной деятельности. Члены Верховного Совета должны оставить свою прежнюю работу «как правило» — нарочито расплывчатая формулировка, при которой в Верховном Совете оказываются «свадебные генералы». Такой Верховный Совет будет — как можно опасаться — просто ширмой для реальной власти Председателя Верховного Совета и партийно-государственного аппарата.

В стране, в условиях надвигающейся экономической катастрофы и трагического обострения межнациональных отношений, происходят мощные и опасные процессы, одним из проявлений которых является всеобщий кризис доверия народа к руководству страны. Если мы будем плыть по течению, убаюкивая себя надеждой постепенных перемен к лучшему в далеком будущем, нарастающее напряжение может взорвать наше общество с самыми трагическими последствиями.

Товарищи депутаты, на вас сейчас — именно сейчас! — ложится огромная историческая ответственность. Необходимы политические решения, без которых невозможно укрепление власти советских органов на местах и решение экономических, социальных, экологических, национальных проблем. Если Съезд народных депутатов СССР не может взять власть в свои руки здесь, то нет ни малейшей надежды, что ее смогут взять Советы в республиках, областях, районах, селах. Но без сильных Советов на местах невозможна земельная реформа и вообще какая-либо эффективная аграрная политика, отличающаяся от бессмысленных реанимационных вливаний нерентабельным колхозам. Без сильного Съезда и сильных, независимых Советов невозможны преодоление диктата ведомств, выработка и осуществление законов о предприятии, борьба с экологическим безумием. Съезд призван защитить демократические принципы народовластия и тем самым — необратимость перестройки и гармоническое развитие страны. Я вновь обращаюсь к Съезду с призывом принять «Декрет о власти».

ДЕКРЕТ О ВЛАСТИ

Исходя из принципов народовластия, Съезд народных депутатов заявляет:

I. Статья 6 Конституции СССР отменяется.

II. Принятие Законов СССР является исключительным правом Съезда народных депутатов СССР. На территории союзной республики законы СССР приобретают юридическую силу после утверждения высшим законодательным органом союзной республики.

III. Верховный Совет является рабочим органом Съезда.

IV. Комиссии и Комитеты для подготовки законов о государственном бюджете, других законов и для постоянного контроля за деятельностью государственных органов, над экономическим, социальным и экологическим положением в стране — создаются Съездом и Верховным Советом на паритетных началах и подотчетны Съезду.

V. Избрание и отзыв высших должностных лиц СССР, а именно:

1. Председателя Верховного Совета СССР,
2. Заместителя Председателя Верховного Совета СССР,
3. Председателя Совета Министров СССР,

4. Председателя и членов Комитета конституционного надзора,
5. Председателя Верховного суда СССР,
6. Генерального прокурора СССР,
7. Верховного арбитра СССР,
8. Председателя Центрального банка,

а также:

1. Председателя КГБ СССР,
2. Председателя Государственного комитета по телевидению и радиовещанию,
3. Главного редактора газеты «Известия»

— исключительное право Съезда.

Поименованные выше должностные лица подотчетны Съезду и независимы от решений КПСС.

VI. Кандидатуры на пост Заместителя Председателя Верховного Совета и Председателя Совета Министров СССР предлагаются Председателем Верховного Совета СССР и, альтернативно, народными депутатами. Право предложения кандидатур на остальные поименованные посты принадлежит народным депутатам.

VII. Функции КГБ ограничиваются задачами защиты международной безопасности СССР.

П р и м е ч а н и е. В будущем необходимо предусмотреть прямые общенародные выборы Председателя Верховного Совета СССР и его заместителя на альтернативной основе.

Я прошу депутатов внимательно изучить текст Декрета и поставить его на голосование на чрезвычайном заседании Съезда. Я прошу создать редакционную комиссию из лиц, разделяющих основную идею Декрета. Я обращаюсь к гражданам СССР с просьбой поддержать Декрет в индивидуальном и коллективном порядке, подобно тому как они это сделали при попытке скомпрометировать меня и отвлечь внимание от вопроса об ответственности за афганскую войну.

Я хотел бы возразить тем, кто пугает невозможностью обсуждать законы двумя тысячами человек. Комиссии и Комитеты подготовят формулировки, на заседаниях Верховного Совета обсудят их в первом и втором чтении, и все стенограммы будут доступны Съезду. В случае необходимости дискуссия продолжится на Съезде. Но что действительно неприемлемо — если мы, депутаты, имея мандат от народа на власть, передадим наши права и ответственность своей одной пятой, а фактически — партийно-государственному аппарату и Председателю Верховного Совета.

Продолжаю. Уже давно нет опасности военного нападения на СССР. У нас самая большая армия в мире, больше чем у США и Китая, вместе взятых. Я предлагаю создать комиссию для подготовки решения о сокращении срока службы в армии (ориентировочно в два раза для рядового и сержантского состава, с соответствующим сокращением всех видов вооружения, но со значительно меньшим сокращением офицерского корпуса), с перспективой перехода к профессиональной армии. Такое решение имело бы огромное международное значение для укрепления доверия и разоружения, включая полное запрещение ядерного оружия, а также огромное экономическое и социальное значение. Частное замечание: надо демобилизовать к началу учебного года всех студентов, взятых в армию год назад.

Национальные проблемы. Мы получили в наследство от сталинизма национально-конституционную структуру, несущую на себе печать имперского мышления и имперской политики «разделяй и властвуй». Жертвой этого наследия являются малые союзные республики и малые национальные образования, входящие в состав союзных республик по принципу административного подчинения. Они на протяжении десятилетий подвергались национальному угнетению. Сейчас эти проблемы драматически выплеснулись на поверхность. Но не в меньшей степени жертвой явились большие народы, в том числе русский народ, на плечи которых лег основной груз имперских амбиций и последствий авантюризма и догматизма во внешней и внутренней политике. В нынешней острой

межнациональной ситуации необходимы срочные меры. Я предлагаю переход к федеративной (горизонтальной) системе национально-конституционного устройства. Эта система предусматривает предоставление всем существующим национально-территориальным образованиям, вне зависимости от их размера и нынешнего статуса, равных политических, юридических и экономических прав, с сохранением теперешних границ (со временем возможны и, вероятно, будут необходимы уточнения границ образований и состава федерации, что и должно стать важнейшим содержанием работы Совета Национальностей). Это будет Союз равноправных Республик, объединенных Союзным договором, с добровольным ограничением суверенитета каждой Республики в минимально необходимых пределах (в вопросах обороны, внешней политики и некоторых других). Различия в размерах и численности населения Республик и отсутствие внешних границ не должны смущать. Проживающие в пределах одной Республики люди разных национальностей должны юридически и практически иметь равные политические, культурные и социальные права. Надзор за этим должен быть возложен на Совет Национальностей. Важной проблемой национальной политики является судьба насильственно переселенных народов. Крымские татары, немцы Поволжья, турки-месхи, ингуши и другие должны получить возможность вернуться к родным местам. Работа комиссии Президиума Верховного Совета по проблеме крымских татар была явно неудовлетворительной.

К национальным проблемам примыкают религиозные. Недопустимы любые ущемления свободы совести. Совершенно недопустимо, что до сих пор не получила официального статуса Украинская Католическая Церковь.

Важнейшим политическим вопросом является утверждение роли советских органов всех уровней истинно демократическим путем. В избирательный закон должны быть внесены уточнения, учитывающие опыт выборов народных депутатов СССР. Институт окружных собраний должен быть уничтожен и всем кандидатам должны быть предоставлены равные возможности доступа к средствам массовой информации.

Съезд должен, по моему мнению, принять постановление, содержащее принципы правового государства. К этим принципам относятся: свобода слова и информации, возможность судебного оспаривания гражданами и общественными организациями действий и решений всех органов власти и должностных лиц в ходе независимого разбирательства; демократизация судебной и следственной процедур (допуск адвоката с начала следствия, суд присяжных; следствие должно быть выведено из ведения прокуратуры: ее единственная задача — следить за исполнением Закона). Я призываю пересмотреть законы о митингах и демонстрациях, о применении внутренних войск и не утверждать Указ от 8 апреля.

Съезд не может сразу накормить страну. Не может сразу разрешить национальные проблемы. Не может сразу ликвидировать бюджетный дефицит. Не может сразу вернуть нам чистый воздух, воду и леса. Но создание политических гарантий решения этих проблем — это то, что он обязан сделать. Именно этого от нас ждет страна! Вся власть Советам!

Сегодня внимание всего мира обращено к Китаю. Мы должны занять политическую и нравственную позицию, соответствующую принципам интернационализма и демократии. В принятой Съездом резолюции нет такой четкой позиции. Участники мирного демократического движения и те, кто осуществляет над ними кровавую расправу, ставятся в один ряд. Группа депутатов составила и подписала обращение, призывающее правительство Китая прекратить кровопролитие.

Присутствие в Пекине посла СССР сейчас может рассматриваться как неявная поддержка действий правительства Китая правительством и народом СССР. В этих условиях необходим отзыв посла СССР из Китая! Я требую отзыва посла СССР из Китая!

2 июня 1989 г.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Президиуму Верховного Совета СССР
Председателю Президиума Верховного Совета СССР
Леониду Ильичу БРЕЖНЕВУ

Копии этого письма я адресую
Генеральному Секретарю ООН и
главам государств — постоянных
членов Совета Безопасности

Я обращаюсь к Вам по вопросу чрезвычайной важности — об Афганистане. Как гражданин СССР и в силу своего положения в мире, я чувствую ответственность за происходящие трагические события. Я отдаю себе отчет в том, что Ваша точка зрения уже сложилась на основании имеющейся у Вас информации (которая должна быть несравненно более широкой, чем у меня) и в соответствии с Вашим положением. И тем не менее вопрос настолько серьезен, что я прошу Вас внимательно отнестись к этому письму и выраженному в нем мнению.

Военные действия в Афганистане продолжаются уже семь месяцев. Погибли и искалечены тысячи советских людей и десятки тысяч афганцев — не только партизан, но главным образом мирных жителей: стариков, женщин, детей — крестьян и горожан. Более миллиона афганцев стали беженцами. Особенно зловещи сообщения о бомбежках деревень, оказывающих помощь партизанам, о минировании горных дорог, что создает угрозу голода для целых районов. Есть сведения о применении напалма, мин-ловушек и новых типов оружия. Крайнюю тревогу вызывают (непроверенные) сообщения о случаях применения нервно-паралитических газов. Некоторые из этих сообщений, возможно, недостоверны, но общая мрачная картина не подлежит сомнению. Ожесточение борьбы, жестокости с обеих сторон возрастают, и конца этой эскалации не видно.

Также не подлежит сомнению, что афганские события кардинально изменили политическое положение в мире. Они поставили под удар разрядку, создали прямую угрозу миру не только в этом районе, но и везде. Они затруднили (а может, сделали вообще невозможной) ратификацию договора ОСВ-2, жизненно важного для всего мира, в особенности как предпосылка дальнейших этапов процесса разоружения. Советские действия способствовали (и не могли не способствовать!) увеличению военных бюджетов и принятию новых военно-технических программ во всех крупнейших странах, что будет сказываться еще долгие годы, усиливая опасности гонки вооружений. На Генеральной Ассамблее ООН советские действия в Афганистане осудили 104 государства, в том числе многие ранее безоговорочно поддерживавшие любые действия СССР.

Внутри СССР усиливается разорительная сверхмилитаризация страны (особенно губительная в условиях экономических трудностей), не осуществляются жизненно важные реформы в хозяйственно-экономических и социальных областях, усиливается опасная роль репрессивных органов, которые могут выйти из-под контроля.

Я не буду в этом письме анализировать причины ввода советских войск в Афганистан — вызван ли он законными оборонительными интересами или это часть каких-то других планов; было ли это проявление бескорыстной помощи земельной реформе и другим социальным преобразованиям или это вмешательство во внутренние дела суверенной страны. Быть может, доля истины есть в каждом из этих предположений. Я лично считаю советские действия несомненной экспансией и нарушением суверенитета Афганистана. Но и стоящие на другой позиции, как мне кажется, должны согласиться, что эти действия — ужасная ошибка, которую необходимо исправить как можно быстрей, тем более что сделать это с каждым днем все трудней. По моему убеждению, необходимо политическое урегулирование, включающее следующие действия.

1. СССР и партизаны прекращают военные действия — заключается перемирие.

2. СССР заявляет, что готов полностью вывести свои войска по мере замены

их войсками ООН. Это будет важнейшим действием ООН, соответствующим ее целям, провозглашенным при ее создании, и резолюции 104-х ее членов.

3. Нейтралитет, мир и независимость Афганистана гарантируются Советом Безопасности ООН в лице его постоянных членов, а также, возможно, соседних с Афганистаном стран.

4. Страны-члены ООН, в том числе СССР, предоставляют политическое убежище всем гражданам Афганистана, желающим покинуть страну. Свобода выезда всем желающим — одно из условий урегулирования.

5. Афганистану предоставляется экономическая помощь на международной основе, исключающей его зависимость от какой-либо страны; СССР принимает на себя определенную долю этой помощи.

6. Правительство Бабрака Кармаля до проведения выборов передает свои полномочия Временному совету, сформированному на нейтральной основе с участием представителей партизан и представителей правительства Кармаля.

7. Проводятся выборы под международным контролем; члены правительства Кармаля и партизаны принимают участие в них на общих основаниях.

Мои мысли, конечно, не более чем возможная основа для обсуждения. Я понимаю трудность проведения этой или аналогичной программы. Однако какой-то политический выход из возникшего тупика должен быть найден. Продолжение и, тем более, дальнейшее усиление военных действий приведут, по моему убеждению, к катастрофическим последствиям. Быть может, мир именно сейчас находится на перепутье, и от того, как будет разрешен афганский кризис, зависит весь ход событий ближайших лет и даже десятилетий.

Я также считаю необходимым обратиться к Вам по другому наболевшему для страны вопросу. В СССР за без малого 63 года никогда не было политической амнистии. Освободите узников совести, осужденных и арестованных за убеждения и ненасильственные действия, за попытку осуществить свое право получать и распространять информацию, право на свободу религии, на свободный выбор страны проживания и места проживания внутри страны, право на ассоциации. В их числе — участники информационных, правозащитных и дискуссионных журналов, члены Хельсинкских групп, участники религиозных и эмиграционных движений. Такой гуманный акт властей СССР способствовал бы авторитету страны, оздоровил внутреннюю обстановку, способствовал международному доверию и вернул бы счастье во многие обездоленные семьи.

Я прошу Вас известить меня о получении и рассмотрении этого письма по адресу: Горький 137, проспект Гагарина, 214, кв. 3. Я силой вывезен в Горький в январе 1980 г. и считаю это абсолютно незаконным. Я до сих пор не знаю даже, какая инстанция или кто персонально приняли решение об этом. Вот уже много лет каждое мое общественное выступление приводит к репрессиям против моих близких, оказывающихся таким образом заложниками. Сейчас в этом положении Елизавета Алексеева — невеста сына, вынужденного эмигрировать два с половиной года назад. Она не получает разрешения на выезд к любимому, подвергается угрозам и шантажу, клевете в прессе. Личная драма двух молодых людей используется с целью давления на меня. За мои действия и выступления ответственность должен нести только я (в том числе и за это письмо). Практика заложничества — недопустимая для любой группировки или отдельных лиц, тем более недопустима и недостойна для государства. Я повторяю здесь свою просьбу помочь выезду Елизаветы Алексеевой.

Андрей САХАРОВ, академик,
лауреат Нобелевской премии мира

Горький,
27 июля 1980 года

Проект

КОНСТИТУЦИЯ СОЮЗА СОВЕТСКИХ РЕСПУБЛИК ЕВРОПЫ И АЗИИ

1. Союз Советских Республик Европы и Азии (сокращенно — Европейско-Азиатский Союз, Советский Союз) — добровольное объединение суверенных республик (государств) Европы и Азии.

2. Цель народа Союза Советских Республик Европы и Азии — счастливая, полная смысла жизнь, свобода материальная и духовная, благосостояние, мир и безопасность для граждан страны, для всех людей на Земле независимо от их расы, национальности, пола, возраста и социального положения.

3. Европейско-Азиатский Союз опирается в своем развитии на нравственные и культурные традиции Европы и Азии и всего человечества, всех рас и народов.

4. Союз в лице его органов власти и граждан стремится к сохранению мира во всем мире, к сохранению среды обитания, к сохранению внешних и внутренних условий существования человечества и жизни на Земле в целом, к гармонизации экономического, социального и политического развития во всем мире. Глобальные цели выживания человечества имеют приоритет перед любыми региональными, государственными, национальными, классовыми, партийными, групповыми и личными целями. В долгосрочной перспективе Союз в лице органов власти и граждан стремится к встречному плюралистическому сближению (конвергенции) социалистической и капиталистической систем как к единственному кардинальному решению глобальных и внутренних проблем. Политическим выражением такого сближения должно стать создание в будущем Мирового правительства.

5. Все люди имеют право на жизнь, свободу и счастье. Целью и обязанностью граждан и государства являются обеспечение социальных, экономических и гражданских прав личности. Осуществление прав личности не должно противоречить правам других людей, интересам общества в целом. Граждане и учреждения обязаны действовать в соответствии с Конституцией и законами Союза и республик и принципами Всеобщей декларации прав человека ООН. Международные законы и соглашения, подписанные СССР и Союзом, в том числе Пакты о правах человека ООН и Конституция Союза, имеют на территории Союза прямое действие и приоритет перед законами Союза и республик.

6. Конституция Союза гарантирует гражданские права человека — свободу убеждений, свободу слова и информационного обмена, свободу религии, свободу ассоциаций, митингов и демонстраций, свободу эмиграции и возвращения в свою страну, свободу поездок за рубеж, свободу передвижения, выбора места проживания, работы и учебы в пределах страны, неприкосновенность жилища, свободу от произвольного ареста и необоснованной медицинской необходимостью психиатрической госпитализации. Никто не может быть подвергнут уголовному или административному наказанию за действия, связанные с убеждениями, если в них нет насилия, призывов к насилию, иного ущемления прав других людей или государственной измены.

Конституция гарантирует отделение церкви от государства и невмешательство государства во внутрицерковную жизнь.

7. В основе политической, культурной и идеологической жизни общества лежат принципы плюрализма и терпимости.

8. Никто не может быть подвергнут пыткам и жестокому обращению. На территории Союза в мирное время запрещена смертная казнь. Запрещены медицинские и психологические опыты над людьми без согласия испытуемых.

9. Принцип презумпции невиновности является основополагающим при судебном рассмотрении любых обвинений каждого гражданина. Никто не может быть лишен какого-либо звания и членства в какой-либо организации или публично объявлен виновным в совершении преступления до вступления в законную силу приговора суда.

10. На территории Союза запрещена дискриминация в вопросах оплаты труда и трудоустройства, поступления в учебные заведения и получения образо-

вания по признакам национальности, религиозных и политических убеждений, а также (при отсутствии прямых противопоказаний, оговоренных в законе) по признакам пола, возраста, состояния здоровья, наличия в прошлом судимости.

На территории Союза запрещена дискриминация в вопросах предоставления жилья, медицинской помощи и в других социальных вопросах по признакам пола, национальности, религиозных и политических убеждений, возраста и состояния здоровья, наличия в прошлом судимости.

11. Никто не должен жить в нищете. Пенсии по старости для лиц, достигших пенсионного возраста, пенсии для инвалидов войны, труда и детства не могут быть ниже прожиточного уровня. Пособия и другие виды социальной помощи должны гарантировать уровень жизни всех членов общества не ниже прожиточного минимума. Медицинское обслуживание граждан и система образования строятся на основе принципов социальной справедливости, доступности минимально-достаточного медицинского обслуживания (бесплатного и платного), отдыха и образования для каждого вне зависимости от имущественного положения, места проживания и работы.

Вместе с тем должны существовать платные системы повышенного типа медицинского обслуживания и конкурсные системы образования.

12. Союз не имеет никаких целей экспансии, агрессии и мессионизма. Вооруженные силы строятся в соответствии с принципом оборонительной достаточности.

13. Союз подтверждает принципиальный отказ от применения первым ядерного оружия. Ядерное оружие любого типа и назначения может быть применено лишь с санкции Главнокомандующего Вооруженными силами страны при наличии достоверных данных об умышленном применении ядерного оружия противником и при исчерпании иных способов разрешения конфликта. Главнокомандующий имеет право отменить ядерную атаку, предпринятую по ошибке, в частности, уничтожить находящиеся в полете запущенные по ошибке межконтинентальные ракеты и другие средства ядерной атаки.

Ядерное оружие является лишь средством предотвращения ядерного нападения противника. Долгосрочной целью политики Союза является полная ликвидация и запрещение ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения, при условии равновесия в обычных вооружениях при разрешении региональных конфликтов и при общем смягчении всех факторов, вызывающих недоверие и напряженность.

14. В Союзе не допускаются действия каких-либо тайных служб охраны общественного и государственного порядка. Тайная деятельность за пределами страны ограничивается задачами разведки и контрразведки. Тайная политическая, подрывная и дезинформационная деятельность запрещаются. Государственные службы Союза участвуют в международной борьбе с терроризмом и торговлей наркотиками.

15. Основополагающим и приоритетным правом каждой нации и республики является право на самоопределение.

16. Вступление республики в Союз Советских Республик Европы и Азии осуществляется на основе Союзного договора в соответствии с волей населения республики по решению высшего законодательного органа республики.

Дополнительные условия вхождения в Союз данной республики оформляются Специальным протоколом в соответствии с волей населения республики. Никаких других национально-территориальных единиц, кроме республик, Конституция Союза не предусматривает, но республика может быть разделена на отдельные административно-экономические районы.

Решение о вхождении республики в Союз принимается на Учредительном съезде Союза или на Съезде народных депутатов Союза.

17. Республика имеет право выхода из Союза. Решение о выходе республики из Союза должно быть принято высшим законодательным органом республики в соответствии с референдумом на территории республики не ранее чем через год после вступления республики в Союз.

18. Республика может быть исключена из Союза. Исключение республики из Союза осуществляется решением съезда народных депутатов Союза большинством не менее 2/3 голосов, в соответствии с волей населения Союза, не ранее чем через три года после вступления республики в Союз.

19. Входящие в Союз республики принимают Конституцию Союза в качестве Основного закона, действующего на территории республики, наряду с Конституциями республик. Республики передают Центральному правительству осуществление основных задач внешней политики и обороны страны. На всей территории Союза действует единая денежная система. Республики передают в ведение Центральному Правительству другие функции, а также полностью или частично объединять органы управления с другими республиками. Эти дополнительные условия членства в Союзе данной республики должны быть зафиксированы в протоколе к Союзному договору и основываться на референдуме на территории республики.

Наряду с гражданством Союза республика может устанавливать гражданство республики.

20. Оборона страны от внешнего нападения возлагается на Вооруженные силы, которые формируются на основе Союзного закона. В соответствии со специальным протоколом республика может иметь республиканские Вооруженные силы или отдельные рода войск, которые формируются из населения республики и дислоцируются на территории республики. Республиканские Вооруженные силы и подразделения входят в Союзные Вооруженные силы и подчиняются единому командованию. Все снабжение Вооруженных сил вооружением, обмундированием и продовольствием осуществляется централизованно на средства союзного бюджета.

21. Республика может иметь республиканскую денежную систему наряду с союзной денежной системой. В этом случае республиканские денежные знаки обязательны к приему повсеместно на территории республики. Союзные денежные знаки обязательны во всех учреждениях союзного подчинения и допускаются во всех остальных учреждениях. Только Центральный банк Союза имеет право выпуска и аннулирования союзных и республиканских денежных знаков.

22. Республика, если противное не оговорено в Специальном протоколе, обладает полной экономической самостоятельностью. Все решения, относящиеся к хозяйственной деятельности и строительству, за исключением деятельности и строительства, имеющих отношение к функциям, переданным Центральному Правительству, принимаются соответствующими органами республики. Никакое строительство Союзного значения не может быть предпринято без решения республиканских органов управления. Все налоги и другие денежные поступления от предприятий и населения на территории республики поступают в бюджет республики. Из этого бюджета для поддержания функций, переданных Центральному Правительству, в Союзный бюджет вносится сумма, определяемая бюджетным комитетом Союза на условиях, указанных в Специальном протоколе.

Остальная часть денежных поступлений в бюджет находится в полном распоряжении Правительства республики.

Республика обладает правом прямых международных экономических контактов, включая прямые торговые отношения и организацию совместных предприятий с зарубежными партнерами. Таможенные правила являются общесоюзными.

23. Республика имеет собственную, независимую от Центрального Правительства систему правоохранительных органов (милиция, Министерство внутренних дел, пенитенциарная система, Прокуратура, судебная система). Приговоры по уголовным делам могут быть отменены в порядке помилования Президентом Союза. На территории республики действуют союзные законы при условии утверждения их Верховным законодательным органом республики и республиканские законы.

24. На территории республики государственным является язык национальности, указанной в наименовании республики. Если в наименовании республики указаны две или более национальности, то в республике действуют два или более государственных языка. Во всех республиках Союза официальным языком межреспубликанских отношений является русский язык. Русский язык является равноправным с государственным языком республики во всех учреждениях и предприятиях союзного подчинения. Язык межнационального общения не

определяется конституционно. В республике Россия русский язык является одновременно республиканским государственным языком и языком межреспубликанских отношений.

25. Первоначально структурными составными частями Союза Советских Республик Европы и Азии являются Союзные и Автономные республики, Национальные автономные области и Национальные округа бывшего Союза Советских Социалистических республик. Национально-конституционный процесс начинается с провозглашения независимости всех национально-территориальных структурных частей СССР, образующих суверенные республики (государства). На основе референдума некоторые из этих частей могут объединяться друг с другом. Разделение республики на административно-экономические районы определяется Конституцией республики.

26. Границы между республиками являются незыблемыми первые 10 лет после Учредительного Съезда. В дальнейшем изменение границ между республиками, объединение республик, разделение республик на меньшие части осуществляется в соответствии с волей населения республик и принципом самоопределения наций в ходе мирных переговоров с участием Центрального Правительства.

27. Центральное Правительство Союза располагается в столице (главном городе) Союза. Столица какой-либо республики, в том числе столица России, не может быть одновременно столицей Союза.

28. Центральное Правительство Союза включает:

1) Съезд народных депутатов Союза;
2) Совет Министров Союза;
3) Верховный суд Союза.

Глава Центрального Правительства Союза — Президент Союза Советских Республик Европы и Азии. Центральное Правительство обладает всей полнотой высшей власти в стране, не разделяя ее с руководящими органами какой-либо партии.

29. Съезд народных депутатов Союза имеет две палаты.

1-я Палата, или Палата Республик (400 депутатов), избирается по территориальному принципу — по одному депутату от избирательного территориального округа с приблизительно равным числом избирателей. 2-я Палата, или Палата Национальностей, избирается по национальному признаку. Избиратели каждой национальности, имеющей свой язык, избирают определенное число депутатов, а именно: по одному депутату от 2,0 (полных) миллионов избирателей данной национальности и дополнительно еще два депутата данной национальности. Эта общая квота распределена по укрупненным многомандатным округам. Выборы в обе палаты — всеобщие и прямые на альтернативной основе сроком на пять лет.

Обе палаты заседают совместно, но по ряду вопросов, определенных регламентом Съезда, голосуют отдельно. В этом случае для принятия закона или постановления требуется решение обеих палат.

30. Съезд народных депутатов Союза Советских Республик Европы и Азии обладает высшей законодательной властью в стране. Законы Союза, не затрагивающие положений Конституции, принимаются простым большинством голосов от списочного состава каждой из палат и имеют приоритет по отношению ко всем законодательным актам союзного значения, кроме Конституции.

Законы Союза, затрагивающие положения Конституции Союза Советских Республик Европы и Азии, а также прочие изменения текста статей Конституции, принимаются при наличии квалифицированного большинства не менее 2/3 голосов от списочного состава каждой из Палат Съезда. Принятые таким образом решения имеют приоритет по отношению ко всем законодательным актам союзного значения.

31. Съезд обсуждает бюджет Союза и поправки к нему, используя доклад Комитета Съезда по бюджету. Съезд избирает Председателя Совета Министров Союза, министров иностранных дел и обороны и других высших должностных лиц Союза. Съезд назначает Комиссии для выполнения одноразовых поручений, в частности, для подготовки законопроектов и рассмотрения конфликтных ситуаций. Съезд назначает постоянные Комитеты для разработки перспективных планов развития страны, для разработки бюджета, для постоянного контроля над

работой органов исполнительной власти. Съезд контролирует работу Центрального банка. Только с санкции Съезда возможны несбалансированные эмиссия и изъятие из обращения союзных и республиканских денежных знаков.

32. Съезд избирает из своего состава Президиум. Члены Президиума Съезда председательствуют на Съезде, осуществляют организационные функции по обеспечению работы Съезда, его Комиссий и Комитетов. Члены Президиума не имеют других функций и не занимают никаких руководящих постов в Правительстве Союза и республик и в партиях. Президиум обладает правом помилования.

33. Совет Министров Союза включает Министерство иностранных дел, Министерство обороны, Министерство оборонной промышленности, Министерство финансов, Министерство транспорта Союзного значения, Министерство связи Союзного значения, а также другие министерства для исполнения функций, переданных Центральному Правительству отдельными республиками в соответствии со Специальными протоколами к Союзному договору. Совет Министров включает также Комитеты при Совете Министров Союза.

Кандидатуры всех министров, кроме министра иностранных дел и министра обороны, предлагает Председатель Совета Министров и утверждает Съезд. В том же порядке назначаются Председатели Комитетов при Совете Министров.

34. Верховный суд Союза имеет четыре палаты:

1) палата по уголовным делам;
2) палата по гражданским делам;
3) палата арбитража;
4) Конституционный суд.

Председателей каждой из палат избирает на альтернативной основе Съезд народных депутатов Союза.

В компетенцию Верховного суда входит рассмотрение проблем и дел союзного и межреспубликанского характера.

35. Президент Союза Советских Республик Европы и Азии избирается сроком на пять лет в ходе прямых всеобщих выборов на альтернативной основе. До выборов каждый кандидат в Президенты называет своего Заместителя, который баллотируется одновременно с ним.

Президент не может совмещать свой пост с руководящей должностью в какой-либо партии. Президент может быть отстранен от своей должности в соответствии с референдумом на территории Союза, решение о котором должен принять Съезд народных депутатов Союза большинством не менее 2/3 голосов от списочного состава. Голосование по вопросу о проведении референдума производится по требованию не менее 60 депутатов. В случае смерти Президента, отстранения от должности или невозможности исполнения им обязанностей по болезни и другим причинам его полномочия переходят к Заместителю.

36. Президент представляет Союз в международных переговорах и церемониях. Президент является Главнокомандующим Вооруженными силами Союза. Президент обладает правом законодательной инициативы в отношении союзных законов и правом вето в отношении любых законов и решений Съезда народных депутатов, принятых менее чем 55 процентами от списочного состава депутатов. Съезд может ставить на повторное голосование подвергшийся вето закон, но не более двух раз.

37. Экономическая структура Союза основана на плюралистическом сочетании государственной (республиканской, межреспубликанской и союзной), кооперативной, акционерной и частной (личной) собственности на орудия и средства производства, на все виды промышленной и сельскохозяйственной техники, на производственные помещения, дороги и средства транспорта, на средства связи и информационного обмена, включая средства масс-медиа, собственности на предметы потребления, включая жилье, а также интеллектуальной собственности, включая авторское и избирательское право. Государственные предприятия могут быть переданы в срочную или бессрочную аренду коллективам или частным лицам.

38. Земля, ее недра и водные ресурсы являются собственностью республики и проживающих на ее территории наций (народов). Земля может быть непосредственно без посредников передана во владение на неограниченный срок частным

лицам, государственным, кооперативным и акционерным организациям с выплатой земельного налога в бюджет республики. Для частных лиц гарантируется право наследования владения землей детьми и близкими родственниками. Находящаяся во владении земля может быть возвращена республике лишь по желанию владельца или при нарушении им правил землепользования и при необходимости использования земли государством по решению законодательного органа республики с выплатой компенсации.

39. Земля может быть продана в собственность частному лицу и трудовому коллективу. Ограничения перепродажи и другие условия пользования землей, являющейся частной собственностью, определяются законом республики.

40. Количество принадлежащей одному лицу частной собственности, изготовленной, приобретенной или унаследованной без нарушения закона, ничем не ограничивается (за исключением земли). Гарантируется неограниченное право наследования являющихся частной собственностью домов и квартир с неограниченным правом поселения в них наследников, а также всех орудий и средств производства, предметов потребления, денежных знаков и акций. Право наследования интеллектуальной собственности определяется законами республики.

41. Каждый имеет право распоряжаться по своему усмотрению своими физическими и интеллектуальными трудовыми способностями.

42. Частные лица, кооперативные, акционерные и государственные предприятия имеют право неограниченного найма работников в соответствии с трудовым законодательством.

43. Использование водных ресурсов, а также других возобновляемых ресурсов государственными, кооперативными, арендными и частными предприятиями и частными лицами облагается налогом в бюджет республики. Использование невозобновляемых ресурсов облагается выплатой в бюджет республики.

44. Предприятия с любой формой собственности находятся в равных экономических, социальных и правовых условиях, пользуются равной и полной самостоятельностью в распределении и использовании своих доходов за вычетом налогов, а также в планировании производства, номенклатуры и сбыта продукции, в снабжении сырьем, заготовками, полуфабрикатами и комплектующими изделиями, в кадровых вопросах, в тарифных ставках, облагаются едиными налогами, которые не должны превышать в сумме 30 процентов фактической прибыли, в равной мере несут материальную ответственность за экологические и социальные последствия своей деятельности.

45. Система управления снабжения и сбыта продукции в промышленности и сельском хозяйстве, за исключением предприятий и учреждений союзного подчинения, строится в интересах непосредственных производителей на основе их органов управления снабжения и сбыта продукции.

46. Основой экономического регулирования в Союзе являются принципы рынка и конкуренции. Государственное регулирование экономики осуществляется через экономическую деятельность государственных предприятий и посредством законодательной поддержки принципов рынка, плюралистической конкуренции и социальной справедливости.

Август — ноябрь 1989 г.

Проект подготовлен
А. Д. САХАРОВЫМ

Даниил Гранин

НРАВСТВЕННЫЙ ПРИМЕР

Впервые советский читатель может прочесть собранные воедино статьи и выступления А. Д. Сахарова, первого советского лауреата Нобелевской премии мира. На Западе книги Сахарова читают давно, сейчас там выходит объемистая его автобиография. Уже одно это придает особый интерес этой первой советской публикации. Наконец-то мы можем хотя бы частично ознакомиться из первых рук со взглядами, воззрениями, идеями, которые преподносились нам в цитатах, большей частью искаженно-перетолкованные, снабженные комментариями клеветническими, ничего общего не имеющими с подлинными идеями Сахарова. Читая его работы, начиная с Памятной записки Л. И. Брежневу, отправленной в июне 1972 года, его Нобелевскую лекцию 1975 года, невольно то и дело вспоминаешь, как все это было оболгано. Его предложения и мысли были объявлены идеологически вредными, затем враждебной пропагандой, затем самого Сахарова объявили наймитом западных реакционеров, пособником милитаристов, агентом, продажным... Невозможно и стыдно повторять сегодня все то, что печатали о нем центральные наши газеты, сафроновский «Огонек», наши «маститые» журналисты, тот же Ю. Жуков или К. Батманов, Н. Яковлев, не говоря уж о других журналистах, которые соревновались в бесстыдной ругани, почти что нецензурной. И это была не кампания, не взрыв; травля А. Д. Сахарова продолжалась из года в год вплоть до декабря 1986 года, до дня возвращения его из горьковской ссылки в Москву, до первого, если не ошибаюсь, публичного его выступления, которое произошло 6 февраля 1987 на международном московском форуме «За безъядерный мир, за выживание человечества». Я присутствовал на этом форуме, но на выступление Сахарова попасть не мог. Не пустили. Сахаров выступал на секции ученых, и нас, «гуманитариев» и участников других секций, приказано было не допускать. Специальную охрану поставили, чтобы никто не услышал, что говорит Сахаров. Ни священнослужителей, ни военных, ни иностранных деятелей, никого не допускали. Это было не указание «сверху», а, что интересно, самодеятельность руководителей секции, уважаемых наших академиков. Страх перед сахаровской крамолой, перед его личностью настолько въелся за эти годы, что даже дозволенность не могла заглушить этот страх. Не верили самим себе, что можно слушать, слышать его речь.

Конечно, А. Д. Сахаров говорил «не то». Не поддержав официальные предложения нашего советского военно-промышленного комплекса, он выдвинул свои нетривиальные соображения по термоядерному вооружению.

Сахаров всегда говорит «не то». В этом особенность его статей, его речей, его мышления. И в этом особенность его дара. В сущности, смысл гения, определение гения в том и состоит, что он «не то». Не то, что обычное мнение, обычное виденье. Способность видеть мир не так, как его видят другие, видеть по-своему присуща именно великим художникам, ученым, философам. Благодаря этому иному, «неправильному» взгляду нам открывается многообразие и объемность мира. Начав свою самостоятельную научную работу по проблемам управляемой термоядерной реакции, Андрей Дмитриевич Сахаров проявил это самое умение увидеть проблему «чуть» иначе, чем все другие. Конечно, слово «умение» не точно. Этому нельзя научиться. Для таланта многое значит способность природная плюс умение добросовестно и много работать. Тут слово «умение» уместно. Великие же ученые, так же, как и великие художники, осуществляли себя через какие-то иные качества. Скорее это—озарение, это иное устройство хрусталика, иная оптика души, никому больше не присущая.

Андрей Дмитриевич Сахаров взошел в нашей отечественной физике как звезда первой величины. По своим задаткам, по зачину, по результатам он сразу зачислен был в разряд физиков мирового класса. Конечно, секретность, вернее, сверхсекретность работ над термоядерным оружием мешала нормальному научному общению, мешала публикациям. Сахаров не мог бывать на международных симпозиумах, его не знали, о нем не могли узнать. Секретность губительна для науки, эта же сверхсекретность приковывала ученого цепью, и остается поражаться, как, несмотря на все это, могло взмыть творчество ученого, поднять его так высоко, а главное, сохранить в нем независимость ума и духа.

Семья, происхождение, затем личность его руководителя, человека исключительной чести и порядочности, Игоря Евгеньевича Тамма, многое определили в нравственной стойкости Андрея Дмитриевича.

Ряд работ Сахарова не ограничивался только военными темами, ему удавалось вырваться за служебную территорию.

Из автобиографической статьи, которая предваряет публикацию, трудно представить значение научных работ Сахарова как физика-теоретика, масштаб его деятельности. Надо заметить, что со времен Д. И. Менделеева и И. П. Павлова мы можем гордиться совсем чи-

танными именами подобного калибра. Среди физиков это, по-видимому, в первую очередь П. Л. Капица и А. Д. Сахаров. Я это к тому, чтобы представить себе уникальность такого дарования. Недаром даже при нашей весьма произвольной системе награждений Сахаров к 1962 году получает третью звезду Героя Социалистического Труда.

Исключительно удачно складывалась его научная карьера. Обласканный, преуспевающий, казалось бы, что ему еще нужно, сиди и занимайся любимым делом, следуй своему счастливому призванию. Ему с основанием приписывали решающие заслуги в создании ядерной мощи державы. И мирной, и особенно военной мощи. Все это надо представить себе, чтобы оценить переход от такого признания и благополучия, я бы сказал, от наивысшего признания к наибольшей отверженности, от вершины к бездне. За каких-нибудь шесть, семь лет одна за другой акции, столкновения приведут его к 1968 году, к написанию книги «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Крамолой было то, что она пошла самиздатом, еще хуже, что ее стали широко издавать за границей. С этого, собственно, и пошли репрессии. Терпение властей кончилось. Сахарова отстраняют от секретных работ. Это никак не остановило его. Процесс продолжался и в конце концов закончился в 1980 году ссылкой в Горький.

Из «отца водородной бомбы» он стал «диверсантом», «предателем», «провокатором», «отщепенцем», «антисоветчиком». В чем только его не обвиняли, какую только брань не вешали на него. Вся пропагандистская машина огромной страны с 1973 года обрабатывала общественное мнение, всех граждан страны, все было пущено в ход — радио, телевидение, газеты и журналы, книги, лекторы, фотоматериалы, чтобы заклеймить Сахарова, сделать его чуть ли не врагом номер один. На Рейгана, на профессионалов-антисоветчиков не затрачивали столько усилий, как на этого кабинетного ученого, человека с тихим голосом, не имеющего в своем распоряжении ничего, кроме мысли. В течение четырнадцати лет, вплоть до того декабрьского дня 1986 года, когда М. С. Горбачев позвонил Сахарову в Горький и сказал, что принято решение о том, что можно вернуться в Москву, никому нигде в пределах страны не разрешалось ничего сказать в защиту Сахарова.

Пропаганда, конечно, делала свое дело. Пропаганда и привычный страх. Это было летом, в августе 1973 года, в Дубултах. На пляж кто-то пришел с номером «Известий» и вслух прочитал письмо группы академиков против Сахарова. Не помню, что они там требовали, то ли исключить его из Академии наук, то ли судить. Помню другое, как один из слушавших, известный физик, тоже академик, вдруг всполошился: «Почему ж они меня не включили в число подписавших, они же знают, что я здесь!» Он всерьез был обеспокоен тем, что его «забыли», нет ли за этим чего-то, угрожающего ему. Причем это был настоящий ученый, который отлично знал цену А. Д. Сахарову, гордости нашей академии.

Вот какие царили нравы. И надо отдать должное и А. П. Александрову, и П. Л. Капице, и не знаю кому еще в академии — воспрепятствовали, не допустили такого позора, не допустили исключения.

О чем же писал Сахаров, что вызвало ярость наших идеологов и особенно властей? Читая его статьи сегодня, при самом внимательном рассмотрении невозможно найти ни антисоветской пропаганды, ни клеветы, ни диверсии, ни призывов к агрессии против нас, ничего из того, в чем его обвиняли. Вот они, работы тех лет, давайте сравним их с выступлениями наших руководителей — Брежнева, Суслова, Гришина, Громыко, идейных и прочих начальников, которые высылали Сахарова, напускали на него наших теоретиков и публицистов. У кого вернее анализ? Кто больше заботился о мире, о стране, о людях?

В памятной записке 1971 года Сахаров поднимает вопрос о гласности, о законе, обеспечивающем беспрепятственное право на выезд за границу и возвращение. Он разбирает проблему прав человека. Он бесстрашно вскрывает психологию высшего слоя партийно-государственного аппарата, который цепко держится за свои явные и тайные привилегии. Он выдвигает конкретные меры для духовного оздоровления страны. Почти все предложения Сахарова вошли спустя пятнадцать с лишним лет в программу перестройки — стали или становятся реальностью.

«Бесплатный характер здравоохранения и образования — не более чем экономические иллюзии в обществе, где вся прибавочная стоимость экспроприируется и распределяется государством».

Так раскрывает Сахаров механизм *бесплатности*, которым до сих пор манипулирует наша пропаганда. Его даже ранние работы семидесятых годов имеют не просто исторический интерес, вызывают не только удивление — «Ах, какой провидческий ум, какая дальновидность!», нет, это актуальный анализ противоречий нынешнего развития и проблем нового мышления.

Почему так ополчились на Сахарова? Если бы он выступал с разоблачением прошлого, преступлений сталинизма, политики репрессий — все это не могло вызвать такой ярости, как его, казалось бы, простые демократические предложения. Они обнажали перед всеми мертвящее доктринерство брежневского правления, его фальшь и демагогию, бесправие человека, беззаконие всей жизни народной. Сахаров с неумолимой логикой научного метода раскрывал бесплодные наши подходы к проблемам разоружения. Он показывал лживость наших разговоров о правах человека. Короче говоря, он вмешивался! Он позволял себе указывать правителям, что надо делать, и показывал, как плохо и глупо (!) они управляют и экономикой, и внешней политикой, и внутренней. И это оказывалось и убедительно, и доказательно, и куда прогрессивней и конструктивней, чем речи и планы профессиональных наших вождей. В прямую полемику вступать с ним избегали, пытались пренебрежительно высмеять — куда, мол, суется этот физик, что он понимает, он невежда, профан в политике и т. п. Но Сахаров не умолкал. Это, конечно, было нестерпимо. Тем более что мировая общественность жадно прислушивалась к одинокому спокойному голосу этого человека.

«Что касается Советского Союза, то реформы, которые собирается осуществить цезарь Сахаров, добравшись до власти, означают, по существу, установление капиталистических порядков:

„Частичная денационализация всех видов деятельности, может быть, исключая тяжелую промышленность, главные виды транспорта и связи... Частичная деколлективизация... Ограничение монополии внешней торговли...“».

Так написано в книге Н. Яковлева «ЦРУ против СССР».

Поскольку политическое разоблачение Сахарова как-то не получалось, и чем дальше, тем менее убеждало, то пустились на самые примитивные, низменные способы — много денег получает, жена — сионистка, и вообще он связан с сионистами, может, он их агент. Дальше еще гаже, уже шли намеки подлейшие — и на Сахарова, и на его жену. Не случайно Андрей Дмитриевич, человек в частной жизни кроткий, терпеливый, гуманнейший, встретив Н. Н. Яковлева, автора одной из мерзейших книг (а потом и статей), подошел к нему и сказал примерно так: «Извините, я вам должен дать пощечину»,— и дал. Как мне показалось, когда А. Д. рассказывал об этом, не за себя дал, а защищая честь своей жены, участницы войны, человека мужественного и сердечного.

Семь лет они вдвоем провели в ссылке в Горьком, лишенные права с кем-либо общаться. Не было телефона. Запрещено было куда-либо выезжать. У дверей квартиры круглосуточно дежурили милиционеры. Если Сахаровы выходили гулять, за ними ехали на машине. Горьковский поэт Федор Сухов рассказал мне, как одна приезжая знакомая студентка попросила его показать дом, где живут Сахаровы. Он провел ее к этому дому, они вошли во двор, присели на скамеечке. Вскоре перед ними очутились «мальчики», спросили, чего это они сидят, потребовали предъявить документы, затем попросили удалиться. Когда девушка вернулась в свой город, ее исключили из института.

У Сахарова трижды украли и трижды изъяли на обысках его рукописи.

Сахаров не имел возможности собирать пресс-конференции, встречаться с журналистами. Вести из Горького доносились случайные, больше через зарубежное радио. Но, странное дело, личность Сахарова, физически выключенная, лишенная голоса, все это время ощущалась в гражданской жизни. Незримое его присутствие активизировало инакомыслие или свободомыслие, как угодно называйте.

Однако я не собираюсь излагать здесь ни биографию Сахарова, ни систему его взглядов, ни их развитие. Мне хотелось бы коснуться лишь одной стороны его деятельности — чисто нравственной. И все, о чем я писал до сих пор, имело для меня целью только эту, может быть, не главную для самого А. Д. Сахарова, но решающую для меня роль — нравственного человека.

Выяснилось, в последнее время явственно, что личная и государственная морали, которые накапливались в течение двух последних веков, начали падать. Международный терроризм поощряется отдельными правительствами, наркомания, в которой участвуют государства не только капиталистические, циничная торговля оружием — занимаются ею правительства, которые ратуют за мир и разоружение,— все это освобождает и личную мораль от ответственности. В мире становится все меньше святых и все более ощущается потребность нравственного примера. Нравственный человек в дефиците. Не хватает примера людей, которых можно чтить, которым хочется подражать, людей высокой чести, порядочности, интеллекта.

В своей Нобелевской речи, в этот момент торжества своей борьбы, А. Д. Сахаров настойчиво, не считаясь ни с какими традициями, перечисляет десятки имен советских политзаключенных, узников совести, просит считать, что все они «разделяют со мною честь Нобелевской премии мира». И далее идет огромный список: «За каждым названным и не названным именем — трудные и героические судьбы, годы страданий, годы борьбы за человеческое достоинство». Для него это не просто список, за свободу многих он боролся как мог. Он являлся на судебные заседания, если его пускали, если не пускали, выстаивал часами, днями перед зданием суда. Он ходатайствовал, обращался в разные инстанции, взывал к международным организациям и Верховному Совету, помогал заключенным чем только мог. В своей автобиографии Сахаров отчасти рассказывает об этой своей работе. Она выглядела безнадежной и безрезультатной. Людей продолжали сажать, ссылать. Приговоры не смягчали, суды не внимали параграфам законов и Конституции. Арестовывали тех, кто помогал ему, высылали его близких. Старались опустошить его окружение, оставить его в вакууме. Угрожали ему расправой... Автобиография его кончается 1973 годом. Дальше было еще тяжелее, и новые беззаконные расправы, голодовка, издеватель-

ства... Наказание без приговора, без срока—тяжелое испытание. Трудно понять, откуда этот человек черпал силы для своей стойкости, в чем состояла его вера. Когда 15 декабря 1986 года М. С. Горбачев позвонил Сахарову в Горький, первое, что сказал ему А. Д. Сахаров после благодарности, что его беспокоит участь узников совести, продолжающих томиться в лагерях, и что радость от выслушанного решения омрачена вестью о гибели в тюрьме правозащитника Анатолия Марченко.

Вот какова его первая реакция на долгожданную весть о свободе.

На Первом съезде народных депутатов я наблюдал, как А. Д. Сахаров терпеливо и упорно выстаивал свою очередь к трибуне, к микрофону. Его не смущали враждебные выкрики в его адрес. Известна обструкция, которую устроили ему после выступления одного из воинов-афганцев. Сахарову свистели, не давали говорить. Твк убеждены были многие в зале. Они забыли, а большей частью и не знали, что Сахаров был первым в нашей стране, кто осмелился подать свой голос против войны в Афганистане. За это его выслали в Горький, это окончательно взъярило брежневское Политбюро. Все же дезинформация тоже немалая сила.

Обструкция произвела удручающее впечатление своей несправедливостью. На следующий день в кулуарах Съезда можно было заметить смущение, люди как бы опомнились, многие чувствовали себя виноввтыми. Сахаров продолжал выступать как ни в чем не бывало. Похоже, что на него нисколько не подействовала та обструкция, я почти уверен в этом, потому как виделся с ним тогда же в перерыве. Словно бы ничто не расстроило его, не могло остановить. Это даже не упорство, не стойкость, не мужество, это выше, это глубочайшее сознание своей правоты, вера в то, что люди в зале поймут, не могут не понять, куда ж они денутся от разумных вещей? Во всяком случае, он обязан произнести, высказать свои доводы. Так было с Сахаровым во времена брежневщины, так было позже, ныне то же самое непреклонное чувство ведет его через любые тернии к трибуне. Его ничего не может устрашить. В нем нет фанатичности. Раньше мне виделось в этом некоторое мессианство, но по мере того, как я узнавал А. Д. Сахарова все больше, я убеждался, что им движет более всего нравственная ответственность. Как политик он не свободен от ошибок, его предложения бывают наивны, спорны. Как моралист он не занимается рассуждениями об этике, о вечных ценностях, не выступает с проповедями. Да он и не претендует ни на звание политика, ни на моралиста. Он отказался от членства в Верховном Совете.

«Я не родился для общественной деятельности»,— сказал А. Д. Сахаров в одном из своих интервью. Что же в таком случае является внутренним стимулом для его гражданской, политической активности? Он так ответил на это: «...судьба моя оказалась необычной: она поставила меня в условия, когда я почувствовал свою большую ответственность перед обществом,— это участие в работе над ядерным оружием, в создании термоядерного оружия. Затем я почувствовал себя ответственным за более широкий круг общественных проблем, в частности гуманитарных. Большую роль в гуманизации моей общественной деятельности сыграла моя жена — человек очень конкретный. Ее влияние способствовало тому, что я стал больше думать о конкретных человеческих судьбах. Ну а когда я вступил на этот путь, наверное, уже главным внутренним стимулом было стремление оставаться верным свмому себе, своему положению, которое возникло в результате чисто внешних обстоятельств».

И, как всегда, возникает вопрос: почему именно он, Андрей Дмитриевич Сахаров, почувствовал такую ответственность, почему другие ученые такой ответственности не чувствовали? Когда-то я занимался историей создания советской атомной бомбы. Я спрашивал многих соратников И. В. Курчатова, начинвя с академика Г. Флерова, человека, благодаря которому развернулась эта работа. Я допытывался: существовали ли у наших ученых какие-либо сомнения в необходимости создания атомного оружия, в нравственной оправданности этих страшных разрушительных сил, мучился ли кто из атомщиков над своей ответственностью перед демонами всеобщей гибели человечества, которых вызвали из небытия они, ученые?

Вроде бы никто из наших не мучился. Так получалось из ответов самых разных физиков. На Западе, там известны покаянные заявления, протестующие выступления Нильса Бора, Сцилларда и других. У нас же все глухо, и, как считали многие, не потому глухо, что нельзя было ничего сказать, но и потому, что ничего такого не возникало, то ли действия наших физиков были оправданы необходимостью создавать бомбу в «ответ», то ли потому, что нравственное мышление в те сороковые-пятидесятые еще не очнулось, усыпленное, завороженное идеей классовой морали, когда классовое выше общечеловеческого и все, что делвется для могущества нашей страны, все оправдано и т. п. А Нильс Бор, Эйнштейн, Сциллард, Рассел и прочие — это абстрактный гуманизм, буржуазный либерализм, прогрессивное движение... Чего другого, а ярлыков, словесных завес у нас изготавливвли вволю.

Сахаров в этом смысле защитил честь советских физиков. Грех атомного капкана, в который попало человечество, он искупил как мог, не пожалев ни себя, ни своего дарования. Он вышел на борьбу не потому, что был обижен или обозлен, не для того, чтобы мстить за свои обиды. К нему-то, наверное, больше всех приложимо понятие «абстрактный гуманизм». Хотя его гуманизм конкретен уже потому, что связан был с его личной судьбой. Конец 60-х годов был плодотворнейшим временем его научной работы. Она была прервана потому, что в эти годы он вынужден был выступить на защиту инакомыслящих, писать письма в ЦК, в правительство. Вынужден потому, что не мог позволить себе отмалчиваться. Таинственный, необъяснимый диктат совести. Это, наверное, как талант, священный дар — одних посещает, к другим не достучаться.

Набрасывая эскиз общественного устройства жизни в 2024 году, Сахаров размышляет как ученый. В этом его отличие от обычных футурологических проектов. В истории утопизма (или утопий?) проект будущего, кажется, впервые создается крупнейшим ученым. Дело это рискованное, но оно оправдано нашим неубывающим желанием рассмотреть прекрасное далеко. Научная система мышления, научный подход Сахарова сохраняются и в общественной жизни, в политике, в этике. Это всегда отличает его работы и выступления, придает им своеобычие.

Сахаров беспартийный, он, как мне кажется, и по натуре своей беспартиен. Он общечеловечен. Любая подчиненность мешала бы ему.

Удивительно, непонятно и то, как могла прорасти такая совесть, такая личность в условиях, когда все выдающееся, неординарное аккуратно выстригалось. Механизм осреднения действовал неукоснительно — все подравнивалось под посредственность. От личной нравственности мало что оставалось. Не случайно ведь даже к концу восьмидесятых, после стольких разоблачений, когда открылась вся чудовищная система преступлений, массовое доносительство, лагерные бесчинства, издевательства, действия следователей, неправых судов,— никто не кается. Никто не просит прощения, никто не требует суда над собой и сам себя не судит. Тем более прощают себе и «малые грехи» — молчание, соглашательства, тихие сделки со своей совестью.

Вот почему феномен Сахарова разителен. Нравственная требовательность его оказывала и оказывает очищающее влияние: все же есть с кого брать пример. Такие люди, как бы ни было их мало, какой бы ни были они редкостью, помогают нам в каждодневной нелегкости нашей жизни, они восстанавливают веру в красоту человеческой души, ту самую красоту, которая может спасти мир.

От редакции: *Работа над послесловием к этой книге была завершена Даниилом Граниным еще при жизни Андрея Дмитриевича Сахарова.*

* * *

Лучше Дельфта в этом мире только Дельфт на полотне.
Я присматривался к желтой, синей, розовой стене.
Ах, за что такой подарок драгоценный сделан мне?

Как ценил шероховатость мой любимый романист!
Он герою смерть как радость преподнес, как чистый лист.
Влажность эта, сыроватость, глянец лилий и батист.

На тарелочках зеленых мелко плавают они.
Им в каналах полусонных хорошо цвести в тени.
Об утратах и уронах думать — боже сохрани!

Вспоминать их неуместно и преступно, как в раю.
От себя я здесь чудесно отодвинул жизнь свою,
Власть Советов, бурю съезда, жаркий спор в родном краю.

Ездить на велосипеде, да посиживать в кафе,
Да просматривать в газете, что там пишут о Москве?
Почему одна на свете жизнь дается, а не две?

Водяною паутиной город маленький накрыт.
Умереть перед картиной — слишком легкий, что ли, вид
Смерти быстрой, воробьиной — гордость наша не велит.

Я скажу сейчас, что понял, наконец, к чему пришел,
Смысл лежит, как на ладони, откровенен и тяжел:
Бог задумал — я исполнил, в мире горя, в море зол.

Бродит маленькая птичка под ногами у меня.
С романистом перекличка, и художник мне родня.
Жизнь — горячая привычка, золотая западня.

* * *

Да, накупили мы тряпок, прямо скажу, чемодан.
Нам мерседес подавали, а может быть, и роллс-ройс.
Синие рододендроны, крупные, как обман.
Жаль, не сказал никто нам, что в Цюрихе умер Джойс.

Я бы совсем иначе на город тогда смотрел.
Ах, все равно живые изгороди хороши!
Денежных, знать, швейцарцам мало прилежных дел,
Русская литература им нужна для души.

Красным квадратным флагом с белым крестом большим,
Кажется, при желанье можно накрыть страну.
Русская литература и модернизм... Бог с ним,
Что-нибудь вставлю к месту, присочиню, вверну.

Что до любовниц, с диким можно сравнить цветком
Каждую, выбрав синий или лиловый цвет,—
Так он писал, живя здесь особняком, тайком.
Мистеру Блуму — самый нежный от нас привет.

Здравствуй, поток сознанья,— вброд перешел тебя
Яснополянский, в блузе, не замочив штанин,
Первопроходец, время комкая, теребя...
Что это было, помнишь: чертополох, люпин?

Вспомнится эта поза, через мгновенье — та,
Господи, так и этак нежничал с дамой, льнул,
В самые раскаленные руку тянул места,
Через страницу — падал лифчик на венский стул.

Где-то году в тридцатом был подведен итог
Новому направленью, подведена черта,
Вышел на сцену ужас, маску отбросил рок,
Только не здесь... Цветочки тянутся к нам с куста.

* * *

Замерзли яблони и голые стоят,
Одна-две веточки листвой покрыты редкой —
Убогий, призрачный наряд.
Как Баратынского прикован был бы взгляд
К их жалкой участи, какою скорбью едкой
Обуглен был бы стих! Ну что ж, переживу
Легко крушение надежд — на что? На годы
Плодоносящие. Где преклонить главу?
И не такие назову,
Молчи, не спрашивай, убытки и расходы.

А тот, с кем я сажал их лет тому назад
Пятнадцать, новости печальной не узнает,
И если есть тот свет, то значит, есть там сад,
Где он задумывает ряд
Нововведений, торф под яблони сгружает,
Приствольный круг рыхлит — и, вспомнив обо мне,
Кого-то просит там бесхитростно за сына
И улыбается, и страх, что на войне
Томил и мучил в мирном сне,
Забыт, и к колышкам привязана малина.

Александр Семенович Кушнер (р. 1936) — советский поэт. Печатается с 1957 года. Первая книга — «Первое впечатление» — вышла в 1962 году. Автор многих книг, в том числе однотомника «Стихотворения» — 1986. Живет в Ленинграде.

* * *

Пол не безлик, хотя и наг.
Кто говорит, что пол угрюм,
Забыл, как весел может мрак
Быть! Ах, тюльпан не то что мак.
Ленор не то что Улялюм.

Душа не то, что нам твердят
В течение двух тысяч лет
О ней. От головы до пят
Вся — дрожь, вся — жар она, вся — бред!
Ее целуют, с нею спят.

Она на пальцах у меня,
На животе, на языке,
И ангелы мне не родня!
И там, где влажного огня
Мне не сдержать, и на щеке.

* * *

Как хорошо жить,
Помнить, любить, спать,
Вкрадчивую нить
Дергать, во тьме ронять!

Как ты свежа, явь,
Как ты глубок, сон!
Шагом. Бегом. Вплавь.
Словно Тезей, Язон.

Комната. Потолок.
Влажный гранит скал.
Ты мне дала клубок
Или я сам взял?

Сквозь слепоту бед
И черноту гнезд
Льется в окно свет
Однопартийных звезд.

Сходит и наш век
С треском со всех сцен.
Ближе к нам скиф, грек,
Чем Ренуар, Гоген.

Словно в других мирах
Жили они. Нас
Делал людьми страх,
Нет, как овец, пас.

Нет, как траву, мял.
Нет, как тростник, гнул.
Радость – вина бокал,
Просто диван, стул.

Словно дельфин на пляж
Выброшен или кит,—
Мертв Минотавр наш
Или устал, спит?

Или, наоборот,
Всем существом своим
Он к хозрасчету льнет
К ценам договорным?

Как ветерок в степи:
To be or not to be?
Ладно, ту би, ту би...
Милая, спи, спи.

* * *

Льется свет. Вода бредет во мраке.
И звезда с звездою говорит.
Как непрочны слов дневные браки!
Вот оно, рыданье аонид.

И душа с другим, ночным глаголом
В непроглядной тьме обручена,
Словно с богом, ласковым и голым,
Юным, захмелевшим от вина.

Ничего-то он не обещает
И бессмертье дать не может ей.
Речь струится. Время? Время тает.
Дом глядит на нас из-за ветвей.

Странно жить, в виду имея темный
Край, конец, уступчатый обрыв.
Что ты хочешь там услышать: волны,
Жаркий шепот, вкрадчивый мотив?

Настежь смерть нестрашная открыта,
Смысл сидит у вечности в гостях,
Обсуждая с нею деловито
Все, что мы не поняли впотьмах.

* * *

Ты не прихлопнешь луч: он на руку взберется
И волоски позолотит,
Как счастье, в руки не дается,
Но им бессонный мрак сочувственно прошит.

И улыбается ему душа, страдая,
И жизнь ей кажется приемлемой опять,
Лучом подсвеченная с края.
Под ним и черная как бы рыжеет прядь.

И, вспыхнув, рюмочка в себе воспоминанье —
О чем? — не спрашивай — рискует оживить.
Как будто в лабиринт страданья
Вдруг Ариаднина к нам протянулась нить.

Я был царем уже, и был уже героем,
Рабом, учителем, стихи писать — не труд,
А удовольствие. Мы лавочку закроем,
Свернем палатку в пять минут.

Вы мне про выборы, – и я про выбор тоже
Меж вечным мраком и лучом,
Узор рисующим на коже.
Лет тридцать эту тьму я подпирал плечом.

В любви к метафорам есть варварское что-то,
И все ж многозернистый мрак
Бренчит в коробочке сухой, гремит дремота:
Ночь держит мак в руке... Раскинь диван, приляг.

Золотоносные пылинки
Сверкают, вот они, частички бытия!
Купались в золоте, гуляли по тропинке...
Кто впал в отчаянье, кто здесь роптал?
Не я!

Любили выставки, встречались на ступенях,
Смиренно шли с толпой взглянуть на полотно,
Качали Саскию на сдвинутых коленях
И пили скользкое вино!

Александр Солженицын

АВГУСТ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО

Роман

18

Часов около четырёх пополудни генерал-майор Нечволодов подводил свой отряд к Бишофсбургу с юга, по каменистому шоссе. Сам Нечволодов ехал верхом (несколько конных близ него), крупным шагом, саженей на триста впереди отряда.

Отряд его был — стыдно сказать что, неизвестно что.

Вообще назначен был Нечволодов в 6-й корпус командовать пехотной бригадой. Такая должность по разным дивизиям была за ним уже шесть лет. Эту ненужную должность — над двумя командирами полков, между ними и начальником дивизии, Нечволодов всегда считал для того только созданной, чтоб отучать генерал-майоров от строевого дела,— с тем и служил. Но в 6-м корпусе Нечволодова сильно удивили: ещё за день до начала войны, в Белостоке, не снимая с бригады, его назначили также и «начальником резерва» корпуса. Такое понятие — начальник резерва — существовало, в боевой обстановке и для отдельной операции могли создать резерв для прикрытия остальных частей в тяжёлую минуту,— но не встречал Нечволодов, чтоб назначался резерв как постоянный ещё в день всеобщей мобилизации. То ли не знал генерал Благовещенский, куда ему девать столько генералов в корпусе, то ли ещё до начала войны готовился к худому концу. (Да наверно так, ибо хороший драгунский полк держал всего лишь на охране штаба корпуса.)

И странен был состав резерва: к двум полкам Нечволодова — Шлиссельбургскому и Ладожскому, просто присоединили разные особые части — мортирный дивизион, понтонный батальон, сапёрную роту, телеграфную роту да семь сотен донцов (средь них и ту отдельную сотню, которая охраняла штаб корпуса, и от него ни на шаг),— и вот это стал нечволодовский резерв. Как будто все эти части были в корпусе не разветвлённым пособием, а помехой, и только путали Благовещенскому простую пехотную классификацию: четыре роты — батальон, четыре батальона — полк, четыре полка — дивизия, две дивизии — корпус. А ещё привалило 6-му такое счастье, какое редкому корпусу достаётся: артиллерийский тяжёлый дивизион, с калибрами, мало известными в русской армии,— с шестидюймовыми гаубицами. Уж этот-то ни на что не похожий подарок и совсем не знал Благовещенский, куда пристроить, и тоже определил в «резерв». (Он служака был понимающий: за редкое вооружение и ответ большой, если потеряешь. Он и пулемёты, по их драгоценности, старался не выдвигать на передовые позиции, а держал их больше при штабе или в санитарном обозе.)

Но даже и такой резерв Нечволодову ни разу не дали собрать вместе (да это было и невозможно, и ни к чему), даже коренной его Шлиссельбургский полк

Продолжение. См.: «Звезда», 1990, № 1, 2.

отняли и вызвали вперёд, так что и бригады его не стало существовать, самого Нечволодова задержали по укреплению тылов,— и тот отряд, с которым он теперь, приставной болван, нагонял главные силы, состоял из Ладожского его полка (и то без батальона), да сапёров, понтонцев и телеграфистов, а не было при нём ни конницы, ни артиллерии.

Впрочем, прикидывал Нечволодов, что и обе дивизии впереди него раздёрганы так же, каждая из них растеряла четверть сил по пути: одна была целиком без полка, и из другой рассорили дюжину рот.

В Нечволодове не было генеральского величия — раздавшейся груди, разъеденного лица, самодостоинства. Худощавый, длинноногий (даже на крупном жеребце низко спущены стремена), всегда молчаливо серьёзный, а сейчас и сильно хмурый, он походил скорей на офицера-переростка, застоявшегося в низких должностях.

Все эти дни он был хмур от одной идиотской комендантской работы по тылам и от отнятия шлиссельбуржцев. Сегодня добавочно хмур от того, что всегда благоразумный штаб корпуса — и тот оказался впереди Нечволодова, утром проскочил в Бишофсбург, а вскоре затем впереди густо загудело, выказывая плотный бой. И ещё хмурей — последние два часа, когда стали навстречу попадаться то порожние телеги с перепуганными обозниками, то двуколки с ранеными, то табунок лошадей с ногами и копытами, раздробленными от повозок. Дальше встречались раненые гуще, уже и пешие, из Олонецкого полка, из Белозерского, а несколько — из оторванных ладожских рот, среди них — пожилой сверхсрочный унтер, хорошо известный Нечволодову. Провезли и офицеров несколько. Нечволодов задерживал встречных, коротко опрашивал — и по возбуждённым отрывистым сообщениям хотел составить картину утреннего, ещё и сейчас не оконченного боя.

Как всегда по горячим следам, от участников разных мест и ещё друг другу не рассказавших, история выступала полностью противоречивая. Одни говорили, что ночевали сегодня совсем рядом с немцами, только не знали, и немцы тоже не догадывались. Другие: что шли утром, ничего не подозревая, и в походном порядке столкнулись, попали под гиблый огонь, нисколько не готовые и не окопанные (да сбоку, сбоку немец стрелял, не спереди!). Третьи: что развёрнуты были к бою заранее и даже по пояс окопались. Из офицеров считали одни, что шли на север и наткнулись на боковую колонну отступающих немцев, что мы их ещё сильней напугали, чем они нас,— но потом уж очень много артиллерии у них развернулось, жаркий дали огонь. А мы их с востока ждали, на восток приказано было выдвигать охранение. Нет, исправляли другие: Олонецкий даже на запад был развёрнут. Но уж как только немцы из многих орудий ударили («пятьдесят орудий», «нет, сто!», «двести!»), да шрапнелью, да над гущей колонн, сразу рвало и дырявило наших десятками,— так и побежали, так всё и перепуталось, там — тысячи легли, из батальона по дюжине оставалось; нет — стояли хорошо, наша рота белозерцев сама в атаку ходила; где в атаку, когда нас к озеру прижали, деться некуда, орудия побросали, даже винтовки — и вплынь.

Но несомненно сходилось, что потери велики, что несколько батальонов нацело разгромлены (а каждый батальон кругло тысяча человек). Несомненно сходилось, что за две недели привыкли не встречать, не видеть и не слышать противника, и гонко, беспечно продвигались по чужой земле без разведки, а где и без сторожевого охранения. И так отшагали вчера за Бишофсбург больше пяти вёрст, перевалили важнейшую для немцев железную дорогу — как бы горизонтальную ось Восточной Пруссии, и дальше маршировали с той же безоглядкой, как у себя в Смоленской губернии, вперемешку со строевыми частями обозы,— и меньше всего ожидали в этой германской стране повстречать ещё какие-нибудь войска, кроме русских. И когда внезапно бой начался — не было ни плана зараньего, ни приказаний. А это сразу чувствует войсковая масса — и разваливается сразу.

Только не попался Нечволодову ни один раненый из своего Шлиссельбургского полка — и ничего нельзя было о полке понять, где он и что.

Плохо, что за спиною Нечволодова солдаты его отряда встречали тех же раненых и даже на ходу успевали узнать для себя достаточно.

На севере погремливало и сейчас.

При таких порядках впору было Нечволодову, хотя двигался он позади штаба корпуса, выслать своё сторожевое охранение.

Зной как будто ещё не умерялся, но солнце заметно обходило левое плечо и палило в левое ухо.

Уже открывался просвет и на город — уцелевший, без пожаров, с сероватыми и красными шпилями и башенками,— как слева, по пересекающей грунтовой дороге, Нечволодов увидел походную пыль и определил колонну больше батальона пехоты и с батареей. Она тащилась медленно и тоже без предосторожностей.

Хотя слева как будто не было противника, но ведь и вообще никого слева не должно было быть. Вот так и наскакивают, а потом удивляйся оплошности других.

Однако в бинокль тут же убедился Нечволодов, что это — наши. Впереди той колонны тоже ехал верхом офицер, с одним просветом без звёздочек, только конь под ним шёл неспокойно, избочивался, вывёртывался, мотал оскаленной головой, а всадник понуждал его повиноваться. Ещё увидел Нечволодов по обочине бегущую приметную чёрно-рыжую собачку с крупными крыльчатыми ушами. По той собачке, всегда при своей роте, уже многие знали, что это—рихтеровская дивизия.

По темпу движения как раз предстояло всадникам сойтись на перекрестке. Заметив генерала и за ним колонну, тот офицер повернул коня — конь занёс больше, чем надо, был осажен,— и звонко крикнул своим:

— Хэ-ге-ей, суздальцы! Перекур десять минут, ла-жись!

Он весело, ничуть не устало крикнул это, а солдаты его были очень утомлены: они еле сбредали с дороги и, даже скаток с плеч не стянув, лишь винтовки малыми пирамидками составив, на первой же пыльной траве прилегали, хотя сто шагов было до лесной тени и чистой травы.

Офицер подъехал на беспокойном гнедом коне и с лихим изворотом руки доложил:

— Капитан Райцев-Ярцев, ваше псходительство! Полковой адъютант 62-го Суздальского!

Между дерзкими его губами раскрывался один передний золотой зуб. А конь тревожно косил глазом и дёргал головой.

Нечволодов кивнул:

— Не свой?

— Два часа, как взят, ваше псходительство, ещё привыкает.

— А вы — кавалерист.

— Был, ваше псходительство, да спéшил Бог за грехи.

Та знакомая неунывность была в капитане, тот лихой огонь, который красит истого кадрового офицера: для войны родились, на войне только и живём! Горело то и в Нечволодове, да притухло с годами.

— Где ж взяли?

— А вот тут поместье брошено, конюшни славные! Советую заглянуть! Около озера, как его...

Сама рука Нечволодова уже тянула с бока и раскрывала полевую сумку.

— Ох, карта у вас хороша! Вот: озеро Дидей, купать ...дей!—дорифмовал неприлично шёпотом.

Нечволодов приоткрылся в улыбке:

— А как вы там очутились? Зачем?

— А нашей дивизии семь вёрст не крюк! Мы — гуляли, потом передумали — и назад.

Вился в душу этот весельчак. Но и конь под ним танцевал, нельзя было вместе карту смотреть. Да и солнце пекло.

— А пойдемте-ка в тень,— предложил Нечволодов.

Золотозубый капитан охотно кивнул.

Они отдали лошадей.

— Миша! — скомандовал Нечволодов своему адъютанту — пухлощекому, розовому (юная кровь так и просилась под кожу) поручику Рошко,— пока колонна будет идти, а ты быстро вперёд, посмотри, нет ли какой дороги обойти Бишофсбург. Если нет — выбери улицы, чтоб не мимо штаба корпуса.

Круглолицый хитросметливый Рошко всё понял, его группа поскакала.

Под прохладным увеем леса Нечволодов и Райцев-Ярцев сели по-турецки, генерал вытащил и просторнее развернул свою карту. Поджав пальцы, и безымянный с золотым кольцом, Райцев-Ярцев мизинцем с удолженным заостренным ногтем как указкой показывал и бегло осведомлял.

Их дивизия, три полка без отставшего, вчера занимала весь фронт лицом на восток, и такие были разговоры, что противник там зажат в клин и будет оттуда пробиваться. Однако ни выстрела не произвели. Потом велено было стягиваться к Бишофсбургу. Сегодня утром топтались в нём. Перед полуднем командующий корпусом распорядился их дивизии идти на запад, огибать с юга озеро Дидей и дальше идти на Алленштейн, вёрст почти сорок. Так, не успев пообедать, они пошли, никого не встречая, и не стреляя, и морясь от жары,— но вёрст через десять, когда уже озеро обогнули, примчался ординарец от штаба корпуса с новым приказом Благовещенского: тотчас возвращаться к Бишофсбургу и даже стать *восточнее* его. Суздальский полк был последним в дивизионной колонне, первый повернул и вот возвращается. Но за это время прискакал с офицером и третий приказ: только Суздальскому полку с двумя батареями идти сюда и стать под Бишофсбургом в распоряжение командующего корпусом. Остальная дивизия должна повернуть на север по тому берегу озера Дидей — и наступать, дабы после озера соединиться с комаровской дивизией, этого бока озера. И ещё так удачно, что Суздальский полк оказался в хвосте, а сказали бы Углицкому — и он продирался бы сюда, через два полка, а Суздальский — продирался бы туда.

Райцев-Ярцев взялся всё это весело рассказывать, будто ему удовольствие доставляла такая путаница,— но перед мёртво-серьёзным Нечволодовым перестал сверкать золотым зубом и лишь постукивал длинным ногтем о пряжку.

О, какой отчаянный оказался у них корпусной командир! — да просто смелей Наполеона! Не устроенный заседать в тыловом благотворительном комитете, он тут смело гуляет по чужой стране, он просто крестит её движеньями своих полков. Ему разгромили четверть корпуса спереди — он отправляет полкорпуса налево! Он ничего не боится, ну да! — ведь он ещё до войны сформировал резерв — и теперь Нечволодов пусть ему всё выручит.

Отряд Нечволодова уже шёл мимо них к Бишофсбургу. Батальон Райцева-Ярцева лежал на траве, пушки стояли на дороге, остальные суздальцы ещё не показывались.

Надо было ехать скорее вперёд, искать своих шлиссельбуржцев, искать начальника дивизии,— но не так легко сворачивается карта, если тебе над ней сказали что-то новое: уже известный, десятки раз рассмотренный рисунок завораживает, выявляет и угрожает всё новым и новым.

Кого только могли — оторвали от своих частей, кого только могли — переподчинили, вот и суздальцев — самому командующему корпусом. Безнадёжно запуталось подчинение и вéдение командиров. А Рихтер, если даже пробьётся мимо озера Дидей,— с кем же он там соединится, там же наших разнесли? Где тут справа кавалерийская дивизия Толпыги? Её уланский полк раздёргали как корпусную конницу, самой дивизии то и дело меняют направление и задачи. Где тут справа немцы? — они, конечно, ушли давно. Где тут справа Ренненкампф? Зачем ему торопиться, он обсасывает победу, а впереди риск. Пустая земля—ни звука, ни выстрела. Где же слева 13-й корпус?

Немота. Пустой воздух.

— Ну, спасибо, капитан! — жёсткой ладонью Нечволодов пожал руку Райцеву-Ярцеву, вскочил в седло и на рысях с ординарцем погнал к Бишофсбургу мимо своего отряда.

Здесь немцы, видно, готовились к обороне: последних саженей двести перед городом были кряду срезаны обоесторонние кусты вдоль дороги — для обзора и обстрела; и в первом у дороги городском здании — большом кирпичном складе, был проделан десяток бойниц.

Но ничто не понадобилось.

Выходила из города навстречу большая пешая колонна ходячих раненых. Нечволодов уже не расспрашивал, только крикнул:

— Ребята! Шлиссельбуржцев тут нет?

Не оказалось.

У склада ждал его круглолицый спокойный Рошко. Он доложил, что объездной дороги нет, но такие улицы он нашёл и расставил маяков.

Нечволодов поехал искать штаб корпуса — по узким прохладным улицам между утеснёнными домами.

Первое впечатление было, что город населён русскими ранеными,—так много белело бинтов на улицах и из окон. Но были и жители. Одного мирного немца, не старика, и ещё потом двух вели куда-то под конвоем. На углу несколько немок окружило уланского офицера, и все сразу что-то горячо говорили ему, и одна за другой показывали то на его шашку, то себе на грудь. Ещё дальше две немки вынесли эмалированные вёдра и поили солдат водой, а те шутили с ними.

Нечволодов признал штаб по синему автомобилю Благовещенского и по казакам конвойной сотни. Рошко и другие остались снаружи, сам он крупно взошёл по гранитным ступеням, через арочный вестибюль и стал искать командование.

В штабе всё было в ящиках и на ходу: то ли от недавнего приезда, то ли от скорого отъезда. Ни до Благовещенского, ни до начальника штаба он не добрался, а встретил полковника Ниппенстрёма из генерал-квартирмейстерской части.

— Вы почему здесь?—испугался Ниппенстрём.—Вы ещё не дошли до Комарова? Вас давно уже ждёт Комаров!

— Я быстрей не мог,—даже медленнее обычного, даже холодней обычного отвечал Нечволодов.—Я хотел у командующего...

Ниппенстрём замахал руками:

— Да если корпусной вас увидит — он вам голову оторвёт! Езжайте скорей!..

— Но — куда? Я же не знаю своего задания.

— Как? Вы ничего не знаете? Вам приказано собрать свой резерв и прикрывать отход корпуса. У Сербиновича всё получите...

— Но где мой резерв? Где моя артиллерия?

— Там-там, все на месте, ждут только вас.

— Со мной сапёры, понтонцы, телеграфисты...

— Этих всех оставьте здесь.

— А где мой Шлиссельбургский полк?

— Это должен знать Сербинович. Поезжайте к Сербиновичу! Мы тоже уезжаем! Мы слишком выскочили вперёд...

— А какие немецкие части против нас?

— Мы сами не знаем!

Ниппенстрём спешил: ему надо было второй раз посылать искровку 13-му корпусу о том, что 6-й атакован крупными силами неприятеля и не пойдёт на выручку 13-му в Алленштейн. Уже послали один раз, и 13-й подтвердил приём, но никак не отозвался.

Это движение в сторону Алленштейна выполнять не было сил, но чтоб не иметь неприятностей и отмены своего отказа — докладывать в штаб армии генерал Благовещенский пока не велел, а только сообщить соседу.

В простенке между готическими окнами, в густой тени, Нечволодов постоял, длинный, худой и неподвижный, как забытая рыцарская статуя. Пристучал пальцами по каменной стене.

Чины штаба упаковывали и перетаскивали большой ящик, вроде лежачего шкафа.

И никого больше Нечволодов не искал и не спрашивал. Вышел наружу. Поднялся в седло. Чуть отъехал, выслушивая Рошко, что отряд уже вытягивается на север, а шлиссельбуржцев так нигде и нет.

Тут от штаба услышался шум. Нечволодов оглянулся. Заводили автомобиль. Генерал Благовещенский поспешно спускался наискосок по широким гранитным ступеням, не видя Нечволодова или другого кого на площади. Начальник штаба и ещё кто-то с трубками карт подбегали за ним.

Сели, защёлкнули дверцы. Автомобиль стал разворачиваться на маленькой площади, чтоб ехать назад. Благовещенский снял фуражку и перекрестился открытым полным крестом.

От подпрыгивания или от ветерка растрепалась его седина на бабьей голове, какой и с горшками в печи не управиться.

Нечволодов на рысях повёл свою сотню из города.

19

— Ваше благородие! Хэ! Ваше благородие!—весело крикнули.

От колодезной очереди Ярослав обернулся к дороге.

Тянулась полубатарея, четыре пушки, и кричал Ярославу тот шароголовый фельдфебель, знакомец по дорожному случаю: позавчера (не месяц назад?) взвод Харитонова вот эти самые, значит, пушки и подмогал вытаскивать из песка.

— О-о! — обрадовался Ярослав и вскинул обе руки, приветствуя не по-офицерски, по-мальчишески.— Водицы не хотите?

— А кака́ водица? На хлебе не перегнана? — спросил коренастый сбитый фельдфебель, грудь колесом, опять весёлый, как и прошлый раз.

— Соло-одкая, схлебаете! — отозвался ему из очереди чужой пехотинец.— Сверху мусорок, снизу песочек.

Уже солнце сильно сдало на левое плечо, но ещё было жарко.

— Представьте, был колодец досками закидан, но мы разобрали! — криком объяснял Ярослав, однако стыдясь мальчишеской звонкости голоса, никак не умел он огрубить его.— И вода очень сносная, вот все набирают!

Фельдфебель снял фуражку и замахал своим остановиться. У него была маловолосая, вся круглая, вся жёлтая голова, как головка сыра, только крупней. И приделаны были к ней спереди пшеничные усы — толстенькие, а потом с остриями.

Колодец был у начала раскинутого хутора из нескольких домов на широкой поляне. Пушки приняли в сторону. Ездовые несли вёдра для лошадей, а орудийная прислуга волокла бидон с винтовой крышкой, да наверно уже немецкий.

Вызывала зависть артиллерия, что на колёсах везёт себе лишнее необходимое. Но и другую зависть, Ярослав пожаловался фельдфебелю:

— У вас солдаты как солдаты, чес-слово! А у меня — от сохи да сразу в Германию, что с ними делать?

Фельдфебель улыбался довольно:

— У нас — наука. Сохатых нельзя.

Фельдфебель такой был важный, плотный, и заметно старше Ярослава, что юному подпоручику неловко было перед ним за свои звёздочки, неловко быть чином выше да, при тонкости фигуры, и ростом. Всю эту неловкость Ярослав старался искупить вежливым невоенным обращением:

— Как мне вас называть, простите?

— Фельдфебель, как! — улыбался тот, вытирая пот с загорелого лица.

— Ну что вы! По имени-отчеству!

— По имени-отчеству в армии не зовут,— шевельнул усами сыр.

— В человечестве — зовут.

— Меня и в человечестве всю жизнь только Терентием.

— А фамилия?

— Черне́га.— И спросил, как не спросил: — А вас? — потому что мимо Ярослава и колодца, туда, на хутор, насторожились его глаза и маленькие уши. И тут же он скомандовал фейерверкеру, почти не ища и не оборачиваясь: — Коломыка! А як бы не куры там кудахчут! Сходыть с двумя хлопцами. Чувал визмить, та палками их!

Ярослав огорчился: такие хорошие артиллеристы, такой хороший фельдфебель — и туда же? кто ж тогда устоит? Предупредил:

— А хутор уже почистили. Жителей нет, петуху последнему голову оторвали. В саду, правда, яблоки.

По саду слонялись солдаты, видно было отсюда. И ещё другие сочились туда, неспрошенно, недосмотренно. Впрочем, кажется, не из харитоновского взвода, эти рады были, безногие, посидеть, пока не гонят.

Но Чернега не поддался:

— Ни, там, за посадкой, подале, я ж чую. Та визмить ще два ведра, дови́дайтесь по закромам. Як що овёс — то кликайте, будемо завертать.

Распоряжался Чернега уверенно, не спросясь своих офицеров. Но видя огорчение услужливого веснушчатого подпоручика, пояснил:

— Без чего артиллерия буты не може? Без овса та без мясца. Кони пушек не

тянут, руки снарядов не подымают. А як в кобуре ще и гусь жареный — о то война!

Это он нараспев добавил, и обмаслилось его лицо, представя гуся жареного, и ничего греховного как будто и правда не было в этом выражении и в этом желании. А с другой стороны, если подумать... Мучило это Ярослава.

— Солдат — добрый человек, да шинель его хапун,— ещё успокаивал Чернега.— Мы только по прозвищу *лёгкая*. А пушка наша в походном положении — 125 пудов. А снаряд едва не полпуда, вот и покидайся.

На большом лежачем брусе сидел Козеко, поджав ноги, и на коленях записывал в свою неизменную книжку полевых донесений. В постоянном насмотре и наслухе он чутко поглядывал и на Чернегу. Неодобрительно.

Тут ротный крикнул издали:

— Поручик Харитонов! Остаётесь за меня, я — скоро! — и с двумя солдатами наддал мимо хутора и с заворотом за посадку, куда уже послал своих хлопцев Чернега.

Козеко остро посмотрел ему вслед. И опять в книжку донесений. Записывал и грыз яблоко — то ли кислое, то ли от всей неприятности морщась.

Колодец был обетонирован и с шеломком наверху, от него уже длинная тень. С гульным грохотом в бетонной трубе одно и то же прицепленное ведро быстро спускали и поднимали сильные солдатские руки, крутя валик и выбирая цепь. Тут же переливали в котелки, в другие вёдра, торопя друг друга, браня расхлебаями и безрукими, подталкивая и наплескивая грязи вокруг, а уже опорожненные выпитые котелки снова со звяком совались, ища себе струи. Наполненные артиллерийские вёдра бегом, но без расплеска, относились разнузданным крупным нежным лошадиным губам. Рычали на артиллеристов, что по таким бидонам никакого колодца не хватит, впрок не наливать! Эй, впрок не наливать, пей здесь, сколько брюхо терпит! И на головы не лить, э, вы, охломоны — вон, в озеро беги, суйся по шею!

За своим гомоном, бранью и звяканьем все уже привыкли и как будто даже не слышали непрерывного общего гула слева, на подсолнечной стороне, гула боя. И вёрст до того боя не было много, но много было озёр. Весь день сегодня, сколько они шли, всё были слева озёра, большие и маленькие, вплотную и отдаля,— и так не одною волею начальства, но и этими озёрами отклонялся их путь на север, безопасно отгораживался от смежного боя.

Озёра были и справа. А час назад протащились они по узкому, трёхсотсаженному лесному перешейку между двумя большими озёрами Плауцигер и Ланскер — простой глаз лишь смутно видел другие берега. И так загнались они в длинный лесной безлюдный коридор между этими озёрами, хотя и отступившими, и теперь только то могло касаться их дивизии, что было в этом коридоре,— а не было тут ничего, никого.

Поднесли Терентию напиться. Холодна была вода, схватывала горло, и с мутью — а нутро требовало, ещё и ещё.

Сел Чернега на тот же брус, приглашая рядом Ярослава. Достал кисет с махровыми завязками, распустил.

— В трубочку табачку всё горе закручу. Не курите, ваше благородие?

По чёрному шёлку кисета малиновыми нитками вычурно, терпеливо, с отростками было вышито: Т. Ч.

— Скажи, аж земля гуркотит,— посматривал Чернега на подсолнечную сторону.— А мы тут идём, лесов не обшариваем, а небось на соснах сидят, в бинокли смотрят на нас — и названивают, и названивают. Вот прям' счас там сидят — и в немецкий штаб про нас звонют, как мы тут воду пьём,— уверенно говорил Терентий, глядя на обступивший лес. Но, в противоречие с тревожным смыслом, не порывался бежать туда и даже нисколько не волновался — то ль от лени, то ль от уипитанности силою.

Зато подпоручик Козеко встревоженно поднял голову, отозвался:

— А сторожевое охранение! Так быстро гоним, что боковые дозоры идут положительно рядом с ротами! А передние дозоры мы иногда своей колонной обгоняем. Да нас ничего не стоит из пулемёта перестрелять.

— Главное,— тревожился и Харитонов,— ничего не понятно. Уже пятнадцать вёрст и сегодня отмахали. И ещё, говорят, надо десять до вечера. Самые

свежие новости — от денщика полкового командира. Сегодня утром пустили слух, что к нам на помощь идёт японская дивизия!

— Таку балачку и я слыхав,— кивал Чернега, благодушно дымя. Так и пышело от него могутой, к делу даже излишней.

— Ну что за вздор? Откуда японская? То ли наша из-под Японии?..

— А то говорят: сам Вильгельм в Восточной Пруссии войсками командует,— ещё поддавал Чернега, так же, впрочем, мало озабоченный и Вильгельмом.

Старшее, доброе и верное чувствовал Харитонов в Чернеге. И хотя не полагалось бы офицеру жаловаться фельдфебелю на дурость начальства:

— А позавчера? Туда и обратно тридцать вёрст без толку прогоняли! Ну, туда на помощь шли, ладно, не понадобилось. А обратно — можно было догадаться наискосок нас пустить? Зачем же опять назад в Омулефоффен? Мы ж без Омулефоффена могли! И тоже бы днёвку имели, как та дивизия.

Курил Чернега, понимал, спокойно кивал. Вот это спокойствие его, всё принимающее, особенно хотелось бы Ярославу перенять.

— И сзади час назад ружейную стрельбу вы слышали? — вёл своё Козеко.— Вполне свободно, что немцы в тыл прорвались.

Чернега боком закусил трубку:

— А про шо он там пишет? Он нас там не записывает?

Смеялся Ярослав.

— Вы — кадровый?

— Ни, дуракив нэма.

На его шаровой голове фуражка сидела лихо набекрень — а держалась прочно.

Не знал Ярослав, как и спросить то, что ему надо: что за человек этот фельдфебель? как его в понимание уложить?

— А... житель вы — городской? или деревенский?

— Та так... по уездам...— затруднился Чернега, без удовольствия отвечая.

— А губернии?

— Та вроде Курской... Чи Харьковской.— Хмурился.

Ярославу отставать было жалко от этого сочного богатырька, но не знал, как разговор с ним вести:

— Женаты, дети есть? — благоприязненно спрашивал он, как бы даже сам за Чернегу отвечая вперёд утвердительно.

Посмотрел Чернега на подпоручика глазами-шариками перекатными:

— Та зачем жениться, як сосед женат?

Тут — лётом, полным бéгом подбежал посланный фейерверкер и доложил своему фельдфебелю негромко, чтоб чужие не перехватили:

— И овёс! И окороки копчёные! И — пасека. Помещика нет, утром уехали. Сторож один, поляк, говорит — берите! Я пока часовых там поставил! Скорей надо! Пехота уже лошадей хватает, птицу бьёт.

Вмиг оживился, поделовел, вскочил Чернега на сильных коротких ногах, только и ждал, закричал:

— Хло-опцы! Живо по коням! Тро-гай! — и Коломыке: — Веди колонну, а я капитану доложу.

Головка сыра, всё ещё в поту, под сбекренной фуражкой глядела щелковидно, уверенно.

И дружно потянули пушки к завороту, стали там, а зарядные ящики завернули за посадку.

Навстречу же им из-за посадки бойко выкатили две двуконных брички и рессорный тарантас.

Настороженный Козеко ничего не упустил, издали разглядел, определил — и объяснил тотчас:

— Ну вот, то батальонный в бричке покатил, а теперь и ротные на бричках, и батюшка в тарантасе. Нижних чинов — за кучеров, скоро некому будет воевать.

— Ладно! — рассердился Ярослав.— А вы яблок зачем набрали?

— Да чёрт попутал,— без сожаления отбросил Козеко недоеденное яблоко.— Не нужно мне от Германии ничего, живым бы только...

— Вы — останетесь! Вы — наверняка останетесь!

— Почему вы так думаете? — с надеждой смотрел Козеко от своего блокнотика.— Конечно, прямое попадание мало вероятно, но шрапнель...

— Бережёного Бог бережёт! Вас пошлют на закупку скота! Убирайте дневник, стройте своих!

Не высоко уже солнце стояло, и даже без боя было им сегодня тянуться до темноты и в темноте. Подошёл к колодцу другой батальон, а передние роты их батальона уже строились, тронулись. Стал Ярослав скликать и строить свой взвод.

Сзади, обгоняя и раздвигая спотыкливую бредущую пехоту, ехало верхами несколько штаб- и обер-офицеров в сопровождении шестёрки казачьей конной стражи, двое всадников со свежими бинтовыми повязками. Передний полковник, мрачный, небритый, приостановил лошадь, посмотрел на Харитонова. Тоненький готовный Харитонов подбежал, выровнялся, отрапортовал.

Тут как раз из-за посадки донесся отчётливый, далеко слышный свиной визг.

— Это ваши солдаты грабят, подпоручик?

— Никак нет, господин полковник! Мои — здесь.

— А почему не маршируете? Где командир роты?

Харитонов мотнул головой, но бричка с ротным куда-то пропала.

— Я — за него! — вспомнил он.

— Будете наказаны! — говорил полковник, но без зла, рассеянно.— Известно ли вам, что был приказ на форсированный марш? Сегодня вам надо выйти на железнодорожную линию и ещё по линии направо пять вёрст. А вы у колодца расхлюпались. Где командир батальона?

— Впереди.

Ещё меньше понимал Ярослав: немцы слева, а мы поворачивать направо?

Всадники тронули. Если б сами они понимали что-нибудь в этом лесном межозёрном блуждании!

То были офицеры штаба 13-го корпуса. Час назад они едва минули смерть: приняв за немцев, их густо обстреляла своя пехота. Такое они и предполагали (вчера таким же своим обстрелом испорчен был штабной автомобиль), для того и взяли шесть казаков сопровождения, чтоб их отличали по пикам,—и всё равно, в двухстах шагах своя пехота приняла их за первых, наконец, немцев и накинулась.

Они ехали с новейшим приказом штаба армии: ускорить движение их корпуса на Алленштейн! А от 6-го корпуса, потерянного далеко справа, пришла неожиданная искровка, видимо важная, ибо передана была раз за разом, дважды. Однако никто в штабе 13-го корпуса не сумел той искровки расшифровать: почему-то не сходился код. И в штабе не знали, что думать.

Верховые постояли у пушек, нагнали одного командира батальона в бричке, другого,—и всем полковник грозил, внушал, как форсированно надо двигаться.

Обогнав полк, ещё через три лесных версты они достигли выложенных у дороги двоих немцев, гражданских, исколотых пиками, изуродованных ударами.

— Ваших станичников работа, не сомневаюсь,— сказал полковник старшему уряднику, раненому, когда останавливал стрельбу пехоты.

Урядник пожал плечом, ничего не ответив, челюсть его была подвязана.

А в стороне из одинокого дома валил густой чёрный дым, предвестник ярого огня.

20

В пять часов вечера, только и дождавшись Нечволодова, чтоб отдать ему приказание занять позиции и удерживать, а о дальнейшем будут распоряжения письменные, начальник дивизии генерал Комаров со штабом отбыл вослед за штабом корпуса. Задание дал он не по карте, а кружа кистью в воздухе, что «крайне неожиданным» было сегодняшнее наступление немцев с севера, он даже не уверен, что это — их истинное направление, может быть загнули крыло, но во всяком случае с севера Белозерский полк держит оборонительную линию, где и надо его сменить. При этом просит он Нечволодова не принять за немцев и не

обстрелять половину дивизии Рихтера, которая уже идёт вокруг озера Дидей с запада и вот-вот подойдёт сюда на помощь. Начальник штаба дивизии полковник Сербинович не мог объяснить Нечволодову не только расположения и сил противника, но и расположения и состояния оставшихся на позиции наших частей. Тяжёлый и мортирный дивизионы он обещал ему там, дальше, впереди, а один батальон ладожцев для какой-то цели отобрал. Пока не мог он ничего точно сказать о Шлиссельбургском полке, прошлой ночью выдвинутом в сторону, на восток, и не мог точно назвать, где будет теперь штаб дивизии, но обещал регулярно присылать ординарцев.

И тут же скрылись они так быстро, что Нечволодов не управился даже заметить их отъезд. Попался ему подпоручик из Белозерского полка и доложил, что сам видел, как командир их полка только что сел в автомобиль с Комаровым, и они уехали в Бишофсбург. А их полк? А Белозерский полк понёс утром большие потери и сейчас получил приказ полностью отходить. Но батальона два ещё там, впереди, на позициях.

И так, оставшись с двумя батальонами ладожцев, Нечволодов продвигался дальше, ища свою артиллерию. Он осторожно, с дозорами, двигался вдоль железнодорожной целёхонькой линии к станции Ротфлис, от которой дуга полотна плавно переходила и в поперечную магистраль. И тут, позади рощицы, действительно увидел на огневых позициях одну батарею 42-линейных пушек, дальше одну батарею тяжёлых гаубиц, где-то и остальные должны были быть.

Заложенную грудь генерала — откладывало.

Едва достиг Нечволодов каменной будки на станции Ротфлис, к нему явились туда и командир мортирного дивизиона с трубчатыми чёрными усами и командир тяжёлого дивизиона полковник Смысловский — невысокий, лысый вкруговую до сверкания, но с длинной, как у волшебника, серо-жёлтой бородой и очень уверенным видом.

За минувшие недели Нечволодов раза по два видел обоих, но сейчас особенно заметил радостно-горящие глаза полковника, будто он только и ждал стрелебной работы, просто сиял, что дорвался до неё. (Да уже в том была радость, что не бросать оборудованных позиций.)

— Дивизион — весь? — спросил Нечволодов, пожимая руку.

— Все двенадцать! — тряхнул Смысловский.

— Снаряды?

— По шестьдесят на ствол! В Бишофсбурге — ещё, можно подвезти.

— Все на позициях?

— Все. И связаны телефонами.

Это была новинка последних лет: связывать проводами наблюдателей и закрытые позиции батарей, ещё не все умели хорошо.

— И хватило проводов?

— И сюда притяну. Вот, мортирцы помогли.

Дальше не спрашивал Нечволодов, некогда, хотя б и украли, да и видел, как мортирный полковник довольно провёл себя по трубчатым усам.

— А у вас?

— По семьдесят.

Всё остальное здесь не выговаривалось, само было ясно: что будут стрелять, что без приказанья не побегут. Удача! — такие орудия, такие командиры и проводная связь!

И всё сошлось на остриё, на одну-три-пять минут: надо понять местность; отделить, где враг, где мы; выбрать оборонительные линии; отправить туда ладожские батальоны; выбрать с артиллеристами общий наблюдательный пункт; тянуть связь; пристреливать репера. И если за эти одну-три-пять минут будет огляжено, выбрано, послано, скомандовано не в том порядке или неверно,— то за следующие полчаса не будет верно сделано, и если именно в эти полчаса немцы повалят или начнут бить — ничего не стоят наши сияющие глаза, наша связь проводная и шестьдесят снарядов на ствол: мы побежим.

Был тот военный момент, когда время сжимается до взрыва: всё сейчас, ничего потом!

— Тут есть водокачка! — объявил Смысловский.— А дальние репера у нас пристреляны, только продвинулся *он*.

Нечволодов молча нагнул голову под низкую будку и вышел.

И артиллеристы за ним.

Бегом пробежали они через нагретое, в масляном жарком запахе, рельсовое полотно.

Нечволодов поманил одного батальонного командира (полкового у него тоже не осталось, да и лишнее) — и велел тотчас идти сменять батальон белозерцев, а если плохо линия выбрана — и её сменить, да вкопаться хоть немного, если жить хотят.

За дальним лесом раздался негромкий пук, звук парос — и жёлтое облачко немецкой шрапнели рвануло впереди, левей и выше водокачки.

— Они уже сюда сегодня бросали,— одобрительно сказал Смысловский.— Но мы молчим — перестали.

Поднялись по внутренней деревянной лестнице, Нечволодов на ходу выправлял бинокль из-под ремней. Выше лестницы оказалось помещение с обзором на запад и север. Уже сидели тут телефонисты при двух зуммерных телефонах. Западное окно было остеклено и низким жёлтым солнцем ослеплено, туда сейчас не смотрелось. А северное — с хорошим видом, рама вышиблена, и не отсвечивал немцам бинокль.

В простенке на ларе, около телефонов, развернули и карту.

Из обстановки знали они только то, что своими глазами видели, да по собственному соображению.

Бросили немцы один фугасный снаряд, другой. Тоже ренера, наверно. За магистральной железной дорогой в Гросс-Бессау было скопление, шевеление. И по опушке леса. Но ни колонны, ни цепи сюда не продвигалось.

Могли, однако, всякую минуту пойти.

— А там, под Гросс-Бессау, наших не осталось? Мы по своим не лупанём?

— Наверняка нет, я уже заключил.

— Осталось — и много,— сказал серьёзный мортирный усач.— Именно там — слишком много.

В самом деле: до Ротфлиса не было трупов. Все трупы — впереди. Но уже под вопрос «наши?» — они не вполне подходили...

— Солнце слева, на север хорошо стрелять! — объявил Смысловский.— У них вон тригонометрическая вышка — ах бы сшибить!

Слева же, от озера, постреливала немецкая батарея. Значит, и пехота какая-то там. Значит, и Рихтера не ждать.

И распорядился Нечволодов другой батальон ладожцев поставить лицом на запад. И полковую пулемётную команду разделить на два фланга.

А больше у него не осталось никого. Ещё был целый полукруг направо, на северо-восток и восток,— но ставить там было некого. Зачем-то забрал Сербинович батальон ладожцев — и Нечволодов отдал молча.

Когда-то в молодости он горячился всё оспаривать. Но за долгую службу свело кислотою скулы, и он молчал: и когда можно смолчать, и когда надо перемолчать.

Впрочем, справа вот-вот могли показаться пики кавалеристов Ренненкампфа.

Впрочем, как и на японской войне, кавалерией в основном не воюют: кавалерию на войне в основном берегут. По сохранению кавалерии хвалят командующих.

Замер, умер, онемел Ренненкампф.

И, стало быть, верно делал Благовещенский, что отходил? с кем же ему смыкаться?

Если Вторая армия входила в Пруссию, как голова быка, то они тут сейчас, на станции Ротфлис, были остриём правого рога. Рог вошёл в тело Восточной Пруссии уже на две пятых глубины. Держа станцию Ротфлис, они пересекали главную и предпоследнюю железную дорогу, по которой немцы могли перебрасываться вдоль Пруссии. Ясно, что немцы без этой станции жить не захотят. И разумно было всему 6-му корпусу именно сюда.

Но и за то уже спасибо судьбе, что над ними не осталось суетливых дураков, того положения нет страшней. Хрупкая кучка их составляла кончик рога — но от них зависело хоть не делать глупостей.

Пришли два командира батареи, начали кричать команды.

До темноты бы можно продержаться — лишь было бы кого поставить направо с заворотом.

Сверху видно было движение отходящих белозерцев — шла пехота и гнали двуколки стороной от станции, под лесом. Немцы били грозней — и уходящие радовались убраться из невозможного места.

Нечволодов спустился с водокачки.

К нему крупными шагами бежал, как прыгал, рослый офицер с дородным, чистым и отчаянным лицом. Из последнего шага-прыжка он остановился перед генералом враз, честь приложил с размаху едва ли не сзади уха и доложился близким басом:

— Ваше превосходительство! Подполковник Косачевский, командир батальона Белозерского полка! Считаем низостью вас покинуть! Разрешите нам не отступать!

Но сказалась нехватка равновесия, он пошатнулся, чуть не навалившись на генерала. Всё то же отчаяние было в его смелых глазах под писаными бровями.

Нечволодов смотрел, как не понимал.

Потом жестокой гримасой повело его губы вбок. Ответил недовольно:

— Ну-у... ну, что ж...

И длинными руками обнял Косачевского, как тот и валился.

А вереница поодаль отступала. Катились двуколки, ковыляли, хромали и шли люди.

Могли ли они так хотеть — остаться? Или их офицеры только? Или один Косачевский?

— Сколько ж вас?

— Да выбило. Да две с половиной роты есть.

— Заворачивайте. Станете вот где, покажу, направо...

Уже радостно завывали по одному наши снаряды, улетая на пристрелку.

И из разных мест подлетали немецкие фугасы — стальным бичом — и в чёрный фонтан.

И вот уже очередями.

А вот — и наши погнали очереди. По четыре, это Смысловский. По шесть, это мортирцы.

И лысый бородатый, потирая руки и притопывая, и приплясывая, встретил Нечволодова вверху на водокачке:

— Сшибли, ваше превосходительство! Тригонометрическую — мы им сшибли!!!

Но — не успел Нечволодов поздравить: шорох гигантского падающего дерева — и свист жестокий! сюда!!!

Сотряслась и пылью задымилась водокачка.

21

Когда бьёт артиллерия — и без разведки ясно, что противник не бежит, что противник силён. Когда бьёт артиллерия, то на силу и мощь этого грохота возрастает воображаемая сила врага. Чудятся там, за лесами и пригорками, такие же грозные наземные массы — дивизия, корпус.

А их, может быть, и нет. А их может быть два батальона некомплектных да один потрёпанный, и только первые удары сапёрных лопаток долбят одиночные ячейки.

Но надо для этого, чтоб артиллерия била не дуро́во — толково. И чтоб снаряды её не пресеклись. И чтоб стояла она хорошо, не давая себя засечь ни по дымам, ни по вспышкам — ни при солнце, ни, с упадом его, в сумерках.

Именно так всё и было у Смысловского и мортирного полковника. Именно этого и ожидал от них Нечволодов, с первого взгляда признавши в них природных командиров. А если командир природный — то успех военного события зависит от него больше, чем на половину. Не просто храбрый командир, но хладнокровный и берегущий своих от потерь. Только такому и верят: если скомандует в атаку — значит край, значит не избежать. Таким природным командиром ощущал Нечволодов и сам себя, едва не от рождения. Это и дало ему в 17 лет

добровольно покинуть военное училище, избрать действительную службу, на ней дойти до подпоручика не позже своих оранжерейных сверстников, ученье начать сразу с академии генерального штаба, и в 25 лет окончить её не только по первому разряду, но через чин перескочив за выдающиеся отличия в военных науках.

Сегодня сошлось их счастливо трое, да нанёс Бог Косачевского, и жалкой своей горстью они выполнили невозможное: в узком месте у станции Ротфлис на всё предвечернее время остановили какие-то крупные, всё растущие, с густой артиллерией силы врага.

Сперва, в начале седьмого, после короткого огня, немцы пошли с севера даже не цепью, а колонной, так уверенные от дневного успеха.

Но тут два дивизиона, с пяти утаённых огневых позиций, в двадцать четыре орудия, довернувши от реперов, накрыли наступающих косым дождём шрапнели, затолкли их чёрными столпами фугасов и загнали назад, в невидимость рельефа и леса.

А наши батальоны спешили вкапываться.

Немцы замялись, замерли.

А солнце медленно сползало.

Готовность тут и остаться, никуда не отступать, этот бой принять как главный бой своей жизни и последний бой, завершающий всю военную карьеру,— естественное ощущение природного командира.

Так и стояли они сегодня, вынужденные противником, расположением, обстановкой. Но не худо было бы им всё же иметь приказ: как надолго поставлены они здесь? будет ли подсоба? и что делать дальше?

Однако, ничего не приходило им. Не приезжал обещанный связной — ни с указаньем, ни с объясненьем, ни даже посмотреть — живы ли тут. Отъехав поспешно, штаб корпуса и штаб дивизии как бы забыли о своём оставленном резерве — либо уж сами перестали существовать.

В 18.20 Нечволодов послал записку начальнику дивизии, испрашивая дальнейших распоряжений. Ехать с этой запиской предстояло ординарцу неизвестно куда.

Немцы потратили сколько-то времени на наблюдение, на перестройку. Вздули и стали поднимать привязной аэростат — с него б засекли наверное все наши батареи — но что-то не сладилось, он не поднялся. Тогда открыли тройной огонь, разнесли до конца водокачку, разрушили всю станцию (штаб резерва перебежал в надёжный каменный погреб),— наконец стали продвигаться, но цепями, осторожно, по рубежам. Не обнаруженные и не подавленные, тут снова сказались русские батареи и накрывали те рубежи, мортирным крутым огнём захватывали накопления за укрытиями.

А солнце зашло за озером. И сразу за ним, у кого зрение острое, можно было различить, как туда же клонился молодой месяц. Кто увидел его из русских — увидел через левое плечо. А немцы — через правое.

Смеркалось. Сильно холодало, переходя в звездистую ночь. От холодка быстро рассеивалась, уходила вверх гарь стрельбы, запахи разрушения. Все надевали шинели.

Около восьми часов немцы замолчали: то ли по общей человеческой склонности принимать вечер за конец дневных усилий, то ли не всё было у них ещё готово.

Распорядясь тотчас же всех кормить уже сваренным, соединённым обедом и ужином, а батальонам выдвинуть полевые караулы, Нечволодов поднялся на стену разбитой станции, оттуда последние серые минуты изглядывал местность. Пока виден был циферблат карманных часов, он удивился в восемь и удивился в четверть девятого: прошло три часа, но никто не ехал из штаба дивизии.

Тогда, осторожно спустясь по разваленной стене, а потом и в погреб, на весь арочный спуск бросая длинную тень за собою вверх, Нечволодов доступил до нижней свечи, присел на корточки и на коленях написал начальнику дивизии:

«20.20, станция Ротфлис.

Бой стих. Тщетно отыскивал ваше расположение. (Как ещё написать снизу вверх: «вы бежали?».) Занимаю позиции с двумя батальонами Ладожского полка у ст. Ротфлис. (О батальоне Косачевского писать нельзя: ведь это дисциплинарное нарушение, что он не отступил...) Ищу связи с 13-м, 14-м и 15-м полками. (То есть: со всей остальной дивизией, как ещё крикнуть?) Жду ваших распоряжений».

Выйдя из погреба, отправил нарочного.

И различил почти в темноте, как быстрыми шагами шёл к нему невысокий бородатый Смысловский.

Обнялись. Фуражка того ткнулась Нечволодову в подбородок.

И прихлопывали по спине друг друга.

— Весёлого мало,— сказал Смысловский радостным голосом.— Снарядов осталось десятка два, у мортирного тоже. Я послал, но не уверен, привезут ли,— что там в Бишофсбурге делается?

Перевести батареи в походный порядок? Это уже отступление.

Но вот что было успехом: по обоим дивизионам всего несколько раненых, и то легко. Собрались донесенья из батальона — совсем немного и у них, несравнимо с утренним.

Кто упирается — тот не падает. Падает тот, кто бежит.

— Я осколки подобрал,— радовался Смысловский.— Они тут кидали из мортирок, видимо, двадцать одного сантиметра — ничего!! Этот погреб — тоже развалит.

Приходили раненые из батальонов. Перевязочный пункт с занавешенными окнами отправлял их в Бишофсбург.

Лёгкий стук повозок выдавал шоссе.

На станции перебегали штабные, связные, переговаривались телефонисты, санитары — сдержанно, но довольный был гулок отовсюду. Долгой дневной дорогой столько повстречав сегодня раненых и перепуганных, все нечволодовцы теперь ощущали себя победителями.

Холодела безветренная тишина. Ни звука от немцев. В темноте не было видно разрушений, простирался куполом мирный звёздный вечер.

— В девять будет — четыре часа,— сказал Нечволодов, сидя на гнутом и покатом своде погреба.— Скоро ли девять?

Присевший рядом Смысловский задрал голову в небо, поводил:

— Да вот-вот, уже подходит.

— Откуда вы...?

— По звёздам.

— И так точно?

— Привык. До четверти часа всегда можно.

— Специально занимались астрономией?

— Порядочный артиллерист обязан.

Знал Нечволодов: пятеро их было братьев, Смысловских, и все пятеро — артиллерийские офицеры, и все деловые, даже учёные. Которого-то из них Нечволодов уже встречал.

— Вас как зовут?

— Алексей Констиныч.

— А где братья?

— Один — тут, в первом корпусе.

Нащупал Нечволодов в кармане шинели забытый электрический фонарик — немецкий ладный фонарик, где-то найденный сегодня и ему подаренный унтером. Засветил на часы.

Было без трёх минут девять.

И, не сходя с погреба, распорядясь негромко, чтобы приготовили конного, стал подсвечивать себе на полевую сумку и, водя световое пятно, писал химическим карандашом:

«Генералу Благовещенскому. 21.00, станция Ротфлис.

С двумя батальонами ладожцев, мортирами и тяжёлым дивизионом составляю общий резерв корпуса. Ввёл ладожские батальоны в бой. С 17.00 не имею распоряжений начальника дивизии. Нечволодов».

Кому было ещё писать? И как было ещё на военном языке объяснить им: уже четыре часа, как все вы бежали, шкуры! Отзовитесь же! Тут — можно держаться, но где вы все??

Прочёл Смыслоаскому. Рошко отнёс нарочному. Нарочный поскакал. Ещё приказал Нечволодов: усилить сторожевое охранение батальонов.

И молчали. На косой крыше погреба, подтянув колени, приобняв их руками, Нечволодов молчал.

Разговориться с ним было нелегко. Хотя знал Смысловский, что это генерал не такой простой, на свободе он книги пишет.

— Я вам мешаю? Я пойду?

— Нет, останьтесь,— попросил Нечволодов.

А зачем — непонятно. Молчал, и голову опустил.

Время тянулось. Неизвестное что-то могло меняться, шевелиться, передвигаться в темноте.

Отдельно высказать это страшно: потерять жизнь, умереть. Но вот так сидеть двум тысячам человек в затаённо-гиблой, мирной темноте брошенными, забытыми,— как будто пока и не страшно.

До чего было тихо! Поверить нельзя, как только что гремело здесь. Да вообще в войну поверить. Военные таились, скрывали свои движения и звуки, а обычных мирных — не было, и огней не было, вымерло всё. Густо-чёрная неразличимая мёртвая земля лежала под живым, переливчатым небом, где всё было на месте, всё знало себе предел и закон.

Смысловский откинулся спиной, на наклонном погребе это было удобно, поглаживал длинную бороду и смотрел на небо. Как лежал он — как раз перед ним протянулась ожерельная цепь Андромеды к пяти раскинутым ярким звёздам Пегаса.

И постепенно этот вечный чистый блеск умирил в командире дивизиона тот порыв, с которым он сюда пришёл: что нельзя его отличным тяжёлым батареям оставаться на огневых позициях без снарядов и почти без прикрытия. Были какие-то и незримые законы.

Он полежал ещё и сказал:

— Действительно. Дерёмся за какую-то станцию Ротфлис. А вся Земля наша...

У него был живой, подвижный, богатый ум, не могущий минуты ничего не втягивать, ничего не выдавать.

— ...Блудный сын царственного светила. Только и живёт подаянием отцовского света и тепла. Но с каждым годом его всё меньше, атмосферв беднеет кислородом. Придёт час — наше тёплое одеяло износится, и всякая жизнь на Земле погибнет... Если б это непрерывно все помнили — что б нам тогда Восточная Пруссия?.. Сербия?..

Нечволодов молчал.

— А внутри?.. Раскалённая масса так и просится наружу. Толщина земной коры — полсотни вёрст, это тонкая кожица мессинского апельсина, или пенка на кипящем молоке. И всё благополучие человечества — на этой пенке...

Нечволодов не возражал.

— Уже однажды, десять тысяч лет назад, почти всё живое было похоронено. Но это ничему нас не научило.

Нечволодов покоился.

Возник и длился между ними заговор умолчания. Смысловский не мог не знать нечволодовские «Сказания о русской земле» для народного восприятия, а, принадлежа кругу образованному, очевидно не мог их одобрять. Но как вся война, действительно, ничтожнела перед величием неба, так и рознь их отступала в этот вечер.

Отступала, но не вовсе терялась. Вот упомянул он Сербию. Сербия была давима хищным и сильным, и защита её не могла умалиться даже перед звёздами. Нечволодов не мог тут не возразить:

— Но где же был бы предел миролюбию Государя? Неужели оставить Сербию в таком унижении?

Эх, мог бы, мог бы Смысловский ответить. Слишком много дурной экзальтации в этой славянской идее — и откуда придумали? зачем натащили? И всех этих балканских ходов не разочтёшь.

Но сейчас — душа не лежала так мелко спорить.

— Да вообще: откуда жизнь на Земле? Когда Землю считали центром

Вселенной — естественно было и считать, что все зародыши вложены в земное существо. Но на эту маленькую случайную планету? Все учёные остановились перед загадкой... Жизнь принесена к нам неведомой силой. Неведомо откуда. И неведомо зачем...

Это уже нравилось Нечволодову больше. Военная жизнь, состоящая из однопонятных команд, не допускала двойственного толкования. Но в размышлениях досужных он верил в двойное бытие, откуда и производились чудеса русской истории. Только говорить об этом было труднее, чем писать, говорить почти невозможно.

Отозвался Нечволодов:

— Да... Вы широко всё... А я шире России не умею.

То и плохо. Ещё хуже, что хороший генерал писал плохие книги и видел в этом призвание. Православие у него всегда право против католичества, московский трон против Новгорода, русские нравы мягче и чище западных. Гораздо свободнее было разговаривать с ним о космологии.

Но уже и он двинулся:

— Ведь у нас и России не понимают. *Отечества*—у нас девятнадцать из двадцати не понимают. Солдаты воюют только за веру и царя, на этом и держится армия.

Да что солдаты, когда и офицерам запрещено разговаривать на политические темы. Таков приказ всеармейский, и не дело Нечволодова этот приказ осуждать, раз он высочайше одобрен. Однако приняв под командование 16-й пехотный Ладожский полк, и не мог бы он на минуту забыть, что именно этот полк, вместе с Семёновским и с 1-й Гренадерской бригадой, только и были опорою трона в Москве в мятеж Пятого года.

— Тем более важно, чтобы понятие Отечества было всеобщим сердечным чувством.

Всё-таки подводил он как бы к своей книге, а разговаривать о ней серьёзно было неудобно. Сам-то Алексей Смысловский по развитию перешагнул и царя, и веру, но как раз отечество он очень понимал, он понимал!

Однако понлетись их разговор туда — по незвучавшим тропкам — должен был бы и Смысловский признать, что очень уважал он своего покойного тестя генерала Малахова, а именно тот, генерал-губернатор Москвы, и подавил восстание Пятого года.

— Александр Дмитриевич! А правда, я слышал, вы ещё в прошлое царствование предлагали реформу офицерского корпуса? гвардии, порядка службы?

— Предлагал,— безрадостно, бесчувственно выразил Нечволодов.

— И — что ж?

Уходя в безголос, вполслуха:

— Плыви течением. Как все плывут...

Посветил фонариком на часы.

Легли ли немцы спать? Или медленно просачиваются, не замеченные сторожевым охранением? Или обходят другой дорогой, а завтра отрежут?

Надо было решать? Действовать? Или покорно ждать? Что надо было делать?

Нечволодов не двигался.

Вдруг услышался близкий шумок, переговоры, бранный выговор — и Рошко подвёл к погребу фигуру:

— Ваше превосходительство! Вот этот олух ищет нас пятый час. Если не спал и не врёт — он чуть к немцам не попал.

И подал пакет.

Вскрыли. При фонарике прочли вдвоём:

«Генерал-майору Нечволодову.

13 августа, 5 ч. 30 м. дня».

Ещё раз перечли, Нечволодов даже цифру протёр: да, 5.30 пополудни!..

«Начальник дивизии приказал вам с вверенным вам общим резервом прикрыть отступление частей 4-й пехотной дивизии, ведущих бой к северу от Гросс-Бессау...»

— К северу от Гросс-Бессау,— повторил Смысловский Нечволодову ровным скучным голосом.

К северу от Гросс-Бессау. Позади не только пехоты немецкой, но и тех пушек,

что вели огонь минувшие часы, позади их привязного аэростата. Там, где только трупы русские пролежали жаркий день после утреннего смятения. Какие же бредовые тени должны закачаться в голове, чтоб написать «к северу от Гросс-Бессау»?

Ушедший лучик Нечволодов снова направил на бумагу: а что надо было делать после Гросс-Бессау?

Но — нечего было далее читать. Далее стояло:

«За начальника штаба дивизии капитан Кузнецов».

Не начальник дивизии, даже не начальник штаба — они только крикнули что-то, прыгая в автомобиль или в шарабан, уже отъезжая,— но за всех за них капитан Кузнецов, который, впрочем, тоже погнал вослед, а с пакетом послать не мог бы вестового недотёпистей.

Нечволодов осветил часы, написал на полученной бумаге: 13 августа, 21 ч. 55 м.

Четыре с половиной часа шло распоряжение. Но могло бы и вовсе не писаться: почти это самое в 5 часов вечера Нечволодов ушами слышал от Комарова.

А за пять часов — недосуг им было рассудить о дальнейшей судьбе резерва.

Начальник вскинул голову, будто прислушался.

Не к чему. Тишина.

Тихо сказал:

— Алексей Констиныч. Оставьте две гаубицы на позиции, а остальные пусть принимают походный порядок, головой на юг. И мортирному так же сделать.

Громче:

— Миша! Галопом в Бишофсбург, точно выясни сам, какие там части, с какими приказаниями? Кто старший? Везут ли снаряды под наши орудия? Где шлиссельбуржцы? И возвращайся быстрей.

Рошко повторил все вопросы — сочно, точно, без пропуска, метнулся, кликнул сопровождающих, пробежали в несколько ног — и глухо, по мягкому, застучали и стихли копытные удары.

Полтора часа назад с тем и пришёл Смысловский: что ж держать орудия на огневых без снарядов, они погибнут. Но вот он получил разрешение, а самому жалко было сниматься.

Совсем наоборот: довольно было этой тихой ночи, чтобы весь корпус пришёл бы сюда и развернулся рядом с ними.

Уходить — значит, впустую была вся его стрельба, все снаряды полетели впустую, и раненые зря.

А ночь казалась такая тихая, такая безопасная.

Через полчаса или больше Смысловский возвратился к штабу резерва — и нашёл Нечволодова всё на том же погребе. Он прислонился рядом, к своду:

— Александр Дмитрич! А батальоны?

— Не знаю. Не могу,— выдавил Нечволодов.

Это потом всё бывает легко рассудить: конечно, надо было уходить — и быстрей! конечно, надо было остаться — и твёрже! Может быть, именно в эти минуты их отрезают. Может быть, именно в эти минуты на последней версте к ним подходит помощь. Но сейчас, покинутый всеми, кто только сверху, ничего не зная ни об армии, ни о корпусе, ни о соседях, ни о противнике, в тишине, в темноте, в глуби чужой земли,— принимай решение и только безошибочное!

Не мешая принять, не смея влиять, Смысловский молча стоял, плечом подпирая свод погреба, поглаживая бороду.

Вдруг — изменилось всё! Ожила безлюдная тьма! — хотя и без звука: млечный, белесый, толстый, бесконечно длинный, откуда-то с высоты возник немецкий прожекторный луч!

И враждебной, смертоносной тупой рукой стал медленно ощупывать местность нечволодовского резерва.

Сразу всё изменилось в мире, как если бы в двенадцать тяжёлых орудий дали огневой налёт!

Нечволодов упруго вскочил на ноги и взбежал на верхнюю точку погреба. И Смысловский в несколько прыжков нагнал его там.

Луч — искал. Он медленно-медленно шёл, нехотя покидая освещённую, вырванную полосу. Он начал слева, от озера, и сюда ещё было ему не близко.

Нечволодов подозвал и крикнул распоряжение, передать в батальоны: под лучом ни в коем случае не двигаться, укрыться.

Побежали телефонировать.

Один этот луч — а всё менял. Ясно: только ночь держала немцев. К исходу её или утром они пойдут вперёд.

И если ждать до утра — то стоять здесь и завтрашний весь день.

А если не ждать, то уходить сейчас.

И — засветился второй луч! — в отстоянии от первого и под углом к нему, но не вперекрест, а враспах: второй луч пошёл по правому флангу Нечволодова, по белозерскому батальону.

За молчаливыми этими дубинами света — сколько силы надо было предполагать?

Но и немцы, значит, думали, что нас тут — силища.

Снова подозвал Нечволодов и передал, вытягивая длинную руку:

— Подполковнику Косачевскому: как только луч от них уйдёт — снять батальон с боевого порядка и выводить сюда на дорогу.

Этих — он во всяком случае не мог держать далее.

— Полезли на станцию! — предложил Смысловский.

Обидно было время упустить, не посмотреть тоже. Они сбежали с погреба, подбежали к развалинам станции и, с фонариком, пошли по груде кирпичей к той наклонной балке, по которой можно было выйти на стену.

Но сзади — шум копыт задержал их. Нечволодов узнал голос Рошко.

Вернулись.

Хотя и запыхавшись, однако всё тем же здоровым голосом парубка, выражавшим молодую силу тела и розовость щёк, Рошко доложил:

— В Бишофсбурге ни одного высшего командира. Головного эшелона артиллерийского парка не нашёл. Все части перемешаны, в домах — раненые. Никто не знает, куда идти. У одних есть приказание отступать, у других нет. Шлиссельбургский полк нашёлся! — они только что пришли в Бишофсбург с востока. У них есть приказ Комарова отступать ещё дальше, чем мы утром были. А ещё втягивается в город кавалерийская дивизия Толпыго, и приказ ей — идти на запад. А с запада отступает рихтеровская дивизия, обозы. Перемешались, на улицах не протолпиться. Там и к утру не разобраться. Всё.

Прожекторы медленно брали и глубину. Потом перемещались вбок.

Они сходились.

Было четверть двенадцатого ночи. В календарный день 13-го августа резерв Нечволодова задержал противника южнее Гросс-Бессау. Приказа на 14-е августа — не было, самому Нечволодову предстояло его составить.

И, стоя на груде битых кирпичей в развалинах станции, косясь на подходящий прожекторный луч, Нечволодов вымолвил тихо и даже лениво:

— Мы уходим, Алексей Константинович. Снимайте последние орудия. Обоими дивизионами двигайтесь на северную окраину Бишофсбурга. Там на всякий случай приглядите позиции и ждите меня.

— Есть,— ответил Смысловский.— Feci quod potui, faciant meliora potentes.*

Ушёл.

— Рошко! Ладожским батальонам передай: без звука покинуть линии обороны, смотать связь — и сюда.

На станции всё замерло: пришло сюда мёртво-бледное пятно, свет неживой. Стояли, сидели за домами, за деревьями. Лошади в укрытиях заволновались, ржали, рвали поводья. Приказано было держать их крепко.

Унизительно-беспомощно было замереть в неподвижном свете: луч не сдвинется — и ночь так просидеть.

Но ещё хуже было переползание прожектора — угроза.

Луч ушёл.

Сворачивались. Нечволодов спустился в погреб. Записал своё последнее приказание. Перед тем как свечу гасить, ещё, ещё смотрел на карту.

6-й корпус откатывался, как свободный биллиардный шар,— ни к кому не припутанный, гладкий, круглый, беспечный.

Открывал самсоновскую армию беспрепятственному удару справа.

* Сделал, что мог, кто может — пусть сделает лучше. (лат.)

* * *

БЫЛ РОГ, ДА СБИЛ БОГ

* * *

22

Да, да, да, да! это — порок, эта жила азарта, этот напор, когда увлечённый одной линией, вдруг слепнешь и глохнешь к окружающему и простейшей детской опасности не видишь рядом! Как с Юлей Мартовым когда-то (да когда! — едва отмучивши трёхлетнюю ссылку, едва соберясь за границу!) с корзинкой нелегальщины, с химическим письмом о плане «Искры» — перемудрили, переконспирировали: полагается в пути менять поезда, не подумали, что тот пойдёт через Царское,— и в нём заподозрены, взяты жандармами, и только по спасительной российской неповоротливости полиция дала им время сбыть корзину, а письмо прочла по наружному тексту, не удосужившись подержать над огнём — и тем была спасена «Искра»!

Или как потом: в напряжённой годовой внутрипартийной войне большинства из двадцати одного против меньшинства из двадцати двух — пропустили, почти не заметили всю японскую войну.

Так — и эту (и не думал о ней, и не писал, и на убийство Жореса не откликнулся). Да потому что: расползлась всеобщая зараза *объединительства,* за последние годы охватила всю русскую социал-демократию,— огульное объединительство, самое опасное и вредное для пролетариата! примиренчество и объединенчество — идиотизм, гибель партии! И перехватили инициативу вожди слюнтявого Интернационала — о н и нас будут мирить! о н и нас будут объединять! зовут на пошлейшее объединительное совещание в Брюссель,— как вырваться?? как избежать?? Всё вниманье, всё напряженье ушло туда — и почти не слышал выстрела в эрцгерцога!.. А тут подкатывал в августе конгресс Интернационала в Вене — и никогда ещё так не схватывало напряженье борьбы против меньшевиков! и архи-архи-важно было в эти немногие недели успеть сколотить делегацию изнутри России, как бы от большой действующей реальной партии,— собственно, вот тут, в деревушке Поронино и оформить такую партию! — и мощно явиться на конгресс! А пока изобретал, пока стягивал делегатов (прямым ходом через границу) — объявила войну Австрия Сербии,— как не заметил. И даже Германия объявила России! — как нипочём... Да, да, вот так затягивает, когда хорошо разгонишься в борьбе, трудно остановиться. Пустили известие, будто немецкие с-д проголосовали за военные кредиты,— так они себя погубили? так Интернационал лопнул? — нет, как машинально разогнанный продолжал собирать свой съезд.

Вообще — конечно, должна была разразиться империалистическая война! — теоретически предсказана, неуклонно предвидена. Но — не именно конкретно же сейчас, в этом году. И — пропустил. И — вляпался...

Да, да, да, было десять дней — сообразить своё двусмысленное положение возле самой русской границы и повернуть делегатов обратно, и убираться поскорей из этого чёртова Поронина, уже теперь никому не нужного, и изо всей этой захлопнутой Австро-Венгрии: в воюющей стране какая работа? Сразу нужно было мотнуться в благословенную Швейцарию — нейтральную, надёжную, беспрепятственную страну, умная полиция, ответственный порядок! — так нет, даже не пошевельнулся, в угаре съездовской подготовки,— а тут грянула и австро-русская война — и сразу интернировали всех приехавших делегатов: русские, призывного возраста, как попали, зачем тут?..

Ах, какой просчёт!.. Ах, какие нервные три недели с тех пор!..

Сейчас-то — уже позади. По перрону Нового Тарга — до паровоза и назад. До паровоза — и назад. С Ганецким.

Гладко-выбритое, приятное, даже нежное лицо Ганецкого — сейчас такое спокойное, а как исступлённо кричал на новотаргских чиновников! — не бросил в беде. (Ну, да он в Новом Тарге — свой, папа тут богач.)

Новый Тарг — не Поронино, здесь уже не так опасно, но могут ещё какие-нибудь поронинские фанатики появиться, ещё всё может случиться. Хотя тут, на станции, надёжно расхаживает жандарм, никто не кинется.

Диалектика: жандарм — вообще плохо, а в данный момент — хорошо.

Большое красное колесо у паровоза, почти в рост.

Как бы ты ни был насторожен, предусмотрителен, недоверчив — убаюкивает проклятая безмятежность быта, мещанская в сути своей, семь лет подряд. И в тени чего-то большого, не рассмотрев, ты, как к стенке, прислоняешься к массивной чугунной опоре — а она вдруг сдвигается, а она оказывается большим красным колесом паровоза, его проворачивает открытый длинный шток,— и уже тебе закручивает спину — туда! под колесо!! И, барахтаясь головой у рельсов, ты поздно успеваешь сообразить, как по-новому подкралась глупая опасность.

Самому-то Ленину от властей не грозило: законный паспорт, законное положение политического эмигранта, врага царизма, и возраст 44 года, интернированию не подлежит — перед австрийской полицией он непорочен. Но — провалить такое мероприятие? Но — дать схватить свои скудные кадры? Кольцо глупости! Стена глупости! Глупейший, простейший, слепейший просчёт! — как с Царским Селом тогда. (Да как и в 95-м году — газету готовили, ни одного номера не выпустили, сразу и провалились...) Да, да, да, да! — сесть в тюрьму революционер всегда должен быть готов (впрочем, умнее избежать) — но не так же глупо! но не так же позорно! но не так же не вовремя дать себе спутать руки!! Только-только собрал начатки партии — и дал её посадить? И даже хуже: делегатов арестовали, а организатор на воле? Как же это будет истолковано??

И слали с Ганецким телеграммы — в политический отдел краковской полиции, социалистическим друзьям в Вене,— телеграммы, потому что так просто не вырвешься из Поронина и сам, на каждый билет от дня войны нужно разрешение тупого старосты, а он не даёт, и даже дружественный полицейский вахмистр не может его склонить легко. А и добравшись до Нового Тарга — нужно новое разрешение, нужно новое доверие, а его не шлют,— и одиннадцать дней ты бегаешь по плитчатому полу комнатёнки старосты от стенки до стенки, не отлежишься на их визгливой кроватной сетке, а жжёт и палит: могло не быть! — могло не быть!! — сам наделал! — сам влопался!

Никакая внешняя неудача, поражение, подлость и низость врагов — никогда ничто так не травит сердце, как собственный даже малый просчёт, днём и ночью сжигает. *Своего* просчёта нельзя объяснить объективно, потому нельзя загладить, забыть, а только: его могло не быть! могло не быть!! могло не быть!!! — а он был, по собственной оплошности.

А каков был Куба (партийная кличка Ганецкого) в эти дни! Не смяк, не сдался. Фонтаном вавил имена — социал-демократов! депутатов парламента! общественных деятелей! — кому сейчас же писать, объяснять, теребить! добиваться вмешательства! И — десяток писем во все концы! Не было поезда вечером — гнал в Новый Тарг на арбе. И бросился в Краков, и встречался там с сочувствующими влиятельными людьми (да он и любому чиновнику сплетёт историю в одну минуту!), и снова телеграфировал в Вену. Любой бы славянин на его месте устал, отстал, бросил, но Ганецкий с неиссякаемой настойчивостью — не отставал.

От телеграфных толчков Ганецкого с-д депутаты Виктор Адлер и Диаманд обратились к канцлеру и в министерство внутренних дел, дали письменные ручательства за русского социал-демократа Ульянова, что он не только лоялен к Австро-Венгерской империи, но враг русского правительства злейший, чем сам канцлер. И в краковскую полицию пришло указание: «Ульянов смог бы оказать Австро-Венгрии большие услуги при настоящих условиях». И так — открылся путь для дальнейших переговоров, действий и выручки интернированных товарищей.

Товарищей освободят — а как же Ленин? А почему же он не сидел?.. И с Кубой — чудесное понимание: вот эта комнатёнка старосты, во все изводящие дни,— вот это и была его камера! Он — тоже сидел, конечно!

А между тем — опять промах: упустили другую опасность. Что можно было втолковать австрийскому канцлеру и слабоумным австрийским чиновникам — того не могли понять галицийские мужики, тупые, как все мужики в мире,—

в Европе ли, в Азии, в Алакаевке. Живёшь — сам себя со стороны не наблюдаешь, не понимаешь. А в глазах поронинских дремучих жителей: странные люди, не похожи на остальных дачников — каждый день почта мешками, пакеты, и пишут, и пишут, и немалые денежные переводы из России, и прохожие люди через кордон без паспортов, а тут война,— так вот и есть шпион!? То-то всё ходили по горам — так значит планы снимали? Тут всех и власти предупреждают: задерживайте подозрительных, делают снимки дорог, отравляют колодцы. Шпион?!.

Поразительно. Непостижимо! Шли из костёла крестьянки и, сами ли по себе или увидя Надю и для неё, расшумелись на всю улицу, что они *сами выколют ему глаза! сами вырежут ему язык!*.. Надя пришла домой бледная, вся тряслась. И испуг её — передавался, захватывал: а что? — и выколют, ничего удивительного. А что? — и вырежут, ничего невозможного! Очень просто: придут с вилами и ножами...— и к чертям вся партия! И — к чертям всемирная социалистическая революция!.. Т а к о й колоссальной опасности не подвергался Ленин никогда за всю жизнь. Никогда ещё ни от кого ему такое не... Да мало ли знает история вспышек простонародной безобразной ярости! От неё нет гарантии даже в цивилизованном государстве, даже в тюрьме безопаснее, чем от тёмной толпы...

Тревожно настраиваться при угрозах — это не паника, это мобилизация.

Так были затемнены и задёрганы последние падины дни и часы в Поронине — а Ленин туда уже и не возвращался. Два года такой безопасный, мирный, посёлок как насторожился к прыжку. Уже и из дому не выходили, плохо спали, плохо ели, нервно укладывались, и, конечно, Надежда наделала массу новых ошибок, не взяла, бросила секретнейшие бумаги, да не владела собой, вникнуть не могла, да и набралось там за два дачных сезона бумажного пудов шестьдесят.

Да как вообще можно медлить, оставаться рядом с русской границей?! Тут и казаки налетят — захватят в один момент.

Только сейчас, перед зелёненьким аккуратным поездом, на платформе, где при жандарме и станционных чиновниках уже никак не могло быть бесконтрольной расправы,— сваливалась тяжесть, наконец. Уже дали первый звонок, до отхода поезда оставалось 23 минуты. И все веселели. Стояло и утро весёлое, солнечное, без облаков. Не грузили военных грузов, не ехали мобилизованные, перрон и поезд выглядели как в обычное дачное летнее время. Но ехать поездом — требовалось разрешение полиции, оттого вагоны были полупустые. Надя и тёща сидели уже там, выглядывали из окна. А Владимир Ильич, взявши Якова Кубу под руку, снова и снова шли вдоль платформы, оба точно равного невысокого роста, оба широкие, только Ильич от кости, а Куба от жирка.

Яков держался очень самоуверенно, коммерсантская манера, изобретательно-шнуровая полоска усов, и глаза настойчивые, спокойно выкаченные, не могут не восхитить.

Когда видишь способность человека на такие дела, следует внимательней прислушиваться и к его словам, какими бы мечтательными они ни казались. Знал Якова давно, со II съезда, но по польским делам, а только этим летом он развернулся с новой стороны и стал самым важным человеком. Он вообще был золото: исключительно исполнителен — и обо всём серьёзном замкнут, слова не вытянет никто чужой. В июне и в июле в окрестностях Поронина они всё ходили с ним на прогулки по нагорью и обсуждали его увлекательные финансовые проекты, целый фейерверк. Может быть из-за своего буржуазного происхождения, Ганецкий имел к денежным делам поразительный нюх и хватку — редкое и выгоднейшее качество революционера. Он правильно ставил вопрос: деньги — это ноги и руки партии, без денег любая партия беспомощна, одно болтунство. Даже парламентская партия нуждается в больших деньгах — для избирательных кампаний, что же сказать тогда о партии революционной, подпольной, которой надо организовать укрытия, явки, транспорт, литературу, оружие и готовить бойцов, и содержать кадры, и в нужный момент совершить переворот?

Да что убеждать! Всем большевикам это было понятно от самого II съезда, от первых шагов самостоятельности: без денег — ни на шаг, деньги решают всё. Первый путь был — выжимать пожертвования из русских толстосумов, из Мамонтова, из «пряника» Коновалова, да Савва Морозов гнал по тысяче в месяц, как раз на содержание петербургского комитета, но другие отваливали нерегулярно, от купеческого расположения, от интеллигентского сочувствия (Гарин-Михайловский дал десять тысяч один раз),— а там снова ходи проси. Верней был путь — брать самим. Где — наследство вымотать, как у фабриканта Шмидта, членам партии жениться на наследницах, то в уральских горах обмануть банду Лбова — деньги взять у них, а оружия не привезти. То более систематически — развивать *военно-технические* средства: в Финляндии готовились печатать фальшивые деньги, уже Красин водяную бумагу доставал, и для *эксов* готовил бомбы. Эксы пошли исключительно удачно: но на V-м съезде чистоплюйством Плеханова и Мартова запретили их, да остановиться не было сил, и в Тифлисе Камо и Коба триумфально захватили ещё 340 тысяч из казны. Но — забылись, голова закружилась, стали хрустящие царские пятисотки менять в Берлине, в Париже, в Стокгольме, надо бы поумеренней, а царское министерство разослало номера, и Литвинов попался, и Равич попалась в Мюнхене, да неудачно записку послала из тюрьмы, перехватили. Стали искать среди женевских большевиков, взяли тринадцать, а Карпинского и Семашко упекли бы на срок, если б либералы из парламента не помогли. Но хуже всех, но гаже всех с фальшивой лицемерной подлой своей *принципиальностью* раскудахтался Каутский, какая низменная затея: устраивать «социалистический суд» над русскими большевиками и скудоумно велеть *сжигать* полутысячные всесильные банкноты! (Только при одном виде его портрета, святенького седенького старичка в выпупленных очках,— челюсть поводит брезгливостью, как взял лягушку в рот.) Вам хорошо, немецкие рабочие богатые, взносы большие, партия легальная, а — нам?? (Да не всё сожгли, конечно, не такие дураки.) И еще потом сглупили, сделали злобного старика денежным арбитром между большевиками и меньшевиками (не избежать было манёвра объединения, значит и деньги, вроде, объединять, а меньшевики-то голенькие; всего шмидтовского наследства скрыть было нельзя, часть дали Каутскому на арбитраж — так потом, при новом расколе, не хотел большевикам возвращать).

И вот этим летом Ганецкий захватил Ленина проектом: создать в Европе своё коммерческое предприятие или войти партнёром в уже действующий трест — и пакет прибыли ежемесячно гарантированно передавать партии. И это не было русской маниловщиной, каждый предлагаемый шаг поражал точным расчётом. Не Куба сам придумал, это шло из бегемотской гениальной головы Парвуса, от него письма были Кубе из Константинополя. Когда-то нищий, как все социал-демократы, и поехавши в Турцию стачки устраивать, он откровенно теперь писал, что богат, сколько ему надо (по доходившим слухам — сказочно), пришло время обогатиться и партии. Он хорошо писал: для того чтобы верней всего свергнуть капитализм, надо самим стать капиталистами. Социалисты должны прежде стать капиталистами! Социалисты смеялись, Роза, Клара и Либкнехт выразили Парвусу своё презрение. Но может быть поторопились. Против реальной денежной силы Парвуса насмешки вяли.

Отчасти за этими проектами Ганецкого и прохлопали начало войны.

Их же обсуждали и сейчас, в последние минуты. И как связь держать. Да увидятся скоро: вот Зиновьев поедет за Лениным вслед, а там и Ганецкий, как только отпишется от австрийской воинской повинности.

Тут дали второй звонок. Ильич вскочил на подножку шустро — без шляпы, почти совсем лысый, в поношенном костюме, с заострелым лицом, с неотпустившей его беспокойной оглядкой, отросшая бородка, неаккуратная,— и правда, чем-то похож на шпиона, хотел пошутить Ганецкий, но знал, что Ленин обижается на шутки, и удержался.

Он и сам, с печальными осмотрительными глазами, с лицом коммерсанта, а в затёртом костюме, на кого ж и был похож, если не на шпиона?..

Строго стоял дежурный по станции в высокой красно-чёрной фуражке. Ударили в колокол три раза. Начальник поезда затрубил в рожок и побежал.

И помахивали отъезжающим. И помахивали те в открытое окно.

А всё-таки тут жили неплохо. Покойно, размеренно, не то что Париж суматошный. Сколько по Европе ни мытарился Ленин — а европейцем не стал. Условия жизни должны быть узкими, это лучшее состояние для действия.

И сколько прошло здесь волнений. Радостей.

Разочарований.

Малиновский...

Вместе с платформой, со станцией — оторвало оставшихся. И даже Ганецкий, какой он ни был достойный надёжный партийный товарищ, сейчас пока он отлично своё дело сделал,— а из следующего этапа жизни мог бы и выпасть. Но очень может быть, что на каком-то из следующих он снова окажется самым главным нужным человеком, и к нему архисрочно понесутся бессонные письма с двойным и тройным подчёркиванием.

Никогда никем не сформулированный, существовал непреложный закон революционной борьбы или, может быть, всякого человеческого развития, много раз наблюдал его Ленин: в каждый период выступают, приближаются один-два человека, наиболее единомыслящих именно в данную минуту, наиболее интересных, важных, полезных именно сейчас, вызывающих именно сегодня к наибольшей откровенности, беседам и совместным действиям. Но почти никто из них не способен удержаться в этой позиции, потому что ситуации меняются всякий день, и мы должны диалектически меняться вместе с ними — и даже мгновенно, и даже опережая их, и в этом политический гений! Естественно, что тот, и другой, и третий, попадая в вихрь Ленина, тотчас вовлекаются в его действия, выполняют их в указанный момент с указанной скоростью, всеми средствами, и жертвуя своим личным,— естественно, ибо это делается не для Владимира Ильича, но для властной силы, проявляемой через него, а он — только безошибочный её указатель, всегда точно знающий, что верно лишь сегодня, и даже к вечеру не всегда то, что утром. Но как только эти промежуточные люди упрямились, переставали понимать нужность и срочность своего долга, начинали указывать на противоречивость своих чувств или на особенности своей личной судьбы — так же естественно было отвести их с главной дороги, устранить, забыть, а то изругать и проклясть, если требовалось,— но и в этом устранении или проклятии Ленин действовал волей влекущей его силы.

В такой позиции близости-единомыслия затяжно держались енисейские ссыльные, но лишь потому, что территориально не было никого ближе. В такой позиции рисовался издали Плеханов, но каким холодным жестоким уроком отрубил он это в несколько встреч. В такой позиции, и даже в опасной недопустимой близости находился годами Мартов. Но сдал и он. (От Мартова горько вошло в опыт навсегда: в человечестве вообще не может быть такого типа отношений — «дружба», вне отношений политических, классовых и материальных.) Был близок Богданов, пока добывал для партии финансы, но это отпало, а он, не поняв крутизны, ещё претендовал направлять — и сорвался. Некоторые удерживались довольно постоянно, как Красин, всегда незаменимый в добывании денег. А тем временем в вихрь втягивались новые верные — Каменев, Зиновьев... Малиновский...

Держался и двигался рядом лишь тот, кто понимал партийное дело правильно, и лишь — пока понимал. А миновалась частная срочная задача, и обычно миновалось понимание, и все эти недавние сотрудники оставались безнадёжно врощенными в тупую неподвижную землю, как придорожные столбики, и отставали, и отрывались, и забывались, а иногда на новом повороте неслись навстречу остро, как уже враги. А были единомышленники, близкие на неделю, на день, на час, на один разговор, одно сообщение, одно поручение,— и Ленин искренне отдавал им всю горячность, натиск необходимого дела,— каждому из них как самому важному человеку в мире,— а через час они уже и отваливались, и забывалось начисто, кто они и зачем. Так показался близким Валентинов, когда приехал первый раз из России, хотя сразу смутил своей тупостью, что какая-то им сделанная слесарная деталь ему, рабочему, даже важней политической борьбы. И это быстро сказалось: не хватило у него стойкости против Мартова, а значит стал всё равно как и меньшевик.

Поезд катил под уклон, сильно огибая горки,— а по ним тропинки и дороги колёсные бежали по склонам и вверх, мимо хуторов, стогов и неубранного, и, пока ещё видна горная дорожка, по ней успеваешь глазами взбежать, как ногами. Много было похожено вокруг Поронина, а здесь не был.

И — сел на скамью. Думать ли, заниматься — но не размазывать сантиментов. И семейные, по взгляду, по движению всё поняв, не лезли с мелким бытовым, и не возились лишнего, смирно сидели на своей скамье.

Все эти изнурительные годы, с Девятьсот Восьмого, после поражения революции, все и были: отход и отброс людей. Ушли впередисты, отзовисты, ультиматисты, махисты, богостроители... Луначарский, Базаров, Алексинский, Бриллиант, Рожков, Лядов, Лозовский, Мануильский, Горький... Вся старая гвардия, сколоченная в расколе с меньшевиками. И так уже казалось минутами, что никого не останется, что вся партия большевиков — он один с двумя женщинами да десяток третьестепенных стёртых, кто ещё приходил на большевистские собрания в Париже, а вылезешь на собрании общем — своих нет и с трибуны столкнут. Уходили — все подряд, и какая сила уверенности нужна была — не усумниться, не закачаться, не побежать за ними мириться, но, провидя будущее, стоять и знать: сами возвратятся, сами очнутся, а кто не вернётся — и пропади.

Шестой и Седьмой годы — ещё было совсем не поражение, ещё всё общество кипело, вертелось, втягивалось в воронку, Ленин сидел в Куоккале и ждал, и ждал второй волны. Но вот с Восьмого, когда всю страну захватила реакционная свора, а подполье как будто отсыхало, рабочая жизнь уходила в открытое копошенье, в профсоюзы, в страховые кассы, а вслед за подпольем как будто отживала, становилась тепличной и эмиграция... Т а м — Дума, легальная печать,— и каждый эмигрант старался печататься там...

Вот почему — замечательно, что началась война! Это радость, что началась!! Т а м их сейчас всех зажмут, ликвидаторов, значение легальности резко упадёт, а значение и сила эмиграции, напротив, увеличатся! Центр тяжести русской общественной жизни снова переносится в эмиграцию!!

Это всё Ленин оценил в первые нервные дни сиденья в Новом Тарге, не давая личной неудаче заслонить великую всеобщую удачу. Он принял в себя и втянул в проработку — всеевропейскую войну. А из всякой проработки в ленинском мозгу рождались готовые лозунги — в создании лозунга для момента и был конечный смысл всякого обдумывания. И ещё — в переводе своих доводов на общеупотребительный марксистский язык: на другом не могли его понять сторонники и последователи.

И что отсюда выносилось — первому открыл Ганецкому: надо понять, что раз война началась, то не отмахиваться от неё, но — использовать! Надо переступить через поповское представление, иногда зароненное и в пролетарские головы, что война — несчастье или грех. Лозунг «мир во что бы то ни стало» — поповский лозунг! Какую линию в создавшейся обстановке должны повести революционные демократы всего мира? Прежде всего: необходимо опровергнуть басню, что в поджоге войны виноваты Центральные державы! Антанта будет сейчас прикрываться, что «на нас, невинных, напали». Они даже придумывают, что «для дела демократии» нужно защищать республику рантье. Смять, раздавить это оправдание! Какая разница — кто на кого первый напал? Следует пропагандировать, что виноваты *все правительства* в равной мере. (И даже: немецкие — меньше других.) Важно — не «кто виноват?», а — как нам выгоднее использовать эту войну. «Все виноваты» — без этого невозможно вести работу на подрыв царского правительства.

Да это счастливая война! — она принесёт великую пользу международному социализму: одним толчком очистит рабочее движение от навоза мирной эпохи! Вместо прежнего разделения социалистов на оппортунистов и революционеров, деления неясного, оставляющего лазейки врагам, она переводит международный раскол в полную ясность: на патриотов и антипатриотов. Мы — антипатриоты!

И — кончилась эта лавочка Интернационала с «объединением» большевиков и меньшевиков! и уже никакого венского конгресса не будет. Уж теперь не заикнутся. Теперь зазияла трещина так трещина, уже не помиришь! А в июле как прихватили, прямо клещами за горло: не видим разногласий, достаточных для раскола! присылайте делегацию — мириться! С меньшевистской сволочью мириться! А теперь за военные кредиты проголосовали — так уже вам не подняться, мёртвое тело! Ещё долго будете корчить из себя живых, но надо вслух объявить: мертвы! На этой инессиной поездке к вам в Брюссель — последняя наша с вами встреча, хватит!

Тут спохватилась тёща, что один чемодан забыли! Бросились переглядывать, пересчитывать, под лавками и на верхних сетчатых полках,— нет! Что за позор! Как с пожара. А ещё — какие бумаги забыли, какие бумаги, даже списки адре-

сов! Владимир Ильич расстроился. Без порядка в семье и в доме — невозможно работать. Смешно выразиться, но и домашний порядок есть часть общепартийного дела. Не смея выговаривать Елизавете Васильевне — она ответить умела, и они друг друга уважали, даже мелкими подарками задабривал её,— строго высказал Наде. Какой уж от неё порядок, если она пуговицы пришить хорошо не может, пятна вывести, он сам — лучше. Носового платка ему, не скажешь — не сменит.

Ошибок он вообще не прощал. Ничьей ошибки он не мог забыть никогда, до смерти.

Отвернулся в окно.

Изгибался поезд и скатывался постепенно с гор. То серым, то белым паровозным дымом проносило иногда мимо окошек. Надоели уже и горы эти за эмиграцию.

А в Надю всё уходило, как в подушку: ну, забыли, ну, не возвращаться в такой обстановке. Из Кракова напишем, перешлют чемодан почтой.

Надя прочно знала, много раз уже применяла: если брать на себя, не упрекать, что и он виноват,— Володя успокоится и отойдёт. Больней всего ему, если окажется, что он — тоже виноват.

Постаревший, насупленный, с наросшей неподстриженной усо-бородой, с обострёнными рыжими бровями, темнолобый, он смотрел в окно, но косо, ничего там не различая. Все выраженья на его лице Надя хорошо знала. Сейчас не только нельзя было перечить, но и вообще: ни обратиться к нему ни с чем, ни отвлечь его ни словом, даже сказанным с матерью. Надо было дать ему вот так посидеть, углубиться в себя, от всех страданий очиститься молчанием — и от новотаргского бешенства, и от поронинских угроз, и от чемодана. В такие часы уходил ли он один гулять или молча сидел и думал — от думотни, в полчаса, и в полчаса, лоб его — перевёрнутый котёл, и окруженье глаз переглаживались от мелких сердитых складок — к большим и крупным.

Международный раскол социалистов давно назрел, но только война проявила его и сделала необратимым. И — архивеликолепно! Хотя от массовой измены социалистов как будто ослабляется пролетарский фронт, а нет: и *хорошо*, что они изменили! Тем легче теперь настаивать на своей отдельной линии.

А что было говорить месяц назад? как выкручиваться? Догадка: послать в Брюссель — Инессу вместо себя! Вы ждали меня самого, так просто? — утритесь, господа Каутский, Плеханов и Вандервельде! Главой делегации — Инессу! С её прекрасным французским языком! С её несравненной манерой держаться! — холодно, спокойно, немного презрительно. (Французы в президиуме будут сразу покорены. А немцы будут плохо тебя понимать — и очень хорошо! А ты от немцев требуй после каждой речи — перевод!) Вот это ход! Вот растеряются, ультрасоциалистические ослы!.. И — захват: скорей! писать! узнать: поедет ли? может ли? На Адриатике отдыхает с детьми? — чепуха, для детей кого-то найти, расходы оплатим из партийной кассы. Занята статьёй о свободной любви? — не говоря обидного (стопроцентной партийкой женщина никогда не может быть, обязательно какие-нибудь штучки): эта рукопись подождёт. Я уверен, что ты — из тех людей, которые сильней, смелей, когда одни на ответственном... Вздор, вздор, пессимистам не верю!.. Превосходно ты сладишь!.. Я уверен, ты сможешь быть достаточно нахальна!.. Все будут злиться (я очень рад!), что я отсутствую, и, вероятно, захотят отомстить тебе, но я уверен: ты покажешь свои коготки наилучшим образом!.. А назовём тебя... Петрова. Зачем открывать твоё имя ликвидаторам? («Петров» — и я, никто не помнит, но ты-то помнишь. И так, через псевдонимы, мы выйдем на люди слитно — открыто и не открыто. Ты действительно будешь — я.) Дорогой друг! Я бы просил тебя согласиться! Ты едешь?.. Ты едешь!.. Ты едешь!! Да, конечно, надо спеться детальнее. И архиспешить. Ликвидаторам надо просто врать: обещай, что *может быть* мы потом примем общую резолюцию. (А на деле мы конечно никогда ничего не примем! *ни одного* их предложения!) И: о болезни детей, ври о болезни детей, что из-за них не можешь задерживаться. Европейских социалистов, эту сволочь обывательскую, надо убедить, что большевики — наиболее реальная партия из русских. Подпусти им там профсоюзов, страховых касс — на них это архивлияет. Задающих вопросы — сразу отсекай, отклоняй, отбивай! Всё время — наступательная

позиция! Розу — тяни за язык, докажи, что у неё в Польше нет реальной партии, а реальна — оппозиция Ганецкого. Ты всё поняла! Ты едешь!.. Крепко жму руку! Very truly... Твой...

Тут подпортил Ганецкий — поставил ультиматум (вообще-то справедливый): 250 крон на поездку в Брюссель, иначе не едет. А партийную кассу надо беречь. (Да один ли Ганецкий! — есть много людей, кого можно бы утилизировать, но нельзя разбрасывать денег...) А без Ганецкого паршивая польская оппозиция изменила, пошла на гнилое идиотское примиренчество с Розой и Плехановым.

...Всё равно, ты провела дело лучше, чем мог бы я. Помимо того, что языка не знаю, я ещё непременно бы взорвался! не стерпел бы комедиантства! обозвал бы их подлецами! А у тебя вышло спокойно, твёрдо, ты отпарировала все выходки. Ты оказала большую услугу партии! Посылаю тебе 150 франков. (Вероятно, слишком мало? Дай знать, насколько больше израсходовала. Вышлю.) Пиши: очень ли устала? очень ли зла? Почему тебе «крайне неприятно» писать об этой конференции?.. Или ты заболела? Что у тебя за болезнь? Отвечай, иначе я не могу быть спокойным.

Инесса — единственный человек, чьё настроение передаётся, потягивает, даже издали. Даже — издали больше.

А вот что: с военной цензурой теперь покинуть надо это «ты». Можно дать повод для шантажа. Социалист должен быть предусмотрителен.

Нарушилась переписка с начала войны, придут теперь письма в Поронино. Но, по всему, отправив детей в Россию, должна Инесса вернуться в Швейцарию. Может быть — там уже.

Женщины тихо разговаривали, как обойтись в Кракове. Надя предложила, чтобы мама с Володей посидели с вещами, а она — к той хозяйке, у которой останавливалась Инесса: удобно было бы там и стать сегодня.

Сказала — а сама смотрела как бы мимо володиной щеки в окно. Он не изменился, не повернулся, не отозвался, а всё-таки, по движениям жилок и век, Надя убедилась, что — слышал, и — одобряет.

Удобно, быстро, не искать — да. Но и необходимости останавливаться именно в инессиной комнате — не было. Только то ещё, что Володя не любил привыкать к новому, да на короткий срок. Только то и было оправданием перед матерью.

Перед матерью — было всегда унизительно. Прежде — больше, теперь — меньше. Но и теперь.

Однако Надя воспитывала в себе последовательность: не отклонять с пути Володю ни на волосок — так ни на волосок. Всегда облегчать его жизнь — и никогда не стеснять. Всегда присутствовать — и в каждую минуту как нет её, если не нужно.

Однажды выбрав, надо держаться. Запрягшись — уже тянуть. О сопернице — не разрешить себе дурного слова, когда и есть, что сказать. Встречать её радостно, как подругу,— чтобы не повредить ни настроению Володи, ни его положению среди товарищей. На прогулки брести и усаживаться читать — втроём...

Когда это всё началось, даже раньше, когда студентка Сорбонны с красным пером на шляпе (как никогда не осмелилась бы ни одна русская революционерка), хотя и с двумя мужьями и пятью детьми за спиной, Инесса первый раз вошла в их парижскую квартиру, а Володя только ещё привстал от стола,— как от удара ветра открылось Наде всё, что будет, всё, как будет. И своя беспомощность помешать. И свой долг не мешать.

Надя первая сама и предложила: устраниться. Не могла она взять на себя быть препятствием в жизни такому человеку, довольно было препятствий у него всех других. И не один раз она порывалась — расстаться. Но Володя, обдумав, сказал: «Оставайся». Решил. И — навсегда.

Значит — нужна. Да и правда, лучше её никто бы с ним не жил. Смириться помогало сознание, что на такого человека и не может женщина претендовать одна. Уже то призвание, что она полезна ему среди других. Рядом с другой. И даже — во многом ближе её.

А оставшись — осталась никогда не мешать. Не выказывать боли. Даже приучиться не ощущать её. А чтоб эта боль выжглась и отмерла — последова-

тельно не щадить её, колоть, жечь. И вот если практически удобно было остановиться в недавней инессиной комнате, то в ней и надо было остановиться, и не перетравливать, когда, сколько, как Володя пробыл в ней.

Только вот на глазах матери...

Скоро и Краков. Володя светлел. Значит, мысли его хорошо продвинулись.

Нет, замечательно ты съездила в Брюссель, не жалей. Единственное жаль — не успела затеять переписки с Каутским, как я тебе... (Ты бы переписывалась от своего имени, а письма тебе приватно готовил бы я.) Какая он подлая личность! Ненавижу и презираю его — хуже всех! Какое поганенькое дряненькое лицемерие!.. Жаль, жаль, не начали эту игру, мы б его разыграли!

Повеселел, даже посвистел Володя чуть-чуть. И, чемодана больше не вспоминая: поедим? И — перочинный нож вынул, всегда с собой.

Простелили салфетку, достали цыплёнка, крутых яиц, бутылку с молоком, галицийского хлеба, масло в пергаментной бумаге, соль в коробочке.

И Володя даже расшутился, что тёща у него — капиталист и пятнает его революционную биографию.

А действительно, надо было денежные дела решать, и проворно. В краковском банке лежали большие деньги — кто ж мог ждать эту войну! — на имя Елизаветы Васильевны, больше 4 000 рублей. И теперь должны были секвестровать как имущество враждебных иностранцев, вот маху дали! Надо было вырвать деньги во что бы то ни стало, найти нужного ловкого человека. И перевести их в надёжное — в золото, можно часть в швейцарские франки. И увозить с собой.

И сразу — в Вену, не задерживаясь. И кончать с визами и поручительствами в Швейцарию, надо скорей туда, Австро-Венгрия — воюющая страна, мало ли что случится.

В чём всё-таки этот оппортунистический Интернационал себя оправдывал — никогда не отказывал в личной помощи. И в каждой стране у них — чуть не свои министры. Сейчас вот, настаивал Куба, надо нанести визиты Адлеру и Диаманду (хотя уже телеграфировал сердечную благодарность), и ещё лично благодарить за освобождение и ни в коем случае не дерзить. Улыбался Володя криво, в крошках желтка и белка: да, вот такой деликатный поворот: трухлявые ревизионисты, сволочь обывательская, а надо ехать любезничать. И в конце концов это справедливо: не способны на принципиальную линию, так пусть хоть в жизни помогают. Конкретная реальная платформа для временного тактического соглашения с ними. И дальше, в Швейцарии, не обойтись без этой своры: без поручительства не впустят, а кто ж другой поручится? Роберт Гримм — мальчишка, в прошлом году познакомились в Берне, когда ты в больнице лежала.

Не царапали Ленина насмешки, не гнули унижения, ничего он не стыдился — а всё-таки тяжело в сорок четыре года кланяться молодым, ото всех зависеть, не иметь собственной силы.

Не уехали б в 908-м из Женевы в Париж — не надо б сейчас и в Швейцарию добиваться, уж как бы там сидели прочно и безопасно — и со своей типографией, и со связями, и со всем. Скажи, кой чёрт нас тогда потянул в Париж?

(Не поехали бы в Париж — не узнал бы Инессы.)

Да даже в прошлом году, когда лечили твою базедку у Кохера и узнали, что такое настоящая медицина (Володя и сам тогда книги по базедовой читал, проверял),— вот бы нам сообразить и остаться сразу в Берне. А что? Если нужно пережить царизм, а возраст — уже не двадцать пять, то здоровье революционера становится тоже его оружием. И партийным имуществом. И надо поддерживать его всеми партийными финансами, не жалея. Надо жить при отличных врачах, и даже ближе к первоклассным знаменитостям,— где ж, как не в Швейцарии? Не у Семашко же лечиться, смешно!.. Наши революционные товарищи как врачи — ослы, неужели им доверить своё тело ковырять?

А ты — и сейчас не выздоровела. Надо тебе ближе к Кохеру.

Но, Володя, но в Швейцарии ужасен мещанский дух, ты вспомни, как нам там было затхло! Ты вспомни, как от нас шарахались после тифлисского экса! — у них, видите ли, *право* стоит так непорочно, они не могут потерпеть преступлений против собственности!.. И это — социал-демократы?!

Всё правильно, но в Швейцарии вот так не попадёшь, как мы в Поронине попали. А Семашко и Карпинского мы освободили шутя.

И какие библиотеки там, как заниматься хорошо! — и прежде, а сейчас-то, во время войны! Исключительная культивированность и удобства жизни.

Чистая вымытая страна, приятные горы, приветливые пансионы, прозрачные озёра с плавающей птицей.

Отстойник русской революции.

И при нейтральности страны только оттуда и можно будет держать международные связи.

Обдумывать, обдумывать: что же за радость — невиданная всеевропейская война! Такой войны и ждали, да не дожили Маркс и Энгельс. Такая война — наилучший путь к мировой революции! То, что не разожглось, не раздулось в Пятом году,— само теперь раздуется! Благоприятнейший момент!

Раскручивалось и предчувствие: вот оно, то событие, для которого ты жил, чтоб его разгадать! Двадцать семь лет политического самообразования, книги, брошюры, партийная перебранка, холодное неудачное наблюдение первой революции, для всех в Интернационале — нарушитель порядка, зарвавшийся сектант, слабая маленькая тающая группка, называемая партией,— а ты ждал, сам не зная, вот э т о г о момента, и момент пришёл! Крутится тяжёлое разгонистое колесо — как красное колесо паровоза,— и надо не потерять его могучего кручения. Ещё ни разу не стоявший перед толпой, ещё ни разу не показавший рукой движения массам,— какими ремнями от этого колеса, от своего крутящегося сердца, их всех завертеть, но — не как увлекает их сейчас, а — в обратную сторону?

Краков.

Одевались, собирались.

В рассеянности собирался, не вполне понимая, что вот — Краков, и чтó делать надо.

Понесли вещи сами, без носильщика.

Оглушенье от многолюдья, отвыкли, а тут ещё — особенное, военное. Людей на перроне — впятеро больше, чем может быть в будни, и впятеро озабоченнее, и спешат. Монахини, которым бы тут делать нечего,— толкаются, всем суют образки и печатные молитвы. Ленин отдёрнул руку как от гадости. У пассажирской платформы, не на месте — товарный вагон, и в него несут, несут какие-то большие ящики; написано: порошок от блох. Толкаются военные, штатские, железнодорожники, пассажиры. Через густоту перрона — медленно, трудно, чуть не локтями. А по стене вокзала — крупный плакат, жёлтая ткань и красными буквами:

Jedem Russ — ein Schuss! *

Совсем это не к ним относилось, а нельзя вовсе не вздрогнуть.

В зданьи вокзала — набито и душно. Нашли местечко — в тени, на возвышеньи, у боковой стены, углом на площадь. Тут ещё больше густела толпа и много женщин. Посадили тёщу на скамейку, вокруг неё все вещи. Надя поехала к инессиной хозяйке. Владимир Ильич побежал купить газет и шёл назад, читая их по дороге, обталкиваясь со встречными, тут присел на твёрдый чемодан, зажимая газетный ворох между локтями и коленями.

В газетах не было особенно радостно: и о галицийской битве и о Восточной Пруссии писалось уклончиво, значит русские были не без успеха. Но — бои во Франции! но — война в Сербии! — кто это мог мечтать из прежнего поколения социалистов?

А — растеряются. Выше «мира! мира!» не поднимутся. Кто не «защитники отечества», те в лучшем случае будут вякать и тявкать «прекратить войну!».

Как будто это возможно. Как будто кому-то посильно — схватиться руками за разогнанное паровозное колесо.

Помойные слюнявые социалистики с мелкобуржуазной червоточинкой, чтобы захватить массы, станут болтать *за мир* и даже *против аннексий*. И всем покажется, что это натурально: против войны — так значит «за мир»?.. По ним-то первым и придётся ударить.

* В каждого русского — стреляй!

Кто из них имеет зрение увидеть, имеет волю переступить в это великое решение: *не останавливать* войну — но *разгонять* её! но — переносить её! — *в свою собственную страну!*

Не будем прямо говорить «мы за войну» — но мы з а неё.

Тупоумный предательский лозунг «мира»! Для чего же пустышка никому не нужного «мира», если не превращать его тотчас в г р а ж д а н с к у ю в о й н у и притом б е с п о щ а д н у ю?! Да как *предателя* надо клеймить всякого, кто н е выступит за гражданскую войну!

Самое главное — трезво схватить расстановку сил, трезво понять — *кто теперь кому союзник?* Не с поповской глупостью вздымать рукава между фронтов. Но увидеть в Германии с самого начала — не равно-империалистическую страну, а — могучего союзника. Чтобы делать революцию, нужны ружья, нужны полки́, нужны деньги, и надо искать, к т о заинтересован дать их нам? И надо искать пути переговоров, тайно удостовериться: если в России возникнут трудности и она станет просить о мире — есть ли гарантия, что Германия не пойдёт на переговоры, не покинет русских революционеров на произвол судьбы?

Германия! Что за сила! Какое оружие! И какая решительность — решительность удара через Бельгию! Не опасаются, кто и как заскулит. Только так и бить, если начал бить! И решительность комендантских приказов — вот уж, не пахнет русской размазнёй. (И даже та решительность, с какой хватают русских социал-демократов. Тем более — с которой освобождают их.)

Германия — безусловно выиграет эту войну. Итак — она лучший и естественный союзник против царя.

А-а, попался хищный стервятник с герба! — схвачена лапа, не выдернешь! Сам ты выбрал эту войну! Об-корнать теперь тебя — до Киева! до Харькова! до Риги! Вышибить дух великодержавный, чтоб ты подох! Только и способен давить других, ни на что больше! Ампутировать Россию кругом. Польше, Финляндии — отделение! Прибалтийскому краю — отделение! Украине — отделение! Кавказу — отделение! Чтоб ты подох!..

Площадь загудела, нахлынула сюда, к перронной решётке, дальше не пускала полиция. Что это? Подошёл поезд. Поезд раненых. Может быть, первый поезд, из первой крупной битвы. Толпу раздвигали — для вереницы ожидающих санитарных карет и автомобилей, чтобы где развернуться им. Здоровенные нахмуренные санитары быстро выдавали от поезда к каретам носилки за носилками. А женщины напирали, продирались со всех сторон, и между головами и через плечи смотрели с жадным страхом на кусочки серых лиц между бинтами и простынями, ужасаясь угадать своего. Иногда раздавались вопли — узнавания или ошибки, и толпа сильней сжималась и пульсировала как одно.

С возвышения, где сидели Ульяновы, было видно хоть издали, но хорошо. И ещё из этого положения Ленин встал и пошёл к парапету ближе.

С каретами и носилками была нехватка, а тем временем, поддерживаемые сёстрами милосердия, выходили с перрона и на своих ногах — фигуры белые, в серых халатах и в синих шинелях, перебинтованные толсто по головам, по шеям, по плечам и рукам, и двигались, кто осторожнее, кто смелей,— и вот уже к ним, теперь к ним уже! бросались встречающие, теснилась толпа, и тоже кричали, режуще и радостно, и обнимали, и целовали, то ли своих, то ли чужих, отбирали от сестёр, подносили их мешочки,— а ещё выше, над всеми головами, плыли к раненым из вокзального ресторана на поднятых мужских руках — кружки пива под белыми шапками и в белых тарелках жаркое.

У парапета стоял освежённый, возбуждённый, в чёрном котелке, с неподстриженной рыжей бородкой, с бровями, изломанными в наблюдении, с острыми щупкими глазами, и одна рука тоже выставлялась с пальцами, скрюченными вверх, как поддерживая большую кружку, а на горле его глоталось и дрожало, будто иссох он в окопах без этой кружки. Глаза его смотрели колко, то чуть сжимаясь, то разжимаясь, выхватывая из этой сцены всё, что имело развитие.

Просветлялась в динамичном уме радостная догадка — из самых сильных, стремительных и безошибочных решений за всю жизнь! Воспаряется типографский запах от газетных страниц, воспаряется кровяной и лекарственный запах от площади — и как с орлиного полёта вдруг услеживаешь эту маленькую единственную золотистую ящерку истины, и заколачивается сердце, и орлино руха-

ешься за ней, выхватываешь её за дрожащий хвост у последней каменной щели — и назад, и назад, назад и вверх разворачиваешь её как ленту, как полотнище с лозунгом: ...ПРЕВРАТИТЬ В ГРАЖДАНСКУЮ!..— и на этой войне, и на этой войне — погибнут все правительства Европы!!!

Он стоял у парапета, возвышенный над площадью, с поднятою рукою — как уже место для речи заняв, да не решаясь её начать.

Ежедневно, ежечасно, в каждом месте — гневно, бескомпромиссно *протестовать* против этой войны! Но! —

(имманентная диалектика:) желать ей — продолжаться! помогать ей — не прекращаться! затягиваться и *превращаться*! Т а к у ю войну — не сротозейничать, не пропустить!

Это — подарок истории, такая война!

23

(Обзор по 13 августа)

На что не простягало воронье смельство генерала Жилинского — охватывать в Пруссии больше, чем угол Мазурских озёр,— то, глянув на карту, мог бы понять германский гимназист: уязвимость русскому удару целиком всего восточно-прусского рукавчика, выставленного к востоку и под мышкой подхваченного Царством Польским. Сам собою предвиделся русский замысел: Пруссию будут ампутировать. С востока, от Немана, куда германская армия всё равно не решилась бы наступать, удлинять свою уязвимую руку,— русские выставят слабый заслон, отвлекающие силы. А главные водожмут под мышку, от Нарева, и ударят на север.

Если б это была не своя земля, далеко от Германии, при таком невыгодном расположении её можно было бы уступить пока. Но — корень Тевтонского ордена и колыбель прусских королей — она должна была быть удержана при любых невыгодностях.

Во время ежегодных военных игр будущая ситуация уже не раз проверялась германским командованием, и был отработан энергичный контрманёвр: по множеству шоссейных и железных дорог, для того благовременно сгущённых, в двое-трое суток ускользнуть из мешка и успеть сильно ударить по флангу главной вражеской группировки, ошеломив её, смяв, а иногда и окружив.

Правда, после японской войны уже не опасались так, и в инструкциях стояло: «Не следует ожидать от русского командования ни быстрого использования благоприятной обстановки, ни быстрого точного выполнения манёвра. Передвижения русских войск крайне медленны, велики препятствия при издании, передаче и выполнении приказов. На русском фронте можно разрешить себе манёвры, каких нельзя с другим противником».

Но даже и при такой оценке русские действия в августе 1914 изумили! С востока двинулся никак не отвлекающий заслон — до восьми пехотных дивизий и пять кавалерийских, средь них — гвардейские, цвет Петербурга. А с юга в эти самые дни русские вообще границы не перешли.

Коварная загадка! Почему русские армии действовали разновременно? почему южная не свешила опередить восточную в темпе и нанести охватывающий удар? Надо ли было истолковать это как стратегическую новинку русских: вместо модных теорий охвата — простое выталкивание, вышибание, что очевидно выражает собой бесхитростный русский национальный характер (das russische Gemüt)?

Ну что ж, ударить пока по неманской армии Ренненкампфа! И как можно быстрей, затяжные действия могут оказаться губительными. Командующий прусской армией генерал Притвиц бросил почти все свои силы в восточную оконечность Пруссии. И была бы верная победа: Ренненкампф, при всей своей бездействующей кавалерии, настолько не ведал о сближении с противником, что на день наступившего боя, 7 августа, назначил всей армии *дневку*, и кавалерия его не дралась, а каждая пехотная дивизия — сама по себе. И всё же в тот день наказаны были германцы за пренебрежение к врагу: инструкция их, перечисляя пороки русского командования, упустила напомнить стойкость русской пехоты и отличный стрелковый огонь,— японская война не впустую была проиграна. Армия Притвица под Гумбиненом, несмотря на двойное превосходство в артиллерии, была рассечена, а бой потерян.

В вечер того тяжёлого дня доложили Притвицу, что авиаторами замечены и с юга большие колонны русских. Даже бы и выиграв бой под Гумбиненом, теперь требовалось мгновенно откатиться, оторваться от Ренненкампфа. Проиграв же Гумбинен, склонялся Притвиц и вовсе уйти за Вислу, уступить Восточную Пруссию.

Но отрыв прошёл очень гладко, германцы маневрировали так, будто восточной русской

армии вообще не было: тем же вечером отошли в тыл, за ночь разрыв уже равнялся дневному переходу, затем без глаза русской авиации погружались и уезжали в другой конец Пруссии. Для наблюдения за армией Ренненкампфа оставили всего одну кавалерийскую дивизию и слабую ландверную пехоту. Весь следующий за боем день 8-го августа, и 9-го, и даже утром 10-го Ренненкампф — вторая поразительная русская загадка! — не стремился догонять, топтать и уничтожать противника, захватывать пространство, дороги и города,— но с т о я л, давая создаться разрыву в 60 километров, после чего двинулся с величайшей осторожностью.

Удачно уведя от Ренненкампфа за сутки три своих корпуса, Притвиц решил не уходить за Вислу, а перегруппироваться назад направо и ударить по левому флангу подходящей с юга самсоновской армии. Ибо — третья русская загадка! — южная русская армия, ежедневно подробно наблюдаемая с воздуха, не старалась ни расщупать противостоящий ей корпус Шольца, загородивший Пруссию как бы косо поставленным щитом, ни охватить его, ни даже ударить в лоб,— а уверенно двигалась наискосок в пустое пространство м и м о Шольца, подставляя ему свой бок.

Однако самим же Притвицем накануне посланное наверх предположение и волна тревоги в Берлине от беженских потоков из Пруссии раскачивали своё. 9 августа в германской Ставке решили: Притвица сместить. Новым начальником штаба прусской армии был назначен свеже прославленный в Бельгии 49-летний Людендорф: «Быть может, вы ещё спасёте наше положение, предотвратите самое худшее». Вечером 9-го он уже принят Вильгельмом, получил орден за взятие Льежа, в ночь на 10-е в экстренном поезде из Кобленца на восток уже сошёлся с новым командующим армией Гинденбургом, 67-летним ворчливым отставным генералом, на манёврах бывало критиковавшим распоряжения императора Вильгельма, а теперь взятым из отставки. Но из поезда вперёд посланный их приказ перегруппировывает армию так, как без них делает уже и Притвиц. (Единая техника военной мысли, поголовно воспитанная в немецких военачальниках по завету Мольтке-старшего: гениальный полководец есть случайность, участь народа не может зависеть от такой случайности; посредством же военной науки победоносная стратегия должна осуществляться и средними людьми.)

Хотя миру извне вырисовывалось поражение немцев в Пруссии, но в Париже, под неотвратимым прорывом немецкой мощи с севера, французское министерство иностранных дел, поддаваясь то ли собственной панической выдумке, то ли чьей-то мистификации, 11-го августа дало истерическую телеграмму своему послу в Петербурге, что «по сведениям из самого верного источника» немцы сняли два действующих корпуса из Пруссии во Францию — а потому снова настаивать на неотложном наступлении русских на Берлин. На самом же деле германская Ставка 11-го августа действительно сняла два действующих корпуса — резервный гвардейский и 11-й армейский — но именно с Марнской битвы, с заходящего на Париж правого крыла,— и в Пруссию. Это тяжёлое решение генерал граф Мольтке-младший принял после известия о вчерашнем поражении под Орлау. К поражению под Гумбиненом это был уже нестерпимый довесок, Германия не могла отдавать Пруссию ни даже на время. А по великому плану Шлиффена именно в правом крыле и была вся сила битвы за Париж, чтобы разделаться с французами за первые 40 дней войны. (После «чуда на Марне» уволен и Мольтке.) Так затерявшимся в истории боем никем не прославленного корпусного генерала Мартоса был сорван захват Парижа немцами — а тем самым и вся война.

Тем временем русские закинули немцам и четвёртую загадку: незашифрованные радиограммы! То и дело подносили приехавшему Людендорфу и даже в пути нагоняли его автомобиль другим автомобилем и передавали — перехваченные русские радиограммы: между штабом Второй армии и штабами корпусов, и от Первой армии тоже десяток радиограмм за 11 августа, с указанием точного расположения русских корпусов, их задач и намерений и степени их тёмного незнания о противнике, а утром 12-го и полную радиограмму обо всей дислокации Второй армии! И уже ясно стало, что Первая не помешает бить Вторую.

Да не для обмана ли всё это выставлялось? Нет, стекались в одно и донесения авиаторов, оставленных лазутчиков, добровольных военных обществ, телефонные звонки жителей. Во всей военной истории — бывала ли такая открытая карта? такая ясность о противнике? Сложная война по озёрной стране, загороженной лесами двадцатиметровых сосен, стала для германцев проста, как занятия на учебном полигоне.

И все четыре загадки разгадывались едино: русские не умеют согласовывать движения больших масс. А потому: можно рискнуть охват фланга заменить *о к р у ж е н и е м*! Карта стонала, карта просила, карта сама показывала, как можно прочертить Канны XX века.

Был соблазн охватить всю самсоновскую армию, да слишком она разбросалась, не могло достать германских сил. Решено было поэтому лишь оттолкнуть крайние корпуса от Уздау и от Бишофсбурга и так открыть проходы для вставки клешней. Для того уже пятый день перестраивались германские войска. Корпус генерала Франсуа поездами перебрасывался через всю Пруссию по диагонали. А корпуса Макензена и фон-Бёлова (о которых донёс Ренненкампф, что они разгромлены и остатки их укрылись в Кёнигсберге) нормальными переходами покрыли 80 километров, спокойной днёвкой привели себя в порядок и утром 13-го августа ошеломили беспечно выдвинутую комаровскую дивизию.

Это был тот день 13-го августа, когда Самсонов перевозил наконец свой штаб в Найденбург и пились там тосты за взятие Берлина под остриём уже прорезанной стрелки-клешни и под близкий грохот семикратно превосходной немецкой артиллерии под Мюленом против дивизии Мингина. Тот день, когда корпус Мартоса, гонимый мимо Шольца, но всё более цепляясь за него, всё более поворачивался на него и отважно и с большим успехом его теснил. Тот самый день, когда корпус Клюева, ни о каком противнике не зная-не ведая, гнал по пескам на пустой север — в ловушку, в волчью яму, невозвратные вёрсты гнал, за каждую из которых придётся платить батальонами. Тот самый день 13 августа, когда русская Ставка уже разрабатывала план, как забирать Ренненкампфа из завоёванной Восточной Пруссии, а Жилинский давал Ренненкампфу телеграмму: считать главной целью обложение крепости Кёнигсберг (где укрылись ландштурмисты-старички) и прижатие немцев (где не было их) к морю, чтобы не допустить до Вислы (куда они не шли).

И всё же прусскому командованию не показался этот день усвенным. Уже то было неудачно, что за сутки не перехватилось ни одной новой открытой русской радиограммы, и расположения русских, недавно такие ясные, стали взмучиваться и смешиваться от многих неизвестных движений.

Хотя и разгромив комаровскую дивизию, корпуса Макензена и фон-Бёлова наступали близ озера Дидей с осторожностью, приобретенной под Гумбиненом, и эта осторожность оправдала себя: у станции Ротфлис вечером 13-го русские оказали стойкое сопротивление, видимо немалыми силами. (Нужно было наступить утру 14-го, чтобы германские авиаторы обнаружили корпус Благовещенского в таком отходе и расстройстве, каких невозможно было предположить накануне.) А стоянье насмерть двух русских полков южнее Мюлена затемнило Гинденбургу, что на этом участке уже сквозит нужная щель, и написал он в приказе, что там у русских побольше корпуса. Не видя этой готовой щели, пробивали её под Уздау.

Концы толстых охватывающих стрелок изнывали перед рывком.

Ложилась ещё и тень Провидения (Vorsehung) на ту самую мюленскую укреплённую линию, на те самые озёрные скалы и полутысячелетние ели хранящей и хранимой родной земли, где оголтело, обнажённо наступала сейчас русская Вторая армия: именно сюда в 1410 году пришли соединённые славянские силы и под деревушкою Танненберг, между Хохенштейном и Уздау, нанесли разгром Тевтонскому ордену.

Через полтысячи лет роково сложилось так, что могла Германия исполнить суд возмездия (das Strafgericht).

24

И никакой прирождённый нам дар не приносит радостей сплошь, непременно и огорчения. Но мучительно быть из ряду талантливым — офицеру. Восторженно служит армия блещущему таланту, но когда уже схватит он маршальский жезл. А прежде, пока он к этому жезлу тянется, она бьёт и бьёт его по рукам. Дисциплина, основа армии, всегда против восходящего таланта, и всё, что роится в нём и разрывает его,— должно быть сковано, согласовано, подчинено. Всем, кто пока поставлен выше него, невыносимо иметь такого своевольного подчинённого. И оттого продвигается он не быстрее посредственностей, а медленнее.

В 1903 году приезжал генерал фон-Франсуа в Восточную Пруссию начальником штаба корпуса. И через десять лет, сам уже под шестьдесят, назначен был сюда же — всего лишь командиром корпуса, правда — лучшего в германской армии.

В 1903 году граф фон-Шлиффен проводил здесь штабную поездку-игру, и Франсуа был назначен командующим одной из «русских» армий. Как раз на нём и показал Шлиффен свой двусторонний охват. В отчёте записали: «русская армия под угрозой окружения с фланга и тыла сложила оружие». Франсуа возразил задиристо: «Exzellenz! До тех пор, пока армией командую я,— она оружия не сложит!!» Шлиффен усмехнулся и приписал: «Осознав безвыходность положения своей армии, *её командующий искал смерти на передовой и нашёл её там*».

Как на подлинной войне, собственно, не бывает.

Как, впрочем, генерал Герман фон-Франсуа был готов бы, при позоре. Гугенотский род Франсуа в стране, приютившей его, не видел случайного крова. Род Франсуа привык знать одну родину и служить ей одной — и прадед Франсуа

заслужил германское дворянство ещё когда во Франции на дворян не завели гильотины. Отец Франсуа, тоже генерал, смертельно раненный французами в 1870 году, воскликнул: «Я рад умереть в такую минуту — кажется, Германия побеждает!»

В 1913 году Франсуа застал войска Восточной Пруссии с задачею «уступающей обороны»: перед превосходящим противником отступать с боями. Но это был неправильно понятый план покойного Шлиффена! Оборона на Восточном фронте в общем, пока не освободятся немецкие войска с Запада, совсем не означала отступления как тактики на каждом участке. Сравнивая немецкий и русский характеры, Франсуа находил, что наступление и быстрота — в духе немецкого солдата и его военного воспитания, отличия же русского характера: отвращение к любой методичной работе; отсутствие чувства долга; боязнь ответственности; и полная неспособность ценить и плотно использовать время. Отсюда для русских генералов вытекали: вялость, склонность действовать по схеме, тяга к покою и удобству. Поэтому Франсуа избрал для себя в Пруссии — вести оборону наступательным образом: где бы ни появлялись русские, нападать на них первому.

Когда началась Великая война (великая — для Германии, и великая, долгожданная для Франсуа, ибо теперь-то и выпадала ему единственная возможность показать себя первым полководцем страны, а может быть и Европы), Франсуа рассчитывал использовать быстроту немецкой мобилизации и, как только его корпус будет боеспособным,— пересечь границу и атаковать скопление частей Ренненкампфа на их медлительной формировке. Но тут-то и сказалось, что даже германская армия не может принять и признать слишком динамичный талант. Притвиц запретил план Франсуа: «Надо примириться и пожертвовать частью этой провинции» (Пруссии). Франсуа согласиться не мог: самовольно дал бой под Сталупененом, ход которого считал успешным, но в разгаре подъехал автомобиль с приказом Притвица: прекратить бой и отступать к Гумбинену. У армии могли быть свои планы, но у корпусного командира были свои! — и Франсуа ответил курьеру громко, при офицерах: «Доложите генералу фон-Притвицу, что генерал фон-Франсуа прекратит бой тогда, когда русские будут разбиты!» Увы, разбиты не были они, и свой же начальник штаба донёс на него в штаб армии. Вечером Франсуа давал объяснения, Притвиц доложил непосредственно императору о непослушании Франсуа, а Франсуа — непосредственно же императору, что с *этим* начальником штаба корпуса он воевать не будет! То был риск, кайзеру был повод разгневаться и самого Франсуа снять с корпуса, по многим жалобам он и без того считал генерала «слишком самостоятельной натурой»,— однако и терпеть неприязненного начальника штаба не было бы чертой выдающегося полководца!

Как ни глуши и ни отрекайся, а сидел-таки в нём, наверно, неугомонный француз.

Но при сепаратности от высшего командования нельзя было отказать себе в равновесии справедливости: каждый шаг свой и каждый конфликт необходимо было тут же объяснять Истории и потомкам, вряд ли кто это выполнит за тебя, если не позаботишься. И вот, не по возрасту вёрткий и лёгкий, воюя подвижно, со вкусом, взлезая и на колокольни для наблюдения, распоряжаясь и разгрузкою снарядов под картечью (может и без него б разгрузили), успевая в каждое место боя на автомобиле, чтоб обстановка не расходилась с приказом, иногда проглотив за день лишь чашку какао (это — для мемуаров, бывал и бифштекс) и спя по дватри часа в ночь,— Франсуа не упускал следить, чтобы каждое его решение фиксировалось и объяснялось трижды: приказом вниз; донесеньем наверх; и подробным изложением для военного архива (а если будет жив — то в собственную книгу), изложением не только действий, но и намерений, не всегда разрешённых, как генерал хотел. До боёв такое изложение он сам писал, а с начала боёв, в одном из двух своих автомобилей постоянно возил при себе специальным адъютантом своего сына, лейтенанта, и тот вёл дневник генерала, на месте мгновенно запечатлевая все его соображения.

И всю линию своего поведения генерал тоже должен был сформулировать сам, этого никто не сделает за него лучшим слогом: просто ли следовать приказам, как это легче всего? Или ощутить в себе долг ответственности выше долга

прямого повиновения, не дать в себе подняться страху перед промахами, а против всех отговоров робких духом следовать инстинктивной угадке успеха?

В гумбиненском бою опять получился с Притвицем разрез. С первых же часов Франсуа считал этот бой крупной победой (так доносил Притвицу, и тот в Ставку), усиленно атаковал, обойдя фланг Ренненкампфа (критики утверждают, что атаковал в лоб, неправильно представляя группировку русских), захватил много пленных, вечером отдал приказ атаковать и на следующий день — и тут же получил приказ Притвица отступать в ночь беззвучно, всем корпусом,— и даже за Вислу.

Невыносимый случай: враз потерять всё сегодняшнее, достигнутое твоим талантом, из-за того, что рядом Макензен бился неудачно, покинуть и завтрашний успех, чуемый ноздрями, в распале правоты отменить свой правильный приказ и подчиниться неправильному!

Но в этом — армия. И ещё весь в музыкально-воинственном состоянии, с поля *своей* победы — он начал корпусом железнодорожную длинную рокировку через Кёнигсберг.

В этом — армия, но немецкая ещё и в другом: на следующий день комендатура телефонных линий, составляя звенья, ища Франсуа, соединила его малую точку с Кобленцем, и Его Величество император осведомился у генерала, как он рассматривает положение и считает ли правильной переброску своего корпуса?

То была высокая честь корпусному командиру (и явная отставка командующего армией). Но подвижный ум Франсуа не настаивал на своей чести и вчерашней упущенной правоте: правильное вчера, уже не было правильно сегодня. Как сказал Наполеон, не может быть полководцем генерал, рисующий перед собой картины. Уже начав отход, надо было продолжать его до конца. Отдав поле неманской армии, свою исключительность теперь доказывать уже против наревской.

И где-то тут неухватимо, между телефонными разговорами, курьерскими поездами, встречею в новом штабе с новыми командующими (все старые знакомые, в корпусе Гинденбурга и был Франсуа когда-то начальником штаба, а Людендорф, моложе Франсуа на 9 лет, был когда-то в генеральном штабе его подчинённым, а вот уже вознёсся),— где-то тут назревала идея: «наревской армии — двойной охват!» — и каждый из троих чувствовал себя автором её (и ещё предстоит потом доказать Истории, что автор и исполнитель — ты).

Вечером 11 августа (как раз когда Воротынцев появился в дремлющем остроленском штабе) — генерал Франсуа уже близ места разгрузки первых приходящих своих поездов против левого фланга Самсонова, сидел в отеле «Кронпринц» и писал приказ по корпусу:

«...Блистательные победы, которые одержал наш корпус под Сталупененом и Гумбиненом, побудили Верховное командование перебросить вас, солдаты 1-го армейского корпуса, по железной дороге сюда, чтобы вы своей непобедимой храбростью сразили бы и этого нового врага, пришедшего из русской Польши. Когда мы уничтожим этого противника, мы вернёмся в прежнее наше расположение и рассчитаемся с русскими ордами, сжигающими там, вопреки законам международного права, наши родные города...»

Предвидя точно этот неумолимый возврат, Франсуа писал в западном нижнем углу Пруссии — а ещё грузились его части в восточном верхнем углу под Кёнигсбергом, и черезо всю Пруссию с края до края гремели частые поезда. За полусуточную заминкой это было из немецких чудес: каждые полчаса, днём и ночью, шёл воинский поезд, и даже немецкие железнодорожные правила утратили свою обязательность: воинские поезда на открытых перегонах подходили вплотную друг ко другу; они занимали пути, пренебрегая красными семафорами, и разгружались на специальных военных платформах вместо двух часов за двадцать пять минут. По запросу Франсуа поезда подходили к самому полю предстоящего боя, и батальонам оставалось только размяться километров пять.

Но и этого чуда не могли оценить тяжелолицые — Гинденбург и Людендорф. Они приехали на командный пункт Франсуа, когда почти вся его артиллерия ещё была в пути — и потребовали начать жадно ожидаемое наступление.

Глаза Франсуа (он сам этого не знал и не хотел) были постоянно уставлены насмешисто:

— Если будет приказ, я начну. Но солдатам придётся сражаться... неудобно сказать... штыком.

Это русским простительно твердить: штык молодец, пуля дура и, очевидно, тем более дурак снаряд. Ученикам же Шлиффена полагалось бы понимать, что наступила война орудийная, и успех будет за тем, у кого перевес артиллерийского огня. В приказах солдатам можно писать о непобедимой храбрости, самим же — подсчитывать батареи и снаряды.

О, почему подчинённость всегда идёт обратно степени таланта?! Франсуа изнывал, вынужденный созерцать в метре от себя и выше себя эти два *волевых* раздавшихся лица, поставленные посредством толстых негибких шей на плотные туловища. Людендорф ещё не так отвердел челюстью и не так омертвел взглядом, но уже сильно напоминал своего командующего. А лицо Гинденбурга было точно прямоугольно, тяжелы и грубы все черты, грузны подглазные мешки, нос без высоты, как под тяжестью прогнулись усы, уши срослись с защечьями. Этим двум пинцгауэрам — разве доступны или хотя бы ведомы были импульсы интуиции и риска?

(Упуская мысленно с ними перемениться, забывал Франсуа посмотреть от них на себя: что за курц-рост — не по генеральскому чину? что за быстроглазие не по возрасту? и главное — дурная привычка выскакивать, обскакивать, перепрыгивать?)

Вот и сейчас: г д е наступать? Франсуа не слушает, где ему указывают, он предлагает своё: в один котёл со всей самсоновской армией валить и русский 1-й корпус. И спорит! — проспорили час. Запрещено. Велят ему русский 1-й корпус — отталкивать, а охватывать ядро армии без него. А к о г д а наступать? — еле выторговал Франсуа полдня отсрочки с рассвета до полудня 13 августа.

Не там и не тогда, как хотел, он начал в первый день вяло, больше для отчёта, потеснил передовые русские заставы — и стали русские полки на хорошо видимые позиции по возвышенностям: от мельничного холма — через Уздау — и вдоль железнодорожной насыпи. Через Уздау и предстояло 14 августа открыть дорогу на Найденбург.

С заходом солнца предварительный бой смолк. За ночь вся остальная артиллерия должна была подойти и стать на позиции — такие калибры и такая густота снарядов, какой русские ещё не испытывали никогда. Завтра в четыре утра он, генерал Франсуа, начнёт большое армейское сражение.

— А если русские начнут ночью первые, мой генерал? — спросил сын, ещё записывая при ночном фонарике.

Это — на сеннике было, генерал брезговал спать в доме, где похозяйничали русские. Спрятав заведенный будильник под изголовье, он до предела вытянул короткие ноги без сапог, хрустнул костями и с улыбкой зевоты ответил:

— Запомни, мальчик: русские никогда не могут сами двинуться раньше обеда.

* * * * * *

Con moto

Запевала: *Немец белены объелся,*
Драться в кулаки полез!

Хор: *Фу ты, ну ты, фу ты, ну ты,*
Драться в кулаки полез.

Запевала: *А ведёт их войско важно*
К нам усатый Васька-кот!

Хор: *Фу ты, ну ты, фу ты, ну ты,*
К нам усатый Васька-кот!

(«Русская солдатская песня 1914 года», почтовая открытка с нотами, марш наших героев с барабаном и жалкий кот Вильгельм.)

Продолжение следует

ДЕКАБРЬСКАЯ ТЕТРАДЬ

АРМЕНИЯ. 7 декабря 1988 года

Небо разверзлось. Земля распласталась.
Сбился кустарник в летящую стаю.
Господи, что мне на свете осталось?
Нитку дороги в клубок замотаю.
Руки подставлю под ливень осколков
И, черепок к черепку подбирая,
То бормоча, то крича, то умолкнув,
Склею сосуд для грядущего рая.
Как тебе спится в земле ереванской,
В знойном сухом перевернутом крае?
Не потревожу ни словом, ни лаской,
Оберегу от вороньего грая,
Воя собачьего, крика безумья,
В столпотворенье с мечтою о быте
Бережно черные звенья связуя
Длинной разорванной цепи событий.
Александрополь — записано было
В метрике мальчика. Ехал в столицу
С грузом негрузным душевного пыла.
Шел на Голгофу. А думал — учиться.
Александрополь — обломки, осколки.
Как размолола твой город стихия!
Блюдце, упавшее с узенькой полки,
Не разобьется на крошки такие!
Ты не узнал. Не увидел. Не дожил.
Смерть это смерть. А безумье кромешно.
Что это? Что это? Слезы иль дождик?
Блестки колючие осыпи млечной.

* * *

Манна с небес — да и та во скитаньях наскучит.
Обетованной земли не найдешь на кровавой планете.
Зной ли пустынный, полярный ли холод трескучий,
Блеск ли Содома с Гоморрой в неоновом свете —
Голову где приклоню и за чьею спиною
Скорбь за улыбкою прятать учусь принужденной?
Грех мой великий до гроба пребудет со мною.
Я отойду. Он окрепнет — не мною рожденный.
Горьким питьем угощала бездушная стража
Сына, которому голени не перебила.
От обгорелого мира — липучая сажа...
Помню, я здесь молодая была и любила
Крепкое тело, и клевер медовый, и воду —
Воду живую в прозрачных ладонях держала.
— Я искупаю грехи,— он поведал народу.
Тот не услышал. Толпа исступленная ржала.
Не искупил. И на долю мою оказалось
Больше, чем можно снести до последнего края...

Надежда Михайловна Полякова — советский поэт. Печатается с 1940 года. Первая книга стихов — «Право на счастье» — вышла в 1955 году. За ней в разные годы последовали многие другие. Том «Избранного» увидел свет в 1989-м. Живет в Ленинграде.

Пять лепестков обнажили упругую завязь —
Будущий плод, как причину изгнанья из рая.
Рай — это если пчела в золотистой утробе,
В плоти цветочной, что ждет продолжения вида.
Ловкой подделкой была плащаница во гробе.
Мельче обман — значит, меньшая будет обида.
С верой слепой заучили святые каноны.
Странники жизни сбиваются в серые стаи.
Высохших сосен я слышу земные поклоны,
Будто у странников стонут ночами суставы.

* * *

Век на пепле и поте замешен,
На крови и на горечи слез.
«Бросьте камень в нее, кто не грешен»,—
Тихо вымолвил людям Христос.
Кто не грешен? — забыли вопрос.
Но бросающий камень утешен
Однодневной своей правотой.

Жизнь одна и не будет второй.
Ложь и правда слились меж собою.
Счастлив гордый своей правотою,
Слепо шедший «за дело святое»,
Упоенный своей слепотой.

Время камни разбрасывать. Время
Собирать их. Бросать во врага.
Как Давид, выходить перед всеми
На четыре гигантских шага.
Как прекрасно открытое тело,
Для которого врах и тщета —
Налокотники, кожа щита,
Что от крови людской затвердела.

Жизнь одна и не будет второй.

А дороги неисповедимы.
А грехи наши неизмеримы.
А грехи наши неискупимы
Перед ставшими пылью земной.

* * *

Играть всю жизнь? Устала от игры.
От слов и смысла, что лежит под ними.
От яркой карнавальной мишуры,
Меняющей название и имя.
Открой лицо. Откинь тяжелый плащ.
Дорогу может одолеть идущий.
Кричит мой век: Спасите наши души!
И ревом рока забивает плач.

Не до игры, мой друг. Не до игры.
Не до интриг. Не до дворцовых сплетен.
Раскидывают бары и дворы
Своих соблазнов золотые сети.

И библию толкуют чудаки,
Как будто ищут истину спасенья.
Но общего не будет воскресенья,
И коршуны не станут есть с руки.

* * *

Когда и друг предаст, и отвернется бог,
И плоская земля начнет волчком крутиться
Затем, чтобы в одно слились чужие лица
И все пути слились в один тугой клубок,

В какой узор вплетешь оборванную нить
И чем продлишь ее, каким окрасишь цветом?
И, может, не мирясь с оборванным сюжетом,
Надумаешь еще хоть чем-то одарить?

Так обращаемся к обманчивой судьбе,
Сюжеты сочинять великой мастерице,
Попробовавшей нас на роль десятой спицы
В том, третьем, колесе, прикрученном к арбе.

«И я бы мог, как тут...» А может быть, «как шут...»
Могли и мы сказать, взглянув в иное время,
Дамокловым мечом висевшее над всеми,
Решавшее судьбу за несколько минут.

* * *

Дождем и ветром апрехлест
Простор истерзан, время стерто.
Пейзажа или натюрморта
Ждет на мольберте грубый холст?

Где кисть твоя, авангардист?
Гордись! Неповторимость дали
Потребует тяжелой дани,
И ты, как проклятый, трудись!

И кто б тебя ни привечал,
Не клюй на легкую приманку.
Как с мыльной пеною лоханку,
Шторм нынче море раскачал!

Что? Низкий слог? Помилуй бог!
Прощай, свободная стихия!
Дай губы освежить сухие,—
Скажу и рухну на порог.

А где художник? Кто же он?
Свидетель тьмы? Даритель света?
Не докопаться до ответа
Пришельцу из других времен.

Как призрак мертвых площадей,
Концы связуя и начала,
Мир оглушив, всю ночь кричала
Мать, потерявшая детей.

* * *

И берег пуст, и вода мертва
В реке, омывавшей мои слова,
В реке, освежавшей мои уста,
Когда в ней влага была чиста.

Там скит стоит, колыбель стихов,
Во искупленье моих грехов:
Не я ли убила реку, траву,
Птиц на лету, рыб на плаву?

Не я ли сгубила сосновый лес?
Не я ль задымила простор небес?
Не я ль взяла над землею власть —
Земля болотами заволоклась?

Не моей ли волей туманы густы,
Мосты обвалились, избы пусты?
И молча мой обветшалый скит
Подслеповато на мир глядит.

Я здесь живу и молюсь за всех.
Прости безрассудства тяжелый грех,
Дай смелость рабам, дай покой гробам.
Поцелуй воды подари губам.

Рождается слов колокольная медь
Затем, чтоб не все погибало впредь,
Чтоб душа сохранилась и разум не гас
У тех, кто останется после нас.

* * *

По теплому полу хожу по утрам босиком.
Здесь светлые стены и ярче зари занавески.
Пора отчужденья, когда поздороваться не с кем
Не то чтобы за руку — легким и беглым кивком.

Мы замкнуты в сотах тщеславных забот, и глядит
Собрат на собрата, как враг на врага, исподлобья.
Все знают друг друга давно и довольно подробно,
Но каждый свою нераскрытую тайну таит.

Строчит от руки, на прокатной машинке стучит,
Берет из метели, из серого неба сюжеты.
И щурится Муза от яркого резкого света.
У Музы без грима усталый измученный вид.

Как ей удается утешить вниманьем своим
Собратьев моих, кто теряет последние силы.
А я перебьюсь, я долги свои все заплатила.
— Пожалуйста, Муза, идите, идите к другим!

У них то простой, то затор, то житья не дают
Капризные жены, то слишком прожорливы дети.
То кажется им, что без них не вертеться планете
То строчечный панцирь они для сраженья куют.

Она убирает со лба серебристую прядь,
Подходит к столу, придвигает тяжелое кресло,
Движеньем руки предлагает привычное место,
На чистой странице мою раскрывает тетрадь.

Галина Гампер

* * *

Мое детство — стеклянный зверинец,
Боксы детских больниц напросвет.
Шоколадка, печенье — гостинец,
От домашних посильный привет.
Мать с бабулей — свекровь и невестка,
Два колодника, скованных мной.
Постоянные — месть и отместка
За всевидящей детской спиной.
Вот она, сквозь все детство забота
И любовь на разрыв — до конца,
И беспомощно зрячее фото
Не пришедшего с фронта отца.
Детство смутно, как утро спросонок,
Вечно длящейся полузимой.
Я, обритый больничный волчонок,
Никогда не хотела домой.

* * *

Две тетки мои, две блокадных вдовы,—
Святые, при полном неверии в Бога.
Стальные солдатики, только увы...
И благо, что вы не дождались итога,
Точнее сказать, сей кровавой межи
Меж временем вашей и нашей печали...
Вы, так не терпевшие всяческой лжи,
За правду тотальную ложь почитали.
Цинизм мой гасил своей кровью отец,
Мой ранний цинизм, полыхавший сверх
меры.
Я трудно взрослела, ваш дерзкий птенец,
Предатель и узник стальной вашей веры.

* * *

Вот и я прожила уж полвека при власти советской,
(Кстати, нас с ней роднит день рожденья и место рожденья) —
Ирреальная власть горемык, полоса отчужденья.
Мы, привыкшие к «без» —
без всего, а не то что без детской
Или спальной... нигде ни жиринки, нигде ни заначки —
Вот в чем нищая гордость родителей, нас воспитавших.
Нам ли в райские кущи из этих ноябрьских, опавших?
Аскетический шик не приемлет господней подачки.
Ну, а впрочем, и это лишь миф, мы, привыкшие к мифам,
Обживаемся в них, как в бреду заболевшие тифом.
О Господь, как же долго и как терпеливо больны мы.
Генетический сдвиг к новой формуле крови едва ли
Поправим. Хоть теперь и отменишь Ты вечные зимы,
Мерзлота в наших клетках навечно, как в добром подвале.

Галина Сергеевна Гампер — советский поэт. Начала печататься с 1952 года. Первая книга стихов — «Крыши» — вышла в 1965-м. За ней последовали другие. Живет в Ленинграде.

* * *

Я свиньям жизнь свою стравила,
псу под хвост
Она пошла, теперь пора поплакать.
Как желтый лист пошел сегодня в рост
В октябрьскую суглинистую слякоть.
Как упростилась жизнь ввиду конца,
А вомню, в затянувшемся начале,
От напряженья будто спав с лица,
И неопрятно, словно на вокзале,
Мы всё толкались и чего-то ждали.
Не дождались. И на исходе дня,
Где, будто ангел, желтый лист витает,
Я вижу: старость около меня
Пустеющим пространством нарастает.
Пустеет холм, пустеет дальний лес,
И пересох ручей до дна, до хруста...
Уехал, умер, изменил, исчез —
И свято место остается пусто.

* * *

Мы, привыкшие фигу в кармане держать,
И подтекст, будто камень, за пазухой
прятать.
О, как страшно, как странно нам губы
разжать.
И на старенькой «Оптиме» все напечатать.
Все как было, как есть, чтобы речью
прямой
Наша речь, наконец, называлась по праву.
Нам, отвыкшим от дома, вернуться домой.
Нам к любви возвратиться,
а не на расправу.

* * *

Я внутренней свободой ожила,
И солнце площадь моего стола
Облюбовало вдруг, невесть откуда
Проникшее в полуподвальный мрак,
Под кистью старых мастеров вот так —
Из общей тьмы всплывающее чудо
Лица и рук, их ирреальный свет...
Коль радость в бедах не сошла на нет,
А выжила, что может с ней сравниться —
К гнездовью возвратившаяся птица
И гордый разум, выдюживший бред!

* * *

Интриганы, интриганки,
Как мы все дружны по пьянке,
По общественным пенатам,
По кладбищенским квадратам.
Кто тут левый, кто тут правый.
— Господи, сочтемся славой.
Босиком пройдем по лугу.
Проплывем в струях нирваны.
Как подогнаны друг к другу
Совершенства и изъяны.

I

Корабль, с которого... вот родина моя,
Мне с ней тонуть, я к мысли привыкаю.
Не верую, но Богу потакаю,
Готовясь в безымянные края,
На пиршество гиен и мерзких щук;
А все-таки, а вдруг, на всякий случай —
Крещусь и плачу, и грехами мучусь,
И слышу «амен», и шепчу «каюк».
А все-таки, на всякий случай, вдруг...

II

Свершилось чудо, и, смертельный крен
Выравнивая, Родина всплывает...
Я знала, что такого не бывает.
Откуда бы созвездье Перемен,
Которого на звездной карте нет,
Которого и не должно быть, ибо...
Но вдруг вздохнула мертвенная глыба
Отечества... И нам забрезжил свет
Звезды сверхновой над колодцем стен,
И засмердел развороченный тлен.

Леонид Лиходеев

Семейный календарь, или Жизнь от конца до начала

Роман

39

В Зомбковицах, просматривая паспорта, угрюмый пожилой чиновник спросил Павла Кордина, почему он не возвращается в губернский город, а следует в Петербург. Юлия немедленно вступилась:

— Я полагаю, мой жених может сопровождать меня по маршруту, который мне удобен!

— Сударыня,— вяло сказал чиновник,— ваш жених может сопровождать вас по всем железным дорогам Российской империи. Но в Санкт-Петербурге сейчас двадцать градусов Реомюра. Ваш жених замерзнет.

— Мы позаботились об этом!

— Как вам угодно...

Они ехали из Кракова — молчали. Шутовство Адамского оберегало их от размышлений о предстоящем. Кто они? Молодожены? Жених и невеста? Бурная радость Юлии, когда Павел Кордин появился на Босацкой, была нервической, чрезмерной. Что произошло? Она называет его то мужем, то женихом, как будто защищается от чего-то. Но он сопровождает ее в Петербург. Значит, он привезет ее в дом. В качестве кого он ее привезет? Нет, лучше бы эта дорога никогда не кончалась.

Вагон Варшавско-Венской железной дороги, в который они пересели, был русским — диван снизу, диван сверху, поперек. Они вошли тихо, напуганно, в темную тишину купе, как дети входят в чулан, в котором живут привидения. Плюшевая реальность была опасной, она сковывала и отчуждала.

— Ты боишься? — шепотом спросил Павел Кордин и не узнал своего шепота.

— Боюсь... Нет, не боюсь... Не знаю...

Все, что было прежде, не шло в счет — будто все, что было прежде, происходило не с ними, будто какие-то иные молодые люди создавали друг друга в воображении, немного рисовались, серьезничали, умничали. Даже то, что она бросилась к нему со слезами, даже то, что назвала его мужем, не шло сейчас в счет.

Поезд дернулся, поехал, а они все молчали, как будто все слова, какие бывают, оказались вдруг неуместными. Она смотрела в окно, а он стоял за нею, опасаясь прикоснуться или даже приблизиться.

— Смотри! — вдруг закричала Юлия.— Какая смешная птица!

Он не увидел никакой птицы, он почувствовал легкость, даже блаженство избавления.

— Ю,— сказал он ей в затылок,— я здесь...

Она задернула шторы.

— Ты здесь, ты здесь, ты здесь! — повернулась она и порывисто обняла его. Он неловко подхватил ее на руки, но поезд дернулся, ударив Павла Кордина верхним диваном. Они рассмеялись. Теперь все слова были уместны.

— Это наше свадебное путешествие,— беззаботно сказала Юлия,— садись, мы сейчас все обсудим.

— Мне кажется, обсуждать это нужно с Наталией Александровной и Семеном Аркадьевичем...

— Ты ужасно старомоден! И — глуп! Возле Варшавского вокзала есть маленькая церковь. Мы там обвенчаемся и явимся на Васильевский. Что они нам скажут?

— Они нам скажут — здрасте.

— Вот видишь! Как ты стремительно поумнел! И они дадут за мною приданое.

— Ю, но мне не нужно твоего приданого.

— И мне не нужно!

Уголки ее губ приподняли щеки, глаза при этом сузились. Холодное, даже надменное лицо ее обладало пленительным свойством разогреваться вмиг. Она смотрела на Павла Кордина, восхищенная счастливой мыслью: зачем, к чему этот глупый фиктивный брак с каким-то неведомым товарищем, когда вот он — Павел, которого она любит! Она выйдет за Павла! И Павел распорядится ее капиталом!

— А ты сможешь распорядиться моим капиталом?

— Разумеется! Прежде всего я оплачу грехи своей молодости, а остальное, если что-нибудь останется,— проиграю в карты!

— А у тебя много грехов молодости? — глухо, ревниво спросила она.

— Ю, может быть, я выдумываю, но мне кажется, я любил тебя всегда... Даже когда ты была еще маленькой...

— А ты был смешной,— сказала она также глухо и ревниво,— и у тебя торчали уши. Сначала мне было смешно, что у тебя торчат уши, а потом — жалко.

Он прижал ничуть не торчавшие уши пальцами.

— Но ты меня не так часто видела...

— Достаточно один раз увидеть твои уши, чтобы запомнить их навсегда... Поцелуй меня...

Вагон, постукивая по стыкам, катился небыстро, будто отдаляя что-то важное, катился не торопясь. Послышался за дверью ленивый голос кондуктора:

— Господа — буфет... Господа — буфет...

Приближался Ченстохов.

— Подожди,— глухо, сквозь зубы сказала Юлия, и побелевшее было лицо ее порозовело решимостью.

Она стала раздеваться, не стесняясь, не смущаясь, как будто была в купе одна. Поезд остановился словно для того, чтобы не мешать ей. Она бросала на кресло снятое, обнажаясь. Солнце лучилось в щели штор, пылинки вертелись в лучах, а Юлия светилась, не соприкасаясь с тем, что было вокруг нее. Она была вне всего.

— Господа — буфет... Господа, буфет...

— Пардон, здесь — новобрачные...

— Ну! Буфет им не понадобится до Санкт-Петербурга!..

Она вмиг схватила простыню, накинула на себя, испуганно вернувшись в реальность. Испуг этот придал Павлу Кордину решимости. Он вскочил, обнял ее, усадил на диван и, отнимая простыню, которую она зачем-то придерживала, стал целовать самозабвенно, не отличая губами ни груди, ни шеи, ни лица. Она откинулась на спину, изнемогая от чего-то грозного, непреодолимого, а он не решался оторваться от нее. И тогда она застонала и непопадающей рукой сильно дернула его галстук, оторвав пуговицу...

40

Павел Кордин не принадлежал к числу тех людей, которые способны не верить своим глазам. Он видел ее лицо, знал, что это лицо его жены, и понимал, что жизнь его стала совершенно иной — небывалой, счастливой, немыслимой еще вчера. Но только сейчас, когда она дремала, прикрыв глаза заплетенной наспех косою (чтоб утреннее солнце не било в глаза), только сейчас, сидя в кресле и упиваясь тем, что она есть, что она — вот она,— он подумал о завтрашнем дне, когда они приедут в Петербург. Он никогда не был на Васильевском, никогда не считался женихом, никогда не воспринимался Бергами иначе, чем сын управляющего, если воспринимался ими вообще. Он любил ее, не задумываясь о браке, не предвидя его. Как же теперь будет на Васильевском?

— Павел,— позвала Юлия, снимая косу с глаз,— ты здесь?

Он привалился на колени и стал гладить ее лицом по животу, как точат бритву на оселке.

— Ю, Ю... Ай лав ю... Ю, Ю... Ай лав ю...

— Я тоже подумала о Мари...

Он приподнял голову, посмотрел ей в глаза.

— Я еще подумал о господине советнике и госпоже советнице...

— Не называй их так... Какое им дело?

— Я думаю, какое-то дело им все-таки есть...

Она тихо засмеялась.

Продолжение. См.: «Звезда», 1990, № 2.
Журнальный вариант. Нумерация глав сохранена авторская.

— Ты знаешь... Я хочу есть...
— Должен тебя огорчить, Ю, но я тебя покидал сегодня ночью.
— Как?! Уже?
— Увы! И вот результат моего набега на какую-то станцию: бутылка вина и цыпленок.
Она весело поднялась было, но он не дал ей встать.
— Павел... Но мне же... Павел, но я же лопну... Ты что? Бегал на станцию раздетым?
— Ю! Я тебя люблю! Поднимайся, если ты лопнешь, это будет ужасно...
Вагон стучал быстро, бодро, поезд катился к Петербургу, где возле Варшавского вокзала стоит маленькая церковь, в которой они обвенчаются и явятся на Васильевский мужем и женой. Но чем меньше верст оставалось до этой церкви, тем настороженнее становилась новобрачная.
— Ты не должен появляться на Васильевском,— вдруг сказала она,— я хочу приехать одна...
— Ю, послушай меня внимательно... Я могу сносить твои приказы, когда они касаются только меня одного, потому что я тебя люблю. Но все, что касается твоей чести, я буду делать, сообразуясь со своими понятиями.
— Ты говоришь, как папа! Чести, чести! При чем здесь честь?
— Ю, честь при всем... Я не знаю, что скажут господин советник и госпожа советница... Я догадываюсь, что они не будут в восторге от нашего брака... Но я еду просить твоей руки. А вот когда они откажут и если ты не разлюбишь меня, я подумаю, как действовать дальше...
— В таком случае можешь считать, что я тебя разлюбила! Мне нужно время, чтобы подумать! В конце концов, я еще молода для замужества!
— Добавь, что я не устроен и не смогу содержать жену...
— Папа даст тебе место!
— Но зачем, если ты меня не любишь?
— Ах да! Я забыла...
Они все-таки прибыли на Васильевский вдвоем. Церковь в переулке возле вокзала стояла настороженно. Был Великий пост, и их все равно не обвенчали бы. Но на Васильевском их ждала неожиданность. Берги находились на заводе. Поселок Марьино, выстроенный в знак трехсотлетия династии, был готов, Берги отбыли освящать его.
Просить руки было не у кого. Было решено, что Павел Кордин возвращается завтра же, а летом, когда он будет выпущен из своей Школы Политехничной,— они предстанут перед родительским благословением.

41

Павел Кордин уснул в маленьком нумере «Европейской» к утру, измаявшись от своих счастливых мечтаний. Через три, нет, два месяца Юдифь приедет в Австро-Венгрию. А как же Берг? Отдаст он руку своей наследницы инженеру, которому даже не предложил место на своем заводе? Павел Кордин вообразил некоторое смятение хладнокровного, высокомерного господина советника. Забавно! А Наталия Александровна? Должно быть, скажет, что Юдифь еще слишком молода. А может быть, не скажет?
Он проснулся от стука в дверь. Сейчас! Натянул штаны, накинул сюртучок, открыл. На пороге стоял китаец с деревянным неподвижным лицом и держал в руках волчий малахай.
Павел Кордин не успел удивиться китайцу, потому что китаец удивил его еще больше тем, что назвал по имени.
— Павла Михайловича шибко быстро нада... Хозяйна кушать будем «Астория»,— сказал китаец хрипловатым, но приятным голосом.
— Какой хозяин? Какая «Астория»? Что-то ты, братец, напутал.
— Сани садись, «Астория» едем, хозяйна Коршунова ожидай. Евграфа Люкичай.
— Коршунов? Какой Евграф Лукичай?
— Не знай Люкичай — шибко плохо,— сказал китаец,— знай — шибко харашо...
Павлу Кордину стало весело — он знал о чудачествах миллионщика Коршунова. Но зачем понадобился Коршунову он, Павел Кордин?
— Чего же он хочет, твой Лю-ки-чай?
— Разговор... Шибко быстро нада!..
Павел Кордин недоумевал. Он никогда не видел чудаковатого миллионщика — как-то не удавалось посмотреть. И вот — пожалуйста!
Китаец закутал его полостью — обернул, как предмет,— сел рядом с кучером. сани понеслись по просыпающемуся синему Невскому проспекту...
Седобородый (из-под бороды — медали) сановный швейцар, увидев китайца, поклонился Павлу Кордину:
— Пожалуйте-с...
Мальчик в каскетке открыл тяжелую, окованную металлическими цветами и листьями

дверь лифта, впустил, закрыл дверь, повел рычагом важно, будто паровозом управлял. Вез строго, горделиво. На китайца старался не смотреть. Но, выпуская на третьем этаже своих пассажиров, не удержался, спросил китайца полуголосом:
— Ходя! Соли надо?
— Маленький дурака,— ответил китаец,— большой будешь — шибка большой дурака будешь...
Дверь в апартаменты Коршунова была приоткрыта.
— Хозяйна велела ожидай,— сказал китаец, сбросил тулупчик, малахай, отступил спиною к стене, дал пройти, указал кивком головы, где снять калоши, принял пальто, шапку. Черная с проседью коса его поблескивала вдоль спины, как текла. Гостиная освещена была синеющим утром, стояли а ней какие-то пуфики, козетки, а поближе к окну — небольшой круглый стол. И еще у окна уперся ножками в тяжелый ковер белый маленький рояль. «Музицирует, что ли?» — подумал Павел Кордин, вообразив за роялем Юлию.
Коршунов явился из боковой двери. Был он в темно-лиловом стеганом халате и колпаке тюрбаном.
— Эк ты, братец, длинный какой. Садись, не маячь!
Он не подал руки, но в голосе его, высоковатом и простецки веселом, звучало и купецкое чудачество, и небрежная независимость богача, и приятельское расположение. Павел Кордин опустился в кресло возле рояля. Коршунов присел на козетку.
— Пей-фу, кушать нам пора или не пора?
Китаец не ответил.
— Похож ты, братец, на батюшку вашего, похож. Ничего не скажу. Тоже не улыбался, а человек был — золото... А ты — золото?
— Пока без пробы,— попытался улыбнуться Павел Кордин.
— Пробу мы поставим,— хлопнул ладошкой по коленке Коршунов,— эка невидаль! Вы когда изволите на волю?
Павел Кордин понял, что речь идет о дипломе.
— К лету, Евграф Лукич... Если выдержу экзамен...
Китаец вкатил лоток, стал расставлять на столе завтрак.
— А отчего его не выдержать? Яичницу с беконом будешь? Американцы едят каждое утро. Оттого — богатые.
— Теперь я понимаю, откуда ваше богатство,— в тон поддержал Павел Кордин.
— Нет, не понимаешь,— сказал Коршунов, садясь к столу.— Пей-фу! Сельдерею мало! Сельдерей, брат, тоже американская трава... Пожуешь — поумнеешь...
— Да не такие уж они умные, Евграф Лукич,— улыбнулся Павел Кордин.
Коршунов заинтересованно посмотрел на него. Посмотрел, подумал, не отводя глаз, сказал:
— Правильно... И мы не глупее... Ну — ладно, это все присказки. Ешь! Постой, может, ты водку пьешь с утра?
Павел Кордин наклонился было с вилкой над горячей сковородкой, но выпрямился.
— Ее лучше — после дела...
— И я так думаю...
Ели молча. Китаец служил неслышно, тенью. Коршунов ел быстро, толково, не погнушался собрать со сковороды сало краюшкой филипповской булочки. Пей-фу разливал крутой чай, пахучий. Зачем же он позвал, в чем дело?
— Южный завод мой знаешь? — небрежно спросил Коршунов.
— Слышал... Новый завод...
— Новый... Балки буду тянуть... Рельсы... Два стана куплено... К августу поставят...
Пей-фу угадал, когда подать остриженную сигару. Коршунов взял, приложил к щеке, принял губами. Китаец поднес свечу — как фокус сделал. Павел Кордин удивился: откуда взялась?
— Куришь? — спросил Коршунов, раскуривая сигару. Пей-фу раскрыл перед Павлом Кординым ларец, а в нем — торчком сигары и толстые папиросы. И глядя, как Павел Кордин прикуривает от свечи папиросу, Коршунов сказал как бы между прочим:
— Хочу я, Павел Михайлович, чтобы при немцах, которые собирать станы явятся, находился с самого начала свой инженер. Заводской, значит, кому на тех станах работать. Так вот, ежели не погнушаетесь... Пей-фу!
Китаец вмиг подал кожаный складень, портфель, раскрывающийся надвое.
Предложение было настолько неожиданное, что Павел Кордин сперва усомнился, к нему ли оно относится. Но Коршунов дымил, говоря как о деле сделанном:
— Возьми-ка портфель, там книжечки разные, разберешься на досуге... И аванс там же, в конверте... Две тысячи для начала хватит? Вернешься и, милости просим, прямо на Южный завод...
Павел Кордин понял вмиг — будто ударили в лицо: Берги отделываются! Гнев, стыд, бесполезная обида ввергли Павла Кордина в растерянность. Уйти! Немедленно уйти!
— Павел Михайлович,— сказал Коршунов участливо,— меня Юлия Семеновна попросила. Вчерась к ним заехал, а она ко мне: дай место Павлу Михайловичу... Я думал —

вздор ребячеcкий, а потом прикинул: а ведь дело! Батюшку твоего я знал, инженер мне нужен. Так что вздор — и не вздор... Баба бабой, а видишь, как? Еще не известно, что тебе господин советник скажет, ежели ты свататься станешь... А от меня — сватайся за кого хочешь! На ногах стоишь! Господин советник тебя звал к себе?

— Нет...

— Ну и шабаш! На ноги станем, а там и женимся! Эка невидаль!

Коршунов сразу понял, почему старшая барышня так хлопочет, сразу понял, что Павлу Кордину надо предстать перед будущим тестем самостоятельным и независимым, и это как бы душевное понимание придавало благородства его прямой выгоде — свежий молодой инженер будет служить у него, а не у Берга, на чьем заводе вырос. Дружба дружбою, а дело не дремлет.

Коршунов обезоруживал. Павел Кордин даже испытал какую-то странную неосознанную благодарность. Женимся! Колеса вагона стучали в висках.

— Можно я выкурю еще одну папиросу?

— А хоть десять... Ты, как я понимаю, взад-вперед? Это хорошо по молодости. А в остальном — положись на Бога. Умнее Бога только дураки бывают...

Но теперь — тем более — надо на Васильевский! Теперь он служит у Коршунова! Теперь он не зависит от Берга!

Но ехать на Васильевский не пришлось. В «Европейской» посыльный подал ему конверт: «Павел, дорогой мой! Это счастье, что К. был у нас. Я уверена, что все устроится. Теперь мы самостоятельны! Дорогой мой, поезжай, ни о чем не думай. Ты мне очень нужен, понимаешь? Всегда, везде, всюду. Скоро мы увидимся. Ю.».

Слова «самостоятельны», «нужен» и «скоро» были трижды подчеркнуты. Павел Кордин почувствовал, как сердце его оплавляется...

42

Берг постучал в ее комнату и подождал, пока она отопрет дверь.

— Ты запираешься? — спросил он.— Зачем?

— Я полагаю, что могу распоряжаться в своей комнате,— ответила Юлия, стоя в дверях.

— Разумеется,— пожал плечами Берг.— Смешно, что ты запираешься...Прислуга не ворует, жандармов в доме нет... Зачем ты играешь в эту странную унизительную игру? Мне кажется, ты постоянно настраиваешь себя против нас.

Не глядя по сторонам, Берг сел в креслице, стоящее возле белой кафельной печи. Юдифь не садилась.

— Юлия,— тихо сказал Берг,— не нужно большого ума, чтобы разобраться в этой комедии... Тебе ведь приказали вернуться в дом и устроить здесь что-то вроде притона. Люди есть то, что они есть, а не то, что они изображают... Ваш главный революционер, наверно, этого не знает... Я вовсе не запрещаю тебе видеться с кем тебе нужно и принимать визиты... Я просто хочу тебе сказать, что твои визитеры очень смешны. Они все время оглядываются, как будто что-то украли. Но, поскольку я не думаю, что они что-нибудь украли,— мне тем более смешно... Они приносят тебе запрещенные листовки, и вы их распространяете. Пусть так. Я читал их... Меня совсем не тревожат ваши безумные идеи... Меня тревожит другое... Как бы тебе сказать...— Берг покраснел и развел руками.— Как бы тебе сказать... Меня тревожит твое постоянное ожесточение... Впрочем, я не это хотел сказать...

— Что же ты хотел сказать, папа?

Берг посмотрел на нее.

— Я читаю ваши листовки... И ты знаешь, что меня в них смущает?

— То они тебя не тревожат, то смущают... Нелогично!

Берг расплылся в улыбке. Птичка его усов взмахнула крылышками.

— По законам конспирации, насколько я понимаю, ты должна прежде всего заявить, что не знаешь ни о каких листовках...

— У тебя есть возможность донести на меня.

Он продолжал улыбаться.

— Зачем ты лжешь? Зачем? Зачем ты лжешь самой себе, подозревая во мне фискала? С тех пор, как ты приняла свое странное вероисповедание, ты стала лгать. Ты солгала, когда порвала с домом, и солгала, когда вернулась. Ты лжешь, ожесточая свое сердце против нас! Ты ведь знаешь, что тебе нечего опасаться нас. Что это за неумное вероисповедание, которое заставляет лгать самим себе?

— Ты этого не поймешь, папа,— дернула плечом Юлия.

— Допустим... Пожалуйста, лги, если это — условие вашей религии... Но я тебе все-таки скажу, что меня смущает... Меня смущают не ваши безумные идеи. Бог с ними, это все пройдет... Меня смущает то, что ты совершенно не интересуешься делом, которое унаследуешь... Вы требуете равноправия женщин? Чего проще, Юдифь? Ты молода,

образованна, умна! Покажи своим примером, что женщина способна управлять производством!.. А ты ведь даже толком не знаешь, что делается на моих, то есть на твоих заводах!

— Я знаю, что там делается! Там делают рабов! Выкачивают из человека все силы и швыряют за ворота!

— Ну, допустим,— вздохнул Берг.— Ко мне приходят люди, я делаю из них калек и выбрасываю их за ворота? Это же вздор! Я делаю стальные рельсы, швеллерное железо для мостов!.. Или ты не знаешь и этого?!

Он постепенно распалялся и вдруг сник, опустив голову.

— Две недели я жду, как милости, твоих поздравлений... Я шел к тебе, чтоб спросить... Слобода Марьино готова... Меня поздравил министр, меня поздравил губернатор... Меня поздравили в клубе... Об этом событии нашего дома пишут газеты!..

— С чем я должна тебя поздравить? — медленно заговорила Юлия.— С фальшивой благотворительностью?

— Боже мой! — всплеснул руками Берг.— Восемьдесят рабочих семейств будут жить в европейских условиях! Таких поселков не так уж много даже в Европе! Даже в Англии и Германии. Юдифь! И ты утверждаешь, что компания вложила в эти коттеджи огромные средства в целях эксплуатации?!

— Конечно! — оборвала Юлия.— Теперь ты захочешь их компенсировать!

Берг тяжело встал, подошел к окну и, не оборачиваясь, сказал совсем тихо:

— Грустно, дочь... Ты ничего ни о чем не знаешь... И знать не хочешь... К чему ты готовишься?.. Какая-то странная игра...

— Это — не игра, папа! — жестко сказала Юлия.— Мы готовимся прийти к власти!

Он резко обернулся. Рот его задрожал.

— Это будет ужасно, Юдифь! Даже если допустить невероятное — это будет чудовищно.

Она увидела испуг на его лице, и это вызвало в ней какое-то забытое детское чувство.

— Это было бы чудовищно,— бормотал Берг,— это... это... Вы же поразительно ничего не хотите знать! Вы же ничего не умеете! Слава Богу, этого не будет!

43

Максим Горький весьма резко протестовал против намеренья Московского Художественного театра показать на своей сцене сочинение Достоевского «Бесы». Достоевский, по утверждению Горького, изумительно глубоко почувствовал, понял и с наслаждением изобразил две болезни, воспитанные в русском человеке уродливой его историей и тяжкой обидной жизнью,— садистскую жестокость разочарованного во всем нигилиста и — противоположность этой жестокости — мазохизм существа забитого, запуганного, способного наслаждаться своим страданием со злорадством, рисуясь перед всеми и перед собою, и даже хвастать тем, что бит. Максим Горький не желал, чтобы беспощадный в своей методе Художественный театр показывал русского человека по Достоевскому — злому гению нашему.

Евграф Лукич Коршунов всегда удивлялся способности образованных людей яростно сатаниться от книг, будто книги для русского человека — сама жизнь, а не изображение оной на всякий вкус и манер. Максим Горький втолковывал: очевидно, господин Немирович знает, что есть публика, которой забавно будет и приятно посмотреть на таких дьяволов революции, каков Петр Верховенский, или таких мерзавцев своей жизни, каковы Липутины и Лебядкины. Ведь глядя на них, очень удобно забыть, что были и есть люди честные, бескорыстные. И вот Художественный театр послужит этой нужде — поможет дремлющей совести уснуть покрепче. Но тотчас откликнулись защитники морозовского театра: по Максиму-де Горькому выходит, что задача искусства упрощается до простого средства успокоить, укротить мятежный дух и навеять человечеству сон золотой.

И тот — про дремлющую совесть, и эти — про сон золотой. Евграф Лукич понимал — валом повалит публика в Камергерский. Ну, разыграют они Достоевского, ну, покажут, каков русский человек. Первым делом — не все в живой жизни, как у Достоевского. Евграф Лукич читал этого литератора, жалел про себя лиц, им описанных. Может быть, и прав Максим Горький — не надо висельнику веревку под нос. А может быть, наоборот, неправ? Чего можно, чего не можно — эка их в урядники тянет...

Максима Горького секли вовсю, секли так же истово, как прежде истово преклонялись перед ним.

По первому снежку прибыл в первопрестольную бесподобный вундеркинд, восьмилетний дирижер Вилли Ферреро. Москва тотчас переключилась на музыку, ринулась на Никитскую, в консерваторию. Но тут же вундеркинда оттеснил великий синема-артист, сам Макс Линдер. Прибыл он одновременно со славным поэтом Эмилем Верхарном, однако поэт обитал в Москве незаметно, почти невидимо; Макс же Линдер потряс московское воображение. Москва ринулась в цирк смотреть на него.

Макса Линдера носили на руках, с него сдирали пуговицы на память, а он радостно гоготал, как бы озвучая Великого Немого, королем которого был. Его сравнивали со Львом Толстым, и разумные люди удручались: что же будет с публикой, с духом ее в следующих за нами поколениях? Ибо ни Эмиль Верхарн в уютных салонах, ни Вилли Ферреро в консерватории, ни Федор Достоевский в Камергерском никак не могли состязаться с этим небольшим усатым молодцом в полосатой визитке и лимонных перчатках, в которых, кажется, даже спал.

Вот этот-то бедовый молодец и толкнул Евграфа Лукича поразмыслить о синематографе. Вложить капитал в такое дело. Торговать странным товаром — ни руками потрогать, ни съесть, ни надеть. Кто его знает, может быть, в будущем, когда все будут одеты и сыты (Евграф Лукич весьма сомневался в такой небылице),— синема сделается наиважнейшим поставщиком дутого товара. Гляди, как носят на руках этого Макса, покуда он еще молодой, покуда прыгает и гогочет. И останется он на ленте молодым навеки. Как бесконечный процент на вложенный в него капитал. А два таких Макса? А — десять? А — пятьдесят?

Однако есть в этом синема что-то дьявольское, будто посмеивается он над людскими страстями и над самой жизнью. Останавливает он жизнь, да не как портрет, недвижимо, а во всем движении. Человека, может быть, и нет давно на свете, а все бродит по простыне, все стрекочет из прибора над головою. Вложить в него капитал — вроде бы душу дьяволу продать. Но все же Евграф Лукич сказал своему адвокату Кербелю: подумать...

Из Питера пожаловала Наталия Александровна с обеими дочерьми смотреть в Художественном театре Достоевского. В Камергерском перекричали Максима Горького. Пьеса называлась «Николай Ставрогин», и играли в ней самые знаменитые артисты.

В отличие от Евграфа Лукича, Юлия знала, что Горький впал в модное богоискательство и, что весьма существенно, манкирует своими финансовыми обязанностями перед партией. Сокрушение кумиров, которому учили на Любомирской, коснулось и Горького. Слава его уже надоела. Немирович как бы оправдывался перед Горьким: что такое Николай Ставрогин, как не идея отрицания, опустошающая душу? Что такое Петр Верховенский, как не идея разрушения?

Юлия возмущалась: почему идея отрицания опустошает душу? Что за вздор? И почему идея разрушения так плоха, что этот благообразный Немирович вкупе со своим Достоевским называет разрушителей бесами?

Она была против Горького потому, что он не хотел видеть на сцене Достоевского. Но она была и против Достоевского потому, что не любила его. Однако в глубине души она хотела увидеть этого мрачного писателя, разыгранного славными актерами. Отрицание и разрушение были свойственны ей настолько, что она лишь ожесточалась, когда кто-нибудь пытался их разоблачать...

44

— «Только гордый буревестник реет смело и свободно!» — декламировал Коршунов.— То кричит пророк победы!

— Чему же вы радуетесь? — спросила Юлия.

Коршунов круто повернулся к ней на каблуках.

— Как это — чему? Правильно изложил! Я не большой его любитель, а за это — хвалю! В памяти остается! Как гвозди вбивает!

— Евграф Лукич, эти стихи были написаны много лет назад,— улыбнулась Юлия,— долго они до вас доходили.

— Ну-к штож! — согласился Коршунов.— Золото не стареет! Я, грешный, теперь только понял, зачем его — в тюрьму, Пешкова-то...

Юлия скучала без Коршунова, и всякий раз, когда он появлялся, в ней вспыхивала потребность куражиться, злить его, будто от того она и скучала.

— Ну и зачем же? — спросила Юлия.

Он округлил глаза.

— За нас, голубушка, за купцов! За промышленников и негоциантов-с! Вот зачем!

Это заявление было настолько неожиданным, что Юлия рассмеялась:

— А вы при чем?

— Как это — при чем? — обидчиво возразил Коршунов.— Буревестники — кто? Кто в России гордо и свободно реет? А? Над ревущим морем, голубушка моя, над ревущим морем!

— Боже мой! Это вы-то — буревестники?

— Мы-с! — притопнул Коршунов.— Мы-с!

— Сказать бы об этом господину Пешкову! — смеялась Юлия.

Но Коршунов погасил ее смех серьезными глазами.

— И говорить незачем! Нечего напоминать о грехах юности... Он уже получил свое от гагар да от пингвинов.

Теперь она смотрела на него удивленно. Она уже привыкла к его неожиданностям, но всякий раз эти неожиданности застигали ее врасплох.

— Евграф Лукич! Кто же, по-вашему, гагары и пингвины?

— А ты будто не зна-а-аешь,— дразнящим тоном протянул Коршунов,— гагары они и есть гагары! Гагарины! Как сказано? «Им, гагарам, недоступно наслажденье жаждой битвы! Гром ударов их пугает!» Кого пугает гром ударов? Государственный совет,— выкинул он короткий перст,— Государственный совет, мать моя! Старцы в регалиях! А пингвины? Ты погляди, это же вицмундиры, фраки, только владимирская лента поперек брюха не описана! Да разве мы ленту не домыслим? «Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах»! А? Отчего не прятать? Не сегодня-завтра гордый буревестник вытолкает их оттедова! Купец, а по-вашему, по-марксическому,— капиталист! Вот он — прямой буревестник!

Юлия даже растерялась.

— Евграф Лукич! Бог с вами! Буревестник — это пролетарий...

— Какой еще пролетарий? — осерчал Коршунов.— Чего им его бояться-то, пролетария вашего? Ему полтинник накинь — он и крылья сложил! Буревестник! А полтинник кто даст? Купец даст! Кто заводы ставит? Купец! Кто дороги тянет? Купец! Сидел бы твой пролетарий с Государственным советом да с министерией без сибирской дороги до сего дня, каб не купец!

— Но строил-то пролетарий! — возмутилась Юлия.

— Я строил! — закричал Коршунов.— Я! Я твоего пролетария делаю! Из мужика его делаю! А мужика у меня — непочатый край, вся Россия! Пожелаем — вся Россия в пролетарии пойдет!

Вся Россия — в пролетарии, это она знала наизусть! Милый Евграф Лукич, он даже не подозревает, что исповедует! Марксистские воззрения прогрессиста — как это смешно. Ульянов непременно всплеснул бы сейчас ладошками, закинул бы назад голову и разразился бы стреляющим высоким хохотом! Капитализм ежечасно, ежеминутно создает армию пролетариев — это уже не философия, это — будничное дело, которым занимается не отвлеченный капитализм, а вот он — милейший Евграф Лукич Коршунов, буржуа, предприниматель, богач, эксплуататор, неугомонный поставщик своих собственных могильщиков!

Юлия зашлась смехом, охватив голову руками. Коршунов опешил:

— Что ты, мать моя, здорова ли...

— Ну — пожелайте! — вскрикивала Юлия.— Пожелайте!

— Первым делом — сельтерской выпей,— испуганно пробормотал Коршунов.

Юлия глотнула из поднесенного стакана и сказала, отдышавшись:

— Нам с вами по пути, Евграф Лукич! Только поскорее пожелайте всю Россию — в пролетарии...

И тогда Коршунов, убедившись, что она успокоилась, сказал тихо, даже печально:

— Пожелать-то можно...

— Что же мешает? — подзадорила Юлия.

— Государственный совет! Министерия! Власть! — вдруг закричал Коршунов.— Вот они с нами как!

И схватил себя обеими руками за короткую крепкую шею.

— Значит,— впилась в него взглядом Юлия,— долой самодержавие?

Коршунов посмотрел на нее как на малое дитя.

— Напугала, матушка... Долой самодержавие! Без царя России не жить... А вот самодержавие — действительно... Каб твои пролетарии не мешались, давно бы мы уже это «долой» спроворили... Сказано — только гордый буревестник! Стало быть — купец!

45

Двадцать восьмого октября тринадцатого года вердиктом присяжных заседателей в Киевском окружном суде был оправдан Бейлис, приказчик кирпичного завода.

Бейлиса арестовали еще в одиннадцатом году, в августе. Дело было так, что весною на Лукьяновке, в пещере, в ста пятидесяти саженях от кирпичного завода, принадлежащего еврейской хирургической больнице, был обнаружен обезображенный сорока пятью ранами труп отрока Андрюши — единственного сыночка Шурки Приходьки — Ющинской. Поначалу власти подумали на саму Шурку и ее сожителя Феодосия Чиркова, взяли их, но потом разобрались, выпустили и прислушались, что говорят люди и что пишут в газетах: убийство-то произошло противу еврейской пасхи! И в смерти этой молва винила еврея Бейлиса!

Бейлиса заперли в тюрьму, как вдруг не прошло и месяца, как здесь же, в Киеве, еврей Богров выстрелил в председателя Совета министров Столыпина. Выстрелил в театре на глазах государя. Зачем убил? Кто подослал? Разбирались тайно, как и полагается в государственном случае.

Убийцу судили в три счета и поспешно повесили. В газете даже описали, как хотел он перед петлей шепнуть что-то приведенному к виселице казенному раввину. Шепнуть хотел, конечно, по-еврейски... Но не позволили: мало ли чего шепнет...

А дело Бейлиса шло своим путем, как будто кто-то заслонял им темное убийство в Оперном театре.

Двадцать пять месяцев шло следствие, и наконец вынесено было обвинение в том, что мещанин местечка Василькова Менахем-Мендель Тевьев Бейлис по предварительному соглашению с другими, не обнаруженными следствием лицами, с обдуманным заранее намереньем, из побуждений религиозного изуверства, для обрядовых целей лишил жизни мальчика Андрея Ющинского тринадцати лет.

Тут все совпадало — и тринадцать лет, в которые Авраам обрезал Агариного сына, и следы каменных ножей, коими обрезание — брис — совершается, и кровь невинных младенцев, потребная для мацы...

Два года дело сие будоражило страну, наполняло газеты, перехлестнуло за границу, напомнило о французском Дрейфусе. Даже стали искать название для защитников Бейлиса, подобное дрейфуссарам, бейлиссары, что ли...

Два года день за днем отдаляли Россию от загадочной смерти Петра Аркадьевича Столыпина, не стирая, впрочем, с памяти того, что стрелял в русского преобразователя еврей.

Приехал было сенатор Трусевич расследовать дело об убийстве председателя Совета министров, да вдруг недели через две отозван был назад в столицу по высочайшему повелению.

Немногие русские люди догадывались: не для того ли раздувают дело приказчика, чтобы подзабылось убийство премьер-министра? Но чем дольше шло следствие, чем больше суетились власти, тем больше и больше русских людей всех сословий, всех состояний понимали: ложь, очередная беда. Разумеется, власть достигла своего: до Столыпина уже мало кому было дело. А было дело до этого щуплого сорокалетнего кормильца пятерых детишек, сидящего под присмотром полиции в зале окружного суда.

Со временем выяснялось, что парнишку зарезали приятели Верки Чебиряк, бандерши, и что были у Верки с Шуркой свои нелады, и власти напрасно потревожили ученых людей, заставляя их листать перед запуганным приказчиком Тору и Талмуд, выбирая места, по коим можно и отпустить его с Богом, и — повесить.

И только знающие люди знали, что за всей этой музыкой стоят Ванька Каин — то есть министр юстиции Щегловитов, и ленивый оболтус — то есть министр внутренних дел и шеф жандармов Маклаков.

Гремел проклятьями семени израилеву член Государственной думы Замысловский, ругался присяжный Шмаков, поверенные истицы Шурки Приходько; доказывал государственный интерес товарищ прокурора Санкт-Петербургской судебной палаты Виппер, прибывший по ордеру министра юстиции, метался из Питера в Киев, из Киева в Питер сам прокурор Чаплинский; и как-то само по себе выходило, что не с истиною заодно государственная власть, а с бандершей Веркой и с воровкой Шуркой. Жалко было мальчишку похристиански, а мамашу и по-христиански — не жаль.

Защищал еврея другой Маклаков — родной брат министра внутренних дел, речистый, умный, веселый, злой на слово. И то, что брат пошел на брата, и не простого, а генерала, с жандармами, с тюрьмами, не страшась ни по-семейному, ни по-людскому,— подчеркнуло догадку: с кем же власть-то в России, Боже Праведный? Почему же как добро, как сострадание, как умность какая, так непременно против власти? Карабчевский, Зарудный, Григорович-Барский, Маклаков — что им до сирого сего еврея, который и заплатить-то не сможет? А ведь встали грудью!

На базарах хлопчики распевали:

Вера Чебырячка,
какая ты босячка!
Ющинского убила,
на Бейлиса свалила!

Старшина присяжных губернский секретарь Мельников уже в особой комнате уговаривал присяжных:

— Не слушайте витий: подкуплены всемирными евреями. Даром что Мендель бедняк — за ним еврейские миллионы на христианской крови.

Присяжные заседатели — два господина из почтово-телеграфной конторы, два мещанина-домовладельца, извозчик с биржи и шестеро крестьян — всего числом одиннадцать — сопели, думали над словами двенадцатого, то есть старшины.

Половые из трактира ходили увальнями, а присмотреться — выправкою урядники. Принесли чай-сахар, подкрепить господ присяжных заседателей. Не полагалось, конечно, никому входить в помещение, в святая святых, ни мухе влететь. Но — с другой стороны — половые вроде бы и не люди. Да и служили бессловесно. Один только, выходя, вздохнул как бы про себя:

— Одно слово — жиды-с...

Намечалось семь против пяти — виновен, стало быть, еврей. И вдруг крестьянин, в новой по случаю суконной поддевке, встал, перекрестился на пустой угол размашисто, истово:

— Господи! Не могу взять грех на душу! Не виноватый!..

Ибо нельзя судить второпях, а надо ждать, пока Господь осенит чистую душу и вразумит,— не кровавиться грехом.

И никогда еще Киевский окружной суд не видел вокруг себя такого ликования, как в день двадцать восьмого октября...

Четырнадцатый год

46

В начале четырнадцатого года на Васильевском появился благообразный господин в хорошей шубе и бобровой шапке пирожком. Он спросил мадемуазель Юлию Семеновну.

Швейцар, похожий, как и все швейцары хороших домов, на царя Александра Второго, раздел гостя, проводил в покои. Швейцар привык к посетителям старшей барышни. Будто в доме теперь главенствовала она, а не господин советник.

Гость был вальяжен, воспитан. Бергу показалось, что это и есть главный заводила, приказавший дочери вернуться в отчий дом. Звали гостя Лев Борисович. Берг не знал, о чем говорил этот гость с Юдифью. А между тем особняку на Васильевском предназначалось отныне быть вне подозрений. Откладывалось также и замужество, к которому склонял Зиновьев.

— Вы должны отойти от движения,— сказал Юлии Лев Борисович,— так нужно.

— Может быть, мне уехать в Ниццу?

— Нет, этого делать не следует. Оставайтесь под каким-нибудь предлогом. Даже лучше, если все уедут. А вы займитесь чем-нибудь. Ну, скажем, изучайте математику. Или энтомологию. Вы любите жуков или бабочек?

— Терпеть не могу.

— Ну — ботаникой. И — никаких листовок.

Берг пытался завести разговор. Гость охотно говорил о Верхарне, Сезанне и Ван-Гоге. Он пророчил Ван-Гогу великое будущее. Но Берг все толкал его на разговор о социализме, которым увлеклась дочь. Гость вздохнул, давая понять, что не желает беседовать на эту тему. Но все же сказал:

— Я не могу принять это учение, оно мне представляется утопическим. Я покуда лишь размышляю над ним... Очень хорошо говорит господин Шеффле в своем сочинении «Квинтэссенция Социализма». Социализму приписывают постоянные разделы имущества, в то время как он имеет в виду лишь собственность, имеющую значение орудия или средства производства. Социализму приписывают вещи, которых он сам чуждается. Возможно, это — плоское невежество, но весьма возможно, что это умышленное искажение, рассчитанное на возбуждение страстей. Такое отношение к вопросу грустно и опасно. Оно предает социализм в руки тех, кого прельщает не столько производство продукта, сколько распределение его. А между тем именно производство есть наиболее привлекательный аспект социализма.

Лев Борисович говорил кругло, ровно, как профессор, у кого на лекциях не спят.

Но Юлия слушала его, пряча улыбку и стараясь смотреть широкими глазами восторженной курсистки. Кто такой этот Шеффле? Наверно, какой-то вялый филистер — сколько их теперь!

— К счастью,— продолжал гость,— пропаганда карикатурным социализмом многих антикультурных учений, как, например, установление социалистического строя разом, во всем его объеме и при любых социальных условиях, пренебрежение к искусству, отвлеченной науке — суть только бессвязные пристройки к научному социализму. Социализм не отвечает за нелепости той или другой фракции социал-демократии, и самая целесообразная борьба с этими нелепостями — это распространение доктрин научного социализма...

Берг был в восторге. Может быть, это — действительно теория. Кстати, где теперь этот юноша Кордин?

— Ты ничего не знаешь о Павле Михайловиче? — спросил Берг, когда гость ушел.

— Он служит на Южном заводе у Евграфа Лукича.

— Да-да, это я знаю... Вы переписываетесь?

— Редко. А почему ты вдруг спросил? — Юлия покраснела до слез. Она вообразила вагон. Чувство, которое испытала она, было неясным, таинственным, незавершенным, она ощутила и сейчас отдаленную тоску. Берг сделал вид, что не замечает ее состояния.

— Он мне показался серьезным молодым человеком...

— Что же ты его не взял на службу? — вмиг пришла в себя Юлия.

— Возможно, это была моя ошибка.

47

Мари в ночной сорочке, заплаканная, уставшая от бессонницы, вошла тихо, виновато.

— Что с тобой? — поднялась на локте старшая сестра и отложила книгу.

— Можно я полежу?.. Обними меня, Ю... Я не могу уснуть... Я мучаюсь...

— Ну ложись, глупенькая. С чего это ты — в слезы?

Мари сунулась под одеяло и, обхватив сестру сильно, отчаянно, затряслась плачем. Юлия прижала ее, чувствуя сквозь сорочку горячую влагу.

— Ю,— тяжко, по-детски вздохнула Мари,— мы никогда больше не увидимся...

— С чего ты взяла?

— Я не взяла... Я — знаю... Я думала, думала и вдруг поняла... Никогда, Ю... Никогда...

— Но мы ведь и прежде расставались,— сказала Юлия, проникаясь страхом сестры.

— Нет, Ю... Мы не расставались... А теперь — расстаемся... До самой могилы мы не увидим друг друга...

— Ну, о могиле еще рано говорить,— превозмогала страх Юлия.— Летом я к вам приеду...

— Нет, Ю, не приедешь... И мы никогда не вернемся домой...

— Ну, знаешь, это уже — мистика.

— Не сердись, Ю, не сердись... Пожалей меня... Я тебя так люблю...

— И я тебя люблю, глупенькая!

— Люби... Всегда люби... Я не уговариваю тебя ехать с нами, потому что... Потому что — я не знаю, почему. Потому что мы должны расстаться, а зачем — я не знаю. Ничего мне не обещай, ничего мне не говори, пожалей меня...

Юлия почувствовала, что сама сейчас зарыдает. Как будто младшая сестра приоткрыла завесу будущего, за которой — холод и мрак.

Завтра Мари с мамой уезжают в Ниццу. Папа проводит их до Парижа, ему нужно в Лондон. У него там дела. А она останется здесь. Как они согласились оставить ее одну? Это нельзя было объяснить. Может быть, Мари задумалась над тем, чего нельзя объяснить? Впрочем, Юлия ведь уже оставалась одна и даже ездила одна за границу. Она — взрослая, самостоятельная дама, черт побери!

— Ю,— шепнула Мари,— ты любишь Павла Михайловича? Люби его... Я хочу, чтобы с тобою был кто-нибудь из наших.

— А он — наш?

— Наш... Он высокий, красивый и умный... Никогда не бросай его, Ю...

— Ну, хорошо. Ты меня расстроила своими слезами.

— Я уже не плачу. Если ты выйдешь замуж за Павла Михайловича — я буду спокойна.

48

— Ну-с, молодая барыня,— потер руки Коршунов,— сплетни не слыхала?

— Какие сплетни?

— Так уж весь Питер гудит — не нарадуется... Социал-демократы-то твои, а?

Юлия насторожилась.

— Евграф Лукич, нельзя ли без загадок?

— Можно-с!.. Приходит к Михал Владимировичу и — прошение на стол — слагаю-де с себя депутатство.

— Кто приходит?

— Малиновский! — объявил Коршунов, как бичом щелкнул. Щелкнул и — попал! След резко защемил внутри, она даже закусила губу, мгновенно вспомнив, как от Малиновского пахло вежеталем и кислым молоком.

Коршунов ликовал, он не заметил ее смущения.

— Малиновский! В охранке служил! Родзянко, конечно, заквохтал — как так? А его и след простыл!.. Агент — твой социал-демократ! Агент! Вроде Азефа или, скажем, Богрова — сами уж разбирайтесь, вроде кого.

Память вспыхивала в Юлии, как в темном синематографе: удивленные, неверящие глаза Крупской, высокий непререкаемый голос Ульянова, монокль на новогодней вечеринке и — вежеталь с кислым молоком — противная рожа над ее лицом! Прохвост!

И вдруг — совсем иное — печальное лицо — храни тебя Бог, милая племянница... Скажи Старику, что я тебя отослал по неизвестной тебе причине.

Юлия подавила волнение.

— Откуда же у вас такие сведенья?

— А оттуда, мать моя, что Родзянке сам Джунковский сказал — позор, мерзость! В депутатах Государственной думы — тайный агент полиции! Шуму поднимать не надо: стыдно за Россию.

— Что же вы шум-то поднимаете?

— Мой шум — не шум, погоди, что еще в Думе будет! Тут иной вопрос — почему это, как шпик, как филер — так непременно из ваших? И выходит, мать моя, что бунтуете вы на казенные денежки!

Память донесла обрывки фраз, услышанных там, в Кракове, на Любомирской. «Если охранке так уж необходимо расколоть русскую социал-демократию — пусть начинает с меньшевиков!» Смех Ульянова и голос Малиновского: «Мы их заставим работать на себя». Ах, как он наивен — Евграф Лукич Коршунов — вместе со своим распрекрасным жандармом Джунковским и похожим на индюка Родзянкой!

— Глупости! — облегченно выдохнула Юлия.— Сами-то вы понимаете, что говорите?

Коршунов озлился.

— Столыпина кто убил? Вы... И как-то интересно убили — на глазах государя-императора... Уж не сговорились ли?

— Да бог с вами, Евграф Лукич! Как это мы могли сговориться с царем?! Бог с вами...

— Занятно!.. Малиновский какие речи разводил? Буржуазная власть! Буржуазная власть!

— Неправда! — веселилась Юлия.— Мы пишем — буржуазно-помещичья власть!

Коршунов аж взвизгнул:

— Буржуазно-помещичья?! Да подумали вы, что городите?! Это все равно что сказать — кошко-собачья власть!

Коршунов навещал Бергов, когда бывал в Питере, посылал цветы Наталии Александровне. Теперь же, когда Берги уехали (весьма легкомысленно, как полагал Евграф Лукич), он почитал себя неназванным опекуном своенравной этой девчонки. У него были основания беспокоиться о ней: приближалась война. Берг поехал в Лондон к Гармонсу насчет подводных лодок. Коршунов получил срочный заказ на снарядные стаканы. Война с разлюбезной Германией накатывалась неотвратимо.

Кайзер Вильгельм отправился тайно к австрийскому принцу Францу Фердинанду — должно быть, не пиво пить. В Санкт-Петербурге ожидался воинственный президент Французской республики.

Евграф Лукич нервничал: война — вот она, не до разговоров в России, не до партий. Неужели не видно? Неужели даже перед страшным оскалом войны не угомонятся ловцы и ловимые?

50

Казаки собственного его величества конвоя в красных черкесках, бородатые до глаз, на высоченных буланых конях дробно гарцевали по торцам Дворцовой набережной, сопровождая экипажи французского президента.

Густая толпа жалась к парапету вдоль Невы (у Зимнего находиться не полагалось), пялилась на кортеж, отделяемая белыми городовыми. Городовые посматривали, чтобы какой-нибудь озорник не выкинул штуку, не соскочил на мостовую с высокого тротуара. Посматривали со страхом в выпученных глазах, приговаривали негромко, по-хорошему: «Осади... Господа... Папрашу... Честью прошу — осади...» И еще протискивались сквозь спины и животы чисто одетые люди с кокардами — трехцветными розетками — в петлицах: «Господа... Господа... Слава союзникам!» И первыми орали «ура». Толпа подхватывала охотно, от души. Люди эти с трехцветными (белый, синий, красный) кокардами пробивались вровень с президентом, не отставая, а слегка обгоняя экипаж, и бодрили толпу, отчего «ура» это поплзло вдоль кавалькады.

Но — за всеми не углядишь — поближе к Троицкому мосту звонкий гимназический голос закричал:

— Да здравствует республика! Ура!

Толпа подхватила это «ура». Ближний городовой нутром почуял, кто кричал, обернулся и сразу напал глазами на светлолицего гимназиста:

— Господин, не велено... Честью прошу...

Но тому только того и надо было. Взвизгнул детским злорадством:

— То есть как это — не велено? Мы приветствуем президента Французской Республики! — И победно задрал едва проклюнувшуюся бороденку.

Городовой вздохнул тяжело:

— Господин, вы не умничайте... Не велено...

И вдруг — высокий женский глас:

— Что не велено? Приветствовать доблестных союзников!?

Городовой обернулся и обомлел. Перед ним, светясь веселым, язвительным гневом, стиснута была толпою молодая прекрасная барышня, сразу видать, из господ, и немалых. Рядом вынырнул с кокардой:

— Сударыня... Попрошу вас...

— Убирайся прочь, филер! Да здравствует республика!

Городовой робел чернявых, чуял нутром — политические. Он перетаскал в часть немало народу, кого за непотребность виду, кого за драку, кого по пьяному делу. Попадались ему и карманники, и мошенники — много перевидал он за двадцатилетнюю службу в столице. И все это были людишки понятные, ясные до дна. Пьяные трезвели, драчуны стихали, карманники каялись, мошенники дурили, но и дурость их была необидной, занятной даже. Рукоприкладство они сносили как бы по-семейному — терпя и не возражая. Словесами не бросались, жалобами не грозили. Зла к ним не было никакого. Иного — особенно из посадских почище — доведешь до дому, еще и на чай-сахар даст, почесывая битый затылок. Людишки эти понимали городовую службу. Иной верзила — медведь — не то что затрещину — смотреть страшно, а — терпит, только буркалами хлопает, понимает — власть, надо терпеть. И — без разговоров, без умничанья, без этих словес, от которых в бесхитростном сердце происходит одно огорчение.

Политические терзали душу простого человека как немыслимое божье наказание. Были они из господ, вроде начальства — то есть ни-ни, руки прочь, и помыслить не смей. Но, с другой стороны, начальство велело выискивать их, а доставишь в часть — разговаривают как ровня: «вы», «сударыня» и все такое. И тайная мысль теплилась в душе городового, как лампадка перед темным образом: уж не сговорились ли господа мучать верных слуг своих бессовестной господской игрою? Должно быть, так, потому что обыкновенного арестанта и лупи, и в карцер — будто так и надо. А вокруг этих — непременно шум. Содержать особо, книжки давать, свидания допускать. И — терпеть от непонятных словес, от ехидных улыбочек, от глумления, от барской недотрожливости.

Вот и эта — смотрит ясно. Дитятя, видать, изголяется, забавлялись господской своей забавою.

— Вив ля репюблик!

А рядом — жидкобородые студенты, курсисточки в птичьих шляпках, и все ликуют, как ребятишки перед пряником.

— Виа ля репюблик! Да здравствует республика!

И — мало того — как по знаку, как сговорились, песню! Ту самую, крамольную, которую никак не дозволено, но которую уже второй день, по повелению того же начальства, дуют все гарнизонные трубачи:

— Алонз анфан де ля патри!

Слава Богу, хоть не по-русски.

Ах, господа...

Казаки за такую песню — шашкой плашмя, и царапнет — не беда, а тут гарцуют казаки, будто не слышат, будто медведь ухо отдавил. А из засыпанной цветами кареты, как из катафалка (прости, Господи), черненький небольшой человечек, лысенький, бороденка-усики, вздымает новую шляпу, машет ручкой, отзывается улыбкою, слушает с приятностью на розовом лице.

— Вив ля репюблик! Форме во батайон! Лежур деглюар эт арриве!

И не выговорить барскую несказаль!..

При памятнике генералиссимусу князю Суворову, возле которого тоже — и алонзанфан и вивлярепюблик,— кавалькада свернула на Троицкий мост. Красные черкески приплясывали вдоль набитых цветами экипажей, сопровождали гостей прямой дорогою через Неву в Петропавловскую крепость, как политических...

Вечером того же дня на Русском Рено, на Путиловском, на Брянском — полиция разгоняла мастеровых: ходили с красным флагом, пели все ту же песню, но уже понятно, по-русски:

> Отречемся от старого мира!
> Отряхнем его прах с наших ног!

51

Двадцатого июля Анюта, горничная Юлии, сподобилась: видела государя на балконе Зимнего дворца.

По Невскому ходили толпы — разряженные, веселые, запружали проспект, загораживали дорогу трамваям. Вожатые звонили настойчиво, однако не зло, а все с тем же ликующим пониманием, с которым шумела, кричала, бодрилась толпа.

Какая-то объединительная благость сближала народ с властью. Вчера — было дело — простые люди ломали немецкое посольство против Исаакия. Звенели стекла, катились отбитые мраморные головы, люди горячили себя ревом, свистом, добирались до самого Фридриха фон Пурталеса, вероломного тевтонского посла. Полиция не разгоняла, уговаривала терпеливо, братски, отечески. Да и посол, сказывали, уже ищи-свищи, успел сбежать из Питера.

Митинги заваривались на ходу. Справно одетые люди с бантами (белый, голубой, красный цвета) вскакивали на что попало — на выступы витрин, на тумбы старинных коновязей, на ящики, вынесенные из лавок, махали руками:

— Смерть вероломному тевтону!

— Победы православному воинству!

Городовые в белых кителях стояли тут же, в толпе, осклабясь, удивленно, радостно вздыхая, иные утирали нечаянную слезу, крестились, когда крестилась толпа.

Какой-то мастеровой обнимал городового братски:

— Васильич! Поверь! Вот он я весь — душою и телом!..

Городовой поддавался объятиям, ворчал умиротворенно:

— Кто старое помянет — глаз вон... Эка, народ-то, а?.. А вы — бунтовали...

— Дьявол путал, Васильич, поверь...

Посредине Невского, от Знаменской и далее, шел крестный ход. Шел неторопливо, не шел — двигался, плыл, уверенно, железно. Городовой мягко отстранил мастерового, вытянулся, ладонь к виску. И не было в крестном ходу никакого начальства, а один народ, и выходило, городовые козыряли народу.

Мальчишки кричали, бегали, отдавали честь, подражая городовым. Васильич даже шлепнул одного по загривку — ласково, отечески,— проворчал добродушно:

— Шельмец... К пустой башке руку не прикладывают...

А крестный ход тек, тек, набираясь народу. Впереди — хоругви, лики святых, а меж ними в рамах лики Государя Императора и Наследника Цесаревича. Мальчишки смотрели на портрет сверстника выпученно, страстно: военный морской костюмчик, чистое личико. Иные даже вихры приглаживали, степенясь.

Трамваи и звонить перестали. Публика выходила из них, люди всяких званий пробирались сквозь толпу в толпу же, увеличивая ширину крестного хода.

Тянули не в лад, но со всем сердечным откровением: кто — «Боже, Царя храни», кто — «Коль славен наш Господь в Сионе», и чудно́ — разнопенье не мешало, сливаясь в единый народный глас.

Возле нечаянных митингов крестный ход не останавливался, а вбирал в себя малые толпы, увлекая вместе с ораторами вперед к Адмиралтейству. И только городовые оставались на местах, отдавая честь плывущему людскому потоку.

Анюта шла бездумно, держась не ногами, а какой-то неведомой силой, и сила эта сама по себе распоряжалась, велела плакать одними глазами, замирать сердцем и петь слова, которые прежде и не попадались на язык. Но неведомая сила внушала ей эти слова, и она тянула их самозабвенно. Она плыла среди незнакомых людей, разных, всяких, и, не думая ни о чем, чувствовала свою причастность к каждому из этих безусых гимназистов, простых баб, чистых барышень, усатых мастеровых, господ в дорогих костюмах, посадских и мужиков.

Неподалеку от почтамта само по себе, ниоткуда не взявшись, разнеслось по толпе: «Государь!»

Слово это вмиг вернуло понятие. Толпа бросила петь, задышала, затеснилась и, увлекаемая все той же неведомой силой, хлынула сама на себя, сама себя подгоняя, сама себя задерживая, сама себя стискивая до потери дыхания.

Она хлынула, будто заранее знала куда, будто спасаясь сама от себя, от своей смертельной тесноты,— направо, в арку Главного штаба.

Там, за аркой, широко, просторно, безлюдно, как-то даже удивительно по нынешней тесноте, разлеглась чистая Дворцовая площадь, обозначенная единым молчаливым столпом с ангелом, перед далекими хоромами Зимнего дворца. И была эта арка как тесная дверь в Небесное царствие, дверь, за которой ждет простор и покой и блаженство всякого, кто протиснется.

Толпа уже не плыла, не пела, она втискивалась в тесную арку и разливалась, разливалась бегом, выкукивая освободившимся дыханием «ура!».

Площадь была непомерна, бесконечна. Толпа лилась и лилась, а площадь разживала ее, притишала ее дыхание, ее клики.

Там, за цоколем столпа — еще далеко от глаз, на огороженном выступе между двойных белых колонн — находился плохо различимый небольшой человек — Царь Всея Великия и Малыя и Белыя Руси.

Добегавшие до хором люди стали половиниться — падать на колени. Нагоняющие упирались в спины и подрубленно падали же.

Анюта рухнула возле цоколя и, уже не надеясь разглядеть сквозь слезы небольшого человека, крестилась, широко, вольготно, набирая воздуха открытым ртом...

— Ты появляешься тогда, когда я не знаю, что мне делать,— сказала Юлия.

— Я вынужден создавать обстоятельства, при которых могу тебе пригодиться...

— Теперь я понимаю, почему началась война.

Они говорили вокруг да около, стоя друг перед другом и дождавшись друг друга. Юлия

любила Павла Кордина, но было что-то такое, что отдаляло ее от него. Когда он был рядом, это «что-то» не имело силы. Но когда его не было рядом, она чувствовала, что там, в Кракове, Павел Кордин не был бы принят в качестве своего. И это оказывалось сильнее любви. Но сейчас он стоял перед нею, смущенный, обрадованный и сдерживающий себя от порыва, которого она ждала. И вновь она первая, как тогда в вагоне, метнулась к нему и прижалась благодарно и безотчетно.

Анюта, соучастливо шмыгая носом, прибирала комнату барышни. Повенчать бы их, повенчать, и — конец безобразию. Павел Кордин нравился ей давно — положительный, солидный, веселый, добрый; иного барина себе она и не желала. Ну и что, что он — не миллионщик? Господа сами не ведают, чего им надо, какого рожна.

Два дня пребывания Павла Михайловича на Васильевском принесли Анюте успокоение: может быть, наконец-то соединятся они законным браком? Анюта даже жалела про себя Павла Михайловича, зная барышнину вздорную натуру. Но ведь — муж всему голова, обойдется. Не век же быть войне. Возвратятся господа, увидят мир и согласие, да еще спасибо скажут зятю за то, что дочка при нем перебесилась.

Анюта испытывала полное счастье, когда исхудавшие от любви (не расставались же, слава Богу, ни днем ни ночью) молодые прощались весело, открыто. Павел Михайлович, если бы на войну шел, был бы, конечно, героем. Но ведь и снаряды кому-нибудь надо делать. А он по снарядам, почитай, теперь человек не последний.

55

Во вторник пятого августа воспаленная Москва ринулась к Кремлю. Белые городовые, как тяжелые гуси, тянулись от Иверской часовни до Спасских ворот, разделяя толпу, заполонившую Красную площадь. Но раздел этот не тяготил народ, а как бы придавал ему истовости.

Благовест, время от времени слетавший с колоколен, был легок, легок и невесом, будто возникал от ангельского прикосновения к священной меди. Благовест этот вплывал не в уши — в сердце, и люди размашисто осеняли себя крестным знамением, честно обращали лица к синему небу, налагая персты на чело, и смиренно кланялись, перенося руку на живот и на плечи.

Евграф Лукич крестился со всеми, чувствуя сладкую слезу облегчения.

Курсистки, гимназисты, студенты, приказчики, мастеровые, охотнорядские увальни, замоскворецкие старухи, подмосковные мужики, замшелые бородачи...

Лобное место островом, ладьею, на которой вместо парусов — хоругви со Спасом, возвышалось над темной колыхающейся толпой, которая двигалась то к Василию Блаженному, то назад, к Иверской, то к торговым рядам, то к Кремлевской стене.

А с колоколен плыл и плыл благовест...

В самом Кремле было теснее.

Плечи, спины, животы прижимались плотно, люди крестились мелко, не отводя локтей в тесноте.

И вдруг ударил Иван Великий гулко, победно. Толпа отозвалась судорогой, вздохом, рокотом, сжалась до потери дыхания и выдохнула «ура». А Иван Великий, будто набравшись громовой неземной силы, гудел тревожным гулом, взбадривая колокола-подголоски, и уже не благовест, а бранный набат взрывал душу, морозил кожу на обнаженных головах, звал к бесстрашию, к восторгу, к слезам. Стиснуто закричали бабы, закликали, заголосили, давимые беспощадным сжатием.

«Неужто — Ходынка? — сверкнуло в Евграфе Лукиче.— Сохрани, Господи, сохрани, не лишай разума...»

Толпа молилась сдавленным плачем, ревела, превозмогая колокольный набат, а Евграф Лукич молил Бога всей глубиною встревоженной души, молил, как никогда в жизни: «Не дай Ходынки, Боже Праведный! Не дай того, чем поразил начало пасмурного сего царствования... Не дай, Господи!..»

Молитва была услышана, толпа будто поредела, дала дышать, слышать, видеть.

— Вот та революция, которую нам предсказывали в Берлине!

Евграф Лукич обернулся. Среди простых московских лиц, залитых ясными слезами, увидел он холодное барское лицо над расшитым мундирным воротом. Глаза генерала сверкали, в складке под веками искрились на солнце капли.

Генерал узнал Коршунова.

— Зачем вы в толпе, Евграф Лукич?.. Скромность ваша известна, однако...

— Да и вы скромны, ваше превосходительство.

— Пойдемте, пойдемте...

Человек нерусского вида, тот, которому генерал только что сказал про революцию, поклонился Евграфу Лукичу, и — чудо! — оказалось место, где кланяться.

— Наш крупнейший промышленник,— пояснил ему генерал...

— Мы переживаем исторический момент,— чисто проговорил по-русски этот человек,— историческое будущее подготовляется именно здесь и именно в эту минуту...

Коршунов застеснялся складных слов. Слова эти как бы вмиг остудили сердце, просушили слезы...

— Точно так,— подтвердил Евграф Лукич и пошел за генералом сквозь почтительно расступающуюся толпу.

Они пробирались к Большому дворцу, и чем ближе, тем свободнее было пробираться. Евграф Лукич узнавал Рябушинских, Коноваловых, гласных Московской думы, губернаторских чиновников, артистов, адвокатов. Евграф Лукич прищурился прикидкою: не было здесь чинов ниже четвертого-пятого класса. И суетная, никак не торжественная мысль посетила Евграфа Лукича: как это народ чует — брюхом, боками, спинами,— кого пропускать, перед кем расступаться? Чует по духу, чует истово, даже горделиво.

Толпа пропускала сквозь себя, процеживала сквозь частое сито частицу самой себя, покорно освященную молчаливым согласием. Малую толику, предназначенную благодарным послушанием предстать перед государем от имени всего народа...

Евграф Лукич стоял в Георгиевской зале, отгороженный спинами, эполетами, плечами, не пытаясь пробраться сквозь них, и только по благоговейному гулу и по приличной внезапной тишине понимал, что происходит в центре. С неожиданным трепетом, похожим на тот, который пережил он на площади, когда ударил набат, Евграф Лукич услышал негромкий, но твердый голос императора:

— По обычаю наших предков, мы пришли искать в Москве поддержки своим нравственным силам в молитве перед святынями Кремля...

Царь говорил ровно, чисто, а зале старались не дышать — это Евграф Лукич чувствовал по себе: истовая слеза мешала дыханию, он сглотнул, ища облегчения.

— Прекрасный порыв охватил всю Россию, без различия племен и национальностей... Отсюда, из сердца русской земли, мы посылаем нашим храбрым войскам и нашим доблестным союзникам горячее наше приветствие. С нами Бог!..

Евграфу Лукичу казалось, что государь и сам искал облегчения душе своей и нашел его в краткости речи. И едва он сказал — выдохом вырвалось «ура», но «ура» это было не солдатское, складное и совместное, как на параде, а — неумелое, какое пришлось, несоразмеренное, ни громкое, ни тихое, а истинно ровно такое, чтоб облегчить душу. Евграф Лукич и сам вскрикнул «ура» и удивился, что вскрикнул тише, чем хотел.

Спины, плечи, эполеты заколыхались и потянулись через Владимирскую залу по священным сеням на Красное крыльцо и оттуда, уже снаружи донесся до Евграфа Лукича радостный отчаянный неуемный рев народа.

Евграф Лукич ступил на крыльцо. Он двигался общим ходом, не смея ни отстать, ни упредить. Там, впереди, шел император, шел приложиться к кресту царя Михаила. А за ним плыл сонм лучших людей государства, и Евграф Лукич верил, что причислен к сонму сему, и сердце его радовалось счастием готовности.

В четырехугольном Успенском соборе перед золотым — во всю высоту — иконостасом, в желтом радужном трепете свечей, в расплавленном злате храма, в драгоценном мерцании, служили три митрополита и двенадцать архиепископов. Облачения их сверкали не земным богатством бесценных самоцветов, а как сокровища, явившиеся вдруг из недоступных сфер, где ангелы, архангелы и начала, где силы господства и власти, где серафимы, херувимы и престоли. Над смиренным притчем архиереев, архимандритов, игуменов, у левого амвона, певчие в одеждах времен царя Ивана неземными голосами просветляли душу, очищали разум, томили истиной.

Там, впереди, молился государь с августейшим семейством. Царица и четыре царевны стояли согбенно, покорно. А на руках здоровенного матроса притих царевич. Матрос торчал несуразно, бездуховно, как идол среди ангелов, чернобородый, на татарский манер. Но не он терзал просветленную душу Евграфа Лукича. А терзал ее Божьим попреком этот болезненный отрок, будто в нем, в безгрешном дитяти, не виноватом ни в чем, теплилась какая-то грозная расплата за какой-то необъятный грех.

Евграф Лукич слушал о даровании победы, смотрел на сникшее дитя, и сердце его рвалось угрюмым, беспощадным, необъяснимым предчувствием...

А восьмого августа явился России знак беды: затмение Солнца.

Конечно, природная эта страсть была предсказана в календарях, объяснена доподлинно учеными людьми. Однако грянула она как Божье предостережение. В иное время кто бы слово сказал?

Но в этот час, в самом начале войны, да еще в пятницу, да еще на Успенский пост, да еще, говорили, темнее всего было как раз над южным театром военных действий, который уж будто оттеснял австрияков и мадьяр,— предостережение Господне воспринято было весьма и весьма тревожно.

Павел Кордин не выходил из токарного третьи сутки — тут же и дремал на ящике с ветошью.

Трансмиссионные валы шлепали пасами, и каждый шлепок был похож на звук разрыва. Токари стачивали стружку с шестидюймовых стаканов, небритые, мрачные, будто вскочили не отоспавшись, спохватились и — сразу — к резцам. Стружка тяжелая, вороненая, завивалась рваными спиралями, заваливала торцовый пол цеха, торчала из ящиков.

На тяжелой ручной тележке по малым рельсам катили в цех заготовки из литейного, из разливки.

В цех вошел новенький подпоручик — приемщик Главного артиллерийского управления.

Павел Кордин узнал в подпоручике тамбовского помещика товарища Мишеля, однако виду не подал, ждал.

Но ждать пришлось недолго.

Приемщик артиллерийского управления товарищ Мишель бросился к нему, едва увидел:

— Вы здесь, коллега! Боже мой! Вы — здесь...

— А где же мне быть? — улыбнулся Павел.

— Да-да-да... Разумеется... Как вы тогда были правы!

— Рад вас видеть, Михаил Александрович,— Кордин одобрительно осмотрел его новую гимнастерку, чистенькие погоны,— позвольте спросить — довелось ли вам встретиться с Плехановым?

— К черту! — вдруг закричал товарищ Мишель.— К черту! Мы расстались с братом еще в Вене!.. А где актер? Ну да — конечно, он теперь — враг... Он теперь — там... Может быть, и он повинен в этой страшной развязке...

— Не думаю,— улыбался Павел Кордин,— Адамский ведь — поляк, славянин.

— Оставьте, мой друг! Поляки ненадежны! Они готовы служить цезарю, кайзеру, но только — не царю!

Подпоручик товарищ Мишель, несмотря на свою новенькую гимнастерку, кавалерийские галифе и вычищенные, как маслины, сапоги, остался все-таки все тем же нервным, издерганным юношей, каким был два года назад, когда, обуреваемый высоким долгом революционера, ринулся вместе со своим братом товарищем Вольдемаром в Европу искать великого Плеханова.

— А где Владимир Александрович? — спросил Павел Кордин, не желая углубляться в польскую проблему.

— Не спрашивайте меня о нем! — доверительно округлил голубые глаза товарищ Мишель.— У меня нет больше брата! Он — умер!

Павел Кордин безошибочно определил по тону, что товарищ Вольдемар жив и невредим.

— Он — что же,— осторожно спросил Кордин,— остался там? Он — интернирован?

— Хуже! Он перешел на сторону тевтонов! О, позор!.. Павел Михайлович, разумеется, это — антр ну, пермэтэ муа... Шестьсот лет дворянства! Шестьсот лет! О, позор! Какое счастье, что отца нет в живых!.. Вы знаете, я только теперь понял причину смерти матушки нашей,— товарищ Мишель широко перекрестился,— она ведь умерла... О, провидение!

— Будет вам,— прикоснулся к локтю подпоручика Павел Кордин.— Откуда вам известно, что Владимир Александрович перешел к германцам? Полагаю — это ваше воображение...

— Он — в Женеве! — воскликнул подпоручик.— Мне доподлинно известно: он — интернационалист! Они требовали поражения русской армии!

— Ну и пусть их,— примирительно улыбнулся Павел Кордин.— Чего же вы испугались?

— Всего! — воскликнул подпоручик.— Теперь все против России! Все! Я не верю французам, они — легкомысленны, я не верю британцам, они — коварны! Против нас теперь весь мир! Американцы сидят и ждут, когда начнется дележка шкуры русского медведя!..

— Ну, я думаю, до шкуры еще далеко...

— Нет, не далеко... Простите меня, вы слишком увлечены всем этим,— товарищ Мишель неопределенно показал руками на цех, на штабель снарядных стаканов,— вы слишком, как бы вам сказать, увлечены мелочами...

Павел Кордин тоже посмотрел на снарядный штабель. Стаканы были помечены мелом — риской, минусом — некондиционны.

На штабеле, прикрывая верхний ряд, лежала ветошь — куча ситцевых обрезков, синих в горошек, но подпачканных маслянистой грязцою. Павел Кордин выдернул тряпицу, зачем-то протер схваченный первыми пятнами ржавчины бок стакана и сказал:

— Некондиционные... Мы были бы вам признательны, Михаил Александрович, если бы вы, со своей стороны, подтвердили нашу нужду в оборудовании... Евграф Лукич снесся с генералом Чаплиным... И если вы, как теперь говорят, подтолкнете...

— Что вам нужно? — с детской высокомерной неохотою спросил подпоручик.

Павел Кордин оживился.

— Пойдемте-ка...

Подпоручик тоже выдернул из кучи обрезок ситца и тоже протер стакан, посмотрел на тряпицу и вдруг улыбнулся язвительной беспомощной улыбкой:

— Вы верите в манифест к полякам?

— В какой манифест?! — не понял Павел Кордин.

— Вы даже не знаете об этом манифесте? — с желчным ликованием вскричал подпоручик.

— Признаться, не знаю... То есть я не вижу газет... Вы понимаете, Михаил Александрович, инструментальный цех оказался совершенно неподготовленным к этому заказу... Я ломаю голову над способом заточки резцов... Бабки в станках оказались...

— Оставьте этот вздор! — бросил тряпицу на штабель подпоручик.— Вот вам прямое доказательство: вы, даже вы, образованный, мыслящий человек,— не задумывались над этим манифестом! Вы даже не знаете о нем! Почему его подписал Великий князь, а не государь?!

— Ну и почему?

Подпоручик потянулся к уху Павла Кордина, для чего ему пришлось приподняться на носки. Павел Кордин опустил голову, приблизив ухо.

— Это — пробный шар,— зашептал подпоручик,— это в самом начале неверие в поляков! Утренняя заря... Знамение креста... Символ страданий и воскрешения народов... Поляки изменят! Поляки не могут не изменить! Потому-то государь и не подписал! Великий князь может ошибиться в своих надеждах, государь — никогда!

— Погодите,— выпрямился Павел Кордин и стал вытирать руки ветошью,— кому изменят поляки? Мне кажется, они изменят тому, кто станет их держать силой. Если Великий князь обещал им независимую Жечь Посполиту, они, пожалуй...

— Оставьте! — отшатнулся подпоручик.— Как можно это обещать?

— А! — рассмеялся Павел Кордин.— Стало быть, им некому изменять! Однако мы заболтались, Михаил Александрович. Пойдемте-ка лучше. Мы покрываем стаканы по методу инженера Яглинга. Его состав предохраняет мелинит от соприкосновения с металлом не хуже известных лаков, но он, представьте себе, значительно дешевле!

— Вы что? — нехотя спросил подпоручик.— Опробовали этот состав?

— Разумеется.

— А ГАУ знает об этом?

— Но вы же знаете, сколько времени потребуется на переписку! Достаточно, если ГАУ обратит внимание на наше оборудование...

— Я высоко ценю вашу увлеченность процессом изготовления шестидюймовых снарядов,— медленно сказал подпоручик, как чужому.

— Вы оказываете мне честь,— учтиво ответил Павел Кордин, чувствуя, как трудно товарищу Мишелю быть официальным и как ему хочется говорить о чем угодно, только не о снарядах, принимать которые он, собственно, прибыл на завод. Товарищ Мишель был снедаем желанием рисовать всеобщую картину битвы, воображать ее перспективы и искать в истории предсказания ошибок и промахов Великого князя и его генералов.

— А Артамонов! — вскричал подпоручик.— Хорош! Как он мог оголить левый фланг! — И снова потянулся к уху Павла Кордина: — Молодые офицеры Главного артиллерийского управления убеждены: Ренненкампф — изменник!

Павел Кордин усмехнулся.

— Вы докладывали об этом генералу Кузьмину-Караваеву?

— Шутить изволите? — мрачно спросил товарищ Мишель.— Напрасно. Разве вы не знаете, что генерал Сухомлинов принадлежит к немецкой партии?

— Мало ли кто к какой партии принадлежит? — насторожился Павел Кордин.— Мы ведь с вами — социал-демократы, и это не мешает нам...

— Оставьте наши юношеские увлечения! — торопливо перебил подпоручик.— Как вы можете сравнивать! Мы листали Маркса и увлекались Плехановым! А госпожа Сухомлинова — распутинка! Вы знаете, о чем говорят в управлении? О том, что война пошла плохо из-за того, что в Питере не было этого проклятого старца!

— Кто же это так говорит?

Подпоручик не ответил. Он присел на скамеечку (доска на двух стоящих стаканах, шкворни вбиты с краев в запальные отверстия, чтоб доска не сползала), отстегнул левый кармашек гимнастерки и потащил из него серебряный портсигар. Портсигары теперь носили в левом кармашке, как бы оберегая сердце. Павел Кордин и сам теперь совал свое курево в левую пазуху блузы, хотя до пуль отсюда было далековато.

В тяжелом портсигаре подпоручика оказалась книжечка рисовой бумаги и крупно резаный филич.

— Не хотите ли «Иру»? — спросил Павел Кордин.
— Откуда у вас «Ира»? — недовольно спросил подпоручик.— Впрочем, ясно — тыл...
— Курите,— дружелюбно протянул свой золоченый портсигар Павел Кордин.
Товарищ Мишель взял толстую папиросу, понюхал ев и адруг сказал:
— При Танненберге, в сорока верстах от Сольдау король Владислав Пятый разбил тевтонов... В одна тысяча четыреста десятом году... Теперь тевтоны взяли реванш над славнннами... Вот она — судьба... Ровно пятьсот четыре года...
Товарищ Мишель раскуривал папиросу от тяжелой бензиновой зажигалки в виде снаряда. Зажигалка была саетлой латуни, с красномедным изящным направляющим пояском. Павел Кордин смотрел на товарища Мишеля, соображая, как увязать даанюю победу польского короля, который, как ему помнилось, был не Владиславом, с нынещним чувством товарища Мишеля к полякам. И почему пятьсот четыре года—такой уж ровный срок.
— Будет вам,— сказал он примирительно и сам взял папиросу.— Я не думаю, что Самсонов разбит в отместку за польского короля...
— Извините,— сухо аозразил подпоручик и выпустил дым вниз, к сапогам,— история славянства вам не близка... Я нв смею вас упрекать этим, Боже упаси...
— Будет вам,— повторил Павел Кордин,— а если и упрекнете — что это изменит? Мне кажется, Михаил Александрович, вы ищете в истории каламбуров. Меня они не занимают. Меня занимает другое — сорок два стакана из ста некондиционны. А у этих самых тевтонов — всего одиннадцать. Вот вам и весь польский король...
— Но Владислав победил! — аскочил подпоручик.
— Топорами! — спокойно сказал Павел Кордин.— Топорами и мы победим, если навалимся впятером на одного...
— Значит, вы верите а победу?
Павел Кордин аздохнул:
— Как инженер я могу лишь свидетельствовать, что изготовить топор значительно легче, чем снаряд...

57

Грузный, как слон, Родзянко сидел в кресле мешком, необъятные полы расстегнутого сюртука его довисали до паркета. Он дышал не быстро, по-бычьи, и маленькие глаза председателя Государственной думы зло налились краснотою. Глядел он на Коршунова исподлобья, будто в этом шустром непоседливом купце и была причина горестного неудовольствия.
Небольшой кругленький Коршунов не робел взгляда, улыбался, и улыбочка эта добавляла Родзянке желчи.
— Позор! — пророкотал Родзянко.— Стыдно за Россию!
— Эка спохватились! — повернулся на каблучках Коршунов.— Сколько сапог-то просит Великий князь?
Родзянко обмяк, вздохнул, сказал негромко:
— Четыре миллиона пар...
— Всего-то? — рассмеялся Коршунов.— Ну, а коли дадим ему сапоги — побьет Вильгельма?
Родзянко не ответил, молчал, думал. Коршунов ждал с улыбкой.
— Да-да,— закиаал большущей головой Родзянко,— война как снег на голову...
— Удивили,— раскинул ручками Коршунов.— У нас война всегда как снег на голову. Пора бы приаыкнуть... И японская как снег на голоау,— махнул ручкой,— и турецкая,— тоже махнул,— и крымская... От самого Гостомысла — и все как снег на голову... Ладно вам думать! Триста тысяч пар поставлю на алтарь отечества, а в остальных — не виноват... К январю поставлю... Что же вам Маклаков-то произнес, Михаил Владимыч?
Родзинко нахмурился.
— Я ему показал письменное заявление Великого князя и изложил обстоятельства двла... Я сказал, что промышленники соберутся на съезд...
— Собраться недолго...
Родзянко выпрямился, положил руки на немалый живот, пальцы в пальцы, и зычно, заставлня звенеть хрустальный стаканчик, возвестил:
— Он отказал. Это, гоаорит, будет нежелательной,— Михаил Владимирович подчеркивал желчью слова господина министра внутренних дел,— и всенародной демонстрацией в том направлении, что в снабжении армии существуют непорядки...
— Экий дурак, прости господи! — всплеснул руками Коршунов.— А то так не видать непорядков!
Коршунов вздохнул, помолчал и вдруг рассмеялся:
— Ай да мы! Не живем — срам в лапоть прячем! И никак не приноровимся — то ли лапоть мал, то ли срам велик! А? Михаил Владимирович?

Родзянко не позволял неприличностей, но коршуновское терпвл, делая вид, что не слышит.
— Стыдно за Россию,— обхаатил руками голоау Родзянко,— армия без сапог...
— Да откуда ей быть в сапогах-то! — протянул Коршунов и лукаво добааил: — Надо к государю!
— К государю?! — прогремел Родзянко и восстал из кресла.— А аы знаете, милейший Евграф Лукич, что еще изволил сказать мне господин министр внутренних дел?
— Да уж сказал,— поаернулся к окну Коршунов.
Родзянко приблизился, проговорил тихо:
— Министр заяаил, что не хочет давать разрешения, так как под аидом поставки сапог промышленники начнут делать революцию...
Коршунов повернулся, едва не зацепив Родзянку. Сунул руки в карманы, задрал голову и глянул на председателя — воробышком на индюка.
— Ну-к што ж... А неплохо бы, Михал Владимыч!
Родзянко поднял брови, затряс седоватым клинышком бороденки, зареаел до звона стекол:
— Милостиаый государь! Я — подданный своего императора!
— Да бог с ним, с императором! — весело, вовсе в разлад родзянкинскому реву пропел Коршунов и аынул ручки из брюк.— Бог с ним! Но Маклакову вы, чай, не подданный? Доколе Россией прохвосты править будут, аот вы что мне скажите! Доколе купец а просителях ходить будет? Долой их к чертовой матери, вот они мне где!
Коршунов полоснул себя ладонью по короткой шее. Родзянко, аыкатив маленькие глазки, отступил от него:
— Что вы такое говорите, Евграф Лукич?..
— Дело я гоаорю,— наступал Коршуноа, краснея и добавляя звона а тонкий свой голос,— войну эту просрем, господин председатель Государстаенной думы! Как японскую просрали! А почему? А потому, что а правительстве барин сидит, как в аотчине, а купец при нем в оброчных мужиках доселе ходит! Что — не так?
Родзянко опустился в кресло, вытащил платок, утерся, пробормотал львиным бормотанием:
— Не ко аремени разгоаор этот затеяли, Евграф Лукич, не ко времени... Война... Отечестао в опасности...
— Отечество? — наклонился к нему Коршунов.— Вона — отечество! Пол земного шара! Весь лес мира, весь хлеб! И чего? Нитку железную проволокли, слааа тебе господи, до Владивостока! Мерси!
Евграф Лукич не волок нитку до Владивостока — волокли другие. Но асякое дело с размахом и риском, сделанное без него, саднило ревностью, великим нетерпением — когда же мой черед города ставить, землю всколыхивать? Неуемная, ненасытная душа была у Евграфа Коршунова.
— Чем немец-то лучше меня? — выпрямился Евграф Лукич.— Что же мне — американство не под силу?!
— Под силу, под силу,— отмахнулся Родзянко.
— Нет,— аозразил Коршунов,— не под силу! Барин надо мною сидит! Чего изволите от меня требует! Нероаен час — сечь на конюшне велит! А я — купец! Промышленник! Капиталист! Вокруг меня семьдесят тысяч человек кормится! Мастеровые! Самый навар человеческий! Пролетарий асех стран! Машину знают! Металл! Электричество!.. Эка невидаль — четыре миллиона пар сапог!.. Да дайте нам, купцам, десять лет своим умом пожить — будет такая Россин — никакому американцу не снилась! А царь — бог с ним! Пущай себе. Царь купцу не помеха..
Родзянко снова сложил руки на животе — пальцы в пальцы. Еаграф Лукич глянул на председателя российского парламента весело, дружелюбно и не сказал, а как бы размечтался:
— Сидел бы батюшка наш царь-государь на златом троне, в сторонке и ноготки бы чистил, светясь миропомазанным ликом! И — не мешался бы, не тяготил бы душу саою... А мы бы уж сами министров принаняли, чтобы трудились, а не чаанились... А заворуется — в шею! Как у кузена нашего, в Англии...
Родзянко, должно быть, приравнял это вольнодумие к обыкновенному коршуновскому острословию, к неприличным его выходкам и сделал вид, что не слышал. Тяжело повел бычьей головою.
Евграф Лукич усмехнулся, подошел к столику, надавил ухо сифона, наточил себе в хрустальный стакан сельтерской, аыпил, капля из стакана расползлась по лацкану клетчатого сюртучка. Поставил стакан на хрустальный подносик и — без веселья, без дружелюбия, с горькой обидой — сказал:
— Съезд... Ну и где ж теперь сапоги для православного воинства добудет министерия? Аль босиком воевать?
Родзянко выразил было неудовольствие бровями, но Коршуноа не дал слова сказать, отмахнулся ручкой.

— На поклон к иноземцу пойдем! Не впервой! И дадут нам господа иноземцы, что им негоже,— лапти на аглицкий манер! Во французские боты русского Анику оденете! Лишь бы купцов до гласности не допустить! Ай, народ! Ай, долготерпеливый...

— Евграф Лукич,— повысил голос Родзянко,— Государственная дума, дарованная народу государем императором...

— Дарованная! — перебил Коршунов.— То-то и оно, что — дарованная! Как бы назад не забрал! Эк вам камергерский ключ никак сидеть не дает — впивается в то место! Не дарованная нам Дума нужна, а волею народа установленная!

Родзянко хмыкнул.

— Как же вы ее установить изволите волею народа? Речи не новые. Не состоите ли в единомыслии с господином социалистом Чхеидзе?

— А хоть с диаволом! — воскликнул Коршунов, легко перекрестился и присел на стул рядом с Родзянкой.— Вот что, Михал Владимыч, триста тысяч пар сапог я поставлю... Я кого надо и без самодержавия соберу.— Родзянко шевельнул бровями.— Погодите... Я — сам по себе, как патриот... Желая внести лепту... Патриотам-то еще дозволено ходить самим по себе? Или и их — а загон к Маркову?

Родзянко горестно закачал головою.

— Трагизм... Кто поверит? Горишь желанием помочь, и бескорыстная помощь отвергается без существенных оснований... Я вот спрашиваю себя: Евграф Лукич, может ли война быть выиграна усилием одного правительства? Способно ли оно на это?

Коршунов покосился на Родзянку снисходительно, ничего не ответил, встал, подошел к столику, открыл крышку сигарного ящичка, выбрал гавану, рассмотрел ее досконально, взял щипчики, отсек кончик над хрустальной пепельницей, поднял тяжелую бензиновую зажигалку в виде орудия — мортиры, взвесил на руке, кресанул большим пальцем колесико, раскурил сигару.

Родзянко шевельнул ноздрями, чувствуя успокоительный запах заокеанского табаку.

Коршунов набрал дыму и, выпячивая нижнюю губу, выпустил его в далекий лепной потолок.

— У нас, чтобы пользу отечеству совершить, надо первым делом обмануть министерию... Иначе нельзя.

Он подошел к окну и глянул на Исаакия, будто оценивая: чистое ли злато на куполе его. Оценил, подумал и, не оборачиваясь к Родзянке, сказал:

— Православие, самодержавие... Четыре миллиона пар солдатских сапог... Тьфу! Нельзя — революция получится...

И, резко повернувшись на каблучках, добавил, сощурившись:

— А ведь получится, Михал Владимыч! Помяните мое слово!

Сигара в руке его тлела толстым серым густым пеплом...

Пятнадцатый год

58

Сергей Суровцев выпущен был поручиком досрочно, по настойчивым своим рапортам.

Находиться в тылу, даже в Академии Главного штаба, было невыносимо, когда шла война.

Десятого января он явился на Литейный, вбежал по размашистой, пологой, кругом идущей лестнице на третий этаж и, замирая сердцем, надавил кнопку электрического звонка.

Дверь открыла не горничная Мавра, а сама Сонечка, открыла враз, будто нетерпеливо ждала за дверью.

Она была в темном платье взрослой, совсем взрослой дамы, в платье с большим вырезом, в котором слегка давали о себе знать тоненькие ключицы. Пушистая песцовая горжетка накинута была широко, на плечики, не прикрывая выреза платья. Смугловатое Сонечкино лицо показалось бледным, приоткрытые ожиданием, испугом, неведеньем, радостью губы чернели на бледном лице. Черные глаза светились все тем же испугом и неведеньем, смотрели умоляюще.

— Со-неч-ка! — простонал Суровцев и, не владея собой, холодный с мороза, в шинели, закутанный башлыком, из-под которого по плечам высовывались золотые погоны, обнял ее.

Они стояли в прихожей молча. Сонечка иногда поднимала голову, смотрела в лицо и снова прижималась щекою к сукну, к холодной пуговице, которая заметно теплела.

— К-ха,— услышали они оба и пришли в себя, ощутив действительность.

Статский советник Лев Ильич Малышев стоял в открытой двери своего кабинета — сероусый, с черными бровями и досадной лысиной, никак не идущей ни к усам, ни к бровям.

— Папа! — вскрикнула Сонечка и бросилась к нему.

Лев Ильич похлопал дочку по спине (по пушистому меху горжетки) и крикнул:

— Мавра!

Мавра выскочила вмиг — костистая, длиннорукая, в куцем передничке, всплеснула руками:

— Ой, батюшки! Сергей Михайлович, красавец наш, бравый офицер, а я-то! Ай, негодница!

И — распутывать башлык, расстегивать шинель, как раздевают малышей.

— Ну,— отстранил Сонечку статский советник,— вырвался на поле брани?

Сергей Суровцев, раздетый Маврой, щелкнул шпорами, кивнул, ткнувшись подбородком в горло, объявил:

— Поручик Суровцев, к вашим услугам.

— Ну, красавец,— любовался Лев Ильич,— ну, хорош! Ну, шельмец!

И развел руки — челомкаться.

— Софья! Маара! Ах ты, боже мой! Что же мы стоим? Мавра! Водочки нам с господином поручиком! Пожалуйте в кабинет, ваше благородие! Ну — вылитый ты Михаил! Ах, не дожил... Софья! Вылитый полковник Суровцев! А! — Махнул рукой.— Откуда тебе знать! Мавра! Где барыня?

— Барыня с утра...

— Да знаю я, знаю! Софья! Ступай к себе!

— Папа, я не хочу к себе. Я хочу — с вами.

— С нами... Что же ты — водку с нами трескать станешь? Видел, Сергей Михайлович? Молодые барышни, а? С утра — водку! Вот — времена пошли! Куда же тебя назначили?

Святки кончились, можно было браковенчаться.

Они были посватаны с детства, с семейных шуток. Сергею казалось — он помнит Сонечку новорожденную, на крестинах. Лев Ильич поддерживал эту выдумку, потому что любил Сережку. Сережка не был на крестинах: в те дни он болел скарлатиной — еле выходили...

Суровцевы были военными из рода в род, со времен царя Петра Великого.

На японской войне маменька Сергея, Евдокия Филипповна, находилась при супруге своем, полковнике Михаиле Ивановиче. Мальчика они оставили под присмотр Малышевых. Он воспитывался в кадетском корпусе на Васильевском острове.

Сонечке Малышевой исполнилось девять лет, а Сергею четырнадцать, когда Евдокия Филипповна перевезла через всю империю скорбный груз — гроб полковника Суровцева, убитого в деле под Порт-Артуром. Гроб был запаян. Сонечка никак не могла вообразить, что там, в черном длинном ящике,— дядя Миша. Она боялась ящика и прижималась к Сереже, который стоял каменно, вытянуто и гладил ее по голове.

С того дня, с десятого января пятого года, никто уже не пошучивал над ними «жених и невеста», потому что девочка обнимала отрока, как взрослая женщина, ищущая защиты от беды только в нем и больше ни в ком.

И вот счастье — повенчать перед позициями, благословить на любовь и совет.

Маменька, Евдокия Филипповна, благословляя, сказала зардевшейся Сонечке:

— Мальчика роди... Мальчика... Суровцевым мальчик нужен... Чтоб служить... Родишь — вот эти сережки тебе отдам... Они — стародавние...

Свадьба была веселая и тревожная. Лев Ильич прослезился спьяну; теща, Елена Петровна, смеялась, утирая мужу счастливые слезы...

— Ждем с победою новобрачного! К семейному очагу!

Маменька поднесла Сергею в добрый путь только что отпечатанную новую Библию и написала на первой странице: «Не умрешь, но духом оживешь. От мамы».

59

Арест большевистских депутатов Думы, ссылка их в Сибирь насторожили Евграфа Лукича. Разумеется, если девчонка вздумает социал-демократствовать и будет схвачена — Евграф Лукич уж как-нибудь вызволит ее. Однако, полагал он, спокойнее было бы не допускать до крайности, занять делом важным, нешуточным, ответственным.

Евграф Лукич не мог уразуметь социал-демократской истины: сначала-де свалить власть, а потом уже заниматься житейскими делами. По Юдифи выходило, что пахать-сеять тщетно, покуда над всем — самодержавие. Детский забавный вздор этот удручал Коршунова: уж больно был заманчив для российского бездельника. Вздор сей осенял благословением громогласное российское ленивство, вековую веру в чудеса.

Дух народный, восставший на тевтона, был, по разумению Евграфа Лукича, делом

важным, по крайней мере в начале войны, когда обнаружилось, что — ни сапог, ни снарядов на святой Руси. Дух сей, раздуваемый патриотским кликушеством, надо было бы поддержиаать. Был он все той же верою в чудо. Хотел верить русский человек в казачью пику, на которую славный Кузьма Крючков принимал дюжину австрияков за раз. Дух, отделенный от естества, от сути бытия, от истинной жизни, увлекал не одни ребячьи головы простых людей, увлекал он людей опытных, дельных, увлекал он и самого Евграфа Лукича.

Дух народный был силою великою именно потому, что был бездумен. Но когда потекут в тыл калеки, когда пропадут на поле брани безвестные герои, когда вломится смерть — дух иссякнет. Это Евграф Лукич чувствовал нутром. И что тогда? Вера в чудо неизбывна в русском человеке. И как знать, не кинется ли он куда полегче — за социал-демократами, звавшими в Думе к поражению России?

Вся российская социал-демократия сосредоточилась для Коршунова на девчонке. Занять бы социал-демократию истинным делом, отвадить от крикливого бездельн, ткнуть воспаленные вздором глаза не в чудо, а в суть жизни.

Давняя ревность Евграфа Лукича к железным дорогам, в которые никак не удавалось ему вломиться, нашла вдруг свое выражение: купил девчонке санитарный поезд.

Поезд этот (девять вагонов) удовлетворял Евграфа Лукича по всем статьнм. И была среди них статья немаловажная, честолюбивая, ставящая Евграфа Коршунова в единый ряд с царским домом, которому он как бы утирал нос: среди поездов под знаком августейших владелиц будет ходить и санитарный поезд мадемуазель Берг. И еще удовлетворял свое честолюбие Евграф Лукич тем, что оборудование поезда, говорили, как бы не превосходило новшествами иные поезда.

Вот так и надо укрощать самодержавие, думал Евграф Лукич, не криками в Таврическом, не прокламациими на фабриках, не бомбами в сановных пустодумов, а единым делом, истинным милосердием длн малых сих, которым судьбою предназначено верить в чудеса, истекая всамделишной кровью.

А пока — ни сапог, ни снарядов на Руси, вот она и вся политика. И пока сатанятся левые-правые, пока решают, как быть с самодержавием-православием, — надо воевать.

Евграф Лукич сдержал слово, данное Родзянке: поставил к январю обещанные сапоги, разместив заказ по малым мастерским.

Родзянко сокрушался — может ли Россия выиграть войну одними усилиями правительства? Евграф Лукич переводил сокрушение это на простой язык: может ли народ победить одним начальством? И выходило — не может.

Коршунов делал снарядные стаканы на своем Южном заводе. Он понимал, что врозь работать на войну никак нельзя, нужно объединяться, кооперироваться, прибирая к рукам мелкие производства, вводя единую технологию, единый образец, чтобы — скорее, лучше, больше.

Французские союзники предложили образец.

В середине нинваря в Петроград прибыл лейтенант-колонель Ньо с миссией военных знатоков. Великий князь Сергей Михайлович все никак не находил времени принять их. А пока они слонялись без дела, кое-кто уже стал поговаривать: зачем прибыли? Не по их ли иноземной милости Россия оказалась не готовой к войне? Но Великий князь принял подполковника, и сразу сделалось легче: патриоты стали давать наперебой обеды в честь верных друзей по оружию.

Но Евграф Лукич застольным патриотизмом не страдал. Он был человек дела. И дело назревало серьезное: московские промышленники объединялись в особенную организацию, чтобы осуществлять на своих заводах французский образец. Во главу этой организации назначен был начальник Брянского арсенала генерал-майор Семен Николаевич Ванков, болгарин, герой давно позабытой Шипки. Он еще до войны не давал покоя Главному артиллерийскому управлению, торопя своими рапортами налажиаать достойное военное производство. Но до войны было как до войны: уж не учит ли беглый братушка Главный штаб? Уж не хочет ли показать, что он больший патриот, чем русские люди?

И вот — пожалуйте, господин болгарин, покажите на деле, какой аы патриот нового своего отечества! Тем более — старое ваше отечество находится в состоянии войны с Российской империей.

Семен Николаевич был невелик ростом, суховат, жилист, брови имел нахмуренные, седые, седые же и усы. Усы его были пышны настолько, что разговариаал Семен Николаевич в нос, и не видно было, как шевелит губами.

— В России все можно сделать,— бубнил а усы Ванков,— при содействии власти...

— Можно,— улыбался Коршуноа,— можно при содействии, а нужно при сопротивлении.

Генерал вздохнул, подумал, покосился на даерь.

— Евграф Лукич... Рассчитываю на ваше искреннее сотрудничество... Мнится мне, что войну выиграет не власть, а частная промышленность...

— Давно бы так! — обрадовался Коршунов.— Выиграть бы... А там разберемся и со властью...

60

Начальник сорок аосьмой диаизии Лавр Георгиевич Корнилов, небольшой, как отрок, в сизом картузе, надвинутом на желтоватое калмыцкое лицо так, что лакированный козырек мешал глазам, задирал голову, хорохорил гнедую резвую молодую кобылу. Ноги генерала торчали в стороны опрокинутой ижицей, оттягивали короткие стремена. Лавр Георгиевич не присаживался в казачье седло, пружинил на распертых ногах над широкою лошадиной спиною.

Вчера к полудню Макензен остановился перед деревней Краб, должно быть, не понимая, что происходит. Лавру Георгиевичу не моглось отрезать германский арьергард, заскочить в тыл Макензену аккурат двадцать третьего апреля, в Егорьев день.

Дуклинский перевал манил синим непроглядным лесом. Лаар Георгиевич искал места оглядеться, сообразить. Казачья полусотня — донцы на гнедых тонконогих конях — приплясыаала аслед, не смея ни обогнать, ни поровняться. Генерал был удачлиа, страху не знал, донцы уважали храбрость, понимали — к концу дела да еще в светлый праздник всем быть с Георгиями. Кони казаков прикрыты были под седлами белыми потниками — чего греха таить, позаимствовали в жидовском местечке пикейные марсельские одеяла. Лавр Георгиевич грабежей не допускал, но к своей личной полусотне был весьма снисходителен, понимал: вынесут из любой беды, проскочут, где и дьяаол не пройдет...

Тридцать шесть трехдюймовых орудий — шестерка цугом в каждом, при двенадцати снарядных ящиках — растянулись обозом по неверной горной тропе, торопясь к переаалу ударить германца в расстрел. Мокрая, не просохшая с весны горная глина скользила под копытами, измазанные солдаты помогали коням, проворачивая колеса за спицы.

Начальник третьего орудия вольноопределяющийся Луппоа, маленький и крепкий, как буковый корешок, понукал негромким голосом не то лошадей, не то канониров, понукал через силу, которая вся ушла на провороты лафетного колеса. Трудился он справа, со стороны обрыаа, упираясь сапогом в обвалиаающиеся валуны. И вдруг снизу, как а ответ на сброшенный аалун, как из ничего, выскочил австрияк в высокой мадьярской шапке, заляпанный глиною и испуганный. Глина налипла на черные венгерские усы, будто австрияк полз к дороге не на одних карачках, но еще помогая себе острым носом. Вслед пробирался второй неприятель.

Не отпуская спицы, в которую упирался плечом, вольноопределяющийся Луппоа потянулся к карабину, но заметив, что австрияки безоружны, только вытер глину со лба осаободившейся рукою.

— Ниц стреляй! — закричал неприятель и, сделаа руками круг в воздухе, выпучил черные опухшие глаза.— Цурюк! Ниц!

Затем он откинул руку далеко назад:

— Зо! Дорт!

Вольноопределяющийся Луппоа отпустил спицу и спросил по-немецки:

— Что вам угодно?

Усатый мадьяр обрадовался:

— Куда аы?! Вы же окружены! Вы а кольце! Мы с товарищем — кианул на второго — решили сдаться а плен! Теперь едаа ли нам это удастся!

— Но пока вас придется допросить,— тихо сказал вольноопределяющийся Луппоа.

— Разумеется! Но нас не о чем допрашивать! Макензен прет на Ламберг, и вы его не интересуете больше! Вас отрезают от осноаных сил! Что вы медлите?!

И едва он это выговорил — из долины под самой тропой разораался тяжелый снаряд. Он вылетел откуда-то из тыла, за ним грохнулся второй, третий, азметнув камни, аыаоротиа дерево. Лошади попятились, пушки подались назад, клюнув дулами в глину. Четвертый снаряд угодил а ящики второго орудия...

Конь поручика Суровцева застрял в буреломе, должно быть, сломал ногу. Конь гоготал, как исходил от аеселья, дьявольским смехом. Поручик побелел, не находя в себе решимости пристрелить лошадь. «Конь — это ноги, конь — это ноги»,— почему-то застучала в голове Суроацева присказка аахмистра на плацу. Присказка стучала больно. А конь гоготал радостным хохотом, изумленный слезящийся глаз его задорно, даже насмешливо косился на Суровцева, будто подстрекал его на озорство.

— Свят-свят-свят,— забормотал поручик, открещиааясь от лошадиного глаза, и вдруг, подняа лицо горе, осенил себя широким крестом: — Господи! Прекрати муку его! Снаряд сюда, снаряд!

О себе он не думал.

А снаряды рвались недалеко, асего в ста саженях, и ни один, ни один-единственный не долетал сюда.

Сквозь сатанинский хохот коня Суровцев услышал тонкий голос ординарца:

— Ваше благородие!

Петренко сиганул откуда-то с неба, рванул с разбега на Суровцеве кобуру, выхватил наган и с разбега же, вставив дуло коню в ухо, выстрелил.

Выстрел был негромкий, как щелчок. Оборвавшийся вмиг конский гогот обессилил Суровцева. Поручик опустился, тяжело дыша.

— Ваше благородие,— привалился на коленки ординарец,— раненые?

— Спасибо, Афанасий Иванович...— выдохнул Суровцев.

Сквозь мокрые жухлые прошлогодние листья рядом с синим диагоналевым коленом Петренки пробивался жиденький горный подснежник.

— Ваше благородие,— заторопился Петренко,— так что, должно, мы — попали... Бутуз убитый... Обстреляли за той кучей... С пулемета, ваше благородие! Оттого отстал я...

Суровцев вскочил.

— Петренко! Надо выполнять приказ!

Ординарец кивнул.

Тяжелый буковый лес обступил их. Мертвый конь уперся головою о вывороченный сук бурелома. Незакрытый стеклянный глаз коня смотрел с изумлением мимо всего, ни на чем не задерживаясь...

— Даже крови нет,— сказал Суровцев и снял фуражку.

— Она — с того боку,— пояснил Петренко,— навылет.

Он подумал и стащил с чубастой головы разрезную солдатскую папаху.

Поручик Суровцев увидел генерала Корнилова неожиданно. Лавр Георгиевич пружинил над лошадью.

— Братец,— сказал Лавр Георгиевич бородатому уряднику,— вздень-ка это на пику...

И показал пальцем в белый потник.

Урядник нехотя спешился, отпустил подпругу, раздевая коня.

— Ваше благородие,— испуганно шепнул Петренко Суровцеву,— никак в плен хотять!

Урядник спешил еще двух казаков, и они втроем прилаживали к пике грязноватое белое марсельское покрывало.

— Ваше благородие! — вдруг схватил Суровцева за руку ординарец.— Не ходить! Скажемо, шо поздно! В плен же, ваше благородие! В плен!

Приказ командира корпуса — немедленно прекратить наступление — догнал Корнилова слишком поздно.

Суровцев выскочил на поляну, подбежал к Корнилову, вытащил из-за пазухи пакет.

— Ваше превосходительство! От командира корпуса!

Корнилов присел в седле, косые калмыцкие глазки его поблескивали из-под козырька с виноватой насмешливостью.

Он принял пакет, осмотрел его, не вскрывая.

— Алексей Ильич!

Адъютант Корнилова, одетый с иголочки — новая серая бекешка и сбруя по фигурке,— направляя коня бочком, приблизился вмиг, держа в руке карандаш.

Послюнявив кончик карандаша, Лавр Георгиевич приложил нераспечатанный пакет к рожку седла, расписался на пакете и протянул Суровцеву:

— Поручик... Приказываю... Любым способом вернитесь к Николаю Семеновичу и доложите: генерал Корнилов без нужды в плен не сдастся... Но губить дивизию не станет... Это вам доказательство, что вы выполнили приказ... Ступайте... Храни вас Бог!

И — перекрестил.

— Неужели в плен, ваше благородие? — бормотал Петренко, пробираясь вслед за Суровцевым.— Могли же проскочить...

Суровцев молчал.

— Дошлые какие,— бормотал Петренко,— ежели, значить, сцапают — пакет надо сничтожить... Стало — шо был у них — не докажешь... Надо, значиться, шоб не сцапали...

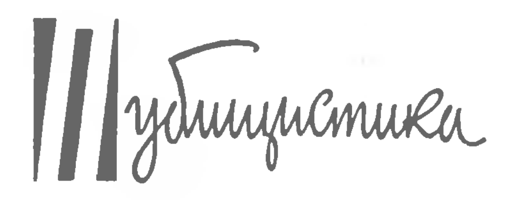
Суровцев усмехнулся. Петренковское хитроумие поставило загадку: зачем понадобилось Корнилову вернуть нераспечатанный приказ?

Они шли наугад, не зная, где находятся. Суровцев старался держаться востока — так, чтобы замшелые бока стволов оставались справа.

— Видишь, Афанасий Иванович, приказы надо выполнять,— сказал Суровцев.

— Пофартило, ваше благородие, а могло — не пофартить... Стало — Егорьев день... Пофартило...

Продолжение следует



Ральф Шрёдер

«КОПЕРНИКОВО ОТКРЫТИЕ» ВЛАДИМИРА ТЕНДРЯКОВА

1

На особый замысел «Метаморфоз собственности» Тендряков косвенно указал в одном из своих последних интервью, данном немецкому изданию журнала «Советская литература» (№ 11, 1983 г.): «Много лет я в меру своих сил пытался показывать нравственность, так сказать, «в картинках», теперь хотелось бы понять, что это такое. Существует известный стереотип — нравственность не что иное, как личное качество. Существуют, мол, люди добрые по натуре и злые, честные и бесчестные, равнодушные и отзывчивые. Одни способствуют укреплению взаимоотношений, другие их разрушают. Вся беда в дурных людях.

В то же время каждый из нас знает, что на протяжении всей обозримой истории человечество строилось на принципах антагонизма — одни угнетали, насильничали, другие подчинялись, терпели насилие. Без насилия не вырастал колос в поле, не появлялся хлеб на столе. В такой обстановке проявлять добро было не только труднее, чем зло, а зачастую просто невозможно. Значит, не от личных качеств, не от воли дурных людей зависел нравственный уровень жизни — от сложившихся обстоятельств. Сложившихся независимо от человека, предопределенных самим ходом развития. Истоки нравственности не *внутри* нас, а *вне* нас. В этих-то внешних факторах — как они образуются, по каким законам, каким образом на нас действуют — я и пытаюсь сейчас разобраться». А затем Тендряков пояснил: «В журнале «Новый мир» лежит сейчас мой новый роман, тема которого — решение таких вот теоретических вопросов».

Речь шла о романе «Покушение на миражи», появиться которому на страницах «Нового мира» было суждено только в 1987 году. С помощью этого романа Тендряков хотел тогда уже сделать доступными широкой общественности важнейшие открытия и мысли, развитые им в «Метаморфозах собственности». Но сами по себе «Метаморфозы собственности» были задуманы и написаны как заключительная, обобщающая глава его обширного творческого наследия, первые главы которого составили рассказы и повести «Пара гнедых», «Хлеб для собаки», «Параня», «Донна Анна», «Охота», «На блаженном острове коммунизма», «Люди и нелюди», «Революция! Революция! Революция!». Так что «Метаморфозы собственности» следует рассматривать и понимать именно как составную и заключительную часть этой необычной книги.

2

Первые части этой книги Тендряков читал мне летом 1973 года. Юрий Трифонов, который привез меня на дачу Тендрякова в Красную Пахру, уже подготовил меня к тому, что я встречусь на этот раз с совершенно другим Тендряковым, услышу настоящую боль-

---

Ральф Шрёдер (р. 1927) — литературовед и критик. Член правления Союза писателей ГДР. Доктор философии. Автор многих работ по русской и советской литературе, в том числе о творчестве Достоевского, Горького, Тынянова, Булгакова, Эренбурга, Трифонова, Тендрякова, Айтматова, Окуджавы и др. Автор книг «Обновление Горьким традиции Фауста» (1971), «От постижения личности к постижению мира. Актуальные дискуссии советской литературы» (1977), «Роман души, роман истории» (1986) и др. Живет в Берлине.

шую литературу, столь своеобразную потому, что написана она без оглядки на «внутреннего цензора» и рассчитана не на то, что будет напечатана при нашей жизни, — нет, ее беспощадный реализм адресован грядущему веку. И Трифонов полагал, что домой к нему я вернусь лишь поздно ночью, потому что Тендрякову нужен слушатель — ведь он убежден, что до читателя ему не дожить, а я буду для него как раз подходящим собеседником.

Но несмотря на то, что Трифонов подготовил меня, я был так потрясен услышанным, что еще долго потом не мог думать ни о какой иной литературе. Однако надо сказать, что вначале я воспринял эти рассказы только как законченные отдельные произведения. И лишь много позже, в последующие годы, когда я постепенно познакомился со всем циклом, мне открылась «сверхзадача», которой были подчинены все части этой книги и на которую они работали. Тендряков стремился разобраться, почему же все было так, как было, и какие практические уроки следует извлечь из исторических реальностей прошлого и настоящего для развития «сообщности» — сообщества всех на основе активности каждого. И если Юрий Трифонов, говоря о своих книгах «Время и место» и «Опрокинутый дом», определил свой труд как «роман-пунктир» (в интервью журналу «Веймарер Байтреге» в 1980 году), то Тендряков так сказал мне, имея в виду свою книгу, в которую войдут и уже написанные им к тому времени «Метаморфозы собственности»: «Это — мое «Место и время», мой «Опрокинутый дом», мой роман-пунктир...»

Трифонов дал такое описание этому жанру: он имеет в виду «книгу, которая состояла бы из отдельных произведений: новелл, коротких романов, эссе и т. д. Но это... не сборник, а единое целое. Скорее всего, роман... Пунктирная линия жива, пульсирует, она живее, чем сплошная линия. Вспомним, например, роденовские рисунки. Но и в пунктирной линии должна быть абсолютная точность. Это трудный метод. Здесь не должно быть ничего вялого, расплывчатого, никакой воды, ничего бессодержательного. Здесь должны быть сплошные мускулы. Каждая глава романа...— новелла, которая может существовать отдельно, автономно, но одновременно все главы связаны друг с другом. Они соединены не только образами романа, но и временно́й цепочкой... своего рода пунктирная линия, которая образует единый рисунок».

Но в то время, как Трифонов пытается показать пунктирной линией «весь поток времени, несущий всё и всех», исходя из повседневной жизни, Тендряков анализирует весь исторический процесс путем экстремального обострения и внешне новеллистической завершенности событий, которые у него имеют характер сюжетно законченных эпизодов. Однако это — кажущаяся законченность. Мы имеем здесь дело с развитием новой жанровой формы в виде концентрированного выражения новых взглядов на историю. Пожалуй, первым это тонко подметил Андрей Битов: «Интересный рассказ появляется сейчас, как мне кажется, лишь на стыке жанров, на границе перехода из жанра в жанр... Края такого «нового» рассказа размыты — нет, это не сырость, невнятность речи — это *неограниченность жизни*. Такой рассказ можно было бы представить себе как отрывок или главу из прекрасной большой вещи, в этом отрывке или главе непонятно как угадываются примыкающие к ней неизвестные главы. Эти неведомые главы таинственно существуют в таком рассказе, и поэтому особенно волнует в нем все пропущенное, все сказанное мельком и вскользь, все неупомянутое даже. Нет, это не опостылевший из-за подражателей хемингуэевский подтекст... В таком рассказе чистый воздух, в нем легко дышится, в нем именно появляется настоящая деталь, придающая повествованию пространство и жизнь».

3

Тендряковский «роман-пунктир» по своему исходному пункту и сюжетным рамкам есть история становления личности автора. Вот это и определяет особое место «Метаморфоз собственности» в его романе.

Когда я прочитал «Метаморфозы собственности», Тендряков сказал мне во время одной из наших прогулок-дискуссий по лесу в Красной Пахре:

— Вот я и открыл самое важное, до чего смог добраться в своей жизни. В будущем я стану лишь варьировать это открытие в других вещах — развивать дальнейшие аспекты на разных предметах и в формах, которые «проходимы» у нас сегодня.

Прозвучало это очень решительно. Чувствовалось, что он все тщательно продумал. Это был категорический императив для его дальнейшего творчества.

И в интервью Тендрякова Берлинскому радио ГДР в октябре 1976 года мы тоже слышим — косвенно, метафорически, в подтексте — его «показания по делу» «Метаморфоз собственности» (потом он сам подтвердил мне это). А в качестве метафоры он выбрал открытие Коперника:

— Художественность требует остроты проблемы. Заостренность — вот что определяет художественное качество произведения... Литература должна заставлять человека задуматься. Художники вынуждены видеть то, чего другие пока не видят. Если писатель

порождает у читателя чувства, которые у того уже были, то роль писателя обесценивается. Зачем нужен читателю такой писатель, коли он и без него уже так чувствовал? Здесь мы сталкиваемся с очень важным вопросом. У нас очень часто думают, что когда дело касается жизни, а духовном освоении жизни всегда право большинство. Да нет же! Большинство право далеко не всегда. Как раз те, кто способен видеть дальше, вторгаться глубже в жизнь своими мыслями, кто открывает неизвестные до этого противоречия, — как раз они ставят в действительности вопросы, касающиеся жизни. То же и в науке. Веками люди видели, что Земля неподвижна, а Солнце вращается вокруг нее. Но пришел человек, сначала один-единственный, по имени Коперник, который сказал: «Послушайте, все совсем не так, а наоборот: Солнце неподвижно, а Земля вращается вокруг своей оси и вокруг Солнца!»... Так же бывает и в жизни общества. Появляются люди, которые говорят: «Так, как воспринимаете вы, люди, вы воспринимаете неправильно. А я считаю, что это *так вот*. Пока еще так воспринимаю только я, а вы со мной пока не согласны. Но тут я прав и буду на том стоять». И поскольку этот человек прав, то постепенно у него находятся сторонники, и в конце концов он добьется широкого признания...

Разгадка «понятия нравственности» в «Метаморфозах собственности», обнаружение «источника нравственности» в формах собственности, осознание исторически назревшей необходимости отмены «наемного труда у государства» путем превращения государственной собственности в собственность общественную ради обретения «сообщностью» свободы — вот в чем состоит, если допустимо такое сравнение, «коперниково открытие» Тендрякова.

Тендряковский автобиографический «роман-пунктир» закономерно завершается изложением его важнейшего открытия — духовной вершины его жизни и творчества. Но еще более существенным, чем автобиографическая основа, для включения «Метаморфоз собственности» в этот роман представляется внутреннее единство всех частей богатейшего творческого наследия Тендрякова. Все его составные части, начиная с рассказа «Пара гнедых», дополняют друг друга и служат мотивациями «Метаморфоз собственности». А если бросить ретроспективный взгляд с «Метаморфоз» на рассказы и повести, образующие базу для его обобщений, то видишь, как они своей многоплановой «изобразительностью» подкрепляют и дифференцируют сведенные к «понятию» выводы Тендрякова.

4

Цепь рассказов и повестей этого цикла уже по своему замыслу и композиции ориентирована на анализ тех отношений, где лежат внешние «истоки нравственности», и на изображение того, как возникают эти внешние факторы, по каким законам и каким образом воздействуют они на людей. Но в то же время эти рассказы и повести наглядно показывают, что воздействие внешних факторов на человека не только приносит фатальные результаты, но и содействует освобождению от иллюзий, возникновению инстинктивного сопротивления и, в конечном итоге, «новому мышлению». А это новое мышление подрывает всесилие внешних факторов и, наконец, сгущается до альтернативы, возвещающей о назревании новых «внешних факторов», которые становятся затем все более и более доминирующими. И тем самым дается диалектическая дифференциация тезиса: «Истоки нравственности не *внутри* нас, а *вне* нас».

Переселение крестьян в «год великого перелома», в 1929-м («Пара гнедых»), знаменует собой «обезличивание» крестьянской собственности и порождает катастрофический голод летом 1933 года («Хлеб для собаки»). Всесильные в то время внешние факторы поначалу повергают героя автобиографического рассказа, мальчика Володю Тенкова, в шоковое состояние. Он беспомощен в своих муках совести. Но из этих мук прорастает «инстинкт познания» — мучительное стремление найти выход из зазиявшего вдруг, подобно пропасти, противоречия между провозглашенным идеалом — «вселенская справедливость» — и событиями подлинной жизни.

Речь тут идет, скажем так, о выработке того «третьего инстинкта» познания, «который неизбежно должен возникать на почве всех наших трагических разочарований», как предсказывал М. Горький в своем письме Сергею Григорьеву 15 марта 1926 года, «...потому что — как всегда это бывает вслед за катастрофами социальными — люди, уставшие от оскорбительных толчков извне, принуждены и обязаны будут — в который раз — взглянуть в свой внутренний мир, задуматься — еще раз — о цели и смысле бытия».

Не случайно выработка этого «третьего инстинкта» у писателя Владимира Тендрякова идет через приобретение опыта 1937 года («Параня»), фронтовые бои на Дону («Донна Анна») и в Сталинграде («Люди и нелюди»), кампанию против «космополитов» в московском Литературном институте («Охота») и внутреннее противоборство, связанное с XX съездом КПСС в 1956 году («Революция! Революция! Революция!»), и приводит его к сознательному исследованию многослойных исторических связей, которые придали жизни, истории, революции иной ход, чем это думалось изначально.

5

«„Это драма — драма идей“,— сказал Эйнштейн о физике,— пишет Тендряков в рассказе «Революция! Революция! Революция!».— Когда-то я поразился горделивой емкости его слов, теперь они вызывают у меня чувство горького снисхождения, которое можно сравнить лишь с искушенным чувством взрослого, глядящего на слезы обиженного ребенка: «Такие ли обиды, дорогой мой, бывают в жизни». Такие ли драмы переживают идеи, рожденные стремлением познать и изменить человеческие отношения.

В 1956-м мне пошел тридцать третий год — пресловутый возраст Христа. В тот год начали открыто суесловить по адресу бога, рабы на минуту почувствовали себя свободными, трусы возомнили себя храбрецами, свято верующие вынуждены были притворяться безбожниками, а меня охватило запоздалое, зато пронзительное до нетерпимости желание оглянуться назад: где, в каком месте случился идеологический поворот? Когда идеи свободы стали идеями насилия? Как это Сталин оказался вместо Ленина?

Отца давно не было в живых. Его ровесники — те, кто день за днем прошли по истории,— знали не больше моего. Они охотно рассказывали эпизоды, легенды, анекдоты прошлых лет, но не могли объяснить — где, когда, почему? Да и был ли этот несчастный поворот?»

Своя «драма идей» шла у Тендрякова в виде полифонического внутреннего разговора с собственным опытом, с пророками, богами, вождями, мечтателями и простаками прошлого и настоящего. При этом он уже в рассказе «Революция! Революция! Революция!» натолкнулся на главную проблему «Метаморфоз собственности» — наемный труд у государства, который должен быть упразднен. И эта многоплановая социально-историческая проблематика показана тут под особым углом — именно в аспекте «драмы идей». Оттого здесь в той или иной степени выносятся за скобки другие аспекты, в частности, национальная и всемирно-историческая мотивировка того, почему революция пошла иначе, чем задумывалось. Это утверждение верно и в отношении аналогичных проблем в «Метаморфозах собственности». Разумеется, Тендряков знал, что история идет не в соответствии с идеями, а, напротив, в зависимости от обстоятельств, условий и интересов, равно как и способностей тех, кто ее делает, сами же идеи меняются, спрямляются и переиначиваются. В наших разговорах мы часто обсуждали с ним вопрос о судьбоносном характере чрезвычайной исторической ситуации, в которой оказалась российская Революция Советов, когда она, вопреки ожиданиям, осталась в одиночестве и вынуждена была, фактически, наверстывать «начальное накопление» в условиях отсталой страны. Говорили мы и о той чрезвычайной исторической ситуации, которая сложилась к 1921 году и которая заставила Ленина прийти к выводу, содержащемуся в его работе «О продовольственном налоге»: «Если в Германии революция еще медлит «разродиться», наша задача — *учиться* государственному капитализму немцев, *всеми силами* перенимать его, не жалеть диктаторских приемов для того, чтобы ускорить это перенимание западничества варварской Русью, не останавливаться перед варварскими средствами борьбы против варварства... Кто этого не понимает, тот делает непростительную экономическую ошибку, либо не зная фактов действительности, не видя того, что есть, не умея смотреть правде в лицо, либо ограничиваясь абстрактным противоположением «капитализма» «социализму» и не вникая в конкретные формы и ступени этого перехода сейчас у нас... это та же самая теоретическая ошибка, которая сбила с толку лучших из людей лагеря «Новой жизни» и «Вперед»... лучшие — не поняли, что о целом периоде перехода от капитализма к социализму учителя социализма говорили не зря и подчеркивали не напрасно «долгие муки родов» нового общества, причем это новое общество опять-таки есть абстракция, которая воплотиться в жизнь не может иначе, как через ряд разнообразных, несовершенных конкретных попыток создать то или иное социалистическое государство».

Эти связи и обстоятельства, включая и наверстывание задачи «первоначального накопления» при Сталине со всеми вытекающими отсюда реальными историческими последствиями, Тендряков особенно убедительно и впечатляюще показал в своем романе «Кончина». И там — как и в первых главах его автобиографического «романа-пунктира» — развивается во всей своей исторической диалектике тот аспект Российской Революции, который Маркс предвидел еще в 1858 году: «...настанет русский 1793-й год; господство террора этих полуазиатских крепостных будет невиданным в истории, но оно явится вторым поворотным пунктом в истории России, и в конце концов на место мнимой цивилизации, введенной Петром Великим, поставит подлинную и всеобщую цивилизацию».

6

Исключительное сосредоточение на «драме идей» привело — и не в последнюю очередь благодаря отстраненности от «романа с историей» — к однозначному понятийному развитию «коперникова открытия» Тендрякова, что и имело для автора «Метаморфоз

собственности» первоочередное значение. И тем самым он одновременно указал в принципе и путь, как заменить «мнимую цивилизацию» «подлинной и всеобщей цивилизацией».

Заканчивая «Метаморфозы собственности», Тендряков пишет:

«Глубоко убежден, что сражением нельзя внушить истину. Сражение не бывает без насилия, пусть даже духовного. Истину признают лишь тогда, когда в ней нуждаются. Сейчас же всё, что я говорю, может вызвать бешенство — не доспел, час не пробил.

Когда пробьет — не ведаю».

Время доспело. И давно уже пробил час.

Вновь оправдываются слова Томаса Манна: «Книга неподвластна времени, если идущее вперед время вбирает ее в себя».

Перевод с немецкого А. Федорова

Владимир Тендряков

МЕТАМОРФОЗЫ СОБСТВЕННОСТИ

Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы.
Апостол Павел. Первое послание к Коринфянам. 15,33

1

Маркс гордо заявил: «Философы лишь различным образом *объясняли* мир, но дело заключается в том, чтобы *изменить* его».

И казалось бы, коль ты задался целью что-то изменить — покрой ли штанов или мир,— значит, должен себе наперед представлять, как будет выглядеть данный объект в измененном виде. Нельзя вообразить столь придурковатого портного, который бы взялся шить новые штаны, задаваясь лишь целью не повторять старые образцы, и при этом совсем не ведал, какими будущие штаны окажутся.

Каким станет измененное будущее? Насколько отчетливо представлял себе Маркс мир, заменяющий неприглядный мир капиталистический? Ленин без смущения признается: «*Открывать* политические *формы* этого будущего Маркс не брался».

Но политические формы общества целиком определяются его внутренним устройством: как выглядит аппарат управления, какими силами воздействия на массы он располагает, как он создается — через ступенчатые или всеобщие выборы, а может, возникает самопроизвольно, стихийно? — через какие каналы он получает нужную для управления информацию, каким образом осуществляет контроль и т. д. и т. п. Политические формы — это в первую очередь организационно-управленческие формы. Признаваться: они-де нам неизвестны, значит расписываться в своем полном неведении будущего общества.

Тем не менее Маркс все-таки пытался вообразить себе в общих чертах заветное коммунистическое будущее. Привожу наиболее известное его высказывание:

«В высшей фазе коммунистического общества, после того, как исчезнет порабощающее человека подчинение разделению труда, а вместе с тем и противоположность умственного и физического труда; когда труд перестанет быть только средством для жизни и станет сам первой жизненной потребностью; когда вместе с всесторонним развитием индивидуумов вырастут и производительные силы, и все источники коллективного богатства польются полным потоком — лишь тогда... общество сможет написать на своем знамени: каждый по способностям, каждому по потребностям!»

Легче всего отмахнуться от этих голо-декларативных заявлений — исчезнет, перестанет, разовьются, вырастут, польются полным потоком... Ну а что, если в них все-таки вдуматься — возможно ли в принципе то, о чем Маркс так громогласно вещает?

Начнем с первого: «...Исчезнет порабощающее человека подчинение разделению труда...» Это утверждение, отдельно взятое, выглядит весьма туманно, понять его нам поможет хотя бы такое место из «Манифеста»: «Вследствие возрастающего примене-

---

Александр Александрович Федоров (р. 1934) — ответственный редактор немецкого издания журнала «Советская литература». Автор статей о творчестве советских писателей и поэтов, о советско-немецких литературных и культурных связях, репортажей, рецензий и др. Член Союза журналистов СССР. Переводчик с немецкого и на немецкий язык. Живет в Москве.

ния машин и разделения труда труд пролетариев утратил всякий самостоятельный характер, а вместе с тем и всякую привлекательность для рабочего. Рабочий становится простым придатком машины, от него требуются только самые простые, самые однообразные, легче всего усваиваемые приемы».

Как же избежать этого?

«Вместо разделения труда, которое неизбежно порождается в обмене меновыми стоимостями,— предлагает Маркс,— здесь имела бы место организация труда...»

Организация труда?! Но разве она при капитализме не имела места? Да нет, организация труда появилась много раньше.

Человек — общественное животное, его деятельность всегда была коллективной. Коллективные же действия требуют согласованности. Облавы первобытных охотников на диких зверей уже толкали к разумной организации, которая выражалась главным образом в том, что вся охота как бы разбивалась на более простые действия, выполнять которые поручалось разным членам общины. И уже тут мы сталкиваемся не с чем иным, как с примитивным разделением труда — одни подымают и гонят зверя, другие перекрывают «слабые» места, третьи ждут в засаде с оружием в руках.

Чем труд коллективней по своему характеру, тем он больше нуждается в организации. И эта организация не исключает, не подменяет разделение труда, а, напротив, *порождает* его.

При капитализме происходит небывалый в истории скачок в коллективизации труда; до сей поры человечество не знало столь крупных, столь сложных по своей внутренней взаимосвязи, столь многочисленных по числу работающих предприятий. И нет никаких оснований считать, что и в будущем труд станет менее коллективным, скорее всего, человечество будет иметь куда более масштабные, более сложные предприятия, а потому возрастет роль организации труда, вместе с нею возрастет необходимость разделять целое на составные части, общий труд на отдельные операции. Разделение труда исчезнет только со способностью человека общественно трудиться.

А предлагать *вместо* разделения труда организацию труда столь же нелепо, как менять целый пятак на его оборотную сторону.

После этого даже такое, казалось бы, бесспорное заявление Маркса — «а вместе с тем (исчезнет.— *В. Т.*) противоположность умственного и физического труда» — выглядит сомнительным. Противоположность-то, да, исчезнет, но не *«вместе с тем»*, а скорей наоборот — *благодаря тому*, т. е. разделению труда, неразрывно связанному с применением машин, когда трудоемкие процессы разбиваются на простейшие действия, не требующие больших физических усилий.

Трудно возразить Марксу, что «труд перестанет быть только средством для жизни и станет сам первой жизненной потребностью». Трудно, как и на любое благостное упование. Можно лишь добавить, что если подобное и случится, то непременно при разделении труда, которое Маркс считает «порабощающим».

А вот столь же голословное утверждение — «вместе с всесторонним развитием индивидуумов вырастут и производительные силы» — кажется уже не просто благостным, но и чрезвычайно сомнительным. На жизнь общества, в том числе и на рост производительных сил, больше влияют не всесторонне развитые индивидуумы, а те, чье развитие сильно гипертрофировано в какую-то одну определенную сторону — они преимущественно физики или химики, конструкторы каких-то машин или проницательные экономисты, специалисты в чем-то одном, а никак не во всем. Спору быть не может, общество должно прививать человеку общую, разностороннюю культуру, но в то же время целенаправленно развивать в нем какую-то одну природную способность, препятствовать разбросанности.

И наконец мы подходим к знаменитой надписи на знамени коммунизма: «Каждый по способностям, каждому по потребностям!»

«Каждый по способностям...» Беспристрастно вглядываясь, можно увидеть, что эту часть заветного лозунга имеет право начертать на своем знамени и современный капитализм — проявляй себя, свои способности, запрета прямого нет! Есть неисчислимые препятствия, какие всегда ставит жизнь на пути любого человека, утверждающего себя в обществе. Есть общественная косность, которая всегда была и всегда будет. Какой бы высокой культуры ни достигли массы, все равно уровень их восприятия и мышления останется массовым, т. е. для данного момента развития — заурядным. И тот, кто вырывается из общей заурядности, дальше видит, глубже думает, не сразу получит признание, станет непременно вызывать недоверие, настороженность, а порой и враждебность как инакомыслящий. В золотой век Афин, подаривший миру изумительное искусство и глубокую философию, Сократ был приговорен к смерти, а Фидий брошен в тюрьму. Препятствия к проявлению способностей неизбежны, совершенно устранить их вряд ли когда будет возможно. Но если общество предоставляет право любому получить посильное образование, уничтожает сословные и национальные преграды, не зажимает инициативность и предприимчивость, уже можно считать — проводит в жизнь принцип «каждый по способностям». А это сейчас существует не в одной, а во многих капиталистических странах.

Если «каждый по способностям» — не такое уж несбыточное явление, то «каждому по потребностям» — неосуществимая фантастика. Тут предполагается невероятное — потребности любого и каждого могут быть полностью удовлетворены. Представим на минуту, что такое случилось. Вам всего достаточно, вы ничего больше не желаете, нет ничего, в чем испытывали бы необходимость,— нечего достигать, не к чему стремиться, бесцельное существование, бездействующие силы, неиспользованный ум, собственно, деградация. Только неудовлетворенные потребности могут вернуть вас к деятельности, к жизни.

Но, возразят мне, марксизм потребности понимает не столь всеобъемлюще, а лишь в плане материального обеспечения — пусть люди не думают о хлебе насущном, о крыше над головой, об одежде, этого вполне достаточно, чтоб исчезла зависть, злоба, осуществилось вожделенное равенство, умер антагонизм. Если бы... Вглядимся в историю: желание избавиться от нищеты пролило там крови ничуть не меньше, чем стремление к престижности, к славе или отстаивание по-своему понятой истины и справедливости. Сытостью не замажешь противоречий жизни, и потребности людей беспредельны,— достигнув одного, они не перестанут желать большего. Неутоленность старухи из пушкинской «Сказки о рыбаке и рыбке», начавшей с разбитого корыта, а кончившей — «хочу быть владычицей морскою»,— характерная черта всего рода человеческого. Маркс столь очевидного, ставшего давно прописным, понять не пожелал, обещал несбыточное — «каждому по потребностям».

Чувствую, напрашивается пренебрежительный упрек: так многословно, с такими усилиями опровергать то, во что теперь уже не верят присяжные апологеты светлого коммунистического завтра. Зачем?

Но разве дело только в неверности приведенной цитаты, в декларативной ошибочности высокого авторитета? Тут всплывает трагедия нашей неистовой эпохи — бессмысленность великого социального движения, охватившего всю планету. «Хочу то, не знай что», и за это «не знай что» с ожесточенным вдохновением звали к сокрушительной борьбе: «Пусть господствующие классы содрогаются перед Коммунистической Революцией. Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Обильные реки крови пролила эта борьба. Борьба продолжается, кровь льется... За «не знай что».

2

Однако у марксистов тут есть веское возражение: не нами эта борьба выдумана, не нами раздута, она существовала на протяжении всей обозримой истории, с того незапамятного момента, когда появился на земле первый раб и первый господин.

Более того. Эта классовая борьба, считает марксизм, двигала вперед историю. Именно через нее и происходило развитие человечества.

Развитие через борьбу, через антагонизм, через враждебность? Каким образом? Откуда возникло такое убеждение?

В 1812 году, когда Наполеон шел к своему поражению в России, в заштатном тогда Нюрнберге совершается очередная победа человеческого разума — двумя частями выходит первый том «Науки логики» Гегеля. И в нем уже в общих чертах определено то, что мы теперь называем законом единства и борьбы противоположностей.

Гегель считает, что в природе нет предмета, в котором нельзя было бы найти противоречия, противоречие же есть корень всякого движения и жизненности. «Почка,— говорит он,— исчезает, когда распускается цветок, и можно было бы сказать, что она опровергается цветком... Эти формы не только различаются между собой, но вытесняют друг друга как несовместимые. Однако их текучая природа делает их в то же время моментами органического единства, в котором они не только противоречат друг другу, но один так же необходим, как и другой; и только эта одинаковая необходимость и составляет жизнь целого».

Силы отталкивания и притяжения существуют в атомных ядрах, противоречивые силы держат в стабильном состоянии и взрывают звезды. Куда бы мы ни обратили взор — всюду противоречия. Именно они определяют сущность вещей, через них происходят изменения, осуществляется развитие.

Бурно развивающееся человечество не может быть исключением в природе, и если даже не очень внимательно присмотреться к любому обществу, то сразу же бросится в глаза общее для всех противоречие — между господствующими и угнетенными классами.

Маркс признается, что не ему принадлежит заслуга открытия классовой борьбы, но, похоже, никто до него не считал эту борьбу именно тем основным противоречием, которое определяет сущность человечества, приводит к изменениям, толкает на развитие.

«История всех доныне существующих обществ двигалась в классовых противоположностях, которые в различные эпохи складывались различно». А посему: классовая борьба — движущая сила истории.

Похоже, что это категорическое определение впервые высказал Энгельс: «...В борьбе этих трех больших классов (аристократии, буржуазии, пролетариата.— *В. Т.*) и в столкновениях их интересов заключается д в и ж у щ а я с и л а (разрядка моя.— *В. Т.*) всей новейшей истории...»

Но в то же время Маркс и Энгельс утверждали, что *«вся история* есть не что иное, как образование человека человеческим трудом».

Человеческий труд,— чем он, собственно, характерен? Навряд ли только одною борьбой.

В Олоргейсайли (юго-западная Кения) археологи обнаружили следы древнейшей охоты на павианов. Среди костей этих животных лежало более тонны каменных орудий и круглых камней различной величины. Было установлено, что камни перенесены за тридцать с лишним километров — право, совершен нелегкий труд. Явно тут происходила не просто совместная стихийная деятельность, а заранее согласованное и относительно высоко организованное *сотрудничество.* И это около полумиллиона лет тому назад! Людьми, еще не относящимися к виду Homo sapiens.

Человеческий труд в первую очередь характеризуется сообщностью, совместными усилиями. С древнейших времен до наших дней в основе людской жизнедеятельности лежит сотрудничество в различных формах и взаимоотношениях. Если б люди действовали поодиночке, не согласуясь между собой, не сливаясь в трудовые коллективы, они наверняка не стали бы теми, что есть сейчас. Скорей всего, их история так бы никогда и не началась.

«Вся история есть не что иное, как образование человека человеческим трудом», характерной чертой которого является сотрудничество. Но тем не менее движущей силой истории признается нечто, разрушающее сотрудничество,— межчеловеческая классовая борьба! Не странно ли? Тут какая-то неувязка...

Обычно под сотрудничеством понимается совместный труд, совершаемый исключительно на добровольных началах. Но добровольность — понятие чрезвычайно условное. Труд всегда вызывался необходимостью, редко когда он доставляет наслаждение, чаще всего при выполнении работы присутствует элемент самопринуждения — надо сделать, надо потратить время и силы. А в коллективном труде самопринуждением дело не ограничивается, проявляется и принуждение. Вполне можно предположить, что среди далеких олоргейсайльских охотников, совершавших нелегкую операцию по перетаскиванию камней за тридцать километров, находились и больные, и слабосильные, и просто апатично-ленивые люди, которые вынуждены были действовать не столько по своей доброй воле, сколько под давлением более энергичных сородичей.

В том, что сильный и предприимчивый член патриархального общества заставил обрабатывать свою землю слабейшего, привыкли видеть только акт грубого насилия. Но совсем забывают, что без такого насилия человечество остановилось бы в своем развитии.

Подневольный раб как производитель материальных ценностей сам по себе, пожалуй, был ниже свободного труженика — не на себя работал, по принуждению, из-под палки. Однако из таких рабов, сконцентрированных в одном месте под единым началом, создавался более могучий, а значит, и более производительный хозяйственный механизм, чем патриархальная семья. Его усилиями можно освоить уже обширные земельные площади, провести оросительные каналы, создать совершенные транспортные средства; скажем, не утлые лодки, а сравнительно большие корабли, способные совершать дальние плавания,— тем самым раздвинуть рамки существующего мира, одни народы сблизить с другими, расширить торговлю и культурный обмен.

Рабовладельческое хозяйство не только позволяло концентрировать силы на достижении целей, о каких и мечтать не могли патриархальные труженики, но оно ставило досель неведомо сложные задачи по организации труда, по техническому оснащению, по учету и планированию, а значит, стимулировало интеллектуальное развитие.

Именно ведение расширившегося и усложнившегося рабовладельческого хозяйства толкнуло людей к письменности, к математике, приучило мыслить абстрактными категориями. Раб, на которого взвалили весь тяжкий физический труд, труд изматывающий, доводивший до животного состояния, сам того не желая, предоставил господину и его приближенным свободное время для занятий умственным трудом.

Наивное заблуждение, что господин, палкой заставлявший работать раба, стал пребывать в праздности, превратился в тунеядца, остался в стороне от трудового процесса. Нет, господин участвовал в труде ничуть не менее активно, чем раб, только он взял на себя более сложные функции — организации, корректирования, контроля, сиречь управления. Без действий господина рабовладельческое хозяйство — неуправляемое, хаотическое — неминуемо бы развалилось, в лучшем случае вновь бы превратилось в мелкие, непроизводительные патриархальные хозяйства. Господин и раб — две неотъемлемые части одного целого, особая форма *сотрудничества.*

И то, что это сотрудничество возникло на насилии, а отнюдь не на добровольных началах, не может быть поводом для отрицания его.

Когда люди от охоты и собирательства перешли к земледелию, когда это оседлое земледелие вынудило досель общую землю делить на свою, мне принадлежащую, и чужую, тогда более сложный процесс труда, требовавший изобретения более совершенных орудий, более глубокого прогнозирования своего будущего (не съешь весь полученный урожай, оставь на семена, чтоб быть сытым на следующий год), резко повысил сознание, духовно обогатил и усложнил людей, а вместе с тем и дифференцировал их на более развитых и менее развитых. Как только все это произошло, неизбежно должно было случиться — одни поработили других. Неизбежно! Другой, более благородной формы сотрудничества — не на насилии — просто не могло возникнуть.

Впрочем, вряд ли это вызовет у кого-либо возражения. Естественную закономерность и прогрессивный характер рабства признает и марксизм, но последнее достоинство приписывает влиянию антагонизма. «Без антагонизма нет прогресса,— заявляет Маркс.— Таков закон, которому цивилизация подчинялась до наших дней».

Но разве антагонизм давал возможность трудиться? Разве с помощью борьбы добывался хлеб и строились здания? Нет, это совершалось через *объединение* господина и раба — да, неравноправное! — через *сотрудничество* — да, держащееся на прямом и грубом подчинении! — через *насильственный союз!*

А вот как только такое сотрудничество установилось, как только грозная палка господина вознеслась над головой подневольного раба, то сразу же возникает нечто противоположное сотрудничеству. Раб уже не может не испытывать ненависти к господину-насильнику, господин не в состоянии отказаться от насильничанья. *Сотрудничество порождает антагонизм!* Трудовая деятельность человека начинает представлять из себя своеобразное единство противоположностей, которое по закону Гегеля наблюдается всюду в текучей природе.

Раб и господин сотрудничают, создавая материальные ценности, поддерживающие их существование. Раб и господин при этом «ведут непрерывную, то скрытую, то явную борьбу». Марксизм видит только борьбу, но сотрудничества, как оно ни очевидно, замечать не хочет.

По сути дела, марксизм берет лишь одну сторону всеохватного противоречия в обществе. Явно тут ввело в заблуждение то, что эта сторона сама по себе уж слишком наглядно противоречива — антагонизм же, борьба! — зачем еще искать другое противоречие, вот он, тот «корень всякого движения и жизненности» рода людского.

В природе же «нет предмета, в котором нельзя было бы найти противоречия». И всегда локальное противоречие становится составной частью противоречия более общего. Каждый атом — совмещение противоположных сил, но атомы складываются в молекулы, которые, в свою очередь, тоже противоречивы. Простые предметы постоянно органически сливаются в сложные, из одних противоречий возникают противоречия более высокого уровня...

Бросающаяся в глаза противоречивость классовой борьбы помешала разглядеть скрытое основное, определяющее человеческое развитие противоречие *между классовым сотрудничеством* и *классовой борьбой.*

3

Но какой же дурак станет утверждать, скажут мне, что человечество-де добывает себе хлеб насущный междоусобной борьбой. Просто наличие сотрудничества настолько явно, что упоминать о нем специально нужды нет, это подразумевается само собою.

Можно лишь говорить о несовершенстве существующего сотрудничества, о необходимости заменить его более совершенными формами, а для этого надо старые формы разрушить. Тут уже ничем другим нельзя воспользоваться, как только классовой борьбой. Она, борьба, и вызвана-то к жизни массовым решительным неприятием старого, а следовательно, несет в себе идеи нового сотрудничества, где уже хлеб наш насущный будет добываться без угнетения человека человеком. Именно так и представляет общественное развитие классический марксизм, выделяя из общего противоречия наиболее действенную, мобильную сторону, толкающую к изменениям,— классовую борьбу, движущую силу, своего рода пружину развития.

А правомерно ли выделять при единстве противоположностей некую активную сторону в противовес другой — пассивной? Можно ли, скажем, в атомном ядре указать, что одна из сил — отталкивания или притяжения — наиболее активна? Или разве звезда взрывается потому, что победа оказалась на стороне внутреннего давления, оно, мол, в конечном счете активней сжатия? Да нет, чем больше сжимающая сила, тем сильней возрастало давление изнутри, давление зависело от сжатия. Взрыв звезды — результат *обеих* сил, *единый* процесс, в котором бессмысленно выделять активную сторону.

В плане развития классовое сотрудничество нисколько не пассивней классовой борьбы. Оно тоже содержит в себе свои внутренние противоречия, которые толкают общество на изменения. Их тоже с таким же успехом можно назвать движущей силой.

Чтобы не быть голословным, попробую исторические изменения проследить на том же рабовладельческом обществе. Но заранее оговорюсь: картина, которую собираюсь набросать, будет условно-схематической, в жизни, разумеется, все происходило намного сложнее.

Рабовладельческое хозяйство оказалось производительнее старых раздробленных патриархальных хозяйств, а значит, полу-

чило возможность интенсивнее расти, расшириться.

В сравнительно малом хозяйстве, при ограниченном числе рабов, господин управлял сам, прибегая к палке и к поощрениям. Но как только хозяйство увеличилось настолько, что господский глаз уже не в состоянии был уследить за всеми рабами, а господская палка — дотянуться до каждого непослушного и ленивого, появляется необходимость в надсмотрщиках. Надсмотрщик сам ничего не производит, но стоит хозяйству во много раз дороже раба, создающего материальные ценности. До поры до времени затраты на надсмотрщиков компенсируются доходами разрастающегося хозяйства. Но в какой-то момент хозяин приходит к огорчительному выводу, что уже не в состоянии уследить сам за всеми своими надсмотрщиками. Надо и над ними ставить более высоких надсмотрщиков, а значит, и более высокообеспечиваемых. Новый рост хозяйства принуждает создать новую касту управляющих, чьи обязанности чрезвычайно высоки, следовательно, соответствующе высоким должно быть и их обеспечение.

Получается, численность управляющего персонала возрастает *непропорционально* количеству рабов-производителей. Рабы в хозяйстве растут, так сказать, в одном измерении, а управленческий штат сразу в двух — не только вширь, но и вверх, заполняя возникающие иерархические ступеньки. Управление начинает пожирать плоды рабовладельческого производства. Неизбежные новые расходы вновь ложатся на плечи безответственного раба...

Дойдет ли отчаявшийся раб до открытой классовой борьбы или же просто подохнет от дикой эксплуатации, неся хозяину разорение,— так или иначе многовековой насильственный союз господина и раба обречен на развал.

Героическое восстание Спартака, потрясшее римлян, вызывающее почтительное уважение у нас, да, способствовало возникновению феодализма, но ничуть не больше, чем кризис управления в обширнейших рабовладельческих монополиях Римской империи, который прошел незамеченным для историков. В сложном противоречии сотрудничества и антагонизма сама собой вызрела необходимость предоставить рабу клочок земли, дать ему относительную свободу распоряжаться им. И нельзя считать, что эти эпохально-общественные изменения были исключительно завоеванием рабов. Господа не в меньшей степени способствовали этому.

Как видите, скрытая и явная классовая борьба играет определенную роль в истории. Но нисколько не большую, чем хозяйственно-экономические противоречия внутри классового сотрудничества. Как то, так и другое — единый процесс развития.

4

Считая классовую борьбу движущей силой, марксизм призывает к ее обострению, вплоть до общественных катаклизмов в виде революционных взрывов.

«Коммунисты считают презренным делом скрывать свои взгляды и намерения. Они открыто заявляют, что их цели могут быть достигнуты лишь путем насильственного ниспровержения всего существующего общественного строя».

Ну, а как выглядят сами цели?

Тот же «Манифест коммунистической партии» заявляет: «...Они (коммунисты.— *В. Т.*) выдвигают вопрос о собственности, как основной вопрос движения...» «В этом смысле коммунисты могут выразить свою теорию одним положением: уничтожение частной собственности».

Не одни марксисты считали роль частной собственности зловещей. Чтобы уяснить ее, нам придется обратиться в неприглядно далекое прошлое, так сказать, танцевать от печки. Когда наш обезьяний предок схватил своими передними конечностями (их даже нельзя еще было назвать руками) палку, то этим сразу усовершенствовал свои природные возможности. Для того чтобы сделать шаг к человеку, нужно было *обзавестись* каким-то орудием, *заиметь* нечто такое, что помогало бы воздействовать на окружение, делало более приспособленным к жизни.

На первых порах «заиметь» носило эпизодический характер: заостренный сук, каким выкапывался глубоко сидящий съедобный корень, отбрасывался в сторону, как только корень был добыт; приготовленная для охоты дубина забывалась, когда надобность в ней исчезала, для новой охоты подбиралась уже новая дубина.

Но человек, развиваясь, стремился создать все более эффективные, более совершенные орудия. Каменный топор не так просто сделать, как дубину, надо долго повозиться с неподатливым материалом, чтобы придать нужную форму. Непозволительное расточительство — выбрасывать его после первого же употребления. И топор сохраняется в постоянном владении, применяется по мере надобности. В данном случае орудие приобретает пока еще слабые, едва наметившиеся черты *собственности.*

Однако ни топор, ни более сложные — считай, примитивные механизмы — лук и стрелы еще не были настолько сложны, трудоемки, чтобы стать малодоступными. Если не любой и каждый, то подавляющее большинство из тех, кто в них нуждался, могли обзавестись ими. *Обладание* каменным топором, а в особенности луком и стрелами, резко выделило человека среди других существ, населявших Землю. Но такое *обладание* не могло заметно выделить хозяина орудий среди своих соплеменников. «Собственник» орудия еще не способен стать насильником.

Появление земледелия не изменило положения, пока оно осуществлялось деревянной мотыгой. Опять же каждый мог ею обзавестись, как и клочком земли, которой было кругом достаточно, только не ленись ее обрабатывать. Но вот появляется новое средство производства, превосходящее все существовавшие орудия земледелия и по эффективности, и по трудности приобретения,— вол, запряженный в соху. Любой и каждый этим обзавестись уже не мог. Тому, кто мотыжит землю, и самому-то себя прокормить трудно, а тут выкармливай вола в течение нескольких лет, не рассчитывая при этом получить хоть какую-то пользу. Не у каждого-то хватало сил и настойчивости, не каждому благоприятствовали обстоятельства. Зато те, кому это удавалось, сразу же становились могущественнее остальных. Владелец вола начинал осваивать столько земли, что она не только кормила его с семьей, а давала возможность накопить излишки, достаточные, чтобы содержать раба. *Нет, не грозный меч, но и кормящая соха возродила классовое насилие.* Имущие постепенно оказались господами положения, подчинили себе неимущих, в мире появились угнетатели и угнетенные.

Это не могло не сказаться на нравственном поведении людей. Раб, никогда не знавший жалости к себе, знавший только презрение, только жестокость, не испытывал сочувствия и к своему товарищу, при первой возможности сам готов был проявить жестокость. Господин, не терпящий своеволия раба, не считающийся с его человеческим достоинством, не станет терпеть самостоятельности и достоинства в других, тупую покорность воспримет как добродетель и будет униженно пресмыкаться перед сильнейшим. Жестокость нравов охватывает общество, пропитывает насквозь всю жизнь. Труд остается коллективным, а орудия и плоды труда — в частном владении.

Растлевающее значение частной собственности было замечено давным-давно, делались даже отчаянные попытки освободиться от нее. Вот что, например, пишет Филон Александрийский о еврейской секте ессеев, существовавшей в I—II веке до н.э.:

«Никто из них не имеет ничего собственного: ни дома, ни раба, ни земельного участка, ни скота, ни других предметов и обстановки богатства. Все внося в общий фонд, они сообща пользуются доходами всех. Живут они вместе, создавая товарищества по типу фиасов и сесситий [1], и все время проводят в работе на общую пользу» [2].

[1] Фиасы — культовые ассоциации в Древней Греции; сесситии — общие трапезы в Древней Спарте.

[2] По Амусину: «Рукописи Мертвого моря», М., 1961 г. С. 200—201.

Увы, подобные содружества широкого распространения не получили. Почему? Но случайно.

Трудовая организация, построенная на принципе — все трудятся, все получают поровну, не может быть стабильно производительной. Люди самой природой не наделены одинаковой способностью к труду — кто-то неизбежно оказывается выносливей, сноровистей, активней, кто-то слабей, неуклюжей, ленивей по характеру. Одни вкладывают больше в общий фонд, другие меньше, а получают поровну. Выходит, ленивый живет за счет работоспособного, пользуется его силой, присваивает его труд. По сути культивируется паразитизм.

При равном распределении неизбежно наиболее продуктивный работник начинал снижать свои усилия в работе под уровень бездельника, вызывая тем самым обнищание общины, прекращение ее жизнедеятельности. И даже внушения чисто идейного и религиозного характера могли тут лишь оттянуть печальную развязку, но не спасти. На голых внушениях жизнь держаться не может.

Впрочем, противники частной собственности далеко не всегда считали нужным ограничиваться одними внушениями. В благословенном городе Солнца, созданном фантазией Кампанеллы на основах общего владения, распоряжающиеся «имеют власть бить или приказывать бить нерадивых и непослушных». В исключительных случаях применяется и смертная казнь. Любопытна и такая деталь в жизни равноправного государства Кампанеллы: «...Никакой телесный недостаток не принуждает их (жителей.— *В. Т.*) к праздности... ежели кто-нибудь владеет всего одним каким-либо членом, то он работает с помощью его хотя бы в деревне и служит соглядатаем, донося государству обо всем, что услышит».

Выходит, вымечтанное равноправное государство прибегает к насильственным методам, и, если нуждается в доносчиках и соглядатаях против своих граждан, значит, насилие достаточно велико, доверием не пахнет.

Марксизм не открыл, а вновь поставил древний вопрос об уничтожении частной собственности. И сделал это с воинственной решительностью в середине просвещенного XIX века, в период капитализма, способ производства которого и общественные отношения людей резко отличались от предыдущих формаций.

В основном все, что нам преподносилось о капитализме, главным образом порочило значительную эпоху. Попробуем взглянуть на эту эпоху еще раз, но уже непредвзято.

5

Не исключено, что еще до того, как имущий сделал неимущего своим рабом,

наиболее состоятельные семьи патриархальной общины в горячую пору земледельческих работ нанимали себе в помощь работников из числа тех, кто по каким-то причинам был свободен. Как только горячая пора кончалась, хозяева расставались с работником, чем-то компенсировав его труд. Держать работника при себе и дальше было невыгодно — пришлось бы кормить его и в те глухие для земледелия периоды, когда никаких работ не производилось. Возможно, наемный работник появился раньше раба. Появился, но широко не распространился.

Раб оказался выгоднее наемного работника. Однако этот наемный работник совершенно не исчез, он неприметно существовал при рабстве, продолжал существовать и при феодализме. Для торжества способа по найму должны были появиться высокопроизводительные орудия труда. Появились машины, и способ по найму, многие тысячелетия влачивший скромное существование, наконец-то дождался своего часа, стал господствующим.

Появились машины — началась новая эпоха в жизни человечества, капиталистическая!

Рождение нового сопровождается родовыми муками. Энгельс в своей ранней книге «Положение рабочего класса в Англии» показывает воистину мучительные картины возникающего капитализма. Беру наугад одну.

«По случаю осмотра трупа 45-летней Анны Голуэй господином Картером, следователем из Суррея, 14 ноября 1843 г., в газетах было описано жилище умершей. Она занимала вместе со своим мужем и 19-летним сыном маленькую комнатку... там не было ни кровати, ни постельных принадлежностей, ни какой-либо мебели. Мертвая лежала рядом со своим сыном на куче перьев, которые пристали к ее почти голому телу, ибо не было ни одеяла, ни простыни. Перья так крепко облепили весь труп, что его нельзя было исследовать, пока его не очистили, и тогда врач нашел его крайне истощенным и сплошь искусанным насекомыми. Часть пола в комнате была сорвана, и вся семья пользовалась этим отверстием в качестве отхожего места».

По мнению Энгельса, жизнь прежнего рабочего-ремесленника была воистину райской по сравнению с существованием нового промышленного рабочего: «Они чувствовали себя хорошо в своей тихой растительной жизни, и, не будь промышленной революции, они никогда не расстались бы с этим образом жизни...» «Промышленная революция довела дело до конца, полностью превратив рабочих в простые машины и лишив их последнего остатка самостоятельной деятельности. Но тем самым она заставила их думать, заставила добиваться положения, достойного человека».

Насколько грандиозно было промышленное движение, разорившее ремесленников, видно из приводимой Энгельсом таблицы роста населения в городах Англии за тридцать лет (с 1801 г. по 1831 г.):

В Брадфорде с 29 000 до 77 000;
В Галифаксе с 63 000 до 110 000;
В Хаддерсфильде с 15 000 до 34 000;
В Лидсе с 53 000 до 123 000.

Великие тысячи, покинувшие отеческие места, сталкиваются с самым безжалостным к себе отношением, разделяют судьбу Анны Голуэй.

Но это еще только капиталистические цветочки, предупреждают Маркс и Энгельс, в будущем следует ждать худшего.

«...Современный рабочий с прогрессом промышленности не подымается, а все более опускается ниже условий существования своего собственного класса. Рабочий становится паупером, и пауперизм растет еще быстрее, чем население и богатство».

Если феодал-крепостник был все-таки как-то заинтересован в здравии своего смерда — с потерей его тернется один из кормильцев,— то уж капиталиста нисколько не волнует состояние рабочего: надорвется, умрет — туда ему и дорога, уже не собственность, не трудно нанять другого. И Маркс выдвигает свою знаменитую теорию относительного и абсолютного обнищания рабочего класса.

Можно ли сомневаться, что чем дальше, тем больше будет применяться машин, что они станут более совершенными, производительность труда сильно возрастет, общество станет неуклонно богатеть. Общество, но не труженик! Те же машины освободят огромное количество рабочих рук, труд рабочих начнет катастрофически дешеветь, уровень их жизни столь же катастрофически падать. Огромное количество рабочих и вовсе окажется ненужным, скатится в ряды пауперов, которым придется существовать на случайные подачки, а скорее всего, просто медленно вымирать. Несомненно, рабочий станет все более нищим относительно богатеющего общества, его положение будет ухудшаться год от году. Относительное и абсолютное обнищание впереди!

Жуткая картина. В предвиденьи таких событий невольно решишься на самый отчаянный шаг, на насильственный переворот: «Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей!»

Однако все в той же книге «Положение рабочего класса в Англии» Энгельс вскользь упоминает о весьма знаменательном событии, которое противоречит страшному пророчеству.

В 1824 г. палата общин Англии принимает закон, который «отменил все акты, ранее воспрещавшие объединение рабочих для защиты своих интересов. Рабочие получили *право ассоциаций* — право, принадлежавшее до тех пор только аристократии и буржуазии... Во всех отраслях труда образовались такие союзы (trades unions), открыто стремившиеся оградить отдельных рабочих от тирании и бездушного отношения буржуазии. Они ставили себе целью: установить заработную плату, вести переговоры с работодателями коллективно, как *сила*, регулировать заработную плату сообразно с прибылью работодатели, повышать заработную плату при удобном случае и удерживать ее для каждой профессии повсюду на одинаковом уровне».

И сорока лет не прошло с первого практического применения паровой машины Уатта, ознаменовавшего начало промышленной революции (появление промышленного капитализма, надо думать, произошло еще позднее), еще не прогорел последний костер святой инквизиции (он вспыхнет в 1826 году в Валенсии, торжественно сжигая учителя Кайетано Риполи), а капитализм уже признал за потомками рабов и крепостных право на защиту своих интересов. Событие небывалое в истории.

И не случайное.

А в 1918 г. Франц Меринг пишет: «...Широкие слои рабочего класса обеспечили себе на почве капиталистического строя условия существования, стоящие даже выше жизненных условий мелкобуржуазных слоев населения».

В новой форме капиталистического сотрудничества уже вместо прямого насилия проступил элемент добровольности — *по найму*. Хочешь у меня работать — предлагаю тебе условия. Эти условия я не сам выдумал, они продиктованы мне сложившимися обстоятельствами — конъюнктурой рынка, наличием свободной рабочей силы, общественным давлением. А коль я зависим от обстоятельств, то не в моей возможности — даже если я и пожелаю — облагодетельствовать тебя. Дам тебе за работу больше, чем следует,— моя продукция вздорожает, окажусь неконкурентоспособным, разорюсь. Если предложу тебе меньше того, что диктуют обстоятельства,— не согласишься ты, останусь без рабочей силы, обреку себя на простои, понесу ущерб. У тебя теперь больше возможности бороться за свои интересы, чем было при феодализме. У меня меньше прав на тебя, чем у прежних господ.

Но и это относительно добровольное сотрудничество по найму по-прежнему далеко еще не равноправно. Шутка сказать, у одного — мощнейшие средства для производства материальных благ, у другого — ничего, кроме Богом данных рук. Равноправие уже уничтожается самим актом найма — рабочий вынужден признавать чьи-то хозяйские права на себя. В силу своего превосходящего положения наниматель диктует: будешь делать то-то и то-то, получать столько-то, а значит, так-то питаться, так-то одеваться, в таких-то условиях существовать. Выходит, что вся жизнь рабочего поставлена в зависимость от хозяина. Капиталистическое сотрудничество зависимости не уничтожает.

Общество, живущее сотрудничеством по найму, охраняя свои интересы, *вынуждено* поддерживать хозяев-нанимателей своими законами, а коль они нарушаются, то и силой. Хозяин-капиталист от лица общества получает господские права над рабочим. Значит, по мнению марксистов, общественное устройство по-прежнему препятствует возникновению взаимопонимания, создает атмосферу враждебности; капитализм по-прежнему держится на частной собственности, именно ее наличие, несмотря на баснословное экономическое благополучие, и сохраняет раздирающий антагонизм. И ничего нельзя придумать иного, как вернуться к старому: необходимо уничтожить частную собственность, сделать ее всеобщей!

Только — как?..

6

Все усилия классического марксизма направлены на — уничтожить, отобрать!.. А как *превратить* отобранную частную собственность в общественную, всем принадлежащую, обходится стороной. Подразумевается, что она, злосчастная собственность, сама собой станет общей, когда останется без хозяина.

Сама собой?

Отберем у хозяина завод, объявим рабочим: он ваш! Никак не исключено, что рабочие охотно поверят в это. Но достаточно ли одной веры, чтоб все и на самом деле стали хозяевами?

А что, собственно, значит — быть хозяином? В чем выражаются его права, в чем — обязанности?

Чтобы ответить на этот, казалось бы, столь наивно-простой вопрос, необходимо вспомнить — ради чего приобретается собственность? Ради того, чтобы создать с ее помощью некие материальные ценности? Да, но прежде чем что-то создать, необходимо вложить, раскошелиться на постройку самого завода, на его оборудование, на сырье и т. д. и т. п. И, разумеется, полученные материальные ценности должны превышать вложения, иначе собственность — тот же завод — бесполезна и даже обременительна.

Собственность должна приносить доход, и в этом, право, нехитрый смысл обладании ею.

Доход... Поэты не воспевали его в стихах, напротив, прочно сложилось крайне пренебрежительное отношение к этому скучному бухгалтерскому понятию. Доход — нечто меркантильное, утилитарно низменное, связанное с человеческой корыстью, золотой телец, которому поклоняется ненасытный капиталист.

Но он, доход, уже тем достоин почтительного уважения, что любой труд был бы бессмыслен без него. Какому сумасшедшему землеробу придет в голову надрываться на поле ради того, чтоб получить столько же (или меньше) зерна, сколько он побросал в борозду. Всегда люди стремились обрести что-то сверх вложенных затрат, этим «сверх» жили. Именно доход содержал и содержит человечество, более того, стремление повышать его заставляло людей идти на ухищрения, совершенствовать свои возможности. Доход не только кормил, поддерживал жизнь, но неизменно способствовал и развитию.

Тот еще не хозяин, кто получает доход, в его получении неизменно участвовали раб, крепостной и рабочий. Но нельзя назвать хозяином и того, кто просто кладет кем-то полученный доход в свой карман, не задумываясь использует его на себя. Растрачивать доход и не заботиться хотя бы о том, чтобы возместить из него вложенные затраты, значит подрывать хозяйство вплоть до полного разорения, быть врагом хозяйских интересов.

Хозяин тот, кто *распоряжается* доходом, *распределяет* его с учетом не только своих личных потребностей, но и потребностей самого хозяйства, обеспечивающих его нормальную деятельность, его дальнейшее развитие.

Объявить всем рабочим — завод ваш, вы собственники, полноправные хозяева — еще не значит сделать их хозяевами. Необходимо *всех допустить к распределению* дохода. Всех, вплоть до тех, кто выметает из-под станков мусор.

Легко сказать, но как это сделать? Мол, все собираются, вникают, обсуждают, совместно распределяют... На предприятии, где работает десяток-другой рабочих, такая коллективная операция в принципе возможна. Почему бы и нет? Каждый, кто имеет собственное мнение, может изложить его всем, будет выслушан, принят во внимание. Из отдельных мнений выбираются наиболее удачные, принимаются, так сказать, на вооружение...

Но столь мелкие предприятия в наш промышленный век не характерны для общества. Современные производства, как правило,— крупные объединения, вмещающие в себя многие сотни, а то и десятки тысяч тружеников. Как тут проводить совместные распределения дохода? Собираться и обсуждать многотысячными коллективами? Нечего и мечтать, что мнение каждого из этих многих тысяч будет услышано и принято во внимание другими, обязательно подавляющая масса останется в стороне, окажется лишенной хозяйских прав. Лишь наиболее энергичные и напористые единицы станут навязывать свое мнение. Не исключено, что перед лицом неорганизованной массы они станут сплачиваться в корпоративные группы, присваивать себе хозяйские права. И даже если этого не случится, то все равно не избежать несогласованности в столь великом многоголосье, страшного разброда во мнениях. Неслаженно громоздкой и, по сути, малоэффективной предстает здесь операция распределения.

Предположим, что с помощью каких-то организационных мер ее удастся упорядочить. Предположим! Но сразу же придется столкнуться с другим, еще более пугающим обстоятельством.

Нельзя распределение дохода свести к простой дележке — мол, кому сколько полагается — отдай и не греши! Распределение дохода в первую очередь — важная хозяйственная задача: от того, как распределяется доход, зависит будущее всего производства. Обратимся к тому же Марксу. В «Критике Готской программы» он решительно выступает против проповедников «неурезанного дохода труда», перечисляя изъятия, какие необходимо сделать из дохода для нужд предприятия.

«*Во-первых:* расходы по возмещению потребленных средств производства. (Израсходованное сырье, износ машин, амортизация зданий и пр. и пр.— все возмещай, чтобы работать и дальше.— *В. Т.*)

Во-вторых: добавочную часть для расширения производства.

В-третьих: резервный или страховой фонд для страхования от несчастных случаев, стихийных бедствий и пр.».

Не сделай этого, предприятие тут же закончит свое существование, а любые ошибки при распределении непременно отразятся на его продуктивности, а значит, и на заработках рабочих.

«Эти вычеты из «неурезанного дохода труда»,— пишет Маркс,— экономическая необходимость, и размеры их должны быть определены на основе наличных средств и сил, отчасти на основе теории вероятностей, но никоим образом не поддаются вычислению на основе справедливости».

Оказывается, не так-то просто произвести распределение. Задача распределения неимоверно осложняется еще и тем, что необходимо предвидеть не только будущее своего предприятия, но и всего, с ним связанного,— состояние сырьевых баз, разбросанных по стране, возможные затруднения с транспортом, потенциальное состояние потребителей и конкурирующих предприятий, внедрение научно-технических достижений, которые могут внести изменения в техническое оснащение, и пр. и пр. Распределение дохода крупного завода непосильно для одного человека, будь он даже семи пядей во лбу. Хозяин-капиталист, как правило, призывает себе на помощь различных специалистов.

Ну а как разобраться в этой непосильной сложности простому рабочему? Он достаточно хорошо знает лишь свой станок, а «наличие средств и сил» своего завода представляет весьма и весьма смутно, не говоря уже о том, что находится за его пределами. О теории же вероятностей и прочих ученых ухищрениях рабочий зачастую и вовсе не слышал. И если такой рабочий выскажет свое мнение, то оно будет наверняка некомпетентным.

Невольно возникает крамольный вопрос: следует ли вообще выносить на общее суждение столь жизненно важную и сложную операцию, каковой является распределение дохода? Неизбежно профессиональная разработка, знания и просвещенные мнения специалистов столкнутся с невежеством, причем массовым, игнорировать которое чрезвычайно трудно. Неизбежно ошибочность решений вызовет уродливые эксцессы в развитии предприятия, снизит производительность его. И если это станет нормой жизни, общество окажется под угрозой нищеты, и первыми ее почувствуют простые труженики.

Как видите, отобрав собственность у частника, нечего рассчитывать, что она, собственность, сама собой превратится в общественную. Труженик просто не подготовлен владеть ею.

И тем не менее марксизм неистово взывает: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Против господ собственников! Отнимай у них то, чем владеют!

А дальше?.. Молчок? Да нет, не совсем.

Среди мер, которые Маркс и Энгельс предлагают в «Манифесте» провести «почти повсеместно» после захвата власти пролетариатом, есть — под номером восемь — такая:

«Одинаковая обязательность труда для всех, учреждение промышленных армий, в особенности для земледелия».

На отнятой у частников собственности — «одинаковая обязательность труда для всех», поголовная принудительная мобилизация в промышленные армии. Хочешь не хочешь, а забудь о себе, о какой-либо самостоятельности, изволь подчиняться армейской дисциплине, а следовательно, и армейской субординации, о равенстве и свободе не мечтай! «Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир». Мир, где снова — цепи, еще более тяжелые, воинского образца.

Государство наивного Кампанеллы с отечески незлобивым битьем провинившихся, с физически неполноценными, зато получающими хорошее содержание соглядатаями-доносчиками, пожалуй, рай сравнительно со всеобщей военной казармой, предложенной Марксом и Энгельсом.

7

Для Маркса и Энгельса власть пролетариата была далеким, заветным, неопределившимся будущим, а потому «открывать политические формы этого будущего Маркс не брался» — преждевременно.

Ленин же попадает в самое время, заветные надежды сбывались. В разгар революции, еще гонимый, но уже верящий, что победа близка, не завтра послезавтра власть будет завоевана, он, Ленин, набрасывает проект грядущего общества, где, разумеется, дает ответ — как поступить с отобранной частной собственностью. Ответ этот поражает завидной простотой и категоричностью: собственность должна быть национализирована, целиком переходит к государству, а «*все* граждане превращаются здесь в служащих по найму у государства, каковым являются вооруженные рабочие».

Способ по найму в свое время лег в основу нового общественного сотрудничества, породил капитализм. И тут — нет! — мы нисколько не противоречим самому Марксу.

«Условием существования капитала,— говорится в «Манифесте»,— является наемный труд».

Маркс специально исследует это в знаменитой работе «Наемный труд и капитал»: «Капитал и наемный труд суть две стороны одного и того же отношения. Одна сторона обусловливает другую, как обусловливают друг друга ростовщик и мот». Там, говорит Маркс, где существует наемный труд, неизбежно должен возникать и капитализм — «они создают друг друга».

Завершая доклад «Заработная плата, цена и прибыль», прочитанный на двух заседаниях Генерального совета Интернационала, Маркс требует: «На место *консервативного* лозунга: *„Справедливая заработная плата за справедливый рабочий день“*, они (рабочие.— *В. Т.*) должны на своем знамени написать *революционный* девиз: *„Уничтожение системы наемного труда“*».

Ленин был, как никто, образованным марксистом, уж он-то не мог не знать этих высказываний. Всегда неистово защищавший Маркса, кипуче ненавидевший тех, кто проявлял самые наивные сомнения в его правоте, даже легкий ревизионизм расценивавший как прямое предательство, он, Ленин, вдруг предает Маркса в основном, в том, что определяло отношение Маркса к прошлому, существующему и будущему! Забыв про революционный девиз: «Уничтожение системы наемного труда», Ленин снова предлагает обратиться к этой ниспровергнутой системе, тем самым вернуть старый капиталистический способ производства, старые капиталистические отношения. Совершить тяжелую кровопролитную борьбу, довести страну до полной разрухи, не считаясь ни с чем, добиться победы и утвердить то, против чего столь ожесточенно боролся,— не вопиющая ли бессмыслица? Право, Маркс должен был перевернуться на Хайгетском кладбище.

Но что бы предложил сам Маркс, окажись он на месте Ленина? А предложить-то надо ни много ни мало — новый, более совершенный способ производства, прин-

ципиально отличающийся от капиталистического уже тем, что основывается не на частной собственности.

На протяжении всей истории только трижды происходила смена способа производства — с патриархального на рабовладельческий, с рабовладельческого на феодальный, с феодального на капиталистический. И вызывались эти эпохальные перемены не простой перестановкой сил, не политическими преобразованиями, а появлением новых средств производства, изменявших характер труда, характер человеческой деятельности, всей жизни, в том числе и человеческих отношений. Ни Маркс, ни кто-либо другой не могли подарить роду людскому новые средства производства, скажем, некие более совершенные, небывало производительные машины, внедрение которых каким-то чудесным образом сделало бы невыгодным наемный труд. К тому же надо помнить, что Маркс был искренне убежден — историческое развитие двигается классовой борьбой, а потому следует жать лишь на эту пружину, совершать не созидательные процессы, а разрушительное насилие. Предложения Маркса могли быть только в плане того, что мы уже знаем из «Манифеста» — обязательный труд для всех, мобилизованных в промышленные армии, труд под принуждением иерархически выстроенного командного состава, требующего неукоснительной дисциплины, наделенного правом наказывать за неисполнительность. Это уже не возврат к сравнительно лояльному капитализму, бери дальше — к откровенно грубым, насильственным отношениям рабовладения и феодализма.

Многое из предложенного Лениным было незамедлительно отвергнуто жизнью.

Ленин считал: «Чиновничество и постоянная армия, это — «паразит» на теле буржуазного общества...», а потому их следует уничтожить. Правда, он оговаривался: «Об уничтожении чиновничества сразу, повсюду, до конца не может быть и речи. Это — утопия. Но *разбить* сразу старую чиновничью машину и тотчас же начать строить новую, позволяющую сводить на нет всякое чиновничество, это *не* утопия...» Увы, новое чиновничество свести «на нет» не удалось, напротив, оно начало плодиться с небывалой силой.

Ленин рассчитывал на создание «власти, не разделяемой ни с кем и опирающейся непосредственно на вооруженную силу масс». Не получилось. Нераздельно властвовать над массами с помощью вооруженных же масс — ей-ей, некая тавтология. Власть попросту будет в зависимости от масс, не сможет проявлять свою активность, не станет организующим началом. Это равнозначно безвластию. И потому новая власть поспешно создала постоянные армии, организации полицейского типа, опиралась только на них.

Ленин надеялся ввести порядки, по которым бы все «правильно соблюдали меру работы и получали поровну». Но спустя несколько месяцев после революции сам Ленин начал энергично воевать против уравниловки в оплате труда.

Жизнь опрокидывала упования Ленина одно за другим, однако предложение — все граждане превращаются в служащих по найму у государства — привилось сразу по той простой причине, что способ по найму давно уже существовал. Капитализм свергнут! Да здравствует капитализм! Вот уж воистину, баш на баш менять.

Но собственность-то не принадлежит какому-то одному лицу, ее теперь не назовешь частной, стала государственной — ничья конкретно, всех вообще. Разве это не принципиальное отличие, не происходит ли тут перерождение безобразной капиталистической лягушки в некую Василису Прекрасную, знаменующую собой новое общество? Однако теперь-то мы знаем, что отнятая у частного владельца собственность сама по себе не становится всеобщей.

Сам способ по найму исключает для труженика всякую возможность чувствовать себя собственником. Если трактор, станок, завод — мой, то явная бессмыслица наниматься мне для работы на них. Меня нанимают — одно это непреложно доказывает наличие чужой мне собственности. Прежде меня нанимал от лица капиталиста его служащий, теперь от лица государства — служащий государственный. Сколько угодно могут втолковывать: государство — это все, в том числе и ты, потому и государственная собственность — твоя, наряду со всеми, всеобщая, всенародное достояние, но жизнь опрокидывает столь наивную логику. Твоя! Ты хозяин! А при найме диктуют — делай то-то, получишь столько-то, гляди из чужих рук, пребывай в зависимости. Изменилось только одно — прежде было множество хозяев, теперь единственный, всенародный. Хрен редьки не слаще.

Не слаще ли?

При капитализме рабочий имел хоть какую-то призрачную самостоятельность выбора — у одного хозяина условия не подходили, искал другого, авось будет покладистей. Теперь и эта некорыстная самостоятельность сильно урезана. Хозяин-то повсюду один, выбирать не из чего.

Диктаторство разрозненных хозяев-частников было ограничено уже тем, что таких диктаторов много, их интересы часто не совпадают, больше того — противоречат, ведется конкурентная борьба, заставляющая заигрывать с рабочими.

В капиталистическом прошлом диктаторы-наниматели хоть и весьма влиятельная, пусть даже господствующая часть общества, но часть, не исключающая существования каких-то независимых от них социальных групп. И тот факт, что капитали-

сты-наниматели вынуждены были мириться с профсоюзным движением рабочих, говорит, что их диктаторское господство далеко не всемогуще.

Но вот государство-хозяин получает диктаторские права, и других, помимо него, диктаторов нет. А так как у него *все* служащие по найму, *все* от него зависимы, никто и ничто не сдерживает, то диктаторство государственной власти становится беспредельным, может дозволить себе прямое насилие, не останавливаться перед крайними жестокостями — сажать, ссылать, расстреливать, пытать в застенках. И тут уже не человек человеку волк, нет, все общество в лице государства хищнически безжалостно к каждому своему члену. К каждому! Высокопоставленные служащие по найму так же не застрахованы от диктаторских насилий, как и простые труженики. Вспомним, сколько их в свое время погибло в застенках. И пусть любой из высокопоставленных честно вспомнит, как часто ему приходилось трепетать перед наказанием.

Антагонизм уже не просто раскалывает общество на непримиримые лагеря, как было раньше. Все — служащие по найму, выстроившиеся один над другим, наделенные правом диктаторски приказывать и обязанные повиноваться. Все — служащие, все под властью старшего по чину, который вынужден относиться с подозрительной недоверчивостью — того гляди, не исполнит, подведет! На недоверие трудно отвечать прекраснодушным доверием, диктаторское принуждение не может вызывать добрые чувства и обоюдное взаимопонимание. Общество так устроено, что все противопоставлены друг другу. Антагонизм уже теряет былой классовый характер, он воистину становится всеобщим достоянием, пронизывает служащих граждан сверху донизу.

И складывается самая благоприятная обстановка для проявления низменных качеств — трусости и жестокости, чванства и подхалимажа, лицемерия и беспринципности. И крайне неблагоприятная для проявления качеств высоких — внимательности и уважения, самостоятельности и сохранения личного достоинства. Не смей держать себя независимо, не смей говорить во всеуслышание, что думаешь, не смей даже быть недовольным! Ты не принадлежишь себе, ты — раб системы!

Но и это еще не все. Есть одно растлевающее обстоятельство, которое не присуще капитализму старой закваски. Если все — служащие по найму, то никто не в состоянии считать государственную собственность своей — никому не принадлежит, обезличена. В обществе не существует таких людей, которые были бы кровно заинтересованы в эксплуатации тех средств производства, которыми, собственно, и поддерживается жизнь.

Если при рабовладении закабаленный раб питал отвращение к труду, не был заинтересован в эффективном использовании той же земли, с которой кормится, то господина-то в этой незаинтересованности заподозрить нельзя. Уж он-то старался сделать все возможное и невозможное, чтобы земля давала наибольший урожай. Господин со своей палкой был своего рода катализатором производительности в обществе.

Крепостничество потому и сменило рабство, что не только сам феодал, но и крепостной крестьянин, бывший раб, обрел какую-то жалкую заинтересованность — лучше сделать, больше получить, из большего легче ублаготворить хозяина, оставить себе лишнюю толику.

Капиталист-хозяин подхлестывал заинтересованность рабочего рублем, всеми силами стремился поднять производительность.

Теперь все служащие. Столь кровной заинтересованности в деле, какая была у хозяев, у них быть не может, в лучшем случае можно рассчитывать на их службистскую добросовестность. Впервые в истории общество лишилось тех, кто был катализатором производительности. И вот Россия, извечный поставщик хлеба в другие страны, вынуждена покупать хлеб, и заработанный рубль никогда у нас не покрывается товарами — всегда очереди к прилавкам магазинов, и устрашающий вандализм к государственной собственности — ценная аппаратура валяется под снегом, из десяти выкопанных с поля картофелин только одна попадает на стол потребителя...

Нельзя не ужасаться вопиющим эксцессам, которые совершались у нас в стране после революции,— насилие во время коллективизации над миллионами крестьянских семей, чудовищные репрессии тридцатых — сороковых — пятидесятых, государственная травля евреев под лозунгом борьбы с безродными космополитами, врачами-убийцами... Но едва ли не страшней всего — растлевающее нашу жизнь обезличивание собственности!

Сотрудничество служащих по найму у государства на базе обезличенной собственности не только порождает антагонистически безнравственные отношения людей друг к другу, но и *безнравственное отношение гражданина к самому себе.*

К каким гримасам привела, однако, война против частной собственности!

8

Но пока эта война шла, лилась кровь, выкорчевывалось хозяйское отношение к собственности, в капиталистических странах неприметно перерождалась... Что бы вы думали? Да, да, та самая частная собственность, которую с таким неистовством жаждали уничтожить.

«Экономическая жизнь (промышленного

капитализма.— *В. Т.*) начиналась с небольших фирм, с небольшого капитала, которыми распоряжалась властная рука единоличного хозяина»[1].

Фирмы разрастались, рос капитал, росли одновременно и требования общества, начали бурно возникать объединенные акционерные компании. Любой, распоряжающийся свободными деньгами, мог приобрести акции, соответственно им претендовать на долю в распределении дохода. Казалось бы, у собственности, какой располагали такие объединенные компании, стало множество хозяев, частной ее назвать уже нельзя.

Однако вспомним, что пользоваться доходом еще не значит быть хозяином. Одни вкладывали ничтожно малую часть в дело, другие, сравнительно со всеми,— подавляюще большую. Мелким вкладчикам приходилось лишь удовлетворяться теми жалкими отчислениями с дохода, но сами они к распределению дохода не допускались, это делал наиболее крупный держатель акций. Он был полновластным хозяином. Корпоративная собственность долгое время продолжает оставаться частной.

«Семьдесят лет назад,— сообщает американский экономист Гэлбрейт,— корпорация была инструментом ее владельцев и отражением их индивидуальности. Имена этих магнатов — Карнеги, Рокфеллер, Гарриман, Мелон, Гугенгейм, Форд — были известны всей стране».

И они же, эти магнаты, сделали все возможное, чтоб их потомки утратили свое владычество. Именно они всячески способствовали, чтобы их корпорации чудовищно разрастались и разветвлялись по планете, становились индустриальными империями. И в такой империи «распоряжаться властной рукой единоличного хозяина» уже стало невозможно — одному человеку уже непосильно распределять сложнейший всеимперский доход.

«Таким образом,— продолжает Гэлбрейт,— решение, принимаемое в современном предприятии,— это продукт деятельности не отдельных личностей, а групп. Эти группы достаточно многочисленны, они могут быть официальными и неофициальными, их состав постоянно изменяется».

Вкупе деятельность таких групп представляет не что иное, как управление предприятием.

И вот, отмечает Гэлбрейт: «В течение трех последних десятилетий накапливалось все больше доказательств того, что власть в современной крупной корпорации постепенно переходит от собственников капитала к управляющим».

[1] Дж. Гэлбрейт. Новое индустриальное общество. М., 1969.

Дж. Кэннет Гэлбрейт — не только один из видных профессоров-экономистов, он активный деятель в политической жизни США, был участником «мозгового треста» президента Кеннеди. В его компетентности сомневаться не приходится. А сообщает он воистину исторически знаменательное: происходит постепенный craмораспад того, что устойчиво держалось с самого начала цивилизации,— собственность перестает быть орудием власти, владыка-собственник сменился коллективным упраителем, «чья доля в капитале, как правило, невелика». Не обещает ли это заветное — мечты о всеобщей собственности в скором времени сбудутся?

Но какой бы многочисленной ни представлялась Гэлбрейту та группа лиц — от высокопоставленных до «синих воротничков»,— которая подменяет собой единоличного хозяина, она все же далеко еще не охватывает всех работающих в корпорации. К примеру, в 1964 г. в компании «Форд мотор» насчитывалось около 317 тысяч рабочих и служащих. Наверняка среди этих тысяч, равных населению солидного города, к хозяйской группе имела отношение сравнительно ничтожная часть. Рабочий по-прежнему остается в положении по найму, по-прежнему ему диктуют условия жизни, и то, что это делает не единоличный хозяин собственности, а некое многоликое руководство, ему, право, безразлично. И нет никаких предпосылок, что в будущем, пусть даже далеком, корпоративное управление вместит в себя и массы рабочих. Наемный труд как таковой не исчезнет, извечный антагонизм не кончится. Нельзя рассчитывать, что наступит эра истинной человеческой сообщности.

Сам Гэлбрейт начинает свой труд о Новом индустриальном обществе весьма меланхоличным замечанием:

«Но значительных перемен уже больше не ждут. По каждому поводу и на любой официальной церемонии экономическая система Соединенных Штатов превозносится как нечто достигшее в основном совершенства. И это относится не только к экономике. Трудно усовершенствовать то, что уже совершенно. Перемены происходят, и они довольно внушительны, но если не считать того, что возрастает выпуск товаров, все остается по-прежнему».

Может насторожить и обнадежить один факт, сообщенный Гэлбрейтом: «...Начался упадок профсоюзов. Число членов профсоюзов в США достигло максимума в 1956 г. С тех пор занятость продолжает расти, а число членов профсоюзов уменьшилось».

Не означает ли это, что проклятый антагонизм в США изживает себя — рабочему нет необходимости прибегать к помощи союза, его права и без того удовлетворяются. Вполне возможно, что в какой-то степени так оно и есть: «возрастает выпуск товаров», борьба за кусок хлеба теряет остроту. А профсоюзы помогают защищать главным образом материальную обеспеченность, интересы рабочего желудка. Но еще и еще раз — не хлебом единым жив человек, рабочий по-прежнему чувствует себя зависимым, отнюдь не хозяином не только грандиозных средств производства, а даже и самого себя. Сытый должен ощущать зависимость острей голодного. Внутри американского общества продолжают кипеть страсти, не прекращаются острые столкновения, не сокращаются акты насилия. США пока еще не могут похвастаться нравственным отношением людей друг к другу. Антагонизм жив. И порождает его столь высокопродуктивный, приведший к экономическому изобилию способ производства Нового индустриального общества. Ибо «способ производства материальной жизни обусловливает социальные, политические и духовные процессы жизни вообще».

Гэлбрейт чувствует это. Он говорит:

«Нельзя также сказать, что эти идеи (Индустриального общества.— *В. Т.*) сами по себе открывают путь в светлое будущее. Подчинять свои убеждения соображениям необходимости и удобства, диктуемым индустриальным развитием, отнюдь не соответствует высшим идеалам человечества».

9

Но Гэлбрейт видит будущее современной корпорационной системы, которую по старой привычке все еще величают «капиталистической», в сближении с нашей системой государства-хозяина, в основу которой положен ленинский принцип — «все служащие по найму». «...Конвергенция двух как будто различных индустриальных систем,— говорит Гэлбрейт,— происходит во всех важнейших областях».

Уже сейчас в США ряд крупнейших фирм находится в прямой зависимости от государства уже потому, что оно, государство, является их основным заказчиком. У «Боинг», например, к середине 60-х годов 65 % всей продукции шло государству, у «Райтон» — 70 %, у «Локхид» — 81 %, а у «Рипаблик авиэйшн» — все 100 %. Однако и те фирмы, которые не держатся преимущественно на государственных заказах, зависят от государства в «стабилизации заработной платы и цен, прямом или косвенном субсидировании особо дорогой техники и обеспечении обученными и образованными кадрами», то есть в том, на чем, собственно, держится как производство, так и сбыт продукции. Государство уже теперь как бы объединяет корпорации в единый экономический комплекс. «Пройдет время, и граница между этими двумя институтами исчезнет».

Но нет, простым исчезновением границы дело не обойдется. Явно происходит прямое государственное подчинение, реальные признаки которого подмечаются Гэлбрейтом:

«Вероятность того, что президент «Рипаблик авиэйшн» станет публично критиковать командование военно-воздушных сил или хотя бы беспристрастно судить о нем, незначительна. Ни один из современных руководителей «Форд мотор компани» ни за что не будет реагировать на предполагаемое безрассудство Вашингтона с такой же безоглядной резкостью, как это делал в свое время ее учредитель. Никто из тех, кто возглавляет «Монтгомери Уорд», не станет теперь выказывать полное пренебрежение к президентам США, как это делал Сьюэл Эйвери. Это отчасти объясняется изменением нравов. Но сдерживающим фактором служит здесь и сознание того, что „на карту поставлено слишком много“».

По данным более чем десятилетней давности «на долю пятисот крупнейших корпораций приходится почти половина всех товаров и услуг, производимых в Соединенных Штатах». Подчинить только их — уже стать едва ли не полноправным хозяином всего общества. И неудержимо идет процесс укрупнения мелких хозяйств. «Теперь,— пишет Гэлбрейт,— корпорации охватывают также бакалейную торговлю, мукомольное дело, издание газет и увеселительные предприятия,— словом, все виды деятельности, которые некогда были уделом индивидуального собственника или небольшой фирмы». Рано или поздно все окажется под непосредственной властью государства, оно станет возглавлять и производство.

Но пока государственное владычество наталкивается на одну сакраментальную фигуру — акционера. Частный собственник, потерявший право распоряжаться собственностью, сохраняет за собой неброское, неактивное, но существенное влияние. Акционер — бездельник, не принимающий никакого участия в создании общественного продукта, но берущий из него для себя значительную часть,— по сути явление паразитическое. А попробуй не удовлетворить его паразитизм, он сразу же изымет свой вклад из капитала, приведет предприятие к банкротству. Предприятие вынуждено соблюдать частные интересы акционера в первую очередь, даже если они противоречат интересам государства.

Паразитизм акционера наносит материальный ущерб государству, оно могло бы с каждого предприятия брать больше на свои нужды. Но даже и это не главное — акционер лишает государство полноты власти. Пока существуют акционеры, экономика в той или иной степени останется независимой, нецентрализованной.

Паразитизм акционера чрезвычайно тягостен и для управляющих компаний. Работники предприятий трудятся в поте лица, а плодами их труда пользуются ничего не

делающие держатели акций. Для упрааляющих куда как выгодно было бы пустить ту часть дохода, что исчезает в карманах захребетников, на укрепление и расширение производстаа, на увеличение фонда заработной платы. Сами управляющие хотя и распоряжаются акционерным капиталом, но их личная доля в нем чаще всего незначительна. По сведениям проф. Гордона, собранным еще до войны, пакеты акций, принадлежавшие администрации компаний, составляли а среднем 2,1 % акционерного капитала. В 56 % компаний администрация владела менее 1 % акций. В 1952 г. эта доля была еще меньше.

Тунеядец акционер не устраивает государство, не устраивает и экономических боссов и, разумеется, меньше всего устраиаает простого труженика. «Бесшумное устранение акционеров от власти» (выражение Гэлбрейта) уже свершилось, и нет оснований считать, что начавшийся процесс остановится на полпути, не закончится полным исчезновением акционероа. И если это произойдет — до конца бесшумно, с бурным ли завершением,— для гэлбрейтовского Индустриального общества оно будет событием, равносильным революционному перевороту. Понятия «компания», «корпорация», предусматривающие объединения многих частных капиталов, станут изжившим себя анахронизмом — последние пережитки частновладения исчезают, а вместе с ним исчезает экономическан независимость. Заводы, фабрики и пр. уже начинают принадлежать всем вообще, населению страны, сиречь государству как органу управления данной страной.

Гэлбрейт очень осторожно огоаривается: «Вполне возможно, что сочетание государственной и экономической власти таит в себе опасность». Попробуем разобраться.

Предприятие попадает в полное и непосредственное подчинение государства. Теперь ему уже нет нужды вступать с предприятиями в добровольно-договорные отношения, можно требоаать, чтобы удовлетворили государственные интересы. А как часто эти интересы не соападают. Современные компании постоянно вступают в скрытую или явную борьбу с правительством, открыто судятся, скрытно интригуют, подкупают сторонникоа в законодательных органах, порой даже прибегают к преступным методам. Не исключено, что пуля, сразившая президента Кеннеди, была направлена по воле могущественной компании. И это происходит, когда государство еще ограничено в средствах воздействия. Ну а если оно окажется полновластным хозяином в стране, то можно ли сомневаться — куда чаще будет ущемлять интересы локальных предприятий.

Прежде управляющий предприятием решений в одиночку не принимал, обращался за помощью к тем группам специалистов, которые доставляли ценную для дела информацию, подсказывающую оптимальные решения. Такой групповой метод управления — результат многолетнего разаития капитализма. Его вполне можно считать несомненным достижением: трудоаой процесс стал более гибким, упорядоченным, быстро приспосабливающимся к обстоятельствам, менее зависящим от досадных случайностей, а значит, и продуктианым. Небывало аысокая в истории экономическая обеспеченность во многом обязана появлению этого информированного управления.

Но теперь-то главному управляющему бессмысленно кидаться за помощью к специалистам. Их знания и опыт могут лишь доказательно подтвердить, насколько требования государства не сходятся с интересами предприятия. Помощь сведущих специалистов только осложнит критический момент. У управляющего просто не останется иного выхода, как отдать приказ — выполнять, не рассуждая!

Сочетание государственной и экономической власти сам Гэлбрейт видит в подчинении экономических деятелей государственным. Он даже осмелиаается произнести неприглядное слово «рабство», правда, тут же спешит успокоить: «Все это а целом выльется в конечном счете не в жестокое рабство плантационного работника, а в мягкое рабство домашней работницы, приученной любить свою хозяйку и рассматривать ее интересы как свои собственные». Какое благостное, однако, упование!

Подчинение производства государству сразу же вызовет изменения внутри предприятий. Групповое информированное управление заменит административный приказ. Ему а помощь неизбежно придут драконовские законы. «Мягкого рабства», на какое рассчитывал Гэлбрейт, увы, не получится, все шансы — оказаться в «жестоком рабстае плантационного работника» или а хаосе разбалансированной экономики.

Конечно, любые прогнозы крайне рискованны. Наверняка моя логическая схема несовершенна. Но еще меньшее доверие должны вызывать упования Гэлбрейта на конвергенцию двух систем.

Мы настолько недовольны своим существованием, что все чаще и вожделенней оглядываемся на Запад, пребывающий в развитом капитализме, постепенно освобождающийся от извечной власти частной собственности. А они, видя наше несовершенство, не без основания считая нас несвободным миром, поглядывают с надеждой на нас. Убежден, что безоглядно устремившись по пути, которым уже прошло западное общество, мы неизбежно окажемся в тупике.

Окончание следует

Подготовка текста и публикация Н. Асмоловой-Тендряковой

Андрей Иллеш

КТО ОН — ДИССИДЕНТ № 1?

Монолог о своей жизни Жореса Медведева, бывшего советского сумасшедшего, литературная деятельность которого вызывала недовольство КГБ и ЦРУ, ныне известного английского ученого

Аскетически строгое помещение на четвертом этаже монументального здания на Калининском проспекте столицы, где расположен Верховный Совет страны, было набито людьми сверх всякой меры. Сюда пришли депутаты из трех комиссий, вызваны были эксперты ряда оборонных министерств, люди, до некоторого времени секретные, те, кого мы относим к сильным мира сего. Депутаты, эксперты и работники аппарата Верховного Совета долго не начинали назначенных на этот день первых в нашей новой истории парламентских слушаний. Ждали, не ропща, иностранца. Приглашенного для специального выступления в высшем органе страны гражданина Великобритании, бывшего советского диссидента № 1, автора книги «Ядерная катастрофа на Урале» Жореса Александровича Медведева. Он опаздывал. Машина, которая должна была его подвезти, задержалась.

...Человек с седой бородой вышел на трибуну и кратко рассказал содержание книжки, опубликованной во всем мире, но так и не увидевшей света в СССР. Книжки, посвященной взрыву ядерных отходов в 1957 году на военном предприятии близ города Кыштым под Челябинском, трагедии, случившейся за тридцать лет до Чернобыля. Трагедии странной, запутанной, до сего дня еще не проясненной в деталях и совершенно неизвестной в СССР до недавних публикаций в «Известиях».

Слушая его, слушая академиков, руководителей оборонных ведомств, закрытых и полузакрытых врачей, я не мог не заметить, с каким уважением некоторые из них в своих выступлениях ссылались на Жореса Медведева, а если и спорили с ним — то тоже выказывая при этом пиетет. Вздрогнул даже, когда первый заместитель министра, выступая, оговорился: «Вот товарищ Медведев нам рассказал...» Правда, он тут же поправился: «Жорес Александрович нам рассказал...»

Так кто же он — «товарищ Медведев» или Жорес Александрович? Кто же он, столько лет подвергавшийся гонениям в нашей стране? Ученый-геронтолог, специалист из Института радиологической медицины. Стоявший у истоков «самиздата», первый «громкий» советский сумасшедший, семнадцать лет назад поехавший в командировку в Великобританию и в научной этой командировке навсегда лишенный советского гражданства. Автор книг о Лысенко, о КГБ, о перлюстрации в СССР и правах человека, о нашем сельском хозяйстве, об Андропове, Горбачеве, о нарушении прав человека и демократии.

Сегодня, когда его книги стоят в планах многих наших издательств, мне кажется, интересно услышать то, что сам он рассказывает о себе, о прожитых годах.

Несколько вечеров записывали мы на диктофон его неторопливый и четкий монолог о том, как он, Жорес Медведев, чувствует прожитые годы теперь, как воспринимает родину и те гонения, которым он подвергся в СССР, как оценивает события давних и недавних лет. Это не биография, это штрихи к ней. Но, мне кажется, поучительные, показывающие, как тоталитарное государство боится, а потому ломает людей, задающих обществу неудобные вопросы.

Иллеш Андрей Владимирович (р. 1949) — публицист. Работал в «Комсомольской правде», «Советской России», в настоящее время — редактор отдела информации в «Известиях». Автор четырех книг о Чернобыле, вышедших в СССР, Японии и США.

СТУДЕНТ В СОЛДАТСКОЙ ГИМНАСТЕРКЕ. НАЧАЛО

Родился я в Тбилиси, в семье военнослужащего, в 1925 году. Мы с братом — близнецы. Как показала наша судьба, взаимная поддержка между близнецами значительно более тесная, чем между любыми другими родственниками, близнецы доверяют и помогают друг другу больше, чем кто бы то ни было, так что это — первое счастливое обстоятельство в моей жизни. Отец назвал брата Роем, а меня — Рейсом. Что он имел в виду, мы так и не успели узнать, отца репрессировали. А мое имя претерпело изменения — сначала перепутали в грузинских конторах, и я стал Ресом. Потом приписал себе две первые буквы, чтобы это хоть как-то походило на имя.

Отец наш был слушателем Военно-политической академии, потом стал комиссаром, преподавателем Академии имени Толмачева. Позже, когда Толмачев был объявлен врагом народа, академия стала носить имя Ленина. Академия была в Ленинграде, туда мы переехали из Тбилиси и жили до конца 37 года, когда академию перевели в Москву. Вот тут и начались сложности в нашей семье — и не только в нашей,— они были связаны с жизнью академии, в которой каждую неделю кого-то арестовывали. Семьи сотрудников жили по соседству, и когда ночью увозили отца кого-то из наших приятелей, утром во дворе, где мы играли, это сразу становилось известно. Мы не понимали, что именно происходит, но происходящее не могло не создавать ненормальной, нездоровой обстановки. Ведь мы знали и любили тех людей, которые исчезали,— они приходили к нам в дом, были друзьями наших родителей.

Потом был арестован и наш отец. Сначала его уволили из академии, из-за этого он был в нервном шоке, болел. А в августе 38 года, ночью, за ним пришли. После того как отца осудили, зимой нас выселили из дома, и начались скитания. Выселяли прямо на улицу, и жить нам было негде. Вещи рассовали по знакомым, а сами жили то в Ленинграде, то в Ростове. В начале войны подались к маминой сестре, в Тбилиси.

В феврале 43-го нас с Роем призвали в армию, хотя мы еще не закончили школу. Впрочем, Рой успел сдать все экстерном, поэтому у него аттестат средней школы был. Но скоро вышел указ, по которому всех, имеющих аттестаты, отправляли в офицерские училища. Об этом я узнал в военкомате — меня за хороший почерк определили туда писать списки. Так мы с Роем расстались — он уехал в Тбилиси, в распоряжение военкомата, а я остался. Но в военкоматах были указания, касавшиеся лиц «ПМС» — «политически и морально сниженные». Эти буквы были на папках с делами родственников репрессированных, им не полагалось учиться в офицерских школах. Поэтому Рой туда не попал.

А меня посадили в теплушку и повезли в Новороссийск, где столь славно отличался Леонид Брежнев. О его подвигах, понятно, советские люди узнали потом, много позже, во времена, которые принято называть застойными. Тогда же и слуху о герое Брежневе ни на фронте, ни в тылу, ясное дело, не было.

Итак, выдали мне винтовку образца 1897—1932 года, набор гранат. До этого я не сделал из трехлинейки ни одного выстрела, как гранатой пользоваться — тоже не знал. Повоевать мне пришлось всего десять дней, но кое-что из происходившего на фронте мне удалось понять. Помню, что было не страшно, а скорее любопытно. Летит бомба — сначала ее видно, потом не видно, потом слышно, потом она взрывается. Молодой, я как-то не думал, что она может попасть в меня.

Хоть я и был простым солдатом, но ко многому относился критически, и мое мнение может не совпасть с воспоминаниями генералов. Ну, скажем, очень популярна была тактика мощной артиллерийской подготовки перед началом наступления. У немцев под Новороссийском было две линии обороны, отлично укрепленные на глубину примерно в три километра. Считалось, что артподготовка очень эффективна, но мне кажется, что немцы довольно быстро к ней приспособились. Заметив, что сосредоточивается техника и начинается мощная стрельба, они уходили на вторую линию, оставив на передовой лишь несколько пулеметчиков. Уходили и с таким же интересом, как и мы, наблюдали весь этот шум и дым. Потом нам приказывали идти вперед. Мы шли, подрывались на минах и занимали окопы — уже почти пустые, лишь два-три трупа валялось там. Тогда давался приказ — атаковать вторую линию. Тут-то погибало до восьмидесяти процентов наступавших — немцы ведь сидели в отлично укрепленных сооружениях и расстреливали всех нас чуть не в упор. В течение одного дня от роты, где я воевал, осталось 37 человек. А ведь это был май 43 года, когда советская армия уже имела большой опыт...

Когда обнаруживалось, что взять немецкую линию невозможно, давался приказ — окапываться! И вот результат: у немцев — прекрасно оборудованная линия, с колючей проволокой, а мы рыли индивидуальные окопчики и пытались из них противостоять немцам. Через пару дней они, понятно, отбрасывали нас обратно. На мое счастье, сила контрудара после очередного нашего наступления пришлась немного в стороне от окопчиков, где мы лежали. Оттуда я видел, как шли танки, как героически оборонялись наши солдаты. Это особенно трудно, когда нет сплошной линии окопов, нет артиллерии, расположение войск беспорядочно, командование не знает точно, где какой полк...

Все это продолжалось в течение примерно недели. Связь с командованием была нарушена, а восстановить ее на виду у немецких снайперов было просто невозможно — они убивали всякого, кто высовывался из окопа. Но и без связи воевать тоже нельзя. И командир батальона приказал восстановить ее любым способом — это значило взвалить на себя катушку с проводом, найти обрыв и соединить. Связистами обычно были девушки — вот после приказа убили одну, потом другую. Тогда послали меня. Я подхватил под мышку провод, побежал и даже успел связать обрыв. А когда вскочил, чтобы дунуть назад, — мне в ногу ударило словно электрическим током. Тихонько пополз к окопчику. Кровь хлещет, а я не знаю, как ее остановить. Тут я и потерял сознание. Очнулся уже в госпитале. После ранения меня признали негодным к службе, дали инвалидность. Я убедился, что рядовой пехотинец в активной фронтовой обстановке выжить фактически не мог. Я видел просто горы трупов — после таких вот бессмысленных, с точки зрения военной науки, бросков. Сейчас иранцы воевали против Ирака примерно на том же уровне. Это все тактика первой мировой войны, за исключением массированных артиллерийских атак. Потом уже, после Курска, артиллерийский вал стали использовать таким образом, что он все же защищал пехоту, но весной 43-го еще не разработали такую тактику, и много народу погибало бессмысленно.

После госпиталя я поехал в Москву и поступил в Тимирязевскую академию. В 45-м ходил уже без палочки и, хотя меня снова призвали в армию, до фронта я не доехал — опять признали негодным к службе. Так война для меня кончилась.

Я давно интересовался биологией — много читал по медицине, физиологии, читал Лысенко — и в госпитале, и потом, живя на инвалидные карточки. Я хотел поступать или в МГУ на биофак, или в медицинский, или, если ничего другого не получится,— в Сельскохозяйственную академию. Больше всего меня интересовали вопросы старения. Я приехал в Москву после демобилизации в декабре, когда в медицинском институте уже шли занятия. Мне не удалось переубедить ректора, что я знаю анатомию и могу догнать студентов. На биофак меня согласны были принять, но там не было общежития, а где в таком случае жить?..

Зато в академии мне страшно обрадовались — мужчин у них почти не было. Приняли очень тепло: дали общежитие, устроили на работу... Сначала я учился на агрономическом факультете, потом перешел на агрохимический. Потерял год, но не жалею. Влияние Лысенко началось после сессии 48 года, а до той поры настроения были, напротив, антилысенковскими, и он терял влияние и авторитет. Впрочем, это, видимо, и послужило поводом «контрнаступления» 48 года.

Я начал работать на кафедре ботаники у профессора Жуковского, блестящего ученого, лектора, ученика Вавилова. На его кафедре я защищал диссертацию. Работу приготовил без аспирантуры — я чувствовал, что в нее меня не примут: и время уже пришло лысенковское, да и анкеты у меня были не лучшие — сын репрессированного. Словом, обстановка серьезная и мрачнела она быстро. На нашей кафедре появился агент госбезопасности, он был просто назначен в аспирантуру и особенно не скрывал, что определен «в ученые» в основном для слежки. Был он военным, но без всяких фронтовых заслуг. Надо было спешить.

К последнему курсу у меня уже было шесть публикаций, а на последнем курсе я написал работу, которую представил в качестве диссертации в Институт физиологии. Кончил я академию в мае 50-го, в декабре того же года была защита, и я стал кандидатом биологических наук.

Работать послали в Никитский ботанический сад — это была база моего учителя, профессора Жуковского. Но время, повторяю, пришло лысенковское. Тогда Иосиф Виссарионович выдвинул свою программу «великих планов преобразования природы», в которую входило строительство «великого туркменского канала». Предполагалось, что по берегам этого полноводного канала будут расти маслины, из которых страна будет получать оливковое масло. Тогда же экспериментировали с лимонами и апельсинами в Крыму. Для них рыли траншеи, каждый лимон выходил на вес золота, но это мало смущало «преобразователей природы» — Сталин велел...

В Никитском саду тоже организовали отдел по лимонам. Я, конечно, видел, что эти затеи — идиотские, но и мне приказом директора было велено изучать физиологию маслин, их приспособляемость. По распределению я был обязан отработать три года, хотя вовсе не хотел заниматься маслинами, прекрасно понимал, что в наших климатических условиях сие — чушь собачья. Меня интересовали вопросы старения растений, а Никитский ботанический сад давал уникальную возможность заниматься именно этой проблемой. Ради такой научной цели я туда и поехал. А из-за маслин пришлось ломать голову над обратным — как унести оттуда ноги.

Однажды я все-таки не выдержал и выступил на профсоюзном собрании. Сказал: то, чем мы тут заняты,— халтура, а секретность, которую в саду развели (там были даже

засекреченные исследования),— тоже халтура, только двойная. Моя речь привела директора в бешеную ярость, и я был уволен вопреки закону, согласно которому я три года был крепостным. Что делать? Сел на поезд и вернулся в Тимирязевку. Думал — тут найду работу по душе. Хотя и здесь уже хозяйничал Лысенко, но все же были приличные люди на кафедре агрохимии, а меня еще помнили. Заведующий кафедрой Шестаков сказал, что по закону меня взять не имеют права, но что-то все-таки придумали и оформили меня на агрохимическую станцию. Тогда же я женился. Моя жена тоже была студенткой академии, работала в экспедициях по тому же самому плану преобразований природы. Мы снимали комнатку в Химках, и нам удалось прописаться под Москвой. Помог нам в этом чуде «великий план преобразования природы» — именно так было написано в ходатайстве с просьбой о прописке моей жены.

КАК ПРИХОДЯТ КРАМОЛЬНЫЕ МЫСЛИ. ПЕРВЫЕ СТОЛКНОВЕНИЯ С ОФИЦИАЛЬНОЙ ТОЧКОЙ ЗРЕНИЯ

До 62 года, до самого закрытия, мы с женой работали в академии. Лысенко стал терять влияние еще до смерти Сталина, уже в 51 году его популярность и авторитет в очередной раз ослабели. Он выдвинул теорию преобразования видов. В ответ «Ботанический журнал» начал против него дискуссию, и до 56 года, когда его вновь выдвинул Хрущев, Лысенко «пошел на убыль». Этого «великого ученого» я знал, еще когда был студентом: он читал нам лекции. Впрочем, нельзя отказать ему в особом таланте — я бы назвал его распутинским. Лекции его были шарлатанскими, но — интересными. Он умело их подавал, умело отвечал на вопросы. До 46 года, пока я еще ни в чем не разбирался, я относился к нему хорошо. Однако на дискуссии о дарвинизме он высказался против теории внутривидовой борьбы. Жуковский, мой профессор, очень активно участвовал в этой дискуссии — он был прекрасный ботаник, систематик, хотя в генетике не разбирался, не был таким борцом, как Вавилов, и отношения с Лысенко у него были мирные. Когда Лысенко вторгся в дарвинизм, в эволюционную теорию, тогда и мой учитель взорвался. В ответ на статью Лысенко Жуковский ответил очень резко. Должен сказать, что профессор Жуковский был человек необычный: он нас, студентов, привлекал к обсуждению собственных статей. Мало того, давал на обсуждение работы, которые попадали к нему из Комитета по Ленинским премиям,— он был членом этого Комитета. Мы добросовестно все это читали и выявляли фальсификации, нестыковки и тому подобное. Кроме того,— жизнь есть жизнь — мы вечно ходили голодными, а Петр Михайлович подкармливал нас бутербродами из своего профессорского пайка. Кстати, Лысенко тоже был очень популярен в своем кругу. Его поддерживали вовсе не только потому, что боялись. Он был очень демократичен, он очень верил в свои идеи и фальсификатором стал совсем не сразу. На закате жизни, когда он уже все потерял, он сидел в своем кабинете и читал собственные работы — он в них верил, они ему нравились.

Два раза я был у него в ВАСХНИЛе. В приемные часы он сидел в своем огромном кабинете с открытой дверью. Все приходящие запросто заходили в кабинет и присутствовали на беседе Лысенко с другими посетителями. Не томились под дверью в приемной, а участвовали в разговоре. Тут же угощали чаем и тоже бутербродами с икрой или ветчиной. И даже те, кто не успевал поговорить с Лысенко, оставались довольны. Во всяком случае сыты.

Но когда начался конфликт с Жуковским, я многое понял. И о способах «научной» борьбы — тоже. Вот яркий пример деятельности «великого» Лысенко. Он «спорит» с Жуковским через «Правду». Та публикует очень грубую статью «Не в свои сани не садись». Это была просто брань, а в научном отношении — чепуха. Я был в бурном негодовании, написал ответ, отнес его в Отдел науки ЦК. Но там мне сказали, что после выступления «Правды» вряд ли что можно сделать. Хотя критику мою и признали справедливой. После этого я в такие игры, в борьбу на таком уровне больше не вмешивался.

Мой собственный конфликт начался позже, когда я стал работать над докторской диссертацией. Это были проблемы синтеза белка, ДНК — проблемы генетики, биохимической генетики, наследственности. Ушедший было в тень со сцены науки Лысенко, в 57 году уже снятый с должности президента, сумел как-то попасть в свиту Хрущева, и в очередной поездке Генсека они понравились друг другу. Вновь — взлет, вновь Лысенко стал президентом, и его влияние стало быстро расти. Снова началось давление на генетику, на работы по биохимии, несмотря на то что открытия в области генетики уже стали очевидной реальностью для любого специалиста. И, как черт из коробочки, вылезал Лысенко со своими идиотскими идеями, а всех нас принялись крепко давить.

В то время я написал первую свою книгу — «Синтез белков и проблемы онтогенеза» и сдал ее в «Советскую науку». Было это в 60 году. Эту работу я собирался защищать в качестве докторской диссертации. Рецензии были самые хвалебные, но в одной из них

было замечено, что глава по наследственности написана, как выяснилось, с немичуринских позиций и целесообразно было бы эту главу исключить или переработать. Словом, издательство вернуло мне рукопись.

Тогда я и решил издать ее за границей. Сначала вел переговоры с Робертом Максвеллом — издательство «Пергамон пресс». Он заинтересовался моим предложением. К тому времени я закончил вечерний институт и по-английски говорил, писал и читал вполне сносно. Максвелл рукопись взял. Волновался ли я? Нет, был спокоен: к тому времени я уже печатался за границей — выходили там мои статьи по геронтологии. Никаких неприятностей в связи с этим не возникало, никаких вопросов не было. Но Максвелл — был прохвост и остался им до сих пор. Родом он из Чехословакии, а служил в британской разведке и потому взял такую фамилию. Разбогател в основном на Советском Союзе. Я-то думал, что он ведет честную игру — интересуется нашей наукой и литературой. Но выяснилось, что ему представлялось монопольное право выбирать из еще не опубликованных рукописей те, что достойны издания на английском языке. На этом он стал неплохо зарабатывать — сейчас его капитал 600 миллионов. Когда он понял, что моя работа никем не санкционирована, неофициальна, так сказать, он вернул рукопись безо всяких объяснений.

Книга эта все же вышла, но в другом издательстве и спустя долгое время — советское издание опередило английское. И когда такое случилось, все решили, что это перевод с нашего издания, так что я и тут не нажил себе неприятностей. А здесь она вышла в Медгизе, где благополучно прошла все стадии. Но — не без приключений...

Есть такой этап выхода книги — «разноска». Когда тираж уже печатается, первые пятьдесят экземпляров попадают в инстанции, в том числе в Академию наук, в Отдел науки ЦК. Книга оказалась у заведующего сельхозотделом. Он обнаружил там критику Лысенко, раздел о наследственности и поднял панику, хотя на дворе стоял уже 63 год. По приказу из ЦК был остановлен весь тираж. Спасло то, что Медгиз не подчиняется сельхозотделу. Тираж просто попридержали на складе. К тому времени я уже работал в Обнинске, в Институте медицинской радиологии, уже ходила по рукам моя рукопись о Лысенко. Руководство издательства не хотело уничтожать тираж — знали и меня, и мою книгу о Лысенко, и моего зав. отделом Н. К. Тимофеева-Ресовского. И вот директор издательства Бурназян стал требовать письменного распоряжения на уничтожение тиража. Разумеется, никто не дал такой директивы.

Книгу мою вновь послали на рецензии — Бронштейну, Энгельгардту и Сисакяну. Первые два, академики, прислали прекрасные отзывы, а Сисакян-лысенковец — вообще не отозвался. Почти победа. Остался последний штрих. Бурназян вызвал меня и стал упрашивать вырвать несколько страниц из уже готовой книги, где была прямая критика Лысенко, и заменить их. Я сопротивлялся месяца три-четыре. В конце концов сдался, но вот почему. Пока шли все эти передряги, книга попала в продажу в тех книготоргах, откуда ее не успели вернуть. Она продавалась в магазинах Новосибирска и еще в каких-то отдаленных от центра районах. И никто об этом не знал. Тут я и согласился на уговоры Бурназяна, а потому оказался обладателем двух вариантов одной и той же книги.

СТОЛКНОВЕНИЕ. ПЕРВЫЕ РУКОПИСИ УХОДЯТ ЗА РУБЕЖ

Тогда же на партийном пленуме по идеологии Егорычев обругал мою рукопись о Лысенко, а заодно и Медгиз. Меня называл самыми бранными словами, заявил, что Медведев перебрался в Калужскую область, чтобы продолжать там свою антисоветскую деятельность. Секретарь Калужского обкома вернулся с пленума домой слегка обалдевший и выдал директиву: немедленно Медведева из его области выгнать. Стали искать по всем институтам, нашли в Боровске Н. Н. Медведева — заведующего лабораторией молочных белков — и выгнали его отовсюду. Он ничего не понял, бегал, выяснял, в конце концов его восстановили, а до меня так и не добрались.

Шутки шутками, а мне уже было не до докторской степени. Поняв безнадежность публикации острых книг официальным путем, намучившись даже с сугубо научной работой в Медгизе, я уже сознательно шел на то, чтобы издать книгу *о* Лысенко за границей. После того, как слетел со своего кресла Никита Хрущев, ее даже пытались издать в «Науке» — принимал участие в этом и Шахназаров, он работал тогда в ЦК у Андропова. Но, несмотря на помощь, на намеки, которые делались издательству из ЦК, ничего не вышло. Я еще не был диссидентом в полном смысле этого слова, но уже, если можно так сказать, находился по дороге в подполье. К тому времени мой брат Рой издавал журнал «Политический дневник», а я освоил микрофильмирование. Пленку мы получали от Гидромета — целыми рулонами, в обмен, разумеется, на спирт.

Солженицын у меня дома, на моей установке, микрофильмировал свою книгу «В круге первом». Этот роман был опубликован к тому времени за границей, но он его переработал,

сделал новый вариант. Тогда мы были с ним в дружбе — он сам написал мне после того, как президент ВАСХНИЛ Ольшанский разнес меня в пух и прах в «Сельской жизни» все за ту же книгу о Лысенко. В письме Солженицын предложил встречу. Сам засобирался в Обнинск. Вот тут-то у нас завязалось нечто вроде дружбы. Но Александр Исаевич человек весьма сложный — сам завязывает отношения, потом сам же их пресекает, потом — восстанавливает... У нас было несколько таких «дружб» и разрывов.

Когда я уезжал из Союза, мы все же расстались друзьями. По просьбе Александра Исаевича я связывался с его адвокатом в Цюрихе, выполнял еще какие-то поручения... Кроме того, к тому времени я уже закончил книгу «Десять лет после одного дня Ивана Денисовича». Конечно, я выполнил все просьбы Солженицына за рубежом.

Рукопись о Лысенко ходила по рукам довольно широко. Кстати, она получила такое распространение — а ведь еще не было самиздата — благодаря «Комсомолке». Там прочли мою рукопись и заказали статью. Чтобы помочь делу, сделали двадцать копий и разослали по академикам. Вот так и пошла она по рукам. И много лет спустя я встречал людей из самых разных городов, которые ее прочли, хотя никакой статьи, конечно же, не напечатали.

Потом я отправил книгу за границу, уже прекрасно понимая, что после такого шага с работы меня уволят. Я к тому времени был заведующим лабораторией молекулярной радиобиологии. Лаборатория была прекрасно оборудована, мы только начинали входить в большую науку. Наш отдел состоял из четырех лабораторий, и заведовал отделом Тимофеев-Ресовский. В 67 году, в юбилей Вавилова, я отправил за границу микрофильм и книги. Передал через старого друга Вавилова, шведского ученого Густафсона. Я адресовал его одному генетику из Калифорнии — он знал русский язык и мог перевести рукопись. Так рукопись книги о Лысенко попала в конце 67-го в Америку. Издали ее весной 69 года, это довольно быстро дошло до соответствующих органов, и был дан приказ меня уволить.

В это время была уже готова книга Роя «К суду истории», и мы решили, что ее тоже отправим за границу, сделали микрофильмы с нее. Стало предельно ясно: поворот в стране — в худшую сторону, на перемены к лучшему рассчитывать не приходится, особенно после чешских событий. Тогда-то и Рой решился переправить рукопись. Так что наши работы попадали за границу не из самиздата, часто без ведома авторов, как это бывало,— мы сознательно шли на издание книг на Западе. У меня уже был практический опыт в издательских делах, приличный английский язык и обширные научные связи, переписка. Так что я, отправляя «Политический дневник», в 69-ом послал профессору Журавскому рукопись о Сталине. Это было началом нашей деятельности по публикации работ за границей. Я думаю, что именно это, а не моя книга о Лысенко, послужило причиной моих калужских неприятностей по линии психиатрии. Помешать публикации уже пересланных книг КГБ не могло, но остановить нашу деятельность, как они считали, было можно. И начинать им надо было не с Роя, а с меня.

СЛЕЖКА. ПОЧТОВЫЙ РОМАН С ЦЕНЗУРОЙ

Присутствие наблюдателей из органов я стал чувствовать сразу после переезда в Обнинск, режимный город. Заведующих лабораториями периодически вызывали и говорили примерно одно и то же: вот есть материалы зарубежные, познакомьтесь с ними, пожалуйста. На это я, как правило, отвечал, что знакомлюсь с материалами через литературу, а прочее меня не интересует. Мне не хотелось подписывать у них никаких бумаг о том, что я познакомился с чем-то секретным. Я знал, что потом эта секретность меня будет ограничивать. Обнинский институт медицинской радиологии создавался в 58 году, как раз после уральской катастрофы. Но и до этой даты, до введения охраны атомных производств, случаев лучевой болезни было довольно много. Шли пациенты и из Курчатовского института, и из подводников... Тогда была такая идея, что от человека, занятого в атомном производстве, можно брать костный мозг, консервировать его и в случае заболевания ему же пересаживать. Эта идея не пошла, как и другие, но институт был создан. Впрочем, у нашего директора были другие планы — он не хотел ограничиваться только созданием клиники по лечению лучевой болезни, он хотел организовать международный исследовательский центр. На институт были выделены большие деньги, в комплексе работали две тысячи человек, а директор Заргенидзе вел себя как либерал, брал на работу крупных ученых. Он прекрасно понимал, что одно присутствие Н. К. Тимофеева-Ресовского сразу поднимает статус института до международного уровня. Директор был человек достаточно авторитарный, но знал, что без солидных научных имен он будет иметь не институт, а учреждение. Поэтому и старался привлечь людей способных. Впрочем, как раз на этом погорел: люди способные оказались одновременно и людьми независимыми

и с ним спорили. У меня к нему нет претензий — он вовсе не хотел меня увольнять, на него давили.

Сначала директор просто перевел меня в старшие научные сотрудники, но вскоре был вынужден уволить — обком поставил его в безвыходное положение, он должен был или сдать партбилет, или избавиться от меня.

Возвращаясь к участию в моей жизни органов КГБ, я должен сказать вот о чем. Хрущев сменил кадры в этом учреждении, туда пришли люди из комсомола, из окружения Семичастного. Обнинский КГБ не подчинялся Калужскому, он был при каком-то отделе Москвы. Но и тут появились какие-то комсомольцы, без всякого опыта, даже без понимания, что такое секреты, что им, собственно, надо охранять, что вообще делать. Они были абсолютными непрофессионалами. А если и имели юридическое образование, то свою деятельность в КГБ они начали с дел по реабилитации. Многие находились в шоковом состоянии от масштабов преступлений, с которыми столкнулись, так что иные просто заискивали перед нами — учеными. Смешно вспомнить, но молодые комитетчики вызывали нас и пытались выяснить — чем мы, собственно, занимаемся, что у нас секретного. Они пытались кого-то вербовать — ведь вся сеть прежней агентуры после хрущевских перемен была нарушена и уничтожена, поскольку Хрущев ликвидировал районные отделы КГБ, а вместе с ними распалась и сеть осведомителей. Так вот, они пытались нас вербовать, давать какие-то советы по поведению с иностранцами. Все это делалось неуклюже, я все это, конечно, видел, но у меня никакого страха перед КГБ не было. Да и у них не было по отношению ко мне никакой неприязни, потому что они просто еще не ощущали себя охранителями режима, не чувствовали себя властью.

Кто-то мне говорил, что Семичастный жаловался наверх, что у него не хватает людей, чтобы следить за несколькими писателями, а уж всю интеллигенцию ему никак не охватить. Более профессиональная система началась при Андропове, после Чехословакии. Но к тому времени я уже знал, что мне надо действовать в подполье.

Когда меня уволили из института, я почувствовал постоянную за собой слежку. Но она тоже была непрофессиональна и потому бросалась в глаза. Может быть, был более квалифицированный аппарат, который следил за иностранцами, но на нас специалистов явно не хватало. Итак, в первый раз я обнаружил хвост в 68 году. В Москву приехал крупный американский биохимик, я с ним был в переписке и пришел к нему в гостиницу. Мы отправились прогуляться, посидели на лавочке. И он обратил мое внимание на человека, который все время попадался нам на глаза, где бы мы ни гуляли. Мы провели эксперимент — пару раз меняли скамейки, и преследователь перемещался вместе с нами. Американец думал, что это за ним, а я полагал, что за мной.

Было и другое. Не хочу называть имен — этот человек сейчас занимает довольно высокий пост, член-корреспондент. А тогда он был моим аспирантом, потом остался работать в моей лаборатории. У нас в отделе было два стукача — один у Тимофеева-Ресовского, причем последний об этом знал. Кстати, его тоже не назову, потому что у него сейчас пост еще выше, чем у моего бывшего аспиранта. Так вот, мой молодой сотрудник — человек яркий и талантливый — иногда стал исчезать. Говорил, что ездит на охоту. Как-то я случайно узнал, что уехал он не на охоту, а сопровождал какого-то американского ученого, был приставлен к нему переводчиком. И не один раз охота совпадала с приездом иностранного ученого, причем вовсе не обязательно гость был по ведомству Академии медицинских наук. Когда мой сотрудник пришел в очередной раз проситься на три дня на охоту, я его не отпустил: работа все-таки, опыты. Он начал просто умолять, чуть не плакал, как будто речь шла не об охоте, а о жизни и смерти. Он не явился на работу, хотя я и не отпустил его,— был оформлен приказ через мою голову. Я навел справки и выяснил, что он опять кому-то «переводит». Никаких сомнений уже не оставалось. Когда он вернулся, я заперся с ним и потребовал объяснений. Он начал оправдываться: «Жорес Александрович, я только за иностранцами! Своих не трогаю...» Вскоре я его поймал на плагиате и на фальсификации. Когда это было подтверждено, его не уволили, просто перевели в другое место. Ну а дальше — бурная карьера...

Где-то, очевидно, накапливалось на меня досье. Я уже сидел дома и писал книги. В то время работал над книгой «Тайна переписки охраняется законом». Я занялся изучением почтовой цензуры, разработал очень простую технику, поставил серию экспериментов, успел закончить книгу. Когда в органах на это наткнулись, уже было поздно, рукопись находилась за границей. Меня схватили только через месяц.

Несколько слов о работе над этой книгой. Я знал, что многие мои статьи, посланные по почте, не доходили, исчезали даже заказные письма. Я решил начать изучение. Один из методов был очень простым. Брал конверт, аккуратно расклеивал его и снова превращал в конверт, но уже с помощью синтетического клея, который нельзя разлепить над паром. Я предполагал, что основной способ вскрытия конвертов — пар. Затем вкладывал в конверт какое-то безобидное содержание — например, оттиск уже опубликованной статьи. Адресовал свое детективное послание какому-нибудь доктору Харфорду в Национальный институт медицинских исследований, в Лондон. Отправлял я это послание заказным, с уведомлением о вручении, с Центрального почтамта.

Письмо попадает в цензуру — я уже предполагал тогда, что существует две цензуры, друг с другом не связанные,— одна по дороге письма туда, другая — на пути обратно. Сейчас все это уже не секрет — в Израиле опубликована книга бывшего сотрудника почтовой цензуры. Итак, я отправлял свое письмо за границу, но с одним маленьким трюком — такого мистера Харфорда в природе не существует. В цензуре об этом не знают, но должны заглянуть внутрь. Пар не берет конверт, тогда в ход идут ножницы, конверт надрезается с одной стороны, содержимое изучается — оно безобидно,— возвращается обратно, надрез заклеивается полоской бумаги (скотча еще не было). В Англии обнаруживается, что такого доктора нет, и письмо отправляется ко мне обратно, в Обнинск. Но и на обратном пути его должны проверить: почему оно, собственно, возвращается? Туда письмо шло через московскую цензуру, обратно должно идти через калужскую. В Калуге пар тоже не берет конверт, но он уже обрезан по одному краю. Тогда они обрезают его по другому краю, изучают содержимое, возвращают на место и заклеивают свой надрез, но бумага уже погрубее, чем московская. Так я получаю свой конверт обратно. А то, что это не английская работа, видно по «заплатам» — за границей уже пользовались скотчем. Этот эксперимент я дублировал много раз, а конверты хранил как экспонаты.

Были и другие способы. Например, поменять содержимое конверта на что-то более соблазнительное для цензуры. Например, когда книга Роя уже была готова к изданию и я не мог ей повредить, я посылал разным людям ее оглавление. Эти письма — ни заказные, ни другие, ни из Москвы, ни из Ленинграда — не доходили до адресата. А ведь за пропажу заказных писем можно было требовать компенсацию через суд — некоторые так и поступали. По международным правилам почта несет ответственность за пропажу международной корреспонденции в валюте. Я в суд не подавал, но заявления на почту писал. В подобных случаях они должны провести расследование и в течение трех месяцев установить, где письмо, или заплатить. Сумма — семь рублей в золоте.

Поскольку почтамт с цензурой не связан, он честным образом проводит расследование, переписывается с британской почтой, появляется куча бумаг. По договору, если ни та ни другая почта не знают судьбы письма, они должны компенсацию делить пополам. Тогда я выяснил, что заказная почта отправлялась мешками — по сто писем в каждом. При этом возни, конечно, меньше, но проследить судьбу каждого письма невозможно. И вот по советским документам письмо должно быть в этом мешке, а по британским — его там нет. Естественно встает вопрос о компенсации. В итоге этой моей деятельности британская почта разорвала с советской контракт и отказалась от получения писем в мешках. Было решено принимать каждое заказное письмо из Советского Союза индивидуально. Так я организовал что-то вроде почтовой войны — надо сказать, что кое-кто из эмигрантов использовал мои открытия и неплохо заработал на этой компенсации. Книга «Тайна переписки» издана на четырех языках, в том числе и на русском. Но, увы, не в СССР. Она вошла в один том с книжкой «Международное сотрудничество ученых и национальные границы» — о том, как трудно оставаться на уровне мировой науки, находясь вне контакта с учеными других стран.

КАК СТАНОВЯТСЯ СУМАСШЕДШИМИ. МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОДДЕРЖКА

Я не мог не чувствовать, что против меня что-то готовится, особенно после этой почтовой войны, которую Советский Союз все-таки проиграл и понес определенный ущерб. Кто-то, видимо, предложил психиатрический сценарий, зацепившись, вероятно, за то, что я в самом деле консультировался у психиатра, правда, речь шла не обо мне, а о моем сыне: у него был трудный возраст, и он убегал из дома. Мне тогда пришлось сыграть что-то вроде премьеры — во всяком случае, именно с меня психиатрический сценарий получил огласку и резонанс. Хотя, конечно, и до меня пытались использовать психиатров, но в тех случаях, о которых я знал, была хоть какая-то медицинская зацепка, была хоть какая-то история вопроса.

Сначала меня хотели заманить в Калугу на консультацию по поводу сына, с тем чтобы схватить прямо во время визита к врачу. Начали вызывать, но я почувствовал, что что-то не то, и никуда не поехал. Тогда ко мне и явился доктор Лифшиц с нарядом милиции. Я был дома один, дети во дворе, жена куда-то вышла. Когда я проходил по двору домой, ко мне подъехала санитарная машина, но тут же уехала. Я все понял и решил скрыться — у меня уже было все готово на такой случай. Но я плохо рассчитал, задержался. В подъезде уже стоял стукач, пришлось вернуться домой. Хотел спуститься с балкона, но подумал, что тут меня точно увезут в сумасшедший дом как ненормального. Когда стали стучать в дверь, решил не открывать. Стучали, кричали, а я молчал. Тогда милиция стала ломать дверь. На шум пришел мой младший сын и своим ключом открыл, подоспела жена. Меня не сразу скрутили, сначала Лифшиц беседовал со мной — не поеду ли я на обследование? Он — психиатр, главный врач калужской больницы, он все меня пытался уговорить, хотя и сам толком не понимал, зачем это нужно. Жена позвонила друзьям, пришли

коллеги из института, назревал конфликт. Сам Лифшиц не решался применить силу, но появился какой-то майор милиции, он-то и распорядился.

В конце концов меня увезли в Калугу. Там я и пробыл в больнице три недели. Но уже через неделю понял: им придется уступить — слишком большой разразился скандал. Включились академики, защищал меня П. Л. Капица, приехал А. Т. Твардовский. А. Бовин был у Брежнева, выяснилось, что тот вообще не знал, о ком идет речь. Команды рядить меня в сумасшедшие Брежнев не давал, и Андропов не давал. Может быть, Суслов или кто-то из секретариата, кому должен был бы подчиниться министр здравоохранения? Впрочем, кто именно дал эту команду — я не знаю. Лифшиц знает. Сейчас, после публикаций о той истории в калужских газетах, он грозится, что все расскажет. Он работает там же, заслуженный деятель науки, очень переживает ту историю и утверждает, что сам был ее жертвой; его заставили так действовать.

Конечно, мне повезло, что это была калужская областная больница — меня ничем не «лечили», просто держали взаперти. Если бы я был направлен на обследование после возбуждения уголовного дела, тогда, конечно, все выглядело бы иначе, особенно если бы удалось засунуть в Институт имени Сербского. А в Калуге не было спецрежима, и даже родственников пускали.

Шум все нарастал, каждый день обо мне писали западные газеты... Повторяю: в больницу приезжали Твардовский, Каверин, Тендряков. Получался цирк — Медведев сидит в полосатой пижаме, а к нему приезжают светила. Лифшиц пришел ко мне я сказал, что в областной больнице условий для лечения нет и придется меня перевести в Москву. Конечно, хотел от меня избавиться. Ведь Твардовский после посещения моей палаты устроил такой крик и разнос — а его не выгонишь! Так что Лифшиц мечтал от меня избавиться и перевести в Институт им. Сербского. Но там — судебная психиатрия, должно быть выдвинуто хоть какое-то обвинение, а его выдвигать поздно — мне уже поставили диагноз. Так что возникла ситуация, при которой дать разрешение на перевод в режимную больницу, где свидания раз в полгода, мог только Андропов. Очевидно, он на такое не пошел.

Лифшиц понял: меня надо выпускать — не знаю уж, кто дал ему такую санкцию. Вызвал мою жену и сказал: достаточно будет амбулаторного наблюдения за мной, надо только раз в месяц приходить на беседу к обнинскому психиатру. Так меня выпустили. Через месяц, действительно, пришла повестка от местного психиатра — я складывал в папку все, которые приходили ко мне в течение двух лет. Но никуда, естественно, не ходил. Эта история и легла в основу книги «Кто сумасшедший?».

НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ. НА СЦЕНУ ВЫХОДИТ ЦРУ

Было у меня еще одно интересное приключение, в результате которого я понял, как работает ЦРУ и другие организации в Советском Союзе. Я тогда работал над книгой об А. И. Солженицыне — «Десять лет после одного дня Ивана Денисовича». С черновного варианта книги я снял копию. К слову сказать, она была издана до его высылки, имела успех. Хотя, признаюсь, сейчас я бы не написал такой книги, сейчас у меня другое мнение о Солженицыне.

Так вот, микрофильм чернового варианта я передал одному знакомому американскому журналисту. Обычно мы встречались в машине и беседовали на ходу. Я попросил его спрятать микрофильм в сейф и никуда не отправлять. Он сказал «о'кей» и положил в посольский сейф.

Вскоре я получил разрешение на поездку за границу и выехал на год для работы в Британию. А книгу о Солженицыне оставил в Москве, у Роя. В Англии меня пригласил один известный советолог и вдруг спросил о том, не собираюсь ли я издавать новую свою работу — о Солженицыне. Я удивился — ведь о ней никому не было известно. Я спросил, каково его мнение о книге. Он сказал, что очень интересная работа, что он ее прочитал. По ходу разговора я понял, что у него есть экземпляр моей рукописи. Тут я прямо спросил — откуда она к нему попала? «У меня,— сказал я,— был всего один экземпляр, и я отдал его своему приятелю такому-то». Мой собеседник почувствовал, что проговорился. Выяснилось, что копию он получил через госдепартамент. Дело в том, что американцы со всех материалов, которые к ним попадают конфиденциальными путями — через журналистов ли или как-то иначе,— снимают копии и, чтобы оценить, имеют ли они какой-то интерес, рассылают своим экспертам, своим доверенным лицам. Мой собеседник входил в их число.

Вскоре в Лондон приехал тот самый журналист — не хочу называть имя, он достаточно известен,— и мы увиделись. Я его спросил — как моя книга попала на Запад, ведь она должна была лежать у него в сейфе? Он понял, что попался, смутился. Стал оправдываться, что уезжал, а за сейф отвечал другой... Так что у американцев тоже работает похожая система, и доверять им не приходится. После этого я предпочитал действовать не через журналистов, а через научных работников — так гораздо надежнее.

В ОДЕЖДАХ ИЗГОЯ

Не могу сказать, что все эти события были для меня чем-то мучительным, какими-то испытаниями. Напротив. Я чувствовал себя детективом, Шерлоком Холмсом, хотя всякое расследование связано с известным риском. Я чувствовал себя детективом по отношению к системе КГБ, к цензуре. Я был уверен, что на самом деле это я их расследую, а не они меня, хотя за мной и следили. В книге «Тайна переписки» я сделал даже открытие — определил то место, в котором перлюстрируют международную почту, вычислил это здание... Оно возле Казанского вокзала.

Мне не было страшно, мне было интересно. Только в какой-то момент в психушке я испугался, понял, что дело может плохо кончиться, особенно когда речь пошла об Институте им. Сербского. Тогда я даже придумал план, как с помощью моих детей сбежать из калужской больницы — благо она почти не охранялась. Не знаю, удалось ли бы мне удрать, но Рою однажды удалось.

Когда издавалась его книга, КГБ возбудил против него дело, приходили с обыском, конфисковали под каким-то предлогом весь архив по Сталину. А на следующий день — повестка к следователю. Рой понял, что могут арестовать. И хотя за ним уже была сплошная слежка, все же он решил смыться, правда, не очень знал, каким образом.

Он взял такси и поехал к дому, где жили старые большевики, к своему знакомому. За ним следовала машина, и она осталась караулить у подъезда, в который зашел Рой. «Волга» стояла у дверей круглые сутки. Надо было как-то брата спасать, и я решил отвлечь слежку на себя — все-таки мы близнецы. Зашел в соседний подъезд, там переоделся и вышел из тех дверей, где дежурила машина. Я-то думал, что за мной пойдет хвост, но не тут-то было — видимо, они уже научились нас различать.

Выручил нас Зиновий Гердт. Он пошел к Рою, приклеил ему бороду, загримировал, дал палочку, потренировал... И из подъезда вышел старичок с палочкой, поковылял куда-то и исчез. А за подъездом следили еще два дня. Потом, видимо, по телефонным разговорам поняли, что он удрал. А Рой уехал на юг и четыре месяца путешествовал. В Ленинграде ему Райкин дал свою курточку — началась уже зима. Найти его не могли.

Вызывали и меня. Прибежал один из моих знакомых комсомольцев-кагэбэшников и сообщил: из Москвы приехал майор Теплов и хочет побеседовать. Человек он оказался очень интеллигентный, мягкий. Сказал, что работы мои и брата им известны, сетовал, что Рой боится органов, просил ему передать, что он может вернуться и с ним ничего не будет. Теплов намекал даже, что они нам с братом могут быть полезны. Я понял дело таким образом, что этот майор, скажем так, курировал Роя и теперь ему влетело за то, что он прошляпил подопечного. Вот он и пытался заключить с нами что-то вроде контракта. Но дело-то было в том, что я не знал, где Рой. Мы к тому времени были уже достаточно опытны и лишними контактами не подвергали себя опасности. Так мы и расстались ни с чем. Впрочем, он оставил у меня приятное впечатление, тем более что это была моя единственная личная встреча с представителем КГБ достаточно высокого ранга. Вернулся Рой после «побега» только тогда, когда узнал, что опасность, о которой он подозревал, миновала, а книга его на Западе уже вышла.

И никто его не трогал год или два...

В те времена, когда я был безработным, кое-какие деньги мне посылали за мои книги из-за границы. Кроме того, в мою пользу собирали деньги ученые, я получал конверты из Новосибирска, Твардовский давал средства, Капица предлагал помощь. Дело в том, что мой случай был один из первых, еще не было такого массового диссидентства, ученые были еще более солидарны. К концу семидесятых годов было уже иначе — все были как бы придавлены. Но я уехал раньше, когда еще не было чувства безнадежности, когда еще не боялись помогать таким, как я.

ЯДЕРНЫЙ ВЗРЫВ ПОД ЧЕЛЯБИНСКОМ. ЗА ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ДО ЧЕРНОБЫЛЯ

Книгу о трагедии на Южном Урале я писать, честно говоря, не собирался. Когда я получил разрешение на годичную командировку за границу, не стал паковать все свои вещи, всю библиотеку, как делали другие. Скажем, Синявским тоже дали разрешение на год, но они, зная, что не вернутся, забрали с собой все. А я отправил бандеролями только книги по биологии, те, что могли мне понадобиться для работы, а багаж наш состоял из трех небольших чемоданов. Мы оставили квартиру, оплатив ее на год вперед, оставили доверенность Рою на получение почты и ключи. И сели в поезд. В Бресте — таможня. Обычно проверка идет прямо в купе, а нас попросили выйти с багажом. Жена, сын и я — мы вышли со своими тремя чемоданами, и нами занялись семь таможенников. Нас досматривали два часа — с раздеванием, с ощупыванием. Для конфискации выбрали среди бумаг несколько рукописных страничек с заметками о Боровске, где я работал, об Обнинске. Но смотрели и волосы жены, и снимали туфли — исследовали подметки. Ничего, конечно, не нашли. По нашему багажу было видно, что мы уезжаем не навсегда.

В Англии был один советский представитель по линии ВОЗа, и он очень часто меня расспрашивал, хочу я вернуться или нет. Другой приехал как бы в гости, провел у меня ночь и говорил, что не советует возвращаться. Но у меня оставались в Союзе все родные, дом, да и не так-то легко устроиться и найти работу в Англии. То есть меня не устраивал вариант оказаться за границей именно так. Все же меня лишили гражданства, не дожидаясь конца срока командировки. С другими поступали иначе — скажем, М. Ростропович, В. Некрасов по истечении срока командировки просили о ее продлении. Им отказывали и тут же лишали гражданства. А меня в начале августа 73-го вызвали в посольство письмом и зачитали указ о том, что Медведев, занимаясь антисоветской деятельностью, нарушил высокое звание советского гражданина и в связи с этим лишен гражданства. Подпись — Брежнев. Предложили сдать паспорт. Я вынул три паспорта, но документы жены и сына не взяли, забрали только мой. Я стал спрашивать, в чем моя вина — по приезде в Англию я не дал ни одного интервью, хотя атаковали со всех сторон, в институте около входа дежурили телевизионщики из всех стран, а я скрывался от них через задние двери.

Посольские работники были весьма смущены тем, что им пришлось мне заявить о лишении гражданства. Они признали, что с их стороны ко мне нет никаких претензий, и предложили мне заявить протест. Я так и сделал — написал заявление о несогласии, оставил в посольстве. Сам побродил по улицам, пришел и рассказал все домашним. Сын был очень огорчен, жена, видимо, была готова к такому исходу событий. Я же пережил шок. Чувство было такое, что меня надули,— я старался не дать никаких поводов, но оказалось, что никакого повода и не нужно. Я ни с кем не делился такими мыслями, хотел все хорошенько обдумать и сделать заявление в прессе, но допустил оплошность: позвонил одной знакомой, посоветовался. Она — еще с кем-то посоветовалась, а на следующий день «Дейли телеграф» на первой полосе поместила информацию о том, что Медведев лишен гражданства...

Первая книга, которая вышла в бытность мою на Западе,— книга о Солженицыне. Потом Рой прислал мне свою книгу о Хрущеве, но мне показалось, что она нуждается в доработке, и мы договорились, что я займусь этим с учетом западной литературы. И в 76 году вышла книга уже двух Медведевых — «Хрущев. Годы у власти». Она переведена на несколько языков, а потом Рой написал полную биографию Хрущева, сейчас она, говорят, печатается и в Союзе.

Как-то меня пригласили с лекцией в Америку, в несколько университетов. Тогда-то я и упомянул впервые о катастрофе на Южном Урале, что, впрочем, осталось незамеченным. Но лекция имела успех, и мне заказали на ее основе книгу о советской науке. Ее издали в США, потом издали в Англии, перевели на японский и испанский. Пока я работал над этой книгой, в статье для журнала «Нью Сайентист» снова мимоходом упомянул об уральской катастрофе — написал, что произошел взрыв радиоактивных отходов и что это создало экспериментальный участок, куда направились ученые для проведения разного рода исследований — и в области медицины, и экологии, и радиобиологии и тому подобное. Упомянул я и об эвакуации тысяч людей, о загрязнении территории площадью более тысячи квадратных километров.

И вот это стало сенсацией.

Газета «Обсервер» на следующий день после выхода журнала на первой полосе поместила заголовок «Катастрофа на Урале»: «Советский диссидент сообщил то-то и то-то...» По случайному совпадению в Англии как раз в это время обсуждался вопрос о радиоактивных отходах — их некуда было девать, держали на территориях атомных станций, народ начал волноваться... Короче, шли дебаты. И руководитель атомной программы Великобритании Джон Хилл, узнав о таком сообщении в печати, заявил: это — чепуха, отходы не могут взрываться, что мои данные — научная фантастика и что подобными сведениями английские специалисты не располагают. И уже на следующий день после первой публикации «Обсервер» печатает опровержение, а вслед за этим и опровержение ведущих американских ученых. Все говорили о том, что утечка, загрязнение — все возможно, но только не взрыв, это исключено всеми физическими законами. А Медведев — просто ничего не понимает. Мне звонили изо всех газет — я настаивал на своей правоте, говорил, что отвечаю за свои слова. Словом, поднялся шум. Но ведь у меня к тому моменту не было существенных аргументов. А меня обвиняли в том, что я преследую политические цели. Тут еще насели с другой стороны — из кампании по ядерному разоружению, требовали доказательств, чтобы меня защитить. Те — нападали, эти — защищали... А я должен был найти выход из такого скандального положения.

Через месяц в газетах опять сенсация. Профессор Лев Тумерман, который эмигрировал в Израиль, спасая сына от психушки, в свое время был на Урале. В 1961 году он ехал из Свердловска в Миасс на семинар к Тимофееву-Ресовскому и проезжал как раз через загрязненную радиацией территорию. В Израиле тоже началась шумная кампания, там соглашались, что взрыв был. Но считали, что взорвались не отходы, а реактор. В Израиле как раз в то время собирались строить свои реакторы, и Тумерман, желая защитить идею безопасности реакторов, написал в газету «Иерусалим пост» письмо, где описал свое

путешествие. Написал, что при подъезде к этой зоне стоял специальный знак, а всем пассажирам велели закрыть окна, что поезд шел с максимальной скоростью и из окон были видны сожженные деревни с остатками печей. Вокруг же — ни души. На его вопросы ему отвечали, что здесь произошла знаменитая кыштымская катастрофа, взорвалось хранилище радиоактивных отходов. Дома сожгли, чтобы люди в них не возвращались. Хотя газеты уже склонялись к тому, что Медведев все же прав, атомное лобби сопротивлялось. Но у меня к этому делу укрепился свой, детективный интерес. Все, что мне было достоверно известно об этом событии, — это то, что там работали ученые, я точно знал три имени. И я пошел в библиотеку. Взял там реферативный журнал, где упомянуты все публикации, есть авторский указатель. Это было делом двух выходных дней. Тут и обнаружил, что начиная с 1966 года (до этого не было публикаций интересующих меня авторов) идут статьи, связанные с работой с радиоактивностью. Сделал выборку, заказал нужные мне работы, и ко мне начали поступать копии. Потом — следующие статьи, которые я вычислял уже по ссылкам в предыдущих. И так начала собираться информация. Складывалась картина и по зоологии, и по генетике, по растениям, по сельскому хозяйству. Моя библиография насчитывала уже семьдесят статей. Я начал работу над статьями, а затем и над книгой.

Что касается советских публикаций, то у всех у них была одна особенность — утверждалось, что произведено специально экспериментальное загрязнение, но не указывалась площадь. Эта и другие детали как раз и убеждали меня в том, что речь идет вовсе не об экспериментальном загрязнении. Западные ученые просто не обращали внимания на эти статьи. Я же по латинским названиям растений и животных, которые упоминались в публикациях, по соответствующим определителям восстанавливал районы и территории.

Была еще причина, по которой западные ученые не обратили внимания на советскую научную печать. Скажем, появлялась статья о щуках. Щуки ловят пескарей, а пескари едят растения и потому — более загрязненные, чем хищники. Автор хотел проследить эту цепочку накопления радиоактивности: растения — пескари — щуки, и делал это по цезию, потому что последний накапливается в мышцах. А стронций он — игнорировал. Другие ученые на том же самом озере изучали то же самое, но на стронции — он откладывается в костях. Но считать стронций и не замечать цезий считается в науке некорректным экспериментом. Потому эти работы считали недобросовестными.

Именно на основании этих публикаций я и восстановил всю картину. В 1977 году опять сенсация — «Нью-Йорк таймс» сообщает о документах ЦРУ. Согласно акту о свободе информации, по которому можно получить документы из любой организации, группы противников ядерной энергетики получили те документы, которые в ЦРУ не считались секретными. Они сделали заявку по атомным предприятиям в районе города Челябинска, получили некоторые документы и опубликовали в газетах, что ЦРУ подтверждает факт катастрофы. Я попросил у них копии документов, мне их прислали. Кроме того, я запросил документы и в ЦРУ. Получил оттуда 12 копий. Среди них была и моя собственная статья из журнала «Нью Сайентист». Там были и анекдотические документы, например, версия о том, что в этом районе русские взорвали водородную бомбу в 20 мегатонн. Я-то понимал, что это ерунда, но в Лос-Аламосской лаборатории схватились именно за эту версию.

В 78 году, еще до выхода книги, я снова поехал в Америку и там был приглашен в Окриджскую лабораторию ядерных исследований. Там занимаются не бомбами — это делают в Лос-Аламосе, но экологией и всем прочим. У них уже были свои публикации об Урале, они считали, что площадь загрязнения там не больше 25 квадратных километров. Я сделал у них доклад по тем данным, которые к тому времени у меня были. Говорили мы три часа. Специалисты по экологии поняли: дело серьезное, и решили все перепроверить. Наняли переводчиков, перевели около ста пятидесяти статей, проанализировали, составили отчет, опубликовали в «Сайенс» и на основе своего анализа выдвинули шесть версий причин катастрофы. Одна из этих шести, как следует из теперешнего отчета советской стороны, соответствует действительности. А в конце той статьи был призыв к советским ученым: просили предоставить информацию о способах борьбы с загрязнением, поскольку это мировая проблема и загрязненные участки есть везде, где ведутся ядерные исследования. Конечно, это обращение прозвучало как глас вопиющего в пустыне, ответа не последовало. А в Лос-Аламосе продолжали гнуть прежнюю линию, что взорвались не отходы, а русские проводили испытания ядерного оружия, или выбросы, или что угодно другое. Я же — шарлатан. В том же году я получил приглашение в Нью-Мексико, как раз в этом штате и находится лаборатория, а университет, куда я ехал, неподалеку. Окриджская лаборатория тоже засекреченная, как, скажем, Курчатовский институт, и когда я был там, мне на грудь повесили карточку, на которой было написано «гость» — чтобы мне не говорили лишнего. Пропуска, как в СССР, проверки документов, ничего этого не было.

Когда я приехал в Нью-Мексико, меня пригласили в Лос-Аламос — эта лаборатория находится в горах, туда так просто не проедешь, самолетик специальный садится между скал. Аудитория собралась человек в шестьсот; сделал я там доклад, потом пригласили для беседы. Был там и знаменитый Теллер. Меня снова стали убеждать в том, что взрыв ядерных отходов невозможен. Спорили мы часа три. В конце концов Теллер сказал: даже

если такое и было, вы не имеете права об этом говорить, потому что это провоцирует отрицательное отношение людей к атомной энергетике. Вы запугиваете нашу публику. А для американцев это очень чувствительный вопрос. Короче, говорил со мной в таком духе, что я должен бросить свою научную версию и «войти в их положение». Местные газеты разделились на два лагеря — одни были на моей стороне, другие утверждали, что я только и занят тем, что делаю паблисити своей книге.

После того, как вышла книга «Ядерная катастрофа на Урале» и Окридж наконец опубликовал свой отчет, Лос-Аламос, чтобы спасти свою репутацию, срочно состряпал новую версию. Мол, были испытания русского ядерного оружия на Новой Земле, случился взрыв и радиоактивное облако осело именно на Южном Урале. Потом они создали собственную группу исследователей и опубликовали другой отчет, который занял компромиссную позицию. Впрочем, в одном, как это видно сегодня, они были правы. Спецы из этой лаборатории утверждали, что загрязнение было в одном направлении, а по течению реки Теча накапливание радиации шло много лет. Со спутников они обнаружили, что в районе одного из озер ведутся радиологические испытания военной техники. Тут они были правы в споре со мной — я считал, что вся территория загрязнена в результате одного лишь взрыва, а они доказывали: часть территории подвергалась многолетнему воздействию радиации.

Конечно, мне хотелось знать реакцию на мою книгу в Советском Союзе. Несколько экземпляров я переправил сюда. Еще был жив Тимофеев-Ресовский, читать он уже не мог, но ему рассказали содержание моей работы, и Зубр подтвердил тот случай. Правда, он считал, что это был не совсем взрыв, а как бы извержение вулкана. Книга попала к Капице и еще к паре моих друзей в Обнинске, к Сахарову... Последний сообщил, что он толком о том происшествии ничего не знал, а Капица через кого-то мне передал свои соображения. Всех советских ученых, которые приезжали за границу после моих публикаций, включая академика Петросьянца, спрашивали об этом событии. Все как один отвечали — нам ничего об этом неизвестно. Впрочем, никто не отрицал самого факта, все лишь ссылались на собственную неосведомленность...

Впервые подтвердил мою правоту в 1989 году академик Велихов в Японии. Он не вдавался в детали, но сказал — да, было. Был взрыв, были загрязнения. Он был вынужден признать. Дело в том, что одна шведская компания, которая анализирует снимки со спутников, сделала документальный фильм, из которого видно, какие в районе катастрофы исчезли деревни, какие озера, какие нынче там построены дамбы. У меня есть эти снимки — по ним, действительно, очень многое становится зримым, очевидным. Ну а недавние ваши публикации в «Известиях» все поставили на свои места.

ПОСЛЕ 17 ЛЕТ РАЗЛУКИ. МЫСЛИ О ПЕРЕСТРОЙКЕ И ГОРБАЧЕВЕ

К сожалению, впечатления о столице начинаются с аэропорта. Шереметьево — маленький, грязный, неудобный аэропорт. Жена меня пугала строгостью проверки, контроля — ничего подобного нет. Есть много лишней суеты. Рой приехал меня встречать прямо с заседания Верховного Совета. Было много родственников, мой сын, который живет в Калинине. И хотя мы с братом не хотели никаких журналистов, меня встречали корреспондент «Вашингтон пост» и шведское телевидение. Но во всяком плохом есть нечто хорошее: такси получить в Шереметьеве — целая проблема. Вот и использовали западных журналистов, прибыли домой к Рою на иностранных машинах.

Пока ехали — разглядывали город. Москва произвела впечатление запущенности. Здания состарившиеся, автобусы потрепанные, все как-то постарело, неухожено. Это прямо резануло.

Другое дело — поведение людей. Оно сильно изменилось. Люди теперь говорят обо всем. В очередях, шоферы частных машин, на дискуссиях — все вполне раскованны (ведь я не докладывал сразу, что из Англии). А как узнавали о том, что я иностранец, сразу начинали еще сильнее ругать все и вся. Куда меньше прогресса у чиновников. У меня создалось впечатление, что они еще не готовы формулировать свое собственное, независимое от руководства мнение. Официальные люди обсуждают уже обсужденное. Иное дело Съезд, материалы которого я прочел целиком. У меня сложилось впечатление, что в результате дискуссий произошло смещение, сдвиг власти — партийный аппарат утерял полный контроль над формированием политического, общественного и любого другого мнения. Съезд в самом деле приобрел известную долю власти и влияния в стране. Как человеку, пожившему на Западе, мне ясно: Съезд действовал по принципу многопартийности (хотя на каждом официальном «углу» говорят о том, что многопартийная система не нужна). Что я имею в виду? Каждая региональная или любая другая группа вела себя на Съезде так, словно это отдельная партия. Они защищали свои интересы против интересов других групп, спорили между собой, с правительством. Такое называют здесь плюрализмом мнений — мне же это напоминает многопартийный парламент.

Если бы вместо брата на Съезде оказался я, то мое первое выступление, безусловно, было бы о положении науки: это предмет моего профессионального интереса еще с того периода, когда я занимался Лысенко и генетикой. Как выйти из положения, когда советская наука во многих областях оказалась далеко позади науки Запада? Кардинальные проблемы биологии, биотехнологии, компьютерной техники — вот где видны провалы. Я бы выступил с программой — что нужно для того, чтобы советская наука вышла на передовые позиции. В какой-то мере мне легче искать пути выхода из тяжелого положения в науке, ибо, проработав много лет в Англии, бывая в Америке, Германии, я уяснил многое лучше, чем сделал бы это, сидя только внутри советской науки. К сожалению, большого разговора о месте науки на Съезде не состоялось. А надо бы...

Моя последняя книга называется «Сельское хозяйство в СССР». Над ней я работал больше, чем над любой другой,— семь лет. (Она охватывает период от отмены крепостного права до 1986 года.) Приступал к работе полный оптимизма, закончил же ее в значительно более пессимистическом настроении — это связано с огромным количеством материала, который мне пришлось анализировать. Теперь я вижу: мои выводы совпадают с теми, о которых пишут и говорят в Союзе сегодня. Например — хлопок. Я давно был убежден, что его посевы необходимо сокращать, потому что он вредит экологии Узбекистана, Аральскому морю, губит население. О необходимости восстановления фермерства тоже говорят сегодня многие. Я, впрочем, уверен, что полностью распускать колхозы нельзя. И вот почему. Во-первых (я изучал фермерство и в Айове США, и в Европе), в СССР оно пока технически не подкреплено. А без машин, без энергии фермерство по-настоящему эффективным быть не может. Мало только раздать землю — нужно еще многое другое. Советский фермер пока лишен специальной техники, независимости, кредита, всего того, что должно обслуживать его хозяйство.

Во-вторых, с тех пор, как нэп был «прикрыт» и были организованы колхозы, население городов резко возросло. Кормить города за счет очень небольшого сельского населения, да еще при таком примитивном уровне техники — большая проблема. Вопрос гораздо сложнее, чем многие думают. Скажем, за счет частного хозяйства можно обеспечить рынок картофелем, овощами, фруктами. Но — не насытить его зерном. Фермер, получивший независимость, будет заинтересован прежде всего в заработке, а продавать овощи — выгоднее. Если же не будет базы для зернового хозяйства, то, следовательно, не разрешится и зерновой кризис, он только усугубится. Скажем, в Китае сейчас возникла проблема риса — очень выросло городское население. И самостоятельность, предоставленная крестьянину, не помогла решить рисовый вопрос...

Дело не просто в том, что в СССР мало крестьян. В других странах похожее соотношение городского и сельского населения. Но здесь преобладают старики и старушки, служащие местных Советов, дачники и пенсионеры. Активного сельского населения крайне мало, это видно по статистике. Если не ошибаюсь, одиннадцать миллионов семей состоит сейчас в колхозах. И количество колхозников тоже точно такое же, одиннадцать миллионов. При Сталине, допустим, из семьи двое и больше людей работали в колхозе. Потом эта цифра поползла вниз, и теперь — ровно один. Значит, потенциально в семье — один фермер. При таком соотношении создать настоящую семейную ферму очень затруднительно. Впрочем, страна большая и разная. Где-то, конечно, процесс пойдет успешно — в Эстонии, скажем, или в Латвии. Где-то всерьез опираться на фермеров будет вовсе невозможно. Так что решать этот вопрос надо от области к области, учитывая каждый раз специфику. Но я уверен, что если проводить правильную политику, проблему можно решить за три-четыре года. При одном условии — деревня должна жить не хуже, чем город. Иначе ничего не получится. Когда люди убедятся, что ехать в деревню — это ехать к спокойной, здоровой, удобной жизни, тогда начнется сдвиг. В Англии фермерские хозяйства невелики. Но кругом прекрасные дома, асфальтированные дороги, техника. Фермер не работает от зари до зари, он не раб собственного поля. Он имеет доступ ко всем городским удобствам, которые только возможны — транспорт, телефон, врач, почта, автобус, что возит его детей в школу. Единственное отличие от городской жизни — свежий воздух...

У меня нет желания переоценивать масштабы влияния собственной работы, всего диссидентского движения на перемены, происходящие в Советском Союзе. Но все же я думаю, что моя работа была полезна, хотя книги были известны узкому кругу, ходили в основном среди научных работников. Но перестройку вызвали, конечно, не книги. Она возникла стремительно, как результат политических перемен, как реакция на сдвиги в экономике, и вызрела она внутри общества.

Приехав сюда и поговорив с простыми людьми, я понял, что самая обычная публика, которая ничего о нас не знала, она тоже созрела, у нее тоже возникло сознание неполноценности, а главное — неэффективности строя. Простые люди тоже пришли к заключению: многое нужно менять! Народ оказался гораздо более образованным и здравомыслящим, чем полагали диссиденты и лидеры этого движения.

Мы начали с Роем и не закончили — помешали начавшиеся процессы — писать книгу под названием «В поисках здравого смысла». А этот самый здравый смысл не был вовсе утерян у народа. Просто у людей не было выхода, который позволил бы его реализовать.

Только появилась «щелка» — те же выборы народных депутатов,— как люди проявили себя, свою позицию. Да, люди эти разбираются и в нашей истории, и в сути системы вовсе не потому, что об этом написал Солженицын, или Рой, или я. Впрочем, мне приятно, что наши мысли и мысли людей, которые ни разу не брали в руки книги диссидентов, в принципе совпадают. Я не могу не гордиться тем, что многое предвидел.

Советский Союз — уникальное государство. Нет другого такого в мире — с таким количеством народов, привычек, традиций, территорий и исторических конфликтов. С западной точки зрения — это империя. Я готов провести некоторую (весьма условную) аналогию с Югославией. Там тоже федеративное государство, возникшее в какой-то мере искусственно, в силу исторических процессов, и общность между республиками не настолько сильна, чтобы они держались за нее, как говорится, насмерть.

Я чувствую, что осложнения, которые сегодня нарастают в СССР, могут быть чреваты попытками установить более жесткий централизованный режим, могут заставить вернуться к жесткому планированию, к жесткой политической системе. Но такая попытка выхода из кризиса, как мне кажется, если и станет реальностью, то будет лишь оттяжкой. Да, экономические трудности нынче многих пугают, бросают в пессимизм. Но я думаю, что период, который переживает страна, переходный период вообще, неизбежный при перестройке, невозможен без осложнений и даже падения жизненного уровня. А сильная рука, на которую многие продолжают надеяться, ничего не решит. Кроме того, я не вижу никого, кто мог бы претендовать на роль этой сильной руки и был способен привести страну к процветанию, пусть даже временному. С другой стороны, для всех очевидно, как воспряла Испания после смерти Франко, как из бедной страны вышла на европейский уровень благодаря демократическому режиму. Я считаю, что демократическая система, когда она распространена и на экономику, дает самые большие возможности.

Что касается сегодняшних лидеров, то у меня нет восторженного отношения ни к одному из них. Отношение к Горбачеву (как и к другим) у меня прагматическое — я сужу о нем на том фоне, на котором он существует внутри Центрального Комитета, правительства, всего государства. Исходя из этого, я считаю: он — лучшая из известных в СССР политических фигур. Я не знаю никого, кто мог бы делать его работу лучше, чем он. Возможно, есть и более компетентные люди, но они пока где-то внизу, они еще не созрели. Лидер нашей страны должен созреть. Скажем, Рейган в интеллектуальном отношении уступает Горбачеву, но в Америке президент не руководит экономикой, у него другие задачи, для которых Рейган был приспособлен лучше конкурентов. А задача лидера а Советском Союзе сложнее, чем в любой другой стране, потому что он отвечает за все.

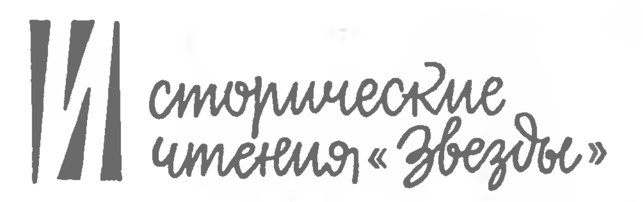
С этой точки зрения Горбачев, даже по сравнению с теми лидерами других государств, которые занимаются экономикой, как миссис Тэтчер, выделяется: это человек, который справляется со своими задачами. В другой стране лидер, перед которым стоят такой сложности задачи, давно ушел бы, спасовал. Скажем, премьер Хит подал в отставку, потому что не смог справиться с забастовкой шахтеров. Горбачев ведет себя более твердо и воспринимается в мире как личность, которая явно на своем месте.

Я писал о Горбачеве, а раньше — об Андропове. Это не были биографии в традиционном смысле слова. Я не мог пользоваться иными источниками, кроме доступных. Брал материалы газет, в том числе ставропольских, когда искал что-то о Горбачеве. Мне тут было легче, потому что я писал книгу о сельском хозяйстве, а Горбачев как раз за него отвечал. Да и путь его, смена должностей, были менее разнообразные, чем у Андропова. С последним — сложнее, хотя тут мне помогал мой диссидентский опыт, да и много материалов о Венгрии, о том периоде, когда он был там послом, о событиях 56 года можно найти в западных газетах. Кроме того, для западного читателя интересна не только биографическая фактология, но просто объяснение — что такое секретарь обкома, райкома, что такое комсомол или отдел ЦК — там таких реалий не понимают. Так что книги не столько о Горбачеве или Андропове, сколько о советской политической системе, о том, как она функционирует.

В последнее время я работал над книгой о Чернобыле, о его глобальных последствиях. Чернобыльская авария повлияла на очень многое — не сразу, но постепенно, изменила отношение ко многим вещам. К атомной энергетике, например, к ученым вообще, к экологии... Я планировал завершить свой профессиональный труд по геронтологии, хотел написать книгу о старении — одновременно популярную и академическую. Но события в Союзе, может быть, изменят планы — сейчас меня привлекает замысел книги о повороте от тоталитаризма к демократии.

* * *

P. S. В июле я получил от Жореса Александровича письмо. Точнее, два: одно — на адрес редакции, копию — на домашний адрес. Как бы ни менялось время, недоверие к нашей почте, прямо скажем, вполне оправданное, сохранилось. В конверт было вложено послание из редакции журнала «Международная жизнь», органа МИДа, распространяемого на нескольких языках в 100 странах мира. «Как Вы видите из вложенного,— писал Медведев,— журнал заказал мне статью на свободную тему. Поэтому еду сегодня срочно ремонтировать свою "Эрику" с русским алфавитом — я ее давно не использовал, все приходилось писать на английском...»



Лев Гумилев

ЭТНОСЫ И АНТИЭТНОСЫ

Главы из книги

Три параметра. Итак, четыре очага культурного творчества в полосе одного «пассионарного толчка» дали не только разные решения, но и разные постановки вопросов. Объяснить это исключительно влиянием ландшафта и естественными потребностями я не могу. Вероятно, строгое доказательство теоремы Пифагора и китайцам бы не повредило, хотя они и без этого умели строить прямые углы на земле и здания воздвигали четырехугольной формы. Каким они это способом делали, тем ли, как Пифагор, или другим, это в общем-то несущественно, главное, что умели. Но математические обобщения им были ни к чему, так же как гераклитовское учение об огне и постоянном перерождении. А греки, напротив, были совершенно равнодушны к проблемам этики. Они сочли бы нахальством, если бы кто-то вдруг вздумал учить их, как вести себя по отношению к родителям, к своему городу и к какому-то большому государству. Они бы сказали: «Да это мы и сами знаем, у нас законов хватает, отойдите, пожалуйста, гражданин, не мешайте нам думать о мироздании».

За счет чего такие различия? Дело в том, что на процесс создания этноса или суперэтноса влияют пространство и время, причем не в мистическом смысле, а вполне реальном. Пространство — это окружение: ландшафтное и этническое. Ландшафтное окружение влияет на формы хозяйства, уклад данного этноса, определяет его возможности, перспективы. Этническое окружение, связи с соседями, дружеские или враждебные, весьма и весьма влияют на характер создаваемой культуры.

Единственное, что мы знаем о времени, это то, что оно необратимо. Время — это фаза этногенеза и этнического окружения, определяющая варианты этнических контактов с ним. Кроме того, уровень научно-технического прогресса, свойственный данной эпохе, тоже оказывает свое влияние в рамках фактора времени, позволяя заимствовать уже имеющиеся технические достижения при создании новой культурной традиции.

Но кроме времени и пространства есть и третий компонент — энергия. В энергетическом аспекте этногенез является источником культуры. Почему? Объясняю. Этногенез идет за счет пассионарности. Именно эта энергия — пассионарность — и растрачивается в процессе этногенеза. Она уходит на создание культурных ценностей и политическую деятельность: управление государством и писание книг, ваяние скульптур и территориальную экспансию, синтез новых идеологических концепций и строительство городов. Любой такой труд требует усилий сверх тех, что необходимы для обеспечения нормального существования человека в равновесии с природой, а значит, без пассионарности ее носителей, вкладывающих свою избыточную энергию в культурное и политическое развитие своей системы, никакой культуры и никакой политики просто не существовало бы. Не было бы ни храбрых воинов, ни жаждущих знания ученых, ни религиозных фанатиков, ни отважных путешественников. И ни один этнос в своем развитии не вышел бы за рамки гомеостаза, в котором жили бы в полном довольстве собой и окружением трудолюбивые обыватели. К счастью, дело обстоит иначе, и мы можем надеяться, что на наш век хватит и радостей, и неприятностей, связанных с этногенезом и культурой.

Окончание. См.: «Звезда», 1990, № 1, 2.

Однако всякая энергия имеет два полюса, и пассионарная энергия (биохимическая) — не исключение. На этногенезе биополярность сказывается тем, что поведенческая доминанта может быть направлена в сторону усложнения систем, то есть созидания или упрощения их.

Эта биополярность четко прослеживается не столько в зоологии, сколько в истории человечества и его культуры. Это происходит потому, что мы знаем историю культуры много подробнее и обстоятельнее, чем историю происхождения и исчезновения видов.

Кроме того, в истории мы можем применить абсолютную хронологию, в то время как в зоологии хронология относительная, то есть зоолог знает, что было раньше, что позже, но насколько — точно сказать не может.

Для определения направления доминанты нужен исключительно чуткий прибор, и таковым является история мировоззрений и философских учений, о положительном значении коих мы уже говорили. Но наряду с ними встречаются жизнеотрицающие системы, которые вы вправе называть отрицательными. Казалось бы, что такие самоубийственные идеи не могут оказать воздействия на здоровые коллективы, многочисленные популяции, крепко слаженные этносы. Однако могут и оказывают. Это происходит в тех случаях, когда столкновение этносов с различной комплиментарностью насильственно связывают их в одну химерную целостность, которая всегда бывает неустойчивой. Вот в ареалах столкновений этносов, где поведенческие стереотипы неприемлемы для обеих сторон, повседневная жизнь теряет свою повседневную обязательную целеустремленность, и люди начинают метаться в поисках смысла жизни, которого они никогда не находят. И вот тут-то возникают философские концепции, отрицающие благость человеческой жизни и смерти, то есть диалектического развития. Антипод материалистической диалектики это — антисистема, то есть упрощающаяся система. Лимитом упрощения является вакуум.

И сейчас мы перейдем к примерам, иллюстрирующим правомерность этого соображения.

В начале нашей эры в Средиземноморье, когда мысль была раскована от предрассудков, осыпавшихся как шелуха при контакте эллинского, иудейского и персидского мировосприятий, люди излагали свои соображения без обиняков. В III—IV вв. н. э. эти концепции кристаллизовались в несколько систем: гностицизм, талмудический иудаизм, христианство, зороастризм. Все они заслуживают специального описания, которое мы отложим, чтобы не отвлекаться от главного — уяснения принципа биополярности. Этот принцип дошел до нашего времени и сформулирован уже в XX в. двумя поэтами, стоявшими по отношению к биосфере на двух противоположных позициях. Поскольку нам здесь нужна не история проблемы, а уяснение принципа классификации, ограничимся двумя наглядными примерами.

Первая позиция — мироотрицание.

> Так вот она, гармония природы,
> Так вот они, ночные голоса!
> Так вот о чем шумит во мраке воды,
> О чем, вздыхая, шепчутся леса.
> Лодейников прислушался. Над садом
> Шел смутный шорох тысячи смертей.
> Природа, обернувшаяся адом,
> Свои дела вершила без затей.
> Жук ел траву, жука клевала птица,
> Хорек пил мозг из птичьей головы,
> И страхом перекошенные лица
> Ночных существ смотрели из травы.
> Природы вековечная давильня
> Объединяла смерть и бытие
> В один клубок, но мысль была бессильна
> Разъединить два таинства ее.
>
> *(Н. Заболоцкий)*

В этих прекрасных стихах, как в фокусе линзы телескопа, соединены взгляды гностикоа, манихеев, альбигойцев, карматов, махаянистов,— короче, всех, кто считал материю злом, а мир — поприщем для страданий.

Вторая позиция — мироутверждение.

> ...С сотворенья мира стократы
> Умирая, менялся прах,
> Этот камень рычал когда-то,
> Этот плющ парил в облаках.
> Убивая и воскрешая,

Набухать вселенской душой,
В этом воля земли святая,
Непонятная ей самой.
(Н. Гумилев)

Сходство позиций только в одном: иррациональности отношения персоны (человека или животного) к биосфере. Остальное — диаметрально противоположно, как в средние века и, видимо, до нашей эры.

В первой позиции — стремление заменить дискретные системы (биоценоз) на жесткие («И снится мне железный вал турбины»), которые, по логике развития, превратят живое вещество в косное, косное при термической реакции разложится до молекул, молекулы распадутся до атомов, из атомов выделятся реальные частицы, которые, аннигилируясь, превратятся в виртуальные. Лимит такого развития — вакуум. И наоборот, при усложнении систем, где жизнь и смерть идут рука об руку, возникает разнообразие, которое немедленно передается в психологическую сферу, создает искусство, поэзию, науку. Но, конечно, «за все печали, радости и бредни» придется отплатить «непоправимой гибелью последней».

Итак, этническая история имеет следующие три параметра.

1. Соотношение каждого этноса с его вмещающим и кормящим ландшафтом, причем утрата этого соотношения непоправима: упрощаются, а вернее, искажаются и ландшафт и культура этноса.

2. Вспышка и последующая утрата пассионарности; этногенез — как энтропийный процесс. Диссипация биохимической энергии живого вещества биосферы с выбросом свободной энергии.

3. Выделение из этноса отдельных персон и консорций (сект), изменяющих стереотип поведения и отношение к природной среде на обратное. Идеал (далекий прогноз, желанная цель, формирующая психологическую доминанту не только на персональном, но и на популяционном уровне) меняет знак (либо усложнение, либо упрощение системы; не смешивать с обывательскими понятиями: «хорошо» и «дурно» и с умозрительными: «прогресс» и «отсталость»).

Только в этом, последнем параметре решающую роль играет свободная воля человека, обеспечивающая ему право выбора, но и подлежащая морально-юридической оценке: если некто желает стать преступником и злодеем, осуждение его уместно.

В эти три формулы умещается вся теория, необходимая этнологии для объяснения, почему история народов и государств идет не прямо по пути прогресса, а зигзагами и частыми обрывами в никуда. И почему, на фоне столь трагичном, этносы существуют и радуются жизни.

Невидимые нити. Никто не живет одиноко, даже если очень этого хочет. Невидимые нити связывают страны, обитатели которых никогда не видели друг друга. И как ни называть эти связи — культурными, экономическими, политическими, военными...— они нарушают течение этногенезов, создают зигзаги истории, порождают химеры и зачинают призраки систем, то есть антисистемы. Так обратим на них внимание, чтобы наше представление о ведущем сюжете исследования не было ни однобоким, ни неполноценным.

Идеологические воздействия иного этноса на неподготовленных неофитов действуют подобно вирусным инфекциям, наркотикам, массовому алкоголизму. То, что на родине рассматривается как обратимое и несущественное отклонение от нормы, губит целые этносы, неподготовленные к сопротивлению чужим завлекательным и опьяняющим идеям. К числу таких принадлежал гностицизм как логика жизнеотрицания.

Бывают эпохи, когда людям жить легко, но очень противно. Именно таким был закат Римской империи, но с рождением Византии появились цели и интерес к жизни. Как было уже сказано, византийский суперэтнос вылупился из яйца христианской общины, социальным обрамлением которой была церковная организация. Но в этом яйце таился и второй зародыш, так называемый гностицизм.

Словом «гностицизм» мы определяем те течения той же христианской мысли, которые были не приняты церковью, но восторжествовали несколько веков спустя. Это явление имеет свою предысторию.

Александр Македонский, завоевав Персию с ее провинциями — Малой Азией, Сирией и Египтом, решил, что он создаст из эллинов и восточных людей единый грандиозный этнос. Для этого он даже переженил несколько сот своих офицеров-македонян на осиротевших дочерях погибших в войне персидских вельмож. Конечно, нового этноса не возникло: по приказу не создашь этноса — явления природы. Как социальная система его империя раскололась, как этнический конгломерат она превратилась в химеру. Пришлые греки и аборигены жили в одних и тех же городах, занимались теми же ремеслами и торговлей, развлекались в тех же кабаках, но упорно чуждались друг друга.

Так, в Александрии, столице Египта, где правили потомки одного из македонских полководцев — Птолемея, 50 % населения составляли греки, 40 % — евреи и 10 % все остальные, в том числе и египтяне.

В это время впервые греко-римский мир получил возможность ознакомиться с текстом Библии. Птолемей, царь Египта, видел, что его философы никак не могут переспорить еврейских раввинов. Философы пришли к Птолемею и говорят: «Мы никак не можем с ними спорить, потому что мы не знаем, что они доказывают; мы опровергаем один их тезис, а они говорят: «Да это вы не то опровергаете»,— и выдвигают совсем другой. Мы должны знать точно, что там написано, тогда будем спорить». Он говорит: «Ладно, я вам это сделаю». В одну ночь в Александрии было арестовано 72 раввина. Царь вышел к ним, когда их привели, и сказал речь: «Сейчас вам каждому будет дан экземпляр Библии, достаточное количество пергамента и письменных принадлежностей, и посадят вас в камеры-одиночки. Извольте перевести на греческий язык. Филологи мои проверят, и если будут несовпадения, я не буду разбираться, кто прав, кто виноват, а всех вас повешу, наберу новых и получу перевод». Но больше не пришлось никого сажать, перевод он получил. Раввинов отпустили по домам, и так получилась Библия септуагинта — Библия семидесяти толковников, греческий перевод.

Когда прочли ее греки, они за голову схватились: как же по книге Бытия мир-то создан? Бог создал сначала весь мир, тварей и животных, потом человека Адама, потом из его ребра Еву и запретил им есть яблоки с дерева познания Добра и Зла. А Змей соблазнил Еву, Ева — Адама. Они скушали с запрещенного дерева яблоки и узнали, где добро, где зло, и тем самым вызвали гнев Бога, который их лишил рая. Греки отнеслись к этому так: «Самое главное для нас — познание, а еврейский бог нам его запретил; вот Змей — хороший, вот этот нам помог», и они начали почитать Змея и осуждать этого самого, сотворившего мир, которого они называли «ремесленник» — «демиург». Это, решили греки, плохой, злой демон, а Змей добрый. Представители этого течения богословской мысли назывались офиты, от греческого слова «офис» — змей.

По этой логико-этической системе в основе мира находится Божественный Свет и его Премудрость, а злой и бездарный демон Ялдаваоф, которого евреи называют Яхвэ, создал Адама и Еву. Но он хотел, чтобы они остались невежественными, не понимающими разницу между Добром и Злом. Лишь благодаря помощи великодушного Змея, посланца божественной Премудрости, люди сбросили иго незнания сущности божественного начала. Ялдаваоф мстит им за освобождение и борется со Змеем — символом знания и свободы. Он посылает потоп (под этим символом понимаются низменные эмоции), но Премудрость, «оросив светом» Ноя и его род, спасает их. После этого Ялдаваофу удается подчинить себе группу людей, заключив договор с Авраамом и дав его потомкам закон через Моисея. Себя он называет Богом Единым, но он лжет; на самом деле он просто второстепенный огненный демон, через которого говорили некоторые еврейские пророки. Другие же говорили от лица других демонов, не столь злых. Христа Ялдаваоф хотел погубить, но смог устроить только казнь человека Иисуса, который затем воскрес и соединился с божественным Христом.

Поклонники «Полноты». С более изящными и крайне усложненными системами выступили во II в. антиохиец Саторнил, александриец Василид и его соотечественник Валентин, переехавший в Рим.

Александрийские гностики представляли Бога высочайшим существом, заключенным в самом деле, и источником всякого бытия. Из него, подобно солнечным лучам, истекли второстепенные божеские существа — эоны. Чем более отдалялись эоны от своего источника, тем слабее они становились. Все они в совокупности назывались Плеромой или «Полнотой» всего сущего. Вместе с Плеромой существует грубая, безжизненная материя, не имеющая действительного бытия, а только вид его. Она называется «Пустотой». Мир возник из соприкосновения и смешения этих двух стихий — Плеромы и материи. Самый крайний из эонов по слабости своей упал в материю и одушевил ее, благодаря чему образовался видимый мир. Противоположность божественного и материального стала причиной зла в людях и демонах.

Эон, из-за которого возник мир, гностики называли Демиург, то есть ремесленник, и приравнивали к богу Ветхого Завета. Они полагали, что он сделал мир неряшливо, что он бы и рад освободить дух из уз материи, но сделать этого не умеет. Была также гипотеза, что он злобно противится помощи, которую могут ему оказать высшие эоны.

Высочайшее Божество постоянно заботится о жертвах Демиурга — людских душах. Оно стремится поддержать в них мысль об их высоком происхождении и укрепить их в борьбе с материей. Для этой цели оно по временам сообщало людям, к тому способным — пророкам и философам,— новые духовные элементы и наконец послало на Землю первого эона в призрачном теле. Этот эон соединился при крещении с человеком Иисусом и показал людям путь обратно в Плерому. Раздраженный этим Демиург, а по другим мнениям — Сатана, довел Иисуса до распятия. Небесный Христос оставил человека Иисуса на кресте и возвратился к Верховному существу. Спасение души — это освобождение от материи через борьбу с ней.

Еще была и антиохийская школа, где учил Саторнил, тоже очень почтенный человек. Он говорил: «Нет, материя и дух — первозданны, они всегда были, просто материя захватила часть духа и держит его. Конечно, вырваться надо, материя — это плохо, а дух — хорошо, но материя, вообще говоря, тоже существует наряду с духом». Из этой саторниловской школы вышло замечательное учение персидского пророка Мани.

Поклонники «Света». В Иране обстановка была несколько иной. Воинственные парфяне с Копетдага объединились со степными саками и выгнали македонян из Ирана. Их цари мужественно отстаивали свою землю от македонян и римлян, но обаянию эллинской культуры подчинились и они. В их столице, Ктесифоне, ставились трагедии Еврипида, шли диалоги о философии Платона, переводился на персидский язык Аристотель. И соответственно, в этой химерной целостности — Парфянской державе — расцвел гностицизм.

В 224 г. н. э. князь из дома Сасана Артшир Папаган изгнал парфян из «Священной земли Ирана» и восстановил учение Заратуштры. Но к участию в зороастрийском культе допускались только персы, а население Месопотамии принимало либо христианство, либо гностицизм. И вот на границе двух миров — эллинского и персидского — в Месопотамии родился исключительно тонкий, талантливый художник, каллиграф и писатель Мани. В поисках мудрости он ездил даже в Индию, а вернувшись на родину, проповедовал новое учение, в дальнейшем сыгравшее огромную роль в развитии культуры, истории и даже этногенеза.

Заметим, что гностиками становились мечтатели, богоискатели, почти фантасты, стремившиеся, подобно античным философам, придумать связную и непротиворечивую концепцию мироздания, включая в него добро и зло. Гностицизм — это не познание мира, а поэзия понятий, в которой главное место занимало неприятие действительности. Гностические системы были совершенно потрясающими по красоте, логичности, неожиданности. Но они не имели никакого отношения к научной мысли, ничего не объясняли и не считали нужным объяснять, за одним исключением: учение Мани и его последователей — манихеев — объяснило людям, что такое зло.

Мани проповедовал такую идею: раньше свет и тьма были разделены между собой и тьма была сплошная, но не одинаковая — там были облака сгущенного мрака и разреженного мрака, и они двигались в беспорядке, в таком броуновском движении, и однажды случайно они подошли к границе света и попытались туда вторгнуться.

Против них вышел «первочеловек», первый человек, под которым надо понимать Ормузда, который стал бороться и не пускать облака мрака в обитель света. Облака напали на первочеловека, облекли собой, разорвали его светлое тело на части, и частицы света мучают это тело; это и есть мир — смесь мрака со светом. Надо добиться, чтобы эти частицы были освобождены, ради чего приходил сначала Христос, а потом он, Мани — Утешитель, и вот он учит, что нужно делать.

Да, действительно, нужно вести себя очень аскетически, не есть и не убивать животных с теплой кровью, лягушек и змей можно, есть растительную пищу, воздерживаться от всякого рода плотских развлечений, потому что, если женишься, это естественным образом оздоровляет твой организм, и он крепче держит душу. Но разрешались оргии с полным развратом, только чтобы было неизвестно, кто с кем, потому что это расшатывает организм и помогает душе освободиться. Система логична. Самоубийство не помогает, потому что существует переселение душ из тела в тело, и если ты самоубьешься, то опять возродишься, и надо все начинать сначала. Поэтому надо добиться подлинной смерти — потерять вкус к жизни. Мани трагически погиб, казненный по проискам магов — зороастрийского духовенства, но его учение распространилось по всей Ойкумене, от Китая до Тулузы, и везде встречало крайне враждебное отношение, потому что в нем отчетливо проявлялась враждебность к живой природе, семье и творческой истории этносов как порождения злого начала — Мрака. В сравнение с манихеями нельзя поставить даже маркионитов.

Маркион и маркиониты. Большинство гностиков не стремились распространять свое учение, ибо они считали его слишком сложным для восприятия невежественных людей, и их концепции гасли вместе с ними. Но в середине II в. христианский мыслитель Маркион, опираясь на речь апостола Павла в Афинах о «Неведомом Боге», развил гностическую концепцию до той степени, что она стала доступной широким массам христиан.

Маркион происходил из Малой Азии. Был он очень учен. Сначала был торговцем, потом занялся филологией и написал большой трактат о Ветхом и Новом Завете, где доказал очень квалифицированно, что Бог Ветхого и Бог Нового Завета — это разные боги и что, следовательно, христианину поклоняться Ветхому Завету нельзя. А так как поклонение Богу Ветхого Завета вошло в обиход, то большая часть церковников его не приняла,

но церковь разделилась на две части — маркионитов и противников Маркиона. Победили тогда, во II в., маркиониты, но в III в. дуалистов одолели сторонники монизма.

Маркиона объявили последователем Сатаны и не признали его учения. Церковь его извергла, а книгу его подвергли осторожному замалчиванию — самое страшное, что может быть для ученого. Просто на эту тему считалось неприлично говорить. (Восстановил систему доказательств Маркиона только один немецкий ученый — Доллингер, который из разных текстов собрал аргументы Маркиона, доказывающие, что Бог Нового и Бог Ветхого Завета — это разные боги, противостоящие один другому, как добро и зло.)

Однако учение Маркиона все же не исчезло. Через сотни передач оно сохранялось на родине Маркиона, в Малой Азии, и в IX в., преображенное, но еще узнаваемое, стало исповеданием павликиан (от имени апостола Павла), выступивших на борьбу с византийским православием, причем они даже заключили союз с мусульманами.

Павликиан нельзя считать христианами. Несмотря на то, что они не отвергали Евангелия, павликиане называли крест символом проклятия, ибо на нем был распят Христос, не принимали икон и обрядов, не признавали таинств крещения и причастия и все материальное почитали злом. Будучи последовательными, павликиане активно боролись против церкви и власти, прихожан и подданных, сделав промыслом продажу плененных юношей и девушек арабам. Вместе с тем в числе павликиан встречалось множество попов-расстриг и монахов, а также профессиональных военных. Удержать этих сектантов от зверств не могли даже их духовные наставники. Жизнь брала свое, даже если лозунгом борьбы было отрицание жизни. И не стоит в этих убийствах винить Маркиона, филолога, показавшего принципиальное различие между Ветхим и Новым Заветами. В идеологическую основу антисистемы могла быть положена и другая концепция, как мы сейчас и покажем.

Павликианство было разгромлено военной силой в 872 году, после чего пленных павликиан не казнили, а поместили на границе с Болгарией для несения службы пограничной охраны. Так смешанная манихейско-маркионитская доктрина проникла к балканским славянам и породила богомильство, вариант дуализма, весьма отличающийся от манихейского прототипа, укрепившегося в те же годы в Македонии.

Вместо извечного противостояния Света и Мрака богомилы учили, что глава созданных Богом ангелов, Сатаниил, из гордости восстал и был низвергнут в воды, ибо суши еще не было. Сатаниил создал сушу и людей, но не мог их одушевить, для чего обратился к Богу, обещая стать послушным. Бог вдунул в людей душу, и тогда Сатаниил его надул и сделал Каина. Бог в ответ на это отрыгнул Иисуса, бесплотного духа, для руководства ангелами, тоже бесплотными. Иисус вошел в одно ухо Марии, вышел через другое и обрел форму человека, оставаясь призрачным. Ангелы Сатаниила скрутили, отняли у него суффикс «ил», в котором таилась сила, разумеется, мистическая, и загнали его в ад. Теперь он не Сатаниил, а Сатана. А Иисус вернулся в чрево Отца, покинув материальный, созданный Сатаниилом мир. Вывод из концепции был прост: «Бей византийцев!».

Как видно из описания, разница во взглядах у манихеев, маркионитов, богомилов и провансальских катаров была больше, нежели у католиков и православных. Однако дуалисты имели единую организацию из 16-ти церквей, тесно связанных друг с другом. Сходство их было сильнее различий, несмотря на то, что основой его было отрицание. В отрицании была их сила, но также и слабость; отрицание помогало им побеждать, но не давало победить.

Катары. Западная Европа несколько позже, чем Передний Восток, испытала все последствия механического смешения этносов. Подлинная химера образовалась в Лангедоке, захватив на западе Тулузу, а на востоке — Северную Италию.

Беда была в том, что Великий караванный путь, начинавшийся в Китае и шедший по бескрайним безлюдным степям, доходил до богатого, обильного всеми продуктами Лиона, затем до величественной Тулузы и заканчивался в мусульманской Испании, в Кордове. А с международной торговлей всегда связано разнообразие людей и идей, неспособных слиться друг с другом. Зато в теле такой химеры часто прорастают как паразиты жизнеотрицающие системы, примеры которых мы уже видели.

Дуалистическое учение катаров проникло в Лангедок с Балканского полуострова, где смешались уже знакомые нам павликиане, богомилы и манихеи. Катаров французы называли альбигойцами, ибо одним из их центров был город Альби.

Распространенное мнение, что пламенная религиозность средневековья породила католический фанатизм, от которого запылали костры первой инквизиции, вполне ошибочно. К концу XI в. духовное и светское общество Европы находилось в полном нравственном падении. Многие священники были безграмотны, прелаты получали назначения благодаря родственным связям, богословская мысль была задавлена буквальными толкованиями Библии, соответствовавшими уровню невежественных теологов, а духовная жизнь была скована уставами клюнийских монахов, настойчиво подменявших вольномыслие добронравием. В ту эпоху все энергичные натуры делались или мистиками, или развратниками. А энергичных пассионарных людей во Франции было много больше, чем

требовалось для повседневной жизни. Поэтому-то их и старались сплавить в Палестину освобождать Гроб Господен от мусульман, с надеждой, что они не вернутся.

Но ехали на Восток не все. Многие искали разгадок бытия, не покидая родных городов, потому что восточная мудрость сама текла на Запад. Она несла ответ на самый больной вопрос теологии: Бог, создавший мир, благо; откуда же появились Зло и Сатана?

Принятая в католичестве легенда о восстании обуянного гордыней ангела не удовлетворяла пытливые умы. Бог всеведущ и всемогущ! Значит, он должен был предусмотреть это восстание и подавить его. А раз он этого не сделал, то он повинен во всех последствиях и, следовательно, является источником зла. Логично, но абсурдно. Значит, что-то не так. На это отвечали приходившие с Востока манихеи: «Зло извечно. Это материя, оживленная духом, но обволокшая его собой. Зло мира — это мучения духа в тенетах материи». Следовательно, все материальное — источник зла. А раз так, то зло — это любые вещи, в том числе храмы и иконы, кресты и тела людей. И все это подлежит уничтожению.

В чем же усматривали катары (альбигойцы) и вообще все гностики-манихеи свою задачу? Они считали, что надо вырваться из этого страшного мира. Для этого мало умереть, так как смерть тела ведет к новому воплощению души — к новым мучениям. Надо вырваться из цепи перевоплощений, а для этого мало убить тело, нужно умертвить душу. Каким путем? Убив все свои желания. Аскетизм, полный аскетизм! Есть только постную пищу, но у них оливковое масло было хорошее, так что это было довольно вкусно. Рыбу можно есть, лягушек можно есть (французы едят лягушек). Затем, конечно, никакой семьи, никакого брака. Надо изнурить свою плоть до такой степени, чтобы душа уже не захотела оставаться в этом мире, тогда она в момент смерти воспарит к светлому Богу. Но плоть можно изнурять двумя способами — или аскетизмом, или неистовым развратом. В разврате она тоже изнуряется, и поэтому время от времени альбигойцы устраивали ночные оргии, обязательно в темноте, чтобы никто не знал, кто с кем изнуряет плоть. Это было обязательное условие, потому что если человек полюбил кого-то, то это уже привязанность. Привязанность к чему? — к плотскому миру: она его полюбила или он ее — значит, все! Они не могут стать совершенными и изъяться из мира. А если просто в публичном доме плоть изнурять, то это — пожалуйста.

По учению альбигойцев полезен сам по себе всякий акт изнурения плоти, ведущий к отвращению к жизни, но без брака и воспитания детей, потому что и дети, и любимая жена, и хороший муж — все они являются частями, составляющими этот мир, и, следовательно, соблазном дьявола, которого надо избегнуть.

Мораль, естественно, упразднялась. Ведь если материя — зло, то любое истребление ее — благо, будь то убийство, ложь, предательство...— все не имеет никакого значения. По отношению к предметам материального мира было все позволено.

Но тут средневековый христианин сразу же задавал вопрос: а как же Христос, который был и человеком? Исцелял больных, одобрял веселье настолько, что превратил в Кане Галилейской воду в вино, защитил женщину, то есть не был противником живой материальной жизни? На это были подготовлены два ответа: явный — для новообращенных и тайный — для посвященных. Явно объяснялось, что «Христос имел небесное, эфирное тело, когда вселился в Марию. Он вышел из нее столь же чуждым материи, каким был прежде... Он не имел надобности ни в чем земном, и если он видимо ел и пил, то делал это для людей, чтобы не заподозрить себя перед Сатаной, который искал случая погубить Избавителя».

Однако для «верных» (так назывались члены общины) предлагалось другое объяснение: «Христос — творение демона; он пришел в мир, чтобы обмануть людей и помешать их спасению. Настоящий же не приходил, а жил в особом мире, в „небесном Иерусалиме"».

Довольно деталей. Нет и не может быть сомнения в том, что манихейское альбигойство — не ересь, а просто антихристианство, и что оно дальше от христианства, нежели ислам и даже теистический буддизм. Однако если перейти от теологии к истории культуры, то вывод будет иным. Бог и Дьявол в манихейской концепции сохранились, но поменялись местами. Именно поэтому новое исповедание имело в XII в. такой грандиозный успех. Экзотичной была сама концепция, а детали ее привычны, и замена плюса на минус для восприятия богоискателей оказалась легка.

Следовательно, в смене закона мог найти выражение любой протест, любое неприятие действительности, в самом деле весьма неприглекательной. Кроме того, любое манихейское учение распадалось на множество направлений, мироощущений, мировоззрений и степеней концентрации, чему способствовали в равной мере пассионарность новообращенных, позволявшая им не бояться костра, и оправдание лжи, с помощью которой они не только спасали себя, но наносили своим противникам неотразимые, губительные удары.

Конечно, далеко не все в Западной Европе понимали сложную догматику манихейства, да многие и не стремились к этому. Им было достаточно осознать, что Сатана для них — не враг, а владыка и помощник в затеваемых ими преступлениях. Тайно исповедовал это учение император Генрих IV, враг папы Григория VII. А простодушный Ричард Львиное Сердце откровенно заявил, что все члены дома Плантагенетов пришли от Дьявола и вернутся к Дьяволу. Этим заявлением он оправдал все совершенные им преступления и предательства; по крайней мере, так считал он сам.

И ведь эту доктрину, упразднявшую совесть, исповедовали в XII в. не только короли, но и священники, ткачи, рыцари, крестьяне, нищие, ученые-законоведы и безграмотные бродячие монахи, причем большинство из них не отдавали себе отчета в значении своих умонастроений. Эти последние легко переходили из одного стана в другой, потому что от них не требовалось формального отречения от догматов своей веры.

Основная часть этого умонастроения — община катаров — имела строгую дисциплину, трехстепенную иерархию и ни на какие компромиссы не шла. Проповедь «совершенных» во Франции и даже в Италии так наэлектризовывала массы, что подчас даже папа боялся покинуть укрепленный замок, чтобы на городских улицах не подвергнуться оскорблениям возбужденной толпы, среди которой были и рыцари, тем более что феодалы отказывались ее усмирять.

Может возникнуть ложное мнение, что католики были лучше, честнее, добрее, благороднее катаров (альбигойцев). Оно столь же неверно, как и обратное. Люди остаются самими собою, какие бы этические доктрины им ни проповедовались. Да и почему концепция, что можно купить отпущение грехов за деньги, пожертвованные на крестовый поход, лучше, чем призыв к борьбе с материальным миром?

Учение католиков было столь же логично, только с иной доминантой: католики утверждали, что мир должен быть сохранен и что жизнь как таковая не должна пресекаться. И во имя этого они очень много убивали. Казалось бы, парадокс? Нет, не парадокс. Для того, чтобы жизнь поддерживалась, согласно диалектике природы, смерть так же необходима, как и жизнь, потому что после смерти идет восстановление.

А альбигойцы, отрицая жизнь и стремясь к ее уничтожению, делали очень хитрую вещь — они отказывались убивать все живые существа с теплой кровью (поэтому выяснить, кто альбигоец, кто не альбигоец, было очень легко: велели человеку зарезать курицу: если он отказывался, то его тащили на костер). Вы скажете, что альбигойцы лучше католиков. Они ведь такие гуманные, что даже курицу не убьют. Но ведь если бы кур не стали резать и кушать, то их бы не стали и разводить и куры исчезли бы совсем как вид. Только благодаря смене жизни и смерти поддерживаются биосферные процессы; альбигойцы это понимали, они стремились к смерти полной, окончательной, без возрождения.

А представим себе, что все люди последовали бы учению альбигойцев: жизнь прекратилась бы в одном поколении!

Вот потому-то там, где последователи антисистемы захватывали власть, они отказывались от антисистемных принципов. Не отвергая их официально, они превращали захваченную ими страну в заурядное феодальное государство.

Зиндики. Совсем рядом с двумя уже описанными суперэтносами, по другую сторону Средиземного моря, находился третий суперэтнос, известный также по конфессиональному признаку — мусульманский. Возник он в начале VII в. и, следовательно, был моложе византийского и старше романо-германского. Однако жизнь его протекала столь напряженно, что состарила его преждевременно.

Грандиозные победы арабов на востоке и западе расширили границы халифата до Памира и Пиренеев. Множество племен и народов было включено в халифат и обращено в ислам. Так создался мусульманский суперэтнос. Негативная антисистема здесь имела оригинальные формы, но несла ту же самую губительную функцию. И если провансальские катары и болгарские богомилы были явлением импортным, то арабы, завоевавшие Сирию и Иран, получили в качестве подданных маздакитов Азербайджана, огнепоклонников Хорасана, буддистов Средней Азии, манихеев Месопотамии и гностиков Сирии.

Все эти учения, весьма различные между собою, пылали одинаковой ненавистью к поработителям-мусульманам и к вере ислама. Неоднократно вспыхивали восстания, беспощадно подавляемые халифами до тех пор, пока не сложилась новая консорция — религиозная организация, поставившая себе целью борьбу против религии. Она вобрала в себя множество древних традиций и создала новую, оригинальную и неистребимую, ибо она потрясла мусульманский мир.

Мусульманское право — шариат — позволяло христианам и евреям за дополнительный налог спокойно исповедовать свои религии. Идолопоклонники подлежали обращению в ислам, что тоже было сносно. Но зиндикам (от персидского слова «зенд» — смысл, что было эквивалентом греческого «гнозис» — знание), представителям нигилистических учений, грозила мучительная смерть. Следовательно, зиндики — это гностики, но в арабскую эпоху это название приобрело новый оттенок — «колдуны». Против них была учреждена целая инквизиция, глава которой носил титул «палача зиндиков». Естественно, что при таких условиях свободная мысль была погребена в подполье и вышла из него преображенной до неузнаваемости во второй половине IX в. И даже основатель новой концепции известен. Звали его Абдулла ибн-Маймун, родом — перс из Мидии, по профессии — глазной врач, умер в 874 (875) году.

Догматику и принципы нового учения можно лишь описать, но не сформулировать, так как основным его принципом была ложь. Сторонники новой доктрины называли даже себя в разных местах по-разному: наиболее известные названия в Персии — исмаилиты, в Аравии — карматы. Цель же их была одна — во что бы то ни стало разрушить ислам, как катары стремились разрушить христианство.

Видимая сторона учения была проста: безобразия этого мира исправит махдя, то есть спаситель человечества и восстановитель справедливости. Эта проповедь почти всегда находит отклик в массах народа, особенно в тяжелые времена. А IX в. был очень жестоким. Мятежи и отпадения эмиров, восстания племен на окраинах и рабов-зинджей в сердце страны, бесчинства наемных войск и произвол администрации, поражения в войнах с Византией и растущий фанатизм мулл...— все это ложилось на плечи крестьян и городской бедноты, в том числе и образованных, но нищих персов и сирийцев. Горючего скопилось много; надо было уметь поднести к нему факел.

Свободная пропаганда любых идей была в халифате неосуществима. Поэтому эмиссары доктрины выдавали себя за мусульман. Они толковали тексты Корана, попутно вызывая в собеседниках сомнения и намекая, что им что-то известно, но вот-де истинный закон забыт, отчего все бедствия и проистекают, а вот если его восстановить, то... Но тут он, как бы спохватившись, замолкал, чем, конечно, разжигал любопытство. Собеседник, крайне заинтересованный, просит продолжать, но проповедник, опять-таки ссылаясь на Коран, берет с него клятву соблюдения молчания, а затем, как испытание доброй воли прозелита, сумму денег, сообразно средствам, на общее дело. Затем идет обучение новообращенного. Мир, в котором мы живем, плохой, потому что здесь всякие кадии, эмиры, муллы, халиф со своим войском угнетают и обижают бедных людей, у которых, однако, есть выход: если они достигнут совершенства через участие в их общине, то попадут в антимир, где все будет наоборот — там они сами будут обижать кадиев, эмиров и т. д. Такая незамысловатая, казалось бы, система нашла себе большое количество приверженцев. Так как здешний мир, в котором мы живем, очень многими считался плохим, то антимир, естественно, казался хорошим.

Карматы, или, как их на востоке называли, исмаилиты, должны были лгать всем: с шиитом он должен быть шиит, с суннитом — суннит, с евреем — еврей, с христианином — христианин, с язычником — язычник, но только должен помнить, что тайно подчинен своему пиру — старцу. Все мусульмане — враги, против которых дозволены ложь, предательство, убийства, насилия. И вступившему на «путь», даже в первую степень, возврата нет, кроме как смерть.

Община, исповедовавшая и проповедовавшая это страшное учение, бывшее бесспорно мистическим и вместе с тем антирелигиозным, очень быстро завоевала твердые позиции в самых разных областях распадавшегося халифата.

Никакого духовенства у них не было, но иерархия была очень строгая. Каждая община имела своих руководителей, которым подчинялась совершенно беспрекословно. На смерть они шли, совершенно не дрогнув, потому что за мученическую смерть им гарантировалось место в антимире, где вечное блаженство. А чтобы они верили, что антимир действительно существует, что это не обман, им давали покурить гашиша — самый обыкновенный наркотик,— и они его видели! Видения у них были такие красочные, что за них стоило погибнуть.

И как только на фоне меркнущего заката на небе появлялась голубая звезда Зухра (планета Венера), исмаилиты проникали всюду и убивали ради убийства, сами оставаясь невидимыми. Ночь — символ тайны — была их стихией. Они заключали тайные сделки, тайно дружили с тамплиерами, тайно вступали в свое братство и, погибая под пытками, хранили тайну мотивов своих деяний.

Наибольший успех имела карматская община Бахрейна, разорившая в 929 году Мекку. Карматы перебили паломников и похитили черный камень Каабы, который вернули лишь в 951 году. Губительными набегами карматы обескровили Сирию и Ирак, им удалось даже овладеть Мультаном в Индии, где они варварски перебили население и разрушили дивное произведение искусства — храм Адитьи.

Не меньшее значение имело обращение в исмаилизм части берберов Атласа. Эти воинственные племена использовали проповедь псевдоислама для того, чтобы расправиться с завоевателями-арабами. Вождь восставших Убейдулла в 907 году короновался халифом, основав династию Фатимидов, потомков сестры пророка и Али. Его потомкам удалось покорить Египет.

«Старец Горы». Исмаилиты пытались также утвердиться в Иране и Средней Азии, но натолкнулись на противодействие тюрков, сначала Махмуда Газневи, а потом сельджукских султанов. Несмотря на понесенные поражения, исмаилиты в конце XII в. держались в Иране и Сирии. Честолюбивый Хасан Саббах, чиновник канцелярии сельджукского султана Мелик-шаха, выгнанный за интриги, стал исмаилитским имамом. В 1090 году ему удалось овладеть горной крепостью Аламут в Дейлеме, и он стал называться «Старец

Горы», а позже исмаилиты приобрели десяток крепостей в горах Ливана и Антиливана.

Однако не крепости были главной опорой этих фанатиков. Большая часть подданных «Старца Горы» жила в городах и селах, выдавая себя за мусульман или христиан. Мусульмане не считали их за единоверцев, и поэт XII в. Усама ибн Мункыз в «Книге назидания» рассказывает, что во время осады его замка его мать увела свою дочь на балкон над пропастью, чтобы столкнуть девушку в бездну, лишь бы она не попала в плен к исмаилитам. Попытки уничтожить этот орден были всегда неудачны, ибо каждого везира или эмира, неудобного для исмаилитов, подстерегал неотразимый кинжал явного убийцы, жертвовавшего жизнью по велению своего старца.

Хасан Саббах не ощущал недостатка в искренних приверженцах. Так погиб в 1092 году везир Низам уль-Мульк от кинжала фидаина. Так в Испахани ложнослепой нищий, прося проводить его до дому, заманивал мусульман в засаду, где доверчивого добряка убивали. Но это были мелочи. Хасан нашел способ сломать не социальную, а этническую систему. Он направил своих убийц на самых талантливых и энергичных эмиров, места которых, естественно, занимали потом менее способные, а то и вовсе бездарные тупицы и себялюбцы. А эти последние, занимая низшие должности, способствовали действиям исмаилитов, ибо знали, что кинжал фидаина откроет им путь на вершину власти. Такой целенаправленный геноцид за 50 лет превратил сельджукский султанат в бессистемное скопление небольших, но хищных княжеств, пожиравших друг друга, как пауки в банке.

Наличие мощной антисистемы исмаилитов превратило борьбу христианства с исламом в трехстороннюю войну. Исмаилиты были врагами всех, но, как все, они нуждались в друзьях и искали их где могли, даже среди христиан. Православные византийцы для исмаилитов не подходили; греки так «нажглись» на былом попустительстве павликианам, развязавшем восстание в IX в., что в XII в. предпочитали иметь дело с сельджуками, у которых можно было запросто выкупать и обменивать пленников.

Зато крестоносцы за полвека растеряли первоначальный религиозный порыв и поддались обаянию роскоши и неги Востока. Война из грандиозного столкновения «Христианского» и «Мусульманского» миров превратилась в серию феодальных стычек, обычных для любой страны того времени. Исмаилиты держались в своих замках, пользуясь всеобщим беспорядком, и продавали услуги своих фидаинов феодалам, желавшим избавиться от того или иного соперника. Убийства приносили секте доход.

Остановка в пути. А теперь остановим караван нашего внимания для того, чтобы подумать над уже сделанными описаниями. Как легко было заметить, три большие суперэтнические системы сопровождались антисистемами, вернее, одной антисистемой, подобно тому, как тени разных людей различаются друг от друга не по внутреннему наполнению, которого у теней вообще нет, а лишь по контурам.

Как уже было показано, провансальские катары, болгарские богомилы, малоазиатские павликиане, аравийские карматы, берберийские и иранские исмаилиты, имея множество этнографических и догматических различий, обладали одной общей чертой — неприятием действительности, то есть метафизическим нигилизмом. Эта их особенность так бросалась в глаза всем исследователям, что возник соблазн усмотреть в ней проявление классовой борьбы, которая в эпоху расцвета феодализма, безусловно, имела место. Однако это завлекательное упрощение при переходе на почву фактов наталкивается на непреодолимые затруднения.

Каково было поведение самих еретиков? Феодалов они, конечно, убивали, но столь же беспощадно они расправлялись с крестьянами, отнимая их достояние и продавая их жен и детей в рабство. Социальный состав манихейских и исмаилитских общин был крайне пестрым. В их числе были попы-расстриги, нищие ремесленники и богатые купцы, крестьяне и бродяги — искатели приключений и, наконец, профессиональные воины, то есть феодалы, без которых длительная и удачная война была в те времена невозможна. В войске должны были быть люди, умеющие построить воинов в боевой порядок, укрепить замок, организовать осаду. А в X—XIII вв. это умели только феодалы.

Когда же исмаилитам удавалось одержать победу и захватить страну, например, Египет, то они отнюдь не меняли социального строя. Просто вожди исмаилитов становились на места суннитских эмиров и также собирали подати с феллахов и пошлины с купцов. А превратившись в феодалов, они стали проводить религиозные преследования, не хуже чем сунниты. В 1210 году «Старцы Горы» в Аламуте жгли «еретические» (по их мнению) книги. Фатимидский халиф Хаким повелел христианам носить на одежде кресты, а евреям — бубенчики; мусульманам было разрешено торговать на базаре только ночью, а собак, обнаруженных на улицах, было велено убивать.

И даже карматы Бахрейна, учредившие республику, казалось бы, свободную от феодальных институтов, сочетали социальное равенство членов своей общины с государственным рабовладением. «Напряженная борьба, которую вели карматы против халифата и суннитского ислама, приняла с самого начала характер и форму сектантского движения.

Поэтому карматы, будучи нетерпимыми фанатиками, направляли свое оружие не только против суннитского халифата и его правителей, но и против всех тех, кто не воспринимал их учения и не входил в их организацию... Нападения карматских вооруженных отрядов на мирных городских и сельских жителей сопровождались убийствами, грабежами и насилиями... Уцелевших карматы брали в плен, обращали в рабство и продавали на своих оживленных рынках наравне с другой добычей».

Естественно, что этот стереотип поведения оттолкнул от карматов широкие слои крестьян, горожан и даже бедуинов, которые были всегда готовы пограбить под любыми знаменами, но считали излишним убивать женщин и детей.

Ну какая тут «классовая борьба»?!

Но может быть, это все клевета врагов «свободной мысли» на вольнодумцев, осуждавших правителей за произвол, а духовенство — за невежество. Допустим, но почему тогда эти «клеветники» не возражали на критику своих порядков. Негативная сторона еретических учений не оспаривалась, а о позитивной французы и персы, греки и китайцы отзывались единодушно, причем явно без сговора. Но выслушаем и другую сторону — знаменитого поэта и идеолога исмаилизма Насир-и-Хосрова.

Мыслитель считал, что «если убивать змей для нас обязательно по согласному мнению людей, то убивать неверных для нас обязательно по приказу Бога всевышнего, и неверный более змея, чем змея...» Высшая цель его веры — постижение людьми сокровенного знания и достижения «ангелоподобия». Средство достижения — установление власти Фатимидов, которое он мыслит следующим образом:

Узнавши, что заняли Мекку потомки Фатьмы,
Жар в теле и радость на сердце почувствуем мы.
Прибудут одетые в белое [1] божьи войска;
Месть бога над полчищем черных [2], надеюсь, близка.
Пусть саблею солнце из рода пророка [3] взмахнет,
Чтоб вымер потомков Аббаса безжалостный род,
Чтоб стала земля бело-красною, словно хулла [4],
И истинной вере дошла до Багдада хвала.
Обитель пророка — его золотые слова,
А только наследник имеет на царство права [5].
И если на западе солнце взошло [6], не страшись
Из тьмы подземелий поднять свою голову ввысь.

Стихи недвусмысленны. Это призыв к религиозной войне без какой бы то ни было социальной программы. Следовательно, движение исмаилитов не было классовым, равно как и движения катаров, богомилов и павликиан. Последние три течения отличались от исмаилитства лишь тем, что не достигли политических успехов, после которых их перерождение в феодальные государства было бы неизбежно.

Ограниченность отрицания. Как мы должны расценивать все сказанное выше с точки зрения географии? Казалось бы, фантасмагория какая-то, при чем тут география? Очень при чем! Мироощущение альбигойцев, манихеев, павликиан — в Византии, исмаилитов и прочих — это система негативной экологии. Не любя мир, манихеи не собирались его хранить, наоборот, они стремились к уничтожению всего живого, всего прекрасного. Вместо любовной привязанности к миру и к людям они культивировали отвращение и ненависть. Должна была стать уничтоженной вся жизнь и биосфера там, где возобладала бы эта система. Но, к счастью, у манихеев возможности были ограничены: победить до конца, реализовать свою идею целиком они не могли принципиально.

В самом деле, если бы манихеи достигли полной победы, то для удержания ее им пришлось бы отказаться от разрушения плоти и материи, то есть преступить тот самый принцип, ради которого они стремились к победе. Совершив эту измену самим себе, они должны были бы установить систему взаимоотношений с соседями и с ландшафтами, среди которых они жили, то есть тот самый феодальный порядок, который был естественным при тогдашнем уровне техники и культуры. Следовательно, они перестали бы быть самими собой, а превратились бы в собственную противоположность. Но это положение

---

[1] Цвет Фатимидов.

[2] Цвет Аббасидов.

[3] Мустансир, халиф Египта, Фатимид (1036—1094).

[4] Плащи бедуинов — белые с красными полосами.

[5] Подразумевается происхождение Мустансира от Али и Фатьмы, сестры Мухаммеда. На самом деле родоначальником Фатимидов был пасынок Абдуллы ибн-Маймуна, еврей, обращенный в исмаилизм.

[6] Имеются в виду успехи войск Мустансира.

было исключено необратимостью эволюции. Став на позицию проклятия жизни и приняв за канон ненависть к миру, нельзя исключить из этого собственное тело.

Поэтому манихеи первым делом уничтожали свои собственные тела и не оставляли потомства, так что этим все и кончалось. Полного уничтожения биосферы в тех местах, где манихеи побеждали, не происходило. И тем не менее, это их отрицательное отношение ко всему живому явилось лозунгом для могучего еретического движения, которое охватило весь Балканский полуостров, большую часть Малой Азии, Северную Италию, Южную Францию и привело к неисчислимым жертвам.

СЛОВО О НАУКЕ

В глубокой древности. Когда Наука была в зачатке, люди представляли мир как собрание недвижных предметов: звезд, гор, морей, а если им приходилось наблюдать движение: смену дня и ночи, произрастание трав или старение своих близких,— то они считали эти формы движения цикличными. Осуждать их за это было бы несправедливо; ведь обыватели XX в. воспринимают мир так же.

Однако уже Гесиод уловил линейное течение мирообразования: эпоха Урана — пространство без времени и энергии; эпоха Хрона — добавление времени с броуновским движением чудовищ; эпоха Зевса — добавка энергий (молний). Это было примитивное учение об эволюции, прогрессе и линейном времени. В наше время оно сохранилось в геологии — учении о смене эр: палеозоя, мезозоя, кайнозоя.

Великий Гераклит сформулировал учение о вечной изменчивости: «Все течет, все изменяется, никто не может дважды войти в один и тот же поток, и к смертной сущности никто не прикоснется дважды!», а Зенон доказывал, что движения нет, ибо Ахилл не может догнать черепаху. Оба умозрительных учения делают науку невозможной: гераклитовское — потому что нельзя описывать исчезающие и неповторимые феномены, а зеноновское — потому что без движения к предметам изучения нельзя приблизиться для обследования их. Потому-то научное познание заменилось софистикой, и Горгий имел право сформулировать свои три тезиса: «Ничего нет!», «Если бы что-нибудь было, оно было бы непознаваемо!», «Если бы познание существовало, его было бы нельзя передать!»... Тупик!

Как ни странно, все эти три философских подхода к Науке дожили до XX в., изменив формы, но не настолько, чтобы их было нельзя распознать.

Философские построения оказались неверными. Конечно, река и смертное тело изменяются, но в пределах законного допуска; следовательно, повторное «прикосновение» к ним возможно. Апорий Зенона, утверждавший, что движение — лишь наше восприятие, поскольку оно немыслимо, опровергнут появлением дифференциального исчисления: оказалось, что движение, которое действительно — основа мироздания, не только наблюдаемо, но и мыслимо, причем непротиворечиво.

Да, стабильными можно называть те явления и предметы, которые изменяются медленно, но и тут нужно учитывать, что характер изменений определяется не столько видимостью такового, сколько диалектическими законами: переходом количества в качество, единством и борьбой противоположностей и отрицанием отрицания. Эти законы подсказывают ученым необходимость учитывать третий вид движения — колебательное, которое, как мы увидим, лежит в основе многих явлений, в том числе — этногенеза.

Факт этнического изменения внутри системы определяется либо накоплением, либо растратой энергии живого вещества биосферы (биохимической), а устойчивость неоднородной системы — законом единства и борьбы противоположностей. Дискретность этногенезов и этнической истории, или, что то же, существование «начал» и «концов», есть прямое проявление закона отрицания отрицания, согласно которому рождение и смерть любой системы неразрывно связаны друг с другом. Диалектика, и только она, позволит решить поставленную нами задачу.

Тезис. Поставим следующий вопрос: к компетенции какой науки — естественной или гуманитарной — относится все то, что сказано выше о динамике этноса?

Для ответа нам прежде всего потребуется уточнить само понятие гуманитарных и естественных наук. Принято думать, что гуманитарные науки — это те, которые изучают человека и его деяния, а естественные науки изучают природу, живую, мертвую и косную, то есть ту, которая никогда не была живой.

Это деление неконструктивно и полно противоречий, делающих его бессмысленным. Медицина, физиология и антропология изучают человека, но не являются гуманитарными науками. Древние каналы и развалины городов, превратившиеся в холмы,— антропогенный метаморфизованный рельеф, находятся в сфере геоморфологии — науки естественной. И наоборот, география до XVI в., основанная на легендарных, часто фантастических рассказах путешественников, переданных через десятые руки, была наука гумани-

тарная, так же как геология, основанная на рассказах о всемирном потопе и Атлантиде. Даже астрономия до Коперника была наукой гуманитарной, основанной на изучении текстов Аристотеля, Птолемея, а то и Косьмы Индикоплавта. Люди предпочитали жить на плоской Земле, окруженной Океаном, нежели на шарике, висящем в бесконечном пространстве — Бездне. Эти мнения бытуют еще и ныне, несмотря на всеобщее среднее образование. Отсюда видно, что различие между гуманитарными и естественными науками не принципиально, а, скорее, стадиально. В. И. Вернадский еще в 1902 году отметил: «В XVIII в. работы натуралиста в геологии и физической географии напоминали приемы и методы, царившие еще недавно в этнографии и фольклоре. Это неизбежно при данной фазе развития науки».

Исходя из сказанного, легко заключить, что деление образов мышления, тем самым и наук, по предмету изучения неправомерно. Гораздо удобнее деление по способу получения первичной информации. Тут возможны два подхода: чтение книг или выслушивание сообщений (легенд, мифов и т. д.) и наблюдение, иногда с экспериментом.

Первый способ соответствует гуманитарным наукам, царицей коих является филология. Второй — естественным наукам, которые следует подразделить на математизированные и описательные. Математизированные имеют дело с символами, описательные — с феноменами. К числу последних относятся география и биология.

Причина такого странного размежевания наук глубока, но и она описана В. И. Вернадским, назвавшим ее «бессознательным научным дуализмом». Он разъяснял этот тезис так: «Под именем дуалистического научного мировоззрения я подразумеваю тот своеобразный дуализм, когда ученый-исследователь противопоставляет себя — сознательно или бессознательно — исследуемому миру... Получается фантазия строгого наблюдения ученым-исследователем совершающихся вне его процессов природы как целого». Так, но филолог неизбежно находится вне изучаемого им текста. Иначе он не может работать. Значит, научный дуализм, столь вредный в естественных науках,— наследие гуманитарных навыков, перенесенных в чуждую им область.

Тут разница принципиальная. То, что гуманитарий рассматривает извне, то естествоиспытатель должен стараться рассмотреть изнутри, ибо сам находится в биосфере, потоке постоянных изменений. В этом потоке он видит больше, чем гуманитарий, для которого открыта только рябь на поверхности, но соучастие в планетарной жизни кончается с его неизбежной гибелью, как всякого живого организма. Это и есть диалектика природы.

Отмеченное размежевание гуманитарных и естественных наук не дает права на предпочтение одних другим. Ведь именно гуманитарные науки обогатили современное человечество информацией об иных культурах, как современных эпохе европейского Просвещения, так и мертвых. Именно за это XV—XVI вв., переполненные жестокостями и преступлениями, ныне называются Возрождением. И хотя гуманитары приучили читателей, алчущих знания, к вере в источники, историческая критика, сопряженная с естествознанием, позволила ограничить веру сомнением, в результате чего наука история стала обладательницей огромного количества фактов, то есть элементов любой сложной конструкции. Беда была лишь в том, что, за одним исключением — социально-экономической истории, не было скелета науки — принципа классификации. В любой обобщающей работе факты излагаются просто в хронологической последовательности, вследствие чего плохо поддаются запоминанию.

Физико-химия, астрономия и космография преодолели аналогичные трудности использованием математики, но зоология, физическая география и историческая этнография не позволяют применять к себе математическую символику. Нельзя «думать, что все явления, доступные научному объяснению, подведутся под математические формулы... Об эти явления, как волны о скалу, разобьются математические оболочки — идеальное создание нашего разума»,— писал В. И. Вернадский.

Казалось бы, что компетенция естествознания простирается только на те факты, которые существуют ныне, но не на те, что ушли в прошлое. Однако палеонтология и историческая геология изучают именно прошлое, руководствуясь принципом актуализма, согласно которому законы природы, наблюдаемые сейчас, так же действовали в прошлом.

Однако это относится к массовым явлениям, но не единичным фактам, представляющим интерес для историка.

Как известно, все природные закономерности вероятностны и, следовательно, подчинены закону больших чисел. Значит, чем выше порядок — тем неуклоннее воздействие закономерности на объект; и чем ниже порядок — тем более возрастает роль случайности, а тем самым и степень свободы.

Поэтому в естествознании единичное наблюдение воспринимается критично. Оно может быть случайным, неполным, искаженным обстоятельствами, в которых находился наблюдатель, и даже его личным самочувствием.

И в опыте ошибки возможны. Опыт может быть не чистым: данные могут быть искусственно подогнаны (артефакт) или не учтены все привходящие компоненты. Но все эти недостатки компенсируются большим числом наблюдений, где неизбежная ошибка лежит

в пределах допуска. Иначе говоря, она столь мала, что ею не только можно, но и нужно пренебречь.

Так возникает эмпирическое обобщение — непротиворечивый комплекс сведений, по достоверности равный наблюденному факту. И если историк или палеоэтнограф встает на этот путь, он получает столь же блестящие перспективы, какие уже имеют биологи, геологи и географы. Пусть исходный элемент исторического исследования — эксцесс. Если набрать их много, они будут поддаваться классификации, а если еще больше — то и систематизации, а тем самым дадут верифицированный материал для эмпирических обобщений. Этим путем в XIX в. пошла социально-экономическая история, и данные ее легли в основу исторического материализма, предмет которого — не отрывочные сведения летописцев, а объективная реальность со свойственной ей закономерностью.

В исторической географии и этнографии XIX в. такой постановки вопроса не было, потому что не было способов ее решения. Они появились лишь в середине XX в. Это были системный подход Л. фон Берталанфи и учение В. И. Вернадского о биохимической энергии живого вещества биосферы. Именно эти два открытия позволили сделать эмпирическое обобщение всех ранее установленных фактов и дать тем самым описательное определение категории «этнос», установив характер движения материи в этногенезах.

Тем самым гуманитарная историческая география и палеоэтнография превратились в новую естественную науку — этнологию.

А как же история, сведения которой мы употребили столь обильно?

Она, как двуликий Янус, осталась гуманитарной там, где предметом изучения являются творения рук и умов человеческих, то есть там, где изучаются здания и заводы, древние книги и записи фольклора, феодальные институты и греческие полисы, философские системы и мистические ереси, горшки, топоры и расписные вазы или картины, короче говоря,— источники, которые по сути своей статичны и иными быть не могут.

Эти вещи человек создает своим трудом, при этом выводя их материал из цикла конверсии биоценоза. Он стабилизирует природный процесс, ибо эти вещи могут только разрушаться.

Но человек не только член общества (Gesellschaft), но и этноса (Gemeinwesen). Вместе со своим этническим коллективом он сопричастен биосфере. Вечно меняясь, умирая и возрождаясь, как все живое на нашей планете, он оставляет свой след путем свершения событий, которые составляют скелет этнической истории — функции этногенеза. В этом аспекте история — наука естественная и находится в компетенции диалектического, а не исторического материализма.

Особенности исторического времени. Как известно, география исследует становление поверхности Земли, включающей четыре оболочки: литосферу, гидросферу, атмосферу и биосферу. Сочетание их — результат множества природных и техногенных процессов, создавших и затем постоянно меняющих облик Земли. Именно это сочетание создает ту специфику, которая выделяет географию не как случайный комплекс сведений, а как самостоятельную науку о разнообразии географической среды.

Процессы в географической среде идут в рамках пространственно-временных закономерностей. Поскольку время здесь — обязательный параметр, то любые уточнения хронологии в географических науках небесполезны. Так, историческая геология показывает изменение внебиологических оболочек Земли, однако даты происшедших изменений рельефа, химического состава атмосферы и гидросферы весьма приблизительны и измеряются геологическими периодами. При изучении биосферы — в палеозоологии и палеоботанике — допуск меньше: мастодонты и махайродусы вымерли в кайнозое. Абсолютную же хронологию (с точностью до года) дает только изучение антропосферы даже не в голоцене, а в историческом периоде. На этой основе антропогеография показывает последовательность изменений, происшедших за последние пять тысяч лет. В таком аспекте биосферные процессы следует рассматривать как Мезокосм, лежащий между уровнями Макрокосма (Космоса) и Микрокосма (явлениями атомными и молекулярными). Но как считать планетарное время применительно к биосферным структурам, учитывая сменяемость видов и этносов?

Линейное время без начала и конца весьма удобно для абстрактных построений, но не может отразить равнокачественности возникающих в биосфере систем. И тут мы наталкиваемся на феномен, ранее неучитывавшийся и ныне непонятный в должной мере. Законы природы в общих своих формах едины для разных уровней структурной организации материи, хотя и проявляют себя через многообразие. Этот исходный принцип диалектического монизма получил блестящее подтверждение в синергетике и этнологии. Поэтому хронологические уточнения (как характеристика развития) имеют значение для множества уровней: от атомного и молекулярного (у И. Пригожина) до популяционного (у автора этих строк). С последним обстоятельством связано и значение общей теории систем для географии. Наблюдаемая в природных процессах вспышка энергии (отрицательной энтропии) с последующей ее растратой представляет собой универсальный механизм

взаимодействия системы со средой. Эта универсальность, доказанная И. Пригожиным для микрообъектов, в географии описывается как движение на популяционном уровне. Иными словами, и на биосферном уровне развитие осуществляется не эволюционно, а дискретными переходами — от равновесия к неравновесию и обратно. Возникающая структура всегда ведет себя иначе, нежели прежняя, уже растратившая первоначальный импульс и близкая к равновесию со средой. Значит, импульс — начало процесса диссипации, ведущей систему к неизбежному распаду.

В связи с этим напрашивается мысль восточной хронософии о цикличности процесса, подобном смене времен года или фаз Луны. Сыма Цянь в I в. до н. э. сформулировал, как уже отмечалось, тезис исторического развития так: «Конец и вновь начало». Однако дело обстоит сложнее: цикличность в биосферных процессах (видообразование, этногенез) не наблюдается. Обсуждаемый тип взаимодействия отвечает не ритму (повторению), а инерции экспесса, при котором изменение потенциала описывается сложной кривой подъемов, спадов и зигзагов. Это кривая сгорающего костра, вянущего листа, взрыва порохового погреба. Разница здесь лишь в продолжительности процесса, а этногенезы длятся от 1100 до 1500 лет, если их не нарушают экзогенные воздействия, например, геноцид при вторжении иноплеменников или эпидемия.

Но кроме отвергнутых форм движения времени (поступательной и вращательной) есть еще колебательная, затухающее звучание струны после щипка и маятника после толчка. Растрата энергии импульса от сопротивления вмещающей среды и ее рассеивание — это диссипация, которую мы наблюдаем в биосфере Земли. Биоценозы, да и этносы, возникают внезапно, образуют экосистемы и медленно рассеивают биохимическую энергию живого вещества, описанную В. И. Вернадским. В этом аспекте этническая история (в отличие от истории социальной, движение коей спонтанно) составляет часть биосферы.

И в древности были этносы — творцы антропогенных ландшафтов, ибо руины городов Месопотамии, Египта, Юкатана и курганы Великой степи — это следы былых диссипаций, так же как пустыни и солончаки в свое время завершали попытки древних людей бороться с их праматерью — биосферой. Победа была недостижима принципиально, ибо лимит диссипации — равновесное состояние этнической системы со средой (гомеостаз), то есть утрата резистентности, для которой не остается энергетических ресурсов. Вот почему большая часть этносов, живших и творивших в исторический период, уже не существует. Этносистемы развалились на части, на обломки и на пылинки, то есть отдельных людей, которые затем интегрировались в новые системы, в обновленных ландшафтах с новыми традициями. По сути дела, открытие И. С. Пригожина есть обоснование принципа защиты окружающей среды, ибо оптимальна дружба с природой, а не победа над ней.

Дж. Оруэлл

ЛИР, ТОЛСТОЙ И ШУТ

Из произведений Толстого менее всего известны его статьи, а критический очерк, содержащий нападки на Шекспира [1], не так-то легко заполучить, по крайней мере, в английском переводе. Может быть, поэтому имеет смысл кратко изложить содержание этого очерка, прежде чем приступить к его анализу.

Начинает Толстой с того, что всю жизнь Шекспир вызывал у него «неотразимое отвращение и скуку». Зная, что весь образованный мир придерживается прямо противоположного мнения, Толстой вновь и вновь брался за Шекспира, читал и перечитывал его по-русски, по-английски и по-немецки, но «безошибочно испытывал все то же: отвращение, скуку и недоумение». Наконец, в возрасте семидесяти пяти лет, он вновь перечел всего Шекспира, включая его хроники, и «с еще большей силой испытал то же чувство, но уже не недоумения, а твердого, несомненного убеждения в том, что та непререкаемая слава великого гениального писателя, которой пользуется Шекспир и которая заставляет писателей нашего времени подражать ему, а читателей и зрителей, извращая свое эстетическое и этическое понимание, отыскивать в нем несуществующее достоинство, есть великое зло, как и всякая неправда».

Шекспир, добавляет Толстой, не только не гениален, но даже не может быть признан «самым посредственным сочинителем», и в доказательство своей мысли Толстой анализирует «Короля Лира», восторженно восхваляемого критиками, о чем свидетельствуют приводимые в очерке цитаты из Гаалита [2], Брандеса [3] и других, и потому избранного Толстым как образец лучших драм Шекспира.

Далее Толстой излагает сюжет «Короля Лира», находя драму на каждом шагу глупой, многословной, неестественной, непонятной, напыщенной, пошлой, скучной и полной нелепых событий, «ужасного бреда», «неудачных острот», анахронизмов, несообразностей, непристойностей, устаревших сценических условностей и других недостатков, как этических, так и эстетических. К тому же «Король Лир» представляет собой плагиат ранней и не в пример лучшей драмы неизвестного автора, которую Шекспир присвоил и испортил.

Стоит процитировать отрывок из очерка в качестве иллюстрации стиля толстовской критики. Сцена вторая третьего акта (Лир, Кент и шут во время бури) излагается так: «Лир ходит по степи и говорит слова, которые должны выражать его отчаяние: он желает,

---

[1] «О Шекспире и о драме». Написан около 1903 года в качестве предисловия к статье Эрнеста Кросби «Шекспир и рабочий класс». *(Прим. автора.)*

[2] Вильям Газлит (или Хэзлит) (1778—1830), английский шекспировед. Автор книги «Характеры в пьесах Шекспира» (1817—1818).

[3] Георг Брандес (1842—1927), датский литературовед и критик. Автор книги «Шекспир, его жизнь и произведения».

. Оруэлл Джордж (настоящее имя — Эрик Блэр, 1903—1950) — английский писатель. Автор «Собачьей жизни в Париже и Лондоне», «Памяти Каталонии», «Дороги в Уайган», «Скотного двора», «1984» и множества эссе.

чтобы ветры так дули, чтоб у них (у ветров) лопнули щеки, чтоб дождь залил все, а молнии спалили бы его седую голову и чтоб гром расплющил землю и истребил все семена, которые делают неблагодарного человека. Шут подговаривает при этом еще более бессмысленные слова. Приходит Кент. Лир говорит, что почему-то в эту бурю найдут всех преступников и обличат их. Кент, все не узнаваемый Лиром, уговаривает Лира укрыться в хижину. Шут говорит при этом совершенно неподходящее к положению пророчество, и они все уходят».

И Толстой выносит «Королю Лиру» окончательный приговор: ни один свободный от внушения читатель, если бы таковой существовал, не мог бы дочитать драму до конца, не испытывая при этом чувства «отвращения и скуки». То же справедливо и в отношении «всех других восхваляемых драм Шекспира», не говоря уже о нелепых драматизированных сказках «Перикла», «Двенадцатой ночи», «Бури», «Цимбелина», «Троила и Крессиды».

Покончив с разбором «Короля Лира», Толстой предъявляет Шекспиру и обвинение более общего характера. Допуская, что Шекспир владеет некоторыми техническими приемами — а это отчасти объясняется его актерской деятельностью,— Толстой отказывает ему в каких бы то ни было других достоинствах. Шекспир не способен верно изображать характеры, добиваться, чтобы речь и поступки героев естественно вытекали из ситуаций; в его пьесах неизменно звучат напыщенные и нелепые фразы, он навязывает первым попавшимся под руку персонажам свои собственные случайные мысли, демонстрирует «полное отсутствие эстетического чувства», а его язык «совершенно ничего не имеет общего с художеством и поэзией».

«Что бы ни говорили,— заключает Толстой,— он не был художником». Более того, суждения Шекспира неоригинальны и неинтересны, а направление его произведений «самое низменное, безнравственное». Любопытно, что в последнем своем утверждении Толстой основывается не на цитатах из самого Шекспира, а на высказываниях двух критиков — Гервинуса [1] и Брандеса. Согласно Гервинусу (или, по крайней мере, тому, как его понимает Толстой), «Шекспир учил ...что можно слишком много делать добра», а согласно Брандесу, «основной принцип Шекспира ... состоит в том, что цель оправдывает средства». От себя Толстой добавляет, что Шекспиру, кроме того, был присущ самый отвратительный шовинистический английский патриотизм, в остальном же Гервинус и Брандес, полагает Толстой, дали верную и точную характеристику шекспировского мировоззрения.

Затем в нескольких абзацах Толстой конспективно излагает свою теорию искусства, о которой он уже писал более развернуто в другом месте. В сокращенном виде эта теория сводится к требованию значительности содержания произведения, искренности художника и его высокого мастерства. Великое произведение искусства должно иметь содержание, «важное для жизни людской», оно должно изображать то, что живо чувствует автор, и в нем должны применяться приемы, с помощью которых достигается необходимый эффект. А поскольку миросозерцание Шекспира низменно, воплощение его замыслов нерадиво, сам он не способен даже на минутную искренность, обвинительный приговор ему не вызывает сомнений.

Но здесь-то и возникает трудный вопрос. Если Шекспир действительно таков, каким его изобразил Толстой, то откуда взялось всеобщее восхищение Шекспиром? Очевидно, ответом на этот вопрос может служить только ссылка на некий массовый гипноз или «эпидемическое внушение». Весь образованный мир впал в заблуждение, принимая Шекспира за хорошего писателя, и даже самые явные свидетельства противоположного не производят на людей никакого впечатления, поскольку речь идет не о разумном мнении, а о чем-то близком религиозной вере. В истории человечества, говорит Толстой, без конца встречаются такие «эпидемические внушения», например: крестовые походы, поиски философского камня, страсть к тюльпанам, охватившая некогда Голландию, и тому подобное. Примечательно, что в качестве примера из современной ему жизни Толстой приводит дело Дрейфуса, по поводу которого весь мир вдруг охватило невероятное возбуждение без достаточных к тому оснований. Существуют также непродолжительные наваждения, вызванные новыми политическими или философскими теориями, тем или иным писателем, художником или ученым, скажем, Дарвином, который (в 1903 году) уже «начинает забываться». А в некоторых случаях совершенно никчемный кумир может восхваляться веками, потому что «бывает и то, что такие наваждения, возникнув вследствие особенных, случайно выгодных для их утверждения причин, до такой степени соответствуют распространенному в обществе и в особенности в литературных кругах мировоззрению, что держатся чрезвычайно долго». Причина продолжительной славы Шекспира была и есть та, что его драмы «соответствовали арелигиозному и безнравственному настроению людей высшего сословия нашего мира».

Что же касается зарождения шекспировской известности, то Толстой объясняет, что в конце восемнадцатого столетия ее «подхватили» немецкие ученые. Слава Шекспира

[1] Георг Готфрид Гервинус (1805—1871), немецкий шекспировед, автор капитального труда «Шекспир» (1849—1852).

«началась в Германии, а оттуда уже перешла в Англию». Немцы избрали его предметом своих восхвалений, потому что, когда не существовало даже самой посредственной немецкой драмы, а французская классическая литература стала казаться холодной и фальшивой, их увлекло шекспировское «мастерство ведения сцен» и соответствие его произведений их собственному мировоззрению. Гете провозгласил Шекспира великим поэтом, и сразу же все остальные критики, как попугаи, принялись повторять то же самое, и это безрассудное обожание продолжается до сих пор. В результате искусство драмы падает все ниже и ниже — осуждая современное состояние драмы, Толстой осмотрительно подвергает критике и собственные пьесы — господствующее же миросозерцание становится все безнравственнее. Следовательно, «ложное восхваление Шекспира» есть серьезное зло, бороться с которым, полагает Толстой, его долг.

Вот в чем вкратце суть толстовского очерка. Сначала кажется, что, называя Шекспира плохим писателем, Толстой заведомо говорит неправду. Но это не так. И в самом деле, невозможно найти свидетельств или доказательств того, что Шекспир или кто-то другой — писатель «хороший». Как нельзя со всей определенностью доказать, что, скажем, Уорик Дипинг [1] писатель «плохой». В конечном счете единственным критерием достоинств литературного произведения является его долговечность, что само по себе свидетельствует о мнении большинства читателей. Эстетические теории, подобные толстовской, лишены всякой ценности, потому что они не только возникают из произвольных предположений, но и опираются на расплывчатые определения («искренний», «важный» и т. д.), которые можно толковать как угодно. Строго говоря, *ответить* на эти нападки Толстого невозможно. Интересно другое: зачем он с ними выступил? Следует, между прочим, отметить, что Толстой пользуется множеством неубедительных и надуманных доводов. Несколько примеров мне хотелось бы привести не только потому, что они обнаруживают несостоятельность главного обвинения, но и потому, что они, как говорится, свидетельствуют о злом умысле.

Начнем с того, что Толстой разбирает «Короля Лира» не «беспристрастно», как сам он утверждает дважды. Напротив, он постоянно пытается ввести читателя в заблуждение. Очевидно, что когда вы пересказываете человеку, никогда не читавшему драму, ее сюжет, вы отнюдь не «беспристрастны», если излагаете один из важнейших монологов Лира (монолог с мертвой Корделией на руках) таким образом: «И начинается опять ужасный бред Лира, от которого становится стыдно, как от неудачных острот». Во многих случаях Толстой слегка изменяет текст или придает иную тональность критикуемым сценам, причем всегда для того, чтобы представить сюжет чуть более запутанным и нелепым, а язык чуть более высокопарным. Например, нам сообщается, что «Лиру нет никакой надобности и повода отрекаться от власти», хотя причина отречения (старость и желание снять с себя бремя государственных забот) ясно указана в первой сцене. Даже в том абзаце, который я ранее процитировал, Толстой намеренно не пожелал понять одну фразу и слегка исказил смысл другой, представив всю реплику бессмысленной, хотя в контексте она звучит вполне разумно. Все эти неточности толстовского прочтения не так уж существенны сами по себе, но, собранные вместе, достигают цели — усиливают психологическую непоследовательность драмы. Вместе с тем Толстой не может объяснить, почему пьесы Шекспира продолжали издаваться и ставиться целых двести лет после смерти драматурга (то есть *до* того, как возникло «эпидемическое внушение»), да и все, что пишет Толстой о возникновении славы Шекспира, представляет собой лишь необоснованные предположения, перемежающиеся с откровенно ложными заявлениями. Кроме того, его обвинения противоречивы: Шекспир, например, лишь забавляет публику, по словам Толстого, он не «in earnest» [2], и он же постоянно вкладывает собственные мысли в уста персонажей. В целом трудно поверить, что критика Толстого добросовестна. Едва ли он сам полностью разделяет свой главный постулат, будто чуть ли не сто лет весь образованный мир был во власти громадной и очевидной лжи, и только Толстому удалось ее разглядеть. Конечно, его неприязнь к Шекспиру вполне искренна, но причины ее могут — полностью или частично — отличаться от тех, которые он провозглашает во всеуслышание, и именно с этой точки зрения интересен его очерк.

Об этих причинах нам придется строить предположения. Правда, существует возможная разгадка или, скорее, вопрос, который мог бы подвести нас к ней. А именно: почему более чем из тридцати пьес главным объектом своей критики Толстой выбрал «Короля Лира»? Конечно, эта пьеса так знаменита и всегда оценивалась так высоко, что есть все основания считать ее образцом лучших шекспировских драм, но, пожалуй, для столь резкой критики Толстому выгоднее взять ту пьесу, которая меньше всех ему нравится. А разве нельзя допустить, что особую неприязнь он испытывал именно к этой драме, потому что осознанно или бессознательно улавливал сходство между судьбой Лира и собственной судьбой? Теперь давайте подойдем к этой разгадке с другой стороны: проанализируем драму и те ее качества, о которых Толстой умалчивает.

[1] Джордж Уорик Дипинг (1877—1950), английский романист.
[2] всерьез *(англ.)*.

Английскому читателю прежде всего бросается в глаза, что Толстой почти не говорит о Шекспире как о поэте. Это всего лишь драматург, который если и пользуется настоящей славой, то только благодаря сценическим приемам, дающим хорошие возможности умелым актерам. Однако, обратившись к англоязычным странам, мы увидим, что подобные рассуждения несостоятельны. Пьесы, более всего ценимые поклонниками Шекспира, такие, как «Тимон Афинский», ставятся редко или вообще не появляются на сцене, а вот пьесы, часто встречающиеся в театральных репертуарах, например, «Сон в летнюю ночь», пользуются меньшей любовью. Те, кому особенно дорог Шекспир, ценят прежде всего его язык, ту «музыку слов», которую даже Бернард Шоу, другой недоброжелатель Шекспира, признает «неотразимой». Толстой ее не замечает и, кажется, не сознает, что стихи могут иметь особую ценность для тех, на чьем языке они написаны. Однако, поставив себя на место Толстого и вообразив Шекспира иностранцем, мы увидим, что Толстой явно чего-то не договаривает. Поэзия — это не только звуки и ассоциации, обесценивающиеся для тех, кто не говорит по-английски,— в противном случае как некоторые стихи, в том числе на мертвых языках, смогли преодолеть языковые границы? Конечно, такую песенку, как «Заутра Валентинов день» [1], вряд ли можно перевести удовлетворительно; тем не менее в главных шекспировских произведениях присутствует нечто, именуемое «поэтичностью», вполне отделимое от слов. Толстой прав, утверждая, что пьеса «Король Лир» неудачна как пьеса. Она слишком растянута, в ней слишком много действующих лиц и второстепенных сюжетных линий. Одной неблагодарной дочери было бы вполне достаточно, да и Эдгар — персонаж лишний; возможно, было бы лучше, если бы Шекспир вовсе не вводил в пьесу Глостера и обоих его сыновей. И все же есть в ней какое-то отличительное свойство, а может быть, лишь особая атмосфера, благодаря которой она столь долговечна, несмотря на свою запутанность и длинноты. «Короля Лира» можно представить себе и в кукольном театре, и в пантомиме, и в балете, и в серии иллюстраций. Возможно, его поэтичность в наибольшей степени присуща сюжету и не зависит ни от тех или иных сочетаний слов, ни от реального воплощения пьесы на сцене.

Закройте глаза и представьте себе «Короля Лира», по возможности не вспоминая диалогов. Что вы видите? Вот что вижу я: величественный старик в длинной черной мантии с ниспадающими седыми волосами и бородой, словно сошедший с рисунков Блейка [2], (и в то же время, как ни странно, напоминающий самого Толстого), бредет в бурю, проклиная небеса, в сопровождении шута и сумасшедшего. Но вот декорации меняются, и старик, все еще с проклятиями на устах, все еще ничего не понимая, держит на руках мертвую девушку, а где-то на заднем плане болтается на виселице шут. Таков костяк драмы, но даже из него Толстой хочет выбросить самое важное. По его мнению, буря не нужна, шут служит лишь поводом для неудачных острот, вызывая скуку и раздражение, а смерть Корделии, как ее видит Толстой, лишает драму нравственного содержания. Согласно Толстому, более ранняя пьеса «Король Лир», переделанная Шекспиром, «кончается более натурально и более соответственно нравственному требованию зрителя, чем у Шекспира, а именно: тем, что король французский побеждает мужей старших сестер, и Корделия не погибает, а возвращает Лира в его прежнее состояние».

Другими словами, трагедии следовало быть комедией, а возможно, и мелодрамой. Вряд ли трагическое мироощущение совместимо с верой в бога, но, так или иначе, оно несовместимо с неверием в человеческое достоинство и с неким «нравственным требованием», которое оказывается обманутым, если нет торжества добродетели. Трагическая же ситуация возникает как раз тогда, когда добродетель *не* торжествует, но при этом чувствуется, что человек нравственно выше тех сил, которые его уничтожают. Еще показательнее, пожалуй, что Толстой не видит никакого смысла в образе шута. А ведь шут — неотъемлемый персонаж этой трагедии. Он подобен античному хору, его рассуждения, гораздо более глубокие, чем у других героев, проясняют суть основного конфликта пьесы, и в то же время он выступает как контраст безумствам Лира. Его шутки, загадки, стишки, бесконечные колкости по адресу благородной глупости короля, начиная с простых насмешек и кончая почти поэтическими печальными строками («Остальные титулы ты роздал, а это природный» [3]), вкраплены по ходу действия как крупицы здравого смысла, как напоминание о том, что где-то там, несмотря на несправедливость, жестокость, интриги, обман и ошибки, изображаемые на сцене, жизнь идет своим чередом. В толстовском неприятии шута можно заметить и более глубокое несогласие с Шекспиром. Он осуждает, и не без оснований, отсутствие в пьесах стройности, несообразность, нелепость их сюжетов, высокопарный язык, но в глубине души ему, пожалуй, больше всего претит их полнокровность, свойство Шекспира ощущать если не удовольствие, то хотя бы интерес к самому жизненному процессу. Однако было бы неверно свести все к нападкам моралиста Толстого на художника. Толстой никогда не говорил, что искусство само по себе порочно или бессмысленно, не отрицал он и значения мастерства. Но в последние годы жизни он прежде всего стремился сузить границы человеческого сознания. Интересов, точек соприкосновения с реальным миром и ежедневной борьбой должно быть у человека не как можно больше, а как можно меньше. Литература должна состоять из притч, лишенных деталей и почти независимых от языка. Притчи — и в этом Толстой отличается от заурядного недалекого пуританина — должны стать произведениями искусства, но из них следует исключить удовольствие и любознательность. Науке также не должна быть свойственна любознательность. Дело науки, говорит Толстой, не открывать смысл происходящего, а учить, как нужно жить людям. То же относится к истории и политике. Многие проблемы (например, дело Дрейфуса) просто не стоит решать, не следует и заниматься ими. В самом деле, вся теория «наваждений» или «эпидемических внушений», где смешиваются без разбора крестоносцы и страсть к выращиванию тюльпанов в Голландии, говорит о желании Толстого смотреть на многие человеческие поступки всего лишь как на необъяснимую и неинтересную муравьиную возню. Понятно, почему ему не хватает выдержки, когда он имеет дело с таким хаотичным, увлеченным мелкими подробностями и непоследовательным автором, как Шекспир. Его реакция похожа на реакцию раздраженного старика, которого теребит непоседливый ребенок: «Что ты вертишься? Неужели ты не можешь посидеть тихо, как я?» Старик по-своему прав, но, вот беда, у ребенка есть та резвость, которую старик утратил. И если он еще помнит об этой резвости, поведение ребенка лишь усиливает его раздражение — он превратил бы детей в стариков, если б мог. Толстой, скорее всего, не понимает, в чем именно ограниченно его восприятие Шекспира, но чувствует, что в чем-то оно ограниченно, и он полон решимости навязать это свое восприятие другим. Толстой был по природе человеком властным и самоуверенным. Уже довольно взрослым он мог в минуты гнева ударить слугу, а позднее, как пишет его английский биограф Деррик Леон, часто испытывал «желание по пичтожнейшему поводу дать пощечину тому, с кем несогласен». Обращение к религии отнюдь не означает избавления от подобных черт, а иллюзия перерождения, несомненно, позволяет природным порокам расцветать на редкость пышно, хотя и в более изощренных формах. Толстой мог отвергать физическое насилие и понимать, что оно несет с собой, но не мог быть терпимым и смиренным, и, даже не зная других его произведений, только по одному этому очерку нетрудно убедиться в толстовской склонности к духовному диктату.

Но Толстой не просто пытается лишить других удовольствия, которого не разделяет сам. Это он делает в первую очередь, но его спор с Шекспиром идет значительно дальше. Это спор между религиозным и гуманистическим отношением к жизни. И здесь мы вновь обращаемся к главной теме «Короля Лира», о которой не упоминает Толстой, хотя излагает сюжет довольно детально.

«Король Лир» — одна из немногих шекспировских пьес, написанных, безусловно, на определенную тему. Как справедливо сетует Толстой, много всякой чепухи говорилось о Шекспире как о философе, психологе, «величайшем учителе мира» и тому подобное. Шекспир не был последовательным мыслителем, свои самые серьезные идеи он излагал некстати и не впрямую, мы не знаем, в какой степени его творчество преследовало определенную «цель» и даже сколько из приписываемых ему произведений действительно создано им. В сонетах Шекспир ни разу не упоминает о том, что пишет пьесы, правда, делает кое-какие полустыдливые намеки на свое актерство. Вполне вероятно, что, по крайней мере, половину пьес он сочинял лишь ради заработка и едва ли заботился о цели или правдоподобии, если удавалось слепить на скорую руку, как правило из заимствованного материала, что-нибудь более или менее пригодное для сцены. Но это еще не все. Начнем с того, что, по замечанию Толстого, у Шекспира есть привычка навязывать своим героям ненужные общие рассуждения. Для драматурга это серьезный недостаток, но он никак не согласуется с толстовской характеристикой Шекспира как дюжинного писаки, лишенного собственного мнения и желающего меньшими усилиями добиться большего эффекта. Более того, около десятка пьес, созданных преимущественно после 1600 года, несомненно, имеют и смысл, и мораль. Их действие разворачивается вокруг основной темы, которую в ряде случаев можно обозначить одним-единственным словом. Например, «Макбет» — драма о властолюбии, «Отелло» — о ревности, «Тимон Афинский» — о деньгах. Тема «Короля Лира» — отречение, и нужно нарочно притворяться слепым, чтобы не понять, о чем в ней говорит Шекспир.

Лир отрекается от трона, но рассчитывает, что к нему и дальше будут относиться как к королю. Он не понимает, что, если отдаст власть, люди воспользуются его слабостью, и те, кто льстят ему больше других, то есть Регана и Гонерилья, первые на него набросятся. И когда Лир осознает, что уже не может, как раньше, заставить окружающих повиноваться, его охватывает гнев, по словам Толстого, «странный и неестественный», а на самом деле вполне соответствующий его душевному складу. В безумии и отчаянии Лир испытывает два чувства, и оба они опять-таки естественны в его обстоятельствах, хотя, возможно, в одном случае Шекспир отчасти использует Лира для провозглашения собственных идей. Первое чувство — отвращение, которое испытывает Лир, раскаиваясь, что был королем, и впервые осознавая всю гнилость официальной законности и расхожей

---

[1] Песня безумной Офелии («Гамлет», акт IV, сцена V). Перевод М. Лозинского.

[2] Уильям Блейк (1757—1827), английский поэт и художник, автор многочисленных иллюстраций к произведениям Шекспира.

[3] «Король Лир», акт I, сцена IV. Здесь и далее перевод Б. Пастернака.

морали. Другое чувство — бессильная ярость, с которой он дает волю воображаемой мести своим обидчикам.

«Пусть дьяволы калеными щипцами
Ухватят и потащат их в огонь» [1].

И еще:

«... Вот мысль!
Ста коням в войлок замотать копыта,
И — на зятьев! Врасплох! И резать, бить
Без сожаленья! Бить без сожаленья!» [2]

Только в конце, когда сознание его просветлело, Лир понимает, что власть, возмездие, победа ничего не стоят:

«Нет, нет!
Пускай нас отведут скорей в темницу...
...Мы в каменной тюрьме переживем
Все лжеученья, всех великих мира,
Все смены их, прилив их и отлив» [3].

Но это открытие приходит слишком поздно — смерть его и Корделии уже предрешена. Таков сюжет драмы, и, несмотря на некоторую нескладность пересказа, этот сюжет очень хорош.

Но не напоминает ли он странным образом судьбу самого Толстого? Трудно не заметить сходство между ними в главном: как в жизни Толстого, так и в жизни Лира наиболее значительным событием был акт добровольного и полного отречения. В старости Толстой отказался от поместья, титула, авторских прав и сделал попытку — честную, хоть и безуспешную — лишить себя привилегированного положения и жить крестьянской жизнью. Еще более глубокое сходство состоит в том, что Толстой, как и Лир, действовал из неверных побуждений и поэтому не достиг желанных результатов. По мысли Толстого, цель каждого человека — счастье, а счастье можно обрести, лишь исполняя волю божью. Но исполнять волю божью значит отказаться от всех земных удовольствий и притязаний и жить только для других. Поэтому Толстой в конечном счете отрекся от мира, надеясь таким образом стать счастливее. Но из того, что известно о его последних годах, несомненно одно: счастлив он *не был*. Напротив, поведение окружающих, осуждавших его именно за отречение, довело Толстого почти до безумия. Подобно Лиру, Толстой не был человеком смиренным и не очень хорошо разбирался в людях. Случалось, он вел себя как аристократ, невзирая на свою крестьянскую рубаху, и даже двое из его детей, в которых он верил, в конце концов пошли против него, хотя, конечно, не таким ужасным образом, как Регана и Гонерилья. Подчеркнутое отвращение Толстого к сексуальности явно сродни чувствам Лира. Слова Толстого о том, что брак есть «рабство, пресыщенность, отвращение», и означают примирение с соседством «мерзости, грязи, запаха, боли», перекликаются с известным взрывом Лира:

«...Наполовину — как бы божьи твари,
Наполовину же — потемки, ад,
Кентавры, серный пламень преисподней,
Ожоги, вонь, погибель, конец!» [4]

И хотя Толстой, когда писал свою статью о Шекспире, не мог предвидеть будущее, конец его жизни — внезапный, неподготовленный уход из дома в сопровождении одной лишь преданной дочери и смерть на какой-то глухой станции — причудливо напоминает судьбу Лира.

Конечно, нельзя утверждать, что Толстой чувствовал свое сходство с Лиром или признал бы это сходство, если б ему на него указали. Но на отношение Толстого к пьесе, вероятно, повлияла ее тема. Отречение от власти, отказ от своих земель — все это кровно интересовало Толстого. Возможно, поэтому мораль «Короля Лира» злила и раздражала его больше, чем мораль какой-нибудь другой пьесы, например «Макбета», не столь близкого жизни Толстого. Но в чем мораль «Короля Лира»? Очевидно, в пьесе две морали: одна выражена явно, другая заложена в сюжете драмы.

Прежде всего, Шекспир утверждает, что лишить себя власти значит спровоцировать нападение. Не обязательно против тебя пойдут *все* (Кент и шут не покидают Лира до конца), но, весьма вероятно, *кто-то* пойдет. Ты подставишь левую щеку, а тебя ударят по

[1] Там же, акт III, сцена VI.
[2] Там же, акт IV, сцена VI.
[3] Там же, акт V, сцена III.
[4] Там же, акт IV, сцена VI.

ней сильнее, чем по правой. Пусть такое случается не всегда, но этого следует ожидать и не жаловаться, когда так происходит. Подставив левую щеку, ты, так сказать, предопределил и второй удар. Следовательно, в первую очередь пьеса содержит мораль, опирающуюся на грубый здравый смысл, ее формулирует шут: не отказывайся от власти, не отдавай свои земли. Но есть и другая мораль. Она не вложена в уста персонажей, да и не так уж важно, сознавал ли ее сам Шекспир до конца. Она заключена в сюжете драмы, который все-таки сочинил Шекспир или переделал в соответствии со своим замыслом. И смысл ее таков: если хочешь, отдай свои земли, но не рассчитывай этим поступком достигнуть счастья. Скорее всего, ты его не достигнешь. Если живешь для других, так и живи *для других*, а не ищи себе выгоду окольным путем.

Ясно, что ни один из этих выводов не мог понравиться Толстому. Первый выражает обычный житейский эгоизм, от которого он искренне хотел избавиться. Другой противоречит его желанию накормить волков и сохранить овец, то есть изжить свой эгоизм и таким образом обрести вечную жизнь. «Король Лир», безусловно, не проповедь альтруизма. В драме лишь показаны результаты самоотречения в целях достижения собственного блага. Шекспир в значительной мере поглощен земными проблемами, и если бы ему пришлось стать на сторону того или иного персонажа своей пьесы, его симпатии принадлежали бы, пожалуй, шуту. Во всяком случае, Шекспир видел суть поставленного вопроса и рассматривал его на уровне трагедии. Порок наказан, однако добродетель не торжествует. Мораль поздних трагедий Шекспира, в обычном смысле слова, нерелигиозна, и это, конечно, не христианская мораль. Только в двух трагедиях, «Гамлете» и «Отелло», действие предположительно происходит в эпоху христианства, но даже в них, если не считать образа призрака в «Гамлете», нет никаких упоминаний «того света», где всем воздастся по заслугам. Поздние трагедии проникнуты гуманистической верой в то, что, несмотря на все несчастья, жизнь стоит прожить и что человек — это благородное животное. А Толстой в старости таких убеждений не разделял.

Толстой святым не был, но он изо всех сил старался им стать и поэтому предъявлял к литературе «неземные» требования. Важно понять, что разница между святым и обыкновенным человеком есть разница видов, а не степени. Иными словами, нельзя считать одного несовершенной формой другого. Святой — во всяком случае, святой по Толстому — не пытается улучшить земную жизнь, он пытается ее избыть и основать вместо нее нечто иное. Очевидным выражением этой идеи служит мысль Толстого о том, что безбрачие выше брака. Если бы мы, фактически говорит Толстой, перестали размножаться, биться, бороться и испытывать наслаждения, если бы мы могли избавиться не только от наших грехов, но и от всего, что связывает нас с землей, включая любовь, тогда весь болезненный процесс подошел бы к концу и наступило бы царствие небесное. Но обыкновенный человек не хочет царствия небесного, он хочет, чтобы продолжалась жизнь на земле. И не только потому, что он «слаб», «грешен» и ищет «развлечений». Большинство людей получают от жизни довольно много радостей, хотя, в сущности, жизнь — это страдание, и только самые юные и самые глупые воображают, что это не так. В конечном счете именно христианское мироощущение своекорыстно и гедонистично, поскольку цель у христиан одна: уйти от болезненной борьбы в земной жизни и обрести вечный покой в какой-то небесной нирване. Гуманист же уверен, что продолжать эту борьбу необходимо, для него смерть — цена жизни. «Человек не властен в часе своего ухода и в сроке своего прихода в мир. Но надо лишь всегда быть наготове» [1] — мысль нехристианская. Иногда между гуманистом и верующим возникает кажущееся согласие, на самом же деле их мировоззрения непримиримы, так как предполагают выбор между этим светом и тем. И подавляющее большинство людей, оказавшись перед таким выбором, предпочтет этот. В сущности, так оно и есть: люди продолжают работать, растить потомство и умирать, а не калечат то, что заложено в них природой, надеясь обрести где-то иную форму существования.

Мы мало знаем о религиозных убеждениях Шекспира, а опираясь на его произведения, трудно было бы доказать, что они у него были. Святым, во всяком случае, Шекспир не был и к этому не стремился, он был человеком, и в определенном смысле не очень хорошим. Например, ему, несомненно, нравилось обретаться среди богачей и знати, и он был способен льстить им самым подобострастным образом. Заметим также, что, высказывая суждения, не пользующиеся популярностью, Шекспир очень осторожен, чтобы не сказать труслив. Почти никогда он не вкладывает в уста персонажа, которого могут отождествить с ним самим, скептические или бунтарские речи. Во всех его пьесах лишь шуты, злодеи, сумасшедшие, люди, симулирующие безумие или находящиеся в состоянии сильнейшей истерии, не поддаются общепринятой лжи и высказывают резкие критические суждения об обществе. В «Короле Лире» эта тенденция прослеживается особенно четко. В драме много скрытой социальной критики — чего не замечает Толстой,— но вся она вложена в уста шута, Эдгара, когда тот притворяется сумасшедшим, или Лира во время приступов

[1] Там же, акт IV, сцена VI.

безумия. В здравом уме Лир почти не высказывает разумных мыслей. Тем не менее сам факт, что Шекспир пользовался подобными уловками, показывает, как широк был диапазон его размышлений. Он не мог удержаться от комментариев практически по любому поводу, хотя и прикрывался при этом всевозможными масками. Стоит внимательно прочесть Шекспира, как вы не проживете и дня, не цитируя его; ведь в своих произведениях он рассматривает или, по крайней мере, упоминает едва ли не все главные проблемы бытия, проясняя, пусть по-своему непоследовательно, их суть. Даже несообразности, разбросанные по всем его пьесам,— каламбуры и загадки, бесконечные ругательные прозвища, обрывки новостей, как в диалоге извозчиков в «Генрихе IV», непристойные шутки, сохранившиеся части забытых баллад — всего-навсего следствие чрезмерного жизнелюбия Шекспира. Он не был ни философом, ни ученым, но, безусловно, обладал любознательностью, любил все земное и саму жизнь, а это, следует еще раз отметить, вовсе не то же самое, что стремление к развлечениям и желание жить как можно дольше. Конечно, долговечность Шекспира обусловлена не тем, что он был мыслителем, возможно, забыли бы и Шекспира-драматурга, не будь он в то же время поэтом. Для нас Шекспир притягателен своим языком. А насколько музыка слов завораживала его самого, можно, пожалуй, судить по речам Пистоля. Слова этого персонажа по большей части бессмысленны, но если рассматривать их отдельно от пьесы, они представляют собой великолепные риторические стихи. Очевидно, бессвязные отрывки («Разлейтесь бурно, реки! Войте, черти!»[1] и т. д.) то и дело возникали в сознании Шекспира сами по себе, и, чтобы использовать их, ему пришлось придумать полусумасшедшего героя.

Английский язык не был родным для Толстого, и не его вина в том, что он остался равнодушен к шекспировскому стиху, как, наверное, и в том, что отказался поверить, будто Шекспир владел словом с незаурядным искусством. Но Толстой отверг бы саму идею оценивать поэзию по качеству стиха, то есть оценивать ее как некую музыку. Если бы вдруг удалось доказать Толстому, что он ошибается в трактовке шекспировской известности, что, по крайней мере, в странах английского языка слава Шекспира истинна, что одно его умение находить те или иные сочетания слогов доставляет подлинное наслаждение поколению за поколением тех, кто говорит по-английски,— все это Толстой счел бы не достоинством Шекспира, а чем-то прямо противоположным. Это было бы еще одним доказательством арелигиозной, земной природы Шекспира и его хвалителей. О поэзии должно судить по ее смыслу, сказал бы Толстой, а чарующие звуки лишь прикрывают лживый смысл. На любом уровне Толстой исповедует одно и то же: противопоставление мира земного и небесного; а музыка слов, разумеется, есть нечто, принадлежащее земному миру.

Некоторое сомнение всегда окружало образ Толстого, так же, как и образ Ганди. Толстой не был обыкновенным лицемером, как утверждают некоторые, и, возможно, заставил бы себя пойти на еще большие жертвы, если бы на каждом шагу в его жизнь не вмешивались окружающие, особенно жена. С другой стороны, в суждениях о людях, подобных Толстому, опасно основываться на мнении их учеников. Всегда существует возможность или, скорее, вероятность, что один вид эгоизма подменяется у этих людей другим. Толстой отрекся от богатства, славы и привилегий, отказался от насилия в любых его видах и, поступая так, готов был страдать, но довольно трудно поверить, что он отказался и от идеи обуздания или, по меньшей мере, желания обуздать других. Есть семьи, где отец скажет ребенку: «Еще раз так сделаешь — уши надеру», мать же, с глазами полными слез, возьмет ребенка на руки и нежно залепечет: «Ну как ты мог, мой родной, сделать такое, не подумав о своей мамочке?» Кто докажет, что во втором случае тиранства меньше, чем в первом? Принципиальное различие состоит не между существованием и отсутствием насилия, а между существованием и отсутствием желания властвовать. Некоторые убеждены в порочности институтов армии и полиции, но в то же время одержимы нетерпимостью и инквизиторским духом гораздо в большей степени, чем обычные люди, полагающие, что бывают случаи, когда насилие необходимо. Те, кто отвергают насилие, не скажут: «Делайте так, так и так, иначе попадете в тюрьму», а постараются добраться до вашего сознания и станут диктовать вам ваши мысли в мельчайших подробностях. Течения, подобные пацифизму и анархизму, на первый взгляд предполагающие полный отказ от власти, в значительной степени способствуют формированию привычки навязывать другим свои взгляды. Ведь если вы сторонник течения, лишенного, как вам кажется, обычной грязи, свойственной политике, течения, от которого вы не ждете для себя никаких материальных выгод, то разве это не означает, что в своих убеждениях вы, безусловно, правы? И чем больше вы осознаете свою правоту, тем очевиднее, что остальных следует заставить думать точно так же.

Если верить тому, что говорит Толстой в своем очерке, он никогда не мог найти у Шекспира достоинств и всегда удивлялся, что его современники, Тургенев, Фет и другие, не соглашались с ним. Можно не сомневаться, что до своего духовного перерождения Толстой решил бы этот вопрос так: «Вам нравится Шекспир, а мне нет. И пусть каждый останется при своем». Позже, когда ощущение многообразия мира покинуло Толстого, произведения Шекспира показались ему опасными. Чем больше людям будет нравиться Шекспир, тем меньше они будут слушать Толстого. Поэтому следует запретить наслаждаться Шекспиром, так же как употреблять алкоголь и курить табак. Правда, Толстой ничего не хочет запрещать силой. Он не требует, чтобы полиция конфисковала все шекспировские книги. Но он выльет на Шекспира столько грязи, сколько сможет. Он постарается добраться до сознания каждого, кто любит Шекспира, и отравить ему удовольствие, используя разнообразные приемы, в том числе, как я показал выше, взаимоисключающие и надуманные доводы.

И, наконец, самое поразительное, что все, о чем мы говорили, почти не имеет значения. Как уже отмечалось, на критику Толстого или, по крайней мере, на главные пункты его обвинения невозможно *ответить*. Нет доводов, которые могли бы защитить стихи. Стихи защищают себя сами тем, что они долговечны, в противном случае их защитить нельзя. Если этот критерий справедлив, приговор в деле Шекспира, я думаю, должен быть: «невиновен». Как и любой другой писатель, Шекспир рано или поздно будет забыт, но едва ли ему когда-нибудь предъявят более серьезное обвинение. Толстой был, пожалуй, самым почитаемым автором своего времени и, конечно, далеко не последним памфлетистом. Всю силу своего осуждения он направил против Шекспира, словно разом загрохотали все корабельные пушки. А каков результат? Прошло уже сорок лет, но слава Шекспира попрежнему непоколебима; от попытки же ее уничтожить остались лишь пожелтевшие страницы толстовского очерка, который вряд ли кто-нибудь читает и который бы совершенно забыли, если бы Толстой не был также автором «Войны и мира» и «Анны Карениной».

1947 г.

Перевод с английского Н. Ермаковой

[1] «Генрих V», акт II, сцена I. Перевод Е. Бируковой.

Ив. Толстой

ЗУБАСТАЯ ЖЕНЩИНА, или НАБОКОВ ПОСЛЕ ПСИХОЗА

Была такая довоенная шутка: «Говорит рязанское радио. Проверьте ваши часы. Сейчас точное время... *(В сторону, быстрым шепотом)* Есть у кого-нибудь часы? Что, нет ни у кого?!. *(Громко, отчетливо)* Пятнадцать часов двадцать одна минута».

Наше набоковедение по саоей точности недалеко ушло от этой картинки. Оно притворилось существующим.

Прошло немногим более трех лет с начала массовых публикаций Владимира Набокова в нашей стране, и старанинми дюжины журналов практически весь «русский» Набоков распечатан. Выходит 4-томное собрание его русскоязычных произведений, и 1990 год обещает стать началом введения в читательский оборот переводного Набокова. В общей сложности за пять-шесть лет мы познакомимся с колоссальным писательским наследием, на что у сверстников В. Сирина и Vladimir'a Nabokov'a ушла вся жизнь. Обогнав их на этом пути в десять раз, мы с той же удесятеренной поспешностью создали и свое набоковедение.

О нем и речь.

Начну в этом случае с себя. Уже во второй своей набоковской публикации («Аврора», 1988, № 6) я ошибся в порядке следования глав незаконченного романа «Solus Rex» (подробнее см. мое «Письмо в редакцию». «Аврора», 1989, № 7). В другой раз не позаботился о подстрочном переводе французских слов и выражений («Звезда», 1989, № 5); их перевели без меня, но ответственности за получившуюся «кошмарную чепуху» я с себя не снимаю.

Впрочем, признание своих публикаторских ошибок некоторыми расценивается как свидетельство непрофессионализма, что ли. Так считает, например, Олег Михайлов.

С ним у меня возникла незапланированнан переписка, знакомство с которой я предлагаю читателям по той причине, что вопросы, поднятые в ней, отражают те проблемы, которые мне хотелось обсудить в втом кратком обзоре.

В прошлом году, когда я был в Париже, только-только появилось первое наше отдельное издание Набокова: «Машенька», «Защита Лужина», «Приглашение на казнь», «Другие берега» (фрагменты). (Романы. Москва, «Художественная литература», 1988.) В эмигрантской газете «Русская мысль» я опубликовал свой короткий отзыв. Вот он:

«В Советском Союзе впервые отдельным изданием выпущен сборник Набокова. Все вошедшие в него произведения были недавно уже напечатаны в советских журналах и перепечатываются здесь в том же виде: романы — полностью, а воспоминания «Другие берега» — с купюрами (о характере этих купюр сообщалось в заметке Сергея Дедюлина: см. «РМ», № 3729). Составление, вступительная статья и примечания — Олега Михайлова, который вместе с Леонидом Чертковым был автором первой в СССР статьи о Набокове (Краткая литературная энциклопедия, т. 5, стлб. 60 — 61; см. также его заметку о Набокове в БСЭ). Писал О.Михайлов о Набокове и в других изданиях. Арсенал цитируемых авторов, тех, кого О. Михайлов привлек для подтверждения своего (очень однобокого) положения о«разрушении» набоковского дара, арсенал этот куц, стар: странно в книге 1988 года видеть все тех же Льва Любимова, И. Бунина, А. Куприна, которые ничего, к сожалению, в Набокове не поняли. Свои доводы О. Михайлов попытался чуть освежить цитатами из известной книги Зинаиды Шаховской, но и цитаты подобрал наименев удачные. Зачем в эпоху гласности взялся писать предисловие критик, не любящий своего героя?

Вероятно, отсюда та нерпшливость, с которой отнесся составитель к своей работе. На 14-ти страницах его сопроводительного текста я насчитал с дюжину ошибок. Уже в первой фразе О. Михайлов называет швейцарский городок Монтрё — «имением» Набокова. Далее сообщается, что в России юный Набоков выпустил две книжки стихов — в 1914 и 1917 годах, тогда как он издал их три — в 1914, 1916 и 1918 годах. Последний роман писателя называется не «Взгляни на арлекина!», а «Взгляни на арлекинов!»; в пьесе Набокова «Изобретение Вальса» Вальс — имя собственное и писать его следует не с маленькой (как О. Михайлов), а с большой буквы. Составитель называет первый набоковский английский роман — «Действительная жизнь Себастьяна Найта», и это можно было бы принять, если бы сам Набоков не предлагал другого названия: «Истинная жизнь...», причем на страницах этого же самого тома (стр. 363). Набоков никогда не преподавал в «Корнуэлльском», но в Корнелльском университете.

Есть и отступления от правил русского языка: если О. Михайлов хотел сказать, что Набоков пародировал многих, ему следовало написать: «Кого только *ни* пародировал...» (а не «не»). Не лучше и с французским языком: надо писать «Litteraires», а не «Litterairy». А благодаря косолапой фразе о платиновой зубной проволоке (стр. 12) О. Михайлоа поменял местами события, разделенные четвертью века.

С выходными же данными у составителя и подавно дружба врозь: Нью-Йорк он сокращает N. I. вместо N. Y. или изобретает такой библиографический волапюк: «США, Ардис, 1979». Это все равно что написать: «СССР, Жазуши, 1985». Журнал «Современные записки», по О. Михайлову, не остановился на 70-м номере, а даже в 109-м продолжал печатать Набокова (повидимому, по ту сторону своей истинной судьбы). Иначе остается предположить, что Олег Михайлов не знает, как читаются римские цифры CIX. (Ив. Т.)».

Честно говоря, мой отзыв заканчивался такой фразой: «Знает, все Олег Михайлов знает, просто сделал свою работу левой ногой».

— Нет,— сказал мне редактор «Русской мысли» Сергей Дедюлин,— эту фразу надо вычеркнуть. Ругаться в своем разделе я не позволю. Мы должны оставаться корректными. Корректными и доказательными.

Через некоторое время на имя главного редактора «Русской мысли» И. А. Иловайской-Альберти пришло письмо от О. Н. Михайлова с разрешением его опубликовать. (Поскольку моя заметка появилась в газете эмигрантской, то О. Н. Михайлов, верно, принял меня за эмигранта.)

«Уважаемый г-н Ив. Т.!

Позвольте, поблагодарив Вас за информацию о *первой* в СССР книге В. В. Набокова, высказать, в свой черед, несколько замечаний.

Главное свое внимание, говоря о моих предислоаии и послесловии к книге, Вы (несколько комично) устремили на корректорские опечатки, сумев совершенно обойти существо моей позиции. Вам она не по душе — это Ваше право. Но ждешь критики по существу, а не выщелкивания корректорских блох.

Для Вас оценки, которые дали Набокову-Сирину Бунин, Куприн (а также Б. К. Зайцев, из письма которого мне Вы приводите одну из опечаток, но вообще не упоминаете о нем), непоправимо устарели. Для меня они сохраняют значение. Кроме того (не приводя никаких аргументированных возражений), Вы утверждаете, что о Набокове должен писать лишь тот, кто его безоговорочно принимает.

Позвольте в связи с этим задать Вам вопрос: означает ли это, что, скажем, о Горьком должен писать обязательно его апологет, а, например, о Троцком — троцкист? И как быть тогда с пресловутым «плюрализмом»? Сегодня в СССР выражаются разные взгляды на творчество Набокова (назову хотя бы имена Анастасьева и Мулярчика), но отчего лишать права голоса меня? Вольно или невольно, но Вы смыкаетесь здесь с нашими ревнителями политического католицизма.

В молодости моей (в 60-е годы) прошел я через крайнюю влюбленность в Набокова. Мой старший и добрый, смею сказать, друг Б. К. Зайцев, желая несколько остудить это чувство, в приведенном мною письме отмечал у Набокова нечто очень аажное: отсутствие Бога. Сам Зайцев (в предисловии к его подготовленной у нас книге я сказал, что после Октября «он писал при свете Евангелия») это остро чувствовал, всегда отмечая и набоковскую исключительную виртуозность. Вот и тема спора!

Для меня же, скажу, странна Ваша ожесточенная необъективность. Более тридцати лет бился я почти в одиночку, проламывая путь «домой» сперва Бунину (статья о нем в «Вопросах литературы» за 1957 год подвергалась в нашей печати шельмованию), а затем — Шмелеву (сборники прозы 1960, 1966 и 1983 годов), Аверченко (1964), Тэффи (1970), Замятину (1986). Все это были *первые* после долгого перерыва книги. Сейчас с моим предисловием напечатано, наконец, шмелевское «Лето Господне» — воистину духовный кладезь для русского человека, вот-вот появится том прозы Зайцева, затем — Мережковского, вышел и «первый Набоков» и т. д. Все это требовало сил, нервов, здоровья. А в результате сталкиваешься с удручающей групповщиной и «дома», и «в гостях».

Толстой Иван Никитич (р. 1958) — филолог-русист. Печатался в журналах «Аврора», «Звезда», «Новый мир», «Современнан драматургин» и др. Автор статей о В. Набокове, М. Лозинском, В. Ходасевиче, декабрвстах-литераторах, М. Булганове, А. Белвнкове, А. Тургеневе и др. Живет в Ленинграде.

Все-таки лучше, по возможности, каждому из нас подавлять в себе типично советскую нетерпимость к инакомыслию. И, не соглашаясь с другим, говорить по делу, а не «мимо» дела.

Олег Михайлов».

Я счел своим долгом прояснить свою позицию. Нижеследующее письмо также появилось на страницах «Русской мысли»:

«Открытое письмо Олегу Михайлову.

Уважаемый Олег Николаевич,

в Вашем письме несколько тезисов:

1. о том, что я сосредоточился лишь на корректорских опечатках, «сумев совершенно обойти существо» Вашей позиции;
2. о том, что Вы верны своим взглядам прежних лет;
3. о том, что любая точка зрения может быть высказана;
4. о том, что у Набокова «нет Бога», но есть «исключительная виртуозность» (мнение Бориса Зайцева);
5. о Ваших публикаторских заслугах
6. и о моей «типично советской нетерпимости к инакомыслию».

Позвольте мне ответить Вам на эти тезисы.

1. Составляя свою заметку о сборнике Набокова для раздела «Книжные новинки», я намеренно остановился на тех фактических ошибках, что содержатся в Ваших сопроводительных текстах. Эти ошибки Вы называете «корректорскими опечатками», и обращать на них внимание, по-Вашему, «комично». Я напомню Вам, что человек, о котором Вы пишете, всегда использовал малейшую возможность исправить опечатку и даже в интервью сообщал читателям, куда и какая закралась неточность. А вот ответ Набокова на вопрос одного из журналистов (9 января 1972 г.) о том, «что нам делать с ускользающей истиной?»: — «Следует прибегнуть к помощи специально обученного корректора, дабы опечатки и пропуски не искажали ускользающую истину...» После этого узнает Набокоа, какую позицию в этом вопросе занимает его первый издатель в России, и «от ужаса во гробе содрогнется».

2. Вы действительно в 1988 году пишете то же самое, что и в 1973-м, но только заслуга ли это? Тогда Вы апеллировали к Бунину и Куприну, которые ничего конструктивного о Набокове не сказали, и ко Льву Любимову, написавшему об эмиграции совершенно желтый памфлет (послушать только, какую злобную ложь он говорит о Ходасевиче! Да, по тем временам публикация любимовских воспоминаний была шагом вперед, но представьте себе, что мы и сейчас свои доводы об эмиграции строили бы *только* на Любимове!). Допустим, что 15 лет тому назад глубокие суждения о русских изгнанниках высказаны быть не могли, но и сейчас Вы не приводите никаких иных мнений о Набокове. Их что же — не было? Откуда тогда его уникальный успех, о котором Вы сами упоминаете, но ничем это не объясняете?

3. Да, любая точка зрения может быть высказана, но тогда Ваши бездоказательные суждения о «разрушении дара» — не точка зрения, а каприз. Вы через занятую перечисляете «проходные детали», в которых для Набокова на самом-то деле фокусировался весь мир: проникноаение в Россию, советский визитер, тиран, утопический позитивист (частный случай — Чернышевский) и другое. Из Вашего предисловия не вырастает никакого Набокова, ибо его мировоззрение Вами не понято. Вы ограничились набором многозначительных отвлеченных терминов, Вы подмигиваете читателю, но намеки Ваши остались нераскрытыми. Так что при всем желании я не могу возразить на «существо» Вашей позиции. Разве что на тезис о «непонимании» Набоковым природы. Но, во-первых, это не Ваш тезис, а Зинаиды Шахоаской, а во-вторых, достаточно раскрыть любую страницу «Дара», как тезис этот разлетается в пух и прах.

4. Да, у Набокова не было того Бога, которого имеет в виду Борис Зайцев. Набоков — не христианский писатель. Но его сознание религиозно, хотя и направлено и выражено по-другому, а этого Борис Зайцев не понял. Это действительно большая тема, но и ее Вы даже не касаетесь. Вы вообще обходите вопрос о цельности личности писателя.

5. Ваши публикаторские заслуги и впрямь велики, и тем непростительней путать число книг, выпущенных Набоковым в России, университеты, в которых он преподавал, приписывать ему недвижимость, которой он не владел сознательно (и подчеркивал это десятки раз),— как Вы понимаете, корректор к этому не может и не должен иметь отношения.

6. Наконец, об инакомыслии. Я не утверждал, «что о Набокове должен писать лишь тот, кто его безоговорочно принимает». Я написал следующее: «Зачем в эпоху гласности взялся писать предисловие критик, не любящий своего героя?» Не любящий, то есть не потрудившийся вникнуть в его взгляды, то есть ухватившийся за некоторые внешние черты и из этого выведший неверные положения. Да не люби́те Вы Владимира Набокова, но, по крайней мере, знайте его и о нем, если взялись на эту тему писать.

Есть, правда, еще один вопрос, в Вашем письме не сформулированный, но присутствующий, «вроде как водяной знак»,— это вопрос научной этики. Ведь что получилось? Один литератор обнаружил у другого на каждой странице по ошибке, а в ответ получил не благодарность, нет, не скорбное молчание, тоже нет, но полное брезгливости неуважение к истине. Так что Ваши ошибки кажутся мне теперь закономерными. При такой позиции они у Вас будут

и впредь. Не пойму только: неужели есть что-то, что дороже доброго филологического имени?

Хотя, впрочем, это ведь личное дело каждого.

С уважением

Ив. Толстой».

Увы, мое предсказание сбылось: Олег Михайлов не просто пошел штамповать с легкими вариациями свое предисловие (к однотомнику Набокова — Москва, «Советская Россия», 1989 и к однотомнику — Минск, «Мастацкая література», 1989), но еще и увеличил число ошибок. Теперь сборник «Возвращение Чорба» (ранее Михайловым же датированный верно) отнесен к неправильному году; выпал эпиграф к роману «Приглашение на казнь» — и тем самым произведение лишено начальной, так сказать, пусковой философской ноты, а также лишено игры — в выдуманную цитату. У кого — у О. Н. Михайлова или у составителя Б. И. Саченко — просить разъяснений по поводу взаимоисключающих выходных данных: Paris, Edition Viktor, 1938? Во-первых, Editions; во-вторых, Victor; в-третьих, если текст печатается по изданию Editions Victor, то не 1938, а 1966; а если для воспроизведения бралась книга все-таки 1938 года, то это либо: Париж, изд. Дом книги, либо: Берлин, изд. Петрополис. Но и по самому виду этой «корректорской блохи» ясно, что ее виновник не отличает копирайтной пометки © 1938 (на обороте титула парижской книги 1966 года, той самой книги, добрая половина тиража которой попала тогда же в Советский Союз), не отличает, говорю я, от года ее издания (действительно на книге не пропечатанного). Но уж это, извините, те библиографические азы, незнание которых и пренебрежение которыми производит на вдову, сестру и сына писателя впечатление пиратства. А что же еще должны они думать, если в статье Олега Михайлова (воспроизведенной уже почти в миллионе экземпляров) встречаем следующее безграмотное рассуждение: «Его метод — 〈...〉 словесные кроссворды (замечу, что ему принадлежит изобретение слова «крестословица», что, конечно, лучше кальки с английского — «кроссворд»)». Но как раз «крестословица» и есть *калька с английского*! А вот «кроссворд» — *заимствованное слово*.

Содрогнется во гробе, ох, содрогнется...

Желая Набокова всячески принизить, Олег Михайлов приводит те цитаты и мнения, которые работают на дискредитацию, и игнорирует противоположные, но этот метод слишком знаком, чтобы на нем специально задерживаться. А вот что интереснее, так это неверная интерпретация приводимых сведений. В частности, О. Н. Михайлов цитирует то место «Грасского дневника» Галины Кузнецовой, которое свидетельствует о трудности, чуждости Набокова «простому читателю»: в русской библиотеке на юге Франции книги Сирина «берут, но немного».

Странно читать все это. Читательский спрос вообще аргумент сомнительный: он говорит о вкусе публики, а не о таланте автора. Хрестоматийный пример из истории русской литературы — это успех книг Булгарина и падение в 1830-е годы интереса к Пушкину. Десять лет назад самым спрашиваемым писателем в библиотеках СССР был Петр Проскурин. Говорит ли это в его пользу? Разумеется, нет.

Но запись Г. Кузнецовой опровергается еще и фактами — той статистикой, которую вел член Правления Тургеневской библиотеки в Париже Николай Кнорринг (данные печатались в газете «Последние новости»). Сообщу эти факты для Олега Михайлова, считающего, что раз писателя не спрашивают, значит писатель плох; сообщу для буниноведа, шмелевомана, зайцевиста, аверченколога и замятинца: книги В. Сирина в Тургеневской библиотеке в 1932 году спрашивали *больше*, чем книги Бунина, Шмелева, Зайцева, Аверченко и Замятина. (Двух последних вообще за год не спросил никто.) Так, может, бросить всю эту компанию как дискредитировавшую себя, а, Олег Николаевич?

Причина неприятия Михайловым Набокова фундаментальна и неустранима: Михайлоа — традиционалист, Набоков — экспериментатор. Но Олег Михайлов не видит главного: что Набокоа — экспериментатор стиля, но не этики. Этические основы Владимира Набокова глубочайше традиционны. Нова лишь стилистическая декорация, но ее *литературный* критик Михайлоа за литературой не числит. Вослед княгине Шаховской он сетует, что мяч в воспоминаниях писателя важнее няни, что вещи дороже людей. Правильно, ибо у Набокова — воспоминания не реалиста. И как «реальная» жизнь его героев не похожа на жизнь окружающих людей, так и мир их фантазии отличен. С теплотой О. Н. Михайлов цитирует З. А. Шаховскую: «...Набокоа никогда не знал: запаха конопли, нагретой солнцем, облака мякины, летящей с гумна, дыхания земли после половодья, стука молотилки на гумне, искр, летящих под молотом кузнеца, вкуса парного молока или краюхи ржаного хлеба, посыпанного солью...» Критик считает все это глубоким и верным. Но из чего же, интересно, следует, что Набоков всего этого не знал? Оказывается, из того, что *этого* он в своих книгах не упоминает. И значит — не русский писатель, чужой. Но набоковский метод как раз и заключается в том, чтобы *не* произносить тех слов, по которым русский читатель привык восстанавливать Россию, ибо эти слова писатель считает затасканными. Он изобретает *свой* словарь, принципиально отличающийся от традиционного. А написал бы: краюха, рубаха, ленеха — и что

же, был бы уже миленьким? Нет уж, от этого хлебосольного говорка Набокова воротило (как воротило и якобы нелюбимого им Солженицына).

Напомнить ли критику Олегу Михайлову хрестоматийные высказывания (о связи сарафана с народностью) критика Белинского? Нет, не буду напоминать: Олег Михайлов противоположного мнения. Он — критик-шибболетист: скажи ему «шибболет» — и он пропустит тебя в русскую литературу. Вот почему с печалью превосходства он отмечает: «Вот мы и добрались до сути: феномен языка, а не идей. Действительно, проблема Набокова — это прежде всего проблема языка. Языка, оторванного от жизни и пытающегося колдовским усилием эту жизнь заместить».

Странно. Мне-то всегда казалось, что литература только этим и занимается: языком замещает жизнь. И плохая, и хорошая литература. Только плохая говорит одинаковыми, затасканными словами, шибболетами: краюха, краюха, краюха — так, что и жизни уже за звуками не угадать, а хорошая вдруг возьмет и скажет: «Часы пробили неизвестно к чему относившуюся половину» или «Все Ваши фразы запахиваются налево».

Ну, хорошо, в конце концов, все это только вступительная статья, а вступительные статьи у нас мало кто читает. Поэтому ошибки, опечатки и ляпсусы Н. Анастасьева («Литература артистика»), Я. Марковича («Московский рабочий»), С. Залыгина («Новый мир») и других останутся, есть надежда, незамеченными. Но вот специальная набоковедческая работа (Вик. Ерофеев, «Вопросы литературы») оказывается основанной на неверной датировке «Приглашения на казнь» — 1938-й вместо правильного 1935—1936 гг., от чего концепция метаромана при всей своей яркости, увы, рушится. Зато, наверное, текстология в советских изданиях — на высшем уровне?

Вот тут человеку впечатлительному может сделаться дурно. Начнем со сборника «Истребление тиранов», выпущенного в Минске. Здесь ошибок больше, чем страниц текста, и притом на все вкусы: герой оговаривается, произнося трудное словосочетание («Лев Глево... Лев Глебович? Ну и имя у вас, батенька, язык вывихнуть можно...»), а корректоры его поправляют, отчего гибнет оригинальное начало романа (с. 19); пропущенная запятая превращает одно сравнение в другое (с. 25); «резкие черты» оборачиваются «редкими» (с. 27); путается порядок слов и количество предложений (и то, и другое — с. 28); разговорная форма «с Глеб Львовичем» сменяется академической «с Глебом Львовичем»; «Толщища какая»,— думает герой вместо «тощища»; корректору все равно: ослепительные или слепительные, огромный или громадный, хороший или холодный (все это — с. 34). Но когда появляется «молодая зубастая женщина» (с. 37), это, кажется, превосходит все мыслимое.

Название такой текстологии долго искать не приходится: его подсказывает очередная «корректорская блоха»: *после психоза* (ибо только так переводится на русский язык слово «метапсихоза», с. 37, тогда как замышлявшееся автором — «метампсихоза» — означало всего лишь переселение душ).

Вот к каким книгам имеет честь писать предисловия рыцарь русской эмигрантской литературы Олег Михайлов.

Хочется все же дать критику возможность оправдаться, сказать что-нибудь вроде: «За текстологическую подготовку книг, изданных вне Москвы, ответственности не несу. Олег Михайлов». Но даже этого шанса он себя лишает: я говорю не о «прихожая ... суживался» (московский Худлит, с. 18) — как видно, блошиный рынок отхватил уже все издательские ряды,— я говорю о новом герое, введенном Михайловым в худлитовскую «Машеньку»: писателе *Портнягине*.

Браво, Олег Николаевич, Вы — чемпион!

Я не упомянул еще одну острую проблему набоковских публикаций. Это купюры. Но мусолить эту тему не представляется возможным: тут мы либо признаем для себя обязательными демократические традиции, либо не признаем. Во всяком случае, характер купюр в тексте «Других берегов» ясно очерчивает круг наших идеологических табу.

В первую минуту была надежда на полное издание этих мемуаров в «Книжной палате», но нет, все те же (за небольшим исключением) изъятия:

«В американском издании этой книги мне пришлось объяснить удивленному читателю, что эра кровопролития, концентрационных лагерей и заложничества началась немедленно после того, что Ленин и его помощники захватили власть».

«В свое время, в начале двадцатых годов, Бомстон, по невежеству своему, принимал собственный восторженный идеализм за нечто романтическое и гуманное в мерзостном ленинском режиме. Теперь, в не менее мерзостное царствование Сталина, он опять ошибался, ибо принимал количественное расширение своих знаний за какую-то качественную перемену к худшему в эволюции советской власти».

И еще два подобных места, которыми можно у нас, насколько я понимаю, разве что детей пугать.

Точно так же дело обстоит и с публикацией набоковского рассказа «Адмиралтейская игла», от которого поначалу отмахивались все редакции, так как там имеется одно «неудобное» место. Но потом решили: а что, возьмем да и вырежем. И в разных редакциях вырезали где побольше, где поменьше. А место это такое: «зеленая жижа ленинских мозгов». Я предлагаю, если уж нельзя иначе, посмотреть на это высказывание глазами комментатора: выражение принадлежит не Набокову, а заимствовано им у И. А. Бунина, а точнее — из его речи 1924 года «Миссия русской эмиграции», напечатанной тогда же в газете «Руль». Но и Бунин не был автором: он всего лишь пересказал выступление Наркома здравоохранения Семашко. Так что, как оно и должно быть, мы прячем от самих себя нами же пущенную весть. Не пора ли выздороветь и после этого психоза?

Я не коснулся проблемы переводов. Область эта зыбкая, объективных ориентиров не имеющая, и потому набоковскому переводчику тут вольготно-весело. Конечно, без словаря языка писателя переводить трудно (такой словарь приходится составлять самому); конечно, не все переводчики знакомы хотя бы с полезнейшим англо-русским словарем к «Лолите» (составители А. Нахимовский и С. Паперно); конечно, большинству читателей вообще нет дела до стиля. Но существует репутация писателя Набокова, и если в нашей печати она, как выясняется, мало кого волнует, то семья Набокова такой позиции занимать не собирается. Вдова Вера Евсеевна и сын Дмитрий Владимирович обладают высочайшей компетенцией в вопросах перевода, им принадлежат многие сотни переведенных набоковских страниц, и непонятно, почему никто в СССР не спрашивает у них в этой области совета.

В самой большой библиографии Набокова (Майкл Джулиар, 1986) имеется раздел «Пиратские издания». Убоимся же попасть в него.

Есть надежда, что набоковедению, шарящему вслепую и по поверхности, наступает конец: уже готовы к выходу нетривиально составленные и хорошо откомментированные сборники — прежде всего в издательстве «Книга» (составители А. А. Долинин и Р. Д. Тименчик) и в «Радуге». Здесь читатель познакомится с пространным комментарием А. А. Долинина к «Дару», «Пнину», рассказам и стихам Набокова. И я надеюсь, что тогда разговор о «возвращенных книгах» будет более приятным.

К 70-летию Ф. А. Абрамова

Глеб Горышин

ПЕРЕВЕЗИТЕ ЗА РЕКУ...

Моя поездка на север — на родину Федора Абрамова, на Пинегу, в Верколу...

Писатель оставил нам не только литературное наследие, но еще и обжитую землю. Разговор с его земляками, будь то герои абрамовской прозы или реальные лица, чей голос запечатлен в увидевших свет дневниках, в книге Л. Крутиковой-Абрамовой «Дом в Верколе», продолжается. Однажды Федор Абрамов записал в дневнике: «Мне просто необходимо хотя бы раз в год бывать в родной деревне, пожить там, подумать, поговорить с земляками». Он высказал это как признание самому себе; время выявило в личном общезначимый смысл духовного завещания — всем, кому важно понять, из каких весей Русь пошла, что с нами происходит. Поговорить с земляками Федора Абрамова оказалось существенно интересно надолго вперед — на языке ли искусства, за столом ли в избе художника-философа из Верколы Дмитрия Клопова, друга-приятеля Федора Александровича, в жилищах ли пинежских старух, поныне живых, увековеченных писателем. Абрамова на Пинеге все помнят как заступника перед непорядком, сокрушаются, вспоминая: «Не хватает Федора Александровича. Он бы...»

Герои Абрамова, будь то Михаил, Лизавета Пряслины, пекариха Пелагея, взыскуют порядка в жизнеустройстве, нравственно узаконенного предками, самим укладом крестьянствования на русском Севере. В романах, повестях, рассказах, пьесах по прозе Абрамова, как, пожалуй, нигде после «Тихого Дона», нам дается возможность вглядеться в русского человека на рандеву с отечественной историей, немилосердной природой, социальными катаклизмами. Персонажи Абрамова не произносят гамлетовских монологов, но в трагедийности судеб, в категорическом императиве нравственного выбора простого мужика или бабы в северной русской деревне явственно слышится, набатно звучит вопрос: быть или не быть России — не кем-то предписанной, не по чьему-то образцу — а самими русскими для себя выстраданной и воспетой?..

В интервью, выступлениях, дневниках Федор Абрамов снова и снова определял суть предмета, кредо русского национального писателя: «Хочется вопросить прошлое: как время меняет национальный характер; что такое русский крестьянин; как происходило раскрестьянивание русского человека?..» Со всей дотошностью своего генетически крестьянского ума Абрамов погружался в историю, социологию, постоянно отдавал должное науке, но цель литературных трудов, смысл гражданской позиции видел в спасении, возрождении нации. Абрамов — выразитель и воспеватель русского духа в пушкинском, толстовском его понимании. Ежели русский дух изведут, пусть даже по самой передовой научной методике, русскому человеку вдруг станет пустынно и неуютно в городах и весях, опустятся у него руки. Что тогда?..

Этот вопрос во всей его бытийной изначальности, с нетерпеливостью, продиктованной крайней напряженностью в многонациональном нашем государстве, прозвучал на Первом съезде народных депутатов. Многое, высказанное с самой высокой в стране трибуны, созвучно тому, о чем говорил — взывал, проповедовал — Абрамов, постоянно чувствуя над собой низкий потолок дозаоленности. Как ему не хватало трибуны той высоты, с такими акустическими возможностями, какая ныне открылась народному депутату... А еще бы лучше взойти на колокольню, ударить в набат...

В записях 1980 года у Абрамова сказано: «Пинеге вынесен, можно сказать, смертный приговор: в 2,5 раза больше будет вывозиться леса.

По этому поводу надо бы греметь во все колокола. Но с какой колокольни? Где она? Кто примет близко к сердцу беды Пинеги, раз в Архангельске из-за отсутствия древесины не работают заводы?»

Народным депутатом Федор Абрамов был не по мандату, а по заслуженной им репутации народного заступника. В литературе именно он первым подал пример трезвого взгляда на мнимое народовластие, обернувшееся самым горьким для судеб народа — социальной апатией. И он обладал редкой дерзостью сказать в лицо правду, пусть даже своему возлюбленному земляку. Это в народе уважают.

Я думаю, доживи Абрамов до наших дней, когда вопрос «быть иль не быть» поставлен ребром, едва ли бы он подверстался хоть к «большинству», хоть к «меньшинству». Коллективных писем, мы знаем, он не подписывал ни при какой погоде. За большинство почитал тот мир, из которого вышел,— не «регион», а мир русского крестьянства и интеллигенции,— такой разнообразный, с постоянным поиском смысла жизни, с непреходящим упованием на вольную волюшку как высшее благо. Вольнолюбием проникнуто отношение к природе русского сельского человека, его поэтическое мировосприятие, особенно заметное на севере. Этот мир постоянно стучался в сердце писателя, он его представлял, ему служил.

Чтобы понять это чувство, лучше всего почитать веркольские дневники Абрамова. «Просторы, дали. И еще воля вольная. Не свобода, нет, а особое чувство, которое возникает у нас на Севере.

Парение над землей. Особое ощущение жизни, простора, свободы.

Чувство полета, крыла.

И не за этим ли летят сюда птицы с юга? Чтобы ощутить эту волю, изначальность мира и тем самым освежить себя?

Я езжу за волей на Север.

Мой дом — как пароход, как птица, приготовившаяся к полету. Полное растворение в мироздании».

Честное слово, так не хватает нам Федора Абрамова в нашем порыве к миропорядку, при котором можно свободно, по-человечески жить. Так не хватает абрамовской неколебимой уверенности, что не зря, не зря все было.

Однако вернемся от умозрений на реальную почву, на родину Абрамова, в Верколу, завещанную нам (избави нас Бог от праздного любопытства), имея в виду, что Веркола стала предметом внимания многих и многих, как принято у нас говорить, «моделью» для приобщения к «русскому вопросу», ныне весьма популярному. Весною 1987 года я застал в Верколе съемочную группу из Соединенных Штатов в составе трех человек: продюссера-режиссера Дмитрия Девяткина, американизированного потомка русских купцов Девяткиных, известных в свое время на Пинеге, оператора Скотта (Скотт — имя; фамилию я не запомнил; веркольские бабки до сих пор посмеиваются: «Экое имя — Скот; скот с рогами дак...») и ассистентки Маши. Снимали телефильм, загодя купленный не только в Штатах, но и в Англии, Японии: интерес к «загадке русской души» вновь набрал высоту, поскольку в России опять революция — перестройка.

Год спустя Дмитрий Девяткин привез готовый телефильм в Союз, с вполне понятной надеждой показать его нам, но у нас не нашлось средств, технических возможностей для пересъемки или еще чего-то. Фильм был показан единственный раз в Ленинградском Доме писателя на вечере поминовения Федора Абрамова, в мае: Девяткин привез собственный видеоящик. Изображение быта веркольских крестьян в американском телефильме выдержано в духе подчеркнутого реалистического документализма. Поскольку все снято «скрытой камерой», без приводящей в столбняк снимаемых громоздкой киноаппаратуры, то и держатся все просто, натурально. Пристально снималось привычное для нас, незамечаемое, например, купля-продажа в сельском магазине, со всем ассортиментом: хлебушком, баранками, бутылками. Какого-либо обличения, критиканства, высвечивания «темных сторон», обязательных нынче в нашем кино, у американцев нет и в помине. Фильм — бодрый, доброжелательный, местами, по нашим понятиям, наивный. И так интересно увидеть нас самих глазами американцев! Но не судьба...

Позволю себе еще одно попутное впечатление: жизнь тем и хороша, что постоянно течет как река; в нее дважды не ступишь. Как-то иду по Невскому, навстречу мне Дмитрий Девяткин, молодой, красивый, преуспевающий американец, идет и плачет, слезы текут ручьями у него по лицу. Я к нему: «Что с тобой, Митя?» Он поплакался мне в жилетку: «Да, знаешь, моя жена подала на развод. Я иду разводиться...» И поведал мне историю о том, как полюбил русскую девушку в Ленинграде, предложил ей руку и сердце, что и было принято... Увез молодую жену в Штаты, там год с нею прожил — и не получилось,

---

Горышин Глеб Александрович (р. 1931) — прозаик, публицист. Работал журналистом на Алтае, в экспедициях на Ангаре, в Забайкалье, на Кольском полуострове. Автор многочисленных книг. Член СП. С 1977 по 1982 г.— главный редактор журнала «Аврора». Живет в Ленинграде.

жена заартачилась, вернулась в родительский дом... И вот теперь — разводиться (не знаю, войдет ли этот бракоразводный процесс в статистику рухнувших браков по Ленинграду). Чем я мог Митю утешить? Я предложил ему, по русскому обычаю, куда-нибудь зайти, чего-нибудь выпить. Мы отыскали такое местечко (что в Ленинграде почти невозможно), выпили-закусили, тем и утешились. Для хэппи-энда к этой вставной, матримониальной новелле скажу, что Дмитрий Девяткин нашел себе в Ленинграде еще одну невесту, увез ее опять-таки в Штаты... Дай им Бог любви и мира... Из частной истории можно сделать и общий вывод: русские невесты нынче в чести у американских женихов.

Примерно в то же время, что Девяткин, на родине Абрамова снимала фильм группа Ленинградской студии кинохроники с режиссером Павлом Коганом: «Даждь нам днесь...». Я дважды посмотрел ленту Когана: фильм серьезный, с философическим подтекстом, неоднозначным... чтобы не сказать многозначительным, с апокалиптической символикой, с болезненностью, надрывом в акцентировке, с преобладанием приема над объектом изображения. В фильме Когана мне не хватило абрамовской ясности, недвусмысленности в отношении к миру, той красоты, которая... спасет мир... Самого Абрамова не хватило, он там, собственно, и не ночевал.

По-видимому, наиболее адекватны тому, что мы называем «миром Федора Абрамова», пользующиеся неизменным успе*хом* у зрителей спектакли Льва Додина в Ленинградском Малом драматическом театре по романам «Братья и сестры», «Дом» — у нас, а теперь и за рубежом. Вспомним, что начинались эти спектакли... в Верколе: будущие актеры, тогда студенты Театрального института, их преподаватель Лев Додин жили в монастыре Артемия Веркольского за Пинегой; консультировал их Федор Абрамов; со всех сторон молодых, восприимчивых людей обступала, разговаривала, как пела, нашептывала, завораживала, наставляла — своими ритмами, обертонами — северная деревня, русская до мозга костей, до лучинки в крыле сказочной птицы, на глазах рождавшейся под инструментом крестьянина-самородка Дмитрия Клопова. Успех абрамовских спектаклей в театре Льва Додина — в их национальном звучании, художественном приближении к той самой «загадке русской души», некой терра инкогнита, находившейся у нас так долго под запретом...

Но послушаем, что сей год говорят на Пинеге... «Сей год» как универсальную единицу времени употребляют всюду, куда ступила нога посланца господина Великого Новгорода в средние века; это — новгородская единица. И на Пинеге тоже. Ради этого (послушать, что говорят) я отправился на родину Абрамова, в предзимье, как, бывало, езживал и в другие времена года. Непосредственные впечатления записаны мною отрывочно, при удобном случае, главным образом в комнате приезжающих при Музее Федора Абрамова в Верколе...

В этом месте необходимо обратиться благодарной памятью к создателю музея, первому его директору Ивану Никандровичу Просвирнину, в прошлом военному моряку, родом с Печоры — человеку светлому, истинно интеллигентному, преданному Северу, влюбленному в Федора Александровича...

Моя дорожная муза (или фортуна) сподобила мне на этот раз в попутчики представителя новой генерации (или формации), молодого человека лет тридцати, московского художника-фотографа Сережу. Наша совместная с Сережей поездка на Север явила неоценимые качества моего товарища в путешествии: психологическую совместимость в любом стихийно возникшем сообществе, готовность брать на себя ношу, чапать по грязям в резиновых сапогах, истовую целеустремленность в достижении поставленной цели. Цель он поставил себе — воссоздать средствами художественной фотографии красоту русского Севера, будь то человеческие лица, руины некогда бесподобных по благолепию храмов-монастырей, дива природы... В сознании москонского молодого человека, художника по призванию (Сережа закончил художественный институт), странным образом отложилось некое догматическое представление о предмете интереса как о чем-то неизменяющемся, раз навсегда данном; его выборочный вкус тотчас вылущивал из многообразия действительности то, что, по затверженному правилу, красиво: какую-нибудь деталь старины, всегда эстетизированную. Каждый его выход на натуру сопровождался ритуальным вздохом: «Совдепы угробили красоту». (Что трудно оспорить, побыв хотя бы день в том месте, где высился, являл собой жемчужину Севера монастырь Артемия Веркольского, стены коего разобрали на кирпич, а кровлю куполов храма на ведра.)

Скажу еще об одной Сережиной особенности, характерной, может быть, и типичной для столичного жителя: в его многопудовом заплечном мешке находилось все необходимое для автономного плавания по проселкам нашего государства. Чего там только не было: и чай английский, и кофе бразильский, и финская копченая колбаса, и овсяное печенье, и шоколад с орехами, и туалетная бумага... Жизнь научила Сережу не полагаться на общепит, на торговую сеть, природа наделила его недюжинной телесной могутностью. Аппаратура у Сережи, конечно, японская... Вот какие бывают богатыри, какого товарища в дорогу вдруг подарила мне моя — такая привередливая — фортуна.

Итак... прилетели в Архангельск. Из аэропорта приехали на вокзал. До поезда в Карпогоры оставалось три часа. На перроне пахло железной дорогой. Устроились на пустой скамейке, Сережа расшнуровал свой мешок-самобранку...

Вскоре вблизи нас появился архангельский мужик, как большинство мужиков на Севере, в резиновых сапогах с отворотами, с дюралевым кузовом за спиной и еще тяжелой сумкой поверх кузова. Мужик обратился к нам в приказном тоне: «Примите сумку!» Мы приняли сумку. Мужик был лет пятидесяти, огрузневший, запыхавшийся. Мы от души предложили ему угоститься с нами чем Бог послал (Сережа добыл из недр мешка), но он совершенно внушительно отказался:

— Я пью запоем. Недавно завязал. За десять дней пятьсот рублей просадил. Это же надо своим горбом потом мантулить. Я по четыре-пять месяцев в рот не беру, а потом срываюсь. На этих алкашей посмотрю, они, ханыги, каждый день тянутся, как еще живы...

То есть архангельский мужик отдавал предпочтение запойному пьянству против перманентного. В этом состояла существенная установка его жизненной программы. Далее он разобрал сложившуюся ситуацию в связи с антиалкогольным указом:

— По двадцать пять рублей за бутылку берут, а то и по сорок. Я на юг ездил, там одна самогонку продавала, четвертак бутылка. А она у нее даже не горит, бурда какая-то. Чего достигли? Сахару не стало. Спекуляцию расплодили...

У архангельского мужика была полная сердитая ясность — в отношении не только последствий, но и первопричин.

— Надо было остановиться на февральской революции,— сказал он с выражением полной изученности вопроса.— Октябрьскую не надо было затевать. Плеханов предупреждал Ленина...

Я изложил противную точку зрения на подвятую проблему. Ощетинившийся архангельский мужик не преминул меня «срезать», как, помните, Глеб Капустин в рассказе Шукшина «Срезал»?..

Над перроном рассеивался дрожащий, мерцающий, игольчатый свет. Было зябко, плывуче, как бы вне времени и пространства.

Наконец мы сели в поезд зеленый, до Карпогор ехать целую ночь. Белье не выдавали, а только зеленые одеяла — «товарные одеялки», как сказала проводница. Белье иссякло,— поскольку урезали план сбора хлопка, или от упадка льна, или еще почему, одно с другим связано неразрывно.

Утром в Карпогорах райком оказал нам услугу, быстро усадил в райкомовский УАЗик, ну, конечно, из уважения к памяти земляка. По дороге шофер указал такое место, откуда недалеко до лесного озера. Он сказал, что летом, когда тебя комары с мошками угрызут, окунешься в это озеро, и все как рукой снимет. А однажды вблизи этого озера его свояка ужалила змея. Место укуса свояк прижег сигаретой, укушенную ногу опустил в озеро — и здоровёхонек убежал домой.

Бывают исторические ситуации (особенно заметные в России), когда люди разуверяются в посулах науки, государства, правительства... и тогда с какой-то детской доверчивостью принимаются искать панацею от недуга — социального или телесного — в чем-нибудь хоть чуточку запредельном, за пределом несбывшегося, будь то летающие тарелки, инопланетяне, Джуна, Кашпировский, чудодейственное озеро по дороге из Карпогор в Верколу. В такие периоды вдруг заново открывают пророческий смысл в Священном писании, в политграмоте канонизируют то, что недавно почиталось ересью... И как же нужен бывает в такую смутную пору метаний трезвый, остерегающий голос разума, реализма, рацио... Как дорог ненапускной, судьбою, кровью оплаченный оптимизм. Как не хватает нам Федора Абрамова!

Хотя, конечно, и он, природный веркольский мужик, поди, купывался в том целебном озере, избавлялся от нанесенного комарами увечья. И в народные поверья веровал...

В Верколе я впервые набрел на слово «веретьё». Это такая возвышенность, коса, сосновая гривка над сырой низменностью поймы (ее еще зовут релкой). На веретье выстроены амбарчики на сваях — курьих ножках,— под зерно. Нижние венцы у амбарчиков, как и у изб, лиственничные, для крепости; выше тяжелых лиственничных бревен не вздынуть; выше сосна...

Прежде Веркола состояла из семнадцати деревень, тут была целая волость, а теперь одно село Веркола, 3 километра от одного края до другого...

Днем падал снег. Мой спутник Сережа радостно объявил, что «это белые мухи». Он был уверен, что такое образное восприятие мира — его привилегия, радовался, как ребенок. Его подкупающая неначитанность (он и Абрамова не читал) доставляла ему массу удовольствия — в первооткрытии явлений.

Вдоль Пинеги, по ее берегам — пятикилометровые кулисы леса, водоохранные зоны, за этими зонами располагаются зоны эмвэдэшные: будут лес рубить зеки, и рубят уже, и все уж вырублено... Известно, что тайга здешняя невосстановима; на месте ее расстелется, воцарится тундра. И тогда залихорадит трясинным ознобом... саму Москву. Известно, но палец о палец не ударено, чтоб остановить поруху, будто не у нас, а где-нибудь в Амазонии.

В Верколе около 500 жителей, но всего 10 коров во дворах.

Архангельский этнограф, живущий покамест в Верколе, при Музее Абрамова, вечером за общим чаепитием высказал предположение:

— Отдать землю мужикам, через три года они миллионы огребут, страну невпроед накормят.

Экономическую максималистскую идею он сопроводил демографическим раскладом:

— При арендном подряде по делу хватило бы десяти мужиков, чтобы всю работу уделать, на фермах и в поле. Ну, конечно, при механизации. А что же делать остальным, женщинам? На каждого работника придется около тридцати незанятых. Сейчас им абы как платят, они абы как работают. Значит, что же? Придется развивать все инфраструктуры: кафе, швейные мастерские, дом культуры, дискотеку, ремесла. А куда девать аппарат? В Карпогорах чуть не все работоспособное население сидит в конторах, корпит над бумагами. И ведь так работают, что дым идет. От бумаг.

Этнограф еще сказал, что в Верколе осталось два старинных колодца с журавлями. Мелиораторы прокопали канавы, из колодцев ушла вода.

— Современный сельский мужик,— развивал свою идею этнограф,— прежде всего владеет техникой. И плотницкий инструмент у него хорошо в руке лежит, и печку складсть он умеет. Такая брошюра есть: «Как построить сельский дом». Так она из рук в руки переходит, зачитана до дыр. И «Как сложить печку» тоже. Им дай развернуться, они же за три года миллионы огребут.

Идея архангельского этнографа попервости увлекала своим былинным размахом: «миллионы огребут», «невпроед накормит». Но тут же и замыкалась сама на себе как идея без исполнителей. Увлекут ли на новый трудовой подвиг веркольских мужикоа (хочется написать: пекашинских, как у Абрамова) забрезжившие в умах сторонних советчиков миллионы скорого прибытка? Советчики опять же понужают мужика «гнать лошадей», а пекашинский мужик, как мы помним его по романам Абрамова, даже самый справный: Нетесов, Жигов да и сам председатель Лукашин,— на работу спорый, но думает туго, на посул неподатлив. Разве что Егорша падок на скорую выгоду, так он из работников при первой возможности выбыл. Михаилу Пряслину и на ум не пришло разжиться. Сам стимул материальной заинтересованности в их время находился под строгим запретом как идеологически вредный элемент. После, когда заговорили об «испытании сытостью» (об этом роман Ф. Абрамова «Дом»), подспудно что-то нарушилось в крестьянском миропорядке, в общинном укладе, при котором веркольская пекариха Екатерина Макаровна Абрамова (прототип Пелагеи) каждое утро в одиночку плавала через страшенные пинежские разливы, в монастырскую пекарню: «Тесто заквашено дак...»

Сколько ни вглядывался Федор Абрамов в своих земляков (сам от их корня пошел), ни в одном так и не углядел оборотистого хозяина, предпринимательскую жилку. Коллективизация всех выстригла под одну гребенку? Раскулачивание выкорчевало кряжи? Да, безусловно, теперь мы знаем. Но все же... Так просто русского крестьянина не переставишь на американские рельсы (даже и поближе, на шведские или финские), как некоторым нынче вдруг захотелось...

Пример «архангельского мужика» из фильма Анатолия Стреляного, подвижничество первого советского фермера почему-то не вызывает энтузиазма на Пинеге. Забегание вперед самих себя, излюбленное средствами массовой информации, едва ли так сразу примут в крестьянском мире, во всяком случае, на слово не поверят. Сперва бы лучше... Но воздержусь от советов, их подано великое множество. Обращусь к тому, что успел высказать Федор Абрамов или не успел, только подвел нить своих размышлений о судьбах русского человека на земле... Возродить крестьянское в крестьянине — с этим призывом выступил Василий Белов, в нем все по Абрамову. Изменить политическую систему — программное заявление, вошло в перестроечный обиход. О чем и помышлял Абрамов: избавить мужика-пахаря от непосильной для него армады советчиков, погонял, реформаторов наверху. Пусть архангельский мужик сам попашет, сам и обдумает, как ему быть.

По зеленой меже на распаханной пойме, у высокого берега Пинеги бежали кони, беспричинно, ради радости самого бега по мокрой зеленой траве, под хмуреющим небом, в еще не свычной остуде первого снегопада.

Кони совершили пробежку и стали. Я спустился с угора на пойму, к реке. Каурый жеребец подошел ко мне, протянул к моей руке свою лошажью голову, запрядал ушами, близко смотрел лиловатым глазом. Я погладил его по щеке.

В Музее Федора Абрамова мне дали школьную тетрадку, в ней откуда-то списаны, ученическим почерком с ровным наклоном, данные о монастыре Артемия Веркольского, в уцелевшем корпусе коего по сю пору располагается восьмилетняя школа. В весенние разливы, в зазимок до ледостава ребятишек перевозят за Пинегу в лодке; зимой бегают по льду; в распутицу ждут у моря погоды. Есть старые люди в Верколе, носят в сердце незаживающую боль: однажды их детки уплыли в школу и не вернулись домой; лодку перевернуло на стремнине.

Кое-что из музейной тетрадки я в точности переписал себе — для памяти; в Верколе каждый все это знает назубок.

Артемий родился в 1532 году (за 399 лет до меня) от кротких и благочестивых родителей Козьмы и Апполинарии.

Когда отроку стало двенадцать лет, с отцом работали в поле; Артемия убила гроза. Тело с поля увезли в лес, оставили поверх земли, по обычаям того времени. Над ним поставили деревянный срубец, но впоследствии он был завален деревьями и сучьями. Под этим кровом тело находилось 33 года. Однажды клирик приходской церкви Агафоний отправился в лес собирать плоды земные. Шел он мимо уже забытого всеми места, где лежало тело Артемия. Увидел свет, обнаружил нетленное тело отрока.

Тело перенесли на паперть церкви святителя Николая, где мощи существовали до 1583 года.

Новгородский митрополит освидетельствовал мощи, указал их перенести в храм Св. Николая.

Далее, судя по записи в тетрадке, память о святом отроке Артемии теряется во тьме веков, заново возгорается со строительством церкви на берегу Пинеги против Верколы, в 1806 году, с благословения архиепископа (в этой церкви спортзал). По-видимому, церкви, монастырьку при ней в глуши лесов было уготовано прозябание, если бы не щедрое пожертвование графини Анны Алексеевны Орловой-Чесменской, пожертвовавшей обители 5 тысяч рублей.

Настоятель Феодосий укрепил монастырь, привлек братию, возвел вокруг монастыря стену с башнями (очевидцы свидетельствуют, что по стене можно было проехать на тройке), великолепную колокольню.

В 1881 году Феодосий возвел двухэтажную пекарню. (Именно в ней печет хлебы героиня повести Ф. Абрамова «Пелагея».)

После Феодосия настоятель о. Виталий построил собор и корпус (в нем сейчас школа). Освящал собор Иоанн Кронштадтский.

В 1890 году монастырь Артемия Веркольского возведен в первый класс.

Вчера переехали за Пинегу, порато широкую при высокой воде («порато» — стало быть нарядно, шибко, в высшей степени, так говорят на Пинеге и еще где-нибудь). Пристали к закраине песчаной косы, рушащейся в воду. Увидели красную щелью. Щелья на пинежском диалекте суть ущелье. Краснота обрывистого берега — от наличия в почве глины, ну да, той самой, что пошла на кирпичи для монастыря Артемия Веркольского. Кирпичи делали вон там, за бывшей крепостной стеной; ямы сохранились.

Поднялись так высоко, как смогли по уцелевшим ступеням лестницы, под зияющим куполом собора огляделись. Сережа уткнулся в камеру, стал ждать солнечного луча, хотя с утра затученное небо ничего такого не обещало. Я спустился наземь, тоже нашел себе занятие: ходить и смотреть. Как-то Дмитрий Клопов поделился с нами одним из собственных умозаключений, выведенных из опыта жизни: «Как ходишь, все бывает, а как не ходишь, ничего не бывает». Воистину универсальное правило для всех, всюду, в любое время.

Дмитрий Клопов создал в Верколе общину, возглавил ее, официально где-то зарегистрироаал (в райкоме в Карпогорах сказали где, но я не уловил). Община не то чтобы религиозная, но одушевленная святостью цели: восстановить монастырь, хотя бы и по кирпичику. Разумеется, с привлечением всех сочувствующих и верующих, в стране и за рубежом. Вот не хватает Федора Александровича, поддержал бы, это уж точно. Он в свое время подарил Мите Клопову мотоцикл с коляской, Митя и по сей день на коне; безлошадному бы ему не угнаться за всем...

Как-то вечером нас с Сережей пригласили в избу к бабе Шуре Яковлевой (мы сами напросились) побеседовать с бабульками, не теми, что обезножели, сидят у окошек в своих сосновых крепостях, а теми, что побойчее. Сережа изложил бабулькам свою программу фотографа-художника, не очень им, правда, понятную. Да и самому ему тоже... Как-то сбивчиво он излагал, то и дело путаясь в наборе штампоа. Впрочем, это бывает с художниками: невладение словом. Кем-то даже замечено: художник, как собака: все видит, а сказать не может.

— ...Ну вот, что-нибудь такое,— косноязычил Сережа.— Я бы сделал натюрморт, какие-нибудь фрагменты... Чтобы клюква была. У вас клюква есть?

— Да есть, че другое, а это...— пообещали бабульки.

— Или грибы... Вы бы испекли что-нибудь такое, пироги с грибами... Нет, я ничего не имею в виду...

— Да можно,— с сомнением приглядывались к гостю бабульки.

— А почему вы куриц не держите?

— Эва, парень, куры-те тепло любют, а у нас, знаешь... В старо-то время кроватей этих не было, робятишек на полаты вздынут, да и ладно. Каки куры...

Сережа зевнул, аж хруст раздался во всем его обильном естестве.

— Нет, ну я думал, что на Севере живут богато, такие дома, шестистенки...

— Дома-те на две семьи строены, делились дак... Ишо для скотины — для повети: сено держали. Сами-те кое-как, в закуточке.

— А печку вы топите?

— Дак как не топим? Топи-им. Печку не истопишь и ноги протянешь.

— Мне бы хотелось снять, чтобы в печке огонь, может быть, угли.

— Дак угли-те нагорят. Сымай.

— Да нет, вы знаете, хотелось бы снять какие-нибудь пирожки, вы печете? Что-нибудь такое местное, шанежки. Нет, нет, я сам на них не претендую, хотелось бы показать колорит, чтобы пышки, а на окне бы корзинка с клюквой. Я бы на фоне клюквы снял бы пейзаж за окном.

— И клюкву найдем.

— Хотелось бы снять поветь, а на ней сено.

— Сена сей год не держим, коровы нет дак.

— А почему не держите? Северный крестьянин всегда держал корову или двух.

— Мы надержались, а молодые не умеют, разучивши дак.

— Ну, этому же так просто научиться. Бабульки зашевелились, посерьезнели.

— С коровой жись проживешь и то иной раз не знаешь, как к ей подойти. Корова — существо одушевленное, что ты ей дашь, тем же и она тебе отплатит.

Сережа зевнул.

— Я к вам зимой хочу приехать. В марте, когда снега засверкают. Мне бы хотелось снять охотника с ружьем, на лыжах. У вас кто-нибудь на лыжах ходит?

— Как не ходить. Ходит, кому делать нечего. Эвон Мишка Усанов... Только в марте-то уж не охота.

— Нет, я не имею в виду, чтобы у него медведь за плечами или связка зайцев. Мне хочется показать что-нибудь вечное: мужик идет в тайгу на охоту. Леса у вас глухие? Заблудиться можно?

— Как не заблудиться? Прошлый год Емельянова женка пошла по ягоду, да и стемнелась. Хватились, криком кричали, стреляли. Утром рабочие с лесопункта такой гул подняли. Явилась сама не своя.

— А звери есть? Медведи?..

— Как не быть?! Полно! У Анны-те Веселовой, на грязях живет, в лошшины... Мужик померши у ей, онная живет. Спать уж собравши была, тут ей поблазнилось, кто-то в окно заглядывает. Она в окно сунулась, а там медведь на ее смотрит. Ох, тошнехонько! Она печку скоренько затопила, а он ишо заглядывал. Столько страху на ее напустивши, дак скоренько она и померши.

Сережа зевнул.

— Ну, а вот баню..

— Дак баня у менн истоплена,— готовно отозвалась одна из бабулек.— Иди парься!

— Да нет, мне бы интересно кого-нибудь снять, чтобы на полке сидел, напарился докрасна... Хорошо бы северную девушку с длинной косой...

Бабули опять пошевелились, потупились, запереговаривались.

— Таких девушек у нас нет, парень. Это у вас там, а у нас нет!

В заключение надо сказать, что Сережа не отвязался от бабулек, и они ему предоставили все обещанное. Сережа снял и сено на повети, и клюкву в берестяной корзинке — на самой чувствительной в мире пленке. Напарившуюся докрасна девушку с косой не снял... В будущем году выйдет красочный календарь с картинками русского Севера, снятыми Сережей.

Я думаю, всех нас, грамотное население, можно поделить на две части: одни читали Федора Абрамова, другие не читали. Нечитавшие и на йоту не продвинулись далее клюквы в понимании крестьянской жизни, русского Севера и всего такого прочего, равно как и в разгадывании «загадки русской души».

Шли от монастыря, от Ильинской деревянной церкви к бывшей деревне Ежемень, свернули к Артемьевой часовне. Сопровождавшая нас сотрудница Музея Ф. Абрамова Александра Абрамова сказала, что знатоки приезжали, определили: раз к часовне пристроили алтарь, это уже не часовня, а церковь.

На Артемьевой церкви был навешен замок и сорван. Внутри церкви на алтаре стояла домовина — просторный гроб из тесаных досок. На этом месте, согласно преданию, и был поставлен срубец с телом преставившегося отрока Артемия. Прошедшее с тех пор время в пустой деревянной церкви посреди пустого места никак не ощущалось; гроб вполне мог быть обитаемым. Все помещение церкви застелено, завешано рубахами, платками, еще какими-то тряпками, бельем. Сюда приносят ту часть одежды, с той части тела, какая занемогла, затосковала, в надежде, что праведный Артемий поможет против хвори. Вот как языческое перемешалось с православным. Что ни говори, а много в нас дохристианского, идолопоклонного...

В домовине Артемьевой лежало несколько бумажных рублей с мелочью. Саша сказала, что на Артемия (5 августа) нанесено было больше ста рублей — на содержание церкви. Кто-то, скорее всего приезжие, замок сломал, все унес. Я мысленно попенял бабулькам за их ротозейство; одной хотя бы поручили за церковью приглядывать, приношения обирать. А то что же?

В изголовье праведника развешаны белые плащаницы с вышитыми на них красными крестами аппликациями, какие-то нездешние, похожие на знамена крестоносцев...

Мы с Сашей поднялись на колоколенку, увидели окрестность на все стороны. Саша сказала, что сеют жито; когда летом сюда взойдешь, посмотришь,— колосья колышутся, шелестят, шепчутся.

Церковь подпахали под самую ступеньку крыльца. Якобы усердие в трудах, а на самом деле бездумное озорство. Почему не оставить вокруг храма лужайку с цветами и травами? Кто указал? Кто исполнил? Какое-то проклятье тяготеет над нами: уже не одно поколение «советского народа» — и наше, и последующие за нами — патологически не хотят, не могут признать естественного права наследования, своего духовного родства с тем, что чтили в России, во всем христианском мире...

В соборе монастыря Артемия Веркольского на сохранившихся фрагментах фресок лики святых угодников заляпаны какой-то мерзкой черной жидкостью. Может быть, приносили склянки с соляром, целились, кидали — надругались над угодниками и что-то человеческое, божеское невозвратно потеряли в себе, лишились опоры. Сорваны оклады в бывшем алтаре, в прошлый мой приезд они еще были на месте. У кого рука поднялась? Кто целил склянкой с соляром в лик святого угодника Николая? Кто? Зачем? Откуда взялась эта ненависть? За ответом недалеко ходить. Наш строй, наша система — с отчуждением человека от земли, природы, родительского дома, родных могил, от самого Господа Бога с его угодниками — породили в бессвязно живущем человеке ожесточенное, пагубное неприятие старины, собственной колыбели. Человек одичал.

Еще прошли вязкой пахотой до деревни Смутово, в три избы. Здесь, бывало, ночевывал Федор Александрович. Посидели на лавочке над рекой, на задах у избы огромной, потемневшей, посеребрившейся. Пришла хозяйка избы баба Дуся, одна жительствующая здесь, в ватнике, в валенках с галошами, в суровом платке — в той самой одеже, в какой ходили пинежские бабы в романах, рассказах Федора Абрамова; с лицом замкнутым, обветренным, с теми же следами долголетия, устойчивости ко времени и непогоде, что и ее изба.

Сережа попросил у бабы Дуси разрешения снять ее, баба Дуся осердилась:

— Кому я нужна без зубов да в худой одеже?

Баба Дуся не поддалась на уговоры.

Мы перешли к другой столь же громадной избе. На усадьбе нас встретил дед в очках, в шапке со спущенными ушами, в кирзовых сапогах, в латаных-перелатаных штанах, ватнике, с клюкой в руках. Дед ждал нас, накапливая в себе давно искавшую выхода желчь. Он высказал нам то самое, что витало в атмосфере.

— Вот скажите,— заголосил дед (после мы познакомились: Иван Иванович Яковлев),— зачем мы кровь проливали, за что? Две войны прошли, все на своем горбу ташшили. За что мы теперь мучаемся? Коммунисты с комсомольцами в тридцатые годы храм рушили. Колокол скинули, да он на два метра в землю ушел. А теперь спохватились? А? Мне восемьдесят два года, за куском хлеба в Верколу иттить... Раньше дорога была, все. Распахали — зачем? Шиш у их вырастет, да и того не уберут, только технику покурочат. А иттить по пахоте — каково? Председатель сельсовета за что зарплату получает, а управляюший совхоза и того больше? А вон ты, Александра, депутат сельсовета, ты че?

— А ниче,— сказала Александра,— я скажу, меня не послушают.

— А на сессиях че юбку просиживаешь? У меня постановление есть райсовета: мне как инвалиду Отечественной войны доставлять продукты. А продавщица ни разу у нас не быаала. Никому дела нет.

Иван Иванович, было видно, уже выпустил пар, в его лице проступала обыкновенная доброта много поработавшего на веку русского человека. Нас пригласили к столу. Хозяйка Анисья Григорьевна заварила последнюю щепоть чаю, поставила на стол тарелку с лапужниками: на лапуге — капустном листе,— на поду в печи испеченными ржаными хлебцами, подала миску с солеными рыжиками, совсем уже посиневшими, прошлогодними. Повинилась: «Сей год грибов не было. А больше нечем угощать».

Потом фотографировались на лавочке. Сережа попросил, чтобы дед приобнял бабку. Дед сказал: «Это можно. Своя дак». Положил руку на плечо Анисье; рука его, будто неживая, лежала на плече подруги как нечто постороннее, бесчувственное.

Шли берегом к переправе, а перевозчика уже и след простыл. Александра присела на корточки, тонким чаичьим голосом позвала:

— Перевезите за реку-у!

Последний звук ее позыва высоко взлетел, унесся в пустоту смутного предвечернего неба над сизовороной Пинегой.

С монастырского берега вся Веркола видна как на ладони. И такая она приманчивая, обжитая. Подняться на угор, войти в ограду нежилого дома, постоять у могилы Федора Абрамова, посмотреть в его просветленное на портрете лицо... На последней странице книги «Дом в Верколе» Л. В. Крутикова-Абрамова делится поразившей ее метаморфозой, происшедшей с Федором Александровичем: «Никогда не забуду измученного и отчужденного выражения его лица 14 мая, в день кончины, когда мне разрешили увидеть его после вскрытия. Холодное, окаменелое, чужое лицо. «Это уже не он»,— вырвалось у меня... И на траурной панихиде в Белом зале Дома писателя в Ленинграде он выглядел таким же отчужденным.

Но после ночи, проведенной в Верколе, лицо его как бы посветлело, успокоилось. Как будто он был доволен, что вернулся на родину».

Саша Абрамова опять присела, позвала:

— Перевезите за реку-у-у!

Петро Григоренко

ВОСПОМИНАНИЯ

НОВЫЙ КОТЕЛ

При отъезде из Сталино мы получили в вербовочной комиссии адрес студенческого клуба в Харькове на Пушкинской улице. Комендант клуба, превращенного в общежитие, выдал нам матрасы и дал очень «ценные указания»: «Ищите место в зрительном зале». Когда я вошел, зал гудел, как улей, и был набит людьми до отказа. Несмотря на это, я сумел приткнуть свой матрас к стене зала, почти у самой сцены.

На следующий же день по прибытии я пошел на занятия. Первый мой урок по высшей алгебре вызвал у меня, очевидно, такое же чувство, какое бывает у быка, на голову которого обрушился молот убойщика. Я был оглушен и, ничего не понимая, автоматически списывал все с доски. Мне, как и всякому, кто от конечных величин средней школы внезапно переходит в мир бесконечностей, все казалось нереальным.

Пришло само собой решение начать с тех разделов алгебры, геометрии, тригонометрии, физики, химии, которые я не успел пройти на рабфаке. На урок ходить и записывать все, что преподавалось,— авось что-то в голове останется к тому времени, когда я, закончив программу средней школы, возьмусь за нынешние курсы. Задача, за которую я брался, была невероятно тяжелой. Меня и до сих пор страх охватывает, когда я вспоминаю о том времени. Но тяжесть этой задачи еще больше возрастала от условий. В зрительном зале клуба (на 500 сидячих мест) поселили не менее 200 студентов. Каждый из них занимался чем угодно, но только не уроками. Поэтому непрерывно, почти круглосуточно, в зале совершалось коловращение. Он бурлил, как кипящий котел. Скрючившись на своем свернутом матрасе, я решал задачи и так увлекался, что переставал замечать творящееся в зале, жил своей жизнью. Эта выработанная тогда привычка сосредоточиваться, уходить в себя очень помогла мне потом, в моей последующей жизни, особенно во время пребывания в психиатричке.

Когда меня вызвали в партком института и сообщили, что есть мнение рекомендовать меня секретарем комитета комсомола, я попросил хотя бы год ничем меня не нагружать, так как я из спецнабора рабочих и мне надо сосредоточиться на учебе. Секретарь парткома, студент второго курса Топчиев, в ответ на это заметил:

— А мне не надо? Я парттысячник, меня партия сюда прислала специально для того, чтобы я учился. Придет время, пришлют платных секретарей, а пока придется нам совмещать это дело с учебой. Ну, а ты учиться умеешь. Это парткому известно. И мы уверены, что и дальше в отстающих ходить не будешь.

Я воспринял эти слова как приказ партии. В марте 1930 года общее комсомольское собрание института избрало меня секретарем комитета комсомола и делегатом на VIII съезд комсомола Украины. Шла большая реорганизация. То, что мы называли в это время институтом, в действительности таковым не было. Практически наш инженерно-строительный факультет Харьковского технологического института выделили из состава последнего и наименовали Харьковским инженерно-строительным институтом. Но чтобы он стал таковым, надо еще было организационно оформить его: определить и сформировать факультеты, разработать программу, разместить студентов и институт, оборудовать последний. Ну и, конечно, «переварить» людей в общеинститутском котле. Состав студентов представлял собой конгломерат возрастов, знаний, политической подготовки и воззрений.

Более половины студентов первого курса составлял наш спецнабор, это была наиболее однородная группа в сравнении с другими. По преимуществу в ней были люди очень малых знаний, не приученные к умственному труду. Большинство, будучи зачислены вербовочными комиссиями в число студентов, выезжать в институт не торопились, гуляли по родным весям, потрясая своим «студенчеством» и срывая на этом розы незаслуженного почета. Приехав в Харьков с деньгами, они продолжали гулять в компании таких же. На вызовы и предупреждения не обращали внимания, не без основания считая, что раз набрали, то уже не выгонят, а попробуют найти путь, как подать им знания «на блюдечке с голубой каемочкой». И вот нашли. Всю массу студентов спецнабора, которые почти полгода болтались без дела, переопросили добросовестные преподаватели, разбили на группы соответственно уровню знаний и начали занятия в каждой группе от этого уровня. Программа была составлена так, чтобы к середине второго курса все группы спецнабора догнали основной курс и далее шли по общей программе.

Хотя спецнабор и имел значительный удельный вес, но не он один представлял всю массу студентов. Почти половина первого курса и все остальные курсы укомплектованы в основном по конкурсному набору, из различных социальных слоев, преимущественно из интеллигенции. Этому способствовали, разумеется, симпатии преподавателей института, но больше всего влияла неправильная система образования. Семилетняя трудовая школа знаний для высших учебных заведений не давала, а рабфаки и профтехшколы удовлетворяли лишь незначительную часть потребности вузов. Интеллигентные родители организовывали для своих детей, окончивших семилетку, подготовку в вузы частным образом, и они шли затем по свободному конкурсу, то есть по сути без конкурса, поскольку абитуриентов было меньше, чем мест в вузе. Таким образом и создалось устойчивое большинство студентов из интеллигентной среды.

На втором курсе было несколько парттысячников из числа той тысячи старых коммунистов, которых ЦК направил в 1928 году во все основные вузы страны. На первом и втором курсах учились несколько десятков профтысячников, на всех курсах имелось небольшое число рабфаковцев. Они имели наиболее систематизированную подготовку к учебе в вузе. Парттысячники — Топчиев, Максимов, Малер — люди серьезные. К учебе относились с усердием и потому пользовались среди студентов авторитетом, уважением.

Профтысячники произвели на меня куда худшее впечатление. Не знаю, чем объяснить, но все, кого я знал из них,— люди страшно ограниченные, тупые и зазнайки. Приведу один пример. Был такой студент — профтысячник Загребельный. Ему было, по-видимому, 32—33 года. Но нам, 18—19-летним юношам, он казался довольно старым. Рост около 190 сантиметров. Косая сажень в плечах. Тупое и наглое его лицо было полно высокомерия. Ни чего нет, того нет — знаний никаких. Он и таблицу умножения не знал. По-моему, не хотел или ленился запомнить. В нашу учебную группу попал он на втором курсе. По принятой тогда практике к нему как отстающему прикрепили сильного ученика Юрка Пасютинского, из числа поступивших в институт по свободному конкурсу. Небольшой ростом, с детским нервным личиком, интеллигент до мозга костей — грубое слово не только что произнести, слышать не может. Когда нервничает — переходит на украинский и так частит, что даже мне бывает трудно понять. Тем же, для кого украинский не родной или вышел из употребления в семье, вовсе непонятно.

И вот началась история. Загребельный ничего не понимает. Не может ответить преподавателю даже на вопросы, относящиеся к заданию, которое он выполнил дома. Комсомольская организация группы обвиняет во всем Пасютинского. Тот нервничает, частит по-украински, а Загребельный с наглой улыбочкой говорит, что Юрко ему не помогает. И это не один раз. Юрко уже получил несколько предупреждений. Комсорг просит меня поговорить с ним. Остаюсь с Юрком после урока. Он нервничает от того, что комсомольское начальство, хоть и его согруппник, но секретарь комитета всего института, собирается прорабатывать его. Сели. Я, обращаясь по-украински, прошу рассказать о взаимоотношениях с Загребельным. И я узнаю, что тот на занятия с Юрком не ходит. Требует, чтобы Юрко выполнял все его домашние задания и писал объяснения, как он это делает. Каждый раз грозится, что пожалуется в комсомол и что ему как члену партии поверят.

Мы долго проговорили. Юрко успокоился, перестал частить. Спросил я его, что думает он о Загребельном, стоит ли его учить.

Он ответил:

— Не стоит, но учить его будут и из института выпустят.

В ответ на это я задал риторический вопрос:

— А на что нужен такой инженер, что он будет делать?

Продолжение. См.: «Звезда», 1990, № 1, 2.

Но Юрко ответил абсолютно серьезно:

— Моим начальником будет.

Ответ был, конечно, символический, но по иронии судьбы оправдался дословно. В 1934 году Загребельный и Пасютинский закончили учебу и были выпущены из института. Загребельный назначен начальником дорожно-строительного управления, Пасютинский — главным инженером в то же самое управление. Так судьба свела их вторично после того, как я в конце 1930 года развел их. Тогда я сам взялся быть прикрепленным к Загребельному. Дважды вытянул его на партком для ответа за уклонение от учебы. И он не выдержал — ушел из нашей группы. Мучил кого-то другого. Но двигался с курса на курс, пока не перешагнул институтский порог с дипломом в руках. Сколько видел я их, таких дипломированных бездарностей! Всех их выпускали, идя на всевозможные ухищрения; я помню даже случай, когда одному особо «дубовому» устроили закрытую защиту, не допустив на нее не только слушателей, но и тех членов госкомиссии, которые могли бы высказаться против. И все такие люди шли на пополнение рядов начальства, и, что особенно интересно, почти никто из них не пострадал во времена сталинских чисток.

Загруженные до предела своей личной учебой и внутриинститутскими делами, мы не забывали и о жизни страны. Однако шла она как-то стороной.

Я, да и подавляющее большинство студентов не знали о прокатившейся тогда волне антиколхозных восстаний. Очень слабые слухи о них дошли до нас как рассказы об отдельных «бабьих бунтах». Женщины, мол, поверили кулацким россказням о том, что спать будут все под одним одеялом и есть из одного котла, и... пошли громить колхозы. Мужчины их урезонили, где словом, а где и кулаком, и все успокоились. Теперь-то я знаю от очевидцев, что тактика тех восстаний была такова: громить колхозы начинали женщины, а если против них выступали коммунисты, комсомольцы, члены советов и комитетов бедноты, то на защиту женщин бросались мужчины. Это была тактика, рассчитанная на то, чтобы избежать вмешательства войск и кровопролития. Тактика оказалась успешной. На юге Украины, на Дону и Кубани колхозный строй был ликвидирован за несколько дней. Пришлось ввести в дело войска.

Мы этого не знали. Поэтому насквозь лживая и лицемерная статья Сталина «Головокружение от успехов» была воспринята как проявление гениального провидения в политике: «Сталин увидел то, что никому еще не видно,— то, что погоня за высоким процентом коллективизации может привести партию к отрыву от масс». На самом деле партия уже давно стала во враждебные отношения с крестьянством. И сейчас Сталин прибег к демагогии, выигрывая время для подготовки нового удара по крестьянству. Когда же через несколько недель появилась в газетах статья «Ответ товарищам колхозникам», нас охватил подлинный энтузиазм: «Вот истинная мудрость вождя — предупредить от поспешности и забегания вперед и одновременно указать, что отступать от достигнутого нельзя. Достигнутые рубежи надо закреплять».

Сейчас можно сотни раз повторять, и немало современников тех событий повторяют: «Как ловко нас всех обманули, как за завесой «мудрых» слов «Ответа» скрывали подготовку страшнейшего преступления против крестьянства — искусственного голода». Я для себя этого оправдания не приемлю. Нас обманули потому, что мы хотели быть обманутыми. Мы так верили в коммунизм и нам так хотелось в него поскорее протиснуться, что мы готовы были оправдывать любые преступления, если они хоть немного подлакировывались коммунистической идеологией. Мы не хотели охватывать происходящие события широким взглядом. Нам больше нравилось упереть взгляд в конкретное явление и заставить себя поверить, что это единичное явление, а в целом дело обстоит так, как его партия освещает, то есть так, как это и положено по коммунистической теории. Так было спокойнее для души и... признаемся честно, БЕЗОПАСНЕЕ.

Скажу о себе. Я мог, я обязан был видеть, сколь страшная опасность нависла над нашим народом. Я своими ушами слышал, как секретарь ЦК КП(б)У Станислав Косиор — коротышка в прекрасном отутюженном костюме, с бритой до блеска большой круглой головой — летом 1930 года инструктировал нас, отъезжающих в качестве уполномоченных ЦК на уборку урожая:

«Мужик перешел к новой тактике. Он отказывается убирать урожай. Он хочет, чтобы погиб хлеб, чтобы можно было костлявой рукой голода задушить Советскую власть. Но враг просчитается. Мы его самого заставим узнать, что такое голод. Ваша задача — сорвать кулацкую тактику саботажа уборки урожая. Убрать все до зернышка и собранное немедленно вывозить на хлебосдачу. Степняки не работают, надеясь на спрятанное в ямах зерно прошлых лет уборки. Надо заставить их раскрыть ямы».

Помню, какое гнетущее впечатление произвело это на меня. С. Косиор пал одной из жертв сталинского террора, но сочувствия у меня к нему нет. То, что он нам говорил на инструктаже, свидетельствует, что он один из организаторов искусственного голода. Но тогда я так не думал. У меня вызвал отвращение лишь сам Косиор. Все, что мне впоследствии становилось известно об искусственном голоде на Украине, я невольно относил к Косиору. И когда его арестовали в 1937 году — расценил это как справедливое возмездие за его антинародную деятельность.

Теперь мне ясна и узость, и однобокость моих оценок, и неумение поставить все точки над і в инструктивной речи С. Косиора.

Мне явно не хотелось додумывать до конца. А думать было над чем. Еще весной 1930 года, где-то в конце мая, я побывал в Борисовке. Тяжело заболел мой первый, полуторагодовалый сын. И врачи рекомендовали отвезти его в деревню — на молоко, свежие овощи и фрукты. Звало в село и письмо Мити Яковенко, который вступил в должность председателя колхоза после осуждения Максима Махарина. Митя писал, что отец мой вышел из колхоза, не стерпев тяжелой, незаслуженной обиды от «неумного начальства».

Что же фактически произошло? Колхоз крепкий, со значительным опытом коллективной работы. Он организовался еще в 1924 году на строго добровольных началах. Поэтому колхозники в нем (в то время, как кругом громили колхозы) не бунтовали и работу не бросали. Но так как после начала массовой коллективизации выдача на трудодень фактически прекратилась, то взрослые мужчины старались что-то заработать вне артели, а на работу в колхоз посылали вместо себя мальчиков-подростков и женщин.

Отец, объезжая поля (он был полеводом), увидел, как один из подростков, работая вместо отца, вел вспашку с большими огрехами. Он соскочил с линейки, на которой ехал, и, как был, с кнутом в руках, бросился по пахоте к бракоделу, крича: «Останови лошадей! Не порть землю!» Но тот, как ни в чем не бывало, продолжал творить все новые огрехи. Отец подбежал, выхватил у паренька вожжи и остановил лошадей, хлестнув кнутом пахаря при этом.

— Что же ты делаешь, сукин ты сын?! Зачем землю портишь?! — кричал он на хлопца. Тот отскочил в сторону и с обидой проговорил:

— Так разве оно твое?

— Да если бы оно было мое,— крикнул еще не успокоившийся отец,— то я бы тебя убил вот здесь и в огрех закопал...

Потом поле перепахали, и конфликт, казалось, был исчерпан. Но вдруг, на второй или третий день после описанного события, уполномоченный райкома партии (таковые в то время постоянно жили в каждом колхозе), выступая перед колхозниками, заявил:

— В колхозе, несмотря на осуждение Махарина, не изжиты кулацкие настроения. Даже уважаемый всеми полевод — Григорий Иванович Григоренко — в разговоре с комсомольцем (имярек),— тот паренек, оказывается, был комсомольцем,— заявил: «Если бы всю эту землю дали мне, то я бы навел на ней порядок».

Отец не стал слушать дальше, поднялся и сказал:

— Ну, если за все добро, которое я сдал в артель добровольно, да за мой честный труд в артели меня еще и охаивать будут, то пусть все мое имущество вам достается, а я свою семью прокормлю и собственными голыми руками.

И ушел с собрания и из колхоза. Вот меня и позвали развязывать этот конфликт. В конце концов отец вернулся в колхоз. Перед ним, разумеется, извинились. Но дело не в этом. Вся суть в том, что даже в добровольно организованном и дружном колхозе была убита любовь к труду. Причем даже у комсомольцев. Суть также в разговорах, которые мы вели в течение нескольких дней многими часами.

Отец давал очень глубокий анализ происходящему в сельском хозяйстве и рисовал отнюдь не радостную перспективу, в которую я верить не хотел. Однако и возразить ничего не мог. Отец стоял на почве фактов. Он утверждал — урожайность катастрофически падает. Я протестовал, ссылаясь на газетные данные, но он едко, с чисто украинским юмором высмеивал мои возражения.

— Не знаю, не знаю! Может, и научились выращивать хлеб на московском асфальте, только у нас хлеба нет. Припомни. Ты ж немного помнишь довоенное время. У нас на побережье Азовского моря были пристани: в Приславли — 2, у Голикова (помещик) — 1, у Шоля (помещик) — 1, в Ногайске — 2, в Денисовне — 1, у Жуковского (хлебный купец) — 1. Всего — 8. И на всех принимали хлеб. Да еще принимали в порту Бердянска и на станции Нельговка. И везде, чтобы сдать бричку пшеницы во время уборки, надо было два дня в очереди простоять. Теперь из тех 8 пристаней осталась одна, в Ногайске, но на ней хлеб не принимают. Приемка хлеба происходит только в порту Бердянск и на станции Нельговка. И ни тут, ни там никаких очередей никогда не бывает.

Отец и причины разъяснил очень убедительно. Главные — потеря заинтересованности в результатах труда и систематическое умерщвление инициативы. Попасть под суд, говорил он, ничего не стоит. И попадает не тот, кто ничего не делает, а тот, кто хочет сделать лучше и вступает в противоречие с глупыми директивами.

С возмущением отец говорил:

— Ну кому и зачем нужно, чтоб сроки сева указывала Москва? Да сколько я хозяйничал, я никогда не сеял в одно время в первом и четвертом поделе. А кому помешал «букер»? Почему запретили его использовать для пахоты и сева? Ведь в засушливый год это наше спасение. А люди почему не работают? Наша артель дружная, работали хорошо, а соседи ничего не делали. Хлеб не обмолотили. Так район и за них выполнил хлебосдачу нашим хлебом. В результате мы остались без хлеба, а соседи свой молотили и ели после хлебосдачи. Кто же станет работать после этого? А вообще система: за все отвечает добро-

совестный труженик, ответа за государственные дурости спросить не с кого. Не выполнил дурацкую директиву — под суд за невыполнение, выполнил и тем вред большой нанес — отвечаешь за ущерб государству.

Много еще было разговоров. Во всех я терпел полное поражение. Но это меня не только не убеждало, не отвращало от сложившихся коммунистических взглядов, но злило, понуждало к поискам возражений, к отпору любым способом. Однако отцовские доказательства были настолько убедительны, что, несмотря на их неприемлемость для меня, непроизвольно проникали в какие-то далекие уголки моей души и потом, с течением времени, с появлением новых фактов, вдруг всплывали и прочно ложились в фундамент моих новых воззрений.

Очевидно, что, имея столь основательную предварительную подготовку в виде отцовских бесед, я уже мог воспринимать косиоровский инструктаж с известной долей критичности. Что ждало меня в селе, где мне предстояло быть уполномоченным ЦК, я тоже представлял примерно правильно. Но то, что я увидел, превзошло все мои самые худшие ожидания. Огромное, более 2000 дворов, степное село на Херсонщине — Архангелка — в горячую уборочную пору было мертво. Работала одна молотарка в одну смену (8 человек). Остальная рать трудовая — мужчины, женщины, подростки — сидели, лежали, полулежали в «холодку». Я прошелся по селу — из конца в конец,— мне стало жутко. Я пытался затевать разговоры. Отвечали медленно, неохотно. И с полным безразличием. Я говорил:

— Хлеб же в валках лежит, а кое-где и стоит. Этот уже осыпался и пропал, а тот, который в валках, сгинет.

— Ну, известно, сгинет,— с абсолютным равнодушием отвечали мне.

Я был не в силах пробить эту стену равнодушия. Говоришь людям — у них тоска во взгляде, а в ответ — молчание. Я не верю, чтобы крестьянину была безразлична гибель хлеба. Значит, какая же сила протеста взросла в людях, что они пошли на то, чтобы оставить хлеб в поле. Я абсолютно уверен, что этим протестом никто не управлял. По сути это и не было протестом. Людьми просто овладела полная апатия. Значит, как же противно было народному характеру затеянное партией объединение крестьянских хозяйств.

Это было противонародное действие. Если бы у крестьянина тогда нашелся вождь, партийная диктатура на этом и закончилась бы. Но вождя не было, понятной программы тоже, и народом завладела апатия. Именно такой вывод следовал из того, что я увидел в Архангелке. Но я такого вывода тогда не сделал. Объяснил все несознательностью крестьян и в одиночку стал бороться с народной апатией. И кое-что сделал. Примерно то, что делает камень, брошенный в озеро с абсолютно гладкой поверхностью. За полтора месяца, которые я там пробыл, темпы обмолота увеличились почти втрое — начали убирать кукурузу, подсолнухи, пахать зябь. Но это не благодаря мне. Людям просто надоело сидеть без дела. И они — сегодня один, завтра другой — выходили на работу. Что касается меня, то втиснуться в их среду мне так и не удалось. Они вежливо слушали, но не воспринимали моих убеждений.

Только возвратился из Архангелки — новая командировка: уполномоченным ЦК комсомола Украины в Донбасс, на уголь. Стране не хватает угля. Чтобы увеличить его добычу, не машины дают, не организацию труда улучшают, а шлют уполномоченных. На комбинат «Юный коммунар» ехали мы, двое уполномоченных ЦК КП(б)У: нарком (министр) коммунального хозяйства Украины — старый коммунист Владимирский и я — уполномоченный ЦК комсомола. Ни он, ни я в шахте никогда не работали, а шахту с крутопадающими пластами, каковой был «Юнком», я даже не видел. Понятно, какую пользу мы могли принести. Но от нас это, наверное, и не нужно было. Бюрократа вполне устраивала цифра в отчете: количество посланных уполномоченных. Я тогда в этих тонкостях не разбирался и изо всех сил старался что-то делать: спускался в шахту, обходил комсомольцев в лавах и штреках, выступал с докладами и беседами. Но в целом похвалиться чем-то положительным невозможно. Из всей этой поездки только и запомнилось, что на обратном пути у нас на подъезде к станции Изюм унесли чемоданы.

В общем, что же мы имели в 1930—1931 годах, если оценивать положение объективно. Полностью разрушенное сельское хозяйство и дезорганизованный транспорт. Но такие, как я, этого не видели. Мы были загипнотизированы старыми идеями и новыми великими стройками. На стройках тоже было далеко не так блестяще, как писалось в газетах, но мы этого не знали, да и знать не хотели. Меня послали на практику на строительство Енакиевского химического завода.

Во время работы на этой стройке я в последний раз общался с дядей Александром. После изгнания его из села, с маленькими детишками, он устроился в Енакиевском животноводческом совхозе. К нему приехала старшая сестра его умершей жены и взяла на себя уход за детьми. Жили они — беднее невозможно. Ни постелей, ни одежды, ни хлеба в достатке. Я несколько раз ходил к нему в семью, носил туда свой паек, а сам обходился столовой (без хлеба). Мы много говорили. После пережитого мы как-то незаметно отбросили сложившийся под конец в Борисовке острый и раздраженный тон. Дядя говорил тихо, раздумчиво, медленно. Я хотя и не соглашался с ним, но как-то мне нечего было возразить, и я больше слушал.

Он говорил о своем совхозе как о ярчайшем примере полной бесхозяйственности советской системы. Он показывал мне, как содержатся свиньи, и говорил:

— Ведь это ж чудо, что они еще не дохнут. Но они обязательно начнут болеть и дохнуть. И директор, который один ответственен за такое состояние, не будет привлечен к ответственности. Отыграются на «подкулачниках», на мне и других свинарях. Обзовут нас врагами, и ничего не докажешь, не оправдаешься.

Я советовал дяде уйти из совхоза. Но он резонно отвечал:

— Меня тогда тем более арестуют, скажут, что хотел скрыться от ответственности. Пока я здесь, то буду хоть свиней своих спасать и с директором воевать.

Мы расстались, когда я уезжал, закончив практику. Я еще не знал, что меня ждет новая жизнь, что предсказание цыганки уже сбывается. Не знал я также, что над дядей уже висит арест и что сразу после этого его семья в декабрьские морозы будет выброшена из той лачуги, в которой они жили в совхозе. Страшно подумать, что было бы с ними, беспомощными, если бы мой младший брат Максим не разыскал их и не приютил у себя.

Я узнал об аресте дяди месяцев через шесть. Бросился разыскивать. Прошел по его тюремному пути, начавшемуся в Енакиево, и затем через Сталино, Харьков, Москву дошел до Омска. Там этот путь и оборвался навсегда. Арестован он был за экономическую диверсию. Но затем почему-то стал проходить как антисоветчик, а в Омске оказался владельцем золота. Умер, сообщалось из Омска, от сердечного приступа. Но если верно то, что его обвинили в хранении золота, то он попросту убит на допросах.

Таким образом, жизнь подставляла мне все новые уроки. В декабре 1931 года, уже будучи слушателем Военно-технической академии в Ленинграде, я получил телеграмму, подписанную мачехой: «Приезжай, тяжело болен отец». В тот же день я оформил краткосрочный отпуск и выехал. Не успел получить только паек. Вместо него взял аттестат.

Когда поезд стал подъезжать к Белгороду, у меня закралась в сердце тревога. Станции были забиты полураздетыми людьми, и худющие детишки буквально осаждали вагоны: «Хлеба, хлеба, хлеба!» И чем дальше на Украину шел наш поезд, тем больше голодных рвалось к нему. Поэтому, прибыв в Бердянск, я первым долгом помчался в военкомат, обменять аттестат на продукты. Но не тут-то было. Меня направили лично к военкому. Тот, удивленно посмотрев на меня, сказал:

— Да ты, наверное, с ума сошел. Из Ленинграда ехал сюда с бумажкой вместо продуктов. Я своим пайки не выдаю, а ты хочешь, чтобы я тебе выдал...

После долгих уговоров он разрешил за двухнедельный аттестат на курсантский паек, предусматривающий белый хлеб, масло, рыбу, икру, сыр, печенье, конфеты, папиросы... выдать две буханки неизвестно из чего сделанного, совершенно сырого хлеба.

После всего этого я уже не удивился увиденному в Борисовке. А увидел я совершенно пустынные улицы села. Несколько человек, попавшихся навстречу, равнодушно прошли мимо, даже не ответив на приветствие (случай, совершенно невероятный для прежнего украинского села). Отец был дома. Он с большим трудом мог встать на ноги. У него явно начинался безбелковый (голодный) отек. Из съедобного в доме оставалась одна небольшая тыква.

Мне было ясно: чтобы спасти отца, его надо немедленно вывезти. Поэтому я сказал: «Иду в колхоз за подводой. А вы соберитесь, чтобы сразу грузиться и ехать». Отец возражал, впрочем, довольно безразлично, что нужно бы отобрать необходимое и упаковаться. Я ответил, чтобы брали лишь то, что нужно в дороге. Все остальное — бросить.

В правлении колхоза сидел один-единственный человек. Это был Коля Сезоненко — первый секретарь нашей борисовской ячейки комсомола. Теперь он был колхозным счетоводом. Сидел он за совершенно пустым столом, если не считать старенькие канцелярские счеты, чуть опустив голову и уставившись взглядом в стол.

— Здравствуй, Микола! — приветствовал я его.

— А-а, Пэтро! — не глядя на меня и не двинув ни одним членом, произнес он.— За отцом приехал. Спасибо, что не забыл. Забирай, вывози, может, и спасешь. Ну а нам уже не спастись.— Он продолжал говорить, сидя по-прежнему совершенно неподвижно, ровным голосом, тоном абсолютного безразличия.

— Мне бы подводу, Микола.

— Да ты иди на конюшню. Скажи, что я велел. Да они и сами тебя послушают.

Я подошел проститься. Он задержал мою руку: «Постой. Тебе же еще нужна справка, что колхоз отпустил твоего отца на заработки, а то ж в городе его не пропишут». И он написал мне справку, подписав за председателя и за себя, и пристукнул гербовой печатью.

— Ну, а теперь иди, а то можешь живым не довезти своего «заробитника».

— Спасибо, Микола. Я о вашей беде ничего не знал и приехал без продуктов. Как возвращусь в Ленинград, то сразу же напишу в ЦК. И я думаю, вам помогут. Так что, Микола, постарайся продержаться еще немножко.

Я говорил вполне искренне и верил в то, что партия поможет. Но Коля уже ни во что не верил. В ответ он сказал:

— Да ты что, думаешь, что там не знают? Хорошо знают. Это же начальство и создало этот голод. Нас еще в прошлом году довели почти до голода. Мы собрали весь хлеб, а у нас его забрали под метелку. Соседи, которые все оставили в валках, тянули те валки потом домой и молотили, а мы перебивались чем попало, да кое-что осталось от прошлых лет. А в этом году мы снова все обмолотили и сдали. Теперь и у соседей все подчистую замели. А валки, которые остались в поле,— пожгли. Но у соседей кое-что осталось от прошлых лет, а у нас все закончено в зиму прошлого года. Это, Петро, страшно, что делается. Правду твой дядя Александр говорил, когда его из его хаты выгоняли: «Истребляют трудящихся крестьян нашими же руками».

Это была моя последняя встреча с Колей. Подводу снарядили мне быстро. Все эти умирающие люди радовались тому, что одного из них кто-то спасает. На обратном пути я видел на улице два трупа. А это же был еще только декабрь.

Письмо в ЦК я написал, приложил к нему кусочек хлеба, полученного в Бердянском райвоенкомате. Письмо большое, основательное. Я описал историю возникновения артели в 1924 году, ее развитие, ведущее участие в организации массовой коллективизации. Написал о том, какой дружный, трудовой и организованный коллектив создался, и как благодаря именно этим качествам этот коллектив остался без хлеба, отдав все до зернышка на выполнение районного плана. Письмо было отправлено через политотдел Военно-технической академии. Месяца через два пришел ответ: «Факты подтвердились. Виновники неправильной организации хлебозаготовок наказаны. Артели «Незаможник» оказана продовольственная помощь». Это сообщение подтвердилось перепиской отца. И я ликовал. Как же, к сигналу коммуниста прислушались в ЦК, и справедливость восстановлена. Разве мог я подумать о том, что, помогая одному-единственному колхозу избавиться от голода весной 1932 года, ЦК готовил на зиму 1932—1933 годов сплошной голод для колхозов Украины, Дона, Кубани, Оренбуржья и ряда других районов.

В конце ответа ЦК была приписка, которой я долгие годы очень гордился. В ней говорилось: «ЦК отмечает, что тов. Григоренко поступил как зрелый коммунист. На основе частного факта он сумел сделать глубокие партийные выводы и сообщил их в ЦК».

Прошли годы. Прошел XX съезд партии. Мои взгляды уже стали далеко не теми наивно-коммунистическими, какими они были в 30-х годах. Я уже знал о том, как ломали противоколхозное сопротивление крестьянства с помощью искусственно организованного голода. И мне вспомнилась та приписка. Мне не давала покоя мысль: «За что же меня тогда похвалили? Ведь я же срывал покров с того, что хотели держать в тайне». Долго думал и наконец понял — я представил голод в «Незаможнике» как единичный факт, который возник в результате неправильных действий районного начальства и из-за того (это было главным для ЦК), что окружающие колхозы саботировали хлебоуборку. Это было выгодное для ЦК освещение событий. Этот пример можно было использовать при инструктажах, обосновывая голод как способ ликвидации саботажа.

Такова была жизнь, тот общий политический климат, в котором жил наш институтский коллектив. Но кроме этого климата был микроклимат самого института, того котла, в котором варились мы. Постоянно, повсечасно вокруг нас кипела учебная жизнь. А извне доходило только то, что можно было увидеть и услышать сквозь крышку котла, то есть через газеты и радио. А они нам подавали только бодрые вести.

Наш институт почти стопроцентно мужской. На всем нашем курсе (около 600 человек) всего четыре девушки. Институт военизирован. К концу второго курса мы должны стать командирами запаса. Военные занятия и походы в учебном году, лагерные сборы в войсковых частях после первого и после второго курсов вносили дух воинственности в весь уклад нашей жизни. Военные песни и вообще песни были постоянными нашими спутниками.

> И студенческая рота
> Комсостав страие лихой иует,
> В бой идти всегда готовый
> За трудящийся народ.

Это припев к произведению (коллективному), которое создано специально для нас как марш. Надо было слышать, как это могуче гремело и разливалось: «Ребята, а ну, давай нашу!» И песня гремела, и людей как воздух нес. Усталость исчезала. Или вот другая:

> Вперед же по солнечным реям —
> На фабрики, шахты, суда!
> По всем океанам и странам
> Развеем мы алое знамя труда!

«По всем океанам и странам...», и никак иначе. Так воспитывались и так воспитывали мы.

А вот и специально для Украины. Чтоб никто не вздумал вдруг заговорить о ее самостийности, соборности, суверенности:

> Мы дети тех, кто выступал
> На бой с Центральной Радой,
> Кто паровозы оставлял
> И шел на баррикады...

А вот и наша «идеология»:

> О чем толкует Милюков (2 раза),
> Не признаю большевиков (2 раза),
> Так и черту всех кадетов,
> Пусть гремит же гром борьбы!
> Эй, живей, живей на фонари кадетов вздернем!
> Эй, живей, живей, хватило б только фонарей!
> О чем толкует меньшевик (2 раза),
> Я и диктатуре не привык (2 раза)...

Ну и так далее, вплоть до фонарей для тех, кто не любит диктатуру. Вот так, с веселой песней и с легким сердцем мы «отправляли» на фонари всех, от буржуев до меньшевиков, кулаков, троцкистов, пока не пошли и сами.

Мне часто задают вопрос, да я и сам нередко задумываюсь, что было бы, если б я понял все еще в студенческие годы? Думаю, честный ответ лишь один: если бы это произошло, этих мемуаров не было бы. Я никогда не умел молчать и приспосабливаться. Делал и говорил все и всегда только искренне. Всякому новому явлению, которое произвело на меня отрицательное впечатление, искал объяснение. А так как поиски велись с позиций марксизма-ленинизма, то ответ приходил чаще всего ортодоксальный. В общем, не дал мне Господь слишком больших способностей к глубокому анализу и тем, вероятно, уберег меня от преждевременной гибели.

Возвращение с практики в 1931 году (после 2-го курса) ознаменовалось новым сюрпризом. В институте работала комиссия ЦК ВКП(б) под председательством начальника политотдела Военно-технической академии Субботина. Он отбирал студентов для учебы в академии. Комиссии были предоставлены неограниченные права. Она могла брать любого студента, независимо от его желания и интересов института.

Так я стал слушателем Военно-инженерного факультета Военно-технической академии в Ленинграде. Стал кадровым военным. Полностью сбылось гадание цыганки и в отношении меня. Чтобы больше не возвращаться к этому гаданию, скажу, что летом этого же года оно сбылось и в отношении третьего участника. Идя ночью в пьяном виде, он споткнулся, упал лицом в грязную лужу и захлебнулся. Нашли его мертвым только утром. Я узнал об этом во время своего кратковременного пребывания в Сталино в 1934 году от его жены.

Часть II

ПОЛЕТ ПРИРУЧЕННОГО СОКОЛА

БУДЕМ ВОЕВАТЬ

Итак, я стал военным. Вспоминая впоследствии это превращение, я с удивлением отмечал, что память не засекла каких-либо особенных переживаний. Военная форма не была новостью. Мы носили ее в институте во время летних лагерных сборов, в порядке прохождения высшей вневойсковой подготовки. Даже квадратики, которые я привинтил к петлицам по прибытии в академию, получены в институте, когда нам, успешно закончившим двухгодичный курс вневойсковой подготовки, присвоили квалификацию командира взвода запаса. Даже и воинскую присягу принимал я в институте.

Мы, естественно, считали себя солдатами грядущей войны, а существующую пока мирную обстановку периодом подготовки к ней. Все возрастающая пропаганда войны (под маской обороны) и начавшееся в начале 30-х годов интенсивное развертывание все новых формирований возбуждали в нас чувство близости войны, ожидания того, что партия скоро позовет нас в «последний и решительный бой». Мы чувствовали себя командирами, которых в любой момент могут призвать на укомплектование новых формирований. Я попал в число тех, кого мобилизовали для подготовки пополнения старшего комсостава. Думать было нечего. Война близка. Надо напрячься и учиться.

Студенческий набор, с которым прибыл и я в Военно-техническую академию, осенью 1931 года почти удвоил ее численный состав. Но это еще не было развертывание, а лишь подготовка к нему. Уже ранней весной 1932 года начальник нашего факультета Цалькович сообщил партийному активу о правительственном решении: расформировать Военно-техническую академию и на ее базе создать ряд специальных военных академий — Артиллерийскую, Бронетанковую, Военно-инженерную, Связи, Электротехническую, Противохимической защиты. В основу каждой такой академии берутся соответствующий

факультет Военно-технической академии и одно из подходящих по профилю гражданских высших учебных заведений. Наша Военно-инженерная академия создавалась на базе Военно-инженерного факультета Военно-технической академии и старейшего российского высшего инженерно-строительного учебного заведения — ВИСУ (Высшее инженерно-строительное училище). Разумеется, наша академия должна была находиться в Москве. Для этого ей передавались в качестве учебной базы все учебные здания и лаборатории ВИСУ, студенческие общежития и дома профессорско-преподавательского состава — для размещения слушателей и постоянного состава, прибывающих из Ленинграда. Намечалось ускоренное строительство городка стандартных домов на шоссе Энтузиастов — в районе прожекторного завода. Профессорско-преподавательский состав и студенты ВИСУ, за исключением тех, кто по различным причинам были отсеяны и направлены в другие вузы, призывались на военную службу и получали назначение во вновь созданную академию.

Реорганизационные дела, в свете последующих событий, спасли меня от многих возможных бед. Из-за этих дел я не смог поехать в отпуск и не видел страшный призрак нового голода, надвигавшегося снова на мою родную Борисовку и на всю округу. Топографическая практика проводилась в районе Парголово — Юкки под Ленинградом. Затем почти два месяца (июнь-июль) я руководил завершением строительства «ансамбля» в Могилев-Подольском укрепленном районе. Девять огневых точек, связанных между собой подземными ходами («потернами»), будучи во взаимной огневой связи, седлали высокий берег излучины Днестра и держали под плотным орудийным и пулеметным обстрелом зеркало реки и противоположный берег на фронте свыше километра. Работой я был чрезвычайно увлечен — пропадал там весь день, а часто и ночь, засыпая на короткое время в одном из многочисленных «карманов» потерн.

Обходя «ансамбль» перед сдачей, я приглядывался к каждому пулемету, к каждому орудию, наводил их на противоположный берег и «видел» свои трассы и атакующие наши войска, поддерживаемые метким огнем из «ансамбля». Именно наши атакующие войска «видел» я, а не наступающего противника, которого мы «косим» своим огнем. Это только наивные люди думают, что в этом главная задача укрепленных районов. Нет, укрепленные районы строятся для более надежной подготовки наступления. Они должны надежно прикрыть развертывания ударных группировок, отразить любую попытку врага сорвать развертывание, а с переходом наших войск в наступление поддержать их всей мощью своего огня. Ни одну из этих задач наши западные укрепленные районы не выполнили. Им уготована была иная судьба. Их взорвали, не дав сделать ни одного выстрела по врагу.

Я не знаю, как будущие историки объяснят это злодеяние против нашего народа. Нынешние обходят это событие полным молчанием, а я не знаю, как объяснить. Весной 1941 года загремели мощные взрывы по всей тысячадвухсоткилометровой линии укреплений. Могучие железобетонные капониры и полукапониры, трех-, двух- и одноамбразурные огневые точки, командные и наблюдательные пункты — десятки тысяч долговременных оборонительных сооружений — были подняты в воздух по личному приказу Сталина. Лучшего подарка гитлеровскому плану «Барбаросса» сделать было нельзя. Но ответьте вы, читатель, как это могло случиться?

После Могилев-Подольского я впервые в своей жизни встретился с Дальним Востоком, куда приехал на войсковую стажировку. Запомнились пустые станицы амурских и уссурийских казаков и обилие овощей во Владивостоке. Опустелые станицы нагоняли тоску и вызывали недоумение. Везде следы поспешного ухода. Болтающиеся двери, бездомные коровы, лошади, овцы. На улицах станиц одичавшие собаки, разбросанные во дворах и на улицах различные домашние вещи и утварь, брошенный как попало сельскохозяйственный инвентарь. Почему ушли эти люди с родной земли, от родных очагов, из страны — родины трудящихся всего мира — в какую-то Маньчжурию, которая в моем представлении была страной отсталой, полудикой. Я все время думал об этом и осаждал вопросами сопровождающего нас штабного командира из 3-го колхозного корпуса, в который мы и были командированы.

— Ну как же они ушли? — допытывался я.

— Очень просто,— отвечал он.— Как только «стали» Амур и Уссури, так они по льду и пошли. Со всем скарбом, со скотом. Я сам всего этого не видел, конечно. Наш корпус сформироан на западе и переброшен сюда уже после ухода казаков, для их замены. Это пограничники рассказали нам об их уходе.

— А что ж пограничники смотрели? Почему не остановили?

— Попробуй, останови. Это же казаки. Обученные воевать и вооруженные. А пограничников — сколько их тут. Застава от заставы на сотню километров. Казаки прекрасно знают их расположение. Блокировали заставы. Пограничники думали больше о том, как бы самим не попасть в руки казакам. Тем более что у казаков было все сговорено. Их с той стороны встречали свои.

— Так, может, те, с другой стороны, запугали этих, принудили уходить,— хватаюсь я за первую возможность оправдать уход чьей-то злой волей, а не личным желанием. Но собеседник мой отбивает эту попытку:

— Кто их там запугивал? Они сами туда посылали своих гонцов, просили помочь им.

— Да как же так? Что им здесь не поправилось? Как же так, бросить все завоевания революции и идти на чужбину!

— Какие там у них завоевания?! Начали чуть не сплошное раскулачивание и высылку на север. Разве вольный казак это потерпит? Убегали, прятались, а потом уходили в Маньчжурию. Появилась статья Сталина «Головокружение от успехов». Немного изменилось. Потом потихоньку стали снова зажимать. И снова побеги в Маньчжурию. Оттуда и стали приходить вести, что ранее ушедшие туда «кулаки» получили землю и живут, как в старину. А тут хлебозаготовки страшные. Забрали весь хлеб. Нависла угроза голода. И вот, сговорившись с земляками в Маньчжурии, чтоб те встречали и, в случае чего, помогли, в одну ночь все казачество перемахнуло по льду Амура и Уссури.

Меня эти объяснения не удовлетворяли. Получалось, что виновата Советская власть, а я этого воспринять не мог. Поэтому дальше расспрашивать не стал.

Сразу с Дальнего Востока направился в Москву. Началась учеба. Совесть моя ничем не была потревожена. Ленинград и Москва жили относительно благополучной жизнью, хотя и при карточной системе. Об остальной стране я знал только по газетам. А там всегда все было «о'кэй».

Лицо академии резко изменилось. Вместо спокойных, тихих, малолюдных помещений, строгой тишины библиотек, читален, лабораторий, подтянутых, строгих и в большинстве уже пожилых военных — переполненные студенческой молодежью коридоры и классы. Военная форма сидит на них кое-как, шумят и галдят они, как и все студенты мира. Их в 5—6, а может, и в 7 раз больше, чем было у нас на факультете в Ленинграде, и мы, «кадровики», потонули среди них. Но учеба шла, юноши мужали, новые наборы наполняли академию иным — военным контингентом, и все приходило «на круги своя» — академия становилась военной во всех отношениях.

Два оставшихся года учебы пролетели незаметно. Было много всего, но это будни учебы, все не перескажешь. Я остановлюсь лишь на эпизоде, связанном с моей производственной практикой 1933 года. В этом году, видимо, ЦК поставил задачу привести УР'ы в боеготовное состояние. Технических руководителей в самих УР'ах для этого не хватало, да и квалификация их, как увидел я впоследствии, была явно не на высоте. Эти кадры удовлетворительно справлялись со своей задачей, пока шли земляные работы, опалубка, армирование, бетон. Справились они и с маскировочными работами. А вот внутреннее оборудование застопорилось, и весьма существенно. Многие прорабы — люди гражданские, не знакомые ни с баллистикой, ни с техническими данными оружия, ни с противохимической защитой,— избегая незнакомого дела, увольнялись, а те, кого не увольняли, опускали руки. Люди предпочитали получить любое административное взыскание за невыполнение плана, т. е. за ничегонеделание, чем сесть в тюрьму за вредительство, т. е. за неправильную установку оружия и других технических средств.

Поэтому уже ранней весной академия получила указание на высылку в УР'ы всего состава моего (фортификационного) факультета. Меня, во главе группы из шести человек, направили в Минский укрепленный район. Сюда же были направлены еще 3 или 4 группы слушателей. Все прибывшие погруппно были направлены на участки. Моя группа поехала в Плещеницы.

Уехали мы в Москву только в октябре. Почти 8 месяцев заняла моя последняя академическая практика. А результаты ее сказывались несколько лет.

При отъезде я был премирован восемью окладами начальника подучастка. Мне вдогонку была послана характеристика, какой я больше никогда не получал. Выглядел я в ней почти гением, если не больше. Я привез в академию и сдал на кафедру организации работ три варианта графиков, подробный отчет об организации работ поточным методом, а также об организации снабжения и о контроле выполнения графика. Эти документы кафедра организации военно-строительных работ превратила в учебные пособия. Не знаю, где они сейчас, но последний раз, когда я был в этой академии (в 1954 году), этими пособиями еще пользовались. Кафедра увидела во мне «светило» организации работ и вознамерилась добиться моего оставления на кафедре, что никак не соответствовало моим намерениям и привело к конфликтной ситуации. Меня запомнил комендант укрепрайона Померанцев и впоследствии оказал влияние на мою службу.

Выпускали нас в Кремле в Георгиевском зале — 4 мая 1934 года. Присутствовало все Политбюро. Нам поднимали дух, главным образом — Ворошилов и Буденный, все время находившиеся в зале после того, как из ложи один за другим были произнесены тосты: «За Сталина!», «За партию!», «За Ворошилова!», «За армию и выпускников!». Тосты такой скорострельности могут свалить кого угодно, особенно, если люди не выспались и голодны. А с нами именно так и было. И вот почему. Построение в Кремле было намечено на час дня. Ответственный — начальник Академии им. Фрунзе. Естественно, что он назначил сбор на 12. Начальник нашей академии взял себе большой запас — 2 часа. Начальник факультета не отстал от него и назначил сбор на 8 часов утра. Командир нашей группы тоже позаботился о себе и приказал нам прибыть к 7 часам. А так как мы жили на шоссе Энтузиастов, то подняться с постели нам надо было не позже 5 часов. Но в такое время

можно было только стакан чая выпить. А в академии и по выходе из нее подкрепиться и негде, и некогда. То построение с проверкой, то перчатки меняют — белые на коричневые, то наоборот. В результате, когда в час дня Калинин наконец появился перед строем и начал речь, мы уже еле на ногах стояли. А пришли в зал и попали под оглушающий залп тостов, и большинство «поехало». Мне повезло. Рядом оказался опытный человек. Он еще до того, как нам позволили сесть, отхватил кусок масла и съел, посоветовав мне сделать то же самое. В результате я домой возвратился в тот же день. Большинство же моих однокашников оказались не способными на такой подвиг. Только на следующий день, переночевав в милиции, они часам к двум-трем добрались до родных пенатов, и здесь уж началась пьянка по-домашнему, которая длилась почти неделю.

Протрезвившись, пошли в академию за назначениями. Их еще не было, но я оказался исключением. Начальник кафедры организации военно-строительных работ профессор Скородумов — мы, слушатели, звали его за быстроговорение и нередкое высказывание слишком поспешных выводов и замечаний «Быстродумовым» — с радостным лицом отозвал меня в сторону и, схватив за руку, восторженно заговорил:

— Поздравляю, поздравляю! Мне все-таки удалось добиться своего, нарком обороны разрешил оставить вас адъюнктом моей кафедры.

— А меня об этом спросили? Я ни в коем случае не останусь в академии. Кого и чему смогу я научить по организации работ, если эти работы видел только во время практики? Да и какие работы? Недоделки, переделки. Такие работы любой добросовестный десятник организует лучше меня. А основное строительство я и не нюхал.

Возмущенный, я отправился к начальнику факультета за разрешением обратиться к начальнику академии. Разрешение получено, и вот я у Цальковича. Я выложил ему то, что уже говорил «Быстродумову», и добавил:

— Месяца не прошло после приказа наркома, в котором ясно сказано, что адъюнктура набирается из войск, а если академия хочет оставить кого из выпускников, то она зачисляет его кандидатом и направляет на три года в войска. Приказ есть, а делается опять по-старому.

— Ну, это исключение. Кафедра слабая. Надо усилить.

— Усиливайте людьми с производства, имеющими опыт, а я пойду на их место учиться, приобретать опыт.

— Ничего не могу поделать. Есть решение наркома.

— Ну, тогда разрешите обратиться к наркому.

— Разрешаю! — И тут же начал набирать телефонный номер.

— Товарищ Хмельницкий (генерал для поручений наркома), здравствуйте. Я передаю трубку выпускнику академии. Прошу выслушать его.— И передал мне трубку.

— Товарищ для поручений, с разрешения начальника академии прошу наркома принять меня по личному вопросу.

— А в чем ваш вопрос?

— Меня назначают адъюнктом академии, что противоречит приказу наркома. Я хочу просить его отменить это назначение и дать любое другое.

ПОЖИЗНЕННАЯ ПРОФЕССИЯ

Хмельницкий позвонил через несколько дней: «Вас примет зам. наркома Тухачевский».

И вот я в огромном кабинете-зале на улице Фрунзе, № 1, в кабинете, который впоследствии посещал неоднократно. В глубине кабинета, за столом, который кажется крохотным на этой огромной территории, человек с аристократическим, так хорошо знакомым по портретам лицом. Четко чеканя шаг, подхожу на уставную дистанцию и громко представляюсь.

— Чего вы хотите?!

— Я прошу, чтобы в отношении меня был соблюден приказ наркома № 42. Если я нужен академии, то пусть прежде пошлют меня, как требует нарком, на три года на производство. Иначе как я смогу учить организации строительных работ? Я производства в глаза не видел.

— Хорошо. Ваша просьба будет рассмотрена. Идите!

Я сделал «кругом» и в это время услышал:

— Но запомните...

Я снова сделал «кругом».

— Запомните, что одетая на вас форма и все, что с ней связано,— это пожизненно.

Последнее слово он подчеркнул. И снова сказал:

— Идите!

Пока я шел по кабинету и выйдя из него, я думал: почему он мне сказал это? Понял, лишь когда пришел приказ, подписанный Тухачевским: «Григоренко П. Г. назначается начальником штаба отдельного саперного батальона 4-го стрелкового корпуса, с присвоением Т-8». Это было совсем необычное назначение. Все выпускники нашего (фортификационного) факультета назначались на оборонительное строительство. Среди кадрового состава академии бытовало мнение, что «студенты» только и ждут, как бы скорее попасть на стройку и избавиться от строя и от обязательного ношения военной одежды.

Это мнение распространилось и на наркомат обороны и, очевидно, дошло до Тухачевского. А я напомнил ему и как бы подтвердил правильность такого мнения. В приказе наркома говорится: «направлять на 3 года в войска», а я вместо этого дважды сказал «на производство». Именно поэтому он напомнил мне о пожизненности профессии военного и дал необычное для нашего факультета назначение.

Со своим непосредственным начальником, командиром отдельного саперного батальона 4-го стрелкового корпуса, выпускником командного факультета Павлом Ивановичем Смирновым я познакомился в день получения назначения. Другой выпускник командного факультета, мой земляк, болгарин Брынзов, услышав от меня, куда я назначен, воскликнул:

— О, так туда же с нашего факультета командиром батальона идет Пашка Смирнов! Не очень завидую тебе. Человек он не того... Но все равно, пойдем знакомиться.

И он потащил меня искать Пашку. Но того в академии не оказалось. И я пошел вечером к нему на квартиру. Это оказалось очень разумным шагом с моей стороны. Этот шаг позволил мне установить со своим командиром человеческие контакты до того, как нас разделила невидимая, но прочная завеса: начальник — подчиненный.

Надо сказать, Павел Иванович стал для меня действительно учителем-другом. У нас сложились великолепные служебные отношения, полные взаимопонимания и дружбы, распространившиеся и на семьи. В частности, Павел Иванович подружился и с моим отцом, которого убедил возглавить подсобное хозяйство батальона. Павел Иванович — ленинградец. Очевидно, из интеллигентной семьи, но утверждать этого не могу. Сам он о своих родных никогда не рассказывал. В революцию он включился на стороне большевиков, когда ему едва исполнилось 16 лет. Позднее вступил в большевистскую партию и участвовал в гражданской войне, пройдя путь от политбойца до комиссара полка. После гражданской войны попросился на учебу и был направлен в Ленинградское военно-инженерное училище.

Уже на первом курсе он женился. Причем венчался в церкви. За это был исключен из партии. У меня возник вопрос — зачем он пошел в церковь? Он не был убежденным верующим. Не мог пойти на это и по настоянию жены. Катя — простая женщина из рабочей семьи, не очень развитая и, главное, находящаяся целиком под влиянием мужа. Как ни верти, получалось, что в церковь Павел Иванович пошел по собственной инициативе. И пошел именно за тем, что получил,— исключение из партии. Он почему-то захотел выйти из партии и, будучи умным и дальновидным человеком, избрал наиболее безопасный выход для себя. Добровольный выход, по собственному заявлению, большевистское руководство не любит. За это можно было в то время даже и жизнью поплатиться. А за веру в Бога после гражданской войны многих исключали. И Павел Иванович выбрал церковный брак.

Почти два года проработали мы с Павлом Ивановичем в одной дружной упряжке. Мы были так дружны, что командир корпуса, румын Сердич, называвший нас не иначе как «академики» (с оттенком иронии), и к каждому в отдельности обращался во множественном числе. Когда я являлся к нему по делу или по его вызову (в отсутствие Смирнова), он начинал всегда так: «Ну что, академики? С чем явились?» Или: «Что у вас случилось?» Или: «Что натворили?» и т. п.

Сердич был арестован и расстрелян в начале развертывания массовых репрессий. Расправа с ним дала возможность госбезопасности поставить под пули целую плеяду командного состава корпуса. Было ликвидировано все корпусное управление, в том числе и наш непосредственный начальник — корпусной инженер Стрибук, милейший человек и грамотный военный инженер. Но было это уже после того, как я убыл из этого корпуса.

Служба моя в 4-м стрелковом корпусе оставила хорошее воспоминание. На первых порах были некоторые трудности в отношениях внутри верхушки батальона. Первая стычка произошла с помощником командира батальона Авдейчиком. Я понимал, что недоразумение вызвано непривычностью такой организации, как штаб. До этого в отдельных батальонах штабов не было. Начальник штаба появился с моим приездом. К этому приходилось привыкать. Вторым, с кем возникли недоразумения, был комиссар батальона Гаврила Петрович Воронцов. Довольно добродушный человек, заядлый охотник и рыболов, типичный политработник — малограмотный, но самоуверенный, считающий себя высшей властью и высшим судьей в политических вопросах.

Первая стычка произошла из-за того, что он, минуя меня, отдал распоряжение Яскину, как адъютанту, хотя тот теперь уже был помощником начальника штаба. Я пошел к комиссару и попросил его впредь моими подчиненными через мою голову не командовать. Он согласился, что получилось нехорошо, и обещал впредь этого не делать. Но мне было ясно, что Гаврила Петрович не понял глубины конфликта. Я видел, что стычки впереди. И они не замедлили возникнуть. Комиссар, например, привык ездить на охоту

и рыбалку, когда ему вздумается, и брать с собой, кого ему вздумается. Я несколько раз говорил ему, что в части есть определенный порядок, который нарушать нельзя. Но это не помогло. Тогда появился приказ, который устанавливал твердый порядок выезда за пределы батальона машин и людей. И пришел тот день, когда Гаврила Петрович, одетый по-рыбацки, со свирепым видом ворвался ко мне в кабинет. Машину из городка не выпустили, а люди, которых он пригласил с собой, не получив разрешения, не явились на сборный пункт. На его возмущение у меня имелся один ответ:

— Приказ командира батальона. Отменит он приказ или даст разовое разрешение, пожалуйста, хоть в Москву, хоть вместе со всем батальоном.

— Я комиссар! Я даю распоряжение!

— Нет, батальоном командует только одно лицо — командир. И я как начальник штаба подчиняюсь только ему.

— А комиссару не подчиняетесь?!

— Подчиняюсь, но только не в том, что относится к моей работе как начальника штаба. Нарушить действующие приказы командира я не позволю никому. Заботиться об авторитете приказа и отдавшего его командира — мой священный долг и, насколько я понимаю положение об единоначалии, это также и ваш долг как комиссара.

Помирил нас Павел Иванович, которому, видимо, доложили о том, что у меня баталия. Войдя в мой кабинет, он удивленно спросил:

— Что это вы, как петухи перед боем?

Я коротко доложил. Он сразу же примирительным тоном:

— Да в чем дело?! Тебе что, Гаврила Петрович, машина нужна? И люди? Кто именно? Петр Григорьевич, дайте распоряжение! Катите, Гаврила Петрович, ни пуха ни пера. И в будущем всегда, когда нужно, скажи только мне. А так, как сегодня, нельзя делать. Надо же и начальнику штаба посочувствовать. Он же головой за невыполнение приказов отвечает. Кому-кому, а нам с тобой надо помогать ему в этом.

На этом вакханалия с машинами и людьми прекратилась. Но еще много стычек было, пока Воронцов усвоил-таки, что ни начальник штаба, ни штаб в целом ему не подчинены, хотя он при беспартийном командире и называется комиссаром. Но это не комиссар гражданской войны. Командир, даже беспартийный, в делах командования полноправен во всем объеме.

Перебирать все стычки бессмысленно, но одну, длительную, упомяну, поскольку она имела продолжение впоследствии. Около Гаврилы Петровича отирался захудалый солдатик Черняев. Он ежедневно норовил увильнуть от занятий, и Гаврила Петрович, пользуясь своей властью, каждый раз оставлял его в своем распоряжении, то есть без дела. Наводя порядок в деле боевой подготовки, я выкапывал уклоняющихся от учебы из всех уголков. Добрался и до Черняева. Но пока добился, чтоб он начал нормально учиться, пришлось несколько раз столкнуться с Гаврилой Петровичем и даже прибегнуть к помощи Павла Ивановича. Думаю, что Черняев не очень доволен был мною. Во всяком случае, неоднократно я ловил на себе его злые взгляды.

Удачное, в общем, начало послеакадемической службы было омрачено большим семейным горем. Умер наш второй ребенок. Первенец Анатолий родился еще в 1929 году — в год моего поступления в институт. Сейчас, когда мы приехали в саперный батальон, дислоцировавшийся в Витебске, пятилетний Анатолий уже не отставал в играх от моей младшей (9-летней) сестры Наташи. Второму моему сыну в июне 1934 года, когда мы прибыли к новому месту службы, исполнилось только 7 месяцев. Назвали мы его Георгий. И вот в августе 34-го года этот ребенок умер.

Жена уехала с ним в Сталино (ныне Донецк) к своим родителям. Вскоре я получил телеграмму, что ребенок тяжело болен. Я немедленно выехал. Бросился к врачам. Таскал к ним обессилевшего ребенка. Платил за частные приемы, но ребенок угасал. Острая дизентерия уносила его. За несколько дней он ушел в небытие. Я держал на руках мертвое тело, ничего не понимая. У меня пытались отобрать, я не отдавал. Затем отдал и сел. Сидел, не двигаясь, наблюдая, но ничего не сознавая, как его моют, обряжают, отпевают. Родители жены пригласили все же священника. Потом младший мой брат — Максим — взял меня под руку. Я не удивился тому, что он оказался здесь, в Сталино, и безвольно пошел с ним на кладбище. После возвращения домой сели помянуть. Я пил рюмку за рюмкой, но не пьянел. Подсел муж старшей сестры моей жены — Николай Кравцов:

— Ты поплачь, Петя, легче будет...

Но плакать я не мог. Во мне все замерло. Только очень ныло там, где у человека должно быть сердце. До вечера я просидел за столом. Там и уснул. Меня перетащили в постель, и я проспал более четырех суток. Просыпаясь иногда по естественным надобностям, я неизменно чувствовал нытье в сердце и скорее ложился снова в постель. Когда наконец я этой боли не почувствовал, решил подниматься. Делал почти все автоматически. Мысли о ребенке не оставляли меня. Угнетало: как же это так, почему мы, взрослые, разумные люди, не смогли спасти беспомощное существо? Я горько упрекал себя за то, что, прибыв сюда, не вывез немедленно маленького Георгия из этого убийственного климата. Вспоминалось, как в 1930 году Анатолия уже отпевать собирались, а я схватил

его прямо в смертной рубашке, завернул в первое попавшееся одеяло и бросился на станцию. Все родственники бежали за мной, прося вернуться, не мучить умирающего ребенка, но я не вернулся и не обернулся, сел в поезд, и жена вынуждена была тоже поехать со мной. Мы приехали в Борисовку, и там наш сын ожил. Почему же теперь я не сделал этого? Я корил себя, считая виновником смерти сына.

Но так уж, видно, устроен человек, что стремится с себя вину сбрасывать. Произошло это и со мной. Вскоре мысли о моей вине уступили место мыслям о вине жены. Я уже со злобой думал: «А зачем она его сюда повезла, в этот климат?» Я прекрасно знал, что если б я сказал хоть слово против этой поездки, она бы не состоялась. Но я об этом не думал. Наоборот, я изливал желчь на нее: «Поехала в этот ад, да еще и от груди отняла...» И я продолжал «накручивать». Но вернувшись домой и увидя жену, я понял, что ей тяжелее, чем мне. Проснулась жалость. Я стал ласковее, внимательнее с нею. Но трещина в наших отношениях, созданная смертью Георгия, так никогда и не закрылась. Я надеялся, что рождение нового ребенка поможет восстановить прежние взаимоотношения. Когда жена забеременела, я молил Бога, чтоб снова родился мальчик. И моя мольба была услышана. 18 августа 1935 года — ровно через год после смерти маленького Георгия — родился сын, которого мы тоже назвали Георгием. Вся родня возражала против этого имени, твердя, что нельзя называть именем умершего, но я сказал, что будет Георгий. И это не во имя умершего, а во имя отца моего, которого хотя и зовут Григорием, по метрике он Георгий. Таким образом, я как приехал в 1934 году в Витебск с двумя сыновьями — Анатолием и Георгием — так и уезжал в 1936 году, имея двух сыновей с теми же именами. Но боль утраты от этого не исчезла. Она притупилась, но я никогда не перестану чувствовать в своих руках беспомощное тельце, из которого уходит жизнь. И в этом моя несомненная вина. Великим грехом своим считаю и то, что, стремясь уменьшить свою вину, в душе обвинял его мать, которая тоже уже давно в земле.

Но вернемся от дел гражданских к делам, которыми был занят я.

Обычная будничная служба в саперном батальоне тоже оказалась для меня насыщенной интересными делами. Основное время занимала боевая и специальная подготовка. Но и ее можно выполнять по-разному. Можно все свое время затрачивать на выколачивание у начальства материалов для спецподготовки, которых всегда давали очень мало, и затрачивать эти материалы на создание в процессе спецподготовки никому не нужных вещей. А можно находить в гражданских организациях работы, аналогичные военно-инженерным, и подряжаться на их выполнение. Выгоды большие: своих материалов тратить не нужно, за выполненную работу получаешь деньги и создаешь нужные людям вещи. Наиболее показательно прослеживается это на примере деревянных мостов. Можно водить солдат по очереди на полигон и учить тесать десятки раз тесанные бревна, обучать производству различных врубок, поделок, пригодных разве на то, чтобы использовать их как дрова. А можно по договору взять подряд на строительство конкретного моста и построить его, обучая людей в процессе практически полезной работы: и тесанию, и врубкам, и шунтовке, и строганию — всем плотницким работам.

Время было такое, когда и народному хозяйству для своих целей, и в интересах подготовки территории как театра военных действий, требовалось много дорог с мостами различных размеров на них. Сколько мы построили за два года моей службы здесь и дорог, и мостов! И это была наша спецподготовка, и наш заработок, и наш вклад в народное хозяйство. И мы радовались, что благодаря этому материалы, присылаемые нам на боевую подготовку, экономятся, на щепки не перерабатываются, а используются по мере накопления на строительство для батальона — хозяйственным способом. Работ было много, и батальон стал финансово мощной организацией, обстроился, значительно улучшил питание личного состава за счет рыночных закупок. В те времена хозяйственная деятельность и инициатива не только допускались, но и поощрялись.

Мосты и дороги были, конечно, не единственными хозяйственными работами, которые хорошо сочетались со специальной подготовкой. Было много среди них и других. Самыми доходными были подрывные работы. Деньги за них текли рекой в кассу батальона. Несмотря на это, мне очень не хотелось хвалиться именно этими работами. Я хотел бы скрыть их. Тем более что сделать это легко. Просто не писать об этом. И никто знать не будет. И никто не уличит в неправдивости. Вправе же я сам выбирать, что описывать из множества событий моей жизни. Но я отброшу все сомнения и напишу о своем сознательном участии в величайшем варварстве нашего века — в уничтожении шедевров церковной архитектуры, важнейших исторических памятников белорусского и русского народов.

Первое задание на взрыв церкви получили мы осенью 1934 года. Речь шла о взрыве собора в городе Витебске. Красавец собор стоял на высоком правом берегу Западной Двины, следя всеми своими пятью главами за проходящими судами. И люди на судах уже издали видели его и, проезжая мимо и потом, проехав, долго смотрели назад на это чудо зодчества. Но эти люди не только смотрели, не просто любовались, они молились, осеняя себя крестным знамением. Многие становились при этом на колени. Это, очевидно, и решило судьбу собора. Власти раздражались этим каждодневным многократным публичным молением. И нашему батальону пришло распоряжение начальника инженеров Белорус-

ского военного округа. Привожу его по памяти: «ЦК КП Белоруссии предложил командующему БВО выделить саперов-подрывников для взрыва собора в Витебске на р. Западная Двина. ЦК КПБ просил принять все меры к тому, чтобы расположенный рядом с церковью трехэтажный дом пострадал как можно меньше. Командующий войсками поручает выполнение этой работы саперному батальону 4 стрелкового корпуса и возлагает ответственность за результативность и безопасность взрыва лично на командира батальона тов. Смирнова П. И.

Оплату взрывных работ произведет Витебский горсовет по смете батальона, о чем с Витебским горсоветом подпишите договор. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагаю на корпусного инженера тов. Стрибука».

Павел Иванович пригласил меня. Дал прочитать распоряжение. Затем сказал: «Ну вот, фортификатор, это уже чисто твоя работа. Я ведь в академии на подрывные работы лишь издали смотрел. Мы же, командный факультет, технику подрывных работ не изучали. А вы сколько взрывчатки потратили! Так что придется тебе браться и отвечать. Людей в помощь выбирай каких угодно». Затем он посидел, задумавшись, и добавил: «Дом тот меня больше всего заботит. Пишут, чтоб возможно меньше пострадал. А по-моему, так он полетит вместе с церковью. Ведь всего 12 метров между домом и церковью».

В общем, вся работа была возложена на меня. И переговоры с Витебским горсоветом, и организация взрыва, и сам взрыв. Я не помню, сколько я «заломил» за взрыв, но только знаю, что это было фантастически дорого, с моей точки зрения. Но председатель Совета, мне сразу это стало ясно, обрадовался дешевизне, и я пожалел, что запросил мало. Далее стал вопрос, как взрывать в столь стесненных условиях. Почти перед самым окончанием академии, уже когда лекционных занятий не было и шло дипломное проектирование, кафедра подрывных работ прочла лекцию «Взрыв зданий методом пустотных забивок». Из всей лекции я запомнил лишь формулу расчета глубины и густоты шпуров, в которые вкладываются подрывные шашки и «пустоты» (макеты подрывных шашек — из дерева). Вкладываются так: шашка, «пустота» (одна или две — по расчету), опять шашка или две. Лектор утверждал, что если правильно расположить шпуры и верно произвести забивку, то здание не взлетает, а оседает и рассыпается. Надо было бы проверить на чем-нибудь. Но времени не было, и я пошел прямо в церковь, чтобы прикинуть на месте, как может получиться. Оказалось, что церковь оборудована как действующая: иконы, алтарь, подсвечники — все на месте.

Все во мне перевернулось. Ничего делать здесь я не мог. Обернувшись к председателю горсовета, я резко заявил: «Пока отсюда не вывезут все иконы и церковную утварь, я ничего делать не буду. Только имейте в виду — не просто вывезти, а пригласить священника, чтоб он это сделал, как положено по-православному. Иначе я не буду участвовать. Я не хочу, чтоб население обвинило нас в святотатстве». В Витебске тогда кроме собора было еще 3 или 4 церкви, и священники этих церквей с помощью верующих организовали вынос из собора святынь и церковной утвари. Впоследствии мне, правда, закидывали, что «Григоренко организовал церковное шествие по Витебску». За такое, конечно, могло и попасть основательно, но мне повезло. Вскоре после нашего взрыва другой саперный батальон взорвал церковь в Бобруйске. Взрыв был произведен сосредоточенным зарядом и разрушил одновременно с церковью более десятка домов. При этом были человеческие жертвы. Уборевич, разбирая этот случай на большом совещании, поставил в пример мой взрыв, назвав меня по фамилии. Наказывать после этого было неудобно.

Ровно полтора месяца заняла подготовка взрыва. Но зато взрыв превзошел все ожидания. Взрыва в привычном понимании вообще не было. Только гул и трескотня сыплющихся сверху кирпичей. Дом, о котором заботились власти, не только не пострадал — не вылетело, не треснуло ни одно стекло, даже в окнах, выходящих на собор. Храм просто осел, издав протяжный стон, и превратился в груду кирпичей. Именно кирпичей, а не обломков стен. Взрыв мы произвели на рассвете. И вот я стою у огромной кирпичной кучи и, честно сознаюсь, любуюсь своей работой, тем, как красиво взорвано: подъезжай машиной и прямо из этой кучи бросай кирпичи в машину. Подходили откуда-то появившиеся люди и тоже выражали свое удивление и восхищение «чистотой» работы. Особенно поражались тому, что дом стоит как ни в чем не бывало и что церковь превращена не в развалины, а в исходный строительный материал — кирпичи. И никому, мне в том числе, в голову не пришло, что на этом месте был шедевр архитектуры и место духовного общения людей с Богом. Забыв об этом, мы любовались горой кирпичей.

Витебский горсовет расчувствовался и премировал (сверх договорных сумм) меня и подрывников «за отличное качество взрыва, обеспечившее сохранность жилого дома».

Молва о нашем взрыве быстро распространилась по Белоруссии. И ЦК КПБ попросил командующего БВО прислать тех подрывников из Витебска в Минск. Здесь, оказывается, рядом с недавно возведенным девятиэтажным домом правительства осталась, почти вплотную примыкая к этому зданию, маленькая церквушка. Наученный витебским опытом, я запросил за нее втрое больше и получил без торга. Церквушку мы взорвали, не повредив правительственного здания. После этого под моим руководством была взорвана церковь в Смоленске. На этом я отошел от взрывов церквей, заявив, что подготовленная мной

бригада прекрасно справится без меня. На самом деле причина была в моем внутреннем состоянии. Еще готовя взрыв храма в Витебске, я ощущал внутренний протест. И хотя я любовался горой кирпичей, вставшей на месте собора, у меня не было настоящей трудовой радости. Минский взрыв я уже готовил без интереса. А в Смоленске мне просто было противно за то, что я делаю.

Выполнять такую работу и дальше для меня было бы выгодно — бесконтрольная свободная жизнь, изобилие денег, избыток свободного времени — чем не жизнь! Но для меня это не была жизнь. У меня в глазах стояли взорванные церкви, и я начал болезненно присматриваться к церквам, еще не взорванным. Я увидел, какое это разнообразие архитектуры, сколько человеческой души, сколько выдумки вложено в рисунок и отделку каждого храма. А место расположения. Как чудесно сочетается архитектура церкви с местом, на котором она расположена, с окружающим пейзажем. Я стал интересоваться всем, что связано с церквами, и от стариков узнал, что строительство церкви не было простым делом. Прежде всего шел разведчик или несколько человек, которые выбирали место. Говорят, что это была редкая специальность. Потом делался рисунок, подгонялся к местности. Потом подыскивался строительный материал и т. д., вплоть до окончательной отделки снаружи и росписи внутри. Человеческий труд, ум, нервы вкладывались в эти чудесные творения, а я превращал их в кирпичи. И я решил: буду только строить. Пусть простенькие мостики, но разрушать... Нет, я не восстал против разрушения. Я подумал: «Но разрушать — пусть разрушают другие».

Тем и отмечены мои два витебских года: я разрушил три исторических памятника архитектуры, три храма — три святыни наших трудящихся — и построил несколько десятков простеньких деревянных мостов.

Где-то во второй половине февраля 1936 года ко мне в кабинет зашел Павел Иванович.

— Что же ты молчал, что у тебя такая протекция? Да и действовал за моей спиной. Такого я от тебя не ожидал. Я же не собирался тормозить твое продвижение. Ты же сам говорил, что еще годик поработаем вместе. Говорил, а сделал иначе!

— Да ты о чем, Павел Иванович? Я тебя не понимаю.

— Ну как о чем? О твоем назначении в Минский УР.

— Я об этом ничего не знаю.

— Как не знаешь? И Померанцева тоже не знаешь?

— Нет, Померанцева знаю.— И я рассказал ему о своей практике 1933 года.

— Так значит, ты действительно ничего не знаешь? А я заподозрил, хитришь. Дело в том, что мне Прошляков (в то время помощник начальника инженеров БВО, во время войны один из наиболее крупных инженерных начальников) сообщил, чтоб я подыскивал себе начальника штаба, так как тебе подготовлено назначение на должность командира 52-го отдельного инженерного батальона Минского УР'а. Я сказал, что ты хочешь еще год поработать здесь. Но он ответил, что это невозможно, что на твоей кандидатуре настаивает сам Померанцев. Грустно будет мне без тебя. Но, как говорят, «гора с горою не сходятся, а человек с человеком сойдется».

Но оказалось, что людям бывает еще труднее сходиться, чем горам. До войны мы не встретились. Войну он начал с тем же 4-м стрелковым корпусом, в должности корпусного инженера, и в первые же дни попал в плен. Всезнающий Брынзов, который недолюбливал Павла Ивановича, встретившись со мной после войны, на мой вопрос ответил: «Смирнов оказался предателем. В немецких лагерях был в охране. Ходил с пистолетом. Теперь расплачивается. В наших лагерях мозги ему вправляют». Что здесь правда, сказать трудно. Пожалуй, правда только то, что он в лагерях и там ему «мозги вправляют». Все остальное, скорее всего, обычное следственно-КГБистское мифотворчество. Я пытался найти его жену — не удалось. Возможно, что она не пережила войну, которую она встретила, находясь в Ленинграде. А он вряд ли пережил лагерь. Так человек с человеком и не сошлись. А ведь я очень многим обязан Павлу Ивановичу. Все положительные командирские качества у меня от него. Добрая наука долго живет. Как и память о людях настоящих.

Продолжение следует

СОДЕРЖАНИЕ

Андрей САХАРОВ. Мир. Прогресс. Права человека. *(Окончание)* 3
Даниил ГРАНИН. Нравственный пример 45
Александр КУШНЕР. Лучше Дельфта в этом мире... и др. *Стихи* 50
Александр СОЛЖЕНИЦЫН. Август Четырнадцатого. *Роман. (Продолжение)* . . 54
Надежда ПОЛЯКОВА. Декабрьская тетрадь. *Стихи* 89
Галина ГАМПЕР. Мое детство — стеклянный зверинец. *Стихи* 92
Леонид ЛИХОДЕЕВ. Семейный календарь, или Жизнь от конца до начала. *Роман (Продолжение)* 94

ПУБЛИЦИСТИКА

Ральф ШРЁДЕР. «Коперниково открытие» Владимира Тендрякова. *Перевод с немецкого А. Федорова* 119
Владимир Тендряков. Метаморфозы собственности. *Подготовка текста и публикация Н. Асмоловой-Тендряковой* 123
Андрей ИЛЛЕШ. Кто он — диссидент № 1? 139

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ «ЗВЕЗДЫ»

Лев ГУМИЛЕВ. Этносы и антиэтносы. *Главы из книги. (Окончание)* 154

КРИТИКА

Дж. ОРУЭЛЛ. Лир, Толстой и шут. *Перевод с английского Н. Ермаковой* 169
Ив. ТОЛСТОЙ. Зубастая женщина, или Набоков после психоза 178

К 70-ЛЕТИЮ Ф. А. АБРАМОВА

Глеб ГОРЫШИН. Перевезите за реку... 184

МЕМУАРЫ XX ВЕКА

Петро ГРИГОРЕНКО. Воспоминания. *(Продолжение)* 192